

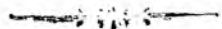
4-56

Arizona Lepus

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО



А. П. ЧЕХОВ



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ

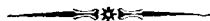
В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

СОЧИНЕНИЯ

В ВОСЕМНАДЦАТИ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

А. П. ЧЕХОВ



СОЧИНЕНИЯ

ТОМ ДЕСЯТЫЙ

1898—1903

МОСКВА — 1986

ц $\frac{4702010100-106}{042(02)-86}$ Подписное

© Издательство «Наука»,
1986 г.



А. П. ЧЕХОВ.
Фотография. 1899 г.

РАССКАЗЫ, ПОВЕСТИ

У ЗНАКОМЫХ

(РАССКАЗ)

Утром пришло письмо:

«Милый Миша, Вы нас забыли совсем, приезжайте поскорее, мы хотим Вас видеть. Умоляем Вас обе на коленях, приезжайте сегодня, покажите Ваши ясные очи. Ждем с нетерпением.

Т а и В а.

Кузьминки 7 июня».

Письмо было от Татьяны Алексеевны Лосевой, которую лет десять — двенадцать назад, когда Подгорин жил в Кузьминках, называли сокращенно Та. Но кто же Ва? Вспомнились Подгорину длинные разговоры, веселый смех, романсы, прогулки по вечерам и целый цветник девушек и молодых женщин, живших когда-то в Кузьминках и около, и вспомнилось простое, живое, умное лицо с веснушками, которые так шли к темно-рыжим волосам, — это Варя, или Варвара Павловна, подруга Татьяны. Она кончила на медицинских курсах и служит где-то за Тулой, на фабрике, и теперь, очевидно, приехала в Кузьминки погостить.

«Милая Ва! — думал Подгорин, отдаваясь воспоминаниям. — Какая она славная!»

Татьяна, Варя и он были почти одних лет; но тогда он был студентом, а они уже взрослыми девушками-невестами и на него смотрели, как на мальчика. И теперь, хотя он был уже адвокатом и начинал сесть, они всё еще называли его Мишей и считали молодым, и говорили, что он еще ничего не испытал в жизни.

Он любил их очень, но больше, кажется, любил в своих воспоминаниях, чем так. Настоящее было ему мало знакомо, непонятно и чуждо. Было чуждо и это короткое, игривое письмо, которое, вероятно, сочиняли долго, с напряжением, и когда Татьяна писала, то за ее спиной, наверное, стоял ее муж Сергей Сергееч...

Кузьминки пошли в приданое только шесть лет назад, но уже разорены этим самым Сергеем Сергеевичем, и теперь всякий раз, когда приходится платить в банк или по закладным, к Подгорину обращаются за советом, как к юристу, и мало того, уже два раза просили у него займы. Очевидно, и теперь хотели от него совета или денег.

Уже не тянуло в Кузьминки, как прежде. Грустно там. Нет уже ни смеха, ни шума, ни веселых, беспечных лиц, ни свиданий в тихие лунные ночи, а главное, нет уже молодости; да и всё это, вероятно, очаровательно только в воспоминаниях... Кроме Та и Ва, там есть еще Па, сестра Татьяны Надежда, которую в шутку и серьезно называли его невестой; она выросла на его глазах, рассчитывали, что он на ней женится, и одно время он был влюблен в нее и собирался сделать предложение, но вот ей уже двадцать четвертый год, а он всё еще не женился...

«Как всё это сложилось, однако,— думал он теперь, в смущении перечитывая письмо.— А не поехать пельзязя, обидятся...»

То, что он давно уже не был у Лосевых, камнем лежало у него на совести. И, походив по комнате, подумав, он сделал над собой усилие и решил поехать к ним дня на три, отбыть эту повинность и потом быть свободным и покойным по крайней мере до будущего лета. И, собираясь после завтрака на Брестский вокзал, он сказал прислуге, что вернется через три дня.

От Москвы до Кузьминок было два часа езды и потом от станции на лошадях минут двадцать. Уже со станции видел был лес Татьяны и три высоких узких дачи, которые начал строить и не достроил Лосев, пускавшийся в первые годы после женитьбы на разные аферы. Разорили его и эти дачи, и разные хозяйственные предприятия, и частые поездки в Москву, где он завтракал в «Славянском базаре», обедал в «Эрмитаже» и кончал день на Малой Бронной или на Живодерке у цыган (это называл он «встряхнуться»). Подгорин сам и выпивал, иногда помногу, и бывал у женщин без разбора, но лениво, холодно, не испытывая никакого удовольствия, и им овладевало брезгливое чувство, когда в его присутствии этому отдавались со страстью другие, и он не понимал людей, которые на Живодерке чувствуют себя свободнее,

чем дома, около порядочных женщин, и не любил таких людей; ему казалось, что всякая нечистота пристаёт к ним, как репейник. И Лосева он не любил и считал его неинтересным, ни на что не способным, ленивым малым, и в его обществе не раз испытывал брезгливое чувство...

Тотчас за лесом его встретили Сергей Сергееч и Надежда.

— Дорогой мой, что же это вы нас забыли? — говорил Сергей Сергееч, целуясь с ним три раза и потом держа его за талию обеими руками. — Вы нас совсем забыли, дружище.

У него были крупные черты, толстый нос, негустая русая борода; волосы он зачесывал набок, по-купечески, чтобы казаться простым, чисто русским. Он, когда говорил, дышал собеседнику прямо в лицо, а когда молчал, то дышал носом, тяжело. Его упитанное тело и излишняя сытость стесняли его, и он, чтобы легче дышать, всё выпячивал грудь, и это придавало ему надменный вид. Рядом с ним Надежда, его свояченица, казалась воздушной. Это была светлая блондинка, бледная, с добрыми, ласковыми глазами, стройная; красивая или нет — Подгорин понять не мог, так как знал ее с детства и пригляделся к ее наружности. Теперь она была в белом платье, с открытой шеей, и это впечатление белой, длинной, голой шеи было для него ново и не совсем приятно.

— Мы с сестрой ждем вас с утра, — сказала она. — У нас Варя, и тоже ждет вас.

Она взяла его под руку и вдруг засмеялась без причины и издала легкий радостный крик, точно была внезапно очарована какою-то мыслью. Поле с цветущей рожью, которое не шевелилось в тихом воздухе, и лес, озаренный солнцем, были прекрасны; и было похоже, что Надежда заметила это только теперь, идя рядом с Подгориным.

— Я приехал к вам на три дня, — сказал он. — Простите, раньше никак не мог выбраться из Москвы.

— Нехорошо, нехорошо, забыли нас совсем, — говорил Сергей Сергееч с добродушной укоризной. — *Jamais de ma vie!*¹ — сказал он вдруг и щелкнул пальцами.

¹ Никогда в моей жизни! (франц.)

У него была манера неожиданно для собеседника произносить в форме восклицания какую-нибудь фразу, не имевшую никакого отношения к разговору, и при этом щелкать пальцами. И всегда он подражал кому-нибудь; если закатывал глаза, или небрежно откидывал назад волосы, или впадал в пафос, то это значило, что накануне он был в театре или на обеде, где говорили речи. Теперь он шел, как подагрик, мелкими шагами, не стигая колен, — должно быть, тоже подражал кому-то.

— Знаете, Таня не верила, что вы приедете, — сказала Надежда. — У меня же и у Вари было предчувствие; я почему-то знала, что вы приедете именно с этим поездом.

— *Jamais de ma vie!* — повторил Сергей Сергееч.

В саду на террасе поджидали дамы. Десять лет назад Подгорин — он был тогда бедным студентом — преподавал Надежде математику и историю, за стол и квартиру; и Варя, курсистка, кстати брала у него уроки латинского языка. А Таня, тогда уже красивая, взрослая девушка, ни о чем не думала, кроме любви, и хотела только любви и счастья, страстно хотела, и ожидала жениха, который грезился ей дни и ночи. И теперь, когда ей было уже более тридцати лет, такая же красивая, видная, как прежде, в широком пеньюаре, с полными, белыми руками, она думала только о муже и о своих двух девочках, и у нее было такое выражение, что хотя вот она говорит и улыбается, но всё же она себе на уме, всё же она на страже своей любви и своих прав на эту любовь и всякую минуту готова броситься на врага, который захотел бы отнять у нее мужа и детей. Она любила сильно и, казалось ей, была любима взаимно, но ревность и страх за детей мучили ее постоянно и мешали ей быть счастливой.

После шумной встречи на террасе все, кроме Сергея Сергееча, пошли в комнату Татьяны. Сквозь опущенные шторы сюда не проникали солнечные лучи, было сумеречно, так что все розы в большом букете казались одного цвета. Подгорина усадили в старое кресло у окна, Надежда села у его ног, на низкой скамеечке. Он знал, что, кроме ласковых попреков, шуток, смеха, которые слышались теперь и так напоминали ему прошлое, будет еще неприятный разговор о векселях и закладных, — этого не миновать, — и подумал, что, пожалуй, было бы

лучше поговорить о делах теперь же, не откладывая; отделаться поскорее и — потом в сад, на воздух...

— Не поговорить ли нам сначала о делах? — сказал он. — Что у вас тут в Кузьминках новенького? Всё ли благополучно в Датском королевстве?

— Нехорошо у нас в Кузьминках, — ответила Татьяна и печально вздохнула. — Ах, наши дела так плохи, так плохи, что хуже, кажется, и быть не может, — сказала она и в волнении прошлась по комнате. — Имение наше продается, торги назначены на седьмое августа, уже везде публикации, и покупатели приезжают сюда, ходят по комнатам, смотрят... Всякий теперь имеет право входить в мою комнату и смотреть. Юридически это, быть может, справедливо, но это меня унижает, оскорбляет глубоко. Платить нам нечем и взять займы уже негде. Одним словом, ужасно, ужасно! Клянусь вам, — продолжала она, останавливаясь среди комнаты; голос ее дрожал и из глаз брызнули слезы, — клянусь вам всем святым, счастьем моих детей, без Кузьминок я не могу! Я здесь родилась, это мое гнездо, и если у меня отнимут его, то я не переживу, я умру с отчаяния.

— Мне кажется, вы слишком мрачно смотрите, — сказал Подгорин. — Всё обойдется. Ваш муж будет служить, вы войдете в новую колею, будете жить по-новому.

— Как вы можете это говорить! — крикнула Татьяна; теперь она казалась очень красивой и сильной, и то, что она каждую минуту была готова броситься на врага, который захотел бы отнять у нее мужа, детей и гнездо, было выражено на ее лице и во всей фигуре особенно резко. — Какая там новая жизнь! Сергей хлопочет, ему обещали место податного инспектора где-то там в Уфимской или Пермской губернии, и я готова куда угодно, хоть в Сибирь, я готова жить там десять, двадцать лет, но я должна знать, что рано или поздно я все-таки вернусь в Кузьминки. Без Кузьминок я не могу. И не могу, и не хочу. Не хочу! — крикнула она и топнула ногой.

— Вы, Миша, адвокат, — сказала Варя, — вы кричок, и это ваше дело посоветовать, что делать.

Был только один ответ, справедливый и разумный: «ничего нельзя сделать», но Подгорин не решился сказать это прямо и пробормотал нерешительно:

— Надо будет подумать... Я подумаю.

В нем было два человека. Как адвокату, ему случилось вести дела грубые, в суде и с клиентами он держался высокомерно и выражал свое мнение всегда прямо и резко, с приятелями покучивал грубо, но в своей личной интимной жизни, около близких или давно знакомых людей он обнаруживал необыкновенную деликатность, был застенчив и чувствителен и не умел говорить прямо. Достаточно было одной слезы, косою взгляда, лжи или даже некрасивого жеста, как он весь сжимался и терял волю. Теперь Надежда сидела у его ног, и ее голая шея ему не нравилась, и это его смущало, даже хотелось уехать домой. Как-то, год назад, он встретился с Сергеем Сергеичем у одной барыни на Бронной, и теперь ему неловко было перед Татьяной, точно он сам участвовал в измене. А этот разговор о Кузьминках поставил его в большое затруднение. Он привык к тому, что все щекотливые и неприятные вопросы решались судьями, или присяжными, или просто какой-нибудь статьёй закона, когда же вопрос предлагали ему лично, на его разрешение, то он терялся.

— Миша, вы наш друг, все мы вас любим, как своего,— продолжала Татьяна,— и я вам скажу откровенно: на вас вся надежда. Научите, бога ради, что нам делать? Может быть, нужно подать куда-нибудь прошение? Может быть, еще не поздно перевести имение на имя Нади или Вари?.. Что делать?

— Выручайте, Миша, выручайте,— сказала Варя, закуривая.— Вы всегда были умницей. Вы мало жили, еще ничего не испытали в жизни, но у вас на плечах хорошая голова... Вы поможете Тане, я знаю.

— Надо подумать... Может быть, придумаю что-нибудь.

Пошли гулять в сад, потом в поле. Гулял и Сергей Сергеич также. Он взял Подгорина под руку и всё вводил его вперед, видимо, собираясь поговорить с ним о чем-то, вероятно, о плохих делах. А идти рядом с Сергеем Сергеичем и говорить с ним было мучительно. Он то и дело целовался, и всё по три раза, брал под руку, обнимал за талию, дышал в лицо, и казалось, что он покрыт сладким клеем и сейчас прилипнет к вам; и это выражение в глазах, что ему что-то нужно от Подгорина, что он о чем-то сейчас попросит, производило тягостное впечатление, как будто он прицеливался из револьвера.

Зашло солнце, стало темнеть. По линии железной дороги там и сям зажглись огни, зеленые, красные... Варя остановилась и, глядя на эти огни, стала читать:

Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты,
А по бокам-то всё косточки русские..
Сколько их!..

— Как дальше? Ах, боже мой, забыла всё!

Мы подрывались под аном, под холодом,
С вечно согнутой спиной...

Она читала великолепным грудным голосом, с чувством, на лице у нее загорелся живой румянец, и на глазах показались слезы. Это была прежняя Варя, Варя-курсистка, и, слушая ее, Подгорин думал о прошлом и вспоминал, что и сам он, когда был студентом, знал наизусть много хороших стихов и любил читать их.

Не разогнул свою спину горбатую
Он и теперь еще: тупо молчит,..

Но дальше Варя не помнила... Она замолчала и слабо и вяло улыбнулась, и после ее чтения зеленые и красные огни стали казаться печальными...

— Эх, забыла.

Зато Подгорин вдруг вспомнил,— как-то случайно уцелело у него в памяти со студенчества,— и прочел тихо, вполголоса:

Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную,—
Вынесет всё — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе...
Жаль только...

— Жаль только,— перебила его Варя, вспомнив,— жаль только, жить в эту пору прекрасную уже не придется ни мне, ни тебе!

И она засмеялась и хлопнула его рукой по плечу.

Вернулись домой и сели ужинать. Сергей Сергееч небрежно ткнул угол салфетки за ворот — подражая кому-то.

— Давайте выпьем,— сказал он, наливая водки себе и Подгорину.— Мы, старые студенты, умели и выпить, и красно говорить, и дело делать. Пью за ваше здоровье,

дружище, а вы выпейте за здоровье старого дурался-идеалиста и пожелайте ему, чтобы он так идеалистом и умер. Горбатого могила исправит.

Татьяна всё время за ужином посматривала нежно на мужа, ревнуя и беспокоясь, как бы он не съел или не выпил чего-нибудь вредного. Ей казалось, что он избалован женщинами, устал,— это ей нравилось в нем, и в то же время она страдала. Варя и Надя также были нежны с ним и смотрели на него с беспокойством, точно боялись, что он вдруг возьмет и уйдет от них. Когда он хотел налить себе вторую рюмку, Варя сделала сердитое лицо и сказала:

— Вы отравляете себя, Сергей Сергееч. Вы нервный, впечатлительный человек и легко можете стать алкоголиком. Таня, вели убраться водку.

Вообще Сергей Сергееч имел большой успех у женщин. Они любили его рост, сложение, крупные черты лица, его праздность и его несчастья. Они говорили, что он очень добр и потому расточителен; он идеалист, и потому непрактичен; он честен, чист душой, не умеет приспособляться к людям и обстоятельствам, и потому ничего не имеет и не находит себе определенных занятий. Ему они верили глубоко, обожали его и избаловали его своим поклонением, так что он сам стал верить, что он идеалист, непрактичен, честен, чист душой и что он на целую голову выше и лучше этих женщин.

— Что же вы не похвалите моих девочек? — говорила Татьяна, глядя с любовью на своих двух девочек, здоровых, сытых, похожих на булки, и накладывая им полные тарелки рису.— Вы только взгляните в них! Говорят, что все матери хвалят своих детей, но, уверяю вас, я беспристрастна, мои девочки необыкновенные. Особенно старшая.

Подгорин улыбался ей и девочкам, но ему было странно, что эта здоровая, молодая, неглупая женщина, в сущности такой большой, сложный организм, всю свою энергию, все силы жизни расходует на такую несложную, мелкую работу, как устройство этого гнезда, которое и без того уже устроено.

«Может быть, это так и нужно,— думал он,— но это неинтересно и неумно».

— Он ахнуть не успел, как на него медведь напал,— сказал Сергей Сергееч и щелкнул пальцами.

Поужинали. Татьяна и Варя посадили Подгорина в гостиной на диване и стали говорить с ним вполголоса, опять о делах.

— Мы должны выручить Сергея Сергеевича,— сказала Варя,— это наша нравственная обязанность. Он имеет свои слабости, он не бережлив, не думает о черном дне, но это оттого, что он очень добр и щедр. Душа у него совсем детская. Если дать ему миллион, то через месяц же у него ничего не останется, всё раздаст.

— Правда, правда,— сказала Татьяна, и слезы потекли у нее по щекам.— Я настрадалась с ним, но должна сознаться, это чудный человек.

И обе они, Татьяна и Варя, не могли удержаться от маленькой жестокости, чтобы не попрекнуть Подгорина:

— А ваше поколение, Миша, уже не то!

«А при чем тут поколение? — подумал Подгорин.— Ведь Лосев старше меня лет на шесть, не больше...»

— Нелегко жить на этом свете,— сказала Варя и вздохнула.— Человеку постоянно угрожает какая-нибудь потеря. То хотят отнять у тебя имяние, то заболел кто-нибудь из близких и боишься, как бы он не умер,— и так изо дня в день. Но что делать, друзья мои. Надо без ропота подчиняться высшей воле, надо помнить, что на этом свете ничто не случайно, всё имеет свои отдаленные цели. Вы, Миша, еще мало жили и мало страдали, и вы будете смеяться надо мной; смейтесь, но я все-таки скажу: в пору моих самых жгучих тревог у меня было несколько случаев ясновидения, и это произвело в моей душе переворот, и теперь я знаю, что ничто не случайно и всё, что происходит в нашей жизни, необходимо.

Как эта Варя, уже седая, затянутая в корсет, в модном платье с высокими рукавами, Варя, вертящая папиросу длинными, худыми пальцами, которые почему-то дрожат у нее, Варя, легко впадающая в мистицизм, говорящая так вяло и монотонно,— как она непохожа на Варю-курсистку, рыжую, веселую, шумную, смелую...

«И куда оно всё девалось!» — думал Подгорин, слушая ее со скукой.

— Спойте, Ва, что-нибудь,— сказал он ей, чтобы прекратить этот разговор об ясновидении.— Когда-то вы хорошо пели.

— Э, Миша, что было, то былшем поросло.

— Ну, из Некрасова прочтите.

— Всё забыла. Давеча это у меня нечаянно вышло.

Несмотря на корсет и высокие рукава, было заметно, что она нуждалась и у себя на фабрике за Тулой жила впроголодь. И было очень заметно, что она заработалась; тяжелый, однообразный труд и это ее постоянное вмешательство в чужие дела, заботы о других переутомили и состарили ее, и Подгорин, глядя теперь на ее печальное, уже поблекшее лицо, думал, что в сущности следовало бы помочь не Кузьминкам и не Сергею Сергичу, за которых она так хлопочет, а ей самой.

Высшее образование и то, что она стала врачом, казалось, не коснулись в ней женщины. Она так же, как Татьяна, любила свадьбы, роды, крестины, длинные разговоры о детях, любила страшные романы с благоприятной развязкой, в газетах читала только про пожары, наводнения и торжественные церемонии; ей очень хотелось, чтобы Подгорин сделал предложение Надежде, и если бы это случилось, то она расплакалась бы от умиления.

Он не знал, произошло ли это случайно, или так устроила Варя,— он остался один с Надеждой, но одно подозрение, что за ним наблюдают и что от него чего-то хотят, стесняло и смущало его, и возле Надежды он чувствовал себя так, как будто его посадили вместе с ней в одну клетку.

— Пойдемте в сад,— сказала она.

Они пошли в сад: он недовольный, с досадным чувством, не зная, о чем говорить с ней, а она радостная, гордая его близостью, очевидно довольная, что он проживет здесь еще три дня, и полная, быть может, сладких грез и надежд. Ему было неизвестно, любит ли она его, но он знал, что она привыкла и привязалась к нему уже давно и всё еще видит в нем своего учителя и что теперь у нее на душе происходит то же, что когда-то происходило у ее сестры Татьяны, то есть она думает только о любви, о том, как бы поскорее выйти замуж, иметь мужа, детей и свой угол. Чувство дружбы, которое бывает так сильно в детях, она сохранила до сих пор, и очень возможно, что она только уважала Подгорина и любила как друга, влюблена же была не в него, а в эти свои мечты о муже и детях.

— Становится темно,— сказал он.

— Да. Луна восходит теперь поздно.

Они ходили всё по одной аллее, около дома. Подгорину не хотелось идти в глубь сада: там темно, пришлось бы взять Надежду под руку, быть очень близко к ней. На террасе двигались какие-то тени, и ему казалось, что это Татьяна и Варя наблюдают за ним.

— Мне нужно с вами посоветоваться, — сказала Надежда, останавливаясь. — Если Кузьминки продадут, то Сергей Сергееч поедет служить, и тогда наша жизнь должна измениться совершенно. Я не поеду с сестрой, мы расстанемся, потому что я не хочу быть бременем для ее семьи. Надо работать. Я поступлю в Москву куда-нибудь, буду зарабатывать, помогать сестре и ее мужу. Вы поможете мне советом — не правда ли?

Совершенно незнакомая с трудом, она теперь была воодушевлена мыслью о самостоятельной, трудовой жизни, строила планы будущего — это было написано на ее лице, и та жизнь, когда она будет работать и помогать другим, казалась ей прекрасной, поэтичной. Он видел близко ее бледное лицо и темные брови и вспоминал, какая это была умная, сметливая ученица, с какими хорошими задатками, и как приятно было давать ей уроки. И теперь, вероятно, это была не просто барышня, которая хочет жениха, а умная, благородная девушка, доброты необыкновенной, с кроткой, мягкой душой, из которой, как из воска, можно слепить всё что угодно, и, попади она в подходящую среду, из нее вышла бы превосходная женщина.

«Отчего бы и не жениться на ней, в самом деле?» — подумал Подгорин, но тотчас же почему-то испугался этой мысли и пошел к дому.

В гостиной за роялью сидела Татьяна, и ее игра живо напоминала прошлое, когда в этой самой гостиной играли, пели и танцевали до глубокой ночи, при открытых окнах, и птицы в саду и на реке тоже пели. Подгорин развеселился, стал шалить, протанцевал и с Надеждой, и с Варей, потом пел. Его стесняла мозоль на ноге, и он просил позволения надеть туфли Сергея Сергееча и, странное дело, в туфлях почувствовал себя своим человеком, родным («Точно зять...» — мелькнуло у него в мыслях), и ему стало еще веселей. Глядя на него, все ожили, повеселели, точно помолодели; у всех лица засияли надеждой: Кузьминки спасены! Ведь это так просто

сделать: стоит только придумать что-нибудь, порыться в законах или Наде выйти за Подгорина... И, очевидно, дело уже идет на лад. Надя, розовая, счастливая, с глазами, полными слез, в ожидании чего-то необыкновенного, кружилась в танце, и белое платье ее надувалось, и видны были ее маленькие красивые ноги в чулках телесного цвета... Варя, очень довольная, взяла Подгорина под руку и сказала ему вполголоса, с значительным выражением:

— Миша, не бегите своего счастья. Берите его, пока оно само дается вам в руки, а потом и сами побегите за ним, да уж будет поздно, не догоните.

Подгорину хотелось обещать, обнадеживать, и уже он сам верил, что Кузьминки спасены и что это так просто сделать.

— И бу-удешь ты царицей ми-ира..., — запел он, становясь в позу, но вдруг вспомнил, что ничего не может сделать для этих людей, решительно ничего, и притих, как виноватый.

И потом сидел в углу, молча, поджимая ноги, обутые в чужие туфли.

Глядя на него, и остальные поняли, что сделать уже ничего нельзя, и притихли. Закрыли рояль. И все заметили, что уже поздно, пора спать, и Татьяна погасила в гостиной большую лампу.

Подгорину была приготовлена постель в том самом флигеле, где он жил когда-то. Сергей Сергеич пошел проводить его, держа высоко над головой свечу, хотя уже восходила луна и было светло. Они шли по аллее между кустами сирени, и у обоих под ногами шуршал гравий.

— Он ахнуть не успел, как на него медведь напал, — сказал Сергей Сергеич.

И Подгорину казалось, что эту фразу он слышал уже тысячу раз. Как она ему надоела! Когда пришли во флигель, Сергей Сергеич достал из своего просторного пиджака бутылку и две рюмки и поставил их на стол.

— Это коньяк, — сказал он. — Номер ноль-ноль. Там в доме Варя, пить при ней нельзя, сейчас начнет об алкоголизме, а здесь нам вольготно. Коньяк великолепный.

Сели. Коньяк в самом деле оказался хорошим.

— Давайте выпьем сегодня основательно, — продолжал Сергей Сергеич, закусывая лимоном. — Я ста-

рый бурш, люблю иногда встряхнуться. Это необходимо.

А в глазах было всё то же выражение, что ему что-то нужно от Подгорина и что он о чем-то сейчас попросит.

— Выпьем, душа моя,— продолжал он, вздыхая,— а то уж очень тяжело стало. Нашему брату-чудаку конец пришел, крышка. Идеализм теперь не в моде. Теперь царит рубль, и если хочешь, чтобы не спихнули с дороги, то распластайся перед рублем и благоговей. Но я не могу. Уж очень претит!

— Когда назначены торги? — спросил Подгорин, чтобы переменить разговор.

— На седьмое августа. Но я вовсе не рассчитываю, дорогой мой, спасти Кузьминки. Недоимка скопилась громадная, и имение не приносит никакого дохода, только убытки каждый год. Не стоит того... Тане, конечно, жаль, это ее родовое, а я, признаться, даже рад отчасти. Я совсем не деревенский житель. Мое поле — большой, шумный город, моя стихия — борьба!

Он говорил еще, но всё не то, что хотел, и зорко следил за Подгориним, как бы выжидая удобного момента. И вдруг Подгорин увидел близко его глаза, почувствовал на лице его дыхание...

— Дорогой мой, спасите меня! — проговорил Сергей Сергеич, тяжело дыша.— Дайте мне двести рублей! Я вас умоляю!

Подгорин хотел сказать, что он сам стеснен в деньгах, и подумал, что лучше эти двести рублей отдать какому-нибудь бедняку или просто даже проиграть в карты, но страшно сконфузился и, чувствуя себя в этой маленькой комнатке с одной свечой, как в ловушке, желая отделаться поскорее от этого дыхания, от мягких рук, которые держали его за талию и, казалось, уже прилипли, стал быстро искать в карманах свою записную книжку, где были деньги.

— Вот...— пробормотал он, вынимая сто рублей.— Остальные потом. Больше при мне ничего нет. Видите, я не умею отказывать,— продолжал он с раздражением, начиная сердиться.— У меня несносный бабий характер. Только, пожалуйста, потом возвратите мне эти деньги. Я сам нуждаюсь.

— Благодарю вас. Благодарю, дружище!

— И ради бога, перестаньте воображать, что вы идеалист. Вы такой же идеалист, как я индюк. Вы просто

легкомысленный, праздный человек, и больше ничего.

Сергей Сергееч глубоко вздохнул и сел на диван.

— Вы, дорогой мой, сердитесь,— сказал он,— но если бы вы знали, как мне тяжело! Я переживаю теперь ужасное время. Дорогой мой, клянусь, мне не себя жаль, нет! Мне жаль жены и детей. Если бы не дети и не жена, то я давно бы уже покончил с собой.

И вдруг плечи и голова у него затряслись, и он зарыдал.

— Этого еще недоставало,— сказал Подгорин, в волнении ходя по комнате и чувствуя сильную досаду.— Ну, вот что прикажете делать с человеком, который наделал массу зла и потом рыдает? Эти ваши слезы обезоруживают, я не в силах ничего сказать вам. Вы рыдаете, значит, вы правы.

— Я сделал массу зла? — спросил Сергей Сергееч, поднимаясь и с удивлением глядя на Подгорина.— Дорогой мой, вы ли это говорите? Я сделал массу зла?! О, как вы меня мало знаете! Как вы меня мало понимаете!

— Прекрасно, пусть я вас не понимаю, только, пожалуйста, не рыдайте. Это противно.

— О, как вы меня мало знаете! — повторял Лосев совершенно искренно.— Как вы меня мало знаете!

— Посмотрите на себя в зеркало,— продолжал Подгорин,— вы уже не молодой человек, скоро будете стары, пора же наконец одуматься, отдать себе хоть какой-нибудь отчет, кто вы и что вы. Всю жизнь ничего не делать, всю жизнь эта праздная ребяческая болтовня, ломанье, кривлянье — неужели у вас у самого голова еще не закружилась и не надоело так жить? Тяжело с вами! Скучно с вами до одурения!

Сказавши это, Подгорин вышел из флигеля и хлопнул дверью. Едва ли это не в первый раз в жизни он был искренен и говорил то, что хотел.

Немного погодя он уже жалел, что был так суров. Какая польза говорить серьезно или спорить с человеком, который постоянно лжет, много ест, много пьет, тратит много чужих денег и в то же время убежден, что он идеалист и страдалец? Тут имеешь дело с глупостью или со старыми дурными привычками, которые крепко въелись в организм, как болезнь, и уже неизлечимы. Во всяком случае негодование и суровые попреки тут бесполезны, и скорее нужно смеяться; одна хорошая

насмешка сделала бы гораздо больше, чем десяток проповедей!

— «Проще же вовсе не обращать внимания, — подумал Подгорин, — а главное, не давать денег».

А погода еще немного он уже не думал ни о Сергее Сергеече, ни о своих ста рублях. Была тихая, задумчивая ночь, очень светлая. Когда в лунные ночи Подгорин смотрел на небо, то ему казалось, что бодрствуют только он да луна, всё же остальное спит или дремлет; и на ум не шли ни люди, ни деньги, и настроение мало-помалу становилось тихим, мирным, он чувствовал себя одиноким на этом свете, и в ночной тишине звук его собственных шагов казался ему таким печальным.

Сад был обнесен белым каменным забором. В стороне, обращенной в поле, на правом углу стояла башня, построенная очень давно, еще в крепостное право. Низ был каменный, а верх деревянный, с площадкой, с конической крышей и с длинным шпилем, на котором чернел флюгер. Внизу были две двери, так что из сада можно было пройти в поле, и снизу вверх на площадку вела лестница, которая скрипела под ногами. Под лестницей были свалены старые поломанные кресла, и лунный свет, проникая теперь в дверь, освещал эти кресла, и они со своими кривыми, задранными вверх ножками, казалось, ожили к ночи и кого-то подстерегали здесь в тишине.

Подгорин взшел по лестнице на площадку и сел. Тотчас за забором была межевая канава с валом, а дальше было поле, широкое, залитое лунным светом. Подгорин знал, что как раз прямо, верстах в трех от усадьбы, был лес, и теперь ему казалось, что он видит вдали темную полосу. Кричали перепела и дергачи; и изредка со стороны леса доносился крик кукушки, которая тоже не спала.

Послышались шаги. Кто-то шел по саду, приближаясь к башне.

Залаяла собака.

— Жук! — тихо позвал женский голос. — Жук, назад!

Слышно было, как внизу вошли в башню, и через минуту на валу показалась черная собака, старая знакомая Подгорина. Она остановилась и, глядя вверх, в ту сторону, где сидел Подгорин, дружелюбно замахала хвостом. А потом, немного погодя, из черной канавы,

как тень, поднялась белая фигура и тоже останбвилась на валу. Это была Надежда.

— Что ты там видишь? — спросила она у собаки и стала смотреть вверх.

Она не видела Подгорина, но, вероятно, чувствовала его близость, так как улыбалась и ее бледное лицо, освещенное луной, казалось счастливым. Черная тень от башни, тянувшаяся по земле далеко в поле, неподвижная белая фигура с блаженной улыбкой на бледном лице, черная собака, тени обеих — и всё вместе точно сон...

— Там кто-то есть... — тихо проговорила Надежда.

Она стояла и ждала, что он сойдет вниз или позовет ее к себе и наконец объяснится, и оба они будут счастливы в эту тихую прекрасную ночь. Белая, бледная, тонкая, очень красивая при лунном свете, она ждала ласки; ее постоянные мечты о счастье и любви истомили ее, и уже она была не в силах скрывать своих чувств, и ее вся фигура, и блеск глаз, и застывшая счастливая улыбка выдавали ее сокровенные мысли, а ему было неловко, он сжался, притих, не зная, говорить ли ему, чтобы всё, по обыкновению, разыграть в шутку, или молчать, и чувствовал досаду и думал только о том, что здесь в усадьбе, в лунную ночь, около красивой, влюбленной, мечтательной девушки он так же равнодушен, как на Малой Бронной, — и потому, очевидно, что эта поэзия отжила для него так же, как та грубая проза. Отжили и свидания в лунные ночи, и белые фигуры с тонкими талиями, и таинственные тени, и башни, и усадьбы, и такие «типы», как Сергей Сергеич, и такие, как он сам, Подгорин, со своей холодной скукой, постоянной досадой, с неумением приспособляться к действительной жизни, с неумением брать от нее то, что она может дать, и с томительной, ноющей жаждой того, чего нет и не может быть на земле. И теперь, сидя здесь, на этой башне, он предпочел бы хороший фейерверк, или какую-нибудь процессию при лунном свете, или Варю, которая опять прочла бы «Железную дорогу», или другую женщину, которая, стоя на валу, там, где стоит теперь Надежда, рассказывала бы что-нибудь интересное, новое, не имеющее отношения ни к любви, ни к счастью, а если и говорила бы о любви, то чтобы это было призывом к новым формам жизни, высоким и

разумным, накануне которых мы уже живем, быть может, и которые предчувствуем иногда...

— Никого нет, — сказала Надежда.

И постояв еще минуту, она пошла по направлению к лесу, тихо, понуриив голову. Собака побежала впереди. И Подгорин долго еще видел белое пятно.

«Как это всё сложилось, однако...», — повторял он мысленно, возвращаясь к себе во флигель.

Он не мог себе представить, о чем он будет завтра говорить с Сергеем Сергеевичем, с Татьяной, как будет держать себя с Надеждой — и послезавтра тоже, и заранее испытывал смущение, страх и скуку. Чем наполнить эти длинные три дня, которые он обещал прожить здесь? Ему припомнились разговор об ясновидении и фраза Сергея Сергеевича: «он ахнуть не успел, как на него медведь напал», вспомнил он, что завтра в угоду Татьяне придется улыбаться ее сытым, пухлым девочкам, — и решил уехать.

В половине шестого на террасе большого дома показался Сергей Сергеевич в бухарском халате и в феске с кисточкой. Подгорин, не теряя ни минуты, пошел к нему и стал прощаться.

— Мне необходимо быть в Москве к десяти часам, — говорил он, не глядя на него. — Я совершенно забыл, что меня будут ждать у нотариуса. Отпустите меня, пожалуйста. Когда ваши встанут, скажите им, что я извиняюсь, страшно жалею...

Он не слышал, что говорил ему Сергей Сергеевич, и торопился, и всё оглядывался на окна большого дома, боясь, как бы дамы не проснулись и не задержали его. Ему было стыдно этой своей нервности. Он чувствовал, что в Кузьминках он уже последний раз и больше сюда не придет, и, уезжая, оглянулся несколько раз на флигель, в котором когда-то было прожито так много хороших дней, но на душе у него было холодно, не стало грустно...

Дома у себя на столе он увидел прежде всего записку, которую получил вчера. «Милый Миша, — прочел он, — вы нас забыли совсем, приезжайте поскорее...» И почему-то ему вспомнилось, как Надежда кружилась в танце, как раздувалось ее платье и видны были ноги в чулках телесного цвета...

А минут через десять он уже сидел за столом и работал и уже не думал о Кузьминках.

ИОНЫЧ

I

Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни, то местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что, напротив, в С. очень хорошо, что в С. есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно завести знакомства. И указывали на семью Туркиных как на самую образованную и талантливую.

Эта семья жила на главной улице, возле губернатора, в собственном доме. Сам Туркин, Иван Петрович, полный, красивый брюнет с бакенами, устраивал любительские спектакли с благотворительною целью, сам играл старых генералов и при этом кашлял очень смешно. Он знал много анекдотов, шарад, поговорок, любил шутить и острить, и всегда у него было такое выражение, что нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. Жена его, Вера Иосифовна, худощавая, миловидная дама в рinсе-пез, писала повести и романы и охотно читала их вслух своим гостям. Дочь, Екатерина Ивановна, молодая девушка, играла на рояле. Одним словом, у каждого члена семьи был какой-нибудь свой талант. Туркины принимали гостей радушно и показывали им свои таланты весело, с сердечной простотой. В их большом каменном доме было просторно и летом прохладно, половина окон выходила в старый тенистый сад, где весной пели соловьи; когда в доме сидели гости, то в кухне стучали ножами, во дворе пахло жареным луком — и это всякий раз предвещало обильный и вкусный ужин.

И доктору Старцеву, Дмитрию Ионычу, когда он был только что назначен земским врачом и поселился в Дялиже, в девяти верстах от С., тоже говорили, что ему, как интеллигентному человеку, необходимо познакомиться с Туркиными. Как-то зимой на улице его пред-

ставили Ивану Петровичу; поговорили о погоде, о театре, о холере, последовало приглашение. Весной, в праздник — это было Вознесение, — после приема больных, Старцев отправился в город, чтобы развлечься немножко и кстати купить себе кое-что. Он шел пешком, не спеша (своих лошадей у него еще не было), и всё время напевал:

Когда еще я не пил слез из чаши бытия...

В городе он пообедал, погулял в саду, потом как-то само собой пришло ему на память приглашение Ивана Петровича, и он решил сходить к Туркиным, посмотреть, что это за люди.

— Здравствуйте пожалуйста, — сказал Иван Петрович, встречая его на крыльце. — Очень, очень рад видеть такого приятного гостя. Пойдемте, я представлю вас своей благоверной. Я говорю ему, Верочка, — продолжал он, представляя доктора жене, — я ему говорю, что он не имеет никакого римского права сидеть у себя в больнице, он должен отдавать свой досуг обществу. Не правда ли, душенька?

— Садитесь здесь, — говорила Вера Иосифовна, сажая гостя возле себя. — Вы можете ухаживать за мной. Мой муж ревнив, это Отелло, но ведь мы постараемся вести себя так, что он ничего не заметит.

— Ах ты, дышка, баловница... — нежно пробормотал Иван Петрович и поцеловал ее в лоб. — Вы очень кстати пожаловали, — обратился он опять к гостю, — моя благоверная написала большинский роман и сегодня будет читать его вслух.

— Жанчик, — сказала Вера Иосифовна мужу, — *dites que l'on nous donne du thé*¹.

Старцеву представили Екатерину Ивановну, семнадцатилетнюю девушку, очень похожую на мать, такую же худощавую и миловидную. Выражение у нее было еще детское и талия тонкая, нежная; и девственная, уже развитая грудь, красивая, здоровая, говорила о весне, настоящей весне. Потом пили чай с вареньем, с медом, с конфетами и с очень вкусными печеньями, которые таяли во рту. С наступлением вечера мало-

¹ скажи, чтобы дали нам чаю (*франц.*).

немалу сходились гости, и к каждому из них Иван Петрович обращал свои смеющиеся глаза и говорил:

— Здравствуйте пожалуйста.

Потом все сидели в гостиной, с очень серьезными лицами, и Вера Иосифовна читала свой роман. Она начала так: «Мороз крепчал...» Окна были отворены настежь, слышно было, как на кухне стучали пожами, и доносился запах жареного лука... В мягких, глубоких креслах было покойно, огни мигали так ласково в сумерках гостиной; и теперь, в летний вечер, когда долетали с улицы голоса, смех и потягивало со двора сиренью, трудно было понять, как это крепчал мороз и как заходившее солнце освещало своими холодными лучами снежную равнину и путника, одиноко шедшего по дороге; Вера Иосифовна читала о том, как молодая, красивая графиня устраивала у себя в деревне школы, больницы, библиотеки и как она полюбила странствующего художника,— читала о том, чего никогда не бывает в жизни, и все-таки слушать было приятно, удобно, и в голову шли всё такие хорошие, покойные мысли,— не хотелось вставать.

— Недурственно...— тихо проговорил Иван Петрович.

А один из гостей, слушая и уносясь мыслями куда-то очень, очень далеко, сказал едва слышно:

— Да... действительно...

Прошел час, другой. В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. Когда Вера Иосифовна закрыла свою тетрадь, то минут пять молчали и слушали «Лучинушку», которую пел хор, и эта песня передавала то, чего не было в романе и что бывает в жизни.

— Вы печатаете свои произведения в журналах? — спросил у Веры Иосифовны Старцев.

— Нет,— отвечала она,— я нигде не печатаю. Напишу и спрячу у себя в шкапу. Для чего печатать? — пояснила она.— Ведь мы имеем средства.

И все почему-то вздохнули.

— А теперь ты, Котик, сыграй что-нибудь,— сказал Иван Петрович дочери.

Подняли у рояля крышку, раскрыли ноты, лежавшие уже наготове. Екатерина Ивановна села и обеими руками ударила по клавишам; и потом тотчас же опять

ударила изо всей силы, и опять, и опять; плечи и грудь у нее содрогались, она упрямо ударяла всё по одному месту, и казалось, что она не перестанет, пока не вобьет клавишей внутрь рояля. Гостиная наполнилась громом; гремело всё: и пол, и потолок, и мебель... Екатерина Ивановна играла трудный пассаж, интересный именно своею трудностью, длинный и однообразный, и Старцев, слушая, рисовал себе, как с высокой горы сыплются камни, сыплются и всё сыплется, и ему хотелось, чтобы они поскорее перестали сыпаться, и в то же время Екатерина Ивановна, розовая от напряжения, сильная, энергичная, с локоном, упавшим на лоб, очень нравилась ему. После зимы, проведенной в Дялиже, среди больных и мужиков, сидеть в гостиной, смотреть на это молодое, изящное и, вероятно, чистое существо и слушать эти шумные, надоедливые, но всё же культурные звуки, — было так приятно, так ново...

— Ну, Котик, сегодня ты играла, как никогда, — сказал Иван Петрович со слезами на глазах, когда его дочь кончила и встала. — Умри, Денис, лучше не напишешь.

Все окружили ее, поздравляли, изумлялись, уверяли, что давно уже не слышали такой музыки, а она слушала молча, чуть улыбаясь, и на всей ее фигуре было написано торжество.

— Прекрасно! превосходно!

— Прекрасно! — сказал и Старцев, поддаваясь общему увлечению. — Вы где учились музыке? — спросил он у Екатерины Ивановны. — В консерватории?

— Нет, в консерваторию я еще только собираюсь, а пока училась здесь, у мадам Завловской.

— Вы кончили курс в здешней гимназии?

— О нет! — ответила за нее Вера Иосифовна. — Мы приглашали учителей на дом, в гимназии же или в институте, согласитесь, могли быть дурные влияния; пока девушка растет, она должна находиться под влиянием одной только матери.

— А все-таки в консерваторию я поеду, — сказала Екатерина Ивановна.

— Нет, Котик любит свою маму. Котик не станет огорчать папу и маму.

— Нет, поеду! Поеду! — сказала Екатерина Ивановна, шутя и капризничая, и топнула ножкой.

А за ужином уже Иван Петрович показывал свои таланты. Он, смеясь одними только глазами, рассказывал анекдоты, острил, предлагал смешные задачи и сам же решал их и всё время говорил на своем необыкновенном языке, выработанном долгими упражнениями в остроумии и, очевидно, давно уже вошедшем у него в привычку: большинский, недурственно, покорчило вас благодарю...

Но это было не всё. Когда гости, сытые и довольные, толпились в передней, разбирая свои пальто и трости, около них суетился лакей Павлуша, или, как его звали здесь, Пава, мальчик лет четырнадцати, стриженный, с полными щеками.

— А ну-ка, Пава, изобрази! — сказал ему Иван Петрович.

Пава стал в позу, поднял вверх руку и проговорил трагическим тоном:

— Умри, несчастная!

И все захохотали.

«Занятно», — подумал Старцев, выходя на улицу.

Он зашел еще в ресторан и выпил пива, потом отправился пешком к себе в Дялиж. Шел он и всю дорогу напевал:

Твой голос для меня, и ласковый, и томный...

Пройдя девять верст и потом ложась спать, он не чувствовал ни малейшей усталости, а напротив, ему казалось, что он с удовольствием прошел бы еще верст двадцать.

«Недурственно...» — вспомнил он, засыпая, и засмеялся.

II

Старцев всё собирался к Туркиным, но в больнице было очень много работы, и он никак не мог выбрать свободного часа. Прошло больше года таким образом в трудах и одиночестве; но вот из города принесли письмо в голубом конверте...

Вера Иосифовна давно уже страдала мигренью, но в последнее время, когда Котик каждый день пугала, что уедет в консерваторию, припадки стали повторяться всё чаще. У Туркиных перебивали все городские врачи; дошла наконец очередь и до земского. Вера Иосифовна

написала ему трогательное письмо, в котором просила его приехать и облегчить ее страдания. Старцев приехал и после этого стал бывать у Туркиных часто, очень часто... Он в самом деле немножко помог Вере Иосифовне, и она всем гостям уже говорила, что это необыкновенный, удивительный доктор. Но ездил он к Туркиным уже не ради ее мигрени...

Праздничный день. Екатерина Ивановна кончила свои длинные, томительные экзерсисы на рояле. Потом долго сидели в столовой и пили чай, и Иван Петрович рассказывал что-то смешное. Но вот звонок; нужно было идти в переднюю встречать какого-то гостя; Старцев воспользовался минутой замешательства и сказал Екатерине Ивановне пёпотом, сильно волнуясь:

— Ради бога, умоляю вас, не мучайте меня, пойдемте в сад!

Она пожала плечами, как бы недоумевающая и не понимая, что ему нужно от нее, но встала и пошла.

— Вы по три, по четыре часа играете на рояле,— говорил он, идя за ней,— потом сидите с мамой, и нет никакой возможности поговорить с вами. Дайте мне хоть четверть часа, умоляю вас.

Приближалась осень, и в старом саду было тихо, грустно и на аллеях лежали темные листья. Уже рано смеркалось.

— Я не видел вас целую неделю,— продолжал Старцев,— а если бы вы знали, какое это страдание! Сядемте. Выслушайте меня.

У обоих было любимое место в саду: скамья под старым широким кленом. И теперь сели на эту скамью.

— Что вам угодно? — спросила Екатерина Ивановна сухо, деловым тоном.

— Я не видел вас целую неделю, я не слышал вас так долго. Я страстно хочу, я жажду вашего голоса. Говорите.

Она восхищалась его своею свежестью, наивным выражением глаз и щек. Даже в том, как сидело на ней платье, он видел что-то необыкновенно милое, трогательное своей простотой и наивной грацией. И в то же время, несмотря на эту наивность, она казалась ему очень умной и развитой не по летам. С ней он мог говорить о литературе, об искусстве, о чем угодно, мог жаловаться ей на жизнь, на людей, хотя во время серьезного

разговора, случалось, она вдруг некстати начинала смеяться или убегала в дом. Она, как почти все с—и—и девушки, много читала (вообще же в С. читали очень мало, и в здешней библиотеке так и говорили, что если бы не девушки и не молодые евреи, то хоть закрывай библиотеку); это бесконечно нравилось Старцеву, он с волнением спрашивал у нее всякий раз, о чем она читала в последние дни, и, очарованный, слушал, когда она рассказывала.

— Что вы читали на этой неделе, пока мы не виделись? — спросил он теперь. — Говорите, прошу вас.

— Я читала Писемского.

— Что именно?

— «Тысяча душ», — ответила Котик. — А как смешно звали Писемского: Алексей Феофилактыч!

— Куда же вы? — ужаснулся Старцев, когда она вдруг встала и пошла к дому. — Мне необходимо поговорить с вами, я должен объясниться... Побудьте со мной хоть пять минут! Заклинаю вас!

Она остановилась, как бы желая что-то сказать, потом неловко сунула ему в руку записку и побежала в дом, и там опять села за рояль.

«Сегодня, в одиннадцать часов вечера, — прочел Старцев, — будьте на кладбище возле памятника Деметти».

«Ну, уж это совсем не умно, — подумал он, придя в себя. — При чем тут кладбище? Для чего?»

Было ясно: Котик дурачилась. Кому, в самом деле, придет серьезно в голову назначать свидание ночью, далеко за городом, на кладбище, когда это легко можно устроить на улице, в городском саду? И к лицу ли ему, земскому доктору, умному, солидному человеку, вздыхать, получать записочки, таскаться по кладбищам, делать глупости, над которыми смеются теперь даже гимназисты? К чему поведет этот роман? Что скажут товарищи, когда узнают? Так думал Старцев, бродя в клубе около столов, а в половине одиннадцатого вдруг взял и поехал на кладбище.

У него уже была своя пара лошадей и кучер Пантелеймон в бархатной жилетке. Светила луна. Было тихо, тепло, но тепло по-осеннему. В предместье, около боен, были собаки. Старцев оставил лошадей на краю города, в одном из переулков, а сам пошел на кладбище пеш-

ком. «У всякого свои странности,— думал он.— Котик тоже странная и — кто знает? — быть может, она не шутит, придет»,— и он отдался этой слабой, пустой надежде, и она опьянила его.

С полверсты он прошел полем. Кладбище обозначалось вдали темной полосой, как лес или большой сад. Показалась ограда из белого камня, ворота... При лунном свете на воротах можно было прочесть: «Грядет час в онь же...» Старцев вошел в калитку, и первое, что он увидел, это белые кресты и памятники по обе стороны широкой аллеи и черные тени от них и от тополей; и кругом далеко было видно белое и черное, и сонные деревья склоняли свои ветви над белым. Казалось, что здесь было светлей, чем в поле; листья кленов, похожие на лапы, резко выделялись на желтом песке аллеи и на плитах, и надписи на памятниках были ясны. На первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни и чего, вероятно, больше уже не случится видеть: мир, не похожий ни на что другое,— мир, где так хорош и мягок лунный свет, точно здесь его колыбель, где нет жизни, нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную. От плит и увядших цветов, вместе с осенним запахом листьев, веет прощением, печалью и покоем.

Кругом безмолвие; в глубоком смирении с неба смотрели звезды, и шаги Старцева раздавались так резко и некстати. И только когда в церкви стали бить часы и он вообразил самого себя мертвым, зарытым здесь навеки, то ему показалось, что кто-то смотрит на него, и он на минуту подумал, что это не покой и не тишина, а глухая тоска небытия, подавленное отчаяние...

Памятник Деметти в виде часовни, с ангелом наверху; когда-то в С. была проездом итальянская опера, одна из певиц умерла, ее похоронили и поставили этот памятник. В городе уже никто не помнил о ней, но лампадка над входом отражала лунный свет и, казалось, горела.

Никого не было. Да и кто пойдет сюда в полночь? Но Старцев ждал, и, точно лунный свет подогревал в нем страсть, ждал страстно и рисовал в воображении поцелуи, объятия. Он посидел около памятника с полчаса, потом прошелся по боковым аллеям, со шляпой

в руке, поджидая и думая о том, сколько здесь, в этих могилах, зарыто женщин и девушек, которые были красивы, очаровательны, которые любили, сгорали по почам страстью, отдаваясь ласке. Как в сущности нехорошо шутит над человеком мать-природа, как обидно сознавать это! Старцев думал так, и в то же время ему хотелось закричать, что он хочет, что он ждет любви во что бы то ни стало; перед ним белели уже не куски мрамора, а прекрасные тела, он видел формы, которые стыдливо прятались в тени деревьев, ощущал тепло, и это томление становилось тягостным...

И точно опустился занавес, дуна ушла под облака, и вдруг всё потемнело кругом. Старцев едва нашел ворота,— уже было темно, как в осеннюю ночь,— потом часа полтора бродил, отыскивая переулок, где оставил своих лошадей.

— Я устал, едва держусь на ногах,— сказал он Пантелеймону.

И, садясь с наслаждением в коляску, он подумал:
«Ох, не надо бы полнеть!»

III

На другой день вечером он поехал к Туркиным делать предложение. Но это оказалось неудобным, так как Екатерину Ивановну в ее комнате причесывал парикмахер. Она собиралась в клуб на танцевальный вечер.

Пришлось опять долго сидеть в столовой и пить чай. Иван Петрович, видя, что гость задумчив и скучает, вынул из жилетного кармана записочки, прочел смешное письмо немца-управляющего о том, как в имении испортились все запираательства и обвалилась застенчивость.

«А приданого они дадут, должно быть, немало»,— думал Старцев, рассеянно слушая.

После бессонной ночи он находился в состоянии ошеломления, точно его опоили чем-то сладким и усыпляющим; на душе было туманно, но радостно, тепло, и в то же время в голове какой-то холодный, тяжелый кусочек рассуждал:

«Остановись, пока не поздно! Пара ли она тебе? Она избалована, капризна, спит до двух часов, а ты дьячковский сын, земский врач...»

«Ну что ж? — думал он. — И пусть».

«К тому же, если ты женишься на ней, — продолжал кусочек, — то ее родня заставит тебя бросить земскую службу и жить в городе».

«Ну что ж? — думал он. — В городе, так в городе. Дадут приданое, заведем обстановку...»

Наконец вошла Екатерина Ивановна в бальном платье, декольте, хорошенькая, чистенькая, и Старцев залюбовался и пришел в такой восторг, что не мог выговорить ни одного слова, а только смотрел на нее и смеялся.

Она стала прощаться, и он — оставаться тут ему было уже незачем — поднялся, говоря, что ему пора домой: ждут больные.

— Делать нечего, — сказал Иван Петрович, — поезжайте, кстати же подвезете Котика в клуб.

На дворе накрапывал дождь, было очень темно, и только по хриплому кашлю Пантелеймона можно было угадать, где лошади. Подняли у коляски верх.

— Я иду по ковру, ты идешь, пока врешь, — говорил Иван Петрович, усаживая дочь в коляску, — он идет, пока врет... Трогай! Прощайте пожалуйста!

Поехали.

— А я вчера был на кладбище, — начал Старцев. — Как это невеликодушно и немилосердно с вашей стороны...

— Вы были на кладбище?

— Да, я был там и ждал вас почти до двух часов. Я страдал...

— И страдайте, если вы не понимаете шуток.

Екатерина Ивановна, довольная, что так хитро подшутила над влюбленным и что ее так сильно любят, захохотала и вдруг вскрикнула от испуга, так как в это самое время лошади круто поворачивали в ворота клуба и коляска накренилась. Старцев обнял Екатерину Ивановну за талию; она, испуганная, прижалась к нему, и он не удержался и страстно поцеловал ее в губы, в подбородок и сильнее обнял.

— Довольно, — сказала она сухо.

И чрез мгновение ее уже не было в коляске, и городской около освещенного подъезда клуба кричал отвратительным голосом на Пантелеймона:

— Чего стал, ворона? Проезжай дальше!

Старцев поехал домой, но скоро вернулся. Одетый в чужой фрак и белый жесткий галстук, который как-то всё топорщился и хотел сползти с воротничка, он в полночь сидел в клубе в гостиной и говорил Екатерине Ивановне с увлечением:

— О, как мало знают те, которые никогда не любили! Мне кажется, никто еще не описал верно любви, и едва ли можно описать это нежное, радостное, мучительное чувство, и кто испытал его хоть раз, тот не станет передавать его на словах. К чему предисловия, описания? К чему ненужное красноречие? Любовь моя безгранична... Прошу, умоляю вас,— выговорил наконец Старцев,— будьте моей женой!

— Дмитрий Ионыч,— сказала Екатерина Ивановна с очень серьезным выражением, подумав.— Дмитрий Ионыч, я очень вам благодарна за честь, я вас уважаю, но...— она встала и продолжала стоя,— но, извините, быть вашей женой я не могу. Будем говорить серьезно. Дмитрий Ионыч, вы знаете, больше всего в жизни я люблю искусство, я безумно люблю, обожаю музыку, ей я посвятила всю свою жизнь. Я хочу быть артисткой, я хочу славы, успехов, свободы, а вы хотите, чтобы я продолжала жить в этом городе, продолжала эту пустую, бесполезную жизнь, которая стала для меня невыносима. Сделаться женой — о нет, простите! Человек должен стремиться к высшей, блестящей цели, а семейная жизнь связала бы меня навеки. Дмитрий Ионыч (она чуть-чуть улыбнулась, так как, произнеся «Дмитрий Ионыч», вспомнила «Алексей Феофилактыч»), Дмитрий Ионыч, вы добрый, благородный, умный человек, вы лучше всех...— у нее слезы навернулись на глазах,— я сочувствую вам всей душой, но... но вы поймете...

И, чтобы не заплакать, она отвернулась и вышла из гостиной.

У Старцева перестало беспокойно биться сердце. Выйдя из клуба на улицу, он прежде всего сорвал с себя жесткий галстук и вздохнул всей грудью. Ему было немножко стыдно и самолюбие его было оскорблено,— он не ожидал отказа,— и не верилось, что все его мечты, томления и надежды привели его к такому глупенькому концу, точно в маленькой пьесе на любительском спектакле. И жаль было своего чувства, этой своей любви, так жаль, что, кажется, взял бы и зарыдал или изо всей

силы хватил бы зонтиком по широкой спине Пантелеймона.

Дня три у него дело валилось из рук, он не ел, не спал, но, когда до него дошел слух, что Екатерина Ивановна уехала в Москву поступать в консерваторию, он успокоился и зажил по-прежнему.

Потом, иногда вспоминая, как он бродил по кладбищу или как ездил по всему городу и отыскивал фрак, он лениво потягивался и говорил:

— Сколько хлопот, однако!

IV

Прошло четыре года. В городе у Старцева была уже большая практика. Каждое утро он спешно принимал больных у себя в Дялиже, потом уезжал к городским больным, уезжал уже не на паре, а на тройке с бубенчиками, и возвращался домой поздно ночью. Он пополнил, раздобыл и неохотно ходил пешком, так как страдал одышкой. И Пантелеймон тоже пополнил, и чем он больше рос в ширину, тем печальнее вздыхал и жаловался на свою горькую участь: езда одолела!

Старцев бывал в разных домах и встречал много людей, но ни с кем не сходилась близко. Обыватели своими разговорами, взглядами на жизнь и даже своим видом раздражали его. Опыт научил его мало-помалу, что пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже не глухой человек, но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке, как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти. Когда Старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем, например, о том, что человечество, слава богу, идет вперед и что со временем оно будет обходиться без паспортов и без смертной казни, то обыватель глядел на него искоса и недоверчиво и спрашивал: «Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?» А когда Старцев в обществе, за ужином или чаем, говорил о том, что нужно трудиться, что без труда жить нельзя, то всякий принимал это за упрек и начинал сердиться и назойливо спорить. При всем том обыватели не делали ничего, решительно ничего, и не интересовались ничем,

и никак нельзя было придумать, о чем говорить с ними. И Старцев избегал разговоров, а только закусывал и играл в винт, и когда заставлял в каком-нибудь доме семейный праздник и его приглашали откусать, то он садился и ел молча, глядя в тарелку; и всё, что в это время говорили, было неинтересно, несправедливо, глупо, он чувствовал раздражение, волновался, но молчал, и за то, что он всегда сурово молчал и глядел в тарелку, его прозвали в городе «поляк надутый», хотя он никогда поляком не был.

От таких развлечений, как театр и концерты, он уклонялся, но зато в винт играл каждый вечер, часа по три, с наслаждением. Было у него еще одно развлечение, в которое он втянулся незаметно, мало-помалу, это — по вечерам вынимать из карманов бумажки, добытые практикой, и, случалось, бумажек — желтых и зеленых, от которых пахло духами, и уксусом, и ладаном, и ворванью, — было понапихано во все карманы рублей на семьдесят; и когда собиралось несколько сот, он отвозил в Общество взаимного кредита и клал там на текущий счет.

За все четыре года после отъезда Екатерины Ивановны он был у Туркиных только два раза, по приглашению Веры Иосифовны, которая всё еще лечилась от мигрени. Каждое лето Екатерина Ивановна приезжала к родителям погостить, но он не видел ее ни разу; как-то не случалось.

Но вот прошло четыре года. В одно тихое, теплое утро в больницу принесли письмо. Вера Иосифовна писала Дмитрию Иосифу, что очень соскучилась по нем, и просила его непременно пожаловать к ней и облегчить ее страдания, и кстати же сегодня день ее рождения. Внизу была приписка: «К просьбе мамы присоединяюсь и я. К.»

Старцев подумал и вечером поехал к Туркиным.

— А, здравствуйте пожалуйста! — встретил его Иван Петрович, улыбаясь одними глазами. — Бонжурте.

Вера Иосифовна, уже сильно постаревшая, с белыми волосами, пожала Старцеву руку, манерно вздохнула и сказала:

— Вы, доктор, не хотите ухаживать за мной, никогда у нас не бываете, я уже стара для вас. Но вот приехала молодая, быть может, она будет счастливее.

А Котик? Она похудела, побледнела, стала красивее и стройнее; но уже это была Екатерина Ивановна, а не Котик; уже не было прежней свежести и выражения детской наивности. И во взгляде, и в манерах было что-то новое — несмелое и виноватое, точно здесь, в доме Туркиных, она уже не чувствовала себя дома.

— Сколько лет, сколько зим! — сказала она, подавая Старцеву руку, и было видно, что у нее тревожно билось сердце; и пристально, с любопытством глядя ему в лицо, она продолжала: — Как вы пополнели! Вы загорели, возмужали, но в общем вы мало изменились.

И теперь она ему нравилась, очень нравилась, но чего-то уже не доставало в ней, или что-то было лишнее, — он и сам не мог бы сказать, что именно, но что-то уже мешало ему чувствовать, как прежде. Ему не нравилась ее бледность, новое выражение, слабая улыбка, голос, а немного погодя уже не нравилось платье, кресло, в котором она сидела, не нравилось что-то в прошлом, когда он едва не женился на ней. Он вспомнил о своей любви, о мечтах и надеждах, которые волновали его четыре года назад, — и ему стало неловко.

Пили чай со сладким пирогом. Потом Вера Иосифовна читала вслух роман, читала о том, чего никогда не бывает в жизни, а Старцев слушал, глядел на ее седую, красивую голову и ждал, когда она кончит.

«Бездарен, — думал он, — не тот, кто не умеет писать повестей, а тот, кто их пишет и не умеет скрыть этого».

— Недурственно, — сказал Иван Петрович.

Потом Екатерина Ивановна играла на рояле шумпо и долго, и, когда кончила, ее долго благодарили и восхищались ею.

«А хорошо, что я на ней не женился», — подумал Старцев.

Она смотрела на него и, по-видимому, ждала, что он предложит ей пойти в сад, но он молчал.

— Давайте же поговорим, — сказала она, подходя к нему. — Как вы живете? Что у вас? Как? Я все эти дни думала о вас, — продолжала она нервно, — я хотела послать вам письмо, хотела сама поехать к вам в Дялиж, и я уже решила поехать, но потом раздумала, — бог

знает, как вы теперь ко мне относитесь. Я с таким волнением ожидала вас сегодня. Ради бога, пойдите в сад.

Они пошли в сад и сели там на скамью под старым кленом, как четыре года назад. Было темно.

— Как же вы поживаете? — спросила Екатерина Ивановна.

— Ничего, живем понемножку, — ответил Старцев.

И ничего не мог больше придумать. Помолчали.

— Я волнуюсь, — сказала Екатерина Ивановна и закрыла руками лицо, — но вы не обращайтесь внимания. Мне так хорошо дома, я так рада видеть всех и не могу привыкнуть. Сколько воспоминаний! Мне казалось, что мы будем говорить с вами без умолку, до утра.

Теперь он видел близко ее лицо, блестящие глаза, и здесь, в темноте, она казалась моложе, чем в комнате, и даже как будто вернулось к ней ее прежнее детское выражение. И в самом деле, она с наивным любопытством смотрела на него, точно хотела поближе разглядеть и понять человека, который когда-то любил ее так пламенно, с такой нежностью и так несчастливо; ее глаза благодарили его за эту любовь. И он вспомнил всё, что было, все малейшие подробности, как он бродил по кладбищу, как потом под утро, утомленный, возвращался к себе домой, и ему вдруг стало грустно и жаль прошлого. В душе затеплился огонек.

— А помните, как я провожал вас на вечер в клуб? — сказал он. — Тогда шел дождь, было темно...

Огонек всё разгорался в душе, и уже хотелось говорить, жаловаться на жизнь...

— Эх! — сказал он со вздохом. — Вы вот спрашиваете, как я поживаю. Как мы поживаем тут? Да никак. Старимся, полнеем, опускаемся. День да ночь — сутки прочь, жизнь проходит тускло, без впечатлений, без мыслей... Днем нажива, а вечером клуб, общество картежников, алкоголиков, хрипунов, которых я терпеть не могу. Что хорошего?

— Но у вас работа, благородная цель в жизни. Вы так любили говорить о своей больнице. Я тогда была какая-то странная, воображала себя великой пианисткой. Теперь все барышни играют на рояле, и я тоже играла, как все, и ничего во мне не было особенного; я такая же пианистка, как мама писательница. И конечно, я вас не понимала тогда, но потом, в Москве, я часто

думала о вас. Я только о вас и думала. Какое это счастье быть земским врачом, помогать страдальцам, служить народу. Какое счастье! — повторила Екатерина Ивановна с увлечением. — Когда я думала о вас в Москве, вы представлялись мне таким идеальным, возвышенным...

Старцев вспомнил про бумажки, которые он по вечерам вынимал из карманов с таким удовольствием, и огонек в душе погас.

Он встал, чтобы идти к дому. Она взяла его под руку.

— Вы лучший из людей, которых я знала в своей жизни, — продолжала она. — Мы будем видеться, говорить, не правда ли? Обещайте мне. Я не пианистка, на свой счет я уже не заблуждаюсь и не буду при вас ни играть, ни говорить о музыке.

Когда вошли в дом и Старцев увидел при вечернем освещении ее лицо и грустные, благодарные, испытующие глаза, обращенные на него, то почувствовал беспокойство и подумал опять:

«А хорошо, что я тогда не женился».

Он стал прощаться.

— Вы не имеете никакого римского права уезжать без ужина, — говорил Иван Петрович, провожая его. — Это с вашей стороны весьма перпендикулярно. А ну-ка, изобрази! — сказал он, обращаясь в передней к Паву.

Пава, уже не мальчик, а молодой человек с усами, стал в позу, поднял вверх руку и сказал трагическим голосом:

— Умри, несчастная!

Всё это раздражало Старцева. Садясь в коляску и глядя на темный дом и сад, которые были ему так милы и дороги когда-то, он вспомнил всё сразу — и романы Веры Иосифовны, и шумную игру Котика, и остроумие Ивана Петровича, и трагическую позу Павы, и подумал, что если самые талантливые люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город.

Через три дня Пава принес письмо от Екатерины Ивановны.

«Вы не едете к нам. Почему? — писала она. — Я боюсь, что Вы изменились к нам; я боюсь, и мне страшно от одной мысли об этом. Успокойте же меня, приезжайте и скажите, что всё хорошо».

Мне необходимо поговорить с Вами. Ваша Е. Т.»

Он прочел это письмо, подумал и сказал Паве:
— Скажи, любезный, что сегодня я не могу приехать, я очень занят. Приеду, скажи, так, дня через три.

Но прошло три дня, прошла неделя, а он всё не ехал. Как-то, проезжая мимо дома Туркиных, он вспомнил, что надо бы заехать хоть на минутку, но подумал и... не заехал.

И больше уж он никогда не бывал у Туркиных.

V

Прошло еще несколько лет. Старцев еще больше пополнил, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову. Когда он, пухлый, красный, едет на тройке с бубенчиками и Паптелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком, сидит на козлах, протянув вперед прямые, точно деревянные руки, и кричит встречным «Прррава держи!», то картина бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а языческий бог. У него в городе громадная практика, некогда вздохнуть, и уже есть имение и два дома в городе, и он облюбовывает себе еще третий, повыгоднее, и когда ему в Обществе взаимного кредита говорят про какой-нибудь дом, назначенный к торгам, то он без церемонии идет в этот дом и, проходя через все комнаты, не обращая внимания на неодетых женщин и детей, которые глядят на него с изумлением и страхом, тычет во все двери палкой и говорит:

— Это кабинет? Это спальня? А тут что?

И при этом тяжело дышит и вытирает со лба пот.

У него много хлопот, но всё же он не бросает земского места; жадность одолела, хочется поспеть и здесь и там. В Дялиже и в городе его зовут уже просто Ионычем.— «Куда это Ионыч едет?» или: «Не пригласить ли на консилиум Ионыча?»

Вероятно оттого, что горло заплыло жиром, голос у него изменился, стал тонким и резким. Характер у него тоже изменился: стал тяжелым, раздражительным. Принимая больных, он обыкновенно сердится, нетерпеливо стучит палкой о пол и кричит своим неприятным голосом:

— Извольте отвечать только на вопросы! Не разговаривать!

Он одинок. Живется ему скучно, ничто его не интересует.

За всё время, пока он живет в Дялиже, любовь к Котику была его единственной радостью и, вероятно, последней. По вечерам он играет в клубе в винт и потом сидит один за большим столом и ужинает. Ему прислуживает лакей Иван, самый старый и почтенный, подают ему лафит № 17, и уже все — и старшины клуба, и повар, и лакей — знают, что он любит и чего не любит, стараются изо всех сил угодить ему, а то, чего доброго, рассердятся вдруг и станут стучать палкой б пол.

Ужиная, он изредка оборачивается и вмешивается в какой-нибудь разговор:

— Это вы про что? А? Кого?

И когда, случается, по соседству за каким-нибудь столом заходит речь о Туркиных, то он спрашивает:

— Это вы про каких Туркиных? Это про тех, что дочка играет на фортепьянах?

Вот и всё, что можно сказать про него.

А Туркины? Иван Петрович не постарел, несколько не изменился и по-прежнему всё острит и рассказывает анекдоты; Вера Иосифовна читает гостям свои романы по-прежнему охотно, с сердечной простотой. А Котик играет на рояле каждый день, часа по четыре. Она заметно постарела, похварывает и каждую осень уезжает с матерью в Крым. Провожая их на вокзале, Иван Петрович, когда трогается поезд, утирает слезы и кричит:

— Прощайте пожалуйста!

И машет платком.

ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ

На самом краю села Мироносицкого, в сарае старосты Прокофия расположились на почлег запоздавшие охотники. Их было только двое: ветеринарный врач Иван Иванович и учитель гимназии Буркин. У Ивана Ивановича была довольно странная, двойная фамилия — Чимша-Гималайский, которая совсем не шла ему, и его во всей губернии звали просто по имени и отчеству; он жил около города на конском заводе и приехал теперь на охоту, чтобы подышать чистым воздухом. Учитель же гимназии Буркин каждое лето гостил у графов П. и в этой местности давно уже был своим человеком.

Не спали. Иван Иванович, высокий, худощавый старик с длинными усами, сидел спаружи у входа и курил трубку; его освещала луна. Буркин лежал внутри на сене, и его не было видно в потемках.

Рассказывали разные истории. Между прочим говорили о том, что жена старосты, Мавра, женщина здоровая и не глупая, во всю свою жизнь нигде не была дальше своего родного села, никогда не видела ни города, ни железной дороги, а в последние десять лет всё сидела за печью и только по ночам выходила на улицу.

— Что же тут удивительного! — сказал Буркин. — Людей, одиноких по натуре, которые, как рак-отшельник или улитка, стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете не мало. Быть может, тут явление атавизма, возвращение к тому времени, когда предок человека не был еще общественным животным и жил одиноко в своей берлоге, а может быть, это просто одна из разновидностей человеческого характера, — кто знает? Я не естественник и не мое дело касаться подобных вопросов; я только хочу сказать, что такие люди, как Мавра, явление не редкое. Да вот, недалеко искать, месяца два назад умер у нас в городе некий Великов,

учитель греческого языка, мой товарищ. Вы о нем слышали, конечно. Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике; и лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он всё время прятал его в поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и когда садился на извозчика, то приказывал поднимать верх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний. Действительность раздражала его, нугала, держала в постоянной тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было; и древние языки, которые он преподавал, были для него, в сущности, те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни.

— О, как звучен, как прекрасен греческий язык! — говорил он со сладким выражением; и, как бы в доказательство своих слов, прищурился глаз и подняв палец, произносил: — Антропос!

И мысль свою Беликов также старался запрятать в футляр. Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь. Когда в циркуляре запрещалось ученикам выходить на улицу после девяти часов вечера или в какой-нибудь статье запрещалась плотская любовь, то это было для него ясно, определено; запрещено — и баста. В разрешении же и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное. Когда в городе разрешали драматический кружок, или читальню, или чайную, то он покачивал головой и говорил тихо:

— Оно, конечно, так-то так, всё это прекрасно, да как бы чего не вышло.

Всякого рода нарушения, уклонения, отступления от правил приводили его в уныние, хотя, казалось бы, какое ему дело? Если кто из товарищей опаздывал на мелебен, или доходили слухи о какой-нибудь проказе

гимназистов, или видели классную даму поздно вечером с офицером, то он очень волновался и всё говорил, как бы чего не вышло. А на педагогических советах он просто угнетал нас своею осторожностью, мнительностью и своими чисто футлярными соображениями насчет того, что вот-де в мужской и женской гимназиях молодежь ведет себя дурно, очень шумит в классах,— ах, как бы не дошло до начальства, ах, как бы чего не вышло,— и что если б из второго класса исключить Петрова, а из четвертого — Егорова, то было бы очень хорошо. И что же? Своими вздохами, нытьем, своими темными очками на бледном, маленьком лице,— знаете, маленьком лице, как у хорька,— он давил нас всех, и мы уступали, сбавляли Петрову и Егорову балл по поведению, сажали их под арест и в конце концов исключали и Петрова, и Егорова. Было у него странное обыкновение — ходить по нашим квартирам. Придет к учителю, сядет и молчит и как будто что-то высматривает. Посидит, этак, молча, час-другой и уйдет. Это называлось у него «поддерживать добрые отношения с товарищами», и, очевидно, ходить к нам и сидеть было для него тяжело, и ходил он к нам только потому, что считал своею товарищескою обязанностью. Мы, учителя, боялись его. И даже директор боялся. Вот подите же, наши учителя народ всё мыслящий, глубоко порядочный, воспитанный на Тургеневе и Щедрина, однако же этот человек, ходивший всегда в калошах и с зонтиком, держал в руках всю гимназию целых пятнадцать лет! Да что гимназию? Весь город! Наши дамы по субботам домашних спектаклей не устраивали, боялись, как бы он не узнал; и духовенство стеснялось при нем кушать скоромное и играть в карты. Под влиянием таких людей, как Беликов, за последние десять — пятнадцать лет в нашем городе стали бояться всего. Боятся громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, бояться помогать бедным, учить грамоте...

Иван Иваныч, желая что-то сказать, кашлянул, по сначала закурил трубку, поглядел на луну и потом уже сказал с расстановкой:

— Да. Мыслящие, порядочные, читают и Щедрина, и Тургенева, разных там Боклей и прочее, а вот подчинились же, терпели... То-то вот оно и есть.

— Беликов жил в том же доме, где и я, — продолжал Буркин, — в том же этаже, дверь против двери, мы часто виделись, и я знал его домашнюю жизнь. И дома та же история: халат, колпак, ставни, задвижки, целый ряд всяких запрещений, ограничений, и — ах, как бы чего не вышло! Постное есть вредно, а скоромное нельзя, так как, пожалуй, скажут, что Беликов не исполняет постов, и он ел судака на коровьем масле, — пища не постная, но и нельзя сказать, чтобы скоромная. Женской прислуги он не держал из страха, чтобы о нем не думали дурно, а держал повара Афанасия, старика лет шестидесяти, нетрезвого и полоумного, который когда-то служил в денщиках и умел кое-как стряпать. Этот Афанасий стоял обыкновенно у двери, скрестив руки, и всегда бормотал одно и то же, с глубоким вздохом:

— Много уж их нынче развелось!

Спальня у Беликова была маленькая, точно ящик, кровать была с пологом. Ложась спать, он укрывался с головой; было жарко, душно, в закрытые двери стучался ветер, в печке гудело; слышались вздохи из кухни, вздохи зловещие...

И ему было страшно под одеялом. Он боялся, как бы чего не вышло, как бы его не зарезал Афанасий, как бы не забрались вору, и потом всю ночь видел тревожные сны, а утром, когда мы вместе шли в гимназию, был скучен, бледен, и было видно, что многолюдная гимназия, в которую он шел, была страшна, противна всему существу его и что идти рядом со мной ему, человеку по натуре одинокому, было тяжело.

— Очень уж шумят у нас в классах, — говорил он, как бы стараясь отыскать объяснения своему тяжелому чувству. — Ни на что не похоже.

И этот учитель греческого языка, этот человек в фуляре, можете себе представить, едва не женился.

Иван Иванович быстро оглянулся в сарай и сказал:

— Шутите!

— Да, едва не женился, как это ни странно. Назначили к нам нового учителя истории и географии, некоего Коваленко, Михаила Саввича, из хохлов. Приехал он не один, а с сестрой Варенькой. Он молодой, высокий, смуглый, с громадными руками, и по лицу видно, что говорит басом, и в самом деле, голос как из бочки:

бу-бу-бу... А она уже не молодая, лет тридцати, но тоже высокая, стройная, чернобровая, краснощекая,— одним словом, не девица, а мармелад, и такая разбитная, шумная, всё поет малороссийские романсы и хочот. Чуть что, так и заляется голосистым смехом: ха-ха-ха! Первое, основательное знакомство с Коваленками у нас, помню, произошло на именинах у директора. Среди суровых, напряженно скучных педагогов, которые и на именины-то ходят по обязанности, вдруг видим, новая Афродита возродилась из пены: ходит подбоченясь, хохочет, поет, пляшет... Она спела с чувством «Виют витры», потом еще романс, и еще, и всех нас очаровала,— всех, даже Беликова. Он подсел к ней и сказал, сладко улыбаясь:

— Малороссийский язык своею нежностью и приятною звучностью напоминает древнегреческий.

Это польстило ей, и она стала рассказывать ему с чувством и убедительно, что в Гадячском уезде у нее есть хутор, а на хуторе живет мамочка, и там такие груши, такие дыни, такие кабаки! У хохлов тыквы называются кабаками, а кабаки шинками, и варят у них борщ с красненькими и с синенькими «такой вкусный, такой вкусный, что просто — ужас!»

Слушали мы, слушали, и вдруг всех нас осенила одна и та же мысль.

— А хорошо бы их поженить,— тихо сказала мне директорша.

Мы все почему-то вспомнили, что наш Беликов не женат, и нам теперь казалось странным, что мы до сих пор как-то не замечали, совершенно упускали из виду такую важную подробность в его жизни. Как вообще он относится к женщине, как он решает для себя этот насущный вопрос? Раньше это не интересовало нас вовсе; быть может, мы не допускали даже и мысли, что человек, который во всякую погоду ходит в калошах и спит под пологом, может любить.

— Ему давно уже за сорок, а ей тридцать...— пояснила свою мысль директорша.— Мне кажется, она бы за него пошла.

Чего только не делается у нас в провинции от скуки, сколько ненужного, вздорного! И это потому, что совсем не делается то, что нужно. Ну вот к чему нам вдруг понадобилось женить этого Беликова, которого даже

и вообразить нельзя было женатым? Директорша, инспекторша и все наши гимназические дамы ожили, даже похорошели, точно вдруг увидели цель жизни. Директорша берет в театре ложу, и смотрим — в ее ложе сидит Варенька с таким веером, сияющая, счастливая, и рядом с ней Беликов, маленький, скрюченный, точно его из дому клещами вытащили. Я даю вечеринку, и дамы требуют, чтобы я непременно пригласил и Беликова и Вареньку. Одним словом, заработала машина. Оказалось, что Варенька не прочь была замуж. Жить ей у брата было не очень-то весело, только и знали, что по целым дням спорили и ругались. Вот вам сцена: идет Коваленко по улице, высокий, здоровый верзила, в вышитой сорочке, чуб из-под фуражки падает на лоб; в одной руке пачка книг, в другой толстая суковатая палка. За ним идет сестра, тоже с книгами.

— Да ты же, Михайлик, этого не читал! — спорит она громко. — Я же тебе говорю, клянусь, ты не читал же этого вовсе!

— А я тебе говорю, что читал! — кричит Коваленко, гремя палкой по тротуару.

— Ах же, боже ж мой, Минчик! Чего же ты сердишься, ведь у нас же разговор принципиальный.

— А я тебе говорю, что я читал! — кричит еще громче Коваленко.

А дома, как кто посторонний, так и перепалка. Такая жизнь, вероятно, наскучила, хотелось своего угла, да и возраст принять во внимание; тут уж перебирать некогда, выйдешь за кого угодно, даже за учителя греческого языка. И то сказать, для большинства наших барышень за кого ни выйти, лишь бы выйти. Как бы ни было, Варенька стала оказывать нашему Беликову явную благосклонность.

А Беликов? Он и к Коваленку ходил так же, как к нам. Придет к нему, сядет и молчит. Он молчит, а Варенька поет ему «Виют витры», или глядит на него задумчиво своими темными глазами, или вдруг зальется:

— Ха-ха-ха!

В любовных делах, а особенно в женитьбе, внушение играет большую роль. Все — и товарищи, и дамы — стали уверять Беликова, что он должен жениться, что ему ничего больше не остается в жизни, как жениться; все мы поздравляли его, говорили с важными лицами

разные пошлости, вроде того-де, что брак есть шаг серьезный; к тому же Варенька была недурна собой, интересна, она была дочь статского советника и имела хутор, а главное, это была первая женщина, которая отнеслась к нему ласково, сердечно,— голова у него закружилась, и он решил, что ему в самом деле нужно жениться.

— Вот тут бы и отобрать у него калоши и зонтик,— проговорил Иван Иванович.

— Представьте, это оказалось невозможным. Он поставил у себя на столе портрет Вареньки и всё ходил ко мне и говорил о Вареньке, о семейной жизни, о том, что брак есть шаг серьезный, часто бывал у Коваленков, но образа жизни не изменил нисколько. Даже наоборот, решение жениться подействовало на него как-то болезненно, он похудел, побледнел и, казалось, еще глубже ушел в свой футляр.

— Варвара Саввишна мне нравится,— говорил он мне со слабой кривой улыбочкой,— и я знаю, жениться необходимо каждому человеку, но... всё это, знаете ли, произошло как-то вдруг... Надо подумать.

— Что же тут думать? — говорю ему.— Женитесь, вот и всё.

— Нет, женитьба — шаг серьезный, надо сначала взвесить предстоящие обязанности, ответственность... чтобы потом чего не вышло. Это меня так беспокоит, я теперь все ночи не сплю. И, признаться, я боюсь: у нее с братом какой-то странный образ мыслей, рассуждают они как-то, знаете ли, странно, и характер очень бойкий. Женисься, а потом, чего доброго, попадешь в какую-нибудь историю.

И он не делал предложения, всё откладывал, к великой досаде директорши и всех наших дам; всё взвешивал предстоящие обязанности и ответственность, и между тем почти каждый день гулял с Варенькой, быть может, думал, что это так нужно в его положении, и приходил ко мне, чтобы поговорить о семейной жизни. И, по всей вероятности, в конце концов он сделал бы предложение и совершился бы один из тех ненужных, глухих браков, каких у нас от скуки и от нечего делать совершаются тысячи, если бы вдруг не произошел kolossalischeSkandal. Нужно сказать, что брат Вареньки,

Коваленко, возненавидел Беликова с первого же дня знакомства и терпеть его не мог.

— Не понимаю,— говорил он нам, пожимая плечами,— не понимаю, как вы перевариваете этого фискала, эту мерзкую рожу. Эх, господа, как вы можете тут жить! Атмосфера у вас удушающая, поганая. Разве вы педагоги, учителя? Вы чиновники, у вас не храм науки, а управа благочиния, и кислотой воняет, как в полицейской будке. Нет, братцы, поживу с вами еще немного и уеду к себе на хутор, и буду там раков ловить и хохлят учить. Уеду, а вы оставайтесь тут со своим Иудой, нехай вин лопне.

Или он хохотал, хохотал до слез, то басом, то топким писклявым голосом, и спрашивал меня, разводя руками:

— Шо он у меня сидить? Шо ему надо? Сидить и смотреть.

Он даже название дал Беликову «глитай аборж паук». И, понятно, мы избегали говорить с ним о том, что сестра его Варенька собирается за «аборж паука». И когда однажды директорша намекнула ему, что хорошо бы пристроить его сестру за такого солидного, всеми уважаемого человека, как Беликов, то он нахмурился и проворчал:

— Не мое это дело. Пускай она выходит хоть за гадюку, а я не люблю в чужие дела мешаться.

Теперь слушайте, что дальше. Какой-то проказник нарисовал карикатуру: идет Беликов в калошах, в подсученных брюках, под зонтом, и с ним под руку Варенька; внизу подпись: «влюбленный антропос». Выражение схвачено, понимаете ли, удивительно. Художник, должно быть, проработал не одну ночь, так как все учителя мужской и женской гимназий, учителя семинарии, чиновники,— все получили по экземпляру. Получил и Беликов. Карикатура произвела на него самое тяжелое впечатление.

Выходим мы вместе из дому,— это было как раз первое мая, воскресенье, и мы все, учителя и гимназисты, условились сойтись у гимназии и потом вместе идти пешком за город в рощу,— выходим мы, а он зеленый, мрачнее тучи.

— Какие есть нехорошие, злые люди! — проговорил он, и губы у него задрожали.

Мне даже жалко его стало. Идем, и вдруг, можете себе представить, катит на велосипеде Коваленко, а за ним Варенька, тоже на велосипеде, красная, заморенная, но веселая, радостная.

— А мы, — кричит она, — вперед едем! Уже ж такая хорошая погода, такая хорошая, что просто ужас!

И скрылись оба. Мой Беликов из зеленого стал белым и точно оцепенел. Остановился и смотрит на меня...

— Позвольте, что же это такое? — спросил он. — Или, быть может, меня обманывает зрение? Разве преподавателям гимназии и женщинам прилично ездить на велосипеде?

— Что же тут неприличного? — сказал я. — И пусть катаются себе на здоровье.

— Да как же можно? — крикнул он, изумляясь моему спокойствию. — Что вы говорите?!

И он был так поражен, что не захотел идти дальше и вернулся домой.

На другой день он всё время нервно потирал руки и вздрагивал, и было видно по лицу, что ему нехорошо. И с занятий ушел, что случилось с ним первый раз в жизни. И не обедал. А под вечер оделся потеплее, хотя на дворе стояла совсем летняя погода, и пошел к Коваленкам. Вареньки не было дома, застал он только брата.

— Садитесь, покорнейше прошу, — проговорил Коваленко холодно и нахмурил брови; лицо у него было заspanное, он только что отдыхал после обеда и был сильно не в духе.

Беликов посидел молча минут десять и начал:

— Я к вам пришел, чтоб облегчить душу. Мне очень, очень тяжело. Какой-то пасквильянт нарисовал в смешном виде меня и еще одну особу, нам обоим близкую. Считаю долгом уверить вас, что я тут ни при чем... Я не подавал никакого повода к такой насмешке, — напротив же, всё время вел себя как вполне порядочный человек.

Коваленко сидел, надувшись, и молчал. Беликов подождал немного и продолжал тихо, печальным голосом:

— И еще я имею кое-что сказать вам. Я давно служу, вы же только еще начинаете службу, и я считаю долгом, как старший товарищ, предостеречь вас. Вы

катаетесь на велосипеде, а эта забава совершенно неприлична для воспитателя юношества.

— Почему же? — спросил Коваленко басом.

— Да разве тут надо еще объяснять, Михаил Саввич, разве это не понятно? Если учитель едет на велосипеде, то что же остается ученикам? Им остается только ходить на головах! И раз это не разрешено циркулярно, то и нельзя. Я вчера ужаснулся! Когда я увидел вашу сестрицу, то у меня помутилось в глазах. Женщина или девушка на велосипеде — это ужасно!

— Что же собственно вам угодно?

— Мне угодно только одно — предостеречь вас, Михаил Саввич. Вы — человек молодой, у вас впереди будущее, надо вести себя очень, очень осторожно, вы же так манкируете, ох, как манкируете! Вы ходите в вышитой сорочке, постоянно на улице с какими-то кпигами, а теперь вот еще велосипед. О том, что вы и ваша сестрица катаетесь на велосипеде, узнает директор, потом дойдет до попечителя... Что же хорошего?

— Что я и сестра катаемся на велосипеде, никому нет до этого дела! — сказал Коваленко и побагровел. — А кто будет вмешиваться в мои домашние и семейные дела, того я пошлю к чертям собачьим.

Беликов побледнел и встал.

— Если вы говорите со мной таким тоном, то я не могу продолжать, — сказал он. — И прошу вас никогда так не выражаться в моем присутствии о начальниках. Вы должны с уважением относиться к властям.

— А разве я говорил что дурное про властей? — спросил Коваленко, глядя на него со злобой. — Пожалуйста, оставьте меня в покое. Я честный человек и с таким господином, как вы, не желаю разговаривать. Я не люблю фискалов.

Беликов нервно засуетился и стал одеваться быстро, с выражением ужаса на лице. Ведь это первый раз в жизни он слышал такие грубости.

— Можете говорить, что вам угодно, — сказал он, выходя из передней на площадку лестницы. — Я должен только предупредить вас: быть может, нас слышал кто-нибудь, и, чтобы не перетолковали нашего разговора и чего-нибудь не вышло, я должен буду доложить господину директору содержание нашего разговора... в главных чертах. Я обязан это сделать.

— Доложить? Ступай, докладывай!

Коваленко схватил его сзади за воротник и пихнул, и Беликов покатился вниз по лестнице, гремя своими калошами. Лестница была высокая, крутая, но он докатился донизу благополучно; встал и потрогал себя за нос: целы ли очки? Но как раз в то время, когда он катился по лестнице, вошла Варенька и с нею две дамы; они стояли внизу и глядели — и для Беликова это было ужаснее всего. Лучше бы, кажется, сломать себе шею, обе ноги, чем стать посмешищем; ведь теперь узнает весь город, дойдет до директора, попечителя, — ах, как бы чего не вышло! — нарисуют новую карикатуру, и кончится всё это тем, что прикажут подать в отставку...

Когда он поднялся, Варенька узнала его и, глядя на его смешное лицо, помятое пальто, калоши, не понимая, в чем дело, полагая, что это он упал сам печально, не удержалась и захохотала на весь дом:

— Ха-ха-ха!

И этим раскатистым, залихватым «ха-ха-ха» завершилось всё: и сватовство, и земное существование Беликова. Уже он не слышал, что говорила Варенька, и ничего не видел. Вернувшись к себе домой, он прежде всего убрал со стола портрет, а потом лег и уже больше не вставал.

Дня через три пришел ко мне Афанасий и спросил, не надо ли послать за доктором, так как-де с барином что-то делается. Я пошел к Беликову. Он лежал под пологом, укрытый одеялом, и молчал; спросишь его, а он только да или нет — и больше ни звука. Он лежит, а возле бродит Афанасий, мрачный, нахмуренный, и вздыхает глубоко; а от него водкой, как из кабака.

Через месяц Беликов умер. Хоронили мы его все, то есть обе гимназии и семинария. Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое, точно он был рад, что наконец его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет. Да, он достиг своего идеала! И как бы в честь его во время похорон была пасмурная, дождливая погода, и все мы были в калошах и с зонтами. Варенька тоже была на похоронах и, когда гроб опускали в могилу, есплакнула. Я заметил, что хохлушки только плачут или хохочут, среднего же пастроения у них не бывает.

Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие. Когда мы возвращались с кладбища, то у нас были скромные постные физиономии; никому не хотелось обнаружить этого чувства удовольствия,— чувства, похожего на то, какое мы испытывали давно-давно, еще в детстве, когда старшие уезжали из дому и мы бегали по саду час-другой, наслаждаясь полною свободой. Ах, свобода, свобода! Даже намек, даже слабая надежда на ее возможность дает душе крылья, не правда ли?

Вернулись мы с кладбища в добром расположении. Но прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая, жизнь, не запрещенная циркулярно, но и не разрешенная вполне; не стало лучше. И в самом деле, Беликова похоронили, а сколько еще таких человек в футляре осталось, сколько их еще будет!

— То-то вот оно и есть,— сказал Иван Иванович и закурил трубку.

— Сколько их еще будет! — повторил Буркин.

Учитель гимназии вышел из сарая. Это был человек небольшого роста, толстый, совершенно лысый, с черной бородой чуть не по пояс; и с ним вышли две собаки.

— Луна-то, луна! — сказал он, глядя вверх.

Была уже полночь. Направо видно было всё село, длинная улица тянулась далеко, верст на пять. Всё было погружено в тихий, глубокий сон; ни движения, ни звука, даже не верится, что в природе может быть так тихо. Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо; в этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кротка, печальна, прекрасна, и кажется, что и звезды смотрят на нее ласково и с умилением и что зла уже нет на земле и всё благополучно. Налево с края села начиналось поле; оно было видно далеко, до горизонта, и во всю ширь этого поля, залитого лунным светом, тоже ни движения, ни звука.

— То-то вот оно и есть,— повторил Иван Иванович. — А разве то, что мы живем в городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт — разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди без-

дельников, сутяг, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор — разве это не футляр? Вот если желаете, то я расскажу вам одну очень поучительную историю.

— Нет, уж пора спать,— сказал Буркин.— До завтра!

Оба пошли в сарай и легли на сене. И уже оба укрылись и задремали, как вдруг послышались легкие шаги: туп, туп... Кто-то ходил недалеко от сарая; пройдет немного и остановится, а через минуту опять: туп, туп... Собаки заворчали.

— Это Мавра ходит,— сказал Буркин.

Шаги затихли.

— Видеть и слышать, как лгут,— проговорил Иван Иваныч, поворачиваясь на другой бок,— и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и всё это из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена,— нет, больше жить так невозможно!

— Ну, уж это вы из другой оперы, Иван Иваныч,— сказал учитель.— Давайте спать.

И минут через десять Буркин уже спал. А Иван Иваныч всё ворочался с боку на бок и вздыхал, а потом встал, опять вышел наружу и, севши у дверей, закурил трубочку.

Еще с раннего утра всё небо обложили дождевые тучи; было тихо, не жарко и скучно, как бывает в серые пасмурные дни, когда над полем давно уже нависли тучи, ждешь дождя, а его нет. Ветеринарный врач Иван Иваныч и учитель гимназии Буркин уже утомились идти, и поле представлялось им бесконечным. Далеко впереди еле были видны ветряные мельницы села Мирносицкого, справа тянулся и потом исчезал далеко за селом ряд холмов, и оба они знали, что это берег реки, там луга, зеленые ивы, усадьбы, и если стать на один из холмов, то оттуда видно такое же громадное поле, телеграф и поезд, который издали похож на ползущую гусеницу, а в ясную погоду оттуда бывает виден даже город. Теперь, в тихую погоду, когда вся природа казалась кроткой и задумчивой, Иван Иваныч и Буркин были проникнуты любовью к этому полю и оба думали о том, как велика, как прекрасна эта страна.

— В прошлый раз, когда мы были в сарае у старосты Прокофия,— сказал Буркин,— вы собирались рассказывать какую-то историю.

— Да, я хотел тогда рассказать про своего брата.

Иван Иваныч протяжно вздохнул и закурил трубочку, чтобы начать рассказывать, но как раз в это время пошел дождь. И минут через пять лил уже сильный дождь, обложной, и трудно было предвидеть, когда он кончится. Иван Иваныч и Буркин остановились в раздумье; собаки, уже мокрые, стояли, поджав хвосты, и смотрели на них с умилением.

— Нам нужно укрыться куда-нибудь,— сказал Буркин.— Пойдемте к Алехину. Тут близко.

— Пойдемте.

Они свернули в сторону и шли всё по скошенному полю, то прямо, то забирая направо, пока не вышли на дорогу. Скоро показались тополи, сад, потом красные

крыши амбаров; заблестела река, и открылся вид на широкий плес с мельницей и белою купальней. Это было Софьино, где жил Алехин.

Мельница работала, заглушая шум дождя; плотина дрожала. Тут около телег стояли мокрые лошади, попуриив головы, и ходили люди, накрывшись мешками. Было сыро, грязно, неуютно, и вид у плеса был холодный, злой. Ивац Иваныч и Буркин испытывали уже чувство мокроты, нечистоты, неудобства во всем теле, ноги отяжелели от грязи, и когда, пройдя плотину, они поднимались к господским амбарам, то молчали, точно сдержались друг на друга.

В одном из амбаров шумела всялка; дверь была открыта, и из нее валила пыль. На пороге стоял сам Алехин, мужчина лет сорока, высокий, полный, с длинными волосами, похожий больше на профессора или художника, чем на помещика. На нем была белая, давно не мытая рубаха с веревочным пояском, вместо брюк кальсоны, и на сапогах тоже налипли грязь и солома. Нос и глаза были черны от пыли. Он узнал Ивана Иваныча и Буркина и, по-видимому, очень обрадовался.

— Пожалуйте, господа, в дом,— сказал он, улыбаясь.— Я сейчас, сию минуту.

Дом был большой, двухэтажный. Алехин жил внизу, в двух комнатах со сводами и с маленькими окнами, где когда-то жили приказчики; тут была обстановка простая, и пахло ржаным хлебом, дешевою водкой и сбруей. Наверху же, в парадных комнатах, он бывал редко, только когда приезжали гости. Ивана Иваныча и Буркина встретила в доме горничная, молодая женщина, такая красивая, что они оба разом остановились и поглядели друг на друга.

— Вы не можете себе представить, как я рад видеть вас, господа,— говорил Алехин, входя за ними в переднюю.— Вот не ожидал! Пелагея,— обратился он к горничной,— дайте гостям переодеться во что-нибудь. Да кстати и я переоденусь. Только надо сначала пойти помыться, а то я, кажется, с весны не мылся. Не хотите ли, господа, пойти в купальню, а тут пока готовят.

Красивая Пелагея, такая деликатная и на вид такая мягкая, принесла простыни и мыло, и Алехин с гостями пошел в купальню.

— Да, давно я уже не мылся,— говорил он, раздеваясь.— Купальня у меня, как видите, хорошая, отец еще строил, но мыться как-то всё некогда.

Он сел на ступеньке и намылил свои длинные волосы и шею, и вода около него стала коричневой.

— Да, признаюсь...— проговорил Иван Иванович значительно, глядя на его голову.

— Давно я уже не мылся...— повторил Алехин конфузливо и еще раз намылился, и вода около него стала темно-синей, как чернила.

Иван Иванович выпел наружу, бросился в воду с шумом и поплыл под дождем, широко взмахивая руками, и от него шли волны, и на волнах качались белые лилии; он доплыл до самой середины плеса и нырнул, и через минуту показался на другом месте и поплыл дальше, и всё нырял, стараясь достать дна. «Ах, боже мой...— повторял он, наслаждаясь.— Ах, боже мой...» Доплыл до мельницы, о чем-то поговорил там с мужиками и повернул назад, и на середине плеса лег, подставляя свое лицо под дождь. Буркин и Алехин уже оделись и собрались уходить, а он всё плавал и нырял.

— Ах, боже мой...— говорил он.— Ах, господи помилуй.

— Будет вам! — крикнул ему Буркин.

Вернулись в дом. И только когда в большой гостиной наверху зажгли лампу, и Буркин и Иван Иванович, одетые в шелковые халаты и теплые туфли, сидели в креслах, а сам Алехин, умытый, причесанный, в новом сюртуке, ходил по гостиной, видимо, с наслаждением ощущая тепло, чистоту, сухое платье, легкую обувь, и когда красивая Пелагея, бесшумно ступая по ковру и мягко улыбаясь, подавала на подносе чай с вареньем, только тогда Иван Иванович приступил к рассказу, и казалось, что его слушали не один только Буркин и Алехин, но также старые и молодые дамы и военные, спокойно и строго глядевшие из золотых рам.

— Нас два брата,— начал он,— я, Иван Иванович, и другой — Николай Иванович, года на два помоложе. Я пошел по ученой части, стал ветеринаром, а Николай уже с девятнадцати лет сидел в казенной палате. Наш отец Чимша-Гималайский был из кантонистов, но, выслужив офицерский чин, оставил нам потомственное дворянство и именьешко. После его смерти именье-

ишко у нас оттягали за долги, но, как бы ни было, детство мы провели в деревне на воле. Мы, всё равно как крестьянские дети, дни и ночи проводили в поле, в лесу, стерегли лошадей, драли лыко, ловили рыбу, и прочее тому подобное... А вы знаете, кто хоть раз в жизни поймал ерша или видел осенью перелетных дроздов, как они в ясные, прохладные дни носятся стаями над деревней, тот уже не городской житель, и его до самой смерти будет потягивать на волю. Мой брат тосковал в казенной палате. Годы проходили, а он всё сидел на одном месте, писал всё те же бумаги и думал всё об одном и том же, как бы в деревню. И эта тоска у него мало-помалу вылилась в определенное желание, в мечту купить себе маленькую усадьбу где-нибудь на берегу реки или озера.

Он был добрый, кроткий человек, я любил его, но этому желанию запретить себя на всю жизнь в собственную усадьбу я никогда не сочувствовал. Принято говорить, что человеку нужно только три аршина земли. Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку. И говорят также теперь, что если наша интеллигенция имеет тяготение к земле и стремится в усадьбы, то это хорошо. Но ведь эти усадьбы те же три аршина земли. Уходить из города, от борьбы, от житейского шума, уходить и прятаться у себя в усадьбе — это не жизнь, это эгоизм, лень, это своего рода монашество, но монашество без подвига. Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа.

Брат мой Николай, сидя у себя в канцелярии, мечтал о том, как он будет есть свои собственные щи, от которых идет такой вкусный запах по всему двору, есть на зеленой травке, спать на солнышке, сидеть по целым часам за воротами на лавочке и глядеть на поле и лес. Сельскохозяйственные книжки и всякие эти советы в календарях составляли его радость, любимую духовную пищу; он любил читать и газеты, но читал в них одни только объявления о том, что продаются столько-то десятин пашни и луга с усадьбой, рекой, садом, мельницей, с проточными прудами. И рисовались у него в голове дорожки в саду, цветы, фрукты, скворечни, красы в прудах и, знаете, всякая эта штука. Эти вообра-

жаемые картины были различны, смотря по объявлениям, которые попадались ему, но почему-то в каждой из них непременно был крыжовник. Ни одной усадьбы, ни одного поэтического угла он не мог себе представить без того, чтобы там не было крыжовника.

— Деревенская жизнь имеет свои удобства,— говорил он, бывало.— Сидишь на балконе, пьешь чай, а на пруде твои уточки плавают, пахнет так хорошо и... и крыжовник растет.

Он чертил план своего имения, и всякий раз у него на плане выходило одно и то же: а) барский дом, б) людская, в) огород, г) крыжовник. Жил он скупо: недоедал, недопивал, одевался бог знает как, словно нищий, и всё копил и клал в банк. Страшно жадничал. Мне было больно глядеть на него, и я кое-что давал ему и посылал на праздниках, но он и это прятал. Уж коли задался человек идеей, то ничего не поделаешь.

Годы шли, перевели его в другую губернию, минуло ему уже сорок лет, а он всё читал объявления в газетах и копил. Потом, слышу, женился. Всё с той же целью, чтобы купить себе усадьбу с крыжовником, он женился на старой, некрасивой вдове, без всякого чувства, а только потому, что у нее водились деньжонки. Он и с ней тоже жил скупо, держал ее впроголодь, а деньги ее положил в банк на свое имя. Раньше она была за почтмейстером и привыкла у него к пирогам и к наливкам, а у второго мужа и хлеба черного не видала вдоволь; стала чахнуть от такой жизни да года через три взяла и отдала богу душу. И конечно брат мой ни одной минуты не подумал, что он виноват в ее смерти. Деньги, как водка, делают человека чудяком. У нас в городе умирал купец. Перед смертью приказал подать себе тарелку меда и съел все свои деньги и выигрышные билеты вместе с медом, чтобы никому не досталось. Как-то на вокзале я осматривал гурты, и в это время один барышник попал под локомотив и ему отрезало ногу. Несем мы его в приемный покой, кровь льет — страшное дело, а он всё просит, чтобы ногу его отыскали, и всё беспокоится; в сапоге на отрезанной ноге двадцать рублей, как бы не пропали.

— Это вы уж из другой оперы,— сказал Буркин.

— После смерти жены,— продолжал Иван Иванович, подумав полминуты,— брат мой стал высматривать се-

бе имение. Конечно, хоть пять лет высматривай, но всё же в конце концов ошибешься и купишь совсем не то, о чем мечтал. Брат Николай через комиссионера, с переводом долга, купил сто двенадцать десятин с барским домом, с людской, с парком, но ни фруктового сада, ни крыжовника, ни прудов с уточками; была река, но вода в ней цветом как кофе, потому что по одну сторону имения кирпичный завод, а по другую — костопальный. Но мой Николай Иванович мало печалился; он написал себе двадцать кустов крыжовника, посадил и зажил помещиком.

В прошлом году я поехал к нему проведать. Поеду, думаю, посмотрю, как и что там. В письмах своих брат называл свое имение так: Чумбароклова Пустошь, Гималайское тож. Приехал я в «Гималайское тож» после полудня. Было жарко. Везде канавы, заборы, изгороди, посажены рядами елки,— и не знаешь, как проехать во двор, куда поставить лошадь. Иду к дому, а навстречу мне рыжая собака, толстая, похожая на свинью. Хочется ей лаять, да лень. Вышла из кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже похожая на свинью, и сказала, что барин отдыхает после обеда. Вхожу к брату, он сидит в постели, колени покрыты одеялом; постарел, располнел, обрюзг; щеки, нос и губы тянутся вперед,— того и гляди, хрюкнет в одеяло.

Мы обнялись и всплакнули от радости и от грустной мысли, что когда-то были молоды, а теперь оба седы и умирать пора. Он оделся и повел меня показывать свое имение.

— Ну, как ты тут поживаешь? — спросил я.

— Да ничего, слава богу, живу хорошо.

Это уж был не прежний робкий бедняга-чиновник, а настоящий помещик, барин. Он уж обжился тут, привык и вошел во вкус; кушал много, в бане мылся, полнел, уже судился с обществом и с обоими заводами и очень обижался, когда мужики не называли его «ваши высокоблагородие». И о душе своей заботился солидно, по-барски, и добрые дела творил не просто, а с важностью. А какие добрые дела? Лечил мужиков от всех болезней содой и касторкой и в день своих именин служил среди деревни благодарственный молебен, а потом ставил полведра, думал, что так нужно. Ах, эти ужасные полведра! Сегодня толстый помещик тащит му-

жиков к земскому начальнику за потраву, а завтра, в торжественный день, ставит им полведра, а они пьют и кричат ура, и пьяные кланяются ему в ноги. Перемена жизни к лучшему, сытость, праздность развивают в русском человеке самомнение, самое наглое. Николай Иваныч, который когда-то в казенной палате боялся даже для себя лично иметь собственные взгляды, теперь говорил одни только истины, и таким тоном, точно министр: «Образование необходимо, но для народа оно преждевременно», «телесные наказания вообще вредны, но в некоторых случаях они полезны и незаменимы».

— Я знаю народ и умею с ним обращаться, — говорил он. — Меня народ любит. Стоит мне только пальцем шевельнуть, и для меня народ сделает всё, что захочу.

И всё это, заметьте, говорилось с умной, доброю улыбкой. Он раз двадцать повторил: «мы, дворяне», «я, как дворянин»; очевидно, уже не помнил, что дед наш был мужик, а отец — солдат. Даже наша фамилия Чимша-Гималайский, в сущности несообразная, казалась ему теперь звучной, знатной и очень приятной.

Но дело не в нем, а во мне самом. Я хочу вам рассказать, какая перемена произошла во мне в эти немногие часы, пока я был в его усадьбе. Вечером, когда мы пили чай, кухарка подала к столу полную тарелку крыжовнику. Это был не купленный, а свой собственный крыжовник, собранный в первый раз с тех пор, как были посажены кусты. Николай Иваныч засмеялся и минуту глядел на крыжовник, молча, со слезами, — он не мог говорить от волнения, потом положил в рот одну ягоду, поглядел на меня с торжеством ребенка, который наконец получил свою любимую игрушку, и сказал:

— Как вкусно!

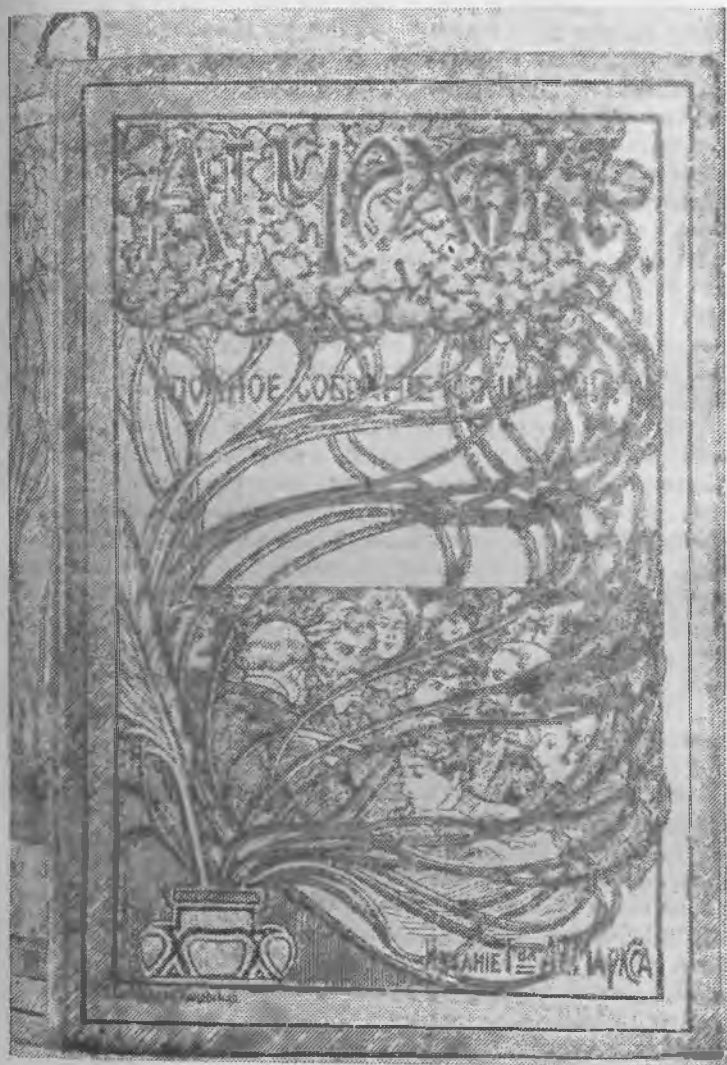
И он с жадностью ел и всё повторял:

— Ах, как вкусно! Ты попробуй!

Было жестко и кисло, но, как сказал Пушкин, «тмы истин нам дороже нас возвышающий обман». Я видел счастливого человека, заветная мечта которого осуществилась так очевидно, который достиг цели в жизни, получил то, что хотел, который был доволен своею судьбой, самим собой. К моим мыслям о челове-

ческом счастье всегда почему-то примешивалось что-то грустное, теперь же, при виде счастливого человека, мною овладело тяжелое чувство, близкое к отчаянию. Особенно тяжело было ночью. Мне постлали постель в комнате рядом с спальней брата, и мне было слышно, как он не спал и как вставал и подходил к тарелке с крыжовником и брал по яголке. Я соображал: как, в сущности, много довольных, счастливых людей! Какая это подавляющая сила! Вы взгляните на эту жизнь: наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье... Между тем во всех домах и на улицах тишина, спокойствие; из пятидесяти тысяч живущих в городе ни одного, который бы вскрикнул, громко возмутился. Мы видим тех, которые ходят на рынок за провизией, днем едят, ночью спят, которые говорят свою чепуху, женятся, старятся, благодушно тащат на кладбище своих покойников; но мы не видим и не слышим тех, которые страдают, и то, что страшно в жизни, происходит где-то за кулисами. Всё тихо, спокойно, и протестует одна только немая статистика: столько-то с ума сошло, столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло от недоедания... И такой порядок, очевидно, нужен; очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча, и без этого молчания счастье было бы невозможно. Это общий гипноз. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда — болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других. Но человека с молоточком нет, счастливый живет себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осину,— и всё обстоит благополучно.

— В ту ночь мне стало понятно, как я тоже был доволен и счастлив,— продолжал Иван Иванович, вставая.— Я тоже за обедом и на охоте поучал, как жить, как верить, как управлять народом. Я тоже говорил, что ученье свет, что образование необходимо, но для простых людей пока довольно одной грамоты. Свобода есть благо, говорил я, без нее нельзя, как без воздуха,



ПЕРЕПЛЕТ ВТОРОГО ПРИЖИЗНЕННОГО ИЗДАНИЯ
СОЧИНЕНИЙ А. П. ЧЕХОВА.

по надо подождать. Да, я говорил так, а теперь спрашиваю: во имя чего ждать? — спросил Иван Иванович, сердито глядя на Буркина. — Во имя чего ждать, я вас спрашиваю? Во имя каких соображений? Мне говорят, что не всё сразу, всякая идея осуществляется в жизни постепенно, в свое время. Но кто это говорит? Где доказательства, что это справедливо? Вы ссылаетесь на естественный порядок вещей, на законность явлений, но есть ли порядок и законность в том, что я, живой, мыслящий человек, стою надо рвом и жду, когда он зарастет сам или затынет его илом, в то время как, быть может, я мог бы перескочить через него или построить через него мост? И опять-таки, во имя чего ждать? Ждать, когда нет сил жить, а между тем жить нужно и хочется жить!

Я уехал тогда от брата рано утром, и с тех пор для меня стало невыносимо бывать в городе. Меня угнетают тишина и спокойствие, я боюсь смотреть на окна, так как для меня теперь нет более тяжелого зрелища, как счастливое семейство, сидящее вокруг стола и пьющее чай. Я уже стар и не гоюсь для борьбы, я неспособен даже ненавидеть. Я только скорблю душевно, раздражаюсь, досадную, по ночам у меня горит голова от наплыва мыслей, и я не могу спать... Ах, если б я был молод!

Иван Иванович прошелся в волнении из угла в угол и повторил:

— Если б я был молод!

Он вдруг подошел к Алехину и стал пожимать ему то одну руку, то другую.

— Павел Константиныч,— проговорил он умоляющим голосом,— не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро! Счастья нет и не должно его быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. Делайте добро!

И всё это Иван Иванович проговорил с жалкой, просящею улыбкой, как будто просил лично для себя.

Потом все трое сидели в креслах, в разных концах гостиной, и молчали. Рассказ Ивана Ивановича не удовлетворил ни Буркина, ни Алехина. Когда из золотых рам глядели генералы и дамы, которые в сумерках ка-

зались живыми, слушать рассказ про беднягу-чиновника, который ел крыжовник, было скучно. Хотелось почему-то говорить и слушать про изящных людей, про женщин. И то, что они сидели в гостиной, где всё — и люстра в чехле, и кресла, и ковры под ногами говорили, что здесь когда-то ходили, сидели, пили чай вот эти самые люди, которые глядели теперь из рам, и то, что здесь теперь бесшумно ходила красивая Пелагея, — это было лучше всяких рассказов.

Алехину сильно хотелось спать; он встал по хозяйству рано, в третьем часу утра, и теперь у него слипались глаза, но он боялся, как бы гости не стали без него рассказывать что-нибудь интересное, и не уходил. Умно ли, справедливо ли было то, что только что говорил Иван Иванович, он не вникал; гости говорили не о крупе, не о сене, не о дегте, а о чем-то, что не имело прямого отношения к его жизни, и он был рад и хотел, чтобы они продолжали...

— Однако пора спать, — сказал Буркин, поднимаясь. — Позвольте пожелать вам спокойной ночи.

Алехин простился и ушел к себе вниз, а гости остались наверху. Им обоим отвели на ночь большую комнату, где стояли две старые деревянные кровати с резными украшениями и в углу было распытие из слоновой кости; от их постелей, широких, прохладных, которые постилала красивая Пелагея, приятно пахло свежим бельем.

Иван Иванович молча разделся и лег.

— Господи, прости нас грешных! — проговорил он и укрылся с головой.

От его трубочки, лежавшей на столе, сильно пахло табачным перегаром, и Буркин долго не спал и всё никак не мог понять, откуда этот тяжелый запах.

Дождь стучал в окна всю ночь.

О ЛЮБВИ

На другой день к завтраку подавали очень вкусные пирожки, раков и бараньи котлеты; и пока ели, приходил наверх повар Никанор справиться, что гости желают к обеду. Это был человек среднего роста, с пухлым лицом и маленькими глазами, бритый, и казалось, что усы у него были ле бриты, а выщипаны.

Алехин рассказал, что красивая Пелагея была влюблена в этого повара. Так как он был пьяница и буйного нрава, то она не хотела за него замуж, но соглашалась жить так. Он же был очень набожен, и религиозные убеждения не позволяли ему жить так; он требовал, чтобы она шла за него, и иначе не хотел, и бранил ее, когда бывал пьян, и даже бил. Когда он бывал пьян, она пряталась наверху и рыдала, и тогда Алехин и прислуга не уходили из дому, чтобы защитить ее в случае надобности.

Стали говорить о любви.

— Как зарождается любовь,— сказал Алехин,— почему Пелагея не полюбила кого-нибудь другого, более подходящего к ней по ее душевным и внешним качествам, а полюбила именно Никанора, этого мурло,— тут у нас все зовут его мурлом,— поскольку в любви важны вопросы личного счастья — всё это неизвестно и обо всем этом можно трактовать как угодно. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что «тайна сия велика есть», всё же остальное, что писали и говорили о любви, было не решенным, а только постановкой вопросов, которые так и оставались неразрешенными. То объяснение, которое, казалось бы, годится для одного случая, уже не годится для десяти других, и самое лучшее, по-моему,— это объяснять каждый случай в отдельности, не пытаюсь обобщать. Надо, как говорят доктора, индивидуализировать каждый отдельный случай.

— Совершенно верно, — согласился Буркин.

— Мы, русские, порядочные люди, питаем пристрастие к этим вопросам, остающимся без разрешения. Обыкновенно любовь поэтизируют, украшают ее розами, соловьями, мы же, русские, украшаем нашу любовь этими роковыми вопросами, и притом выбираем из них самые неинтересные. В Москве, когда я еще был студентом, у меня была подруга жизни, милая дама, которая всякий раз, когда я держал ее в объятиях, думала о том, сколько я буду выдавать ей в месяц и почем теперь говядина за фунт. Так и мы, когда любим, то не перестаем задавать себе вопросы: честно это или нечестно, умно или глупо, к чему поведет эта любовь и так далее. Хорошо это или нет, я не знаю, но что это мешает, не удовлетворяет, раздражает — это я знаю.

Было похоже, что он хочет что-то рассказать. У людей, живущих одиноко, всегда бывает на душе что-нибудь такое, что они охотно бы рассказали. В городе холостяки нарочно ходят в баню и в рестораны, чтобы только поговорить, и иногда рассказывают банщикам или официантам очень интересные истории, в деревне же обыкновенно они изливают душу перед своими гостями. Теперь в окна было видно серое небо и деревья, мокрые от дождя, в такую погоду некуда было деваться и ничего больше не оставалось, как только рассказывать и слушать.

— Я живу в Софьино и занимаюсь хозяйством уже давно, — начал Алехин, — с тех пор, как кончил в университете. По воспитанию я белоручка, по наклонностям — кабинетный человек, но на имении, когда я приехал сюда, был большой долг, а так как отец мой задолжал отчасти потому, что много тратил на мое образование, то я решил, что не уеду отсюда и буду работать, пока не уплачу этого долга. Я решил так и начал тут работать, признаюсь, не без некоторого отвращения. Здешняя земля дает не много, и, чтобы сельское хозяйство было не в убыток, нужно пользоваться трудом крепостных или наемных батраков, что почти одно и то же, или же вести свое хозяйство на крестьянский лад, то есть работать в поле самому, со своей семьей. Середины тут нет. Но я тогда не вдавался в такие тонкости. Я не оставлял в покое ни одного клочка земли, я стовял всех мужиков и баб из соседних деревень.

работа у меня тут кипела неистовая; я сам тоже пахал, сѣял, косил и при этом скучал и брезгливо морщился, как деревенская кошка, которая с голоду ест на огороде огурцы; тело мое болело, и я спал на ходу. В первое время мне казалось, что эту рабочую жизнь я могу легко помирить со своими культурными привычками; для этого стоит только, думал я, держаться в жизни известного внешнего порядка. Я поселился тут наверху, в парадных комнатах, и завел так, что после завтрака и обеда мне подавали кофе с ликерами и, ложась спать, я читал на ночь «Вестник Европы». Но как-то пришел наш батюшка, отец Иван, и в один присест выпил все мои ликеры; и «Вестник Европы» пошел тоже к щоповнам, так как летом, особенно во время покоса, я не успевал добраться до своей постели и засыпал в сарае в саях или где-нибудь в лесной сторожке — какое уж тут чтение? Я мало-помалу перебрался вниз, стал обедать в людской кухне, и из прежней роскоши у меня осталась только вся эта прислуга, которая еще служила моему отцу и которую уволить мне было бы больно.

В первые же годы меня здесь выбрали в почетные мировые судьи. Кое-когда приходилось наезжать в город и принимать участие в заседаниях съезда и окружного суда, и это меня развлекало. Когда поживешь здесь безвыездно месяца два-три, особенно зимой, то в конце концов начинаешь тосковать по черном сюртуке. А в окружном суде были и сюртуки, и мундиры, и фраки, всё юристы, люди, получившие общее образование; было с кем поговорить. После спанья в саях, после людской кухни сидеть в кресле, в чистом белье, в легких ботинках, с цепью на груди — это такая роскошь!

В городе меня принимали радушно, я охотно знакомился. И из всех знакомств самым основательным и, правду сказать, самым приятным для меня было знакомство с Лугановичем, товарищем председателя окружного суда. Его вы знаете оба: милейшая личность. Это было как раз после знаменитого дела поджигателей; разбирательство продолжалось два дня, мы были утомлены. Луганович посмотрел на меня и сказал:

— Знаете что? Пойдемте ко мне обедать.

Это было неожиданно, так как с Лугановичем я был

знаком мало, только официально, и ни разу у него не был. Я только на минутку зашел к себе в номер, чтобы переодеться, и отправился на обед. И тут мне представился случай познакомиться с Анной Алексеевной, женой Лугановича. Тогда она была еще очень молода, не старше двадцати двух лет, и за полгода до того у нее родился первый ребенок. Дело прошлое, и теперь бы я затруднился определить, что, собственно, в ней было такого необыкновенного, что мне так понравилось в ней, тогда же за обедом для меня всё было неотразимо ясно; я видел женщину молодую, прекрасную, добрую, интеллигентную, обаятельную, женщину, какой я раньше никогда не встречал; и сразу я почувствовал в ней существо близкое, уже знакомое, точно это лицо, эти приветливые, умные глаза я видел уже когда-то в детстве, в альбоме, который лежал на комоду у моей матери.

В деле поджигателей обвинили четырех евреев, признали шайку и, по-моему, совсем неосновательно. За обедом я очень волновался, мне было тяжело, и уж не помню, что я говорил, только Анна Алексеевна всё покачивала головой и говорила мужу:

— Дмитрий, как же это так?

Луганович — это добряк, один из тех простодушных людей, которые крепко держатся мнения, что раз человек попал под суд, то, значит, он виноват, и что выражать сомнение в правильности приговора можно не иначе, как в законном порядке, на бумаге, но никак не за обедом и не в частном разговоре.

— Мы с вами не поджигали, — говорил он мягко, — и вот нас же не судят, не сажают в тюрьму.

И оба, муж и жена, старались, чтобы я побольше ел и пил; по некоторым мелочам, по тому, например, как оба они вместе варили кофе, и по тому, как они понимали друг друга с полуслов, я мог заключить, что живут они мирно, благополучно и что они рады гостю. После обеда играли на рояле в четыре руки, потом стало темно, и я уехал к себе. Это было в начале весны. Затем всё лето провел я в Софьино безвыездно, и было мне некогда даже подумать о городе, но воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни; я не думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе.

Позднею осенью в городе был спектакль с благотворительной целью. Вхожу я в губернаторскую ложу (меня пригласили туда в антракте), смотрю — рядом с губернаторшей Анна Алексеевна, и опять то же самое неотразимое, бьющее впечатление красоты и милых, ласковых глаз, и опять то же чувство близости.

Мы сидели рядом, потом ходили в фойе.

— Вы похудели, — сказала она. — Вы были больны?

— Да. У меня простужено плечо, и в дождливую погоду я дурно сплю.

— У вас вялый вид. Тогда, весной, когда вы приходили обедать, вы были моложе, бодрее. Вы тогда были воодушевлены и много говорили, были очень интересны, и, признаюсь, я даже увлеклась вами немножко. Почему-то часто в течение лета вы приходили мне на память и сегодня, когда я собиралась в театр, мне казалось, что я вас увижу.

И она засмеялась.

— Но сегодня у вас вялый вид, — повторила она. — Это вас старит.

На другой день я завтракал у Лугановичей; после завтрака они поехали к себе на дачу, чтобы распорядиться там насчет зимы, и я с ними. С ними же вернулся в город и в полночь пил у них чай в тихой, семейной обстановке, когда горел камин и молодая мать всё уходила взглянуть, спит ли ее девочка. И после этого в каждый свой приезд непременно бывал у Лугановичей. Ко мне привыкли, и я привык. Обыкновенно входил я без доклада, как свой человек.

— Кто там? — слышался из дальних комнат протяжный голос, который казался мне таким прекрасным.

— Это Павел Константиныч, — отвечала горничная или няня.

Анна Алексеевна выходила ко мне с озабоченным лицом и всякий раз спрашивала:

— Почему вас так долго не было? Случилось что-нибудь?

Ее взгляд, изящная, благородная рука, которую она подавала мне, ее домашнее платье, прическа, голос, шаги всякий раз производили на меня всё то же впечатление чего-то нового, необыкновенного в моей жизни и важного. Мы беседовали подолгу и подолгу молчали, думая каждый о своем, или же она играла мне

на роле. Если же никого не было дома, то я оставался ждать, разговаривал с няней, играл с ребенком или же в кабинете лежал на турецком диване и читал газету, а когда Анна Алексеевна возвращалась, то я встречал ее в передней, брал от нее все ее покупки, и почему-то всякий раз эти покупки я нес с такою любовью, с таким торжеством, точно мальчик.

Есть пословица: не было у бабы хлопот, так купила поросю. Не было у Лугановичей хлопот, так подружился они со мной. Если я долго не приезжал в город, то, значит, я был болен или что-нибудь случилось со мной, и они оба сильно беспокоились. Они беспокоились, что я, образованный человек, знающий языки, вместо того, чтобы заниматься наукой или литературным трудом, живу в деревне, верчусь как белка в колесе, много работаю, но всегда без гроша. Им казалось, что я страдаю и если я говорю, смеюсь, ем, то только для того, чтобы скрыть свои страдания, и даже в веселые минуты, когда мне было хорошо, я чувствовал на себе их пытливые взгляды. Они были особенно трогательны, когда мне в самом деле приходилось тяжело, когда меня притеснял какой-нибудь кредитор или не хватало денег для срочного платежа; оба, муж и жена, шептались у окна, потом он подходил ко мне и с серьезным лицом говорил:

— Если вы, Павел Константиныч, в настоящее время нуждаетесь в деньгах, то я и жена просим вас не стесняться и взять у нас.

И уши краснели у него от волнения. А случалось, что точно так же, пошептавшись у окна, он подходил ко мне, с красными ушами, и говорил:

— Я и жена убедительно просим вас принять от нас вот этот подарок.

И подавал запонки, портсигар или лампу, и я за это присылал им из деревни битую птицу, масло и цветы. Кстати сказать, оба они были состоятельные люди. В первое время я часто брал займы и был не особенно разборчив, брал, где только возможно, но никакие силы не заставили бы меня взять у Лугановичей. Да что говорить об этом!

Я был несчастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней, я старался понять тайну молодой, красивой, умной женщины, которая выходит за неинтересного

человека, почти за старика (мужу было больше сорока лет), имеет от него детей,— понять тайну этого неинтересного человека, добряка, простяка, который рассуждает с таким скучным здравомыслием, на балах и вечеринках держится около солидных людей, вялый, ненужный, с покорным, безучастным выражением, точно его привели сюда продавать, который верит, однако, в свое право быть счастливым, иметь от нее детей; и я всё старался понять, почему она встретила именно ему, а не мне, и для чего это нужно было, чтобы в нашей жизни произошла такая ужасная ошибка.

А приезжая в город, я всякий раз по ее глазам видел, что она ждала меня; и она сама признавалась мне, что еще с утра у нее было какое-то особенное чувство, она угадывала, что я приеду. Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею; мне казалось невероятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили и где мне так верили. Честно ли это? Она пошла бы за мной, но куда? Куда бы я мог увести ее? Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь, если б я, например, боролся за освобождение родины или был знаменитым ученым, артистом, художником, а то ведь из одной обычной, будничной обстановки пришлось бы увлечь ее в другую такую же или еще более будничную. И как бы долго продолжалось наше счастье? Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти или просто если бы мы разлюбили друг друга?

И она, по-видимому, рассуждала подобным же образом. Она думала о муже, о детях, о своей матери, которая любила ее мужа, как сына. Если б она отдалась своему чувству, то пришлось бы лгать или говорить правду, а в ее положении то и другое было бы одинаково страшно и неудобно. И ее мучил вопрос: принесет ли мне счастье ее любовь, не осложнит ли она моей жизни, и без того тяжелой, полной всяких несчастий? Ей казалось, что она уже недостаточно молода для меня, не-

достаточно трудолюбива и энергична, чтобы начать новую жизнь, и она часто говорила с мужем о том, что мне нужно жениться на умной, достойной девушке, которая была бы хорошей хозяйкой, помощницей,— и тотчас же добавляла, что во всем городе едва ли найдется такая девушка.

Между тем годы шли. У Анны Алексеевны было уже двое детей. Когда я приходил к Лугановичам, прислуга улыбалась приветливо, дети кричали, что пришел дядя Павел Константиныч, и вешались мне на шею; все радовались. Не понимали, что делалось в моей душе, и думали, что я тоже радуюсь. Все видели во мне благородное существо. И взрослые и дети чувствовали, что по комнате ходит благородное существо, и это вносило в их отношения ко мне какую-то особую прелесть, точно в моем присутствии и их жизнь была чище и красивее. Я и Анна Алексеевна ходили вместе в театр, всякий раз пешком; мы сидели в креслах рядом, плечи наши касались, я молча брал из ее рук бинокль и в это время чувствовал, что она близка мне, что она моя, что нам нельзя друг без друга, но, по какому-то странному недоразумению, выйдя из театра, мы всякий раз прощались и расходились, как чужие. В городе уже говорили о нас бог знает что, но из всего, что говорили, не было ни одного слова правды.

В последние годы Анна Алексеевна стала чаще уезжать то к матери, то к сестре; у нее уже бывало дурное настроение, являлось сознание неудовлетворенной, испорченной жизни, когда не хотелось видеть ни мужа, ни детей. Она уже лечилась от расстройства нервов.

Мы молчали и всё молчали, а при посторонних она испытывала какое-то странное раздражение против меня; о чем бы я ни говорил, она не соглашалась со мной, и если я спорил, то она принимала сторону моего противника. Когда я ронял что-нибудь, то она говорила холодно:

— Поздравляю вас.

Если, идя с ней в театр, я забывал взять бинокль, то потом она говорила:

— Я так и знала, что вы забудете.

К счастью или к несчастью, в нашей жизни не бывает ничего, что не кончалось бы рано или поздно. Наступило время разлуки, так как Лугановича назначили пред-

седателем в одной из западных губерний. Нужно было продавать мебель, лошадей, дачу. Когда ездили на дачу и потом возвращались и оглядывались, чтобы в последний раз взглянуть на сад, на зеленую крышу, то было всем грустно, и я понимал, что пришла пора прощаться не с одной только дачей. Было решено, что в конце августа мы проводим Анну Алексеевну в Крым, куда посылали ее доктора, а немного погодя уедет Луганович с детьми в свою западную губернию.

Мы провожали Анну Алексеевну большой толпой. Когда она уже простилась с мужем и детьми и до третьего звонка оставалось одно мгновение, я вбежал к ней в купе, чтобы положить на полку одну из ее корзинок, которую она едва не забыла; и нужно было проститься. Когда тут, в купе, взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих, я обнял ее, она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз; целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от слез,— о, как мы были с ней несчастны! — я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как ненужно, мелко и как обманчиво было всё то, что нам мешало любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе.

Я поцеловал в последний раз, пожал руку, и мы расстались — навсегда. Поезд уже шел. Я сел в соседнем купе,— оно было пусто,— и до первой станции сидел тут и плакал. Потом пошел к себе в Софьино пешком...

Пока Алехин рассказывал, дождь перестал и выглянуло солнце. Буркин и Иван Иванович вышли на балкон; отсюда был прекрасный вид на сад и на плес, который теперь на солнце блестел, как зеркало. Они любовались и в то же время жалели, что этот человек с добрыми, умными глазами, который рассказывал им с таким чистосердечием, в самом деле вертелся здесь, в этом громадном имении, как белка в колесе, а не занимался наукой или чем-нибудь другим, что делало бы его жизнь более приятной; и они думали о том, какое, должно быть, скорбное лицо было у молодой дамы, когда он прощался с ней в купе и целовал ей лицо и плечи. Оба они встречали ее в городе, а Буркин был даже знаком с ней и находил ее красивой.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Профессор получил телеграмму из фабрики Ляликовых: его просили поскорее приехать. Была больна дочь какой-то госпожи Ляликовой, по-видимому, владелицы фабрики, и больше ничего нельзя было понять из этой длинной, бестолково составленной телеграммы. И профессор сам не поехал, а вместо себя послал своего ординатора Королева.

Нужно было проехать от Москвы две станции и потом на лошадах версты четыре. За Королевым выслали на станцию тройку; кучер был в шляпе с павлиньим пером и на все вопросы отвечал громко, по-солдатски: «Никак нет!» — «Точно так!» Был субботний вечер, заходило солнце. От фабрики к станции толпами шли рабочие и кланялись лошадам, на которых ехал Королев. И его пленял вечер, и усадьбы, и дачи по сторонам, и березы, и это тихое настроение кругом, когда, казалось, вместе с рабочими теперь, накануне праздника, собирались отдыхать и поле, и лес, и солнце, — отдыхать и, быть может, молиться...

Он родился и вырос в Москве, деревни не знал и фабриками никогда не интересовался и не бывал на них. Но ему случалось читать про фабрики и бывать в гостях у фабрикантов и разговаривать с ними; и когда он видел какую-нибудь фабрику издали или вблизи, то всякий раз думал о том, что вот снаружи всё тихо и смиренно, а внутри, должно быть, непроходимое невежество и тупой эгоизм хозяев, скучный, нездоровый труд рабочих, дразни, водка, насекомые. И теперь, когда рабочие почтительно и пугливо сторонились коляски, он в их лицах, картузах, в походке угадывал физическую нечистоту, пьянство, нервность, растерянность.

Въехали в фабричные ворота. По обе стороны мелькали домики рабочих, лица женщин, белье и одеяла

на крыльях. «Берегись!» — кричал кучер, не сдерживая лошадей. Вот широкий двор без травы, на нем пять громадных корпусов с трубами, друг от друга поодаль, товарные склады, бараки, и на всем какой-то серый налет, точно от пыли. Там и сям, как оазисы в пустыне, жалкие садики и зеленые или красные крыши домов, в которых живет администрация. Кучер вдруг осадил лошадей, и коляска остановилась у дома, выкрашенного заново в серый цвет; тут был палисадник с сиренью, покрытой пылью, и на желтом крыльце сильно пахло краской.

— Пожалуйте, господин доктор, — говорили женские голоса в сенях и в передней; и при этом слышались вздохи и шёпот. — Пожалуйте, заждались... чистое горе. Вот сюда пожалуйте.

Госпожа Ляликова, полная, пожилая дама, в черном шелковом платье с модными рукавами, но, судя по лицу, простая, малограмотная, смотрела на доктора с тревогой и не решалась подать ему руку, не смела. Рядом с ней стояла особа с короткими волосами, в ринсез, в пестрой цветной кофточке, тощая и уже не молодая. Прислуга называла ее Христиной Дмитриевной, и Королев догадался, что это гувернантка. Вероятно, ей, как самой образованной в доме, было поручено встретить и принять доктора, потому что она тотчас же, торопясь, стала излагать причины болезни, с мелкими, назойливыми подробностями, но не говоря, кто болен и в чем дело.

Доктор и гувернантка сидели и говорили, а хозяйка стояла неподвижно у двери, ожидая. Из разговора Королев понял, что больна Лиза, девушка двадцати лет, единственная дочь госпожи Ляликовой, наследница; она давно уже болела и лечилась у разных докторов, а в последнюю ночь, с вечера до утра, у нее было такое сердцебиение, что все в доме не спали; боялись, как бы не умерла.

— Она у нас, можно сказать, с малолетства была хворенькая, — рассказывала Христина Дмитриевна певучим голосом, то и дело вытирая губы рукой. — Доктора говорят — нервы, но, когда она была маленькой, доктора ей золотуху внутрь вогнали, так вот, думаю, может, от этого.

Пошли к больной. Совсем уже взрослая, большая,

хорошего роста, но некрасивая, похожая на мать, с такими же маленькими глазами и с широкой, неумеренно развитой нижней частью лица, непричесанная, укрытая до подбородка, она в первую минуту произвела на Королеву впечатление существа несчастного, убогого, которое из жалости пригрели здесь и укрыли, и не верилось, что это была наследница пяти громадных корпусов.

— А мы к вам,— начал Королев,— пришли вас лечить. Здравствуйте.

Он назвал себя и пожал ей руку,— большую, холодную, некрасивую руку. Она села и, очевидно, давно уже привыкшая к докторам, равнодушная к тому, что у нее были открыты плечи и грудь, дала себя выслушать.

— У меня сердцебиение,— сказала она.— Всю ночь был такой ужас... я едва не умерла от ужаса! Дайте мне чего-нибудь.

— Дам, дам! Успокойтесь.

Королев осмотрел ее и пожал плечами.

— Сердце, как следует,— сказал он,— всё обстоит благополучно, всё в порядке. Нервы, должно быть, подгуляли немножко, но это так обыкновенно. Припадок, надо думать, уже кончился, ложитесь себе спать.

В это время принесли в спальню лампу. Больная прищурилась на свет и вдруг охватила голову руками и зарыдала. И впечатление существа убогого и некрасивого вдруг исчезло, и Королев уже не замечал ни маленьких глаз, ни грубо развитой нижней части лица; он видел мягкое страдальческое выражение, которое было так разумно и трогательно, и вся она казалась ему стройной, женственной, простой, и хотелось уже успокоить ее не лекарствами, не советом, а простым ласковым словом. Мать обняла ее голову и прижала к себе. Сколько отчаяния, сколько скорби на лице у старухи! Она, мать, вскормила, вырастила дочь, не жалела ничего, всю жизнь отдала на то, чтоб обучить ее французскому языку, танцам, музыке, приглашала для нее десяток учителей, самых лучших докторов, держала гувернантку, и теперь не понимала, откуда эти слезы, зачем столько мук, не понимала и терялась, и у нее было виноватое, тревожное, отчаянное выражение, точно она упустила что-то еще очень важное, чего-то

еще не сделала, кого-то еще не пригласила, а кого — неизвестно.

— Лизанька, ты опять... ты опять,— говорила она, прижимая к себе дочь.— Родная моя, голубушка, дочка моя, скажи, что с тобой? Пожалей меня, скажи.

Обе горько плакали. Королев сел на край постели и взял Лизу за руку.

— Полноте, стоит ли плакать? — сказал он ласково.— Ведь на свете нет ничего такого, что заслуживало бы этих слез. Ну, не будем плакать, не нужно это...

А сам подумал: «Замуж бы ее пора...»

— Наш фабричный доктор давал ей кали-бромати,— сказала гувернантка,— но ей от этого, я замечаю, только хуже. По-моему, уж если давать от сердца, то капли... забыла, как они называются... Ландышевые, что ли.

И опять пошли всякие подробности. Она перебивала доктора, мешала ему говорить, и на лице у нее было написано старание, точно она полагала, что, как самая образованная женщина в доме, она была обязана вести с доктором непрерывный разговор и непременно о медицине.

Королеву стало скучно.

— Я не нахожу ничего особенного,— сказал он, выходя из спальни и обращаясь к матери.— Если вашу дочь лечил фабричный врач, то пусть и продолжает лечить. Лечение до сих пор было правильное, и я не вижу необходимости менять врача. Для чего менять? Болезнь такая обыкновенная, ничего серьезного...

Он говорил не спеша, надевая перчатки, а госпожа Ляликова стояла неподвижно и смотрела на него заплаканными глазами.

— До десятичасового поезда осталось полчаса,— сказал он,— надеюсь, я не опоздаю.

— А вы не можете у нас остаться? — спросила она, и опять слезы потекли у нее по щекам.— Совестно вас беспокоить, но будьте так добры... ради бога,— продолжала она вполголоса, оглядываясь на дверь,— переночуйте у нас. Она у меня одна... единственная дочь... Напугала прошлую ночь, опомниться не могу... Не уезжайте, бога ради...

Он хотел сказать ей, что у него в Москве много рабо-

ты, что дома его ждет семья; ему было тяжело провести в чужом доме без надобности весь вечер и всю ночь, но он поглядел на ее лицо, вздохнул и стал молча снимать перчатки.

В зале и гостиной для него зажгли все лампы и свечи. Он сидел у рояля и перелистывал ноты, потом осматривал картины на стенах, портреты. На картинах, написанных масляными красками, в золотых рамах, были виды Крыма, бурное море с корабликом, католический монах с рюмкой, и всё это сухо, зализано, бездарно... На портретах ни одного красивого, интересного лица, всё широкие скулы, удивленные глаза; у Ляликова, отца Лизы, маленький лоб и самодовольное лицо, мундир мешком сидит на его большом непородистом теле, на груди медаль и знак Красного Креста. Культура бедная, роскошь случайная, не осмысленная, неудобная, как этот мундир; полы раздражают своим блеском, раздражает люстра, и вспоминается почему-то рассказ про кушца, ходившего в баню с медалью на шее...

Из передней доносился шёпот, кто-то тихо храпел. И вдруг со двора послышались резкие, отрывистые, металлические звуки, каких Королев раньше никогда не слышал и каких не понял теперь; они отозвались в его душе странно и неприятно.

«Кажется, ни за что не остался бы тут жить...» — подумал он и опять принялся за ноты.

— Доктор, пожалуйста закусить! — позвала вполголоса гувернантка.

Он пошел ужинать. Стол был большой, со множеством закусок и вин, но ужинали только двое: он да Христина Дмитриевна. Она пила мадеру, быстро кушала и говорила, поглядывая на него через *pinse-nez*:

— Рабочие нами очень довольны. На фабрике у нас каждую зиму спектакли, сами рабочие играют, ну чтения с волшебным фонарем, великолепная чайная и, кажется, чего уж. Они нам очень приверженные и, когда узнали, что Лизаньке хуже стало, заказали молебен. Необразованные, а ведь тоже чувствуют.

— Похоже, у вас в доме нет ни одного мужчины, — сказал Королев.

— Ни одного. Петр Никанорыч помер полтора года назад, и мы одни остались. Так и живем втроем. Летом

здесь, а зимой в Москве на Полянке. Я у них уже одиннадцатый лет живу. Как своя.

К ужину подавали стерлядь, куриные котлеты и компот; вина были дорогие, французские.

— Вы, доктор, пожалуйста, без церемонии, — говорила Христина Дмитриевна, кушая, утирая рот кулачком, и видно было, что она жила здесь в свое полное удовольствие. — Пожалуйста, кушайте.

После ужина доктора отвели в комнату, где для него была приготовлена постель. Но ему не хотелось спать, было душно и в комнате пахло краской; он надел пальто и вышел.

На дворе было прохладно; уже брезжил рассвет и в сыром воздухе ясно обозначались все пять корпусов с их длинными трубами, бараки и склады. По случаю праздника не работали, было в окнах темно, и только в одном из корпусов горела еще печь, два окна были багровы и из трубы вместе с дымом изредка выходил огонь. Далеко за двором кричали лягушки и пел соловей.

Глядя на корпуса и на бараки, где спали рабочие, он опять думал о том, о чем думал всегда, когда видел фабрики. Пусть спектакли для рабочих, волшебные фонари, фабричные доктора, разные улучшения, но всё же рабочие, которых он встретил сегодня по дороге со станции, ничем не отличаются по виду от тех рабочих, которых он видел давно в детстве, когда еще не было фабричных спектаклей и улучшений. Он, как медик, правильно судивший о хронических страданиях, коренная причина которых была непонятна и неизлечима, и на фабрике смотрел как на недоразумение, причина которого была тоже неясна и неустранима, и все улучшения в жизни фабричных он не считал лишними, но приравнивал их к лечению неизлечимых болезней.

«Тут недоразумение, конечно... — думал он, глядя на багровые окна. — Тысячи полторы-две фабричных работают без отдыха, в нездоровой обстановке, делаю плохой ситец, живут впроголодь и только изредка в кабаке отрезвляются от этого кошмара; сотня людей надзирает за работой, и вся жизнь этой сотни уходит на записывание штрафов, на брань, несправедливости, и только двое-трое, так называемые хозяева, пользуются

выгодами, хотя совсем не работают и презирают плохой ситец. Но какие выгоды, как пользуются ими? Ляликова и ее дочь несчастны, на них жалко смотреть, живет в свое удовольствие только одна Христина Дмитриевна, пожилая, глуповатая девица в рinсе-нез. И выходит так, значит, что работают все эти пять корпусов и на восточных рынках продается плохой ситец для того только, чтобы Христина Дмитриевна могла кушать стерлядь и пить мадеру».

Вдруг раздались странные звуки, те самые, которые Королев слышал до ужина. Около одного из корпусов кто-то бил в металлическую доску, бил и тотчас же задерживал звук, так что получились короткие, резкие, нечистые звуки, похожие на «дер... дер... дер...» Затем полминуты тишины, и у другого корпуса раздались звуки, такие же отрывистые и неприятные, уже более низкие, басовые — «дрин... дрын... дрын...» Одиннадцать раз. Очевидно, это сторожа били одиннадцать часов.

Послышалось около третьего корпуса: «жак... жак... жак...» И так около всех корпусов и потом за бараками и за воротами. И похоже было, как будто среди ночной тишины издавало эти звуки само чудовище с багровыми глазами, сам дьявол, который владел тут и хозяевами, и рабочими, и обманывал и тех и других.

Королев вышел со двора в поле.

— Кто идет? — окликнули его у ворот грубым голосом.

«Точно в остроге...» — подумал он и ничего не ответил.

Здесь соловьи и лягушки были слышнее, чувствовалась майская ночь. Со станции доносился шум поезда; кричали где-то сонные петухи, но всё же ночь была тиха, мир покойно спал. В поле, недалеко от фабрики, стоял сруб, тут был сложен материал для постройки. Королев сел на доски и продолжал думать:

«Хорошо чувствует себя здесь только одна гувернантка, и фабрика работает для ее удовольствия. Но это так кажется, она здесь только подставное лицо. Главный же, для кого здесь всё делается, — это дьявол».

И он думал о дьяволе, в которого не верил, и оглядывался на два окна, в которых светился огонь. Ему

казалось, что этими багровыми глазами смотрел на него сам дьявол, та неведомая сила, которая создала отношения между сильными и слабыми, эту грубую ошибку, которую теперь ничем не исправишь. Нужно, чтобы сильный мешал жить слабому, таков закон природы, но это понятно и легко укладывается в мысль только в газетной статье или в учебнике, в той же каше, какую представляет из себя обыденная жизнь, в путанице всех мелочей, из которых сотканы человеческие отношения, это уже не закон, а логическая несообразность, когда и сильный, и слабый одинаково падают жертвой своих взаимных отношений, невольно покоряясь какой-то направляющей силе, неизвестной, стоящей вне жизни, посторонней человеку. Так думал Королев, сидя на досках, и мало-помалу им овладело настроение, как будто эта неизвестная, таинственная сила в самом деле была близко и смотрела. Между тем восток становился всё бледнее, время шло быстро. Пять корпусов и трубы на сером фоне рассвета, когда кругом не было ни души, точно вымерло всё, имели особенный вид, не такой, как днем; совсем вышло из памяти, что тут внутри паровые двигатели, электричество, телефоны, но как-то всё думалось о свайных постройках, о каменном веке, чувствовалось присутствие грубой, бессознательной силы...

И опять послышалось:

— Дер... дер... дер... дер...

Двенадцать раз. Потом тихо, тихо полминуты и — раздается в другом конце двора:

— Дрын... дрын... дрын...

«Ужасно неприятно!» — подумал Королев.

— Жак... жак... — раздалось в третьем месте отрывисто, резко, точно с досадой, — жак... жак...

И чтобы пробить двенадцать часов, понадобилось минуты четыре. Потом затихло; и опять такое впечатление, будто вымерло всё кругом.

Королев посидел еще немного и вернулся в дом, но еще долго не ложился. В соседних комнатах шептались, слышалось шлепанье туфель и босых ног.

«Уж не опять ли с ней припадок?» — подумал Королев.

Он вышел, чтобы взглянуть на больную. В комнатах было уже совсем светло, и в зале на стене и на полу

дрожал слабый солнечный свет, проникший сюда сквозь утренний туман. Дверь в комнату Лизы была отворена, и сама она сидела в кресле около постели, в капоте, окутанная в шаль, непричесанная. Шторы на окнах были опущены.

— Как вы себя чувствуете? — спросил Королев.

— Благодарю вас.

Он потрогал пульс, потом поправил ей волосы, упавшие на лоб.

— Вы не спите,— сказал он.— На дворе прекрасная погода, весна, поют соловьи, а вы сидите в потемках и о чем-то думаете.

Она слушала и глядела ему в лицо; глаза у нее были грустные, умные, и было видно, что она хочет что-то сказать ему.

— Часто это с вами бывает? — спросил он.

Она пошевелила губами и ответила:

— Часто. Мне почти каждую ночь тяжело.

В это время на дворе сторожа начали бить два часа. Послышалось — «дер... дер...», и она вздрогнула.

— Вас беспокоят эти стукки? — спросил он.

— Не знаю. Меня тут всё беспокоит,— ответила она и задумалась.— Всё беспокоит. В вашем голосе мне слышится участие, мне с первого взгляда на вас почему-то показалось, что с вами можно говорить обо всем.

— Говорите, прошу вас.

— Я хочу сказать вам свое мнение. Мне кажется, что у меня не болезнь, а беспокоюсь я и мне страшно, потому что так должно и иначе быть не может. Даже самый здоровый человек не может не беспокоиться, если у него, например, под окном ходит разбойник. Меня часто лечат,— продолжала она, глядя себе в колени, и улыбнулась застенчиво,— я, конечно, очень благодарна и не отрицаю пользы лечения, но мне хотелось бы поговорить не с доктором, а с близким человеком, с другом, который бы понял меня, убедил бы меня, что я права или неправа.

— Разве у вас нет друзей? — спросил Королев.

— Я одинока. У меня есть мать, я люблю ее, но всё же я одинока. Так жизнь сложилась... Одинокие много читают, но мало говорят и мало слышат, жизнь для них таинственна; они мистики и часто видят дья-

вола там, где его нет. Тамара у Лермонтова была одинока и видела дьявола.

— А вы много читаете?

— Много. Ведь у меня всё время свободно, от утра до вечера. Днем читаю, а по ночам — пустая голова, вместо мыслей какие-то тени.

— Вы что-нибудь видите по ночам? — спросил Королев.

— Нет, но я чувствую...

Она опять улыбнулась и подняла глаза на доктора и смотрела так грустно, так умно; и ему казалось, что она верит ему, хочет говорить с ним искренно и что она думает так же, как он. Но она молчала и, быть может, ждала, не заговорит ли он.

И он знал, что сказать ей; для него было ясно, что ей нужно поскорее оставить пять корпусов и миллион, если он у нее есть, оставить этого дьявола, который по ночам смотрит; для него было ясно также, что так думала и она сама и только ждала, чтобы кто-нибудь, кому она верит, подтвердил это.

Но он не знал, как это сказать. Как? У приговоренных людей стесняются спрашивать, за что они приговорены; так и у очень богатых людей неловко бывает спрашивать, для чего им так много денег, отчего они так дурно распоряжаются своим богатством, отчего не бросают его, даже когда видят в нем свое несчастье; и если начинают разговор об этом, то выходит он обыкновенно стыдливый, неловкий, длинный.

«Как сказать? — раздумывал Королев. — Да и нужно ли говорить?»

И он сказал то, что хотел, не прямо, а окольным путем:

— Вы в положении владелицы фабрики и богатой наследницы недовольны, не верите в свое право и теперь вот не спите, это, конечно, лучше, чем если бы вы были довольны, крепко спали и думали, что всё обстоит благополучно. У вас почтенная бессонница; как бы ни было, она хороший признак. В самом деле, у родителей наших был бы немислим такой разговор, как вот у нас теперь; по ночам они не разговаривали, а крепко спали, мы же, наше поколение, дурно спим, томимся, много говорим и всё решаем, правы мы или нет. А для наших детей или внуков вопрос этот, — правы

они или нет,— будет уже решен. Им будет виднее, чем нам. Хорошая будет жизнь лет через пятьдесят, жаль только, что мы не дотянем. Интересно было бы взглянуть.

— Что же будут делать дети и внуки? — спросила Лиза.

— Не знаю... Должно быть, побросают всё и уйдут.

— Куда уйдут?

— Куда?.. Да куда угодно,— сказал Королев и засмеялся.— Мало ли куда можно уйти хорошему, умному человеку.

Он взглянул на часы.

— Уже солнце взошло, однако,— сказал он.— Вам пора спать. Раздевайтесь и спите себе во здравие. Очень рад, что познакомился с вами,— продолжал он, пожимая ей руку.— Вы славный, интересный человек. Спокойной ночи!

Он пошел к себе и лег спать.

На другой день утром, когда подали экипаж, все вышли на крыльцо проводить его. Лиза была по-праздничному в белом платье, с цветком в волосах, бледная, томная; она смотрела на него, как вчера, грустно и умно, улыбалась, говорила, и всё с таким выражением, как будто хотела сказать ему что-то особенное, важное,— только ему одному. Было слышно, как пели жаворонки, как звонили в церкви. Окна в фабричных корпусах весело сияли, и, проезжая через двор и потом по дороге к станции, Королев уже не помнил ни о рабочих, ни о свайных постройках, ни о дьяволе, а думал о том времени, быть может, уже близком, когда жизнь будет такою же светлою и радостной, как это тихое, воскресное утро; и думал о том, как это приятно в такое утро, весной, ехать на тройке, в хорошей коляске и греться на солнышке.

Исправляющий должность судебного следователя и уездный врач ехали на вскрытие в село Сырню. По дороге их захватила метель, они долго кружили и приехали к месту не в полдень, как хотели, а только к вечеру, когда уже было темно. Остановились на ночлег в земской избе. Тут же, в земской избе, по случайности, находился и труп, труп земского страхового агента Лесницкого, который три дня назад приехал в Сырню и, расположившись в земской избе и потребовав себе самовар, застрелился совершенно неожиданно для всех; и то обстоятельство, что он покончил с жизнью как-то странно, за самоваром, разложив на столе закуски, дало многим повод заподозрить тут убийство; понадобилось вскрытие.

Доктор и следователь в сених стряхивали с себя снег, стуча ногами, а возле стоял сотский Илья Лошадин, старик, и светил им, держа в руках жестяную лампочку. Сильно пахло керосином.

— Ты кто? — спросил доктор.

— Цоцкай... — ответил сотский.

Он и на почте так расписывался: цоцкай.

— А где же понятия?

— Должно, чай пить пошли, ваше высокоблагородие.

Направо была чистая комната, «приезжая», или господская, налево — черная, с большой печью и полатни. Доктор и следователь, а за ними сотский, держа лампочку выше головы, вошли в чистую. Здесь на полу, у самых ножек стола, лежало неподвижно длинное тело, покрытое белым. При слабом свете лампочки, кроме белого покрывала, ясно были видны еще новые резиновые калоши, и всё тут было нехорошо, жутко: и темные стены, и тишина, и эти калоши, и неподвижность мертвого тела. На столе был самовар, давно уже

холодный, и вокруг него свертки, должно быть, с закусками.

— Стреляться в земской избе — как это бестактно! — проговорил доктор. — Пришла охота пустить себе пулю в лоб, ну и стрелялся бы у себя дома, где-нибудь в сарае.

Он, как был, в шапке, в шубе и в валенках, опустился на скамью; его спутник, следовательно, сел напротив.

— Эти истерики и неврастеники большие эгоисты, — продолжал доктор с горечью. — Когда неврастеник спит с вами в одной комнате, то шуршит газетой; когда он обедает с вами, то устраивает сцену своей жене, не стесняясь вашим присутствием; и когда ему приходит охота застрелиться, то вот он стреляется в деревне, в земской избе, чтобы наделать всем побольше хлопот. Эти господа при всех обстоятельствах жизни думают только о себе. Только о себе! Потому-то старики так и не любят этого нашего «нервного века».

— Мало ли чего не любят старики, — сказал следовательно, зевая. — Вы вот укажите старикам на то, какая разница между прежними и теперешними самоубийствами. Прежний так называемый порядочный человек стрелялся оттого, что казенные деньги растратил, а теперешний — жизнь надоела, тоска... Что лучше?

— Жизнь надоела, тоска, но, согласитесь, можно было бы застрелиться и не в земской избе.

— Уж такое горе, — заговорил сотский, — такое горе, чистое наказание. Народ очень беспокоится, ваше высокоблагородие, уж третью ночь не спят. Ребята плачут. Надо коров доить, а бабы в хлев не идут, боятся... Как бы в потемках барин не примерещился. Известно, глупые женщины, но которые и мужики тоже боятся. Как вечер, мимо избы не ходят в одиночку, а так, всё табуном. И понятия тоже...

Доктор Старченко, мужчина средних лет, с темной бородой, в очках, и следовательно Лыжин, белокурый, еще молодой, кончивший только два года назад и похожий больше на студента, чем на чиновника, сидели молча, задумавшись. Им было досадно, что они опоздали. Нужно было теперь ждать до утра, оставаться здесь ночевать, а был еще только шестой час, и им представлялись длинный вечер, потом длинная, темная ночь, скука, неудобство их постелей, тараканы, ут-

ренный холод; и, прислушиваясь к метели, которая выла в трубе и на чердаке, они оба думали о том, как всё это непохоже на жизнь, которой они хотели бы для себя и о которой когда-то мечтали, и как оба они далеки от своих сверстников, которые теперь в городе ходят по освещенным улицам, не замечая непогоды, или собираются теперь в театр, или сидят в кабинетах за книгой. О, как дорого они дали бы теперь, чтобы только пройтись по Невскому или по Петровке в Москве, послушать порядочного пения, посидеть час-другой в ресторане...

— У-у-у-у! — пела метель на чердаке, и что-то снаружи хлопало злобно, должно быть, вывеска на земской избе. — У-у-у-у!

— Как вам угодно, а я не желаю тут оставаться, — сказал Старченко, поднимаясь. — Еще шестой час, спать рано, я поеду куда-нибудь. Тут недалеко живет фон Тауниц, всего три версты от Сырни. Поеду к нему, проведу там вечер. Сотский, ступай, скажи ямщику, чтобы не распрягал. А вы как? — спросил он у Лыжина.

— Не знаю. Должно быть, спать лягу.

Доктор запахнул в шубу и вышел. Слышно было, как он разговаривал с ямщиком, как на озябших лошадах вздрагивали бубенчики. Уехал.

— Тебе, барин, здесь ночевать не годится, — сказал сотский, — иди в ту половину. Там не чисто, да уж одну ночь ничего. Я сейчас самовар возьму у мужика, заставлю, потом этого навалю тебе сена, спи, ваше высочество, с богом.

Немного погодя следователь сидел в черной половине за столом и пил чай, а сотский Лошадин стоял у двери и говорил. Это был старик за шестьдесят лет, небольшого роста, очень худой, сгорбленный, белый, на лице наивная улыбка, глаза слезились, и всё он почмокивал, точно сосал леденец. Он был в коротком полушубке и в валенках и не выпускал из рук палки. Молодость следователя, по-видимому, вызвала в нем жалость, и потому, вероятно, он говорил ему «ты».

— Старшина Федор Макарыч приказывал, как приедет становой или следователь, чтобы ему доложить, — говорил он. — Значит, такое дело, надо идти теперь... До волости четыре версты, метель, снегу намело —

страсть, пожалуй, придешь туда не раньше, как в полночь. Ишь гудет как.

— Старшина мне не нужен,— сказал Лыжин.— Ему тут нечего делать.

Он с любопытством посматривал на старика и спросил:

— Скажи, дед, сколько лет ты ходишь сотским?

— Сколько? Да уж лет тридцать. После воли через пять лет стал ходить, вот и считай. С того время каждый день хожу. У людей праздник, а я всё хожу. На дворе Святая, в церквах звон, Христос воскресе, а я с сумкой. В казначейство, на почту, к становому на квартиру, к земскому, к податному, в управу, к господам, к мужикам, ко всем православным христианам. Ношу пакеты, повестки, окладные листы, письма, бланки разные, ведомости, и, значит, господин хороший, ваше высокоблагородие, нынче такие бланки пошли, чтобы цифри записывать,— желтые, белые, красные,— и всякий барин, или батька, или богатый мужик непременно записать должен раз десять в год, сколько у него посеяно и убрано, сколько у него четвертей или пудов ржи, сколько овса, сена и какая, значит, погода и разные там насекомые. Конечно, пиши что хочешь, тут одна форма, а ты ходи, раздавай листки, а потом опять ходи и собирай. Вот, к примеру сказать, барина потрошить не к чему, сам знаешь, пустое дело, только руки поганить, а ты вот потрудился, ваше высокоблагородие, приехал, потому форма; ничего тут не поделаешь. Тридцать лет хожу по форме. Летом оно ничего, тепло, сухо, а зимой или осенью оно неудобно. Случалось, и утопал, и замерзал,— всего бывало. И в лесу сумку отнимали недобрые люди, и в шею били, и под судом был...

— За что под судом?

— За мошенничество.

— То есть как за мошенничество?

— А так, значит, писарь Хрисанф Григорьев подрядчику чужие доски продал, обманул, значит. Я был при этом деле, меня за водкой в трактир посылал; ну, со мной писарь не делился, даже стаканчика не поднес, но как я по нашей бедности, по видимости, значит, человек ненадежный, нестоящий, то нас обеих судили; его в острог, а меня, дал бог, оправдали по

всем правам. В суде такую бумагу читали. И все в мундирах. На суде-то. Я так тебе скажу, ваше высокоблагородие, наша служба для непривычного — не приведи бог, погибель сущая, а для нас ничего. Когда не ходишь, так даже ноги болят. И дома для нас хуже. Дома в волости писарю печь затопи, писарю воды принеси, писарю сапоги почисть.

— А сколько ты получаешь жалованья? — спросил Лыжин.

— Восемьдесят четыре рубля в год.

— Небось ведь и доходишки есть. Не без того?

— Какие наши доходишки! Нынешние господа на чай дают редко когда. Господа нынче строгие, обижаются всё. Ты ему бумагу принес — обижается, шапку перед ним снял — обижается. Ты, говорит, не с того крыльца зашел, ты, говорит, пьяница, от тебя луком воняет, болван, говорит, сукин сын. Есть, конечно, и добрые, да что с них возьмешь, только насмежаются и разные прозвания. К примеру, барин Алтухин; и добрый, и, глядишь, чверезый, в своем уме, а как увидит, так и кричит, сам не понимает что. Прозвание мне такое дал. Ты, говорит...

Сотский проговорил какое-то слово, но так тихо, что нельзя было разобрать.

— Как? — спросил Лыжин. — Ты повтори.

— Администрация! — громко повторил сотский. — Давно уж так зовет, лет шесть. Здравствуй, администрация! Но я ничего, пускай, бог с ним. Случается, какая барыня вышлет стаканчик водочки и кусок пирога, ну выпьешь за ее здоровье. А больше мужики подают; мужики — те душевней, бога боятся: кто хлеба, кто щец даст похлевать, кто и поднесет. Старосты чайком потчуют в трактире. Вот сейчас поняты пошли чай пить. «Лошадин, — говорят, — побудь тут за нас, постереги», — и по копейке дали. Страшно им с непривычки. А вчера дали пятиалтынничек и стаканчик поднесли.

— А тебе разве не страшно?

— Страшно, барин, да ведь наше дело такое — служба, никуда от ней не уйдешь. Летось веду арестанта в город, а он меня — по шее! по шее! по шее! А кругом поле, лес — куда от него уйдешь? Так и тут вот. Барина, Лесницкого, я еще эканького помню, и отца

его знал, и мамашу. Я из деревни Недощотовой, а они, господа Лесницкие, от нас не больше как в версте, и того меньше, межа с межой. И была у господина Лесницкого сестра девица, богобоязливая и милосердная. Помяни, господи, душу рабы твоей Юлии, вечная память. Замуж не пошла, а когда помиралась, то всё свое добро поделила; на монастырь записала сто десятин да нам, обществу крестьян деревни Недощотовой, на помин души, двести, а братец ейный, барин-то, бумагу спрятал, сказывают, в печке сжег и всю землю себе забрал. Думал, значит, себе на пользу, а — нет, погоди, на свете неправдой не проживешь, брат. Барин потом на духу лет двадцать не был, его от церкви отшибало, значит, и без покаяния помер, лопнул. Толстучий был. Так и лопнул вдоль. Потом у молодого барина, у Сережи-то, всё за долги забрали, всё как есть; ну, в науках далеко не пошел, ничего не может, и председатель земской управы, дядя его, «возьму-ка, думает, его, Сережу-то, к себе в агенты, пускай страхует, дело немудрое». А барин молодой, гордый, тоже хочется да пошире, да повидней, да повольготней, ну, обидно, значит, в тележонке трепаться по уезду, с мужиками разговаривать; ходит и всё в землю глядит, глядит и молчит; окликнешь его у самого уха: «Сергей Сергеич!» — а он оглянется этак: «А?» — и опять глядит в землю. А теперь, видишь, руки на себя наложил. Нескладно, ваше высокоблагородие, неправильно это самое, и не поймешь, что оно такое на свете, господи милостивый. Сказать, отец был богатый, а ты бедный, обидно, это конечно, ну, да что ж, привыкать надо. Я тоже жил хорошо, у меня, ваше высокоблагородие, были две лошади, три коровы, овец штук двадцать держал, а пришло время, с одной сумочкой остался, да и та не моя, а казенная, и теперь в нашей Недощотовой, ежели говорить, мой дом что ни на есть хуже. У Мокея было четыре лакея, а теперь Мокей сам лакей. У Петрака было четыре батрака, а теперь Петрак сам батрак.

— Отчего же ты обеднял? — спросил следователь.

— Сыны мои водку пьют шибко. Так пьют, так пьют, что сказать нельзя, не поверишь.

Лыжин слушал и думал о том, что вот он, Лыжин, уедет рано или поздно опять в Москву, а этот старик

станется здесь навсегда и будет всё ходить и ходить; и сколько еще в жизни придется встречать таких истрепанных, давно нечесанных, «нестоющих» стариков, у которых в душе каким-то образом крепко сжились пятиалтынничек, стаканчик и глубокая вера в то, что на этом свете неправдой не проживешь. Потом наскучило слушать, и он приказал принести сена для постели. В приезжей стояла железная кровать с подушкой и одеялом, и ее можно было принести оттуда, но возле нее почти три дня лежал покойник (который, быть может, садился на нее перед смертью), и теперь на ней было бы неприятно спать...

«Еще только половина восьмого, — подумал Лыжин, взглянув на часы. — Как это ужасно!»

Спать не хотелось, но от нечего делать, чтобы как-нибудь скоротать время, он лег и укрылся пледом. Лошадин, убирая посуду, выходил и входил несколько раз, почмокивая и вздыхая, всё топтался у стола, наконец взял свою лампочку и вышел; и, глядя сзади на его длинные седые волосы и согнутое тело, Лыжин подумал:

«Точно колдун в опере».

Стало темно. Должно быть, за облаками была луна, так как ясно были видны окна и снег на рамах.

— У-у-у-у! — пела метель. — У-у-у-у!

— Ба-а-а-тюшки! — провыла баба на чердаке, или так только слышалось. — Ба-а-а-тюшки мои-и!

— Ббух! — ударилось что-то снаружи о стену. — Трах!

Следователь прислушался: никакой бабы не было, выл ветер. Было прохладно, и он сверх пледа накрылся еще шубой. Греясь, он думал о том, как всё это — и метель, и изба, и старик, и мертвое тело, лежавшее в соседней комнате, — как всё это было далеко от той жизни, какой он хотел для себя, и как всё это было чуждо для него, мелко, неинтересно. Если бы этот человек убил себя в Москве или где-нибудь под Москвой и пришлось бы вести следствие, то там это было бы интересно, важно и, пожалуй, даже было бы страшно спать по соседству с трупом; тут же, за тысячу верст от Москвы, всё это как будто иначе освещено, всё это не жизнь, не люди, а что-то существующее только «по форме», как говорит Лошадин, всё это не оставит в па-

мяти ни малейшего следа и забудется, едва только он, Лыжин, выедет из Сирии. Родина, настоящая Россия — это Москва, Петербург, а здесь провинция, колония; когда мечтаешь о том, чтобы играть роль, быть популярным, быть, например, следователем по особо важным делам или прокурором окружного суда, быть светским львом, то думаешь непременно о Москве. Если жить, то в Москве, здесь же ничего не хочется, легко миришься со своей незаметною ролью и только ждешь одного от жизни — скорее бы уйти, уйти. И Лыжин мысленно носился по московским улицам, заходил в знакомые дома, виделся с родными, товарищами, и сердце у него сладко сжималось при мысли, что ему теперь двадцать шесть лет и что если он вырвется отсюда и попадет в Москву через пять или десять лет, то и тогда еще будет не поздно, и останется еще впереди целая жизнь. И, впадая в забытье, когда уже у него стали путаться мысли, он воображал длинные коридоры московского суда, себя, говорящего речь, своих сестер, оркестр, который почему-то всё гудит:

— У-у-у! У-у-у!

— Ббух! Трах! — раздалось опять. — Бух!

И он вдруг вспомнил, как однажды в земской управе, когда он разговаривал с бухгалтером, к конторке подошел какой-то господин с темными глазами, черно-волосый, худой, бледный; у него было неприятное выражение глаз, какое бывает у людей, которые долго спали после обеда, и оно портило его тонкий, умный профиль; и высокие сапоги, в которых он был, не шли к нему, казались грубыми. Бухгалтер представил: «Это наш земский агент».

«Так это был Лесницкий... вот этот самый...» — ображал теперь Лыжин.

Он вспомнил тихий голос Лесницкого, вообразил его походку, и ему показалось, что возле него ходит теперь кто-то, ходит точно так же, как Лесницкий.

Вдруг стало страшно, похолодела голова.

— Кто здесь? — спросил он с тревогой.

— Цоцкай.

— Что тебе тут нужно?

— Я, ваше высокоблагородие, спроситься. Вы сказали давеча, старшина не нужен, да я боюсь, не осерчал бы. Приказывал прийти. Сходить нешто?

— Ну тебя! Надоел...— проговорил с досадой Лыжин и опять укрылся.

— Не осерчал бы... Пойду, ваше высокоблагородие, счастливо оставаться.

И Лошадин вышел. В сенях покашливали и говорили вполголоса. Должно быть, понятия вернулись.

«Завтра отпустим этих бедняков пораньше...— думал следователь.— Начнем вскрытие, как только рассветет».

Он стал забываться, как вдруг опять чьи-то шаги, но не робкие, а быстрые, шумные. Хлопнула дверь, голоса, чирканье спичкой...

— Вы спите? Вы спите? — спрашивал торопливо и сердито доктор Старченко, зажигая спичку за спичкой; он был весь покрыт снегом, и от него веяло холодом.— Вы спите? Вставайте, поедem к фон Тауницу. Он прислал за вами своих лошадей. Поедемте, там, по крайней мере, поужинаете, уснете по-человечески. Видите, я сам за вами приехал. Лошади прекрасные, мы в двадцать минут докатим.

— А который теперь час?

— Четверть одиннадцатого.

Лыжин, сонный, недовольный, надел валенки, шубу, шапку и башлык и вместе с доктором вышел наружу. Мороза большого не было, но дул сильный, пронзительный ветер и гнал вдоль улицы облака снега, которые, казалось, бежали в ужасе; под заборами и у крылец уже навалило высокие сугробы. Доктор и следователь сели в сани, и белый кучер перегнулся к ним, чтобы застегнуть полость. Обоим было жарко.

— Трогай!

Поехали по деревне. «Бразды пушистые взрывая...», — думал вяло следователь, глядя, как пристыженная работала ногами. Во всех избах светились огни, точно был канун большого праздника: это крестьяне не спали, боялись покойника. Кучер молчал угрюмо; должно быть, соскучился, пока стоял около земской чзбы, и теперь тоже думал о покойнике.

— А у Тауница,— сказал Старченко,— когда узнали, что вы остались ночевать в избе, то все набросились на меня, почему я это вас с собой не взял.

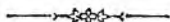
На выезде из деревни, на повороте, кучер вдруг крикнул во всё горло:

Антонъ Чеховъ.

РАЗСКАЗЫ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Аріяна.—Лина на шеѣ.—Домъ съ мезониномъ.—Въ родномъ уѣлѣ.—Печеньга.—
Новая дача.—На подводѣ.—Мужики.—Моя жизнь.—Случай изъ практики.—
Душечка.—По дѣламъ службы.—Юпычъ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТЪ ТОМА ІХ СОЧИНЕНІЙ А. П. ЧЕХОВА
(1-е изд. А. Ф. Маркса, 1901 г.).

— С дороги!

Промелькнул какой-то человек; он стоял по колена в снегу, сойдя с дороги, и смотрел на тройку; следовательно видел палку крючком и бороду и на боку сумку, и ему показалось, что это Лошадин, и даже показалось, что он улыбается. Мелькнул и исчез.

Дорога шла сначала по краю леса, потом по широкой лесной просеке; мелькали и старые сосны, и молодой березняк, и высокие молодые, корявые дубы, одиноко стоявшие на полянах, где недавно срубили лес, но скоро всё смешалось в воздухе, в облаках снега; кучер говорил, что он видит лес, следовательно же не было видно ничего, кроме пристяжной. Ветер дул в спину.

Вдруг лошади остановились.

— Шу, что еще? — сердито спросил Старченко.

Кучер молча слез с козел и стал бегать вокруг саней, наступая на пятки; делал он круги всё больше и больше, всё удаляясь от саней, и было похоже, что он танцует; наконец вернулся и стал сворачивать вправо.

— С дороги сбился, что ли? — спросил Старченко.

— Ничего-о-о...

Вот какая-то деревушка, ни одного огонька в ней. Опять лес, поле, опять сбились с дороги и кучер слезал с козел и танцевал. Тройка понесла по темной аллее, понесла быстро, и горячая пристяжная била по передку саней. Здесь деревья шумели гулко, страшно, и не было видно ни зги, точно неслись куда-то в пропасть, и вдруг — ударил в глаза яркий свет подъезда и окон, раздался добродушный, залихватый лай, голоса... Приехали.

Пока внизу в передней снимали шубы и валенки, наверху играли на рояле «Un petit verre de Cliquot»¹, и было слышно, как дети топали ногами. На приезжих сразу пахнуло теплом, запахом старых барских покоев, где, какая бы ни была погода снаружи, живется так тепло, чисто, удобно.

— Вот и прекрасно, — говорил фон Тауниц, толстяк с невероятно широкой шеей и с бакенами, пожимая следовательно руку. — Вот и прекрасно. Милости прошу, очень рад познакомиться. Мы ведь с вами немножко

¹ «Стакачик Клико» (франц.).

коллеги. Когда-то я был товарищем прокурора, но не долго, всего два года; приехал сюда хозяйничать и здесь состарился. Старый хрен, одним словом. Милости прошу,— продолжал он, очевидно, сдерживая свой голос, чтобы не говорить громко; он и гости поднимались наверх.— Жены у меня нет, умерла, а это, рекомендую, мои дочери.— И, обернувшись, он крикнул вниз громовым голосом: — Скажите там Игнату, чтобы завтра подавал к восьми часам!

В зале находились его четыре дочери, молодые девушки, хорошенькие, все в серых платьях и одинаково причесанные, и их кузина с детьми, тоже молодая и интересная. Старченко, который был знаком с ними, тотчас же стал просить спеть что-нибудь, и две барышни долго уверяли, что они не умеют петь и что у них нет нот, потом кузина села за рояль, и они спели дрожащими голосами дуэт из «Пиковой дамы». Опять заиграли «Un petit verre de Cliquot», и дети запрыгали, топя в такт ногами. И Старченко запрыгал. Все хохотали.

Потом дети прощались, уходя спать. Следователь смеялся, танцевал кадрили, ухаживал, а сам думал: не сон ли всё это? Черная половина земской избы, куча сена в углу, шорох тараканов, противная нищенская обстановка, голоса понятых, ветер, метель, опасность сбиться с дороги, и вдруг эти великолепные светлые комнаты, звуки рояля, красивые девушки, кудрявые дети, веселый, счастливый смех — такое превращение казалось ему сказочным; и было невероятно, что такие превращения возможны на протяжении каких-нибудь трех верст, одного часа. И скучные мысли мешали ему веселиться, и он всё думал о том, что это кругом не жизнь, а клочки жизни, отрывки, что всё здесь случайно, никакого вывода сделать нельзя; и ему даже было жаль этих девушек, которые живут и кончат свою жизнь здесь в глуши, в провинции, вдали от культурной среды, где ничто не случайно, всё осмысленно, законно, и, например, всякое самоубийство понятно, и можно объяснить, почему оно и какое оно имеет значение в общем круговороте жизни. Он полагал, что если окружающая жизнь здесь, в глуши, ему непонятна и если он не видит ее, то это значит, что ее здесь нет вовсе.

За ужином шел разговор о Лесницком.

— Он оставил жену и ребенка, — говорил Старченко. — Неврастеникам и вообще людям, у которых нервная система не в порядке, я запретил бы вступать в брак; я отнял бы у них право и возможность размножать себе подобных. Производить на свет нервноболезных детей — это преступление.

— Несчастный молодой человек, — говорил фон Тауниц, тихо вздыхая и покачивая головой. — Сколько надо прежде передумать, выстрадать, чтобы наконец решиться отнять у себя жизнь... молодую жизнь. В каждой семье может случиться такое несчастье, и это ужасно. Трудно это переносить, нестерпимо...

И все девушки слушали молча, с серьезными лицами, глядя на отца. Лыжин чувствовал, что ему тоже со своей стороны нужно сказать что-нибудь, но он ничего не мог придумать и сказал только:

— Да, самоубийства — явление нежелательное.

Он спал в теплой комнате, в мягкой постели, укрытый одеялом, под которым была тонкая свежая простыня, но почему-то не испытывал удобства; быть может, это оттого, что в соседней комнате долго разговаривали доктор и фон Тауниц и вверху над потолком и в печке метель шумела так же, как в земской избе, и так же была жалобно:

— У-у-у-у!

У Тауница года два назад умерла жена, и он до сих пор еще не помирился с этим и, о чем бы ни говорил, всякий раз вспоминал о жене; и в нем уже не осталось ничего прокурорского.

«Неужели и я когда-нибудь могу дойти до такого состояния?» — думал Лыжин, засыпая и слушая сквозь стену его сдержанный, точно сиротский голос.

Следователь спал непокойно. Было жарко, неудобно, и ему казалось во сне, что он не в доме Тауница и не в мягкой чистой постели, а всё еще в земской избе, на сене, и слышит, как вполголоса говорят понятия; ему казалось, что Лесницкий близко, в пятнадцати шагах. Ему опять вспомнилось во сне, как земский агент, черноволосый, бледный, в высоких запыленных сапогах, подходил к конторке бухгалтера. «Это наш земский агент...» Потом ему представилось, будто Лесницкий и сотский Лошадин шли в поле по снегу, бок о бок, под-

держивая друг друга; метель кружила над ними, ветер дул в спины, а они шли и подпевали:

— Мы идем, мы идем, мы идем.

Старик был похож на колдуна в опере, и оба в самом деле пели, точно в театре:

— Мы идем, мы идем, мы идем... Вы в тепле, вам светло, вам мягко, а мы идем в мороз, в метель, по глубокому снегу... Мы не знаем покоя, не знаем радостей... Мы несем на себе всю тяжесть этой жизни, и своей, и вашей... У-у-у! Мы идем, мы идем, мы идем...

Лыжин проснулся и сел в постели. Какой смутный, нехороший сон! И почему агент и сотский приснились вместе? Что за вздор! И теперь, когда у Лыжина сильно билось сердце и он сидел в постели, охватив голову руками, ему казалось, что у этого страхового агента и у сотского в самом деле есть что-то общее в жизни. Не идут ли они и в жизни бок о бок, держась друг за друга? Какая-то связь, невидимая, но значительная и необходимая, существует между обоими, даже между ними и Тауницем, и между всеми, всеми; в этой жизни, даже в самой пустынной глуши, ничто не случайно, всё полно одной общей мысли, всё имеет одну душу, одну цель, и, чтобы понимать это, мало думать, мало рассуждать, надо еще, вероятно, иметь дар проникновения в жизнь, дар, который дается, очевидно, не всем. И несчастный, надорвавшийся, убивший себя «неврастеник», как называл его доктор, и старик мужик, который всю свою жизнь каждый день ходит от человека к человеку,— это случайности, отрывки жизни для того, кто и свое существование считает случайным, и это части одного организма, чудесного и разумного, для того, кто и свою жизнь считает частью этого общего и понимает это. Так думал Лыжин, и это было его давней затаенною мыслью, и только теперь она развернулась в его сознании широко и ясно.

Он лег и стал засыпать; и вдруг опять они идут вместе и поют:

— Мы идем, мы идем, мы идем... Мы берем от жизни то, что в ней есть самого тяжелого и горького, а вам оставляем легкое и радостное, и вы можете, сидя за ужином, холодно и здраво рассуждать, отчего мы страдаем и гибнем и отчего мы не так здоровы и довольны, как вы.

То, что они пели, и раньше приходило ему в голову, но эта мысль сидела у него как-то позади других мыслей и мелькала робко, как далекий огонек в туманную погоду. И он чувствовал, что это самоубийство и мужицкое горе лежат и на его совести; мириться с тем, что эти люди, покорные своему жребию, взвалили на себя самое тяжелое и темное в жизни — как это ужасно! Мириться с этим, а для себя желать светлой, шумной жизни среди счастливых, довольных людей и постоянно мечтать о такой жизни — это значит мечтать о новых самоубийствах людей, задавленных трудом и заботой, или людей слабых, заброшенных, о которых только говорят иногда за ужином с досадой или с усмешкой, но к которым не идут на помощь... И опять:

— Мы идем, мы идем, мы идем...

Точно кто стучит молотком по вискам.

Утром проснулся он рано, с головною болью, разбуженный шумом; в соседней комнате фон Таунниц говорил громко доктору:

— Вам невозможно теперь ехать. Посмотрите, что делается на дворе! Вы не спорьте, а спросите лучше у кучера: он не повезет вас в такую погоду и за миллион.

— Но ведь только три версты,— говорил доктор умоляющим голосом.

— Да хоть полверсты. Коли нельзя, так и нельзя. Выедете только за ворота, там ад крошечный, в одну минуту собьетесь с дороги. Ни за что не отпущу, как вам угодно.

— Надо быть, к вечеру утихнет,— сказал мужик, топивший печь.

И доктор в соседней комнате стал говорить о суровой природе, влияющей на характер русского человека, о длинных зимах, которые, стесняя свободу передвижения, задерживают умственный рост людей, а Лыжин с досадой слушал эти рассуждения, смотрел в окна на сугробы, которые намело на забор, смотрел на белую пыль, заполнявшую всё видимое пространство, на деревья, которые отчаянно гнулись то вправо, то влево, слушал вой и стуки и думал мрачно:

«Ну, какую тут можно вывести мораль? Метель и больше ничего...»

В полдень завтракали, потом бродили по дому без цели, подходили к окнам.

«А Лесницкий лежит,— думал Лыжин, глядя на вихри снега, которые кружились неистово на сугробах.— Лесницкий лежит, понятия ждут...»

Говорили о погоде, о том, что метель продолжается обыкновенно двое суток, редко более. В шесть часов обедали, потом играли в карты, пели, танцевали, наконец, ужинали. День прошел, легли спать.

Ночью под утро всё успокоилось. Когда встали и поглядели в окна, голые ивы со своими слабо опущенными ветвями стояли совершенно неподвижно, было пасмурно, тихо, точно природе теперь было стыдно за свой разгул, за безумные ночи и волю, какую она дала своим страстям. Лошади, запряженные гусем, ожидали у крыльца с пяти часов утра. Когда совсем рассвело, доктор и следователь надели свои шубы и валенки и, простившись с хозяином, вышли.

У крыльца рядом с кучером стоял знакомый цоцкай, Илья Лошадин, без шапки, со старой кожаной сумкой через плечо, весь в снегу; и лицо было красное, мокрое от пота. Лакей, вышедший, чтобы посадить гостей в сани и укрыть им ноги, посмотрел на него сурово и сказал:

— Что ты тут стоишь, старый чёрт? Пошел вон отсюда!

— Ваше высокоблагородие, народ беспокоится...— заговорил Лошадин, улыбаясь наивно, во всё лицо, и видимо довольный, что наконец увидел тех, кого так долго ждал.— Народ очень беспокоится, ребята плачут... Думали, ваше благородие, что вы опять в город уехали. Явите божескую милость, благодетели наши...

Доктор и следователь ничего не сказали, сели в сани и поехали в Сырню.

ДУШЕЧКА

Оленька, дочь отставного коллежского асессора Племянникова, сидела у себя во дворе на крылечке, задумавшись. Было жарко, назойливо приставали мухи, и было так приятно думать, что скоро уже вечер. С востока надвигались темные дождевые тучи, и оттуда изредка потягивало влагой.

Среди двора стоял Кукин, антрепренер и содержатель увеселительного сада «Тиволи», квартировавший тут же во дворе, во флигеле, и глядел на небо.

— Опять! — говорил он с отчаянием. — Опять будет дождь! Каждый день дожди, каждый день дожди — точно нарочно! Ведь это петля! Это разоренье! Каждый день страшные убытки!

Он всплеснул руками и продолжал, обращаясь к Оленьке:

— Вот вам, Ольга Семеновна, наша жизнь. Хоть плачь! Работашь, стараешься, мучишься, ночей не спишь, всё думаешь, как бы лучше, — и что же? С одной стороны, публика, невежественная, дикая. Даю ей самую лучшую оперетку, феерию, великолепных куплетистов, но разве ей это нужно? Разве она в этом понимает что-нибудь? Ей нужен балаган! Ей подавай пошлость! С другой стороны, взгляните на погоду. Почти каждый вечер дождь. Как зарядило с десятого мая, так потом весь май и июнь, просто ужас! Публика не ходит, но ведь я за аренду плачу? Артистам плачу?

На другой день под вечер опять надвигались тучи, и Кукин говорил с истерическим хохотом:

— Ну что ж? И пускай! Пускай хоть весь сад зальет, хоть меня самого! Чтоб мне не было счастья ни на этом, ни на том свете! Пускай артисты подают на меня в суд! Что суд? Хоть на каторгу в Сибирь! Хоть на эшафот! Ха-ха-ха!

И на третий день то же...

Оленька слушала Кукина молча, серьезно, и, случалось, слезы выступали у нее на глазах. В конце концов несчастья Кукина тронули ее, она его полюбила. Он был мал ростом, тощ, с желтым лицом, с зачесанными височками, говорил жидким тенорком, и когда говорил, то кривил рот; и на лице у него всегда было написано отчаяние, но всё же он возбудил в ней настоящее, глубокое чувство. Она постоянно любила кого-нибудь и не могла без этого. Раньше она любила своего папашу, который теперь сидел больной, в темной комнате, в кресле, и тяжело дышал; любила свою тетю, которая иногда, раз в два года, приезжала из Брянска; а еще раньше, когда училась в прогимназии, любила своего учителя французского языка. Это была тихая, добродушная, жалостливая барышня с кротким, мягким взглядом, очень здоровая. Глядя на ее полные розовые щеки, на мягкую белую шею с темной родинкой, на добрую наивную улыбку, которая бывала на ее лице, когда она слушала что-нибудь приятное, мужчины думали: «Да, ничего себе...» и тоже улыбались, а гостыи-дамы не могли удержаться, чтобы вдруг среди разговора не схватить ее за руку и не проговорить в порыве удовольствия:

— Душечка!

Дом, в котором она жила со дня рождения и который в завещании был записан на ее имя, находился на окраине города, в Цыганской Слободке, недалеко от сада «Тиволи»; по вечерам и по ночам ей слышно было, как в саду играла музыка, как лопались с треском ракеты, и ей казалось, что это Кукин воюет со своей судьбой и берет приступом своего главного врага — равнодушную публику; сердце у нее сладко замирало, спать совсем не хотелось, и, когда под утро он возвращался домой, она тихо стучала в окошко из своей спальни и, показывая ему сквозь занавески только лицо и одно плечо, ласково улыбалась...

Он сделал предложение, и они повенчались. И когда он увидал как следует ее шею и полные здоровые плечи, то всплеснул руками и проговорил:

— Душечка!

Он был счастлив, но так как в день свадьбы и потом ночью шел дождь, то с его лица не сходило выражение отчаяния.

После свадьбы жили хорошо. Она сидела у него в кассе, смотрела за порядками в саду, записывала расходы, выдавала жалованье, и ее розовые щеки, милая, наивная, похожая на сияние улыбка мелькали то в окошечке кассы, то за кулисами, то в буфете. И она уже говорила своим знакомым, что самое замечательное, самое важное и нужное на свете — это театр и что получить истинное наслаждение и стать образованным и гуманным можно только в театре.

— Но разве публика понимает это? — говорила она. — Ей нужен балаган! Вчера у нас шел «Фауст наизнанку», и почти все ложи были пустые, а если бы мы с Ваничкой поставили какую-нибудь пошлость, то, поверьте, театр был бы битком набит. Завтра мы с Ваничкой ставим «Орфея в аду», приходите.

И что говорил о театре и об актерах Кукин, то повторяла и она. Публику она так же, как и он, презирала за равнодушие к искусству и за невежество, на репетициях вмешивалась, поправляла актеров, смотрела за поведением музыкантов, и когда в местной газете неодобрительно отзывались о театре, то она плакала и потом ходила в редакцию объясняться.

Актеры любили ее и называли «мы с Ваничкой» и «душечкой»; она жалела их и давала им понемножку взаймы, и если, случалось, ее обманывали, то она только потихоньку плакала, но мужу не жаловалась.

И зимой жили хорошо. Сняли городской театр на всю зиму и сдавали его на короткие сроки то малороссийской труппе, то фокуснику, то местным любителям. Оленька полнела и вся сияла от удовольствия, а Кукин худел и желтел и жаловался на страшные убытки, хотя всю зиму дела шли недурно. По ночам он кашлял, а она поила его малиной и липовым цветом, натирала одеколоном, кутала в свои мягкие шали.

— Какой ты у меня славенький! — говорила она совершенно искренно, приглаживая ему волосы. — Какой ты у меня хорошенький!

В великом посту он уехал в Москву набирать труппу, а она без него не могла спать, всё сидела у окна и смотрела на звезды. И в это время она сравнивала себя с курами, которые тоже всю ночь не спят и испытывают беспокойство, когда в курятнике нет петуха. Кукин задержался в Москве и писал, что вернется к Святой, и

в письмах уже делал распоряжения насчет «Тиволи». Но под страстной понедельник, поздно вечером, вдруг раздался зловещий стук в ворота; кто-то бил в калитку, как в бочку: бум! бум! бум! Сонная кухарка, шлепая босыми ногами по лужам, побежала отворять.

— Отворите, сделайте милость! — говорил кто-то за воротами глухим басом. — Вам телеграмма!

Оленька и раньше получала телеграммы от мужа, но теперь почему-то так и обомлела. Дрожащими руками она распечатала телеграмму и прочла следующее:

«Иван Петрович скончался сегодня скоростийно сжучала ждем распоряжений хохороны вторник».

Так и было напечатано в телеграмме «хохороны» и какое-то еще непонятное слово «сжучала»; подпись была режиссера опереточной труппы.

— Голубчик мой! — зарыдала Оленька. — Ваничка мой миленький, голубчик мой! Зачем же я с тобой повстречалася? Зачем я тебя узнала и полюбила? На кого ты покинул свою бедную Оленьку, бедную, несчастную?..

Кукина похоронили во вторник, в Москве, на Ваганькове; Оленька вернулась домой в среду, и как только вошла к себе, то повалилась на постель и зарыдала так громко, что слышно было на улице и в соседних дворах.

— Душечка! — говорили соседки, крестясь. — Душечка Ольга Семеновна, матушка, как убивается!

Три месяца спустя как-то Оленька возвращалась от обедни, печальная, в глубоком трауре. Случилось, что с нею шел рядом тоже возвращавшийся из церкви один из ее соседей Василий Андреич Пустовалов, управляющий лесным складом купца Бабакаева. Он был в соломенной шляпе и в белом жилете с золотой цепочкой и походил больше на помещика, чем на торговца.

— Всякая вещь имеет свой порядок, Ольга Семеновна, — говорил он степенно, с сочувствием в голосе, — и если кто из наших ближних умирает, то, значит, так богу угодно, и в этом случае мы должны себя помнить и переносить с покорностью.

Доведя Оленьку до калитки, он простился и пошел далее. После этого весь день слышался ей его степенный голос, и едва она закрывала глаза, как мерещилась его темная борода. Он ей очень понравился. И, по-види-

тому, она тоже произвела на него впечатление, потому что немного погодя к ней пришла пить кофе одна пожилая дама, мало ей знакомая, которая как только села за стол, то немедля заговорила о Пустовалове, о том, что он хороший, солидный человек и что за него с удовольствием пойдет всякая невеста. Через три дня пришел с визитом и сам Пустовалов; он сидел недолго, минут десять, и говорил мало, но Оленька его полюбила, так полюбила, что всю ночь не спала и горела, как в лихорадке, а утром послала за пожилой дамой. Скоро ее просватали, потом была свадьба.

Пустовалов и Оленька, поженившись, жили хорошо. Обыкновенно он сидел в лесном складе до обеда, потом уходил по делам, и его сменяла Оленька, которая сидела в конторе до вечера и писала там счета и отпускала товар.

— Теперь лес с каждым годом дорожает на двадцать процентов,— говорила она покупателям и знакомым.— Помилуйте, прежде мы торговали местным лесом, теперь же Васичка должен каждый год ездить за лесом в Могилевскую губернию. А какой тариф! — говорила она, в ужасе закрывая обе щеки руками.— Какой тариф!

Ей казалось, что она торгует лесом уже давно-давно, что в жизни самое важное и нужное это лес, и что-то родное, трогательное слышалось ей в словах: балка, кругляк, тес, шелёвка, безымянка, решётник, лафет, горбыль... По ночам, когда она спала, ей снились целые горы досок и теса, длинные, бесконечные вереницы подвод, везущих лес куда-то далеко за город; снилось ей, как целый полк двенадцатиаршинных, пятивершковых бревен стоймя шел войной на лесной склад, как бревна, балки и горбыли стучались, издавая гулкий звук сухого дерева, всё падало и опять вставало, громясь друг на друга; Оленька вскрикивала во сне, и Пустовалов говорил ей нежно:

— Оленька, что с тобой, милая? Перекрестись!

Какие мысли были у мужа, такие и у нее. Если он думал, что в комнате жарко или что дела теперь стали тихие, то так думала и она. Муж ее не любил никаких развлечений и в праздники сидел дома, и она тоже.

— И всё вы дома или в конторе,— говорили знакомые.— Вы бы сходили в театр, душечка, или в цирк.

— Нам с Васичкой некогда по театрам ходить, — отвечала она степенно. — Мы люди труда, нам не до пустяков. В театрах этих что хорошего?

По субботам Пустовалов и она ходили ко всеобщей, в праздники к ранней обедне и, возвращаясь из церкви, шли рядышком, с умиленными лицами, от обоих хорошо пахло, и ее шелковое платье приятно шумело; а дома пили чай со сдобным хлебом и с разными вареньями, потом кушали пирог. Каждый день в полдень во дворе и за воротами на улице вкусно пахло борщом и жареной бараниной или уткой, а в постные дни — рыбой, и мимо ворот нельзя было пройти без того, чтобы не захотелось есть. В конторе всегда кипел самовар, и покупателей угощали чаем с булбочками. Раз в неделю супруги ходили в баню и возвращались оттуда рядышком, оба красные.

— Ничего, живем хорошо, — говорила Оленька знакомым, — слава богу. Дай бог всякому жить, как мы с Васичкой.

Когда Пустовалов уезжал в Могилевскую губернию за лесом, она сильно скучала и по ночам не спала, плакала. Иногда по вечерам приходил к ней полковой ветеринарный врач Смирнин, молодой человек, квартировавший у нее во флигеле. Он рассказывал ей что-нибудь или играл с нею в карты, и это ее развлекало. Особенно интересны были рассказы из его собственной семейной жизни; он был женат и имел сына, но с женой разошелся, так как она ему изменила, и теперь он ее ненавидел и высылал ей ежемесячно по сорока рублей на содержание сына. И, слушая об этом, Оленька вздыхала и покачивала головой, и ей было жаль его.

— Ну, спаси вас господи, — говорила она, прощаясь с ним и провожая его со свечой до лестницы. — Спасибо, что поскущали со мной, дай бог вам здоровья. царица небесная...

И всё она выражалась так степенно, так рассудительно, подражая мужу; ветеринар уже скрывался внизу за дверь, а она окликала его и говорила:

— Знаете, Владимир Платоныч, вы бы помирились с вашей женой. Простили бы ее хоть ради сына!.. Мальчишечка-то небось всё понимает.

А когда возвращался Пустовалов, она рассказывала ему вполголоса про ветеринара и его несчастную семей-

ную жизнь, и оба вздыхали и покачивали головами и говорили о мальчике, который, вероятно, скучает по отце, потом, по какому-то странному течению мыслей, оба становились перед образами, клали земные поклоны и молились, чтобы бог послал им детей.

И так прожили Пустоваловы тихо и смиренно, в любви и полном согласии шесть лет. Но вот как-то зимой Василий Андреич в складе, напившись горячего чаю, вышел без шапки отпустить лес, простудился и занемог. Его лечили лучшие доктора, но болезнь взяла свое, и он умер, проболев четыре месяца. И Оленька опять овдовела.

— На кого же ты меня покинул, голубчик мой? — рыдала она, похоронив мужа. — Как же я теперь буду жить без тебя, горькая я и несчастная? Люди добрые, пожалейте меня, сироту круглую...

Она ходила в черном платье с плерезами и уже отказалась навсегда от шляпки и перчаток, выходила из дому редко, только в церковь или на могилку мужа, и жила дома, как монашенка. И только когда прошло шесть месяцев, она сняла плерезы и стала открывать на окнах ставни. Иногда уже видели по утрам, как она ходила за провизией на базар со своей кухаркой, но о том, как она жила у себя теперь и что делалось у нее в доме, можно было только догадываться. По тому, например, догадывались, что видели, как она в своем садике пила чай с ветеринаром, а он читал ей вслух газету, и еще по тому, что, встретясь на почте с одной знакомой дамой, она сказала:

— У нас в городе нет правильного ветеринарного надзора и от этого много болезней. То и дело слышишь, люди заболевают от молока и заражаются от лошадей и коров. О здоровье домашних животных в сущности надо заботиться так же, как о здоровье людей.

Она повторяла мысли ветеринара и теперь была обо всем такого же мнения, как он. Было ясно, что она не могла прожить без привязанности и одного года и нашла свое новое счастье у себя во флигеле. Другую бы осудили за это, но об Оленьке никто не мог подумать дурно, и всё было так понятно в ее жизни. Она и ветеринар никому не говорили о перемене, какая произошла в их отношениях, и старались скрыть, но это им не удавалось, потому что у Оленьки не могло быть тайн. Когда

к нему приходили гости, его сослуживцы по полку, то она, наливая им чай или подавая ужинать, начинала говорить о чуме на рогатом скоте, о жемчужной болезни, о городских бойнях, а он страшно конфузился и, когда уходили гости, хватал ее за руку и шипел сердито:

— Я ведь просил тебя не говорить о том, чего ты не понимаешь! Когда мы, ветеринары, говорим между собой, то, пожалуйста, не вмешивайся. Это, наконец, скучно!

А она смотрела на него с изумлением и с тревогой и спрашивала:

— Володичка, о чем же мне говорить?!

И она со слезами на глазах обнимала его, умоляла не сердиться, и оба были счастливы.

Но, однако, это счастье продолжалось недолго. Ветеринар уехал вместе с полком, уехал навсегда, так как полк перевели куда-то очень далеко, чуть ли не в Сибирь. И Оленька осталась одна.

Теперь уже она была совершенно одна. Отец давно уже умер, и кресло его валялось на чердаке, запыленное, без одной ножки. Она похудела и подурнела, и на улице встречные уже не глядели на нее, как прежде, и не улыбались ей; очевидно, лучшие годы уже прошли, остались позади, и теперь начиналась какая-то новая жизнь, неизвестная, о которой лучше не думать. По вечерам Оленька сидела на крыльчке, и ей слышно было, как в «Тиволи» играла музыка и лопались ракеты, но это уже не вызывало никаких мыслей. Глядела она безучастно на свой пустой двор, ни о чем не думала, ничего не хотела, а потом, когда наступала ночь, шла спать и видела во сне свой пустой двор. Ела и пила она, точно поневоле.

А главное, что хуже всего, у нее уже не было никаких мнений. Она видела кругом себя предметы и понимала всё, что происходило кругом, но ни о чем не могла составить мнения и не знала, о чем ей говорить. А как это ужасно не иметь никакого мнения! Видишь, например, как стоит бутылка, или идет дождь, или едет мужик на телеге, но для чего эта бутылка, или дождь, или мужик, какой в них смысл, сказать не можешь и даже за тысячу рублей ничего не сказал бы. При Куклине и Пустовалове и потом при ветеринаре

Оленька могла объяснить всё и сказала бы свое мнение о чем угодно, теперь же и среди мыслей и в сердце у нее была такая же пустота, как на дворе. И так жутко, и так горько, как будто объелась полыни.

Город мало-помалу расширялся во все стороны; Цыганскую Слободку уже называли улицей, и там, где были сад «Тиволи» и лесные склады, выросли уже дома и образовался ряд переулков. Как быстро бежит время! Дом у Оленьки потемнел, крыша заржавела, сарай покосился, и весь двор порос бурьяном и колючей крапивой. Сама Оленька постарела, подурнела; летом она сидит на крылечке, и на душе у нее по-прежнему и пусто, и нудно, и отдает полынью, а зимой сидит она у окна и глядит на снег. Повеет ли весной, донесет ли ветер звон соборных колоколов, и вдруг нахлынут воспоминания о прошлом, сладко сожмется сердце, и из глаз польются обильные слезы, но это только на минуту, а там опять пустота, и неизвестно, зачем живешь. Черная кошечка Брыска ласкается и мягко мурлычет, но не трогают Оленьку эти кошачьи ласки. Это ли ей нужно? Ей бы такую любовь, которая захватила бы всё ее существо, всю душу, разум, дала бы ей мысли, направление жизни, согрела бы ее стареющую кровь. И она стряхивает с подола черную Брыску и говорит ей с досадой:

— Поди, поди... Нечего тут!

И так день за днем, год за годом,— и ни одной радости, и нет никакого мнения. Что сказала Мавра-кухарка, то и хорошо.

В один жаркий июльский день, под вечер, когда по улице гнали городское стадо и весь двор наполнился облаками пыли, вдруг кто-то постучал в калитку. Оленька пошла сама отворять и, как взглянула, так и обомлела: за воротами стоял ветеринар Смирнин, уже седой и в штатском платье. Ей вдруг вспомнилось всё, она не удержалась, заплакала и положила ему голову на грудь, не сказавши ни одного слова, и в сильном волнении не заметила, как оба потом вошли в дом, как сели чай пить.

— Голубчик мой! — бормотала она, дрожа от радости.— Владимир Платоныч! Откуда бог принес?

— Хочу здесь совсем поселиться,— рассказывал он.— Подал в отставку и вот приехал попробовать

счастья на воле, пожить оседлой жизнью. Да и сына пора уж отдавать в гимназию. Вырос. Я-то, знаете ли, помирился с женой.

— А где же она? — спросила Оленька.

— Она с сыном в гостинице, а я вот хожу и квартиру ищу.

— Господи, батюшка, да возьмите у меня дом! Чем не квартира? Ах, господи, да я с вас ничего и не возьму, — заволновалась Оленька и опять заплакала. — Живите тут, а с меня и флигеля довольно. Радость-то, господи!

На другой день уже красили на доме крышу и белили стены, и Оленька, подбоченясь, ходила по двору и распоряжалась. На лице ее засветилась прежняя улыбка, и вся она ожила, посвежела, точно очнулась от долгого сна. Приехала жена ветеринара, худая, некрасивая дама с короткими волосами и с капризным выражением, и с нею мальчик, Саша, маленький не по летам (ему шел уже десятый год), полный, с ясными голубыми глазами и с ямочками на щеках. И едва мальчик вошел во двор, как побежал за кошкой, и тотчас же послышался его веселый, радостный смех.

— Тетенька, это ваша кошка? — спросил он у Оленьки. — Когда она у вас ощенится, то, пожалуйста, подарите нам одного котеночка. Мама очень боится мышей.

Оленька поговорила с ним, напоила его чаем, и сердце у нее в груди стало вдруг теплым и сладко сжалось, точно этот мальчик был ее родной сын. И когда вечером он, сидя в столовой, повторял уроки, она смотрела на него с умилением и с жалостью и шептала:

— Голубчик мой, красавчик.. Деточка моя, и уродился же ты такой умненький, такой беленький.

— Островом называется, — прочел он, — часть суши, со всех сторон окруженная водою.

— Островом называется часть суши... — повторила она, и это было ее первое мнение, которое она высказала с уверенностью после стольких лет молчания и пустоты в мыслях.

И она уже имела свои мнения и за ужином говорила с родителями Саши о том, как теперь детям трудно учиться в гимназиях, но что все-таки классическое образование лучше реального, так как из гимназии всюду от-

крыта дорога: хочешь — иди в доктора, хочешь — в инженеры.

Саша стал ходить в гимназию. Его мать уехала в Харьков к сестре и не возвращалась; отец его каждый день уезжал куда-то осматривать гурты и, случалось, не жилав дома дня по три, и Оленьке казалось, что Сашу совсем забросили, что он лишний в доме, что он умирает с голоду; и она перевела его к себе во флигель и устроила его там в маленькой комнате.

И вот уже прошло полгода, как Саша живет у нее во флигеле. Каждое утро Оленька входит в его комнату; он крепко спит, подложив руку под щеку, не дышит. Ей жаль будить его.

— Сашенька,— говорит она печально,— вставай, голубчик! В гимназию пора.

Он встает, одевается, молится богу, потом садится чай пить; выпивает три стакана чаю и съедает два больших бублика и пол французского хлеба с маслом. Он еще не совсем очнулся от сна и потому не в духе.

— А ты, Сашенька, не твердо выучил басню,— говорит Оленька и глядит на него так, будто провожает его в дальнюю дорогу.— Забота мне с тобой. Уж ты старайся, голубчик, учись... Слушайся учителей.

— Ах, оставьте, пожалуйста! — говорит Саша.

Затем он идет по улице в гимназию, сам маленький, но в большом картузе, с ранцем на спине. За ним бесшумно идет Оленька.

— Сашенька-а! — окликает она.

Он оглядывается, а она сует ему в руку финик или карамельку. Когда поворачивают в тот переулок, где стоит гимназия, ему становится совестно, что за ним идет высокая, полная женщина; он оглядывается и говорит:

— Вы, тетя, идите домой, а теперь уже я сам дойду.

Она останавливается и смотрит ему вслед, не мигая, пока он не скрывается в подъезде гимназии. Ах, как она его любит! Из ее прежних привязанностей ни одна не была такою глубокой, никогда еще раньше ее душа не покорялась так беззаветно, бескорыстно и с такой отрадой, как теперь, когда в ней всё более и более разгоралось материнское чувство. За этого чужого ей мальчика, за его ямочки на щеках, за картуз она отдала бы

всю свою жизнь, отдала бы с радостью, со слезами умиления. Почему? А кто ж его знает — почему?

Проводив Сашу в гимназию, она возвращается домой тихо, такая довольная, покойная, любвеобильная; ее лицо, помолодевшее за последние полгода, улыбается, сияет; встречные, глядя на нее, испытывают удовольствие и говорят ей:

— Здравствуйте, душечка Ольга Семеновна! Как поживаете, душечка?

— Трудно теперь стало в гимназии учиться, — рассказывает она на базаре. — Шутка ли, вчера в первом классе задали басню наизусть, да перевод латинский, да задачу... Ну, где тут маленькому?

И она начинает говорить об учителях, об уроках, об учебниках, — то же самое, что говорит о них Саша.

В третьем часу вместе обедают, вечером вместе готовят уроки и плачут. Укладывая его в постель, она долго крестит его и шепчет молитву, потом, ложась спать, грезит о том будущем, далеком и туманном, когда Саша, кончив курс, станет доктором или инженером, будет иметь собственный большой дом, лошадей, коляску, женится и у него родятся дети... Она засыпает и всё думает о том же, и слезы текут у нее по щекам из закрытых глаз. И черная кошечка лежит у нее под боком и мурлычет:

— Мур... мур... мур...

Вдруг сильный стук в калитку. Оленька просыпается и не дышит от страха; сердце у нее сильно бьется. Проходит полминуты, и опять стук.

«Это телеграмма из Харькова, — думает она, начиная дрожать всем телом. — Мать требует Сашу к себе в Харьков... О господи!»

Она в отчаянии; у нее холодеют голова, ноги, руки, и кажется, что несчастнее ее нет человека во всем свете. Но проходит еще минута, слышатся голоса: это ветеринар вернулся домой из клуба.

«Ну, слава богу», — думает она.

От сердца мало-помалу отстает тяжесть, опять становится легко; она ложится и думает о Саше, который спит крепко в соседней комнате и изредка говорит в бреду:

— Я тебе! Пошел вон! Не дерись!

НОВАЯ ДАЧА

I

В трех верстах от деревни Обручановой строился громадный мост. Из деревни, стоявшей высоко на крутом берегу, был виден его решётчатый остов, и в туманную погоду и в тихие зимние дни, когда его тонкие железные стропила и все леса кругом были покрыты инеем, он представлял живописную и даже фантастическую картину. Через деревню проезжал иногда на беговых дрожках или в коляске инженер Кучеров, строитель моста, полный, плечистый, бородатый мужчина в мягкой, помятой фуражке; иногда в праздники приходили босяки, работавшие на мосту; они просили милостыню, смеялись над бабами и, случалось, уносили что-нибудь. Но это бывало редко; обыкновенно же дни проходили тихо и спокойно, как будто постройки не было вовсе, и только по вечерам, когда около моста светились костры, ветер слабо доносил песню босяков. И днем иногда слышался печальный металлический звук: дон... дон... дон...

Как-то к инженеру Кучерову приехала его жена. Ей понравились берега реки и роскошный вид на зеленую долину с деревушками, церквами, стадами, и она стала просить мужа, чтобы он купил небольшой участок земли и выстроил здесь дачу. Муж послушался. Купили двадцать десятин земли, и на высоком берегу, на полянке, где раньше бродили обручановские коровы, построили красивый двухэтажный дом с террасой, с балконами, с башней и со шпилем, на котором по воскресеньям взвивался флаг, — построили в какие-нибудь три месяца и потом всю зиму сажали большие деревья, и, когда наступила весна и всё зазеленело кругом, в новой усадьбе были уже аллеи, садовник и двое рабочих в белых фартуках копались около дома, бил фонтанчик, и зеркальный шар горел так ярко, что было больно смотреть. И уже было название у этой усадьбы: Новая дача.

В ясное, теплое утро, в конце мая, в Обручаново к

Новая дача.

(Рассказ).

I

Въ трехъ верстахъ отъ деревни Обручановой строился громадный мостъ. Изъ деревни, стоявшей высоко на кругомъ берегу, былъ виденъ его рѣшетчатый остовъ, и въ туманную погоду и въ тихіе зимніе дни, когда его тонкія желѣзныя стропила и всѣ дѣла кругомъ были покрыты инеемъ, онъ представлялъ живописную и даже фантастическую картину. Черезъ деревню пробѣжаль иногда на бѣговухъ джонкакъ или въ коляскѣ инженеръ Кучеровъ, строитель моста, голый, плечистый, бородатый мужчина въ мягкой, помятой фуражкѣ; иногда въ праздники приходили босяки, работавшіе на мосту; они просили милостыню, смѣялись надъ бабами и, случалось, уносили что-нибудь. Но это бывало рѣдко; обыкновенно же дни проходили тихо и спокойно, какъ будто постройки не было вовсе, и только по вечерамъ, когда около моста свѣтились костры, вѣтеръ слабо доносилъ пѣсню босяковъ. И днемъ иногда слышался печальный металлическій звукъ дон... дон... дон...

Какъ-то къ инженеру Кучерову пришла его жена. Ей понравились берега рѣки и роскошный видъ на зеленую долину съ деревушками, церквями, стадами, и она стала просить мужа, чтобы онъ купилъ небольшой участокъ земли и выстроилъ здѣсь дачу. Мужъ послушался. Купили двадцать десятинъ земли, и на высокомъ берегу, на полянкѣ, гдѣ раньше бродили обручановскія коровы, построили красивый двухъ-этажный домъ съ террасой, съ балконами, съ башней и со шпильцемъ, на которомъ по воскресеньямъ взвѣшивался флагъ,—построили въ какіе-нибудь три мѣсяца и потомъ всю зиму сажали большія деревья, и когда наступила весна и все зазеленѣло кругомъ, въ новой усадьбѣ были уже аллеи, садовникъ и двое рабочихъ въ бѣлыхъ фартукахъ копались около дома, былъ фонтанчикъ и зерналь-

«НОВАЯ ДАЧА».

«Русскіе вѣдомости», 1899, № 3.

здешнему кузнецу Родиону Петрову привели перековывать двух лошадей. Это из Новой дачи. Лошади были белые, как снег, стройные, сытые и поразительно похожие одна на другую.

— Чистые лебеди! — проговорил Родион, глядя на них с благоговением.

Его жена Степанида, дети и внуки вышли на улицу, чтобы посмотреть. Мало-помалу собралась толпа. Подошли Лычковы, отец и сын, оба безбородые с рождения, с опухшими лицами и без шапок. Подошел и Козов, высокий худой старик с длинной, узкой бородой, с палочкой крючком; он всё подмигивал своими хитрыми глазами и насмешливо улыбался, как будто знал что-то.

— Только что белые, а что в них? — сказал он. — Поставь моих на овес, такие же будут гладкие. В соху бы их да кнутом...

Кучер только посмотрел на него с презрением, но не сказал ни слова. И пока потом в кузнице разводили огонь, кучер рассказывал, покуривая папиросы. Мужики узнали от него много подробностей: господа у него богатые; барыня Елена Ивановна раньше, до замужества, жила в Москве бедно, в гувернантках; она добрая, жалостливая и любит помогать бедным. В новом имении, рассказывал он, не будут ни пахать, ни сеять, а будут только жить в свое удовольствие, жить только для того, чтобы дышать чистым воздухом. Когда он кончил и повел лошадей назад, за ним шла толпа мальчишек, лаяли собаки, и Козов, глядя вслед, насмешливо подмигивал.

— То-оже помещики! — говорил он. — Дом построили, лошадей завели, а самим небось есть нечего. То-оже помещики!

Козов как-то сразу возненавидел и новую усадьбу, и белых лошадей, и сытого красивого кучера. Это был человек одинокий, вдовец; жил он скучно (работать ему мешала какая-то болезнь, которую он называл то грызью, то глистами), деньги на пропитание получал от сына, служившего в Харькове в кондитерской, и с раннего утра до вечера праздно бродил по берегу или по деревне, и если видел, например, что мужик везет бревно или удит рыбу, то говорил: «Это бревно из сухостоя, трухлявое» или: «В такую погоду не будет клевать». В засуху он говорил, что дождей не будет до самых морозов, а когда шли дожди, то говорил, что теперь всё погниет в поле,

всё пропало. И при этом всё подмигивал, как будто знал что-то.

В усадьбе по вечерам жгли бенгальские огни и ракеты, и мимо Обручанова проходила на парусах лодка с красными фонариками. Однажды утром приехала на деревню жена инженера Елена Ивановна с маленькой дочерью в коляске с желтыми колесами, на паре темно-гнедых пони; обе, мать и дочь, были в соломенных шляпах с широкими полями, пригнутыми к ушам.

Это было как раз в навозницу, и кузнец Родион, высокий, тощий старик, без шапки, босой, с вилами через плечо, стоял около своей грязной, безобразной телеги и, оторопев, смотрел на пони, и видно было по его лицу, что он раньше никогда не видел таких маленьких лошадей.

— Кучериха приехала! — слышался кругом шёпот. — Гляди, Кучериха приехала!

Елена Ивановна посматривала на избы, как бы выбирая, потом остановила лошадей около самой бедной избы, где в окнах было столько детских голов — белокурых, темных, рыжих. Степанида, жена Родиона, полная старуха, выбежала из избы, платок у нее сполз с седой головы, она смотрела на коляску против солнца, и лицо у нее улыбалось и морщилось, точно она была слепая.

— Это твоим детям, — сказала Елена Ивановна и подала ей три рубля.

Степанида вдруг заплакала и поклонилась в землю; Родион тоже повалился, показывая свою широкую коричневую лысину, и при этом едва не зацепил вилами свою жену за бок. Елена Ивановна сконфузилась и поехала назад.

II

Лычковы, отец и сын, захватили у себя на лугу двух рабочих лошадей, одного пони и мордатого альгауского бычка и вместе с рыжим Володькой, сыном кузнеца Родиона, пригнали в деревню. Позвали старосту, набрали понятых и пошли смотреть на поправу.

— Ладно, пускай! — говорил Козов, подмигивая. — Пускай-ай! Пускай теперь повертятся, инженеры-то. Суда нет, думаешь? Ладно! За урядником послать, акт составить!..

— Акт составить! — повторил Володька.

— Этого так оставить я не желаю! — кричал Лычков-сын, кричал всё громче и громче, и от этого, казалось, его безбородое лицо распухало всё больше. — Моду какую взяли! Дай им волю, так они все луга потравят! Не имеете полного права обижать народ! Крепостных теперь нету!

— Крепостных теперь нету! — повторил Володька.

— Жили мы без моста, — проговорил Лычков-отец мрачно, — не просили, зачем нам мост? Не желаем!

— Братцы, православные! Этого так оставить нельзя!

— Ладно, пуска-ай! — подмигивал Козов. — Пускай теперь повернутся! То-оже помещики!

Повернули назад в деревню, и, пока шли, Лычков-сын всё время бил себя кулаком по груди и кричал, и Володька тоже кричал, повторяя его слова. А в деревне между тем около породистого бычка и лошадей собралась целая толпа. Бычок был сконфужен и глядел исподлобья, но вдруг опустил морду к земле и побежал, выбрыкивая задними ногами; Козов испугался и замахал на него палкой, и все захохотали. Потом скотишу заперли и стали ждать.

Вечером инженер прислал за потраву пять рублей, и обе лошади, пони и бычок, некормленные и непоенные, возвращались домой, понунив головы, как виноватые, точно их вели на казнь.

Получив пять рублей, Лычковы, отец и сын, староста и Володька переплыли на лодке реку и отправились на ту сторону в село Кряково, где был кабак, и долго там гуляли. Было слышно, как они пели и как кричал молодой Лычков. В деревне бабы не спали всю ночь и беспокоились. Родион тоже не спал.

— Нехорошее дело, — говорил он, ворочаясь с боку на бок и вздыхая. — Осерчает барин, тягайся потом... Обидели барина... ох, обидели, нехорошо...

Как-то мужики, и Родион в их числе, ходили в свой лес делить покос, и, когда возвращались домой, им встретился инженер. Он был в красной кумачовой рубашке и в высоких сапогах; за ним следом, высунув длинный язык, шла легавая собака.

— Здравствуйте, братцы! — сказал он.

Мужики остановились и снимали шапки.

— Я давно уже хочу поговорить с вами, братцы,— продолжал он.— Дело вот в чем. С самой ранней весны каждый день у меня в саду и в лесу бывает ваше стадо. Всё вытоптано, свиньи изрыли луг, портят в огороде, а в лесу пропал весь молодняк. Сладу нет с вашими пастухами; их просишь, а они грубят. Каждый день у меня потрава, и я ничего, я не штрафую вас, не жалуюсь, между тем вы загнали моих лошадей и бычка, взяли пять рублей. Хорошо ли это? Разве это по-соседски? — продолжал он, и голос у него был такой мягкий, убедительный и взгляд не суровый.— Разве так поступают порядочные люди? Неделю назад кто-то из ваших срубил у меня в лесу два дубка. Вы перекопали дорогу в Ереснево, и теперь мне приходится делать три версты кругу. За что же вы вредите мне на каждом шагу? Что я сделал вам дурного, скажите бога ради? Я и жена изо всех сил стараемся жить с вами в мире и согласии, мы помогаем крестьянам, как можем. Жена моя добрая, сердечная женщина, она не отказывает в помощи, это ее мечта быть полезной вам и вашим детям. Вы же за добро платите нам злом. Вы несправедливы, братцы. Подумайте об этом. Убедительно прошу вас, подумайте. Мы относимся к вам по-человечески, платите и вы нам тою же монетою.

Повернулся и ушел. Мужики постояли еще немного, надели шапки и пошли. Родион, который понимал то, что ему говорили, не так, как нужно, а всегда как-то по-своему, вздохнул и сказал:

— Платить надо. Платите, говорит, братцы, монетой...

До деревни дошли молча. Придя домой, Родион помоллся, разулся и сел на лавку рядом с женой. Он и Степанида, когда были дома, всегда сидели рядом и по улице всегда ходили рядом, ели, пили и спали всегда вместе, и чем старше становились, тем сильнее любили друг друга. В избе у них было тесно, жарко, и везде были дети — на полу, на окнах, на печке... Степанида, несмотря на пожилые годы, еще рожала, и теперь, глядя на кучу детей, трудно было разобрать, где Родионовы и где Володькинны. Жена Володьки — Лукерья, молодая некрасивая баба, с глазами навывкате и с птичьим носом, месила в кадке тесто; сам Володька сидел на печи, свесив ноги.

— По дороге около Никитовой гречи того... инженер с собачкой...— начал Родион, отдохнув, почесывая себе бока и локти.— Платить, говорит, надо... Монетой, говорит... Монетой не монетой, а уж по гривеннику со двора надо бы. Уж очень обижаем барина. Жалко мне...

— Жили мы без моста,— сказал Володька, ни на кого не глядя,— и не желаем.

— Чего там! Мост казенный.

— Не желаем.

— Тебя и не спросят. Чего ты!

— «Не спросят»...— передразнил Володька.— Нам ездить некуда, на что нам мост? Нужно, так и на лодке переплывем.

Кто-то со двора постучал в окно так сильно, что, казалось, задрожала вся изба.

— Володька дома? — послышался голос Лычкова сына. — Володька, выходи, пойдем!

Володька прыгнул с печки и стал искать свою фуражку.

— Не ходи, Володя,— проговорил Родион несмело.— Не ходи с ними, сынок. Ты у нас глупый, словно ребенок малый, а они тебя добру не научат. Не ходи!

— Не ходи, сынок! — попросила Степанида и заморгала глазами, собираясь заплакать.— Небось в кабак зовут.

— «В кабак»...— передразнил Володька.

— Опять пьяный вернешься, ирод собачий! — сказала Лукерья, глядя на него со злобой.— Иди, иди и чтоб ты сгорел от водки, сатана бесхвостая!

— Ну, ты молчи! — крикнул Володька.

— Выдали меня за дурака, сгубили меня, сироту несчастную, пьяница рыжий...— заголосила Лукерья, утирая лицо рукой, которая была вся в тесте.— Глаза бы мои на тебя не глядели!

Володька ударил ее по уху и вышел.

III

Елена Ивановна и ее маленькая дочь пришли в деревню пешком. Они прогуливались. Как раз было воскресенье, и на улицу повыходили бабы и девушки в своих ярких платьях. Родион и Степанида, сидевшие на крыльце рядышком, кланялись и улыбались Елене Ивановне

жее девочке, уже как знакомым. И из окон смотрело на них больше десятка детей; лица выражали недоумение и любопытство, слышался шёпот:

— Кучериха пришла! Кучериха!

— Здравствуйте,— сказала Елена Ивановна и остановилась; она помолчала и спросила: — Ну, как поживаете?

— Живем ничего, благодарить бога,— ответил Родион скороговоркой.— Известно, живем.

— Какая наша жизнь! — усмехнулась Степанида.— Сами видите, барыня, голубушка, бедность! Всего семейства четырнадцать душ, а добытчиков двое. Одно звание — кузнецы, а приведут лошадь ковать, угля нет, купить не на что. Замучились, барыня,— продолжала она и засмеялась,— и-их как замучились!

Елена Ивановна села на крыльце и, обняв свою девочку, задумалась о чем-то, и у девочки тоже, судя по ее лицу, бродили в голове какие-то невеселые мысли; в раздумье она играла нарядным кружевным зонтиком, который взяла из рук у матери.

— Бедность! — сказал Родион.— Заботы много, работаем — конца-краю не видать. Вот дождя бог не дает... Неладно живем, что говорить.

— В этой жизни вам тяжело,— сказала Елена Ивановна,— зато на том свете вы будете счастливы.

Родион не понял ее и в ответ только кашлянул в кулак. А Степанида сказала:

— Барыня, голубушка, богатому и на том свете ладно. Богатый свечи ставит, молебны служит, богатый нищим подает, а мужик что? Лба перекрестить некогда, сам нищий-разнищий, уж где там спастись. И грехов много от бедности, да с горя всё, как псы, лаем, хорошего слова не скажем, и чего не бывает, барыня-голубушка,— не дай бог! Должно, нет нам счастья ни на том, ни на этом свете. Всё счастье богатым досталось.

Она говорила весело; очевидно, давно уже привыкла говорить о своей тяжелой жизни. И Родион тоже улыбался; ему было приятно, что у него старуха такая умная, словоохотливая.

— Это только так кажется, что богатым легко,— сказала Елена Ивановна.— У каждого человека свое горе. Вот мы, я и мой муж, живем не бедно, у нас есть средства, но разве мы счастливы? Я еще молода, но у меня

уже четверо детей; дети всё болеют, я тоже больна, постоянно лечусь.

— А какая в тебе болезнь? — спросил Родион.

— Женская. У меня нет сна, не дают покою головные боли. Я вот сижу, говорю, а в голове нехорошо, слабость во всем теле, и я согласна, пусть лучше самый тяжелый труд, чем такое состояние. И душа тоже непокойна. Постоянно боишься за детей, за мужа. У каждой семьи есть свое какое-нибудь горе, есть оно и у нас. Я не дворянка. Дед мой был простой крестьянин, отец торговал в Москве и тоже был простой человек. А у моего мужа родители знатные и богатые. Они не хотели, чтобы он женился на мне, но он ослушался, поссорился с ними, и вот они до сих пор не прощают нас. Это беспокоит мужа, волнует, держит в постоянной тревоге; он любит свою мать, очень любит. Ну, и я беспокоюсь. Душа болит.

Около избы Родиона уже стояли мужики и бабы и слушали. Подошел и Козов и остановился, потряхивая своей длинной, узкой бородкой. Подошли Лычковы, отец и сын.

— И то сказать, нельзя быть счастливым и довольным, если не чувствуешь себя на своем месте, — продолжала Елена Ивановна. — Каждый из вас имеет свою полосу, каждый из вас трудится и знает, для чего трудится; муж мой строит мосты, одним словом, у каждого свое место. А я? Я только хожу. Полосы у меня своей нет, я не тружусь и чувствую себя как чужая. Всё это я говорю, чтобы вы не судили по наружному виду; если человек одет богато и имеет средства, то это еще не значит, что он доволен своей жизнью.

Она встала, чтобы уходить, и взяла за руку дочь.

— Мне у вас здесь очень нравится, — сказала она и улыбнулась, и по этой слабой, несмелой улыбке можно было судить, как она в самом деле нездорова, как еще молода и как хороша собой; у нее было бледное, худощавое лицо с темными бровями и белокурые волосы. И девочка была такая же, как мать, худощавая, белокурая и тонкая. Пахло от них духами.

— И река нравится, и лес, и деревня... — продолжала Елена Ивановна. — Я могла бы прожить тут всю жизнь, и мне кажется, здесь бы я выздоровела и нашла свое место. Мне хочется, страстно хочется помогать вам, быть

вам полезной, близкой. Я знаю вашу нужду, а то, чего не знаю, чувствую, угадываю сердцем. Я больна, слаба, и для меня, пожалуй, уже невозможно изменить свою жизнь, как я хотела бы. Но у меня есть дети, я постараюсь воспитать их так, чтобы они привыкли к вам, полюбили вас. Я буду внушать им постоянно, что их жизнь принадлежит не им самим, а вам. Только прошу вас убедительно, умоляю, доверяйте нам, живите с нами в дружбе. Мой муж добрый, хороший человек. Не волнуйте, не раздражайте его. Он чуток ко всякой мелочи, а вчера, например, ваше стадо было у нас в огороде, и кто-то из ваших сломал плетень у нас на пасеке, и такое отношение к нам приводит мужа в отчаяние. Прошу вас, — продолжала она умоляющим голосом и сложила руки на груди, — прошу, относитесь к нам как добрые соседи, будем жить в мире! Сказано ведь, худой мир лучше доброй ссоры, и не купи имение, а купи соседа. Повторяю, мой муж добрый человек, хороший; если всё будет благополучно, то мы, обещаю вам, сделаем всё, что в наших силах; мы починим дороги, мы построим вашим детям школу. Обещаю вам.

— Оно, конечно, благодарим покорно, барыня, — сказал Лычков-отец, глядя в землю, — вы образованные, вам лучше знать. А только вот в Ересневе Воронов, богатый мужик, значит, обещал выстроить школу, тоже говорил — я вам да я вам, и поставил только сруб да отказался, а мужиков потом заставили крышу класть и кончать, тысяча рублей пошла. Воронову-то ничего, он только бороду гладит, а мужичкам оно как будто обидно.

— То был ворон, а теперь грач налетел, — сказал Козов и подмигнул.

Послышался смех.

— Не надо нам школы, — проговорил Володька угрюмо. — Наши ребята ходят в Петровское, и пускай. Не желаем.

Елена Ивановна как-то оробела вдруг. Она побледнела, осунулась, вся сжалась, точно к ней прикоснулись чем-то грубым, и пошла, не сказав больше ни слова. И шла всё быстрее и быстрее, не оглядываясь.

— Барыня! — позвал Родион, идя за ней. — Барыня, погоди-ка, что я тебе скажу.

Он шел за ней следом, без шапки, и говорил тихо, как будто просил милостыню:

— Барыня! Погоди, что я тебе скажу.

Вышли из деревни, и Елена Ивановна остановилась в тени старой рябины, около чьей-то телеги.

— Не обижайся, барыня,— сказал Родион.— Чего там! Ты потерпи. Года два потерпи. Поживешь тут, потерпишь, и всё обойдется. Народ у нас хороший, смирный... народ ничего, как перед истинным тебе говорю. На Козова да на Лычковых не гляди, и на Володьку не гляди, он у меня дурачок: кто первый сказал, того и слушает. Прочие народ смирный, молчат... Иной, знаешь, рад бы слово сказать по совести, вступиться, значит, да не может. И душа есть, и совесть есть, да языка в нем нет. Не обижайся... потерпи... Чего там!

Елена Ивановна смотрела на широкую спокойную реку, о чем-то думала, и слезы текли у нее по щекам. И Родиона смущали эти слезы, он сам едва не плакал.

— Ты ничего...—бормотал он.—Потерпи годика два. И школу можно, и дороги можно, а только не сразу... Хочешь, скажем к примеру, посеять на этом бугре хлеб, так сначала выкорчуй, выбери камни все, да потом вспахни, ходи да ходи... И с народом, значит, так... ходи да ходи, пока не осилишь.

От избы Родиона отделилась толпа и пошла по улице в эту сторону к рябине. Запели песню, заиграла гармоника. И подходили всё ближе и ближе...

— Мама, уедем отсюда! — сказала девочка, бледная, прижимаясь к матери и дрожа всем телом.— Уедем, мама!

— Куда?

— В Москву... Уедем, мама!

Девочка заплакала. Родион совсем смутился, лицо у него сильно вспотело. Он вынул из кармана огурец, маленький, кривой, как полумесяц, весь в ржанных крошках, и стал совать его девочке в руки.

— Ну, ну...— забормотал он, хмурясь сурово.— Возьми-кась огурчика, покушай... Плакать не годится, маменька прибьет... дома отцу пожалится... Ну, ну...

Они пошли дальше, а он всё шел позади них, желая сказать им что-нибудь ласковое и убедительное. И видя, что обе они заняты своими мыслями и своим горем и не замечают его, он остановился и, закрывая глаза от солнца, смотрел им вслед долго, пока они не скрылись в своем лесу.

Инженер, по-видимому, стал раздражителен, мелочен и в каждом пустяке уже видел кражу или покушение. Ворота у него были на запоре даже днем, а ночью в саду ходили два сторожа и стучали в доску, и уже из Обручанова никого не брали на поденную. Как парочно кто-то (из мужиков или босяков — неизвестно) снял с телеги новые колеса и обменял их на старые, потом, немного погодя, унесли две уздечки и клещи, и даже в деревне начался ропот. Стали говорить, что надо бы сделать обыск у Лычковых и у Володьки, и тогда клещи и уздечки нашлись у инженера в саду под забором: кто-то подбросил.

Как-то шли толпой из леса, и опять по дороге встретился инженер. Он остановился и, не поздоровавшись, глядя сердито то на одного, то на другого, начал:

— Я просил не собирать грибов у меня в парке и около двора, оставлять моей жене и детям, но ваши девушки приходят чуть свет, и потом не остается ни одного гриба. Проси вас или не проси — это всё равно. Просьба, и ласки, и убеждение, вижу, всё бесполезно.

Он остановил свой негодующий взгляд на Родионе и продолжал:

— Я и жена относились к вам, как к людям, как к равным, а вы? Э, да что говорить! Кончится, вероятно, тем, что мы будем вас презирать. Больше ничего не остается!

И, сделав над собой усилие, сдерживая свой гнев, чтобы не сказать еще чего-нибудь лишнего, он повернул и пошел дальше.

Придя домой, Родион помолился, разулся и сел на лавку рядом с женой.

— Да... — начал он, отдохнув. — Идем сейчас, а барин Кучеров навстречу... Да... Девоч чуть свет видел... Отчего, говорит, грибов не несут... жене, говорит, и детям. А потом глядит на меня и говорит: я, говорит, с женой тебя презирать буду. Хотел я ему в ноги поклониться, да сробел... Дай бог здоровья... Пошли им, господи...

Степанида перекрестилась и вздохнула.

— Господа добрые, простоватые... — продолжал Родион. — «Презирать будем...» — при всех обещал. На

старости лет и... оно бы ничего... Вечно бы за них бога молил... Пошли, царица небесная...

На Воздвижение, 14 сентября, был храмовой праздник. Лычковы, отец и сын, еще с утра уезжали на ту сторону и вернулись к обеду пьяные; они ходили долго по деревне, то пели, то бранились нехорошими словами, потом подрались и пошли в усадьбу жаловаться. Сначала вошел во двор Лычков-отец с длинной осиновой палкой в руках; он нерешительно остановился и снял шапку. Как раз в это время на террасе сидел инженер с семьей и пил чай.

— Что тебе? — крикнул инженер.

— Ваше высокоблагородие, барин... — начал Лычков и заплакал. — Явите божескую милость, вступитесь... Житья нет от сына... Разорил сын, дерется... ваше высокоблагородие...

Вошел и Лычков-сын, без шапки, тоже с палкой; он остановился и вперил пьяный, бессмысленный взгляд на террасу.

— Не мое дело разбирать вас, — сказал инженер. — Ступай к земскому или к становому.

— Я везде был... прошение подавал... — проговорил Лычков-отец и зарыдал. — Куда мне теперь идти? Значит, он меня теперь убить может? Он, значит, всё может? Это отца-то? Отца?

Он поднял палку и ударил ею сына по голове; тот поднял свою палку и ударил старика прямо по лысине, так что палка даже подскочила. Лычков-отец даже покачнулся и опять ударил сына, и опять по голове. И так стояли и всё стучали друг друга по головам, и это было похоже не на драку, а скорее на какую-то игру. А за воротами толпились мужики и бабы и молча смотрели во двор, и лица у всех были серьезные. Это пришли мужики, чтобы поздравить с праздником, но, увидев Лычковых, посовестились и не вошли во двор.

На другой день утром Елена Ивановна уехала с детьми в Москву. И пошел слух, что инженер продает свою усадьбу...

V

К мосту давно пригляделись, и уже трудно было представить себе реку на этом месте без моста. Кучи мусора, оставшиеся с постройки, уже давно поросли травой, про

босьяков забыли, и вместо «Дубинушки» слышится теперь почти каждый час шум проходящего поезда.

Новая дача давно продана; теперь она принадлежит какому-то чиновнику, который в праздники приезжает сюда из города с семейством, пьет на террасе чай и потом уезжает обратно в город. У него на фуражке кокарда, говорит и кашляет он, как очень важный чиновник, хотя состоит только в чине коллежского секретаря, и когда мужики ему кланяются, то он не отвечает.

В Обручанове все постарели; Козов уже умер, у Родиона в избе стало детей еще больше, у Володьки выросла длинная рыжая борода. Живут по-прежнему бедно.

Ранней весной обручановские пилят дрова около станции. Вот они после работы идут домой, идут не спеша, друг за другом; широкие пилы гнутся на плечах, отсвечивает в них солнце. В кустах по берегу поют соловьи, в небе заливаются жаворонки. На Новой даче тихо, нет ни души, и только золотые голуби, золотые оттого, что их освещает солнце, летают над домом. Всем — и Родиону, и обоим Лычковым, и Володьке — вспоминаются белые лошади, маленькие пони, фейерверки, лодка с фонарями, вспоминается, как жена инженера, красивая, нарядная, приходила в деревню и так ласково говорила. И всего этого точно не было. Всё, как сон или сказка.

Они идут нога за ногу, утомленные, и думают...

В их деревне, думают они, народ хороший, смирный, разумный, бога боится, и Елена Ивановна тоже смирная, добрая, кроткая, было так жалко глядеть на нее, но почему же они не ужились и разошлись, как враги? Что это был за туман, который застилал от глаз самое важное, и видны были только потравы, уздечки, клещи и все эти мелочи, которые теперь при воспоминании кажутся таким вздором? Почему с новым владельцем живут в мире, а с инженером не ладили?

И, не зная, что ответить себе на эти вопросы, все молчат, и только Володька что-то бормочет.

— Что ты? — спрашивает Родион.

— Жили без моста... — говорит Володька мрачно. — Жили мы без моста и не просили... и не надо нам.

Ему никто не отвечает, и идут дальше молча, понурив головы.

ДАМА С СОБАЧКОЙ

I

Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой. Дмитрий Дмитрич Гуров, проживший в Ялте уже две недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Верне, он видел, как по набережной прошла молодая дама, невысокого роста блондинка, в берете; за нею бежал белый шпиц.

И потом он встречал ее в городском саду и на сквере по нескольку раз в день. Она гуляла одна, всё в том же берете, с белым шпицем; никто не знал, кто она, и называли ее просто так: дама с собачкой.

«Если она здесь без мужа и без знакомых,— сожалел Гуров,— то было бы не лишнее познакомиться с ней».

Ему не было еще сорока, но у него была уже дочь двенадцати лет и два сына-гимназиста. Его женили рано, когда он был еще студентом второго курса, и теперь жена казалась в полтора раза старше его. Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая. Она много читала, не писала в письмах ъ, называла мужа не Дмитрием, а Димитрием, а он втайне считал ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ее и не любил бывать дома. Изменять ей он начал уже давно, изменял часто и, вероятно, поэтому о женщинах отзывался почти всегда дурно, и когда в его присутствии говорили о них, то он называл их так:

— Низшая раса!

Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом, чтобы называть их как угодно, но всё же без «низшей расы» он не мог бы прожить и двух дней. В обществе мужчин ему было скучно, не по себе, с ними он был перазговорчив, холоден, но когда находился среди жен-

щин, то чувствовал себя свободно и знал, о чем говорить с ними и как держать себя; и даже молчать с ними ему было легко. В его наружности, в характере, во всей его натуре было что-то привлекательное, неуловимое, что располагало к нему женщин, манило их; он знал об этом, и самого его тоже какая-то сила влекла к ним.

Опыт многократный, в самом деле горький опыт, научил его давно, что всякое сближение, которое вначале так приятно разнообразит жизнь и представляется милым и легким приключением, у порядочных людей, особенно у москвичей, тяжелых на подъем, нерешительных, неизбежно вырастает в целую задачу, сложную чрезвычайно, и положение в конце концов становится тягостным. Но при всякой новой встрече с интересною женщиной этот опыт как-то ускользал из памяти, и хотелось жить, и всё казалось так просто и забавно.

И вот однажды под вечер он обедал в саду, а дама в берете подходила не спеша, чтобы занять соседний стол. Ее выражение, походка, платье, прическа говорили ему, что она из порядочного общества, замужем, в Ялте в первый раз и одна, что ей скучно здесь... В рассказах о нечистоте местных нравов много неправды, он презирал их и знал, что такие рассказы в большинстве сочиняются людьми, которые сами бы охотно грешили, если б умели, но, когда дама села за соседний стол в трех шагах от него, ему вспомнились эти рассказы о легких победах, о поездках в горы, и соблазнительная мысль о скорой, мимолетной связи, о романе с неизвестною женщиной, которой не знаешь по имени и фамилии, вдруг овладела им.

Он ласково поманил к себе шпица и, когда тот подошел, погрозил ему пальцем. Шпиц заворчал. Гуров опять погрозил.

Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза.

— Он не кусается, — сказала она и покраснела.

— Можно дать ему кость? — И когда она утвердительно кивнула головой, он спросил приветливо: — Вы давно изволили приехать в Ялту?

— Дней пять.

— А я уже дотягиваю здесь вторую неделю.

Помолчали немного.

— Время идет быстро, а между тем здесь такая скука! — сказала она, не глядя на него.

— Это только принято говорить, что здесь скучно. Обыватель живет у себя где-нибудь в Белеве или Жиздере — и ему не скучно, а придет сюда: «Ах, скучно! Ах, пыль!» Подумаешь, что он из Гренады приехал.

Она засмеялась. Потом оба продолжали есть молча, как незнакомые; но после обеда пошли рядом — и начался шуточный, легкий разговор людей свободных, довольных, которым всё равно, куда бы ни идти, о чем ни говорить. Они гуляли и говорили о том, как странно освещено море; вода была сиреневого цвета, такого мягкого и теплого, и по ней от луны шла золотая полоса. Говорили о том, как душно после жаркого дня. Гуров рассказал, что он москвич, по образованию филолог, но служит в банке; готовился когда-то петь в частной опере, но бросил, имеет в Москве два дома... А от нее он узнал, что она выросла в Петербурге, но вышла замуж в С., где живет уже два года, что пробудет она в Ялте еще с месяц и за ней, быть может, придет ее муж, которому тоже хочется отдохнуть. Она никак не могла объяснить, где служит ее муж, — в губернском правлении или в губернской земской управе, и это ей самой было смешно. И узнал еще Гуров, что ее зовут Анной Сергеевной.

Потом у себя в номере он думал о ней, о том, что завтра она, наверное, встретится с ним. Так должно быть. Ложась спать, он вспомнил, что она еще так недавно была институткой, училась, всё равно как теперь его дочь, вспомнил, сколько еще несмелости, угловатости было в ее смехе, в разговоре с незнакомым, — должно быть, это первый раз в жизни она была одна, в такой обстановке, когда за ней ходят, и на нее смотрят, и говорят с ней только с одною тайною целью, о которой она не может не догадываться. Вспомнил он ее тонкую, слабую шею, красивые, серые глаза.

«Что-то в ней есть жалкое все-таки», — подумал он и стал засыпать.

II

Прошла неделя после знакомства. Был праздничный день. В комнатах было душно, а на улицах вихрем носилась пыль, срывало шляпы. Весь день хотелось пить, и Гуров часто заходил в павильон и предлагал Анне Сер-

геевие то воды с сиропом, то мороженого. Некуда было деваться.

Вечером, когда немного утихло, они пошли на мол, чтобы посмотреть, как придет пароход. На пристани было много гуляющих; собрались встречать кого-то, держали букеты. И тут отчетливо бросались в глаза две особенности нарядной ялтинской толпы: пожилые дамы были одеты, как молодые, и было много генералов.

По случаю волнения на море пароход пришел поздно, когда уже село солнце, и, прежде чем пристать к молу, долго поворачивался. Анна Сергеевна смотрела в лорнетку на пароход и на пассажиров, как бы отыскивая знакомых, и когда обращалась к Гурову, то глаза у нее блестели. Она много говорила, и вопросы у нее были отрывисты, и она сама тотчас же забывала, о чем спрашивала; потом потеряла в толпе лорнетку.

Нарядная толпа расходилась, уже не было видно лиц, ветер стих совсем, а Гуров и Анна Сергеевна стояли, точно ожидая, не сойдет ли еще кто с парохода. Анна Сергеевна уже молчала и нюхала цветы, не глядя на Гурова.

— Погода к вечеру стала получше, — сказал он. — Куда же мы теперь пойдем? Не поехать ли нам куда-нибудь?

Она ничего не ответила.

Тогда он пристально поглядел на нее и вдруг обнял ее и поцеловал в губы, и его обдало запахом и влагой цветов, и тотчас же он пугливо огляделся: не видел ли кто?

— Пойдемте к вам... — проговорил он тихо.

И оба пошли быстро.

У нее в номере было душно, пахло духами, которые она купила в японском магазине. Гуров, глядя на нее теперь, думал: «Каких только не бывает в жизни встреч!» От прошлого у него сохранилось воспоминание о беззаботных, добродушных женщинах, веселых от любви, благодарных ему за счастье, хотя бы очень короткое; и о таких, — как, например, его жена, — которые любили без искренности, с излишними разговорами, манерно, с истерией, с таким выражением, как будто то была не любовь, не страсть, а что-то более значительное; и о таких двух-трех, очень красивых, холодных, у которых вдруг промелькало на лице хищное выражение, упря-

мое желание взять, выхватить у жизни больше, чем она может дать, и это были не первой молодости, капризные, не рассуждающие, властные, не умные женщины, и когда Гуров охладевал к ним, то красота их возбуждала в нем ненависть и кружева на их белье казались ему тогда похожими на чешую.

Но тут всё та же несмелость, угловатость неопытной молодости, неловкое чувство; и было впечатление растерянности, как будто кто вдруг постучал в дверь. Анна Сергеевна, эта «дама с собачкой», к тому, что произошло, отнеслась как-то особенно, очень серьезно, точно к своему падению,— так казалось, и это было странно и некстати. У нее опустились, завяли черты и по сторонам лица печально висели длинные волосы, она задумалась в унылой позе, точно грешница на старинной картине.

— Нехорошо,— сказала она.— Вы же первый меня не уважаете теперь.

На столе в номере был арбуз. Гуров отрезал себе ломоть и стал есть не спеша. Прошло, по крайней мере, полчаса в молчании.

Анна Сергеевна была трогательна, от нее веяло чистой порядочной, наивной, мало жившей женщиной; одинокая свеча, горевшая на столе, едва освещала ее лицо, но было видно, что у нее плохо на душе.

— Отчего бы я мог перестать уважать тебя? — спросил Гуров.— Ты сама не знаешь, что говоришь.

— Пусть бог меня простит! — сказала она, и глаза у нее наполнились слезами.— Это ужасно.

— Ты точно оправдываешься.

— Чем мне оправдаться? Я дурная, низкая женщина, я себя презираю и об оправдании не думаю. Я не мужа обманула, а самое себя. И не сейчас только, а уже давно обманываю. Мой муж, быть может, честный, хороший человек, но ведь он лакей! Я не знаю, что он делает там, как служит, а знаю только, что он лакей. Мне, когда я вышла за него, было двадцать лет, меня томило любопытство, мне хотелось чего-нибудь получше; ведь есть же,— говорила я себе,— другая жизнь. Хотелось пожить! Пожить и пожить... Любопытство меня жгло... вы этого не понимаете, но, клянусь богом, я уже не могла владеть собой, со мной что-то делалось, меня нельзя было удерживать, я сказала мужу, что больна, и поехала сюда... И здесь всё ходила, как в угаре, как безумная... и вот я

стала пошлой, дрянной женщиной, которую всякий может презирать.

Гурову было уже скучно слушать, его раздражал наивный тон, это покаяние, такое неожиданное и неуместное; если бы не слезы на глазах, то можно было бы подумать, что она шутит или играет роль.

— Я не понимаю,— сказал он тихо,— что же ты хочешь?

Она спрятала лицо у него на груди и прижалась к нему.

— Верьте, верьте мне, умоляю вас...— говорила она.— Я люблю честную, чистую жизнь, а грех мне гадок, я сама не знаю, что делаю. Простые люди говорят: нечистый попутал. И я могу теперь про себя сказать, что меня попутал нечистый.

— Полно, полно...— бормотал он.

Он смотрел ей в неподвижные, испуганные глаза, целовал ее, говорил тихо и ласково, и она понемногу успокоилась, и веселость вернулась к ней; стали оба смеяться.

Потом, когда они вышли, на набережной не было ни души, город со своими кипарисами имел совсем мертвый вид, но море еще шумело и билось о берег; один баркас качался на волнах, и на нем сонно мерцал фонарик.

Нашли извозчика и поехали в Ореанду.

— Я сейчас внизу в передней узнал твою фамилию: на доске написано фон Дидериц,— сказал Гуров.— Твой муж немец?

— Нет, у него, кажется, дед был немец, но сам он православный.

В Ореанде сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман, на вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цапканы, и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства. Сидя рядом с мо-

лодой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, успокоенный и очарованный в виду этой сказочной обстановки — моря, гор, облаков, широкого неба, Гуров думал о том, как, в сущности, если вдуматься, всё прекрасно на этом свете, всё, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве.

Подошел какой-то человек — должно быть, сторож, — посмотрел на них и ушел. И эта подробность показалась такой таинственной и тоже красивой. Видно было, как пришел пароход из Феодосии, освещенный утренней зарей, уже без огней.

— Роса на траве, — сказала Анна Сергеевна после молчания.

— Да. Пора домой.

Они вернулись в город.

Потом каждый полдень они встречались на набережной, завтракали вместе, обедали, гуляли, восхищались морем. Она жаловалась, что дурно спит и что у нее тревожно бьется сердце, задавала всё одни и те же вопросы, волнуемая то ревностью, то страхом, что он недостаточно ее уважает. И часто на сквере или в саду, когда вблизи их никого не было, он вдруг привлекал ее к себе и целовал страстно. Совершенная праздность, эти поцелуи среди белого дня, с оглядкой и страхом, как бы кто не увидел, жара, запах моря и постоянное мелькание перед глазами праздных, нарядных, сытых людей точно переродили его; он говорил Анне Сергеевне о том, как она хороша, как соблазнительна, был нетерпеливо страстен, не отходил от нее ни на шаг, а она часто задумывалась и всё просила его сознаться, что он ее не уважает, несколько не любит, а только видит в ней поющую женщину. Почти каждый вечер попозже они уезжали куда-нибудь за город, в Ореанду или на водопад; и прогулка удавалась, впечатления неизменно всякий раз были прекрасны, величавы.

Ждали, что придет муж. Но пришло от него письмо, в котором он извещал, что у него разболелись глаза, и умолял жену поскорее вернуться домой. Анна Сергеевна заторопилась.

— Это хорошо, что я уезжаю, — говорила она Гурову. — Это сама судьба.

Она поехала на лошадях, и он провожал ее. Ехали

целый день. Когда она садилась в вагон курьерского поезда и когда пробили второй звонок, она говорила:

— Дайте, я погляжу на вас еще... Погляжу еще раз. Вот так.

Она не плакала, но была грустна, точно больна, и лицо у нее дрожало.

— Я буду о вас думать... вспоминать,— говорила она.— Господь с вами, оставайтесь. Не поминайте лихом. Мы навсегда прощаемся, это так нужно, потому что не следовало бы вовсе встречаться. Ну, господь с вами.

Поезд ушел быстро, его огни скоро исчезли, и через минуту уже не было слышно шума, точно всё сговорилось нарочно, чтобы прекратить поскорее это сладкое забытие, это безумие. И, оставшись один на платформе и глядя в темную даль, Гуров слушал крик кузнечиков и гудение телеграфных проволок с таким чувством, как будто только что проснулся. И он думал о том, что вот в его жизни было еще одно похождение или приключение, и оно тоже уже кончилось, и осталось теперь воспоминание... Он был растроган, грустен и испытывал легкое раскаяние; ведь эта молодая женщина, с которой он больше уже никогда не увидится, не была с ним счастлива; он был приветлив с ней и сердечен, но всё же в обращении с ней, в его тоне и ласках сквозила тенью легкая пасмешка, грубоватое высокомерие счастливого мужчины, который к тому же почти вдвое старше ее. Всё время она называла его добрым, необыкновенным, возвышенным; очевидно, он казался ей не тем, чем был на самом деле, значит, невольно обманывал ее...

Здесь на станции уже пахло осенью, вечер был прохладный.

«Пора и мне на север,— думал Гуров, уходя с платформы.— Пора!»

III

Дома в Москве уже всё было по-зимнему, топили печи, и по утрам, когда дети собирались в гимназию и пили чай, было темно, и пияя пенадолго зажигала огонь. Уже начались морозы. Когда идет первый снег, в первый день езды на санях, приятно видеть белую землю, белые крыши, дышится мягко, славно, и в это время вспоминаются юные годы. У старых лип и берез, белых от

ние, добродушное выражение, они ближе к сердцу, чем кипарисы и пальмы, и вблизи них уже не хочется думать о горах и море.

Гуров был москвич, вернулся он в Москву в хороший, морозный день, и когда падел шубу и теплые перчатки и прошелся по Петровке, и когда в субботу вечером услышал звон колоколов, то недавняя поездка и места, в которых он был, утеряли для него всё очарование. Мало-помалу он окупился в московскую жизнь, уже с жадностью прочитывал по три газеты в день и говорил, что не читает московских газет из принципа. Его уже тянуло в рестораны, клубы, на званые обеды, юбилеи, и уже ему было лестно, что у него бывают известные адвокаты и артисты и что в докторском клубе он играет в карты с профессором. Уже он мог съесть целую порцию селянки на сковородке...

Пройдет какой-нибудь месяц, и Анна Сергеевна, казалось ему, покроется в памяти туманом и только изредка будет сниться с трогательной улыбкой, как снились другие. Но прошло больше месяца, наступила глубокая зима, а в памяти всё было ясно, точно расстался он с Анной Сергеевной только вчера. И воспоминания разгорались всё сильнее. Доносились ли в вечерней тишине в его кабинет голоса детей, приготавливавших уроки, слышал ли он романс или орган в ресторане, или завывала в камине метель, как вдруг воскресало в памяти всё: и то, что было на молу, и раннее утро с туманом на горах, и пароход из Феодосии, и поцелуи. Он долго ходил по комнате и вспоминал, и улыбался, и потом воспоминания переходили в мечты, и прошедшее в воображении мнилось с тем, что будет. Анна Сергеевна не снилась ему, а шла за ним всюду, как тень, и следила за ним. Закрывши глаза, он видел ее, как живую, и она казалась красивее, моложе, нежнее, чем была; и сам он казался себе лучше, чем был тогда, в Ялте. Она по вечерам глядела на него из книжного шкапа, из каминна, из угла, он слышал ее дыхание, ласковый шорох ее одежды. На улице он провожал взглядом женщины, искал, нет ли похожей на нее...

И уже томилась сильное желание поделиться с кем-нибудь своими воспоминаниями. Но дома нельзя было говорить о своей любви, а вне дома — не с кем. Нес жильщица же и не в банке. И о чем говорить? Разве он любил

тогда? Разве было что-нибудь красивое, поэтическое, или поучительное, или просто интересное в его отношениях к Анне Сергеевне? И приходилось говорить неопределенно о любви, о женщинах, и никто не догадывался, в чем дело, и только жена шевелила своими темными бровями и говорила:

— Тебе, Дмитрий, совсем не идет роль фата.

Однажды ночью, выходя из докторского клуба со своим партнером, чиновником, он не удержался и сказал:

— Если б вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте!

Чиновник сел в сани и поехал, но вдруг обернулся и окликнул:

— Дмитрий Дмитрич!

— Что?

— А давеча вы были правы: осетрина-то с душком!

Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова, показались ему унижительными, нечистыми. Какие дикие нравы, какие лица! Что за бестолковые ночи, какие неинтересные, незаметные дни! Пенстовая игра в карты, обжорство, пьянство, постоянные разговоры всё об одном. Ненужные дела и разговоры всё об одном отхватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы, и в конце концов остается какая-то куцая, бескрылая жизнь, какая-то чепуха, и уйти и бежать нельзя, точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах!

Гуров не спал всю ночь и возмущался и затем весь день провел с головной болью. И в следующие ночи он спал дурно, всё сидел в постели и думал или ходил из угла в угол. Дети ему надоели, банк надоел, не хотелось никуда идти, ни о чем говорить.

В декабре на праздниках он собрался в дорогу и сказал жене, что уезжает в Петербург хлопотать за одного молодого человека, — и уехал в С. Зачем? Он и сам не знал хорошо. Ему хотелось повидаться с Анной Сергеевной и поговорить, устроить свидание, если можно.

Приехал он в С. утром и занял в гостинице лучший номер, где весь пол был обтянут серым солдатским сукном и была на столе чернильница, серая от пыли, со всадником на лошади, у которого была поднята рука со

шляпой, а голова отбита. Швейцар дал ему нужные сведения: фон Дидериц живет на Старо-Гончарной улице, в собственном доме — это недалеко от гостиницы, живет хорошо, богато, имеет своих лошадей, его все знают в городе. Швейцар выговаривал так: Дрыдыриц.

Гуров не сисша пошел на Старо-Гончарную, отыскал дом. Как раз против дома тянулся забор, серый, длинный, с гвоздями.

«От такого забора убежишь», — думал Гуров, поглядывая то на окна, то на забор.

Он соображал: сегодня день неприсутственный, и муж, вероятно, дома. Да и всё равно, было бы бестактно войти в дом и смутить. Если же послать записку, то она, пожалуй, попадет в руки мужу, и тогда всё можно испортить. Лучше всего положиться на случай. И он всё ходил по улице и около забора поджидал этого случая. Он видел, как в ворота вошел нищий и на него папали собаки, потом, час спустя, слышал игру на рояле, и звуки доносились слабые, неясные. Должно быть, Анна Сергеевна играла. Парадная дверь вдруг отворилась, и из нее вышла какая-то старушка, а за нею бежал знакомый белый щипс. Гуров хотел позвать собаку, но у него вдруг забилось сердце, и он от волнения не мог вспомнить, как зовут щипса.

Он ходил и всё больше и больше ненавидел серый забор, и уже думал с раздражением, что Анна Сергеевна забыла о нем и, быть может, уже развлекается с другим, и это так естественно в положении молодой женщины, которая вынуждена с утра до вечера видеть этот проклятый забор. Он вернулся к себе в номер и долго сидел на диване, не зная, что делать, потом обедал, потом долго спал.

«Как всё это глупо и беспокойно, — думал он, преснувшись и глядя на темные окна; был уже вечер. — Вот и выспался зачем-то. Что же я теперь ночью буду делать?»

Он сидел на постели, покрытой дешевым серым, точно больничным одеялом, и дразнил себя с досадой:

«Вот тебе и дама с собачкой... Вот тебе и приключенше... Вот и сиди тут».

Еще утром, на вокзале, ему бросилась в глаза афиша с очень крупными буквами: шла в первый раз «Гейша». Он вспомнил об этом и поехал в театр.

«Очень возможно, что она бывает на первых представлениях», — думал он.

Театр был полон. И тут, как вообще во всех губернских театрах, был туман повыше люстры, шумно беспокоилась галерка; в первом ряду перед началом представления стояли местные фрапты, заложив руки назад; тут, в губернаторской ложе, на первом месте сидела губернаторская дочь в боа, а сам губернатор скромно прятался за портьерой, и видны были только его руки; начался занавес, оркестр долго настраивался. Всё время, пока публика входила и занимала места, Гуров жадно искал глазами.

Вошла и Анна Сергеевна. Она села в третьем ряду, и когда Гуров взглянул на нее, то сердце у него сжалось, и он понял ясно, что для него теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее человека; она, затерявшаяся в провинциальной толпе, эта маленькая женщина, ничем не замечательная, с вульгарною лорнеткой в руках, навевляла теперь всю его жизнь, была его горем, радостью, единственным счастьем, какого он теперь желал для себя; и под звуки плохого оркестра, дрянных обывательских скрипок он думал о том, как она хороша. Думал и мечтал.

Вместе с Анной Сергеевной вошел и сел рядом молодой человек с небольшими бакенами, очень высокий, сутулый; он при каждом шаге покачивал головой и, казалось, постоянно кланялся. Вероятно, это был муж, которого она тогда в Ялте, в порыве горького чувства, обожала лакеем. И в самом деле, в его длинной фигуре, в бакенах, в небольшой лысине было что-то лакейски-скромное, улыбался он сладко, и в петлице у него блестел какой-то ученый значок, точно лакейский номер.

В первом антракте муж ушел курить, она осталась в кресле. Гуров, сидевший тоже в партере, подошел к ней и сказал дрожащим голосом, улыбаясь насильно:

— Здравствуйте.

Она взглянула на него и побледила, потом еще раз взглянула с ужасом, не веря глазам, и крепко сжала в руках вместе веер и лорнетку, очевидно, борясь с собой, чтобы не упасть в обморок. Оба молчали. Она сидела, он стоял, испуганный ее смущением, не решаясь сесть рядом. Запели настраиваемые скрипки и флейта, стало вдруг страшно, казалось, что из всех лож смотрят. Но

вот она встала и быстро пошла к выходу; он — за ней, и оба шли бестолково, по коридорам, по лестницам, то поднимаясь, то опускаясь, и мелькали у них перед глазами какие-то люди в судейских, учительских и удельных мундирах, и всё со значками; мелькали дамы, шубы на вешалках, дул сквозной ветер, обдавая запахом табачных окурков. И Гуров, у которого сильно билось сердце, думал:

«О господи! И к чему эти люди, этот оркестр...»

И в эту минуту он вдруг вспомнил, как тогда вечером на станции, проводив Анну Сергеевну, говорил себе, что всё кончилось и они уже никогда не увидятся. Но как еще далеко было до конца!

На узкой, мрачной лестнице, где было написано «Ход в амфитеатр», она остановилась.

— Как вы меня испугали! — сказала она, тяжело дыша, всё еще бледная, ошеломленная. — О, как вы меня испугали! Я едва жива. Зачем вы приехали? Зачем?

— Но поймите, Анна, поймите... — проговорил он вполголоса, торопясь. — Умоляю вас, поймите...

Она глядела на него со страхом, с мольбой, с любовью, глядела пристально, чтобы крепче задержать в памяти его черты.

— Я так страдаю! — продолжала она, не слушая его. — Я всё время думала только о вас, я жила мыслями о вас. И мне хотелось забыть, забыть, но зачем, зачем вы приехали?

Повыше, на площадке, два гимназиста курили и смотрели вниз, но Гурову было всё равно, он привлек к себе Анну Сергеевну и стал целовать ее лицо, щеки, руки.

— Что вы делаете, что вы делаете! — говорила она в ужасе, отстраняя его от себя. — Мы с вами обезумели. Уезжайте сегодня же, уезжайте сейчас... Заклинаю вас всем святым, умоляю... Сюда идут!

По лестнице снизу вверх кто-то шел.

— Вы должны уехать... — продолжала Анна Сергеевна шепотом. — Слышите, Дмитрий Дмитрич? Я приеду к вам в Москву. Я никогда не была счастлива, я теперь несчастна и никогда, никогда не буду счастлива, никогда! Не заставляйте же меня страдать еще больше! Клянусь, я приеду в Москву. А теперь расстанемся! Мой милый, добрый, дорогой мой, расстанемся!

Она пожала ему руку и стала быстро спускаться

вниз, всё оглядываясь на него, и по глазам ее было видно, что она в самом деле не была счастлива. Гуров постоял немного, прислушался, потом, когда всё утихло, отыскал свою вешалку и ушел из театра.

IV

И Анна Сергеевна стала приезжать к нему в Москву. Раз в два-три месяца она уезжала из С. и говорила мужу, что едет посоветоваться с профессором насчет своей женской болезни, — и муж верил и не верил. Приехав в Москву, она останавливалась в «Славянском базаре» и тотчас же посылала к Гурову человека в красной шапке. Гуров ходил к ней, и никто в Москве не знал об этом.

Однажды он шел к ней таким образом в зимнее утро (посыльный был у него накануне вечером и не застал). С ним шла его дочь, которую хотелось ему проводить в гимназию, это было по дороге. Валил крупный мокрый снег.

— Теперь три градуса тепла, а между тем идет снег, — говорил Гуров дочери. — Но ведь это тепло только на поверхности земли, в верхних же слоях атмосферы совсем другая температура.

— Папа, а почему зимой не бывает грома?

Он объяснил и это. Он говорил и думал о том, что вот он идет на свидание и ни одна живая душа не знает об этом и, вероятно, никогда не будет знать. У него были две жизни: одна явная, которую видели и знали все, кому это нужно было, полная условной правды и условного обмана, похожая совершенно на жизнь его знакомых и друзей, и другая — протекавшая тайно. И по какому-то странному стечению обстоятельств, быть может, случайному, всё, что было для него важно, интересно, необходимо, в чем он был искренен и не обманывал себя, что составляло зерно его жизни, происходило тайно от других, всё же, что было его ложью, его оболочкой, в которую он прятался, чтобы скрыть правду, как, например, его служба в банке, споры в клубе, его «низшая раса», хождение с женой на юбилей, — всё это было явно. И по себе он судил о других, не верил тому, что видел, и всегда предполагал, что у каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит его настоящая, самая интересная жизнь. Каждое

личное существование держится на тайне, и, быть может, отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна.

Проводив дочь в гимназию, Гуров отправился в «Славянский базар». Он снял шубу внизу, поднялся наверх и тихо постучал в дверь. Анна Сергеевна, одетая в его любимое серое платье, утомленная дорогой и ожиданием, поджидала его со вчерашнего вечера; она была бледна, глядела на него и не улыбалась, и едва он вошел, как она уже припала к его груди. Точно они не виделись года два, поцелуй их был долгий, длительный.

— Ну, как живешь там? — спросил он. — Что нового?

— Погоди, сейчас скажу... Не могу.

Она не могла говорить, так как плакала. Отвернулась от него и прижала платок к глазам.

«Ну, пускай поплачет, а я пока посижу», — подумал он и сел в кресло.

Потом он повзвонил и сказал, чтобы ему принесли чай; и потом, когда пил чай, она всё стояла, отвернувшись к окну... Она плакала от волнения, от скорбного сознания, что их жизнь так печально сложилась; они видятся только тайно, скрываются от людей, как воры! Разве жизнь их не разбита?

— Ну, перестань! — сказал он.

Для него было очевидно, что эта их любовь кончится еще не скоро, неизвестно когда. Анна Сергеевна привязывалась к нему всё сильнее, обожала его, и было бы целесообразно сказать ей, что всё это должно же иметь когда-нибудь копец; да она бы и не поверила этому.

Он подошел к ней и взял ее за плечи, чтобы приласкать, попутить, и в это время увидел себя в зеркале.

Голова его уже начинала седеть. И ему показалось странным, что он так постарел за последние годы, так подурнел. Плечи, на которых лежали его руки, были теплы и вздрагивали. Он почувствовал сострадание к этой жизни, еще такой теплой и красивой, но, вероятно, уже близкой к тому, чтобы начать блекнуть и вянуть, как его жизнь. За что она его любит так? Он всегда казался женщинам не тем, кем был, и любили они в нем не его самого, а человека, которого создавало их воображение и которого они в своей жизни жадно искали; и потом, когда замечали свою ошибку, то все-таки любили.

И ни одна из них не была с ним счастлива. Время шло, он знакомился, сходил, расставался, но ни разу не любил; было всё что угодно, но только не любовь.

И только теперь, когда у него голова стала седой, он полюбил, как следует, по-настоящему — первый раз в жизни.

Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья; им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для чего он женат, а она замужем; и точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках. Они простили друг другу то, чего стыдились в своем прошлом, прощали всё в настоящем и чувствовали, что эта их любовь изменила их обоих.

Прежде, в грустные минуты, он успокаивал себя всякими рассуждениями, какие только приходили ему в голову, теперь же ему было не до рассуждений, он чувствовал глубокое сострадание, хотелось быть искренним, нежным...

— Перестань, моя хорошая, — говорил он. — Плакала — и будет... Теперь давай поговорим, что-нибудь придумаем.

Потом они долго советовались, говорили о том, как избавиться себя от необходимости прятаться, обманывать, жить в разных городах, не видясь подолгу. Как освободиться от этих невыносимых пут?

— Как? Как? — спрашивал он, хватая себя за голову. — Как?

И казалось, что еще немного — и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается.

I

Село Уклеево лежало в овраге, так что с шоссе и со станции железной дороги видны были только колокольня и трубы ситценабивных фабрик. Когда прохожие спрашивали, какое это село, то им говорили:

— Это то самое, где дьячок на похоронах всю икру съел.

Как-то на поминках у фабриканта Костюкова старик-дьячок увидел среди закусок зернистую икру и стал есть ее с жадностью; его толкали, дергали за рукав, но он словно окоченел от наслаждения: ничего не чувствовал и только ел. Съел всю икру, а в банке было фунта четыре. И прошло уж много времени с тех пор, дьячок давно умер, а про икру всё помнили. Жизнь ли была так бедна здесь, или люди не умели подметить ничего, кроме этого неважного события, происшедшего десять лет назад, а только про село Уклеево ничего другого не рассказывали.

В нем не переводилась лихорадка и была топкая грязь даже летом, особенно под заборами, над которыми сгибались старые вербы, дававшие широкую тень. Здесь всегда пахло фабричными отбросами и уксусной кислотой, которую употребляли при выделке ситцев. Фабрики — три ситцевых и одна кожевенная — находились не в самом селе, а на краю и поодаль. Это были небольшие фабрики, и на всех их было занято около четырехсот рабочих, не больше. От кожевенной фабрики вода в речке часто становилась вонючей; отбросы заражали луг, крестьянский скот страдал от сибирской язвы, и фабрику приказано было закрыть. Она считалась закрытой, но работала тайно с ведома станового пристава и уездного врача, которым владелец платил по десяти рублей в месяц. Во всем селе было только два порядочных дома, каменных, крытых железом; в одном помещалось волостное правление, в

другом, двухэтажном, как раз против церкви, жил Цыбукин, Григорий Петров, епифанский мещанин.

Григорий держал бакалейную лавочку, но это только для вида, на самом же деле торговал водкой, скотом, кожами, хлебом в зерне, свиньями, торговал чем придется, и когда, например, за границу требовались для дамских шляп сороки, то он наживал на каждой паре по тридцати копеек; он скупал лес на сруб, давал деньги в рост, вообще был старик оборотливый.

У него было два сына. Старший, Анисим, служил в полиции, в сыском отделении, и редко бывал дома. Младший, Степан, пошел по торговой части и помогал отцу, но настоящей помощи от него не ждали, так как он был слаб здоровьем и глух; его жена Аксинья, красивая, стройная женщина, ходившая в праздники в шляпке и с зонтиком, рано вставала, поздно ложилась и весь день бегала, подобрав свои юбки и гремя ключами, то в амбар, то в погреб, то в лавку, и старик Цыбукин глядел на нее весело, глаза у него загорались, и в это время он жалел, что на ней женат не старший сын, а младший, глухой, который, очевидно, мало смыслил в женской красоте.

У старика всегда была склонность к семейной жизни, и он любил свое семейство больше всего на свете, особенно старшего сына-сыщика и невестку. Аксинья, едва вышла за глухого, как обнаружила необыкновенную деловитость и уже знала, кому можно отпустить в долг, кому нельзя, держала при себе ключи, не доверяя их даже мужу, щелкала на счетах, заглядывала лошадям в зубы, как мужик, и всё смеялась или покрикивала; и, что бы она ни делала, ни говорила, старик только умилялся и бормотал:

— Ай да невестушка! Ай да красавица, матушка...

Он был вдов, но через год после свадьбы сына не выдержал и сам женился. Ему нашли за тридцать верст от Уклеева девушку Варвару Николаевну из хорошего семейства, уже пожилую, но красивую, видную. Едва она поселилась в комнатке в верхнем этаже, как всё просветлело в доме, точно во все окна были вставлены новые стекла. Засветились лампадки, столы покрылись белыми как снег скатертями, на окнах и в палисаднике показались цветы с красными глазками, и уж за обедом ели не из одной миски, а перед каждым ставилась

тарелка. Варвара Николаевна улыбалась приятно и ласково, и казалось, что в доме всё улыбается. И во двор, чего раньше никогда не было, стали заходить нищие, странники, богомолки; слышались под окнами жалобные, певучие голоса уклевевских баб и виноватый кашель слабых, испитых мужиков, уволенных с фабрики за пьянство. Варвара помогала деньгами, хлебом, старой одеждой, а потом, обжившись, стала потаскивать и из лавки. Раз глухой видел, как она унесла две осьмушки чаю, и это его смутило.

— Тут мамаша взяли две осьмушки чаю,— сообщил он потом отцу.— Куда это записать?

Старик ничего не ответил, а постоял, подумал, шевеля бровями, и пошел наверх к жене.

— Варварушка, ежели тебе, матушка,— сказал он ласково,— понадобится что в лавке, то ты бери. Бери себе па здоровье, не сомневайся.

И на другой день глухой, пробегая через двор, крикнул ей:

— Вы, мамаша, ежели что нужно,— берите!

В том, что она подавала милостыню, было что-то новое, что-то веселое и легкое, как в лампадках и красных цветочках. Когда в загонье или в престольный праздник, который продолжался три дня, сбывали мужикам протухлую солонину с таким тяжким запахом, что трудно было стоять около бочки, и принимали от пьяных в заклад косы, шапки, женины платки, когда в грязи валялись фабричные, одурманенные плохой водкой, и грех, казалось, ступившись, уже туманом стоял в воздухе, тогда стаповилось как-то легче при мысли, что там, в доме, есть тихая, опрятная женщина, которой нет дела ни до солонины, ни до водки; милостыня ее действовала в эти тягостные, туманные дни, как предохранительный клапан в машине.

Дни в доме Цыбукина проходили в заботах. Еще солнце не всходило, а Аксинья уже фыркала, умываясь в сенях, самовар кипел в кухне и гудел, предсказывая что-то недоброе. Старик Григорий Петров, одетый в длинный черный сюртук и ситцевые брюки, в высоких ярких сапогах, такой чистенький, маленький, похаживал по комнатам и постукивал каблучками, как свекор-батюшка в известной песне. Отпирали лавку. Когда становилось светло, подавали к крыльцу бего-

вые дрожки и старик молодцевато садился на них, на-
двигая свой большой картуз до ушей, и, глядя на него,
никто не сказал бы, что ему уже 56 лет. Его провожали
жена и невестка, и в это время, когда на нем был хо-
роший, чистый сюртук и в дрожки был запряжен гро-
мадный вороной жеребец, стоивший триста рублей,
старик не любил, чтобы к нему подходили мужики со
своими просьбами и жалобами; он ненавидел мужиков и
брезговал ими, и если видел, что какой-нибудь мужик
дожидается у ворот, то кричал гневно:

— Что стал там? Проходи дальше!

Или кричал, если то был нищий:

— Бог дасть!

Он уезжал по делам; жена его, одетая в темное, в чер-
ном фартуке, убирала комнаты или помогала в кухне.
Аксинья торговала в лавке, и слышно было во дворе,
как звенели бутылки и деньги, как она смеялась или
кричала и как сердились покупатели, которых она оби-
жала; и в то же время было заметно, что там в лавке
тайная торговля водкой уже идет. Глухой тоже сидел
в лавке или, без шапки, заложив руки в карманы,
ходил по улице и рассеянно поглядывал то на избы,
то вверх на небо. Раз шесть в день в доме пили чай;
раза четыре садились за стол есть. А вечером считали
выручку и записывали, потом спали крепко.

В Уклееве все три ситцевые фабрики и квартиры
фабрикантов Хрыминых Старших, Хрыминых Млад-
ших и Костюкова были соединены телефоном. Провели
телефон и в волостное правление, но там он скоро пе-
рестал действовать, так как в нем завелись клопы и
прусаки. Волостной старшина был малограмотен и в
бумагах каждое слово писал с большой буквы, но когда
испортился телефон, то он сказал:

— Да, теперь нам без телефона будет трудно.

Хрымины Старшие постоянно ссорились с Младшими,
иногда и Младшие ссорились между собою и начинали
судиться, и тогда их фабрика не работала месяц, два,
пока они опять не мирились, и это развлекало жителей
Уклеева, так как по поводу каждой ссоры было много
разговоров и сплетен. В праздники Костюков и Хры-
мины Младшие устраивали катанье, носились по Укле-
еву и давили телят. Аксинья, шурша накрахмаленными
юбками, разодетая, прогуливалась на улице, около сво-

ей лавки; Младшие подхватывали ее и увозили как будто насильно. Тогда выезжал и старик Цыбукин, чтобы показать свою новую лошадь, и брал с собой Варвару.

Вечером, после катанья, когда ложились спать, во дворе у Младших играли на дорогой гармонике, и если была луна, то от звуков этих становилось на душе тревожно и радостно, и Уклеево уже не казалось ямой.

II

Старший сын Анисим приезжал домой очень редко, только в большие праздники, но зато часто присылал с земляками гостинцы и письма, написанные чьим-то чужим почерком, очень красивым, всякий раз на листе писчей бумаги в виде прошения. Письма были полны выражений, каких Анисим никогда не употреблял в разговоре: «Любезные папаша и мамаша, посылаю вам фунт цветочного чаю для удовлетворения вашей физической потребности».

Визу каждого письма было нацарапано, точно испорченным пером: «Анисим Цыбукин», и под этим опять тем же превосходным почерком: «Агент».

Письма читались вслух по нескольку раз, и старик, растроганный, красный от волнения, говорил:

— Вот, не захотел дома жить, пошел по ученой части. Что ж, пускай! Кто к чему приставлен.

Как-то перед масленицей пошел сильный дождь с крупой; старик и Варвара подошли к окну, чтобы посмотреть, а глядь — Анисим едет в санях со станции. Его совсем не ждали. Он вошел в комнату беспокойный и чем-то встревоженный и таким оставался потом всё время; и держал себя как-то развязно. Не спешил уезжать, и похоже было, как будто его уволили со службы. Варвара была рада его приезду; она поглядывала на него как-то лукаво, вздыхала и покачивала головой.

— Как же это такое, батюшки? — говорила она. — Этих-тех, парню уже двадцать восьмой годочек пошел, а он всё холостой разгуливает, ох-тех-те...

Из другой комнаты ее тихая, ровная речь слышалась так: «Ох-тех-те». Она стала шептаться со стариком и с Аксиньей, и их лица тоже приняли лукавое и таинственное выражение, как у заговорщиков.

Решили женить Анисима.

— Ох-тех-те!.. Младшего брата давно оженили,— говорила Варвара,— а ты всё без пары, словно петух на базаре. По-каковски это? Этих-тех, оженишься, бог даст, там как хочешь, поедешь на службу, а жена останется дома помощницей-те. Без порядку-те живешь, парень, и все порядки, вижу, забыл. Ох-тех-те, грех один с вами, с городскими.

Когда Цыбукины женились, то для них, как для богатых, выбирали самых красивых невест. И для Анисима отыскиали тоже красивую. Сам он имел неинтересную, незаметную наружность; при слабом, нездоровом сложении и при небольшом росте у него были полные, пухлые щеки, точно он надувал их; глаза не мигали, и взгляд был острый, бородка рыжая, жидкая, и, задумавшись, он всё совал ее в рот и кусал; и к тому же он часто выпивал, и это было заметно по его лицу и походке. Но когда ему сообщили, что для него уже есть невеста, очень красивая, то он сказал:

— Ну, да ведь и я тоже не кривой. Наше семейство Цыбукины, надо сказать, все красивые.

Под самым городом было село Торгуево. Одна половина его была недавно присоединена к городу, другая оставалась селом. В первой, в своем домике, проживала одна вдова; у нее была сестра, совсем бедная, ходившая на поденную работу, а у этой сестры была дочь Липа, девушка, ходившая тоже на поденку. О красоте Липы уже говорили в Торгуево, и только смущала всех ее ужасная бедность; рассуждали так, что какой-нибудь пожилой или вдовец женится, не глядя на бедность, или возьмет ее к себе «так», а при ней и мать сыта будет. Варвара узнала о Липе от свах и съездила в Торгуево.

Потом в доме тетки были устроены смотрины, как следует, с закуской и вином, и Липа была в новом розовом платье, сшитом нарочно для смотрин, и пушистая ленточка, точно пламень, светилась в ее волосах. Она была худенькая, слабая, бледная, с тонкими, нежными чертами, смуглая от работы на воздухе; грустная, робкая улыбка не сходила у нее с лица, и глаза смотрели по-детски — доверчиво и с любопытством.

Она была молода, еще девочка, с едва заметной грудью, но венчать было уже можно, так как года вышли. В самом деле она была красива, и одно только могло

в ней не правиться — это ее большие, мужские руки, которые теперь праздно висели, как две большие клешни.

— Нет приданого — и мы без внимания, — говорил старик тетке, — для сына нашего Степана мы взяли тоже из бедного семейства, а теперь не нахвалимся. Что в доме, что в деле — золотые руки.

Лица стояла у двери и как будто хотела сказать: «Делайте со мной, что хотите: я вам верю», а ее мать, Прасковья, поденщица, пряталась в кухне и замирала от робости. Когда-то, еще в молодости, один купец, у которого она мыла полы, рассердившись, затопал на нее ногами, она сильно испугалась, обомлела, и на всю жизнь у нее в душе остался страх. А от страха всегда дрожали руки и ноги, дрожали щеки. Сидя в кухне, она старалась подслушать, о чем говорят гости, и всё крестилась, прижимая пальцы ко лбу и поглядывая на образ. Анисим, слегка пьяный, отворял дверь в кухню и говорил развязно:

— Что же это вы тут сидите, мамаша драгоценная? Нам без вас скучно.

А Прасковья, оробев, прижимая руки к своей тонкой, исхудалой груди, отвечала:

— Что вы, помилуйте-с... Много вами довольны-с.

После смотрины назначили день свадьбы. Потом у себя дома Анисим всё ходил по комнатам и посвистывал или же, вдруг вспомнив о чем-то, задумывался и глядел в пол неподвижно, пронзительно, точно взглядом хотел проникнуть глубоко в землю. Он не выражал ни удовольствия от того, что женится, женится скоро, на Красной Горке, ни желанья повидаться с невестой, а только посвистывал. И было очевидно, что женится он только потому, что этого хотят отец и мачеха, и потому, что в деревне такой уж обычай: сын женится, чтобы дома была помощница. Уезжая, он не торопился и держал себя вообще не так, как в прошлые свои приезды, — был как-то особенно развязен и говорил не то, что нужно.

III

В деревне Шикаловой жили портнихи, две сестры-хлыстовки. Им были заказаны к свадьбе обновы, и они часто приходили примеривать и подолгу пили чай.

Варваре шили коричневое платье с черными кружевами и со стеклярусом, а Аксиные — светло-зеленое, с желтой грудью и со шлейфом. Когда портнихи кончили, то Цыбукин заплатил им не деньгами, а товаром из своей лавки, и они ушли от него грустные, держа в руках узелки со стеариновыми свечами и сардинами, которые были им совсем не нужны, и, выйдя из села в поле, сели на бугорок и стали плакать.

Анисим приехал за три дня до свадьбы, во всем новом. На нем были блестящие резиновые калоши и вместо галстука красный шнурок с шариками, и на плечах висело пальто, не надетое в рукава, тоже новое.

Степенно помолвившись богу, он поздоровался с отцом и дал ему десять серебряных рублей и десять полтинников; и Варваре дал столько же, Аксиные — двадцать четвертаков. Главная прелесть этого подарка была именно в том, что все монеты, как на подбор, были новенькие и сверкали на солнце. Стараясь казаться степенным и серьезным, Анисим напрягал лицо и надувал щeki, и от него пахло вином; вероятно, на каждой станции выбегал к буфету. И опять была какая-то развязность, что-то лишнее в человеке. Потом Анисим и старик пили чай и закусывали, а Варвара перебирала в руках новенькие рубли и расспрашивала про земляков, живших в городе.

— Ничего, благодарить бога, живут хорошо, — говорил Анисим. — Только вот у Ивана Егорова проществе в семейной жизни: померла его старуха Софья Пинкифоровна. От чахотки. Поминальный обед за упокой души заказывали у кондитера, по два с полтиной с персоны. И виноградное вино было. Которые мужеки, наши земляки — и за них тоже по два с полтиной. Ничего не ели. Пешто мужик понимает соус!

— Два с полтиной! — сказал старик и покачал головой.

— А что же? Там не деревня. Зайдешь в ресторан подзакусить, спросишь того-другого, компания соберется, выпьешь — ан глядишь, уже рассвет, и пожалуйте по три или по четыре рубля с каждого. А когда с Самородовым, так тот любит, чтоб после всего кофий с коньяком, а коньяк по шести гривен рюмочка-с.

— И всё врет, — проговорил старик в восхищении. — И всё врет!

— Я теперь всегда с Самородовым. Это тот самый Самородов, что вам мои письма пишет. Великолечно пишет. И если б рассказать, мамаша,— весело продолжал Анисим, обращаясь к Варваре,— какой человек есть этот самый Самородов, то вы не поверите. Мы его все Мухтаром зовем, так как он вроде армяшки — весь черный. Я его насквозь вижу, все дела его знаю вот как свои пять пальцев, мамаша, и он это чувствует и всё за мной ходит, не отстает, и нас теперь водой не разольешь. Ему как будто жутковато, но и без меня жить не может. Куда я, туда и он. У меня, мамаша, верный, правильный глаз. Глядишь на толкучке: мужик рубаху продает.— Стой, рубаха краденая! — И верно, так и выходит: рубаха краденая.

— Откуда же ты знаешь? — спросила Варвара.

— Ниоткуда, глаз у меня такой. Я не знаю, какая там рубаха, а только почему-то так меня и тянет к ней: краденая и всё тут. У нас в сыском так уж и говорят: «Ну, Анисим пошел вальдшнепов стрелять!» Это значит — искать краденое. Да... Украсть всякий может, да вот как сберечь! Велика земля, а спрятать краденое негде.

— А в нашем селе у Гунторовых на прошлой неделе угнали барана и двух ярок,— сказала Варвара и вздохнула.— И поискать некому... Ох-тех-те...

— Что ж? Поискать можно. Это ничего, можно.

Подопел день свадьбы. Это был прохладный, но ясный, веселый апрельский день. Уже с раннего утра по Уклееву разъезжали, звеня колоколами, тройки и пары с разноцветными лентами на дугах и в гривах. В вербах шумели грачи, потревоженные этой ездой, и, надсаживаясь, не умолкая, пели скворцы, как будто радуясь, что у Цыбукиных свадьба.

В доме на столах уже были длинные рыбы, окорока и птицы с начинкой, коробки со шпротами, разные соленья и маринады и множество бутылок с водкой и винами, пахло копченой колбасой и прокисшими омарами. И около столов, постукивая каблучками и точа нож о нож, ходил старик. Варвару то и дело окликали, чего-нибудь требовали, и она с растерянным видом, тяжело дыша, бегала в кухню, где с рассвета работал повар от Костюкова и белая кухарка от Хрыминых Младших. Аксинья, завитая, без платья, в корсете,

В новых скрипучих ботинках, носилась по двору как вихрь, и только мелькали ее голые колени и грудь. Было шумно, слышались брань, божба; прохожие останавливались у настежь открытых ворот, и чувствовалось во всем, что готовится что-то необыкновенное.

— За невестой поехали!

Звонки заливались и замирали далеко за деревней... В третьем часу побежал народ: опять слышались звонки, везут невесту! Церковь была полна, горело паникадило, певчие, как пожелал того старик Цыбукин, пели по нотам. Блеск огней и яркие платья ослепили Липу, ей казалось, что певчие своими громкими голосами стучат по ее голове, как молотками; корсет, который она надела первый раз в жизни, и ботинки давили ее, и выражение у нее было такое, как будто она только что очнулась от обморока, — глядит и не понимает. Аписим, в черном сюртуке, с красным шарфом вместо галстука, задумался, глядя в одну точку, и когда певчие громко вскрикивали, быстро крестился. На душе у него было умиление, хотелось плакать. Эта церковь была знакома ему с раннего детства; когда-то покойная мать приносила его сюда приобщать, когда-то он пел на клиросе с мальчиками; ему так памятен каждый уголок, каждая икона. Его вот венчают, его нужно женить для порядка, но он уж не думал об этом, как-то не помнил, забыл совсем о свадьбе. Слезы мешали глядеть на иконы, давило под сердцем; он молился и просил у бога, чтобы несчастья, немнужные, которые готовы уже разразиться над ним не сегодня-завтра, обошли бы его как-нибудь, как грозные тучи в засуху обходят деревню, не дав ни одной капли дождя. И столько грехов уже наворочено в прошлом, столько грехов, так всё невылазно, непоправимо, что как-то даже несообразно просить о прощении. Но он просил и о прощении и даже вскрикнул громко, но никто не обратил на это внимания, так как подумали, что он выпивши.

Послышался тревожный детский плач:

— Милая мамка, унеси меня отсюда, касатка!

— Тише там! — крикнул священник.

Когда возвращались из церкви, то бежал вслед народ; около лавки, около ворот и во дворе под окнами тоже была толпа. Пришли бабы величать. Едва молодые

переступили порог, как громко, изо всей силы, вскрикнули певчие, которые уже стояли в сенях со своими нотами; заиграла музыка, нарочно выписанная из города. Уже подносили донское шишучее в высоких бокалах, и подрядчик-плотник Елизаров, высокий, худоцавый старик с такими густыми бровями, что глаза были едва видны, говорил, обращаясь к молодым:

— Анисим и ты, деточка, любите друг дружку, живите по-божески, деточки, и царица небесная вас не оставит.— Он припал к плечу старика и всхлипнул.— Григорий Петров, восплачем, восплачем от радости! — проговорил он тонким голосом и тотчас же вдруг захохотал и продолжал громко, басом: — Хо-хо-хо! И это хороша у тебя невестка! Всё, значит, в пей на месте, всё гладенько, не громяхнет, вся механизма в исправности, винтов много.

Он был родом из Егорьевского уезда, но с молодых лет работал в Уклееве на фабриках и в уезде и прижился тут. Его давно уже знали старым, таким же вот толстым и длинным, и давно уже его звали Костылем. Быть может, оттого, что больше сорока лет ему приходилось заниматься на фабриках только ремонтом, — он о каждом человеке или вещи судил только со стороны прочности: не нужен ли ремонт. И прежде чем сесть за стол, он попробовал несколько стульев, прочны ли, и спина тоже потрогал.

После шишучего все стали садиться за стол. Гости говорили, двигая стульями. Пели в сенях певчие, играла музыка, и в это же время на дворе бабы величались, все в один голос, — и была какая-то ужасная, дикая смесь звуков, от которой кружилась голова.

Костыль вертелся на стуле и толкал соседей локтями, мешал говорить, и то плакал, то хохотал.

— Деточки, деточки, деточки... — бормотал он быстро.— Аксиньюшка-матушка, Варварушка, будем жить все в мире и согласии, топорики мои любезные...

Он пил мало и теперь озянул от одной рюмки английской горькой. Эта отвратительная горькая, сделанная неизвестно из чего, одурманила всех, кто пил ее, точно ушибла. Стали заплетаться языки.

Тут было духовенство, приказчики с фабрик с женами, торговцы и трактирщики из других деревень. Волостной старшина и волостной писарь, служившие

вместе уже четырнадцать лет и за всё это время не подвигавшие ни одной бумаги, не отпустившие из волостного правления ни одного человека без того, чтобы не обмануть и не обидеть, сидели теперь рядом, оба толстые, сытые, и казалось, что они уже до такой степени пропитались неправдой, что даже кожа на лице у них была какая-то особенная, мошенническая. Жена писаря, женщина исхудалая, косая, привела с собой всех своих детей и, точно хищная птица, косплась на тарелки, и хватала всё, что попадалось под руку, и прятала себе и детям в карманы.

Лица сидела окаменелая, всё с тем же выражением, как в церкви. Анисим, с тех пор как познакомился с ней, не проговорил с ней ни одного слова, так что до сих пор не знал, какой у нее голос; и теперь, сидя рядом, он всё молчал и пил английскую горькую, а когда охмелел, то заговорил, обращаясь к тетке, сидевшей напротив:

— У меня есть друг, по фамилии Самородов. Человек специальный. Личный почетный гражданин и может разговаривать. Но я его, тетенька, насквозь вижу, и он это чувствует. Позвольте с вами выпить за здоровье Самородова, тетенька!

Барвара ходила вокруг стола, угощая гостей, утомленная, растерянная, и, видимо, была довольна, что так много кушаний и всё так богато, — никто не осудит теперь. Зашло солнце, а обед продолжался; уже не понимали, что ели, что пили, нельзя было расслышать, что говорят, и только изредка, когда затихала музыка, ясно было слышно, как на дворе кричала какая-то баба:

— Насосались нашей крови, проды, нет на вас погребели!

Вечером были танцы под музыку. Приехали Хрымины Младшие со своим вином, и один из них, когда танцевали кадрили, держал в обеих руках по бутылке, а во рту рюмку, и это всех смешило. Среди кадрили пускались вдруг вприсядку; зеленая Аксиция только мелькала, и от шлейфа ее дуло ветром. Кто-то оттоптал ей внизу оборку, и Костыль крикнул:

— Эй, внизу плинтус оторвали! Деточки!

У Аксиции были серые наивные глаза, которые редко мпгали, и на лице постоянно играла наивная улыбка.

И в этих немигающих глазах, и в маленькой голове на длинной шее, и в ее стройности было что-то змеиное; зеленая, с желтой грудью, с улыбкой, она глядела, как весной из молодой ржи глядит на прохожего гадюка, вытянувшись и подняв голову. Хрымины держались с ней вольно, и заметно было очень, что со старшим из них она давно уже находилась в близких отношениях. А глухой ничего не понимал, не глядел на нее; он сидел, положив ногу на ногу, и ел орехи и раскусывал их так громко, что, казалось, стрелял из пистолета.

Но вот и сам старик Цыбукин вышел на середину и взмахнул платком, подавая знак, что и он тоже хочет плясать русскую, и по всему дому и во дворе в толпе пронесся гул одобрения:

— *Сам вышел! Сам!*

Плясала Варвара, а старик только помахивал платком и перебирал каблучками, но те, которые там, во дворе, нависая друг на друге, заглядывали в окна, были в восторге и на минуту простили ему всё — и его богатство, и обиды.

— Молодчина, Григорий Петров! — слышалось в толпе. — Так, старайся! Значит, еще можешь заниматься! Ха-ха!

Всё это кончилось поздно, во втором часу ночи. Анисим, пошатываясь, обходил на прощанье певчих и музыкантов и дарил каждому по новому полтиннику. И старик, не качаясь, а всё как-то ступая на одну ногу, провожал гостей и говорил каждому:

— Свадьба две тысячи стоила.

Когда расходились, у шикаловского трактирщика кто-то обменял хорошую поддевку на старую, и Анисим вдруг вспыхнул и стал кричать:

— Стой! Я сыщу сейчас! Я знаю, кто это украл! Стой!

Он выбежал на улицу, погнался за кем-то; его поймали, повели под руки домой и пихнули его, пьяного, красного от гнева, мокрого, в комнату, где тетка уже раздевала Липу, и заперли.

Прошло пять дней. Анисим, собравшийся уезжать, пришел наверх к Варваре, чтобы проститься. У него горели все лампы, пахло ладаном, а сама она сидела у окна и вязала чулок из красной шерсти.

— Мало с нами пожил, — сказала она. — Заскучал небось? Ох-тех-те... Живем мы хорошо, всего у нас много, и свадьбу твою сыграли порядком, правильно; старик сказывал: две тысячи пошло. Одно слово, живем, как купцы, только вот скучно у нас. Уж очень народ обижаем. Сердце мое болит, дружок, обижаем как — и боже мой! Лошадь ли меняем, покупаем ли что, работника ли нанимаем — на всем обман. Обман и обман. Постное масло в лавке горькое, тухлое, у людей деготь лучше. Да нешто, скажи на милость, нельзя хорошим маслом торговать?

— Кто к чему приставлен, мамаша.

— Да ведь умирать надо? Ой-ой, право, поговорил бы ты с отцом!..

— А вы бы сами поговорили.

— Ну! Я ему свое, а он мне, как ты, в одно слово: кто к чему приставлен. На том свете так тебе и станут разбирать, кто к чему приставлен. У бога суд праведный.

— Конечно, никто не станет разбирать, — сказал Анисим и вздохнул. — Бога-то ведь, всё равно, нет, мамаша. Чего уж там разбирать!

Варвара посмотрела на него с удивлением, и засмеялась, и всплеснула руками. Оттого, что она так искренно удивилась его словам и смотрела на него как на чудака, он смутился.

— Бог, может, и есть, а только веры нет, — сказал он. — Когда меня венчали, мне было не по себе. Как вот возьмешь из-под курицы яйцо, а в нем цыпленок пищит, так во мне совесть вдруг зашикала, и, пока меня венчали, я всё думал: есть бог! А как вышел из церкви — и ничего. Да и откуда мне знать, есть бог или нет? Нас с малолетства не тому учили, и младенец еще мать сосет, а его только одному и учат: кто к чему приставлен. Папаша ведь тоже в бога не верует. Вы как-то сказывали, что у Гунторева баранов угнали...

Я нашел: это шикаловский мужик украл; он украл, а шкурки-то у папаша... Вот вам и вера!

Анисим подмигнул глазом и покачал головой.

— И старшина тоже не верит в бога,— продолжал он,— и писарь тоже, и дьячок тоже. А ежели они ходят в церковь и посты соблюдают, так это для того, чтобы люди про них худо не говорили, и на тот случай, что может, и в самом деле страшный суд будет. Теперь так говорят, будто конец света пришел оттого, что народ ослабел, родителей не почитают и прочее. Это пустяки. Я так, мамаша, понимаю, что всё горе оттого, что совести мало в людях. Я вижу насквозь, мамаша, и понимаю. Ежели у человека рубаха краденая, я вижу. Человек сидит в трактире, и вам так кажется, будто он чай пьет и больше ничего, а я, чай-то чаем, вижу еще, что в нем совести нет. Так целый день ходишь — и ни одного человека с совестью. И вся причина, потому что не знают, есть бог или нет... Ну-с, мамаша, прощайте. Оставайтесь живы и здоровы, не поминайте лихом.

Анисим поклонился Варваре в ноги.

— Благодарим вас за всё, мамаша,— сказал он.— Нашему семейству от вас большая польза. Вы очень приличная женщина, и я вами много доволен.

Растроганный Анисим вышел, но опять вернулся и сказал:

— Меня Самородов впутал в одно дело: богат буду или пропаду. Ежели что случится, уж вы тогда, мамаша, утешьте моего родителя.

— Ну вот, что там! Ох-тех-те... Бог милостив. А ты бы, Анисим, этих-тех, жену бы свою приласкал, а то глядите друг на дружку надутые оба; хоть бы усмехнулись, право.

— Да какая-то она чудная...— сказал Анисим и вздохнул.— Не понимает ничего, молчит всё. Молода очень, пускай подрастет...

У крыльца уже стоял высокий, сытый, белый жеребец, запряженный в шарабан.

Старик Цыбукин разбежался, и сел молодцевато, и взял вожжи. Анисим поцеловался с Варварой, с Аксиной и с братом. На крыльце стояла также Липа, стояла неподвижно и смотрела в сторону, как будто вышла не провожать, а так, неизвестно зачем. Анисим подошел к ней и прикоснулся губами к ее щеке слегка, чуть-чуть.

— Прощай,— сказал он.

И она, не поглядев на него, улыбнулась как-то странно; лицо у нее задрожало, и всем почему-то стало жаль ее. Анисим тоже сел с подскоком и подбоченился, так как считал себя красивым.

Когда выезжали из оврага наверх, то Анисим всё оглядывался назад, на село. Был теплый, ясный день. В первый раз выгнали скотину, и около стада ходили девушки и бабы, одетые по-праздничному. Бурый бык ревел, радуясь свободе, и рыл передними ногами землю. Всюду, и вверху, и внизу, пели жаворонки. Анисим оглядывался на церковь, стройную, беленькую — ее недавно побелили,— и вспомнил, как пять дней назад молился в ней; оглянулся на школу с зеленой крышей, на речку, в которой когда-то купался и удил рыбу, и радость колыхнулась в груди, и захотелось, чтобы вдруг из земли выросла стена и не пустила бы его дальше и он остался бы только с одним прошлым.

На станции подошли к буфету и выпили по рюмке хересу. Старик полез в карман за кошельком, чтобы заплатить.

— Я угощаю! — сказал Анисим.

Старик в умилении похлопал его по плечу и подмигнул буфетчику: вот-де какой у меня сын.

— Остался бы ты, Анисим, дома, при деле,— сказал он,— цены бы тебе не было! Я бы тебя, сынок, озолотил с головы до ног.

— Никак нельзя, папаша.

Херес был кисловатый, пахло от него сургучом, но выпили еще по рюмке.

Когда старик вернулся со станции, то в первую минуту не узнал своей младшей невестки. Как только муж выехал со двора, Липа изменилась, вдруг повеселела. Босая, в старой, поношенной юбке, засучив рукава до плеч, она мыла в сенях лестницу и пела тонким серебристым голоском, а когда выносила большую лохань с помоями и глядела на солнце со своей детской улыбкой, то было похоже, что это тоже жаворонок.

Старый работник, который проходил мимо крыльца, покачал головой и крикнул.

— Да и невестки же у тебя, Григорий Петров, бог тебе послал! — сказал он.— Не бабы, а чистый клад!

8 июля, в пятницу, Елизаров, по прозвищу Костыль, и Липа возвращались из села Казанского, куда они ходили на богомолье, по случаю храмового праздника — Казанской божией матери. Далеко позади шла мать Липы Прасковья, которая всё отставала, так как была больна и задыхалась. Время было близко к вечеру.

— А-аа!.. — удивлялся Костыль, слушая Липу. — А-а!.. Ну-у?

— Я, Илья Макарыч, до варенья очень охотница, — говорила Липа. — Сяду себе в уголочке и всё чай пью с вареньем. Или с Варварой Николавной вместе пьем, а оне что-нибудь рассказывают чувствительное. У них варенья много — четыре банки. «Кушай, говорят, Липа, не сомпевайся».

— А-аа!... Четыре банки!

— Богато живут. Чай с белой булкой; и говядины тоже сколько хочешь. Богато живут, только страшно у них, Илья Макарыч. И-и, как страшно!

— Чего ж тебе страшно, деточка? — спросил Костыль и оглянулся, чтобы посмотреть, далеко ли отстала Прасковья.

— Первое, как свадьбу сыграли, Анисима Григорьяча боялась. Они ничего, не обижали, а только, как подойдут ко мне близко, так по всей по мне мороз, по всем косточкам. И ни одной ноченьки я не спала, всё тряслась и бога молила. А теперь Аксины боюсь, Илья Макарыч. Она ничего, всё усмехается, а только часом взглянет в окошко, а глаза у ней такие сердитые и горят зеленые, словно в хлеву у овцы. Хрымины Младние ее сбивают: «У вашего старика, говорят, есть земляца Бутёкино, десятня сорок, земляца, говорят, с песочком и вода есть, так ты, говорят, Аксиша, построй от себе кирпичный завод, и мы в долю войдем». Кирпич теперь двадцать рублей тысяча. Дело спорое. Вчерась за обедом Аксины и говорит старику: «Я, говорит, хочу в Бутёкине кирпичный завод ставить, буду сама себе купчиха». Говорит и усмехается. А Григорий Петрович с лица потемнели; видно, не понравилась. «Пока, говорят, я жив, нельзя врозь, надо всем

вместе». А она глазами метнула, зубами заскриготела...
Подали оладьи — не ест!

— А-аа!.. — удивился Костыль. — Не ест!

— И скажи, сделай милость, когда она спит! — продолжала Липа. — С полчаса проспит, а там вскочит, ходит, всё ходит, заглядывает: не сожгли б чего мужики, не украли б чего... Страшно с ней, Илья Макарыч! А Хрымины Младшие после свадьбы и спать не ложились, а поехали в город судиться; и народ болтает, будто через Аксиню всё. Два брата пообещались ей завод построить, а третий обижается, а фабрика с месяц стояла, и мой дяденька Прохор без работы по дворам корочки собирал. Ты бы, говорю, дяденька, пока что, пахать пошел или дрова пилить, что срамиться! «Отбился, говорит, я от христианской работы, ничего, говорит, не умею, Липынька!..»

Около молодой осинової рощицы остановились, чтобы отдохнуть, подождать Прасковью. Елизаров давно уже был подрядчиком, но не держал лошади, а ходил по всему уезду пешком, с одним мешочком, в котором были хлеб и лук, и шагал широко, размахивая руками. И идти с ним рядом было трудно.

У входа в рощу стоял межевой столб. Елизаров потрогал его: прочен ли. Подошла Прасковья, задыхаясь. Ее сморщенное, всегда испуганное лицо сияло счастьем: она была сегодня в церкви, как люди, потом ходила по ярмарке, пила там грушевый квас! С ней это бывало редко, и даже ей казалось теперь, будто она жила в свое удовольствие сегодня первый раз в жизни. Отдохнувши, все трое пошли рядом. Солнце уже заходило, и его лучи проникали сквозь рощу, светились на стволах. Впереди гулко раздавались голоса. Уклеевские девушки давно ушли вперед, но задержались тут в роще: вероятно, подбирали грибы.

— Эй, девки-и! — кричал Елизаров. — Эй, красотки!

В ответ слышался смех.

— Костыль идет! Костыль! Старый хрен!

И эхо тоже смеялось. Вот и роща осталась позади. Видны уже были верхушки фабричных труб, сверкнул крест на колокольне: это было село, «то самое, где дьячок на похоронах всю икру съел». Вот почти уже и дома; оставалось только спуститься в этот большой овраг. Липа и Прасковья, которые шли босиком, сели на

траву, чтобы обуться; с ними сел и подрядчик. Если взглянуть сверху, то Уклеево со своими вербами, белой церковью и речкой казалось красивым, тихим, и мешали только крыши фабричные, выкрашенные из экономии в мрачный, дикий цвет. Видна была на той стороне по скату рожь — и копны, и снопы там, сям, точно раскиданные бурей, и только что скошенная, в рядах; и овес уже поспел и теперь на солнце отсвечивал, как перламутр. Была страда. Сегодня праздник, завтра, в субботу, убирать рожь, возить сено, а потом воскресенье, опять праздник; каждый день погромывивал дальний гром; парило, похоже было на дождь, и, глядя теперь на поле, каждый думал о том, дал бы бог вовремя убраться с хлебом, и было весело и радостно, и непокойно на душе.

— Косари пынче дбологи,— сказала Прасковья.— Рубль сорок в день!

А с ярмарки из Казанского народ всё шел и шел; бабы, фабричные в новых картузах, нищие, ребята... То проезжала телега, поднимая пыль, и позади бежала непроданная лошадь, и точно была рада, что ее не продали, то вели за рога корову, которая упрячилась, то опять телега, а в ней пьяные мужики, свесив ноги. Одна старуха вела мальчика в большой шапке и в больших сапогах; мальчик изнемог от жары и тяжелых сапог, которые не давали его ногам сгибаться в коленях, но всё же изо всей силы, не переставая, дул в игрушечную трубу; уже спустились вниз и повернули в улицу, а трубу всё еще было слышно.

— А наши фабриканты что-то не в себе...— сказал Елизаров.— Беда! Костюков осерчал на меня. «Много, говорит, тесу пошло на карнизы». Как много? Сколько надо было, Василий Данилыч, столько, говорю, и пошло. Я его не с кашей ем, тес-то. «Как, говорит, ты можешь мне такие слова? Болван, такой-сякой! Не забывайся! Я, кричит, тебя подрядчиком сделал!» Эка, говорю, невидаль! Когда, говорю, не был в подрядчиках, всё равно каждый день чай пил. «Все, говорит, вы жулики...» Я смолчал. Мы на этом свете жулики, думаю, а вы на том свете будете жулики. Хо-хо-хо! На другой день отмяк. «Ты, говорит, на меня не гневайся, Макарыч, за мои слова. Ежели, говорит, я что лишнее, так ведь и то сказать, я купец первой гильдии, старше те-

бя, — ты смолчать должен». Вы, говорю, купец первой гильдии, а я плотник, это правильно. И святой Иосиф, говорю, был плотник. Дело наше праведное, богоугодное, а ежели, говорю, вам угодно быть старше, то сделайте милость, Василий Данилыч. А потом этого, после, значит, разговору, я и думаю: кто же старше? Купец первой гильдии или плотник? Стало быть, плотник, деточки!

Костыль подумал и добавил:

— Оно так, деточки. Кто трудится, кто терпит, тот и старше.

Солнце уже зашло, и над рекой, в церковной ограде и на полянах около фабрик поднимался густой туман, белый, как молоко. Теперь, когда быстро наступала темнота, мелькали внизу огни и когда казалось, что туман скрывает под собой бездонную пропасть, Липе и ее матери, которые родились нищими и готовы были прожить так до конца, отдавая другим всё, кроме своих испуганных, кротких душ, — быть может, им примерещилось на минуту, что в этом громадном, таинственном мире, в числе бесконечного ряда жизней и они сила, и они старше кого-то; им было хорошо сидеть здесь наверху, они счастливо улыбались и забыли о том, что возвращаться вниз все-таки надо.

Наконец вернулись домой. У ворот и около лавки сидели на земле косари. Обыкновенно свои уклеевские не шли к Цыбукину работать, и приходилось нанимать чужих, и теперь казалось в потемках, что сидят люди с длинными черными бородами. Лавка была отперта, и видно было в дверь, как глухой играл с мальчиком в шашки. Косари пели тихо, чуть слышно, или громко просили отдать им за вчерашний день, но им не платили, чтобы они не ушли до завтра. Старик Цыбукин, без сюртука, в жилетке, и Аксинья у крыльца под березой пили чай; и горела на столе лампа.

— Дедушка-а! — говорил за воротами косарь, как бы дразня. — Заплати хоть половину! Дедушка-а!

И тотчас же слышался смех, а потом опять пели чуть слышно... Костыль сел тоже чай пить.

— Были мы, значит, на ярмарке, — начал он рассказывать. — Гуляли, деточки, очень хорошо гуляли, слава тебе господи. И случай такой вышел, нехороший: кузнец Сашка купил табаку и дает полтинник,

значит, купцу. А полтинник фальшивый,— продолжал Костыль и оглянулся; ему хотелось говорить шёпотом, но говорил он придушенным, сиплым голосом, и всем было слышно.— А полтинник, выходит, фальшивый. Спрашивают: где взял? А это, говорит, мне Анисим Цыбукин дал. Когда, говорит, я у него на свадьбе гулял... Кликнули урядника, повели... Гляди, Петрович, как бы чего не вышло, какого разговору...

— Дедушка-а! — дразнил всё тот же голос за воротами.— Дедушка-а!

Наступило молчание.

— Ах, деточки, деточки, деточки...— быстро забормотал Костыль и встал; его одолевала дремота.— Ну, спасибо за чай, за сахар, деточки. Пора и спать. Стал уж я трухлявый, балки во мне все подгнили. Хо-хо-хо!

И, уходя, он сказал:

— Умирать, должно, пора!

И вскрикнул. Старик Цыбукин не допил своего чаю, но еще посидел, подумал; и выражение у него было такое, будто он прислушивался к шагам Костыля, бывшего уже далеко на улице.

— А Сашка-кузнец, чай, наврал,— сказала Аксинья, угадав его мысли.

Он пошел в дом и немного погодя вернулся со свертком; развернул — и блеснули рубли, совершенно новые. Он взял один, попробовал на зуб, бросил на поднос; потом бросил другой...

— Рубли-то взаправду фальшивые...— проговорил он, глядя на Аксинью и точно недоумевая.— Это те... Анисим тогда привез, его подарок. Ты, дочка, возьми,— зашептал он и сунул ей в руки сверток,— возьми, брось в колодец... Ну их! И гляди, чтоб разговору не было. Чего бы не вышло... Убирай самовар, туши огонь...

Липа и Прасковья, сидевшие в сарае, видели, как один за другим погасли огни; только наверху у Варвары светились синие и красные лампадки, и оттуда веяло покоем, довольством и неведением. Прасковья никак не могла привыкнуть к тому, что ее дочь выдана за богатого, и когда приходила, то робко жалась в сенях, улыбалась просительно, и ей высылали чаю и сахару. И Липа тоже не могла привыкнуть, и после того, как уехал муж, спала не на своей кровати, а

где придется — в кухне или сарае, и каждый день мыла полы или стирала, и ей казалось, что она на поденке. И теперь, вернувшись с богомолья, они пили чай в кухне с кухаркой, потом пошли в сарай и легли на полу между саями и стенкой. Было тут темно, пахло хомутами. Около дома погасли огни, потом слышно было, как глухой запирает лавку, как косари располагались на дворе спать. Далеко, у Хрыминых Младших, играли на дорогой гармонике... Прасковья и Липа стали засыпать.

И когда их разбудили чьи-то шаги, было уже светло от луны; у входа в сарай стояла Аксинья, держа в руках постель.

— Тут, пожалуй, прохладней...— проговорила она, потом вошла и легла почти у самого порога, и луна освещала ее всю.

Она не спала и тяжело вздыхала, разметавшись от жары, сбросив с себя почти всё — и при волшебном свете луны какое это было красивое, какое гордое животное! Прошло немного времени, и слышались опять шаги: в дверях показался старик, весь белый.

— Аксинья! — позвал он.— Ты здесь, что ли?

— Ну! — отозвалась она сердито.

— Я тебе давеча сказал, чтоб бросила деньги в колодец. Ты бросила?

— Вот еще, добро в воду бросать! Я косарям отдала...

— Ах, боже мой! — проговорил старик в изумлении и в испуге.— Озорная ты баба... Ах, боже мой!

Он всплеснул руками и ушел и, пока шел, всё что-то приговаривал. А немного погодя Аксинья села и вздохнула тяжело, с досадой, потом встала и, забрав в охапку свою постель, вышла.

— И зачем ты отдала меня сюда, маменька! — проговорила Липа.

— Замуж идти нужно, дочка. Так уж не нами положено.

И чувство безутешной скорби готово было овладеть ими. Но казалось им, кто-то смотрит с высоты неба, из синевы, оттуда, где звезды, видит всё, что происходит в Уклееве, сторожит. И как ни велико зло, всё же ночь тиха и прекрасна, и всё же в божьем мире правда есть и будет, такая же тихая и прекрасная, и всё на

земле только ждет, чтобы слиться с правдой, как лунный свет сливается с ночью.

И обе, уснувшие, прижавшись друг к другу, уснули.

VI

Давно уже пришло известие, что Анисима посадили в тюрьму за подделку и сбыт фальшивых денег. Прошли месяцы, прошло больше полугода, минула длинная зима, наступила весна, и к тому, что Анисим сидит в тюрьме, привыкли и в доме и в селе. И когда кто-нибудь проходил ночью мимо дома или лавки, то вспоминал, что Анисим сидит в тюрьме; и когда звонили на погосте, то почему-то тоже вспоминалось, что он сидит в тюрьме и ждет суда.

Казалось, будто тень легла на двор. Дом потемнел, крыша поржавела, дверь в лавке, обитая железом, тяжелая, выкрашенная в зеленый цвет, пожухла, или, как говорил глухой, «зашкорубла»; и сам старик Цыбукин потемнел как будто. Он давно уже не подстригал волос и бороды, оброс, уже садился в тарантас без подскока и не кричал нищим: «Бог дасьть!» Сила у него пошла на убыль, и это было заметно по всему. Уже и люди меньше боялись, и урядник составил в лавке протокол, хотя получал по-прежнему что следует; и три раза вызывали в город, чтобы судить за тайную торговлю вином, и дело всё откладывалось за неявкой свидетелей, и старик замучился.

Он часто ездил к сыну, нанимал кого-то, подавал кому-то прошения, пожертвовал куда-то хоругвь. Смотрителю тюрьмы, в которой сидел Анисим, он поднес серебряный подстаканник с надписью по эмали «душа меру знает» и с длинной ложечкой.

— Похлопотать-те, похлопотать-те путем некому,— говорила Варвара.— Ох-тех-те... Попросить бы кого из господ, написали бы главным начальникам... До суда бы хоть выпустили бы! Что парня томить-то!

Она тоже была огорчена, но пополнела, побелела, по-прежнему зажигала у себя лампадки и смотрела, чтобы в доме всё было чисто, и угощала гостей вареньем и яблочной пастилой. Глухой и Аксиныя торговали в лавке. Затеяли новое дело — кирпичный завод в Бутёкине, и Аксиныя ездила туда почти каждый день, в та-

рантасе; она сама правила и при встрече со знакомыми вытягивала шею, как змея из молодой ржи, и улыбалась наивно и загадочно. А Липа всё играла со своим ребенком, который родился у нее перед постом. Это был маленький ребеночек, тощенький, жалкенький, и было странно, что он кричит, смотрит и что его считают человеком и даже называют Никифором. Он лежал в люльке, а Липа отходила к двери и говорила кланаясь:

— Здравствуйте, Никифор Анисимыч!

И бежала к нему опростелю, и целовала. Потом отходила к двери, кланялась и опять:

— Здравствуйте, Никифор Анисимыч!

А он задирает свои красные ножки, и плач у него мешался со смехом, как у плотника Елизарова.

Наконец был назначен суд. Старик выехал дней за пять. Потом, слышно было, из села погнали мужиков, вызванных свидетелями; выехал и старый работник, получивший тоже повестку.

Суд был в четверг. Но прошло уже воскресенье, а старик всё не возвращался, и не было никаких известий. Во вторник перед вечером Варвара сидела у открытого окна и прислушивалась: не приедет ли старик. В соседней комнате Липа играла со своим ребенком. Она подбрасывала его на руках и говорила в восхищении:

— Ты вырастешь большо-ой, большой! Будешь ты мужи-ик, вместе на поденку пойдем! На поденку пойдем!

— Ну-у! — обиделась Варвара. — Какую там еще поденку выдумала, глупенькая? Он у нас купец будет!..

Липа зашела тихо, но немного погодя забылась и опять:

— Вырастешь большой-ой, большой, мужи-ик будешь, вместе на поденку пойдем!

— Ну-у! Заладила!

Липа с Никифором на руках остановилась в дверях и спросила:

— Маменька, отчего я его так люблю? Отчего я его жалею так? — продолжала она дрогнувшим голосом, и глаза у нее заблестели от слез. — Кто он? Какой он из себе? Легкий, как перышко, как крошечка, а люблю его, люблю, как настоящего человека. Вот он ничего не может, не говорит, а я всё понимаю, чего он своими глазочками желает.

Варвара прислушалась: донесся шум вечернего поезда, подходившего к станции. Не приехал ли старик? Она уж не слышала и не понимала, о чем говорит Липа, не помнила, как шло время, а только дрожала вся, и это не от страха, а от сильного любопытства. Она видела, как прокатила телега быстро, с грохотом, полная мужиков. Это ехали со станции возвратившиеся свидетели. С телеги, когда она катила мимо лавки, прыгнул старый работник и пошел во двор. Слышно было, как с ним во дворе поздоровались, спросили его о чем-то...

— Решение прав и всего состояния, — громко сказал он, — и в Сибирь, в каторжную работу на шесть лет.

Видно было, как из лавочки черным ходом вышла Аксинья; она только что отпускала керосин и в одной руке держала бутылку, в другой — лейку, и во рту у нее были серебряные деньги.

— А папаша где? — спросила она, шепелявя.

— На станции, — ответил работник. — «Ужо, говорит, будет потемней, тогда приеду».

И когда во дворе стало известно, что Анисим осужден в каторжные работы, кухарка в кухне вдруг заголосила, как по покойнике, думая, что этого требует приличие:

— И на кого ты нас покинул, Анисим Григорьич, соколик ясный...

Залаяли встревоженные собаки. Варвара подбежала к окошку и, заметавшись в тоске, стала кричать кухарке, изо всей силы напрягая голос:

— Бу-удет тебе, Степанида, бу-удет! Не томи, Христа ради!

Забыли поставить самовар, уже не соображали ни о чем. Только одна Липа никак не могла понять, в чем дело, и продолжала носиться с ребенком.

Когда приехал старик со станции, то его уж ни о чем не спрашивали. Он поздоровался, потом прошелся по всем комнатам молча; не ужинал.

— Похлопотать-те некому... — начала Варвара, когда они остались вдвоем. — Говорила я, чтоб господ попросить, — не послушали тогда... Прощение бы...

— Хлопотал я! — сказал старик и махнул рукой: —

Как Анисима осудили, я к тому барину, что его защищал. «Ничего, говорит, теперь нельзя, поздно». И сам Анисим так говорит: поздно. А всё ж я, как вышел из суда, одного адвоката договорил; задаток ему дал... Погожу еще недельку, а там опять поеду. Что бог даст.

Старик опять молча прошелся по всем комнатам, и когда вернулся к Варваре, то сказал:

— Должно, нездоров я. В голове того... туманится. Мысли мутятся.

Он затворил дверь, чтобы не услышала Липа, и продолжал тихо:

— С деньгами у меня нехорошо. Помнишь, Анисим перед свадьбой на Фоминой привез мне новых рублей и полтинников? Сверточек-то один я тогда спрятал, а прочие какие я смешал со своими... И когда-то, царствие небесное, жив был дядя мой, Дмитрий Филатыч, всё, бывало, за товаром ездил то в Москву, то в Крым. Была у него жена, и эта самая жена, пока он, значит, за товаром ездил, с другими гуляла. Шестеро детей было. И вот, бывало, дяденька, как выпьет, то смеется: «Никак, говорит, я не разберу, где тут мои дети, а где чужие». Легкий характер, значит. Так и я теперь не разберу, какие у меня деньги настоящие и какие фальшивые. И кажется, что они все фальшивые.

— Ну вот, бог с тобой!

— Покупаю на вокзале билет, даю три рубля, и думается мне, будто они фальшивые. И страшно мне. Должно, нездоров.

— Что говорить, все под богом ходим... Ох-техте... — проговорила Варвара и покачала головой. — Надо б об этом подумать бы, Петрович... Неровен час, что случится, человек ты немолодой. Помрешь, и гляди, без тебя б внучка не обидели. Ой, боюсь, обидят они Никифора, обидят! Отца, считай так, уже нет, мать молодая, глупая... Записал бы ты на него, на мальчишку-то, хоть землю, Бутёкино-то это, Петрович, право! Подумай! — продолжала убеждать Варвара. — Мальчик-то хорошенький, жалко! Вот завтра поезжай и напиши бумагу. Чего ждать?

— А я забыл про внучка-то... — сказал Цыбукин. — Надо поздороваться. Так ты говоришь: мальчик ничего? Ну, что ж, пускай растёт. Дай бог!

Он отворил дверь и согнутым пальцем поманил к себе Липу. Она подошла к нему с ребенком на руках.

— Ты, Липынька, если что нужно, спрашивай,— сказал он.— И что захочешь, кушай, мы не жалесм, была бы здорова...— Он перекрестил ребенка.— И внучка береги. Сына нет, так внучек остался.

Слезы потекли у него по щекам; он всхлипнул и отошел. Немного погодя он лег спать и уснул крепко, после семи бессонных ночей.

VII

Старик уезжал ненадолго в город. Кто-то рассказал Аксинье, что он ездил к нотариусу, чтобы писать завещание, и что Бутёкино, то самое, на котором она жгла кирпич, он завещал внуку Никифору. Об этом ей сообщили утром, когда старик и Варвара сидели около крыльца под березой и пили чай. Она заперла лавку с улицы и со двора, собрала все ключи, какие у нее были, и швырнула их к ногам старика.

— Не стану я больше работать на вас! — крикнула она громко и вдруг зарыдала.— Выходит, я у вас не невестка, а работница! Весь народ смеется: «Гляди, говорят, Цыбукины какую себе работницу нашли!» Я у вас не нанималась! Я не нищая, не хамка какая, есть у меня отец и мать.

Она, не утирая слез, устремила на старика глаза, залитые слезами, злобные, косые от гнева; лицо и шея у нее были красны и напряжены, так как кричала она изо всей силы.

— Не желаю я больше служить! — продолжала она.— Замучилась! Как работа, как в лавке сидеть день-деньской, по ночам шмыгать за водкой — так это мне, а как землю дарить — так это каторжанке с ее чертенком! Она тут хозяйка, барыня, а я у ней прислуга! Всё отдайте ей, арестантке, пусть подавится, я уйду домой! Найдите себе другую дуру, проды окаянные!

Старик ни разу в жизни не бранил и не наказывал детей и не допускал даже мысли, чтобы кто-нибудь из семейства мог говорить ему грубые слова или держать себя непочтительно; и теперь он очень испугался, по-

бежал в дом и спрятался там за шкафом. А Варвара так оторопела, что не могла подняться с места, а только отмахивалась обеими руками, точно оборонялась от пчелы.

— Ой, что ж это, батюшки? — бормотала она в ужасе. — Что ж это она кричит? Ох-тех-те... Народ-то услышит! Потихе бы... Ой, потихе бы!

— Отдали каторжанке Бутёкино, — продолжала Аксинья кричать, — отдайте ей теперь всё, — мне от вас ничего не надо! Провались вы! Все вы тут одна шайка! Нагляделась я, будет с меня! Грабили и прохожих, и проезжих, разбойники, грабили старого и малого! А кто водку продавал без патента? А фальшивые деньги? Понабили себе сундуки фальшивыми деньгами — и теперь уж я не нужна стала!

Около настежь открытых ворот уже собралась толпа и смотрела во двор.

— Пускай народ глядит! — кричала Аксинья. — Я вас осрамлю! Вы у меня сгорите со срама! Вы у меня в ногах павалаетесь! Эй, Степан! — позвала она глухого. — Поедем в одну минуту домой! К моему отцу, к матери поедем, с арестантами я не хочу жить! Собирайся!

Во дворе на протянутых веревках висело белье; она срывала свои юбки и кофточки, еще мокрые, и бросала их на руки глухому. Потом, разъяренная, она металась по двору около белья, срывала всё, и то, что было не ее, бросала на землю и топтала.

— Ой, батюшки, уймите ее! — стонала Варвара. — Что же она такое? Отдайте ей Бутёкино, отдайте ради Христа небесного!

— Ну, ба-а-ба! — говорили у ворот. — Вот так ба-а-ба! Расходилась — страсть!

Аксинья вбежала в кухню, где в это время была стирка. Стирала одна Липа, а кухарка пошла на реку полоскать белье. От корыта и котла около плиты шел пар, и в кухне было душно и тускло от тумана. На полу была еще куча немытого белья, и около него на скамье, задирая свои красные ножки, лежал Никифор, так что если бы он упал, то не ушибся бы. Как раз, когда Аксинья вошла, Липа вынула из кучи ее сорочку и положила в корыто, и уже протянула руку к большому ковшу с кипятком, который стоял на столе...

— Отдай сюда! — проговорила Акси́нья, глядя на нее с ненавистью, и выхватила из корыта сорочку. — Не твое это дело мое белье трогать! Ты арестантка и должна знать свое место, кто ты есть!

Липа глядела на нее, оторопев, и не понимала, по вдруг уловила взгляд, какой та бросила на ребенка, и вдруг поняла, и вся помертвела...

— Взяла мою землю, так вот же тебе!

Сказавши это, Акси́нья схватила ковш с кипятком и плеснула на Никифора.

После этого послышался крик, какого еще никогда не слышали в Уклееве, и не верилось, что небольшое, слабое существо, как Липа, может кричать так. И на дворе вдруг стало тихо. Акси́нья прошла в дом, молча, со своей прежней наивной улыбкой... Глухой всё ходил по двору, держа в охапке белье, потом стал развешивать его опять, молча, не спеша. И пока не вернулась кухарка с реки, никто не решался войти в кухню и взглянуть, что там.

VIII

Никифора свезли в земскую больницу, и к вечеру он умер там. Липа не стала дожидаться, когда за ней придут, а завернула покойника в одеяльце и понесла домой.

Больница, новая, недавно построенная, с большими окнами, стояла высоко на горе; она вся светилась от заходившего солнца и, казалось, горела внутри. Внизу был поселок. Липа спустилась по дороге и, не доходя до поселка, села у маленького пруда. Какая-то женщина привела лошадь поить, и лошадь не пила.

— Чего же тебе еще? — говорила женщина тихо, в недоумении. — Чего же тебе?

Мальчик в красной рубахе, сидя у самой воды, мыл отцовские сапоги. И больше ни души не было видно ни в поселке, ни на горе.

— Не пьет... — сказала Липа, глядя на лошадь.

Но вот женщина и мальчик с сапогами ушли, и уже никого не было видно. Солнце легло спать и укрылось багряной золотой парчой, и длинные облака, красные и лиловые, сторожили его покой, протянувшись по небу. Где-то далеко, неизвестно где, кричала высь, точно корова, запертая в сарае, заунивно и глухо.

Крик этой танственной птицы слышали каждую весну, но не знали, какая она и где живет. Наверху в больнице, у самого пруда в кустах, за поселком и кругом в поле заливались соловьи. Чьи-то года считала кукушка и всё сбивалась со счета, и опять начинала. В пруде сердито, надрываясь, перекликались лягушки, и даже можно было разобрать слова: «И ты такова! И ты такова!» Какой был шум! Казалось, что все эти твари кричали и цели нарочно, чтобы никто не спал в этот весенний вечер, чтобы все, даже сердитые лягушки, дорожили и наслаждались каждой минутой: ведь жизнь дается только один раз!

На небе светил серебряный полумесяц, было много звезд. Липа не помнила, как долго она сидела у пруда, но когда встала и пошла, то в поселке все уже спали и не было ни одного огня. До дома было, вероятно, верст двенадцать, но сил не хватало, не было соображения, как идти; месяц блестел то спереди, то справа, и кричала всё та же кукушка, уже осипшим голосом, со смехом, точно дразнила: ой, гляди, собьешься с дороги! Липа шла быстро, потеряла с головы платок... Она глядела на небо и думала о том, где теперь душа ее мальчика: идет ли следом за ней или носится там вверху, около звезд, и уже не думает о своей матери? О, как одиноко в поле ночью, среди этого пения, когда сам не можешь петь, среди непрерывных криков радости, когда сам не можешь радоваться, когда с неба смотрит месяц, тоже одинокий, которому всё равно — весна теперь или зима, живы люди или мертвы... Когда на душе горе, то тяжело без людей. Если бы с ней была мать, Прасковья, или Костыль, или кухарка, или какой-нибудь мужик!

— Бу-у! — кричала выпь. — Бу-у!

И вдруг ясно послышалась человеческая речь:

— Запрягай, Бавила!

Впереди, у самой дороги, горел костер; пламени уже не было, светились одни красные уголья. Слышно было, как жевали лошади. В потемках обозначились две подводы — одна с бочкой, другая пониже, с мешками, и два человека: один вел лошадь, чтобы запрягать, другой стоял около костра неподвижно, заложив назад руки. Заворчала около подводы собака. Тот, который вел лошадь, остановился и сказал:

— Словно кто идет по дороге.

— Шарик, молчи! — крикнул другой на собаку.
И по голосу можно было понять, что этот другой был старик, Липа остановилась и сказала:

— Бог в помощь!

Старик подошел к ней и ответил не сразу:

— Здравствуй!

— Ваша собачка не порвет, дедушка?

— Ничего, иди. Не тронет.

— Я в больнице была, — сказала Липа, помолчав. — Сыночек у меня там помер. Вот домой несу.

Должно быть, старику было неприятно слышать это, потому что он отошел и проговорил торопливо:

— Это ничего, милая. Божья воля. Копаешься, парень! — сказал он, обернувшись к спутнику. — Ты бы поживей.

— Твоей дуги нету, — сказал парень. — Не видать.

— Прямой ты Вавила.

Старик поднял уголек, раздул — осветились только его глаза и нос, потом, когда отыскали дугу, подошел с огнем к Липе и взглянул на нее; и взгляд его выражал сострадание и нежность.

— Ты мать, — сказал он. — Всякой матери свое дитё жалко.

И при этом вздохнул и покачал головой. Вавила бросил что-то на огонь, притоптал — и тотчас же стало очень темно; видение исчезло, и по-прежнему было только поле, небо со звездами, да шумели птицы, мешая друг другу спать. И коростель кричал, казалось, на том самом месте, где был костер.

Но прошла минута, и опять были видны и подводы, и старик, и длинный Вавила. Телеги скрипели, выезжая на дорогу.

— Вы святые? — спросила Липа у старика.

— Нет. Мы из Фирсанова.

— Ты давеча взглянул на меня, а сердце мое помятчило. И парень тихий. Я и подумала: это, должно, святые.

— Тебе далече ли?

— В Уклеево.

— Садись, подвезем до Кузьменок. Тебе там прямо, нам влево.

Вавила сел на подводку с бочкой, старик и Липа сели на другую. Поехали шагом, Вавила впереди.

— Мой сыночек весь день мучился, — сказала Липа. — Глядит своими глазочками и молчит, и хочет сказать и не может. Господи батюшка, царица небесная! Я с горя так всё и падала на пол. Стою и упаду возле кровати. И скажи мне, дедушка, зачем маленькому перед смертью мучиться? Когда мучается большой человек, мужик или женщина, то грехи прощаются, а зачем маленькому, когда у него нет грехов? Зачем?

— А кто ж его знает! — ответил старик.

Проехали с полчаса молча.

— Всего знать нельзя, зачем да как, — сказал старик. — Птице положено не четыре крыла, а два, потому что и на двух лететь способно; так и человеку положено знать не всё, а только половину или четверть. Сколько надо ему знать, чтоб прожить, столько и знает.

— Мне, дедушка, идти пешком легче. А теперь сердце трясется.

— Ничего. Сиди.

Старик зевнул и перекрестил рот.

— Ничего... — повторил он. — Твое горе с полгоря. Жизнь долгая — будет еще и хорошего, и дурного, всего будет. Велика матушка Россия! — сказал он и поглядел в обе стороны. — Я во всей России был и всё в ней видел, и ты моему слову верь, милая. Будет и хорошее, будет и дурное. Я ходоком в Сибирь ходил, и на Амуре был, и на Алтае, и в Сибирь переселился, землю там пахал, соскучился потом по матушке России и назад вернулся в родную деревню. Назад в Россию пешком шли; и помню, плывем мы на пароме, а я худой-худой, рваный весь, босой, озяб, сосу корку, а проезжий господин тут какой-то на пароме, — если помер, то царство ему небесное, — глядит на меня жалостно, слезы текут. «Эх, говорит, хлеб твой черный, дни твои черные...» А домой приехал, как говорится, ни кола, ни двора; баба была, да в Сибири осталась, закопали. Так, в батраках живу. А что ж? Скажу тебе: потом было и дурное, было и хорошее. Вот и помирать не хочется, милая, еще бы годочков двадцать пожил; значит, хорошего было больше. А велика матушка Россия! — сказал он и опять посмотрел в стороны и оглянулся.

— Дедушка,— спросила Липа,— когда человек померет, то сколько дней его душа потом по земле ходит?

— А кто ж его знает! Вот спросим Вавилу — он в школу ходил. Теперь всему учат. Вавила! — позвал старик.

— А!

— Вавила, как человек померет, сколько дней его душа по земле ходит?

Вавила остановил лошадь и тогда уж ответил:

— Девять дён. Мой дядя Кирилла помер, так его душа в избе нашей жила потом тринадцать дён.

— Почему ты знаешь?

— Тринадцать дён в печке стучало.

— Ну, ладно. Трогай,— сказал старик, и видно было, что ничему этому он не верил.

Около Кузьменок подводы свернули на шоссе, а Липа пошла дальше. Уже светало. Когда она спускалась в овраг, то уклеевские избы и церковь прятались в тумане. Было холодно, и казалось ей, что кричит всё та же кукушка.

Когда Липа вернулась домой, то скотины еще не выгоняли; все спали. Она сидела на крыльце и ждала. Первый вышел старик; он сразу, с первого взгляда понял, что произошло, и долго не мог выговорить ни слова и только чмокал губами.

— Эх, Липа,— проговорил он,— не уберегла ты внучка...

Разбудили Варвару. Она всплеснула руками и зарыдала и тотчас же стала убирать ребенка.

— И мальчик-то был хорошенечкий...— приговаривала она.— Ох-тех-те... Один был мальчик, и того не уберегла, глушенькая...

Служили панихиду утром и вечером. На другой день хоронили, и после похорон гости и духовенство ели много и с такою жадностью, как будто давно не ели. Липа прислуживала за столом, и батюшка, подняв вилку, на которой был соленый рыжик, сказал ей:

— Не горюйте о младенце. Таковых есть царствие небесное.

И только когда все разошлись, Липа поняла, как следует, что Никифора уже нет и не будет, поняла и зарыдала. И она не знала, в какую комнату идти ей, чтобы

рыдать, так как чувствовала, что в этом доме после смерти мальчика ей уже нет места, что она тут ни при чем, лишняя; и другие это тоже чувствовали.

— Ну, что голосишь там? — крикнула вдруг Аксинья, показываясь в дверях; по случаю похорон она была одета во всё новое и напудрилась. — Замолчи!

Липа хотела перестать, но не могла, и зарыдала еще громче.

— Слышишь? — крикнула Аксинья и в сильном гневе топнула ногой. — Кому говорю? Пошла вон со двора, и чтоб поги твоей тут не было, каторжанка! Вон!

— Ну, ну, ну!.. — засуетился старик. — Аксиота, угомонись, матушка... Плачет, понятное дело... дитё померло...

— Понятное дело... — передразнила его Аксинья. — Пускай переночует, а завтра чтобы и духу ее тут не было! Понятное дело!.. — передразнила она еще раз и, засмеявшись, направилась в лавку.

На другой день рано утром Липа ушла в Торгуево к матери.

IX

В настоящее время крыша на лавке и дверь выкрашены и блестят как новые, на окнах по-прежнему цветет веселенькая герань, и то, что происходило три года назад в доме и во дворе Цыбукина, уже почти забыто.

Хозяином считается, как и тогда, старик Григорий Петрович, на самом же деле всё перешло в руки Аксињи; она и продает, и покупает, и без ее согласия ничего нельзя сделать. Кирпичный завод работает хорошо; оттого, что требуют кирпич на железную дорогу, цена его дошла до двадцати четырех рублей за тысячу; бабы и девки возят на станцию кирпич и нагружают вагоны и получают за это по четвертаку в день.

Аксинья вошла в долю с Хрымиными, и их фабрика теперь называется так: «Хрымины Младшие и К^о». Открыли около станции трактир, и уже играют на дорожной гармонике не на фабрике, а в этом трактире, и сюда часто ходит начальник почтового отделения, который тоже завел какую-то торговлю, и начальник станции тоже. Глухому Степану Хрымины Младшие подарили золотые часы, и он то и дело вынимает их из кармана и подносит к уху.

В селе говорят про Аксипию, что она забрала большую силу; и правда, когда она утром едет к себе на завод, с паивной улыбкой, красивая, счастливая, и когда потом распоряжается на заводе, то чувствуется в ней большая сила. Ее все боятся и дома, и в селе, и на заводе. Когда она приходит на почту, то начальник почтового отделения вскакивает и говорит ей:

— Покорнейше прошу садиться, Ксения Абрамовна!

Один помещик, щеголь, в поддевке из тонкого сукна и в высоких лакированных сапогах, уже пожилой, как-то, продавая ей лошадь, так увлекся разговором с ней, что уступил ей, сколько она пожелала. Он долго держал ее за руку и, глядя ей в ее веселые, лукавые, наивные глаза, говорил:

— Для такой женщины, как вы, Ксения Абрамовна, я готов сделать всякое удовольствие. Только скажите, когда мы можем увидеться, чтобы нам никто не помешал?

— Да когда вам угодно!

И после этого пожилой щеголь заезжает в лавочку почти каждый день, чтобы выпить пива. А пиво ужасное, горькое, как полынь. Помещик мотает головой, но пьет.

Старик Цыбукин уже не вмешивается в дела. Он не держит при себе денег, потому что никак не может отличить настоящих от фальшивых, но молчит, никому не говорит об этой своей слабости. Он стал как-то забывчив, и если не дать ему поесть, то сам он не спросит; уже привыкли обедать без него, и Варвара часто говорит:

— А наш вчерась опять лег не евши.

И говорит равнодушно, потому что привыкла. Почему-то и летом и зимой одинаково он ходит в шубе и только в очень жаркие дни не выходит, сидит дома. Обыкновенно, падевши шубу и подняв воротник, запахнувшись, он гуляет по деревне, по дороге на станцию, или сидит с утра до вечера на лавочке около церковных ворот. Сидит и не пошевеливается. Прохожие кланяются ему, но он не отвечает, так как по-прежнему не любит мужиков. Когда его спрашивают о чем-нибудь, то он отвечает вполне разумно и вежливо, но кратко.

В селе идут разговоры, будто невестка выгнала его из собственного дома и не дает ему есть и будто он кормится подающими; одни рады, другие жалеют.

Варвара еще больше пополнела и побелела, и по-

прежнему творит добрые дела, и Аксинья не мешает ей. Варенья теперь так много, что его не успевают съесть до новых ягод; оно засахаривается, и Варвара чуть не плачет, не зная, что с ним делать.

Об Анисиме стали забывать. Как-то пришло от него письмо, написанное в стихах, на большом листе бумаги в виде прошения, всё тем же великолепным почерком. Очевидно, и его друг Самородов отбывал с ним вместе наказание. Под стихами была написана некрасивым, едва разборчивым почерком одна строчка: «Я всё болею тут, мне тяжело, помогите ради Христа».

Однажды — это было в ясный осенний день, перед вечером — старик Цыбукин сидел около церковных ворот, подняв воротник своей шубы, и виден был только его нос и козырек от фуражки. На другом конце длинной лавки сидел подрядчик Елизаров и рядом с ним школьный сторож Яков, старик лет семидесяти, без зубов. Костыль и сторож разговаривали.

— Дети должны кормить стариков, поить... чти отца твоего и мать, — говорил Яков с раздражением, — а она, невестка-то, выгнала свекра из собственного дома. Старик ни поесть, ни попить — куда пойдет? Третий день не евши.

— Третий день! — удивился Костыль.

— Вот так сидит, всё молчит. Ослаб. А чего молчать? Подать в суд, — ее б в суде не похвалили.

— Кого в суде хвалили? — спросил Костыль, не расслышав.

— Чего?

— Баба ничего, старательная. В ихнем деле без этого нельзя... без греха то есть...

— Из собственного дома, — продолжал Яков с раздражением. — Наживи свой дом, тогда и гони. Эка, наплась какая, подумаешь! Я-аз-ва!

Цыбукин слушал и не шевелился.

— Собственный дом или чужой, всё равно, лишь бы тепло было да бабы не ругались... — сказал Костыль и засмеялся. — Когда в молодых летах был, я очень свою Настасью жалел. Бабочка была тихая. И, бывало, всё: «Купи, Макарыч, дом! Купи, Макарыч, дом! Купи, Макарыч, лошадь!» Умирала, а всё говорила: «Купи, Макарыч, себе дрожки-бегунцы, чтоб пеши не ходить». А я только пряники ей покупал, больше ничего.

— Муж-то глухой, глупый,— продолжал Яков, не слушая Костыля,— так, дурак-дураком, всё равно, что гусь. Нешто он может понимать? Ударь гуся по голове палкой — и то не поймет.

Костыль встал, чтобы идти домой на фабрику. Яков тоже встал, и оба пошли вместе, продолжая разговаривать. Когда они отошли шагов на пятьдесят, старик Цыбукин тоже встал и поплелся за ними, ступая нерешительно, точно по скользкому льду.

Село уже тонуло в вечерних сумерках, и солнце блесело только вверху на дороге, которая змеей бежала по скату снизу вверх. Возвращались старухи из леса и с ними ребята; несли корзины с волнушками и груздями. Шли бабы и девки толпой со станции, где они нагружали вагоны кирпичом, и носы и щеки под глазами у них были покрыты красной кирпичной пылью. Они пели. Впереди всех шла Липа и пела тонким голосом, и заливалась, глядя вверх на небо, точно торжествуя и восхищаясь, что день, слава богу, кончился и можно отдохнуть. В толпе была ее мать, поденщица Прасковья, которая шла с узелком в руке и, как всегда, тяжело дышала.

— Здравствуй, Макарыч! — сказала Липа, увидев Костыля.— Здравствуй, голубчик!

— Здравствуй, Липынька! — обрадовался Костыль.— Бабочки, девочки, полюбите богатого плотника! Хо-хо! Деточки мои, деточки (Костыль всхлипнул). Топорики мои любезные.

Костыль и Яков прошли дальше, и было слышно, как они разговаривали. Вот после них встретился толпе старик Цыбукин, и стало вдруг тихо-тихо. Липа и Прасковья немножко отстали, и, когда старик поравнялся с ними, Липа поклонилась низко и сказала:

— Здравствуйте, Григорий Петрович!

И мать тоже поклонилась. Старик остановился и, ничего не говоря, смотрел на обеих; губы у него дрожали и глаза были полны слез. Липа достала из узелка у матери кусок пирога с кашей и подала ему. Он взял и стал есть.

Солнце уже совсем зашло; блеск его погас и вверху на дороге. Становилось темно и прохладно. Липа и Прасковья пошли дальше и долго потом крестились.

I

— Что писать? — спросил Егор и умокнул перо. Василиса не виделась со своею дочерью уже четыре года. Дочь Ефимья после свадьбы уехала с мужем в Петербург, прислала два письма и потом как в воду канула; ни слуху ни духу. И доила ли старуха корову на рассвете, топила ли печку, дремала ли ночью — и всё думала об одном: как-то там Ефимья, жива ли. Надо бы послать письмо, но старик писать не умел, а попросить было некого.

Но вот пришли святки, и Василиса не вытерпела и пошла в трактир к Егору, хозяйкиному брату, который, как пришел со службы, так и сидел всё дома, в трактире, и ничего не делал; про него говорили, что он может хорошо писать письма, ежели ему заплатит как следует. Василиса поговорила в трактире с кухаркой, потом с хозяйкой, потом с самим Егором. Сошлись на пятиалтынном.

И теперь — это происходило на второй день праздника в трактире, в кухне — Егор сидел за столом и держал перо в руке. Василиса стояла перед ним, задумавшись, с выражением заботы и скорби на лице. С нею пришел и Петр, ее старик, очень худой, высокий, с коричневой лысиной; он стоял и глядел неподвижно и прямо, как слепой. На плите в кастрюле жарилась свинина; она шипела и фыркала и как будто даже говорила: «Флю-флю-флю». Было душно.

— Что писать? — спросил опять Егор.

— Чего! — сказала Василиса, глядя на него сердито и подозрительно. — Не гони! Небось не задаром выйдешь, за деньги! Ну, пиши. Любезному нашему зятю Андрею Хрисанфычу и единственной нашей любимой дочери Ефимье Петровне с любовью низкий поклон и благословение родительское навеки нерушимо.

— Есть. Стреляй дальше.

— А еще поздравляем с праздником Рождества Христова, мы живы и здоровы, чего и вам желаем от господа... царя небесного.

Василиса подумала и переглянулась со стариком.

— Чего и вам желаем от господа... царя небесного... — повторила она и заплакала.

Больше ничего она не могла сказать. А раньше, когда она по ночам думала, то ей казалось, что всего не поместить и в десяти письмах. С того времени, как уехали дочь с мужем, утекло в море много воды, старики жили, как сироты, и тяжело вздыхали по ночам, точно похоронили дочь. А сколько за это время было в деревне всяких происшествий, сколько свадеб, смертей! Какие были длинные зимы! Какие длинные ночи!

— Жарко! — проговорил Егор, расстегивая жилет. — Должно, градусов семьдесят будить. Что же еще? — спросил он.

Старики молчали.

— Чем твой зять там занимается? — спросил Егор.

— Он из солдат, батюшка, тебе известно, — ответил слабым голосом старик. — В одно время с тобой со службы пришел. Был солдат, а теперь, значит, в Петербурге в водоцелебном заведении. Доктор больных водой пользует. Так он, значит, у доктора в швейцарах.

— Вот тут написано... — сказала старуха, вынимая из платочка письмо. — От Ефимьи получили, еще бог знает когда. Может, их уж и на свете нет.

Егор подумал немного и стал быстро писать.

«В настоящее время, — писал он, — как судьба ваша через себе определила на Военное Попрыще, то мы Вам советуем заглянуть в Устав Дисциплинарных Взысканий и Уголовных Законов Военного Ведомства, и Вы усмотрите в оном Законе цивилизацию Чинов Военного Ведомства».

Он писал и прочитывал вслух написанное, а Василиса соображала о том, что надо бы написать, какая в прошлом году была нужда, не хватило хлеба даже до святок, пришлось продать корову. Надо бы попросить денег, надо бы написать, что старик часто похварывает и скоро, должно быть, отдаст богу душу... Но как выразить это на словах? Что сказать прежде и что после?

«Обратите внимание, — продолжал Егор писать, — в 5 томе Военных Постановлений. Солдат есть Имя общее,

Знаменитое. Солдатом называется Первейший Генерал и последней Рядовой...»

Старик пошевелил губами и сказал тихо:

— Внучат поглядеть, оно бы ничего.

— Каких внучат? — спросила старуха и поглядела на него сердито. — Да, может, их и нету!

— Внучат-то? А может, и есть. Кто их знает!

«И поэтому Вы можете судить, — торопился Егор, — какой есть враг Иноземный и какой Внутренний. Первейший наш Внутренний Враг есть: Бахус».

Перо скрипело, выделывая на бумаге завитушки, похожие на рыболовные крючки. Егор спешил и прочитывал каждую строчку по нескольку раз. Он сидел на табурете, раскинув широко ноги под столом, сытый, здоровый, мордатый, с красным затылком. Это была сама пошлость, грубая, надменная, непобедимая, гордая тем, что она родилась и выросла в трактире, и Василиса хорошо понимала, что тут пошлость, но не могла выразить на словах, а только глядела на Егора сердито и подозрительно. От его голоса, непонятных слов, от жара и духоты у нее разболелась голова, запутались мысли, и она уже ничего не говорила, не думала и ждала только, когда он кончит скрипеть. А старик глядел с полным доверием. Он верил и старухе, которая его привела сюда, и Егору; и когда упомянул давеча о водолечебном заведении, то видно было по лицу, что он верил и в заведение, и в целебную силу воды.

Кончив писать, Егор встал и прочел всё письмо сначала. Старик не понял, но доверчиво закивал головой.

— Ничего, гладко... — сказал он, — дай бог здоровья. Ничего...

Положили на стол три пятака и вышли из трактира; старик глядел неподвижно и прямо, как слепой, и на лице его было написано полное доверие, а Василиса, когда выходила из трактира, замахнулась на собаку и сказала сердито:

— У-у, язва!

Всю ночь старуха не спала, беспокоили ее мысли, а на рассвете она встала, помолилась и пошла на станцию, чтобы послать письмо.

До станции было одиннадцать верст.

Водолечебница доктора Б. О. Мозельвейзера работала и на Новый год так же, как в обыкновенные дни, и только на швейцаре Андрее Хрисанфыче был мундир с новыми галунами, блестели как-то особенно сапоги; и всех приходивших он поздравлял с Новым годом, с новым счастьем.

Было утро. Андрей Хрисанфыч стоял у двери и читал газету. Ровно в десять часов вошел генерал, знакомый, один из обычных посетителей, а вслед за ним — почтальон. Андрей Хрисанфыч снял с генерала шинель и сказал:

— С Новым годом, с новым счастьем, ваше превосходительство!

— Спасибо, любезный. И тебя также.

И, идя вверх по лестнице, генерал кивнул на дверь и спросил (он каждый день спрашивал и всякий раз потом забывал):

— А в этой комнате что?

— Кабинет для массажа, ваше превосходительство!

Когда шаги генерала затихли, Андрей Хрисанфыч осмотрел полученную почту и нашел одно письмо на свое имя. Он распечатал, прочел несколько строк, потом, не спеша, глядя в газету, пошел к себе в свою комнату, которая была тут же внизу, в конце коридора. Жена его Ефимья сидела на кровати и кормила ребенка; другой ребенок, самый старший, стоял возле, положив кудрявую голову ей на колени, третий спал на кровати.

Войдя в свою комнатку, Андрей подал жене письмо и сказал:

— Должно, из деревни.

Затем он вышел, не отрывая глаз от газеты, и остановился в коридоре, недалеко от своей двери. Ему было слышно, как Ефимья дрожащим голосом прочла первые строки. Прочла и уж больше не могла; для нее было довольно и этих строк, она залилась слезами и, обнимая своего старшенького, целуя его, стала говорить, и нельзя было понять, плачет она или смеется.

— Это от бабушки, от дедушки... — говорила она. — Из деревни... Царица небесная, святители-угодники. Там теперь снегу савалило под крыши... деревья бе-

лые-белые. Ребятки на махоньких саночках... И дедушка лысенький на печке... и собачка желтенькая... Голубчики мои родные!

Андрей Хрисанфыч, слушая это, вспомнил, что раза три или четыре жена давала ему письма, просила послать в деревню, но мешали какие-то важные дела: он не послал, письма где-то завалялись.

— А в поле зайчики бегают, — причитывала Ефимья, обливаясь слезами, целуя своего мальчика. — Дедушка тихий, добрый, бабушка тоже добрая, жалостливая. В деревне душевно живут, бога боятся... И церковочка в селе, мужички на клиросе поют. Унесла бы нас отсюда царица небесная, заступница-матушка!

Андрей Хрисанфыч вернулся к себе в комнатку, чтобы покурить, пока кто не пришел, и Ефимья вдруг замолчала, притихла и вытерла глаза, и только губы у нее дрожали. Она его очень боялась, ах, как боялась! Трепетала, приходила в ужас от его шагов, от его взгляда, не смела сказать при нем ни одного слова.

Андрей Хрисанфыч закурил, но как раз в это время наверху позвонили. Он потушил папиросу и, сделав очень серьезное лицо, побежал к своей парадной двери.

Сверху спускался генерал, розовый, свежий от ванны.

— А в этой комнате что? — спросил он, указывая на дверь.

Андрей Хрисанфыч вытянулся, руки по швам, и произнес громко:

— Душ Шарко, ваше превосходительство!

АРХИЕРЕЙ

I

Под вербное воскресенье в Старо-Петровском монастыре шла всеобщая. Когда стали раздавать вербы, то был уже десятый час на исходе, огни потусквели, фитили нагорели, было всё, как в тумане. В церковных сумерках толпа колыхалась, как море, и преосвященному Петру, который был нездоров уже дня три, казалось, что все лица — и старые, и молодые, и мужские, и женские — походили одно на другое, у всех, кто подходил за вербой, одинаковое выражение глаз. В тумане не было видно дверей, толпа всё двигалась, и похоже было, что ей нет и не будет конца. Цел женский хор, канон читала монашенка.

Как было душно, как жарко! Как долго шла всеобщая! Преосвященный Петр устал. Дыхание у него было тяжелое, частое, сухое, плечи болели от усталости, ноги дрожали. И неприятно волновало, что на хорах изредка вскрикивал юродивый. А тут еще вдруг, точно во сне или в бреду, показалось преосвященному, будто в толпе подошла к нему его родная мать Мария Тимофеевна, которой он не видел уже девять лет, или старуха, похожая на мать, и, принявши от него вербу, отошла и всё время глядела на него весело, с доброй, радостной улыбкой, пока не смешалась с толпой. И почему-то слезы потекли у него по лицу. На душе было покойно, всё было благополучно, но он неподвижно глядел на левый клирос, где читали, где в вечерней мгле уже нельзя было узнать ни одного человека, и — плакал. Слезы заблестели у него на лице, на бороде. Вот вблизи еще кто-то заплакал, потом дальше кто-то другой, потом еще и еще, и мало-помалу церковь наполнилась тихим плачем. А немного погодя, минут через пять, монашеский хор цел, уже не плакали, всё было по-прежнему.

Скоро и служба кончилась. Когда архиерей садился в карету, чтобы ехать домой, то по всему саду, освещенному луной, разливался веселый, красивый звон дорогих, тяжелых колоколов. Белые стены, белые кресты на могилах, белые березы и черные тени и далекая луна на небе, стоявшая как раз над монастырем, казалось теперь жили своей особой жизнью, непонятной, но близкой человеку. Был апрель в начале, и после теплого весеннего дня стало прохладно, слегка подморозило, и в мягком холодном воздухе чувствовалось дыхание весны. Дорога от монастыря до города шла по песку, надо было ехать шагом; и по обе стороны кареты, в лунном свете, ярком и покойном, плелись по песку богомольцы. И все молчали, задумавшись, всё было кругом приветливо, молодо, так близко, всё — и деревья и небо, и даже луна, и хотелось думать, что так будет всегда.

Наконец карета въехала в город, покатила по главной улице. Лавки были уже заперты, и только у купца Еракина, миллионера, пробовали электрическое освещение, которое сильно мигало, и около толпился народ. Потом пошли широкие, темные улицы, одна за другою, безлюдные, земское шоссе за городом, поле, запахло сосной. И вдруг выросла перед глазами белая зубчатая стена, а за нею высокая колокольня, вся залитая светом, и рядом с ней пять больших, золотых, блестящих глав, — это Панкратиевский монастырь, в котором жил преосвященный Петр. И тут также высоко над монастырем тихая, задумчивая луна. Карета въехала в ворота, скрипя по песку, кое-где в лунном свете замелькали черные монашеские фигуры, слышались шаги по каменным плитам...

— А тут, ваше преосвященство, ваша мамаша без вас приехали, — доложил келейник, когда преосвященный входил к себе.

— Маменька? Когда она приехала?

— Перед всеюнощной. Справлялись сначала, где вы, а потом поехали в женский монастырь.

— Это, значит, я ее в церкви видел давеча! О господи!

И преосвященный засмеялся от радости.

— Они велели, ваше преосвященство, доложить, — продолжал келейник, — что придут завтра. С ними де-

вочка, должно, внучка. Остановились на постоялом дворе Овсянникова.

— Который теперь час?

— Двенадцатый в начале.

— Эх, досадно!

Преосвященный посидел немного в гостиной, раздумывая и как бы не веря, что уже так поздно. Руки и ноги у него поламывало, болел затылок. Было жарко и неудобно. Отдохнув, он пошел к себе в спальню и здесь тоже посидел, всё думая о матери. Слышно было, как уходил келейник и как за стеной покашливал отец Сисой, иеромонах. Монастырские часы пробили четверть.

Преосвященный переоделся и стал читать молитвы на сон грядущий. Он внимательно читал эти старые, давно знакомые молитвы и в то же время думал о своей матери. У нее было девять душ детей и около сорока внуков. Когда-то со своим мужем, дьяконом, жила она в бедном селе, жила там очень долго, с 17 до 60 лет. Преосвященный помнил ее с раннего детства, чуть ли не с трех лет и — как любил! Милое, дорогое, незабвенное детство! Отчего оно, это навеки ушедшее, невозвратное время, отчего оно кажется светлее, праздничнее и богаче, чем было на самом деле? Когда в детстве или юности он бывал нездоров, то как нежна и чутка была мать! И теперь молитвы мешались с воспоминаниями, которые разгорались всё ярче, как пламя, и молитвы не мешали думать о матери.

Кончив молиться, он разделся и лег, и тотчас же, как только стало темно кругом, представились ему его покойный отец, мать, родное село Лесополье... Скрип колес, блеянье овец, церковный звон в ясные, летние утра, цыгане под окном,— о, как сладко думать об этом! Припомнился священник лесопольский, отец Симеон, кроткий, смиренный, добродушный; сам он был тощ, невысок, сын же его, семинарист, был громадного роста, говорил неистовым басом; как-то попович обозлился на кухарку и выбралил ее: «Ах ты, ослица Иегудилова!», и отец Симеон, слышавший это, не сказал ни слова и только устыдился, так как не мог вспомнить, где в священном писании упоминается такая ослица. После него в Лесополье священником был отец Демьян, который сильно запивал и напивался подчас до зеленого змия, и у него даже прозвище было: Демьян-

Змеевидец. В Лесополье учителем был Матвей Николаич, из семинаристов, добрый, неглухой человек, но тоже пьяница; он никогда не бил учеников, но почему-то у него на стене всегда висел пучок березовых розог, а под ним надпись на латинском языке, совершенно бессмысленная — *betula kinderbalsamica secuta*. Была у него черная мохнатая собака, которую он называл так: Синтаксис.

И преосвященный засмеялся. В восьми верстах от Лесополя село Обнино с чудотворной иконой. Из Обнина летом носили икону крестным ходом по соседним деревням и звонили целый день то в одном селе, то в другом, и казалось тогда преосвященному, что радость дрожит в воздухе, и он (тогда его звали Павлушей) ходил за иконой без шапки, босиком, с наивной верой, с наивной улыбкой, счастливый бесконечно. В Обнине, вспомнилось ему теперь, всегда было много народу, и тамошний священник отец Алексей, чтобы успевать на проскомидии, заставлял своего глухого племянника Илариона читать записочки и записи на просфорах «о здравии» и «за упокой»; Иларион читал, изредка получая по пятаку или гривеннику за обедню, и только уж когда поседел и облысел, когда жизнь прошла, вдруг видит, на бумажке написано: «Да и дурак же ты, Иларион!» По крайней мере до пятнадцати лет Павлуша был неразвит и учился плохо, так что даже хотели взять его из духовного училища и отдать в лавочку; однажды, придя в Обнино на почту за письмами, он долго смотрел на чиновников и спросил: «Позвольте узнать, как вы получаете жалованье: помесечно или поденно?»

Преосвященный перекрестился и повернулся на другой бок, чтобы больше не думать и спать.

— Моя мать приехала... — вспомнил он и засмеялся.

Луна глядела в окно, пол был освещен, и на нем лежали тени. Кричал сверчок. В следующей комнате за стеной похрапывал отец Сисой, и что-то одинокое, свротское, даже бродяжеское слышалось в его стариковском храпе. Сисой был когда-то экономом у епархиального архиерея, а теперь его зовут «бывший отец эконом»; ему 70 лет, живет он в монастыре в 16 верстах от города, живет и в городе, где придется. Три дня назад он зашел в Панкратиевский монастырь, и преосвященный оста-

вил его у себя, чтобы как-нибудь на досуге поговорить с ним о делах, о здешних порядках...

В половине второго ударили к заутрене. Слышно было, как отец Сисой закацлял, что-то проворчал недовольным голосом, потом встал и прошелся босиком по комнатам.

— Отец Сисой! — позвал преосвященный.

Сисой ушел к себе и немного погодя явился уже в сапогах, со свечой; на нем сверх белья была ряса, на голове старая, полинялая скуфейка.

— Не спится мне, — сказал преосвященный, садясь. — Нездоров я, должно быть. И что оно такое, не знаю. Жар!

— Должно, простудились, владыко. Надо бы вас свечным салом смазать.

Сисой постоял немного и зевнул: «О господи, прости меня грешного!»

— У Еракина нынче электричество зажигали, — сказал он. — Не идравится мне!

Отец Сисой был стар, тощ, сторблен, всегда недоволен чем-нибудь, и глаза у него были сердитые, выпуклые, как у рака.

— Не идравится! — повторил он, уходя. — Не идравится, бог с ним совсем!

II

На другой день, в вербное воскресенье, преосвященный служил обедню в городском соборе, потом был у епархиального архиерея, был у одной очень больной старой генеральши и наконец поехал домой. Во втором часу у него обедали дорогие гости: старуха мать и племянница Катя, девочка лет восьми. Во время обеда в окна со двора всё время смотрело весеннее солнышко и весело светилось на белой скатерти, в рыжих волосах Кати. Сквозь двойные рамы слышно было, как шумели в саду грачи и пели скворцы.

— Уже девять лет, как мы не видались, — говорила старуха, — а вчера в монастыре, как поглядела на вас — господи! И ни капельки не изменились, только вот разве похудели и бородака длинней стала. Царица небесная, матушка! И вчерась во всеобщей нельзя было

удержаться, все плакали. Я тоже вдруг, на вас глядя, заплакала, а отчего, и сама не знаю. Его святая воля!

И несмотря на ласковость, с какою она говорила это, было заметно, что она стеснялась, как будто не знала, говорить ли ему ты или вы, смеяться или нет, и как будто чувствовала себя больше дяконицей, чем матерью. А Катя не мигая глядела на своего дядю, преосвященного, как бы желая разгадать, что это за человек. Волоса у нее поднимались из-за гребенки и бархатной ленточки и стояли, как сияние, нос был вздернутый, глаза хитрые. Перед тем как садиться обедать она разбила стакан, и теперь бабушка, разговаривая, отодвигала от нее то стакан, то рюмку. Преосвященный слушал свою мать и вспоминал, как когда-то, много-много лет назад, она возила и его, и братьев, и сестер к родственникам, которых считала богатыми; тогда хлопотала с детьми, а теперь с внучатами и привезла вот Катю...

— У Вареньки, у сестры вашей, четверо детей,— рассказывала она,— вот эта, Катя, самая старшая, и бог его знает, от какой причины, зять отец Иван захворал, это, и помер дня за три до Успенья. И Варенька моя теперь хоть по миру ступай.

— А как Никанор? — спросил преосвященный про своего старшего брата.

— Ничего, слава богу. Хоть и ничего, а благодарить бога, жить можно. Только вот одно: сын его Николаша, внучек мой, не захотел по духовной части, пошел в университет в доктора. Думает, лучше, а кто его знает! Его святая воля.

— Николаша мертвецов режет,— сказала Катя и пролила воду себе на колени.

— Сиди, деточка, смирно,— заметила спокойно бабушка и взяла у нее из рук стакан.— Кушай с молитвой.

— Сколько времени мы не видались! — сказал преосвященный и нежно погладил мать по плечу и по руке.— Я, маменька, скучал по вас за границей, сильно скучал.

— Благодарим вас.

— Сидишь, бывало, вечером у открытого окна, один-одинешенек, заиграет музыка, и вдруг охватит тоска

по родине, и, кажется, всё бы отдал, только бы домой, вас повидать...

Мать улыбнулась, просияла, но тотчас же сделала серьёзное лицо и проговорила:

— Благодарим вас.

Настроение переменилось у него как-то вдруг. Он смотрел на мать и не понимал, откуда у нее это почтительное, робкое выражение лица и голоса, зачем оно, и не узнавал ее. Стало грустно, досадно. А тут еще голова болела так же, как вчера, сильно ломило ноги, и рыба казалась пресной, невкусной, всё время хотелось пить...

После обеда приезжали две богатые дамы, помещицы, которые сидели часа полтора молча, с вытянутыми физиономиями; приходил по делу архимандрит, молчаливый и глуховатый. А там зазвонили к вечерне, солнце опустилось за лесом, и день прошел. Вернувшись из церкви, преосвященный торопливо помолился, лег в постель, укрылся потеплей.

Неприятно было вспоминать про рыбу, которую ел за обедом. Луиный свет беспокоил его, а потом послышался разговор. В соседней комнате, должно быть, в гостиной, отец Сисой говорил о политике:

— У японцев теперь война. Воюют. Японцы, матушка, всё равно, что черногорцы, одного племени. Под игом турецким вместе были.

А потом послышался голос Марии Тимофеевны:

— Значит, богу помолившись, это, чаю напившись, поехали мы, значит, к отцу Егору в Новохатное, это...

И то и дело «чаю напившись», или «напившись», и похоже было, как будто в своей жизни она только и знала, что чай пила. Преосвященному медленно, вяло вспоминалась семинария, академия. Года три он был учителем греческого языка в семинарии, без очков уже не мог смотреть в книгу, потом постригся в монахи, его сделали инспектором. Потом защищал диссертацию. Когда ему было 32 года, его сделали ректором семинарии, посвятили в архимандриты, и тогда жизнь была такой легкой, приятной, казалась длинной-длинной, конца не было видно. Тогда же стал болеть, похудел очень, едва не ослеп и, по совету докторов, должен был бросить всё и уехать за границу.

— А потом что? — спросил Сисой в соседней комнате.

— А потом чай пили... — ответила Марья Тимофеевна.

— Батюшка, у вас борода зеленая! — проговорила вдруг Катя с удивлением и засмеялась.

Преосвященный вспомнил, что у седого отца Сисоя борода в самом деле отдает зеленью, и засмеялся.

— Господи боже мой, наказание с этой девочкой! — проговорил громко Сисой, рассердившись. — Балованная какая! Сиди смиренно!

Вспомнилась преосвященному белая церковь, совершенно новая, в которой он служил, живя за границей; вспомнился шум теплого моря. Квартира была в пять комнат, высоких и светлых, в кабинете новый письменный стол, библиотека. Много читал, часто писал. И вспомнилось ему, как он тосковал по родине, как слепая нищая каждый день у него под окном пела о любви и играла на гитаре, и он, слушая ее, почему-то всякий раз думал о прошлом. Но вот минуло восемь лет, и его вызвали в Россию, и теперь он уже состоит викарным архиереем, и всё прошлое ушло куда-то далеко, в туман, как будто снилось...

В спальню вошел отец Сисой со свечой.

— Эва, — удивился он, — вы уже спите, преосвященнейший?

— Что такое?

— Да ведь еще рано, десять часов, а то и меньше. Я свечку нынче купил, хотел было вас салом смазать.

— У меня жар... — проговорил преосвященный и сел. — В самом деле, надо бы что-нибудь. В голове нехорошо...

Сисой снял с него рубаху и стал натирать ему грудь и спину свечным салом.

— Вот так... вот так... — говорил он. — Господи Иисусе Христе... Вот так. Сегодня ходил я в город, был у того — как его? — протоиерея Сидонского... Чай пил у него... Не идравится он мне! Господи Иисусе Христе... Вот так... Не идравится!

III

Епархиальный архиерей, старый, очень полный, был болен ревматизмом или подагрой и уже месяц не вставал с постели. Преосвященный Петр проводывал его почти каждый день и принимал вместо него просителей. И теперь, когда ему нездоровилось, его поражала пустота, мелкость всего того, о чем просили, о чем плакали; его сердили неразвитость, робость; и всё это мелкое и ненужное угнетало его своею массою, и ему казалось, что теперь он понимал епархиального архиерея, который когда-то, в молодые годы, писал «Учения о свободе воли», теперь же, казалось, весь ушел в мелочи, всё позабыл и не думал о боге. За границей преосвященный, должно быть, отвык от русской жизни, она была не легка для него; народ казался ему грубым, женщины-просительницы скучными и глупыми, семинаристы и их учителя необразованными, порой дикими. А бумаги, входящие и исходящие, считались десятками тысяч, и какие бумаги! Благочинные во всей епархии ставили священникам, молодым и старым, даже их женам и детям, отметки по поведению, пятерки и четверки, а иногда и тройки, и об этом приходилось говорить, читать и писать серьезные бумаги. И положительно нет ни одной свободной минуты, целый день душа дрожит, и успокаивался преосвященный Петр, только когда бывал в церкви.

Не мог он никак привыкнуть и к страху, какой он, сам того не желая, возбуждал в людях, несмотря на свой тихий, скромный нрав. Все люди в этой губернии, когда он глядел на них, казались ему маленькими, испуганными, виноватыми. В его присутствии робели все, даже старики протоиереи, все «бухали» ему в ноги, а недавно одна просительница, старая деревенская попадья, не могла выговорить ни одного слова от страха, так и ушла ни с чем. И он, который никогда не решался в проповедях говорить дурно о людях, никогда не упрекал, так как было жалко, — с просителями выходил из себя, сердился, бросал на пол прошения. За всё время, пока он здесь, ни один человек не поговорил с ним искренно, попросту, по-человечески; даже старуха мать, казалось, была уже не та, совсем не та! И почему, спрашивается, с Сисоем она говорила без умолку и

смеялась много, а с ним, с сыном, была серьезна, обыкновенно молчала, стеснялась, что совсем не шло к ней? Единственный человек, который держал себя вольно в его присутствии и говорил всё, что хотел, был старик Сисой, который всю свою жизнь находился при архиереях и пережил их одиннадцать душ. И потому-то с ним было легко, хотя, несомненно, это был тяжелый, задорный человек.

Во вторник после обедни преосвященный был в архиерейском доме и принимал там просителей, волновался, сердился, потом поехал домой. Ему по-прежнему нездоровилось, тянуло в постель; но едва он вошел к себе, как доложили, что приехал Еракин, молодой купец, жертвователь, по очень важному делу. Надо было принять его. Сидел Еракин около часа, говорил очень громко, почти кричал, и было трудно понять, что он говорит.

— Дай бог, чтоб! — говорил он, уходя. — Всенепременнейше! По обстоятельствам, владыко преосвященнейший! Желаю, чтоб!

После него приехала игуменья из дальнего монастыря. А когда она уехала, то ударили к вечерне, надо было идти в церковь.

Вечером монахи пели стройно, вдохновенно, служил молодой иеромонах с черной бородой; и преосвященный, слушая про жениха, грядущего в полнощи, и про чертог украшенный, чувствовал не раскаяние в грехах, не скорбь, а душевный покой, тишину и уносился мыслями в далекое прошлое, в детство и юность, когда также пели про жениха и про чертог, и теперь это прошлое представлялось живым, прекрасным, радостным, каким, вероятно, никогда и не было. И, быть может, на том свете, в той жизни мы будем вспоминать о далеком прошлом, о нашей здешней жизни с таким же чувством. Кто знает! Преосвященный сидел в алтаре, было тут темно. Слезы текли по лицу. Он думал о том, что вот он достиг всего, что было доступно человеку в его положении, он веровал, но всё же не всё было ясно, чего-то еще недоставало, не хотелось умирать; и всё еще казалось, что нет у него чего-то самого важного, о чем смутно мечталось когда-то, и в настоящем волнует всё та же надежда на будущее, какая была и в детстве, и в академии, и за границей.

«Как они сегодня хорошо поют! — думал он, прислушиваясь к пению.— Как хорошо!»

IV

В четверг служил он обедню в соборе, было омовение ног. Когда в церкви кончилась служба и народ расходился по домам, то было солнечно, тепло, весело, шумела в канавах вода, а за городом доносилось с полей непрерывное пение жаворонков, нежное, призывающее к покою. Деревья уже проснулись и улыбались приветливо, и над ними, бог знает куда, уходило бездонное, необъятное голубое небо.

Приехав домой, преосвященный Петр напился чаю, потом переоделся, лег в постель и приказал келейнику закрыть ставни на окнах. В спальне стало сумрачно. Однако какая усталость, какая боль в ногах и спине, тяжелая, холодная боль, какой шум в ушах! Он давно не спал, как казалось теперь, очень давно, и мешал ему уснуть какой-то пустяк, который брезжил в мозгу, как только закрывались глаза. Как и вчера, из соседних комнат сквозя стену доносились голоса, звук стаканов, чайных ложек... Мария Тимофеевна весело, с прибаутками рассказывала о чем-то отцу Сисою, а этот угрюмо, недовольным голосом отвечал: «Ну их! Где уж! Куда там!» И преосвященному опять стало досадно и потом обидно, что с чужими старуха держала себя обыкновенно и просто, с ним же, с сыном, робела, говорила редко и не то, что хотела, и даже, как казалось ему, все эти дни в его присутствии всё искала предлога, чтобы встать, так как стеснялась сидеть. А отец? Тот, вероятно, если бы был жив, не мог бы выговорить при нем ни одного слова...

Что-то упало в соседней комнате на пол и разбилось; должно быть, Катя уронила чашку или блюдечко, потому что отец Сисой вдруг плюнул и проговорил сердито:

— Чистое наказание с этой девочкой, господи, прости меня грешного! Не напасешься!

Потом стало тихо, только доносились звуки со двора. И когда преосвященный открыл глаза, то увидел у себя в комнате Катю, которая стояла неподвижно и

смотрела на него. Рыжие волосы, по обыкновению, поднимались из-за гребенки, как сияние.

— Ты, Катя? — спросил он. — Кто это там внизу всё открывает и закрывает дверь?

— Я не слышу, — ответила Катя и прислушалась.

— Вот сейчас кто-то прошел.

— Да это у вас в животе, дядечка!

Он рассмеялся и погладил ее по голове.

— Так брат Николаша, говоришь, мертвецов режет? — спросил он, помолчав.

— Да. Учится.

— А он добрый?

— Ничего, добрый. Только водку пьет шибко.

— А отец твой от какой болезни умер?

— Папаша были слабые и худые, худые, и вдруг — горло. И я тогда захворала, и брат Федя, — у всех горло. Папаша померли, дядечка, а мы выздоровели.

У нее задрожал подбородок, и слезы показались на глазах, поползли по щекам.

— Ваше преосвященство, — проговорила она тонким голоском, уже горько плача, — дядечка, мы с мамашей остались несчастными... Дайте нам немножечко денег... будьте такие добрые... голубчик!..

Он тоже прослезился и долго от волнения не мог говорить ни слова, потом погладил ее по голове, потрогал за плечо и сказал:

— Хорошо, хорошо, девочка. Вот наступит светлое Христово воскресение, тогда потолкуем... Я помогу... помогу...

Тихо, робко вошла мать и помолилась на образа. Заметив, что он не спит, она спросила:

— Не покушаете ли супчику?

— Нет, благодарю... — ответил он. — Не хочется.

— А вы, похоже, нездоровы... как я погляжу. Еще бы, как не захворать! Целый день на ногах, целый день — и боже мой, даже глядеть на вас и то тяжко. Ну, Святая не за горами, отдохнете, бог даст, тогда и поговорим, а теперь не стану я беспокоить вас своими разговорами. Пойдем, Катечка, — пусть владыка поспит.

И он вспомнил, как когда-то очень давно, когда он был еще мальчиком, она точно так же, таким же шуточно-почтительным тоном говорила с благочинным...

Только по необыкновенно добрым глазам, робкому, озабоченному взгляду, который она мельком бросила, выходя из комнаты, можно было догадаться, что это была мать. Он закрыл глаза и, казалось, спал, но слышал два раза, как били часы, как покашливал за стеной отец Сисой. И еще раз входила мать и минуту робко глядела на него. Кто-то подъехал к крыльцу, как слышно, в карете или в коляске. Вдруг стук, хлопнула дверь: вошел в спальню келейник.

— Ваше преосвященство! — окликнул он.

— Что?

— Лошади поданы, пора к страстям господним.

— Который час?

— Четверть восьмого.

Он оделся и поехал в собор. В продолжение всех двенадцати евангелий пужно было стоять среди церкви неподвижно, и первое евангелие, самое длинное, самое красивое, читал он сам. Бодрое, здоровое настроение овладело им. Это первое евангелие «Ныне прославися сын человеческий» он знал наизусть; и, читая, он изредка поднимал глаза и видел по обе стороны целое море огней, слышал треск свечей, но людей не было видно, как и в прошлые годы, и казалось, что это всё те же люди, что были тогда, в детстве и в юности, что они всё те же будут каждый год, а до каких пор — одному богу известно.

Отец его был дьякон, дед — священник, прадед — дьякон, и весь род его, быть может, со времен принятия на Руси христианства, принадлежал к духовенству, и любовь его к церковным службам, духовенству, к звону колоколов была у него врожденной, глубокой, неискоренимой; в церкви он, особенно когда сам участвовал в служении, чувствовал себя деятельным, бодрым, счастливым. Так и теперь. Только когда прочли уже восьмое евангелие, он почувствовал, что ослабел у него голос, даже кашля не было слышно, сильно разболелась голова, и стал беспокоить страх, что он вот-вот упадет. И в самом деле, ноги совсем онемели, так что мало-помалу он перестал ощущать их, и непонятно ему было, как и на чем он стоит, отчего не надает...

Когда служба кончилась, было без четверти двенадцать. Приехав к себе, преосвященный тотчас же разделся и лег, даже богу не молился. Он не мог говорить

и, как казалось ему, не мог бы уже стоять. Когда он укрывался одеялом, захотелось вдруг за границу, нестерпимо захотелось! Кажется, жизнь бы отдал, только бы не видеть этих жалких, дешевых ставень, низких потолков, не чувствовать этого тяжкого монастырского запаха. Хоть бы один человек, с которым можно было бы поговорить, отвести душу!

Долго слышались чьи-то шаги в соседней комнате, и он никак не мог вспомнить, кто это. Наконец отворилась дверь, вошел Сисой со свечой и с чайной чашкой в руках.

— Вы уже легли, преосвященнейший? — спросил он. — А я вот пришел, хочу вас смазать водкой с уксусом. Ежели натереться хорошо, то большая от этого польза. Господи Иисусе Христе... Вот так... Вот так... А я сейчас в нашем монастыре был... Не идравится мне! Уйду отсюда завтра, владыко, не желаю больше. Господи Иисусе Христе... Вот так...

Сисой не мог долго оставаться на одном месте, и ему казалось, что в Панкратиевском монастыре он живет уже целый год. А главное, слушая его, трудно было понять, где его дом, любит ли он кого-нибудь или что-нибудь, верует ли в бога... Ему самому было непонятно, почему он монах, да и не думал он об этом, и уже давно стерлось в памяти время, когда его постригли; похоже было, как будто он прямо родился монахом.

— Уйду завтра. Бог с ним, со всем!

— Мне бы потолковать с вами... всё никак не соберусь, — проговорил преосвященный тихо, через силу. — Я ведь тут никого и ничего не знаю...

— До воскресенья, извольте, останусь, так и быть уж, а больше не желаю. Ну их!

— Какой я архиерей? — продолжал тихо преосвященный. — Мне бы быть деревенским священником, дьячком... или простым монахом... Меня давит всё это... давит...

— Что? Господи Иисусе Христе... Вот так... Ну, спите себе, преосвященнейший!.. Что уж там! Куда там! Спокойной ночи!

Преосвященный не спал всю ночь. А утром, часов в восемь, у него началось кровотечение из кишок. Келейник испугался и побежал сначала к архимандриту,

потом за монастырским доктором Иваном Андреичем, жившим в городе. Доктор, полный старик, с длинной седой бородой, долго осматривал преосвященного и всё покачивал головой и хмурился, потом сказал:

— Знаете, ваше преосвященство? Ведь у вас брюшной тиф!

От кровотечений преосвященный в какой-нибудь час очень похудел, побледнел, осунулся, лицо сморщилось, глаза были большие, и как будто он постарел, стал меньше ростом, и ему уже казалось, что он худее и слабее, незначительнее всех, что всё то, что было, ушло куда-то очень-очень далеко и уже более не повторится, не будет продолжаться.

«Как хорошо! — думал он. — Как хорошо!»

Пришла старуха мать. Увидев его сморщенное лицо и большие глаза, она испугалась, упала на колени пред кроватью и стала целовать его лицо, плечи, руки. И ей тоже почему-то казалось, то он худее, слабее и незначительнее всех, и она уже не помнила, что он архиерей, и целовала его, как ребенка, очень близкого, родного.

— Павлуша, голубчик, — заговорила она, — родной мой!.. Сыночек мой!.. Отчего ты такой стал? Павлуша, отвечай же мне!

Катя, бледная, суровая, стояла возле и не понимала, что с дядей, отчего у бабушки такое страдание на лице, отчего она говорит такие трогательные, печальные слова. А он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти, куда угодно!

— Сыночек, Павлуша, отвечай же мне! — говорила старуха. — Что с тобой? Родной мой!

— Не беспокойте владыку, — проговорил Сисой сердито, проходя через комнату. — Пушай поспит... Нечего там... чего уж!..

Приезжали три доктора, советовались, потом уехали. День был длинный, неизмеримо длинный, потом наступила и долго-долго проходила ночь, а под утро, в субботу, к старухе, которая лежала в гостиной на диване, подошел келейник и попросил ее сходить в спальню: преосвященный приказал долго жить.

А на другой день была Пасха. В городе было сорок две церкви и шесть монастырей; гулкий, радостный звон с утра до вечера стоял над городом, не умолкая, волнуя весенний воздух; птицы пели, солнце ярко светило. На большой базарной площади было шумно, колыхались качели, играли шарманки, визжала гармоника, раздавались пьяные голоса. На главной улице после полудня началось катанье на рысаках,— одним словом, было весело, всё благополучно, точно так же, как было в прошлом году, как будет, по всей вероятности, и в будущем.

Через месяц был назначен новый викарный архиерей, а о преосвященном Петре уже никто не вспоминал. А потом и совсем забыли. И только старуха, мать покойного, которая живет теперь у зятя-дьякона, в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову, и сходилась на выгоне с другими женщинами, то начинала рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нее был сын архиерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят...

И ей в самом деле не все верили.

НЕВЕСТА

I

Было уже часов десять вечера, и над садом светила полная луна. В доме Шуминых только что кончилась всеобщая, которую заказывала бабушка Марфа Михайловна, и теперь Наде — она вышла в сад на минутку — видно было, как в зале накрывали на стол для закуски, как в своем пышном шелковом платье суетилась бабушка; отец Андрей, соборный протоиерей, говорил о чем-то с матерью Нади, Ниной Ивановной, и теперь мать при вечернем освещении сквозь окно почему-то казалась очень молодой; возле стоял сын отца Андрея, Андрей Андреич, и внимательно слушал.

В саду было тихо, прохладно, и темные покойные тени лежали на земле. Слышно было, как где-то далеко, очень далеко, должно быть, за городом, кричали лягушки. Чувствовался май, милый май! Дышалось глубоко и хотелось думать, что не здесь, а где-то под небом, над деревьями, далеко за городом, в полях и лесах, развернулась теперь своя весенняя жизнь, таинственная, прекрасная, богатая и святая, недоступная пониманию слабого, грешного человека. И хотелось почему-то плакать.

Ей, Наде, было уже 23 года; с 16 лет она страстно мечтала о замужестве, и теперь наконец она была невестой Андрея Андреича, того самого, который стоял за окном; он ей нравился, свадьба была уже назначена на седьмое июля, а между тем радости не было, ночи спала она плохо, веселье пропало... Из подвального этажа, где была кухня, в открытое окно слышно было, как там спешили, как стучали ножами, как хлопали дверью на блоке; пахло жареной индейкой и маринованными вишнями. И почему-то казалось, что так теперь будет всю жизнь, без перемены, без конца!

Вот кто-то вышел из дома и остановился на крыль-

це: это Александр Тимофеич, или, попросту, Саша, гость, приехавший из Москвы дней десять назад. Когда-то давно к бабушке хаживала за подаянием ее дальняя родственница, Марья Петровна, обедневшая дворянка-вдова, маленькая, худенькая, большая. У нее был сын Саша. Почему-то про него говорили, что он прекрасный художник, и, когда у него умерла мать, бабушка, ради спасения души, отправила его в Москву в Комиссаровское училище; года через два перешел он в Училище живописи, пробыл здесь чуть ли не пятнадцать лет и кончил по архитектурному отделению, с грехом пополам, но архитектурой все-таки не занимался, а служил в одной из московских литографий. Почти каждое лето приезжал он, обыкновенно очень больной, к бабушке, чтобы отдохнуть и поправиться.

На нем был теперь застегнутый сюртук и поношенные парусиновые брюки, стоптанные внизу. И сорочка была неглаженная, и весь он имел какой-то несвежий вид. Очень худой, с большими глазами, с длинными худыми пальцами, бородатый, темный и все-таки красивый. К Шуминым он привык, как к родным, и у них чувствовал себя, как дома. И комната, в которой он жил здесь, называлась уже давно Сашиной комнатой.

Стоя на крыльце, он увидел Надю и пошел к ней.

— Хорошо у вас здесь, — сказал он.

— Конечно, хорошо. Вам бы здесь до осени пожить.

— Да, должно, так придется. Пожалуй, до сентября у вас тут проживу.

Он засмеялся без причины и сел рядом.

— А я вот сижу и смотрю отсюда на маму, — сказала Надя. — Она кажется отсюда такой молодой! У моей мамы, конечно, есть слабости, — добавила она, помолчав, — но всё же она необыкновенная женщина.

— Да, хорошая... — согласился Саша. — Ваша мама по-своему, конечно, и очень добрая и милая женщина, но... как вам сказать? Сегодня утром рано зашел я к вам в кухню, а там четыре прислуги спят прямо на полу, кроватей нет, вместо постелей лохмотья, вонь, клопы, тараканы... То же самое, что было двадцать лет назад, никакой перемены. Ну, бабушка, бог с ней, на то она и бабушка; а ведь мама небось по-французски говорит, в спектаклях участвует. Можно бы, кажется, понимать.

Когда Саша говорил, то вытягивал перед слушателем два длинных, тощих пальца.

— Мне всё здесь как-то дико с непривычки, — продолжал он. — Чёрт знает, никто ничего не делает. Мамаша целый день только гуляет, как герцогиня какая-нибудь, бабушка тоже ничего не делает, вы — тоже. И жених, Андрей Андреич, тоже ничего не делает.

Надя слышала это и в прошлом году и, кажется, в позапрошлом и знала, что Саша иначе рассуждать не может, и это прежде смешило ее, теперь же почему-то ей стало досадно.

— Всё это старо и давно надоело, — сказала она и встала. — Вы бы придумали что-нибудь поновее.

Он засмеялся и тоже встал, и оба пошли к дому. Она, высокая, красивая, стройная, казалась теперь рядом с ним очень здоровой и нарядной; она чувствовала это, и ей было жаль его и почему-то неловко.

— И говорите вы много лишнего, — сказала она. — Вот вы только что говорили про моего Андрея, но ведь вы его не знаете.

— моего Андрея... Бог с ним, с вашим Андреем! Мне вот молодости вашей жалко.

Когда вошли в зал, там уже садились ужинать. Бабушка, или, как ее называли в доме, бабуля, очень полная, некрасивая, с густыми бровями и с усиками, говорила громко, и уже по ее голосу и манере говорить было заметно, что она здесь старшая в доме. Ей принадлежали торговые ряды на ярмарке и старинный дом с колоннами и садом, но она каждое утро молилась, чтобы бог спас ее от разорения, и при этом плакала. И ее невестка, мать Нади, Нина Ивановна, белокурая, сильно зятая, в рпсе-пез и с бриллиантами на каждом пальце; и отец Андрей, старик, худощавый, беззубый и с таким выражением, будто собирался рассказать что-то очень смешное; и его сын Андрей Андреич, жених Нади, полный и красивый, с вьющимися волосами, похожий на артиста или художника, — все трое говорили о гипнотизме.

— Ты у меня в неделю поправишься, — сказала бабуля, обращаясь к Саше, — только вот кушай побольше. И на что ты похож! — вздохнула она. — Страшный ты стал! Вот уж подлинно, как есть, блудный сын.

— Отеческого дара расточив богатство, — прогово-

рил отец Андрей медленно, со смеющимися глазами, — с бессмысленными скоты пасохся окаянный...

— Люблю я своего батьку, — сказал Андрей Андреич и потрогал отца за плечо. — Славный старик. Добрый старик.

Все помолчали. Саша вдруг засмеялся и прижал ко рту салфетку.

— Стало быть, вы верите в гипнотизм? — спросил отец Андрей у Нины Ивановны.

— Я не могу, конечно, утверждать, что я верю, — ответила Нина Ивановна, придавая своему лицу очень серьезное, даже строгое выражение, — но должна сознаться, что в природе есть много таинственного и непонятного.

— Совершенно с вами согласен, хотя должен прибавить от себя, что вера значительно сокращает нам область таинственного.

Подали большую, очень жирную индейку. Отец Андрей и Нина Ивановна продолжали свой разговор. У Нины Ивановны блестели бриллианты на пальцах, потом на глазах заблестели слезы, она заволновалась.

— Хотя я и не смею спорить с вами, — сказала она, — но согласитесь, в жизни так много неразрешимых загадок!

— Ни одной, смею вас уверить.

После ужина Андрей Андреич играл на скрипке, а Нина Ивановна аккомпанировала на рояли. Он десять лет назад кончил в университете по филологическому факультету, но нигде не служил, определенного дела не имел и лишь изредка принимал участие в концертах с благотворительною целью; и в городе называли его артистом.

Андрей Андреич играл; все слушали молча. На столе тихо кипел самовар, и только один Саша пил чай. Потом, когда пробило двенадцать, лопнула вдруг струна на скрипке; все засмеялись, засуетились и стали прощаться.

Проводив жениха, Надя пошла к себе наверх, где жила с матерью (нижний этаж занимала бабушка). Внизу, в зале, стали тушить огни, а Саша всё еще сидел и пил чай. Пил он чай всегда подолгу, по-московски, стаканов по семи в один раз. Наде, когда она разделась и легла в постель, долго еще было слышно, как

внизу убирала прислуга, как сердилась бабуля. Наконец всё затихло, и только слышалось изредка, как в своей комнате, внизу, покашливал басом Саша.

II

Когда Надя проснулась, было, должно быть, часа два, начинался рассвет. Где-то далеко стучал сторож. Спать не хотелось, лежать было очень мягко, неловко. Надя, как и во все прошлые майские ночи, села в постели и стала думать. А мысли были всё те же, что и в прошлую ночь, однообразные, ненужные, неотвязчивые, мысли о том, как Андрей Андреич стал ухаживать за ней и сделал ей предложение, как она согласилась и потом мало-помалу оценила этого доброго, умного человека. Но почему-то теперь, когда до свадьбы осталось не больше месяца, она стала испытывать страх, беспокойство, как будто ожидало ее что-то неопределенное, тяжелое.

«Тик-ток, тик-ток... — лениво стучал сторож. — Тик-ток...»

В большое старое окно виден сад, дальние кусты густо цветущей сирени, сонной и вялой от холода; и туман, белый, густой, тихо подплывает к сирени, хочет закрыть ее. На дальних деревьях кричат сонные грачи.

— Боже мой, отчего мне так тяжело!

Быть может, то же самое испытывает перед свадьбой каждая невеста. Кто знает! Или тут влияние Саши? Но ведь Саша уже несколько лет подряд говорит всё одно и то же, как по-писанному, и когда говорит, то кажется наивным и странным. Но отчего же все-таки Саша не выходит из головы? отчего?

Сторож уже давно не стучит. Под окном и в саду зашумели птицы, туман ушел из сада, всё кругом озарилось весенним светом, точно улыбкой. Скоро весь сад, согретый солнцем, обласканный, ожил, и капли росы, как алмазы, засверкали на листьях; и старый, давно запущенный сад в это утро казался таким молодым, нарядным.

Уже проснулась бабуля. Закашлял густым басом Саша. Слышно было, как внизу подали самовар, как двигали стульями.

Часы идут медленно. Надя давно уже встала и давно уже гуляла в саду, а всё еще тянется утро.

Вот Нина Ивановна, заплаканная, со стаканом минеральной воды. Она занималась спиритизмом, гомеопатией, много читала, любила поговорить о сомнениях, которым была подвержена, и всё это, казалось Наде, заключало в себе глубокий, таинственный смысл. Теперь Надя поцеловала мать и пошла с ней рядом.

— О чем ты плакала, мама? — спросила она.

— Вчера на ночь стала я читать повесть, в которой описывается один старик и его дочь. Старик служит где-то, ну, и в дочь его влюбился начальник. Я не дочитала, но там есть такое одно место, что трудно было удержаться от слез,— сказала Нина Ивановна и отхлебнула из стакана.— Сегодня утром вспомнила и тоже всплакнула.

— А мне все эти дни так невесело,— сказала Надя, помолчав.— Отчего я не сплю по ночам?

— Не знаю, милая. А когда я не сплю по ночам, то закрываю глаза крепко-крепко, вот этак, и рисую себе Анну Каренину, как она ходит и как говорит, или рисую что-нибудь историческое, из древнего мира...

Надя почувствовала, что мать не понимает ее и не может понять. Почувствовала это первый раз в жизни, и ей даже страшно стало, захотелось спрятаться; и она ушла к себе в комнату.

А в два часа сели обедать. Была среда, день постный, и потому бабушке подали постный борщ и леца с кашей.

Чтобы подразнить бабушку, Саша ел и свой скоромный суп и постный борщ. Он шутил всё время, пока обедали, но шутки у него выходили громоздкие, непременно с расчетом на мораль, и выходило совсем не смешно, когда он перед тем, как состричь, поднимал вверх свои очень длинные, исхудалые, точно мертвые, пальцы и когда приходило на мысль, что он очень болен и, пожалуй, недолго еще протянет на этом свете; тогда становилось жаль его до слез.

После обеда бабушка ушла к себе в комнату отдыхать, Нина Ивановна недолго поиграла на рояли и потом тоже ушла.

— Ах, милая Надя,— начал Саша свой обычный послеобеденный разговор,— если бы вы послушались меня! если бы!

Она сидела глубоко в старинном кресле, закрыв глаза, а он тихо ходил по комнате, из угла в угол.

— Если бы вы поехали учиться! — говорил он.— Только просвещенные и святые люди интересны, только они и нужны. Ведь чем больше будет таких людей, тем скорее настанет царствие божие на земле. От вашего города тогда мало-помалу не останется камня на камне — всё полетит вверх дном, всё изменится, точно по волшебству. И будут тогда здесь громадные, великолепнейшие дома, чудесные сады, фонтаны необыкновенные, замечательные люди... Но главное не это. Главное то, что толпы в нашем смысле, в каком она есть теперь, этого зла тогда не будет, потому что каждый человек будет веровать и каждый будет знать, для чего он живет, и ни один не будет искать опоры в толпе. Милая, голубушка, поезжайте! Покажите всем, что эта неподвижная, серая, грешная жизнь надоела вам. Покажите это хоть себе самой!

— Нельзя, Саша. Я выхожу замуж.

— Э, полно! Кому это нужно?

Вышли в сад, прошлись немного.

— И как бы там ни было, милая моя, надо вдуматься, надо понять, как нечиста, как безнравственна эта ваша праздная жизнь,— продолжал Саша.— Поймите же, ведь если, например, вы и ваша мать и ваша бабушка ничего не делаете, то, значит, за вас работает кто-то другой, вы заедаете чью-то чужую жизнь; а разве это чисто, не грязно?

Надя хотела сказать: «да, это правда»; хотела сказать, что она понимает; но слезы показались у нее на глазах, она вдруг притихла, сжалась вся и ушла к себе.

Перед вечером приходил Андрей Андреич и по обыкновению долго играл на скрипке. Вообще он был неразговорчив и любил скрипку, быть может, потому, что во время игры можно было молчать. В одиннадцатом часу, уходя домой, уже в пальто, он обнял Надю и стал жадно целовать ее лицо, плечи, руки.

— Дорогая, милая моя, прекрасная!..— бормотал он.— О, как я счастлив! Я безумствую от восторга!

И ей казалось, что это она уже давно слышала, очень давно, или читала где-то... в романе, в старом, оборванном, давно уже заброшенном.

В зале Саша сидел у стола и пил чай, поставив блюдечко на свои длинные пять пальцев; бабуля раскладывала пасьянс, Нина Ивановна читала. Трещал огонек в лампадке, и всё, казалось, было тихо, благополучно. Надя простилась и пошла к себе наверх, легла и тотчас же уснула. Но, как и в прошлую ночь, едва забрезжил свет, она уже проснулась. Спать не хотелось, на душе было непокойно, тяжело. Она сидела, положив голову на колени, и думала о женихе, о свадьбе... Вспомнила она почему-то, что ее мать не любила своего покойного мужа и теперь ничего не имела, жила в полной зависимости от своей свекрови, бабули. И Надя, как ни думала, не могла сообразить, почему до сих пор она видела в своей матери что-то особенное, необыкновенное, почему не замечала простой, обыкновенной, несчастной женщины.

И Саша не спал внизу — слышно было, как он кашлял. Это странный, наивный человек, думала Надя, и в его мечтах, во всех этих чудесных садах, фонтанах необыкновенных чувствуется что-то нелепое; но почему-то в его наивности, даже в этой нелепости столько прекрасного, что едва она только вот подумала о том, не поехать ли ей учиться, как всё сердце, всю грудь обдало холодком, залило чувством радости, восторга.

— Но лучше не думать, лучше не думать... — шептала она. — Не надо думать об этом.

«Тик-ток... — стучал сторож где-то далеко. — Тик-ток... тик-ток...»

III

Саша в середине июня стал вдруг скучать и засоби-рался в Москву.

— Не могу я жить в этом городе, — говорил он мрачно. — Ни водопровода, ни канализации! Я есть за обедом брезгаю: в кухне грязь невозможнейшая...

— Да погоди, блудный сын! — убеждала бабушка почему-то шёпотом, — седьмого числа свадьба!

— Не желаю.

— Хотел ведь у нас до сентября пожить!

— А теперь вот не желаю. Мне работать нужно!

Лето выдалось сырое и холодное, деревья были мокрые, всё в саду глядело неприветливо, уныло, хотелось

в самом деле работать. В комнатах, внизу и наверху, слышались незнакомые женские голоса, стучала у бабушки швейная машина: это спешили с приданым. Одних шуб за Надей давали шесть, и самая дешевая из них, по словам бабушки, стоила триста рублей! Суета раздражала Сашу; он сидел у себя в комнате и сердился; но всё же его уговорили остаться, и он дал слово, что уедет первого июля, не раньше.

Время шло быстро. На Петров день после обеда Андрей Андреич пошел с Надей на Московскую улицу, чтобы еще раз осмотреть дом, который наняли и давно уже приготовили для молодых. Дом двухэтажный, но убран был пока только верхний этаж. В зале блестящий пол, выкрашенный под паркет, венские стулья, рояль, пюпитр для скрипки. Пахло краской. На стене в золотой раме висела большая картина, написанная красками: нагая дама и около нее лиловая ваза с отбитой ручкой.

— Чудесная картина, — проговорил Андрей Андреич и из уважения вздохнул. — Это художника Шишмачевского.

Дальше была гостиная с круглым столом, диваном и креслами, обитыми ярко-голубой материей. Над диваном большой фотографический портрет отца Андрея в камиллавке и в орденах. Потом вошли в столовую с буфетом, потом в спальню; здесь в полумраке стояли рядом две кровати, и похоже было, что когда обставляли спальню, то имели в виду, что всегда тут будет очень хорошо и иначе быть не может. Андрей Андреич водил Надю по комнатам и всё время держал ее за талию; а она чувствовала себя слабой, виноватой, ненавидела все эти комнаты, кровати, кресла, ее мучило от нагой дамы. Для нее уже ясно было, что она разлюбила Андрея Андреича или, быть может, не любила его никогда; но как это сказать, кому сказать и для чего, она не понимала и не могла понять, хотя думала об этом все дни, все ночи... Он держал ее за талию, говорил так ласково, скромно, так был счастлив, расхаживая по этой своей квартире; а она видела во всем одну только пошлость, глупую, наивную, невыносимую пошлость, и его рука, обнимавшая ее талию, казалась ей жесткой и холодной, как обруч. И каждую минуту она готова была убежать, зарыдать, броситься в окно. Андрей Андреич привел ее в ванную и

здесь дотронулся до крана, вделанного в стену, и вдруг потекла вода.

— Каково? — сказал он и засмеялся. — Я велел сделать на чердаке бак на сто ведер, и вот мы с тобой теперь будем иметь воду.

Прошлись по двору, потом вышли на улицу, взяли извозчика. Пыль носилась густыми тучами, и казалось, вот-вот пойдет дождь.

— Тебе не холодно? — спросил Андрей Андреич, щурясь от пыли.

Она промолчала.

— Вчера Саша, ты помнишь, упрекнул меня в том, что я ничего не делаю, — сказал он, помолчав немного. — Что же, он прав! бесконечно прав! Я ничего не делаю и не могу делать. Дорогая моя, отчего это? Отчего мне так противна даже мысль о том, что я когда-нибудь нацеплю на лоб кокарду и пойду служить? Отчего мне так не по себе, когда я вижу адвоката, или учителя латинского языка, или члена управы? О матушка Русь! О матушка Русь, как еще много ты носишь на себе праздных и бесполезных! Как много на тебе таких, как я, многострадальная!

И то, что он ничего не делал, он обобщал, видел в этом знамение времени.

— Когда женимся, — продолжал он, — то пойдем вместе в деревню, дорогая моя, будем там работать! Мы купим себе небольшой клочок земли с садом, рекой, будем трудиться, наблюдать жизнь... О, как это будет хорошо!

Он снял шляпу, и волосы развевались у него от ветра, а она слушала его и думала: «Боже, домой хочу! Боже!» Почти около самого дома они обогнали отца Андрея.

— А вот и отец идет! — обрадовался Андрей Андреич и замахал шляпой. — Люблю я своего батьку, право, — сказал он, расплачиваясь с извозчиком. — Славный старик. Добрый старик.

Вошла Надя в дом сердитая, нездоровая, думая о том, что весь вечер будут гости, что надо занимать их, улыбаться, слушать скрипку, слушать всякий вздор и говорить только о свадьбе. Бабушка, важная, пышная в своем шелковом платье, надменная, какую она всегда казалась при гостях, — сидела у самовара. Вошел отец Андрей со своей хитрой улыбкой.

— Имею удовольствие и благодатное утешение видеть вас в добром здравье,— сказал он бабушке, и трудно было понять, шутит это он или говорит серьезно.

IV

Ветер стучал в окна, в крышу; слышался свист, и в печи доменной жалобно и угрюмо напевал свою песенку. Был первый час ночи. В доме все уже легли, но никто не спал, и Наде всё чуялось, что внизу играют на скрипке. Послышался резкий стук, должно быть, сорвалась ставня. Через минуту вошла Нина Ивановна в одной сорочке, со свечой.

— Что это застучало, Надя? — спросила она.

Мать, с волосами, заплетенными в одну косу, с робкой улыбкой, в эту бурную ночь казалась старше, некрасивее, меньше ростом. Наде вспомнилось, как еще недавно она считала свою мать необыкновенной и с гордостью слушала слова, какие она говорила; а теперь никак не могла вспомнить этих слов; всё, что приходило на память, было так слабо, ненужно.

В печке раздавалось пение нескольких басов и даже слышалось: «А-ах, бо-о-же мой!» Надя села в постели и вдруг схватила себя крепко за волосы и зарыдала.

— Мама, мама,— проговорила она,— родная моя, если б ты знала, что со мной делается! Прошу тебя, умоляю, позволь мне уехать! Умоляю!

— Куда? — спросила Нина Ивановна, не понимая, и села на кровать.— Куда уехать?

Надя долго плакала и не могла выговорить ни слова.

— Позволь мне уехать из города! — сказала она наконец.— Свадьбы не должно быть и не будет — пойми! Я не люблю этого человека... И говорить о нем не могу.

— Нет, родная моя, нет,— заговорила Нина Ивановна быстро, страшно испугавшись.— Ты успокойся — это у тебя от нерасположения духа. Это пройдет. Это бывает. Вероятно, ты повздорила с Андреем; но милые бранятся — только тешатся.

— Ну, уйди, мама, уйди! — зарыдала Надя.

— Да,— сказала Нина Ивановна, помолчав.— Давно ли ты была ребенком, девочкой, а теперь уже не-

веста. В природе постоянный обмен веществ. И не заметишь, как сама станешь матерью и старухой, и будет у тебя такая же строптивая дочка, как у меня.

— Милая, добрая моя, ты ведь умна, ты несчастна, — сказала Надя, — ты очень несчастна, — зачем же ты говоришь пошлости? Бога ради, зачем?

Нина Ивановна хотела что-то сказать, но не могла выговорить ни слова, всхлипнула и ушла к себе. Басы опять загудели в печке, стало вдруг страшно. Надя вскочила с постели и быстро пошла к матери. Нина Ивановна, заплаканная, лежала в постели, укрывшись голубым одеялом, и держала в руках книгу.

— Мама, выслушай меня! — проговорила Надя. — Умоляю тебя, вдумайся и пойми! Ты только пойми, до какой степени мелка и унизительна наша жизнь. У меня открылись глаза, я теперь всё вижу. И что такое твой Андрей Андреич? Ведь он же неумен, мама! Господи боже мой! Пойми, мама, он глуп!

Нина Ивановна порывисто села.

— Ты и твоя бабка мучаете меня! — сказала она, вспыхнув. — Я жить хочу! жить! — повторила она и раза два ударила кулачком по груди. — Дайте же мне свободу! Я еще молода, я жить хочу, а вы из меня старуху сделали!..

Она горько заплакала, легла и свернулась под одеялом калачиком, и показалась такой маленькой, жалкой, глупенькой. Надя пошла к себе, оделась и, севши у окна, стала поджидать утра. Она всю ночь сидела и думала, а кто-то со двора всё стучал в ставню и насвистывал.

Утром бабушка жаловалась, что в саду ночью ветром посбивало все яблоки и сломало одну старую сливу. Было серо, тускло, безотраднo, хоть огонь зажигаи; все жаловались на холод, и дождь стучал в окна. После чаю Надя вошла к Саше и, не сказав ни слова, стала на колени в углу у кресла и закрыла лицо руками.

— Что? — спросил Саша.

— Не могу... — проговорила она. — Как я могла жить здесь раньше, не понимаю, не постигаю! Жениха я презираю, себя презираю, презираю всю эту праздную, бессмысленную жизнь...

— Ну, ну... — проговорил Саша, не понимая еще, в чем дело. — Это ничего... Это хорошо.

— Эта жизнь опостылела мне,— продолжала Надя,— я не вынесу здесь и одного дня. Завтра же я уеду отсюда. Возьмите меня с собой, бога ради!

Саша минуту смотрел на нее с удивлением; наконец он понял и обрадовался, как ребенок. Он взмахнул руками и начал притоптывать туфлями, как бы танцуя от радости.

— Великолепно! — говорил он, потирая руки.— Боже, как это хорошо!

А она глядела на него не мигая, большими, влюбленными глазами, как очарованная, ожидая, что он тотчас же скажет ей что-нибудь значительное, безграничное по своей важности; он еще ничего не сказал ей, но уже ей казалось, что перед нею открывается нечто новое и широкое, чего она раньше не знала, и уже она смотрела на него, полная ожиданий, готовая на всё, хотя бы на смерть.

— Завтра я уезжаю,— сказал он, подумав,— и вы поедете на вокзал провожать меня... Ваш багаж я заберу в свой чемодан и билет вам возьму; а во время третьего звонка вы войдете в вагон — мы и поедем. Проводите меня до Москвы, а там вы одни поедете в Петербург. Паспорт у вас есть?

— Есть.

— Клянусь вам, вы не пожалеете и не раскаетесь,— сказал Саша с увлечением.— Поедете, будете учиться, а там пусть вас носит судьба. Когда перевернете вашу жизнь, то всё изменится. Главное — перевернуть жизнь, а всё остальное не важно. Итак, значит, завтра поедем?

— О да! Бога ради!

Наде казалось, что она очень взволнована, что на душе у нее тяжело, как никогда, что теперь до самого отъезда придется страдать и мучительно думать; но едва она пришла к себе наверх и прилегла на постель, как тотчас же уснула и спала крепко, с заплаканным лицом, с улыбкой, до самого вечера.

V

Послали за извозчиком. Надя, уже в шляпе и пальто, пошла наверх, чтобы еще раз взглянуть на мать, на всё свое; она постояла в своей комнате около постели,

еще теплой, осмотрелась, потом пошла тихо к матери. Нина Ивановна спала, в комнате было тихо. Надя поцеловала мать и поправила ей волосы, постояла минуты две... Потом не спеша вернулась вниз.

На дворе шел сильный дождь. Иавозчик с крытым верхом, весь мокрый, стоял у подъезда.

— Не поместись с ним, Надя, — сказала бабушка, когда прислуга стала укладывать чемоданы. — И охота в такую погоду провожать! Оставалась бы дома. Ишь ведь дождь какой!

Надя хотела сказать что-то и не могла. Вот Саша посадил Надю, укрыл ей ноги пледом. Вот и сам он поместился рядом.

— В добрый час! Господь благословит! — кричала с крыльца бабушка. — Ты же, Саша, пиши нам из Москвы!

— Ладно. Прощайте, бабуля!

— Сохрани тебя царица небесная!

— Ну, погодка! — проговорил Саша.

Надя теперь только заплакала. Теперь уже для нее ясно было, что она уедет непременно, чему она все-таки не верила, когда прощалась с бабушкой, когда глядела на мать. Прощай, город! И всё ей вдруг припомнилось: и Андрей, и его отец, и новая квартира, и нагая дама с вазой; и всё это уже не пугало, не тяготило, а было наивно, мелко и уходило всё назад и назад. А когда сели в вагон и поезд тронулся, то всё это прошлое, такое большое и серьезное, сжалось в комочек, и разворачивалось громадное, широкое будущее, которое до сих пор было так мало заметно. Дождь стучал в окна вагона, было видно только зеленое поле, мелькали телеграфные столбы да птицы на проволоках, и радость вдруг перехватила ей дыхание: она вспомнила, что она едет на волю, едет учиться, а это всё равно, что когда-то очень давно называлось уходить в казачество. Она и смеялась, и плакала, и молилась.

— Ничего-о! — говорил Саша ухмыляясь. — Ничего-о!

VI

Прошла осень, за ней прошла зима. Надя уже сильно тосковала и каждый день думала о матери и о ба-

бушке, думала о Саше. Письма из дому приходили тихие, добрые, и, казалось, всё уже было прощено и забыто. В мае после экзаменов она, здоровая, веселая, поехала домой и на пути остановилась в Москве, чтобы повидаться с Сашей. Он был всё такой же, как и прошлым летом: бородатый, со всклокоченной головой, всё в том же сюртуке и парусиновых брюках, всё с теми же большими, прекрасными глазами; но вид у него был нездоровый, замученный, он и постарел, и похудел, и всё покашливал. И почему-то показался он Наде серым, провинциальным.

— Боже мой, Надя приехала! — сказал он и весело рассмеялся. — Родная моя, голубушка!

Посидели в литографии, где было накурено и сильно, до духоты пахло тушью и красками; потом пошли в его комнату, где было накурено, наплевано; на столе возле остывшего самовара лежала разбитая тарелка с темной бумажкой, и на столе и на полу было множество мертвых мух. И тут было видно по всему, что личную жизнь свою Саша устроил неряшливо, жил как придется, с полным презрением к удобствам, и если бы кто-нибудь заговорил с ним об его личном счастье, об его личной жизни, о любви к нему, то он бы ничего не понял и только бы засмеялся.

— Ничего, всё обошлось благополучно, — рассказывала Надя торопливо. — Мама приезжала ко мне осенью в Петербург, говорила, что бабушка не сердится, а только всё ходит в мою комнату и крестит стены.

Саша глядел весело, но покашливал и говорил надтреснутым голосом, и Надя всё вглядывалась в него и не понимала, болен ли он на самом деле серьезно или ей это только так кажется.

— Саша, дорогой мой, — сказала она, — а ведь вы больны!

— Нет, ничего. Болен, но не очень...

— Ах, боже мой, — заволновалась Надя, — отчего вы не лечитесь, отчего не бережете своего здоровья? Дорогой мой, милый Саша, — проговорила она, и слезы брызнули у нее из глаз, и почему-то в воображении ее выросли и Андрей Андреич, и голая дама с вазой, и всё ее прошлое, которое казалось теперь таким же далеким, как детство; и заплакала она оттого, что Саша уже

не казался ей таким новым, интеллигентным, интересным, как был в прошлом году. — Милый Саша, вы очень, очень больны. Я бы не знала что сделала, чтобы вы не были так бледны и худы. Я вам так обязана! Вы не можете даже представить себе, как много вы сделали для меня, мой хороший Саша! В сущности для меня вы теперь самый близкий, самый родной человек.

Они посидели, поговорили; и теперь, после того как Надя провела зиму в Петербурге, от Саши, от его слов, от улыбки и от всей его фигуры веяло чем-то отжитым, старомодным, давно спетым и, быть может, уже ушедшим в могилу.

— Я послезавтра на Волгу поеду, — сказал Саша, — ну, а потом на кумыс. Хочу кумыса попить. А со мной едет один приятель с женой. Жена удивительный человек; всё сбиваю ее, уговариваю, чтоб она учиться пошла. Хочу, чтобы жизнь свою перевернула.

Поговоривши, поехали на вокзал. Саша угощал чаем, яблоками; а когда поезд тронулся и он, улыбаясь, помахивал платком, то даже по ногам его видно было, что он очень болен и едва ли проживет долго.

Приехала Надя в свой город в полдень. Когда она ехала с вокзала домой, то улицы казались ей очень широкими, а дома маленькими, приплюснутыми; людей не было, и только встретился немец-настройщик в рыжем пальто. И все дома точно пылью покрыты. Бабушка, совсем уже старая, но-прежнему полная и некрасивая, охватила Надю руками и долго плакала, прижавшись лицом к ее плечу, и не могла оторваться. Нина Ивановна тоже сильно постарела и подурнела, как-то осунулась вся, но всё еще по-прежнему была затянута, и бриллианты блестели у нее на пальцах.

— Милая моя! — говорила она, дрожа всем телом. — Милая моя!

Потом сидели и молча плакали. Видно было, что и бабушка и мать чувствовали, что прошлое потеряно навсегда и безвозвратно: нет уже ни положения в обществе, ни прежней чести, ни права приглашать к себе в гости; так бывает, когда среди легкой, беззаботной жизни вдруг нагрянет ночью полиция, сделает обыск, и хозяин дома, окажется, растратил, подделал, — и прощай тогда навеки легкая, беззаботная жизнь!

Надя пошла наверх и увидела ту же постель, те же

окна с белыми, наивными занавесками, а в окнах тот же сад, залитый солнцем, веселый, шумный. Она потрогала свой стол, постель, посидела, подумала. И обедала хорошо, и пила чай со вкусными, жирными сливками, но чего-то уже не хватало, чувствовалась пустота в комнатах, и потолки были низки. Вечером она легла спать, укрылась, и почему-то было смешно лежать в этой теплой, очень мягкой постели.

Пришла на минутку Нина Ивановна, села, как садятся виноватые, робко и с оглядкой.

— Ну, как, Надя? — спросила она, помолчав. — Ты довольна? Очень довольна? —

— Довольна, мама.

Нина Ивановна встала и перекрестила Надю и окна.

— А я, как видишь, стала религиозной, — сказала она. — Знаешь, я теперь занимаюсь философией и всё думаю, думаю... И для меня теперь многое стало ясно, как день. Прежде всего надо, мне кажется, чтобы вся жизнь проходила как сквозь призму.

— Скажи, мама, как здоровье бабушки?

— Как будто бы ничего. Когда ты уехала тогда с Сашей и пришла от тебя телеграмма, то бабушка, как прочла, так и упала; три дня лежала без движения. Потом всё богу молилась и плакала. А теперь ничего.

Она встала и прошлась по комнате.

«Тик-ток... — стучал сторож. — Тик-ток, тик-ток...»

— Прежде всего надо, чтобы вся жизнь проходила как бы сквозь призму, — сказала она, — то есть, другими словами, надо, чтобы жизнь в сознании делилась на простейшие элементы, как бы на семь основных цветов, и каждый элемент надо изучать в отдельности.

Что еще сказала Нина Ивановна и когда она ушла, Надя не слышала, так как скоро уснула.

Прошел май, настал июнь. Надя уже привыкла к дому. Бабушка хлопотала за самоваром, глубоко вздыхала; Нина Ивановна рассказывала по вечерам про свою философию; она по-прежнему проживала в доме, как приживалка, и должна была обращаться к бабушке за каждым двугривенным. Было много мух в доме, и потолки в комнатах, казалось, становились всё ниже и ниже. Бабуля и Нина Ивановна не выходили на улицу из страха, чтобы им не встретились отец Андрей и Анд-

рей Андрейч. Надя ходила по саду, по улице, глядела на дома, на серые заборы, и ей казалось, что в городе всё давно уже состарилось, отжило и всё только ждет не то конца, не то начала чего-то молодого, свежего. О, если бы поскорее наступила эта новая, ясная жизнь, когда можно будет прямо и смело смотреть в глаза своей судьбе, сознавать себя правым, быть веселым, свободным! А такая жизнь рано или поздно настанет! Ведь будет же время, когда от бабушкина дома, где всё так устроено, что четыре прислуги иначе жить не могут, как только в одной комнате, в подвальном этаже, в нечистоте,— будет же время, когда от этого дома не останется и следа, и о нем забудут, никто не будет помнить. И Надю развлекали только мальчишки из соседнего двора; когда она гуляла по саду, они стучали в забор и дразнили ее со смехом:

— Невеста! Невеста!

Пришло из Саратова письмо от Саши. Своим веселым, танцующим почерком он писал, что путешествие по Волге ему удалось вполне, но что в Саратове он прихворнул немного, потерял голос и уже две недели лежит в больнице. Она поняла, что это значит, и предчувствие, похожее на уверенность, овладело ею. И ей было неприятно, что это предчувствие и мысли о Саше не волновали ее так, как раньше. Ей страстно хотелось жить, хотелось в Петербург, и знакомство с Сашей представлялось уже милым, но далеким, далеким прошлым! Она не спала всю ночь и утром сидела у окна, прислушивалась. И в самом деле, послышались голоса внизу; встревоженная бабушка стала о чем-то быстро спрашивать. Потом заплакал кто-то... Когда Надя сошла вниз, то бабушка стояла в углу и молилась, и лицо у нее было заплакано. На столе лежала телеграмма.

Надя долго ходила по комнате, слушая, как плачет бабушка, потом взяла телеграмму, прочла. Сообщалось, что вчера утром в Саратове от чахотки скончался Александр Тимофеевич, или, попросту, Саша.

Бабушка и Нина Ивановна пошли в церковь заказывать панихиду, а Надя долго еще ходила по комнатам и думала. Она ясно сознавала, что жизнь ее перевернута, как хотел того Саша, что она здесь одинокая, чужая, ненужная и что всё ей тут ненужно, всё преж-

нее оторвано от нее и исчезло, точно сгорело и пепел разнесся по ветру. Она вошла в Сашину комнату, постояла тут.

«Прощай, милый Саша!» — думала она, и впереди ей рисовалась жизнь новая, широкая, просторная, и эта жизнь, еще неясная, полная тайн, увлекала и манила ее.

Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром простилась со своими и, живая, веселая, покинула город — как полагала, навсегда.

НЕОКОНЧЕННОЕ

РАССТРОЙСТВО КОМПЕНСАЦИИ

В доме уездного предводителя Бондарева, Михаила Ильича, шла всенощная. Служил молодой священник, полный блондин с длинными кудрями и с широким носом, похожий на льва. Пели только дьячок и писмоводитель.

Михаил Ильич, серьезно больной, неподвижно сидел в кресле, бледный, с закрытыми глазами, точно мертвец. Жена его Вера Андреевна стояла рядом, склонив голову набок, в ленивой и покорной позе человека, равнодушного к религии, но обязанного стоять и изредка креститься. Александр Андреич Яншин, родной брат Веры Андреевны, и его жена Леночка стояли позади кресла и тоже рядом. Был канун Троицы. В саду тихо шумели деревья, и прекрасная вечерняя заря горела по-праздничному, захватив полнеба.

Слышался ли в открытые окна трезвон городских и монастырских колоколов, кричал ли на дворе павлин, или кашлял кто-нибудь в передней, всем невольно приходило на мысль, что Михаил Ильич серьезно болен, что доктора приказали, как только ему станет легче, везти его за границу, но что изо дня в день ему становилось то лучше, то хуже, ничего нельзя было понять, а время шло, неопределенность наскучила. Яншин еще на Пасху приехал сюда, чтобы помочь сестре везти мужа за границу; но вот уж он прожил здесь со своей женой почти два месяца, вот уж служитя при нем чуть ли не третья всенощная, а будущее всё еще в тумане, и ничего нельзя понять. И никто бы не мог поручиться, что этот кошмар не будет тянуться до осени...

Яншин был недоволен и скучал. Ему надоело каждый день собираться за границу и уж хотелось домой, к себе в Новоселки. Правда, и дома невесело, но зато там нет этой просторной залы с четырьмя колоннами по углам, нет белых кресел с золотистой обивкой, жел-

тых портьер, люстры и всей этой мещанской безвкусицы, претендующей на великолепие, нет эхо, повторяющего ночью каждый твой шаг, а главное — нет этого болезненного, желтого, пухлого лица с закрытыми глазами... Дома можно смеяться, говорить глупости, громко ссориться с женой или с матерью, одним словом, жить как хочешь, а здесь, точно в пансионе, ходи на цыпочках, шепчись, говори только умное или вот стой и слушай всенощную, которая служится не из религиозного чувства, а, как говорит сам Михаил Ильич, по традиции... И ничто так не утомляет и не принижает, как это состояние, когда приходится смиряться перед человеком, которого в глубине души считаешь ничтожеством, и нянчиться с больным, которого не жаль...

Яншин думал еще об одном обстоятельстве: в прошлую ночь жена Леночка объявила ему, что она беременна. Эта новость была интересна только потому, что вносила в вопрос о поездке еще новую смуту. Как теперь быть? Везти ли Леночку с собой за границу или же отправить ее к матери в Новоселки? Но путешествовать в ее положении было бы неудобно, а домой она ни за что не поедет, так как не ладит со своею свекровью и не согласится жить в деревне одна без мужа.

«Или мне воспользоваться этим предлогом и вместе с нею уехать домой? — думал Яншин, стараясь не слушать дьячка. — Нет, неловко оставлять тут Веру одну... — решил он, взглянув на стройную фигурку своей сестры. — Но как же быть?»

Он думал и спрашивал себя: «Как же быть?» — и его жизнь представлялась ему крайне сложной и запутанной. Все эти вопросы о поездке, сестре, жене, зяте и проч., каждый в отдельности, быть может, решались бы очень легко и удобно, но все они были спутаны вместе и походили на невылазное болото, и стоило только решить какой-нибудь один, чтобы от этого еще пуще запутались другие.

Когда священник, перед тем как читать Евангелие, обернулся и сказал: «Мир всем!» — больной Михаил Ильич вдруг открыл глаза и задвигался в кресле.

— Саша! — позвал он.

Яншин быстро подошел к нему и нагнулся.

— Мне не нравится, как он служит... — сказал Михаил Ильич вполголоса, но так, что слова его ясно

пронеслись по зале; дыхание у него было тяжелое, со свистом и хрипом.— Я уйду отсюда. Проводи меня, Саша.

Яншин помог ему подняться и взял его под руку.
— Ты останься, милая...— сказал Михаил Ильич слабым, просящим голосом жене, которая хотела взять его под руку с другой стороны.— Останься! — повторил он с раздражением, взглянув на ее равнодушное лицо.— Я и так дойду!

Священник стоял с раскрытым Евангелием и ждал. Среди наступившей тишины ясно послышалось стройное хоровое пение мужских голосов. Пели где-то за садом, должно быть, на реке. И вышло очень мило, когда вдруг зазвонили в соседнем монастыре и этот мягкий, мелодичный звон смешался с пением. У Яншина сжалось сердце от сладкого предчувствия чего-то хорошего, и он едва не забыл, что ему нужно вести больного. Посторонние звуки, прилетевшие в залу, почему-то напомнили ему, как мало в его теперешней жизни наслаждения и свободы и как мелки, ничтожны и неинтересны задачи, которые он с таким напряжением решал каждый день от утра до ночи. Когда он повел больного и прислуга, сторонясь и давая дорогу, поглядывала с мрачным любопытством, с каким обыкновенно в деревнях глядят на мертвое тело, он вдруг почувствовал ненависть, тяжелую, острую ненависть к пухлому, бритому, актерскому лицу больного, к его рукам воскового цвета, к плюшевому халату, к дыханию, к стуку его черной палки... От этого чувства, которое он теперь испытывал впервые за всё время, пока жил, и которое так неожиданно захватило его, у него похолодели голова и ноги и сильно застучало сердце. Ему страстно захотелось, чтобы Михаил Ильич умер сию же минуту, чтоб он вскрикнул в последний раз и хлопнулся о пол, но в одно мгновение он вообразил себе эту смерть и с ужасом отвернулся от нее... Когда вышли из залы, он хотел уж не смерти больного, а жизни для себя: оторвать бы руки от теплой подмышки и бежать, бежать, бежать без оглядки...

Постель для Михаила Ильича была устроена в кабинете на турецком диване. В спальне больному казалось жарко и неудобно.

— Что-нибудь одно: будь попом или гусаром! —

сказал он, тяжело опускаясь на диван. — Что за манеры! Ах, боже мой... Я бы такого ферта-попа в дьячки разжаловал.

Глядя на его капризное, несчастное лицо, Яншин хотел возразить ему, сказать какую-нибудь дерзость, сознаться в своей ненависти, но вспомнил приказ докторов — не волновать больного, и промолчал. Впрочем, не в докторах дело. Чего бы только нельзя было наговорить и накричать, если бы с этим ненавистным человеком не была связана навеки и безнадежно судьба сестры Веры?

У Михаила Ильича была манера постоянно выпячивать вперед сжатые губы и двигать ими в стороны, точно он сосал леденец, и это движение бритых и полных губ раздражало теперь Яншина.

— Ты, Саша, иди туда... — сказал Михаил Ильич. — Ты здоров и, кажется, равнодушен к церкви... Для тебя всё равно, кто бы ни служил... Иди.

— Но ты ведь тоже равнодушен к церкви... — тихо проговорил Яншин, сдерживая себя.

— Нет, я верую в провидение и признаю церковь.

— Вот именно. Как мне кажется, в религии тебе нужны не бог и не истина, а такие слова, как провидение, свыше...

Яншин хотел прибавить: «иначе бы сегодня ты не оскорбил так священника», но замолчал. Ему казалось, что он уж позволил себе сказать и без того слишком много.

— Иди, пожалуйста! — проговорил нетерпеливо Михаил Ильич, который не любил, когда с ним не соглашались или говорили о нем самом. — Я никого не желаю стеснять... Я знаю, как тяжело сидеть около больного... Знаю, брат! Всегда говорил и буду говорить: нет тяжелее и святее труда, как труд сиделки. Иди, сделай милость.

Яншин вышел из кабинета. Спустившись к себе вниз, он надел пальто и шляпу и через парадную дверь прошел в сад. Был уже девятый час. Наверху пели канон. Пробираясь между клумб, розовых кустов, голубых из гелиотропа вензелей V и M (то есть Вера и Михаил) и мимо множества чудесных цветов, которые в этой усадьбе никому не доставляли удовольствия, а росли и цвели, вероятно, тоже «по традиции», Яншин

спешил и боялся, как бы не окликнула его сверху жена. Она легко могла его увидеть. Но вот он, пройдя немного парком, вышел на еловую аллею, длинную и темную, сквозь которую по вечерам бывает виден закат. Тут старые, дряхлые ели всегда, даже в тихую погоду, издают легкий, суровый шум, пахнет смолой, и ноги скользят по сухим иглам.

Яншин шел и думал о том, что ненависть, которая сегодня во время всеобщей так неожиданно овладела им, уже не оставит его и с нею придется считаться; она внесла в его жизнь еще новое осложнение и обещала мало хорошего. Но от елей, спокойного, далекого неба и от праздничной зари веяло миром и благодатью. Он с удовольствием прислушивался к своим шагам, которые одиноко и глухо раздавались в темной аллее, и уж не спрашивал себя: «Как же быть?..»

Почти каждый вечер он ходил на станцию получать газеты и письма, и это, пока он жил у зятя, было его единственным развлечением. Почтовый поезд приходил в три четверти десятого, именно в то время, когда дома начиналась нестерпимая вечерняя скука. В карты играть было не с кем, ужинать не давали, спать не хотелось, и потому приходилось поневоле или сидеть около больного, или же читать вслух Леночке переводные романы, которые она очень любила. Станция была большая, с буфетом и с книжным шкафом. Можно было закусить, выпить пива, посмотреть книги... Больше же всего Яншину нравилось встречать поезд и завидовать пассажирам, которые куда-то ехали и, казалось ему, были счастливее, чем он.

Когда он пришел на станцию, то на платформе уже гуляла в ожидании поезда та публика, которую он привык видеть здесь каждый вечер. Тут были дачники, жившие около станции, два-три офицера из города, какой-то помещик со шпорой на правой ноге и с догом, который ходил за ним, печально опустив голову. Дачники и дачницы, очевидно, хорошо знакомые между собой, громко разговаривали и смеялись. Как всегда, больше всех был оживлен и громче всех смеялся дачник-инженер, очень полный мужчина лет 45, с бакеннами и с широким тазом, одетый в ситцевую рубашку на выпуск и плисовые шаровары. Когда он, выпятив вперед свой большой живот и поглаживая бакены, проходил

мимо Яншина и ласково взглядывал на него своими масляными глазами, то Яншину казалось, что этот человек живет с большим аппетитом. У инженера было даже особенное выражение на лице, которое нельзя было иначе прочесть, как только: «Ах, как вкусно!» Фамилия у него была нескладная, тройная, и Яншин помнил ее только потому, что инженер, любивший громко поговорить о политике и поспорить, часто клялся и говорил:

— Не будь я Битный-Күшле-Сувремович!

Говорили, что он был большой весельчак, хлебосол и страстный винтер. Яншину давно уже хотелось познакомиться с ним, но подойти к нему и заговорить он не решался, хотя догадывался, что тот был не прочь от знакомства... Гуляя одиноко по платформе и слушая дачников, Яншин всякий раз почему-то вспоминал, что ему уже 31 год и что, начиная с 24 лет, когда он кончил в университете, он ни одного дня не прожил с удовольствием: то тяжба с соседом из-за межи, то у жены выкидыш, то кажется, что сестра Вера несчастна, то вот Михаил Ильич болен и нужно везти его за границу; он соображал, что всё это будет продолжаться и повторяться в разных видах без конца и что в 40 и 50 лет будут такие же заботы и мысли, как и в 31; одним словом, из этой твердой скорлупы ему не выйти уже до самой смерти. Надо уметь обманывать себя, чтобы думать иначе. И ему хотелось перестать быть устрицей хотя на один час; хотелось заглянуть в чужой мир, увлечься тем, что не касалось его лично, поговорить с посторонними для него людьми, хотя бы с этим толстым инженером или с дачницами, которые в вечерних сумерках все были так красивы, веселы, а главное молоды.

Пришел поезд. Помещик с одной шпорой встретил полную пожилую даму, которая обняла его и несколько раз повторила взволнованным голосом: «Alexis!» По всей вероятности, это была его мать. Он церемонно, точно балетный *jeune premier*, звякнул шпорой, предложил ей руку и сказал носильщику бархатным слащавым баритоном:

— Будьте так любезны, получите наш багаж!

Скоро поезд ушел... Дачники получили свои газеты и письма и разошлись по домам. Наступила тишина...

Яншин погулял еще немного по плацформе и пошел в залу I класса. Есть ему не хотелось, но он все-таки съел порцию телятины и выпил пива. Церемонные, изысканные манеры помещика со шпорой, его слащавый баритон и вежливость, в которой было так мало простоты, произвели на него неотвязчивое болезненное впечатление. Он вспоминал его длинные усы, доброе и неглупое, но какое-то странное, непонятное лицо, его манеру потирать руки, как будто было холодно, и думал о том, что если полная пожилая дама действительно мать этого человека, то, вероятно, она очень несчастна. Ее взволнованный голос говорил только одно слово: «Alexis!», но ее робкое, растерянное лицо и любящие глаза договаривали всё остальное...

II

Вера Андреевна видела в окно, как уходил ее брат. Она знала, что он идет на станцию, и вообразила себе еловую аллею всю до конца, потом спуск к реке, широкий вид и то впечатление покоя и простоты, какое всегда производили на нее река, заливные луга, а за ними станция и березовый лес, где жили дачники, а направо вдали — уездный городок и монастырь с золотыми главами... Потом она вообразила опять аллею, темноту, свой страх и стыд, знакомые шаги и всё то, что может повториться опять, быть может, даже сегодня... И она вышла из залы на минутку, чтобы распорядиться насчет чаю для батюшки, и, придя в столовую, достала из кармана письмо в твердом конверте и с заграничной маркой, согнутое вдвое. Это письмо было принесено ей минут за пять до всенощной, и она успела уже прочесть его два раза.

«Милая моя, дорогая, мучение мое, тоска моя», — прочитала она, держа письмо в обеих руках и давая им обоим упиваться прикосновением к этим милым, горячим строкам. «Милая моя, — начала она опять с первого слова, — дорогая, мучение мое, тоска моя, ты пишешь убедительно, но я все-таки не знаю, что мне делать. Ты тогда сказала, что *наверное* уезжаешь в Италию, и я, как сумасшедший, поскакал вперед, встретить тебя здесь и любить мою милую, мою радость... Я думал, что здесь ты уже не будешь в лунные ночи

бояться, как бы мою тень не увидели из окна твой муж или брат. Здесь я гулял бы с тобою по улицам и ты не боялась бы, что Рим или Венеция узнают о том, что мы любим друг друга. Прости, мое сокровище, но есть Вера робкая, малодушная, нерешительная; и есть другая Вера — равнодушная, холодная, гордая, которая при посторонних называет меня „вы“ и делает вид, что едва замечает меня. Я хочу, чтобы меня любила эта другая, эта гордая и прекрасная... Я не хочу быть филином, который имеет право наслаждаться только вечером и ночью. Дай мне света! Потемки гнетут меня, милая, и эта наша любовь урывками и украдкой держит меня впроголодь, и я раздражен, страдаю, бешусь... Ну, одним словом, я думал, что моя Вера, не первая, а другая, здесь, за границей, где от надзора легче укрыться, чем дома, даст мне хоть один час полной, настоящей любви, без оглядки, чтобы я хоть один раз как следует почувствовал себя любовником, а не контрабандистом, чтобы ты, когда обнимаешь, не говорила: „Мне уже пора!“ Я думал так, но вот прошел уже целый месяц, как я живу во Флоренции, тебя нет, и ничего неизвестно... Ты пишешь: „в этом месяце мы едва ли выберемся“. Что же это такое? Отчаяние мое, что ты делаешь со мной? Пойми, я без тебя не могу, не могу, не могу!!! Говорят, Италия прекрасна, но мне скучно, я точно в изгнании, и моя сильная любовь томится, как ссыльная. Мой каламбур, скажешь, не смешон, но ведь зато я смешон, как шут. Я мечусь то в Болонью, то в Венецию, то в Рим и всё смотрю, нет ли в толпе женщины, похожей на тебя. От скуки я по пяти раз обошел уже все картинные галереи и музеи и видел на картинах только тебя одну. В Риме я с одышкою взбираюсь на Monte Pincio и смотрю оттуда на вечный город, но вечность, красота, небо — всё сливается у меня в один образ с твоим лицом и в твоём платье. А здесь, во Флоренции, я хожу по лавкам, где продают скульптуру, и, когда никого не бывает в лавке, обнимаю статуи, и мне кажется, что это я тебя обнимаю. Ты нужна мне сейчас, сию минуту... Вера, я безумствую, но прости, я не могу, я завтра уеду к тебе... Это письмо лишнее, ну, да пусть! Милая, значит, решено: я завтра еду».

I

Александр Иванович вспомнил, что у его сестры Анюты крестины, и поехал к ней на дачу. Анюта была ему не родная сестра. Его родители в первые пять лет после женитьбы не имели детей и взяли себе на воспитание девочку-сиротку, а через два года после этого родился он, Александр Иванович. Она была, что называется, воспитанницей, но он любил ее нежно, как родную сестру. И детей ее тоже любил.

Вечерний шестичасовой поезд, на котором нужно было ехать, уже ушел. Пришлось нанять извозчика. И когда Александр Иванович приехал на дачу, то уже было поздно: крестины давно кончились, гости вернулись в город. Старая няня в белом фартуке ходила по комнатам и собирала детей, чтобы укладывать их спать.

— Глеб, где ты? — окликала она. — Иди, батюшка, простоквашу кушать! Где-еб!

Гасили огни в зале и гостиной. Анюта сидела у себя в кресле, успокоенная, довольная, что все эти хлопоты с родами и крестинами кончились и теперь обычная жизнь пойдет своим порядком. Около нее была Леля, ее дочь, четырех лет, русая, с большими ясными глазами.

— Приехал Саша! — сказала Анюта, увидев Александра Ивановича; она ему обрадовалась. — Опоздал! А мы ждали тебя до семи часов, потом решили, что ты не приедешь вовсе.

Он объяснил, почему приехал так поздно, спросил о здоровье, о новорожденном; начался разговор. Леля слушала и глядела на дядю, прямо в лицо, очень серьезно, неподвижно, не мигая глазами, как дорогая кукла.

— А у нас сегодня ребеночка крестили... — сказала она громко.

Он поцеловал ее в голову и спросил у сестры:

— Кто у тебя был сегодня?

— А я, признаться, думала, что ты обиделся и оттого не приехал,— продолжала Анята, не ответив на вопрос, и засмеялась.— Ты извини, я не пригласила тебя в крестные, не подумай бога ради, что это невнимание с моей стороны или что. Я было собралась тебе написать, да мой Сергей Николаич вдруг: «Что же это ты делаешь, Аня?» Я спохватилась. В самом деле, ведь в крестные матери мы позвали Сашу Колосову, она тебе нравится, может, и в самом деле вас бог благословит,— она девушка хорошая, а если бы вы покумились, то, говорят, не стали бы вас венчать...

Когда он ехал на дачу, то знал, что здесь будет разговор о девушке, которая ему нравилась, и о том, что он, вероятно, женится скоро — об этом говорил уже весь город —

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ
ИВАНА ИВАНЫЧА
(МЫСЛИ И ЗАМЕТКИ)

Женщина с самого сотворения мира считается существом вредным и злокачественным. Она стоит на таком низком уровне физического, нравственного и умственного развития, что судить об ее недостатках считает себя вправе всякий, даже лишенный всех прав мошенник и негодяй.

Анатомическое строение ее стоит ниже всякой критики. Когда какой-нибудь солидный отец семейства видит изображение женщины «о натюрель», то всегда брезгливо морщится и сплевывает в сторону. Иметь подобные изображения на виду, а не в столе и не в кармане, считается неприличием. Мужчина гораздо красивее женщины. Как бы он ни был жилист, волосат и угреват, как бы он ни был красен его нос и узок лоб, он женится не иначе, как после строгого выбора, и во всяком случае он глубоко убежден, что парой ему может быть только очень красивая женщина.

Один отставной поручик, обокравший тещу и щеголявший в жениных полусапожках, уверял, что если человек произошел от обезьяны, то сначала от этого животного произошла женщина, а потом уж мужчина. Титулярный советник Слюнкин, от которого жена записывала водку, часто говаривал: «Самое ехидное насекомое в свете есть женский пол».

У женщины волос долог, ум короток; у мужчины же наоборот. С женщиной нельзя потолковать ни о политике, ни о состоянии курса, ни о движении по службе. В то время как гимназист III класса решает уже мировые задачи, а коллежские регистраторы изучают книгу «30 000 иностранных слов», умные и взрослые женщины толкуют только о модах и военных.

Логика женщины вошла в поговорку. Когда какой-нибудь падворный советник Анафемский или депар-

таментский сторож Дорофей заводят речь о Бисмарке или о пользе наук, то любо послушать их: приятно и умилительно; когда же чья-нибудь супруга, за немением других тем, начинает говорить о детях или пьянстве мужа, то какой супруг воздержится, чтобы не воскликнуть: «Ну, да и логика же, господа, прости ты меня грешного!» Изучать науки женщина неспособна. Это явствует уже из одного того, что для нее не заводят учебных заведений. Мужчины, даже неразвитые и недалекие, изучают науки, по окончании курса наук получают чин и некоторые из них занимают кафедры, но женщина — ничтожество ей имя! Она не сочиняет для продажи учебников, не читает рефератов и длинных академических речей, не ездит на казенный счет в ученые командировки и не утилизирует заграничных диссертаций. Творческих талантов у нее — ни капли. Ей дана от природы только способность заворачивать в творения мужчин пирожки и делать из них папильотки.

Она порочна и безнравственна. От нее идет начало всех зол. В одной старинной книге сказано: «*Mulier est malleus, per quem diabolus mollit et malleat universum mundum*»¹. Когда дьяволу приходит охота учинить какую-нибудь пакость или каверзу, то он всегда норовит действовать через женщин. Вспомните, что из-за Бель Элен вспыхнула Троянская война, Мессалина совратила с пути истины не одного паиньку... Гоголь говорит, что чиновники берут взятки только потому, что на это толкают их жены. Это совершенно верно. Имущества айтирепнеров, казенных подрядчиков и секретарей теплых учреждений всегда записаны на имя жены. Распущена женщина донельзя. Каждая богатая барыня всегда окружена десятками молодых людей, жаждущих попасть к ней в альфонсы. Бедные молодые люди!

Отечеству женщина не приносит никакой пользы. Она не ходит на войну, не переписывает бумаг, не строит железных дорог, а, запирая от мужа графинчик с водкой, способствует уменьшению акцизных сборов.

Короче, она лукава, болтлива, суетна, лжива,

¹ «Женщина это молот, которым дьявол размягчает и молотит весь мир» (лат.).

лицемерна, корыстолюбива, бездарна, легкомысленна, зла... Только одно и симпатично в ней, а именно то, что она производит на свет таких милых, грациозных и ужасно умных душек, как мужчины... За эту добродетель простим ей все ее грехи. Будем к ней великодушны все, даже кокотки в пиджаках и те господа, которых бьют в клубах подсвечниками по мордасам.

Астрономы сильно обрадовались, когда открыли на солнце пятна. Случай беспримерного злорадства!

Когда козел бывает свиньей?

— Повадилося к нашим козам чей-то козел ходить, — рассказывал один помещик. — Мы взяли и побили его. Он продолжал все-таки ходить. Мы его выпороли и к хвосту его палку привязали. Но и это не помогло. Подлец всё еще продолжал лазить к нашим козам. Хорошо же! Мы его поймали, насыпали ему в нос табаку и намазали скипидаром. После этой экзекуции он не ходил три дня, а потом опять начал ходить. Ну, не свинья ли он после этого?

Одного семинариста спросили на экзамене: «Что такое человек?» Он отвечал: «Животное»... И, подумав немного, прибавил: «но... разумное»... Просвещенные экзаменаторы согласились только со второй половиной ответа, за первую же вlepили единицу.

Человека как анатомическое данное составляют:

Голова имеется у всякого, но не всякому пужна. По мнению одних, дана для того, чтобы думать, по мнению других — для того, чтобы носить шляпу. Второе мнение не так рискованно... Иногда содержит в себе мозговое вещество. Один становой пристав, присутствуя однажды на вскрытии скоропостижно умершего, увидал мозг. «Это что такое?» — спросил он доктора. «Это то, чем думают», — отвечал доктор. Пристав презрительно усмехнулся...

Лоб. Его назначение — стучать о пол при испрошении благ и биться о стену при недополучении этих благ. Очень часто дает реакцию на медь.

Язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли; но и мыслительная способность дана для того, чтобы уметь прятать свой язык. С тех пор, как доносы стали писаться на бумаге, остался за штатом. У женщин и змей служит органом приятного времяпрепровождения. Самый лучший язык — вареный.

Затылок нужен одним только мужикам на случай накопления недоимки. Орган для расходившихся рук крайне соблазнительный.

Сердце — вместилище патриотических и многих других чувств. Имеет вид червонного туза.

Брюшко. Орган не врожденный, а благоприобретенный. Начинает расти с чина надворного советника. Статский советник без брюшка — не действительный статский советник (Каламбур?! Ха, ха!) У чинов ниже надворного советника называется брюхом, у купцов — нутром, у купчих — утробой.

Микитки. Орган, в науке не исследованный. По мнению дворников, находится пониже груди, по мнению фельдфебелей — повыше живота.

Ноги растут из того места, ради которого природа березу придумала. В большом употреблении у почталюнов, репортеров и посыльных.

Пятки. Местопребывание души у провинившегося мужа, проговорившегося обывателя и у воина, бегущего с поля брани.

Жизнь пренеприятная штука, но сделать ее прекрасной очень нетрудно. Для этого недостаточно выиграть 200 000, получить Белого Орла, жениться на хорошенькой, прослыть благонамеренным — все эти блага тленны и поддаются привычке. Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали, нужно: а) уметь довольствоваться настоящим и б) радоваться сознанию, что «смогло бы быть и хуже». А это нетрудно:

Когда у тебя в кармане загораются спички, то радуйся и благодари небо, что у тебя в кармане не пороховой погреб.

Когда к тебе на дачу приезжают бедные родственники, то не бледней, а торжествуя восклицай: «Хорошо, что это не городовые!»

Когда в твой палец попадает заноза, радуйся: «Хорошо, что не в глаз!»

Если твоя жена или свояченица играет гаммы, то не выходи из себя, а радуйся, что ты слушаешь игру, а не вой шакалов.

Радуйся, что ты не лошадь конножелезки, не коховская «запятая», не трихина, не свинья, не осел, не медведь, которого водят цыгане, не клоп... Радуйся, что ты не хромой, не слепой, не глухой, не немой, не холерный... Радуйся, что в данную минуту ты не сидишь на скамье подсудимых, не видишь пред собой кредитора.

Если ты живешь в не столь отдаленных местах, то разве нельзя быть счастливым от мысли, что тебя не угораздило попасть в столь отдаленные?

Если у тебя болит один зуб, то ликуй, что у тебя болят не все зубы.

Когда ведут тебя в участок, то прыгай от восторга, что тебя ведут не в геенну огненную.

Если тебя секут березой, то дрыгай ногами и восклицай: «Как я счастлив, что меня секут не крапивой!»

Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству.

Последуй, человеке, моему совету, и жизнь твоя будет состоять из сплошного ликования.

Грачи прилетели и толпами закружились над русской пашней. Я выбрал самого солидного из них и начал с ним разговаривать.

Я.— Говорят, что вы, грачи, живете очень долго. Вас да еще щук естествоиспытатели ставят образцом необыкновенного долголетия. Тебе сколько лет?

Грач.— Мне 376 лет.

Я.— Ого! Однако! Нечего сказать, пожил! Что же ты, грач, сделал за всё это время?

Грач.— Ничего, г. человек! Я только пил, ел, спал и размножался...

Я (продолжая изумляться).— 376 лет! Ведь это что же такое! Целая вечность! Ведь ты пойми: один рубль, положенный в банк по 5 сложных процентов, обращается через 283 года в миллион! Высчитай-ка! Стало быть, если бы ты 283 года тому назад положил в банк

один рубль, то у тебя теперь был бы миллион! Ах ты, глупец, глупец! И тебе не обидно, не стыдно, что ты так глуп?

Грачу стало стыдно.

— А плевать я хотел на ваш миллион! — сказал он грубо, чтобы скрыть свое смущение.

И улетел.

Жили-были себе дед да баба. Жили, были и породили Сержа. У Сержа уши длинные и вместо головы репка. Вырос Серж большой-пребольшой... Потянул дед за уши; тянет-потянет, вытянуть в люди не может. Кликнул дед бабку.

Бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут и вытянуть не могут. Кликнула бабка тетку-княгиню.

Тетка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть в люди не могут. Кликнула княгиня кума-генерала.

Кум за тетку, тетка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Не вытерпел дед. Выдал он дочку за богатого купца. Кликнул он купца с сторублевками.

Купец за кума, кум за тетку, тетка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут и вытянули голову-репку в люди.

И Серж стал статским советником.

Некий философ сказал, что если бы почтальоны знали, сколько глупостей, пошлостей и нелепостей приходится им таскать в своих сумках, то они не бегали бы так быстро. Это правда. Иной почтальон, задыхаясь и сломя голову, летит на шестой этаж ради того, чтобы дотащить только одну строку: «Душка! Целую! Твой Мишка!» или же визитную карточку: «Одеколон Панталонович Подбрюшкин». Другой бедняга четверть часа звонится у двери, зябнет и томится, чтобы доставить по адресу описание кутежа у капитана Епишкина. Третий как угорелый бегаёт по двору и ищет дворника, чтобы передать жильцу письмо, в котором просят «поцеловать милых деточек». А поглядеть на

них, так подумаешь, что они тащат самого Канта или Спинозу!

Что такое письмо? Письмо есть один из способов обмена мыслей и чувств; но так как очень часто письма пишутся людьми бессмысленными и бесчувственными, то это определение не совсем точно. Придется остановиться на определении, данном одним образованным почтовым чиновником: «Письмо есть такое имя существительное, без которого почтовые чиновники сидели бы за штатом, а почтовые марки не были бы продаваемы». Письма бывают открытые и закрытые. Последние должны быть распечатываемы со всею осторожностью и по прочтении вновь тщательно запечатываемы, дабы адресат не мог впасть в сомнение. Чужие письма читать вообще не рекомендуется, хотя, впрочем, польза ближнего и предполагает это прочтение. Родители, жены и старшие, пекущиеся о нашей нравственности, образе мыслей и чистоте убеждений, должны читать чужие письма. Письма надлежит писать отчетливо и с уважением. Вежливость, почтительность и скромность в выражениях служат украшением всякого письма, в письмах же к старшим надлежит помимо того руководствоваться табелью о рангах, предпосылая имени адресата его полный титул, например: «Ваше Превосходительство, отец и благодетель, Иван Иванович! Просвещенное внимание Ваше и проч. ...»

О б р а з ц ы п и с е м:

К начальнику. Ваше Превосходительство, милостивый государь, отец и благодетель! Осмеливаюсь почтительнейше донести Вашеству, что помощник бухгалтера Пересекин, будучи вчера на крестинах у Чертоболотова, неоднократно высказывал мысль о необходимости перекраски полов в правлении, покупки нового сукна на столы и проч. Хотя в сей мысли и нет ничего вредоносного, но нельзя не подметить в ней некоторого недовольства существующим порядком. Ваше Превосходительство! Благодеяния, в коих Вы неутомимы, не имеют числа, но довершите, отец и благодетель, благостыню Вашу и исторгните из среды нашей людей, кои и сами гибнут и других влекут к гибели... Вашего Превосходительства покорнейший слуга и молитвенник Семен Гнуснов.

Р. S. Осмелюсь напомнить Вашему Превосходи-

тельство о месте помощника бухгалтера, которое Вы изволили обещать племяннику моему Капитону. Человек хотя необразованный, но почтительный и трезвый.

К подчиненному. Третьего дня, подавая мне и жене моей калоши, ты стоял на сквозном ветру и, как говорят, простудился, по каковой причине и не являешься на службу. За такое небрежение к своему здоровью объявляю тебе строгий выговор...

Любовное письмо. Милостивая государыня, Марья Еремеевна! Имея крайнюю нужду в деньгах, имею честь предложить Вам руку и сердце. На случай какого-либо сомнения прилагаю при сем полицейское свидетельство о поведении. Любящий М. Трунов.

Дружеское. Любезный Вася! Не можешь ли ты, голубчик, дать мне займы до завтра пять рублей? Твой Ипохондрик. (Отвечать следует так: «Не могу».)

Деловое. Ваше Сиятельство, княгиня Миликтриса Кирбитьевна! Почтительнейше осмелюсь напомнить Вашему Сиятельству о карточном должке в размере 1 р. 12 к., кои я имел честь выиграть у Вашего Сиятельства третьего года у Белоедова и до сих пор не имел еще чести получить. В ожидании и проч. ...Зеленоцупов.

Непочтительное. Милостивый государь! Вчера я случайно узнал, что наградами, которые я получил к Новому году, я обязан не моим личным заслугам, а моей жене, которая обманывала меня вместе с вами. Служить у вас я больше не желаю и буду очень рад, если больше не увижу вашей рожи, весьма противной. Жену мою можете взять себе и не возвращать. Примите уверение в моем к вам презрении и проч. Такой-то.

Тема для масленичной проповеди. О бренности всего земного. Надворный советник Семен Петрович Подтыкин сел за стол, покрыл свою грудь салфеткой и, стораю нетерпением, стал ожидать того момента, когда начнут подавать блины... Перед ним, как перед полководцем, осматривающим поле битвы, расстилалась целая картина... Посреди стола, вытянувшись во фронт, стояли стройные бутылки. Тут были три сорта водок, киевская наливка, шатолароз, рейнвейн и даже пузатый сосуд с произведением отцов бенедиктинцев. Во-

круг напитков в художественном беспорядке теснились сельди с горчичным соусом, кильки, сметана, зернистая икра (3 руб. 40 к. за фунт), свежая семга и проч. Подтыкин глядел на всё это и жадно глотал слюнки... Глаза его подернулись маслом, лицо покривило сладострастьем...

— Ну, можно ли так долго? — поморщился он, обращаясь к жене. — Скорее, Катя!

Но вот наконец показалась кухарка с блинами... Семен Петрович, рискуя ожечь пальцы, схватил два верхних, самых горячих блина и ащетитно плешнул их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки... Подтыкин приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил их горячим маслом. Засим, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно, с расстановкой обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облил сметаной... Оставалось теперь только есть, не правда ли? Но нет... Подтыкин взглянул на дела рук своих и не удовлетворился... Подумав немного, он положил на блины самый жирный кусок семги, кильку и сардинку, потом уж, млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крикнул, раскрыл рот...

Но тут его хватил апоплексический удар.

Старшие те же мертвецы: о них «aut bene, aut nihil».

Мы живем не для того, чтобы есть, а для того, чтобы не знать, что нам есть.

Нам нужно только то, что нам нужно...

Женщине легче найти многих мужей, чем одного...

Прочность и постоянство законов природы заключаются в том, что их не может обойти ни один адвокат.

Водка бела, но красят нос и чернят репутацию.

Можно сказать: «Я друг этого дома», но нельзя сказать: «Я друг этого деревянного дома». Из этого следует, что, говоря о предметах, иногда бывает нужно скрывать их качества...

По мнению начитанных гувернанток и ученых губернаторш, душа есть неопределенная объективность психической субстанции. Я не имею причин не соглашаться с этим.

Один умный, всеми уважаемый участковый пристав имел дурную привычку, а именно: сидя в компании, он любил кичиться своими дарованиями, которых, надо отдать ему полную справедливость, было у него очень много. Он кичился своим умом, энергией, силой, образом мыслей и проч.

— Я силен! — говорил он. — Хочу — подкову сломаю, хочу — человека с кашей съем...

Он кичился, и все ему удивлялись. К несчастью, пристав не кончил нигде курса и не читал прописей; он не знал, что самообольщение и гордость суть пороки, недостойные благородной души. Но случай вразумил его. Однажды зашел он к своему другу, старику брандмейстеру, и, увидев там многочисленное общество, начал кичиться. Выпив же три рюмки водки, он выпучил глаза и сказал:

— Смотрите, ничтожные! Смотрите и разумеите! Солнце, которое вот на небеси с прочими светилами и облаками! Оно идет с востока на запад, и никто не может изменить его путь! Я же могу! Могу!

Старик брандмейстер, подавая ему четвертую рюмку, заметил дружески:

— Верю-с! Для человеческого ума нет ничего невозможного. Сей ум всё превзошел. Может он и подковы ломать, и каланчу до неба выстроить... всё может! Но, Петр Евтропыч, смею вам заметить, есть одно, чего не может побороть ум человеческий.

— Что же это такое? — презрительно усмехнулся самообольщенный.

— Вы можете всё пересилить, но не можете пересилить самого себя. Да-с! «Гноти се автѳн», говорили

древние... Познай самого себя... А вы себя ни познать, ни пересилить не можете. Против своей природы не пойдешь. Да-с!

— Нет, пойду! И себя пересилю!

— Ой, не пересилите! Верьте старику, не пересилите!

Поднялся спор. Кончилось тем, что старик брендмейстер повел гордеца в мелочную лавочку и сказал:

— Сейчас я вам докажу-с... У этого вот лавочника в этой шкатулке лежит десятирублевка. Вот она, извольте посмотреть... Если вы можете пересилить себя, то не берите этих денег...

— И не возьму! Пересилю!

Гордец скрестил на груди руки и при общем внимании стал себя пересиливать. Долго он боролся и страдал. Полчаса пучил он глаза на шкатулку, багровел и сжимал кулаки, но под конец не вынес, машинально протянул к шкатулке руку, вытащил десятирублевку и судорожно сунул ее к себе в карман.

— Да! — сказал он. — Теперь понимаю!

И с тех пор он уж никогда не кичится своей силой.

Некая муха летала по всем комнатам и громко хвастала тем, что сотрудничает в газетах.

— Я писательница! Я публицистка! — жужжала она. — Расступитесь, невежи!

Слыша это, все комары, тараканы, клопы и блохи проицились уважением к ее особе и многие даже пригласили ее к себе обедать и дали взаймы денег, а паук, боящийся гласности, забился в угол и решил не попадаться на глаза мухе...

— А в каких газетах вы сотрудничаете, Муха Ивановна? — спросил ее комар, который посмелее.

— Почти во всех! Есть даже газеты, которым я своим личным участием придаю окраску, тон и даже направление!.. Без меня многие газеты были бы лишены своего характера!

— Что же вы в газетах пишете, Муха Ивановна?

— Я веду там особый отдел...

— Какой?

— А вот какой!

И публицистка-муха указала на бесчисленные точки, которыми был покрыт засиженный мухами газетный лист.

Его благородию г. Приставу 2-го стана

Д о н е с е н и е

Честь имею донести вашему благородию, что в Михайловской роще близ Старой балки, перейдя мостик, усмотрен мною без всяких признаков жизни повесившийся труп мертвого человека, назвавшийся, как видно из его бумаг, отставным рядовым Степаном Максимовым Качаговым 51 года. Из сумы и прочих рубищ явствует, что он нищий. Кроме веревки никаких последствий на теле не оказалось, вещи же полностью при нем. Причины такого самоубийства мною не обнаружены, но, как явствует из водочного запаха, причины произошли от невоздержного злоупотребления горячительными напитками.

Урядник Денис Постников.

ПРЕДПИСАНИЕ

Ввиду наступления высокаторжественного праздника Рождества Христова и принимая во внимание, что в праздничные дни в приемной бывает большое стечение поздравителей, вменяю вам, милостивый государь, в обязанность строжайше наблюдать, чтобы поздравители, ожидая в приемной, не толпились, не курили табаку и не производили шума, каковой мог бы помешать надлежащему ходу порядка, а также чтобы они не рассыпали крупы, гороха, муки и прочих съестных припасов ни на лестнице, ни в приемной, а также вменяю вам в обязанность внушать поздравителям, по возможности вежливо и учтиво, чтобы имеющаяся при них живность имела мертвый вид, дабы свиньями, гусями и прочими животными криками поздравители не нарушали надлежащей тишины и спокойствия. Нарушители же сего будут привлекаемы к строгой ответственности по установленному порядку.

Коллежский Советник и Кавалер: М. Пауков.

Секретарь: Ехидов.

ЗАТМЕНИЕ ЛУНЫ
(из провинциальной жизни)

№ 1032.

Циркулярно.

22-го сентября в 10 часов вечера имеет быть затмение планеты луны. Так как подобное явление природы не только не предосудительно, но даже поучительно в том рассуждении, что даже и планеты законам природы часто повинуются, то в видах поощрения предлагаю вам, ваше благородие, сделать распоряжение о зажжении в этот вечер в вашем участке всех уличных фонарей, дабы вечерняя темнота не мешала начальствующим лицам и жителям обозревать оное затмение, а также прошу вас, милостивый государь, строго следить, чтобы на улицах не было по сему поводу сборищ, радостных криков и прочее. О лицах, превратно истолковывающих оное явление природы, если таковые окажутся (на что я, впрочем, зная здравомыслие обывателей, не надеюсь), прошу доносить мне.

Гнилодушин.

В ответ на отношение вашего высокоблагородия за № 1032 имею честь заявить, что в моем участке уличных фонарей не имеется, а посему затмение планеты луны произошло при полной темноте воздуха, но несмотря на это многими было видимо в надлежащей отчетливости. Нарушений общественной тишины и спокойствия, равно как превратных толкований и выражений недовольствия, не было за исключением того случая, когда домашний учитель, сын дьякона Амфилохий Бабельмандебский, на вопрос одного обывателя, в чем заключается причина сего потемнения планеты луны, начал внушать длинное толкование, явно клонящееся к разрушению понятий здравого смысла. В чем же заключалось его толкование, я не понял, так как он, объясняя по предметам науки, употреблял в своих словах много иностранных выражений.

Укуси-Каланчевский.

В ответ на отношение вашего высокоблагородия за № 1032 имею честь донести, что во вверенном мне участке затмения луны не было, хотя, впрочем, на небе и

происходило некоторое явление природы, заключавшееся в потемнении лунного света, но было ли это затмение, доподлинно сказать не могу. Уличных фонарей по тщательном розыске оказалось в моем участке только три, кои после омытия стекол и очищения внутренностей были зажжены, но все эти меры не имели надлежащей пользы, так как означенное потемнение происходило тогда, когда фонари вследствие дутья ветра и проникновения в разбитые стекла потухли и, следовательно, не могли прояснять означенной в отношении вашего высокоблагородия темноты. Сборищ не было, так как все обыватели спали за исключением одного только писца земской управы Ивана Авелева, который сидел на заборе и, глядя в кулак на потемнение, двухсмысленно улыбался и говорил: «По мне хоть бы и вовсе луны не было... Наплевать!» Когда же я ему заметил, что сии слова легкомысленны, он дерзко заявил: «А ты, мыбра, чего за луну заступаешься? Нешто и ее ходил с праздником поздравлять?» При чем присовокупил безправственное выражение в смысле простонародного ругательства, о чем и имею честь донести.

Глоталов.

ПИСЬМО К РЕПОРТЕРУ

Милостивый государь Иван Данилыч! На этой неделе, как мне известно из газеты, было шесть больших и четыре маленьких пожара. Застрелился молодой человек от пламенной любви к одной девице, эта же девица, узнав о его смерти, поменялась в рассудке. Повесился дворник Гускин от неумеренного употребления, потонула вчерашнего числа лодка с двумя пассажирами и маленьким дитем, в «Аркадии» какому-то купцу прожгли на спине дыру и чуть ему шеи не сломали, поймали четырех прилично одетых жуликов, и произошло кораблекрушение товарного поезда. Всё мне известно, милостивый государь! Столько разных благоприятных для вас случаев, столько вы теперь заработали денег и мне не платите ни копейки!.. Этак хорошие господа не делают!

Ваш портной Змирлов.

**ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ,
ВАРИАНТЫ**

У ЗНАКОМЫХ

Варианты белового автографа

Стр. 7.

⁷ Фразы: Ждем с нетерпением.— нет.

¹⁰ Лосевой / Горбылиной ¹

¹¹ Подгорин / Подгорский ¹

¹⁴ прогулки по вечерам / прогулки

²⁶ И теперь / Да и теперь

³⁰⁻³² любил их очень *и* и чуждо. / любил их очень, но, кажется, только в своих воспоминаниях; настоящее [же] было ему мало знакомо и чуждо.

³⁵ Сергей Сергееч... / Сергей Сергееч, неинтересный, ни на что не способный, ленивый малый;

Стр. 8.

¹ только шесть лет назад, но уже разорены / шесть лет назад и уже разорены

² Слов: этим самым Сергеем Сергеечем — нет.

¹¹⁻¹² вероятно, очаровательно только в воспоминаниях / хорошо только в воспоминаниях

²² не был у Лосевых / не был в Кузьминках

²³ походив по комнате / походив по кабинету \diamond

²⁴ поехать к ним / поехать туда

²⁵⁻²⁶ отбыть эту повинность *и* до будущего лета / отбыть эту повинность, чтобы [совесть], потом совесть была покойна до будущего лета

³⁴ Слов: и разные хозяйственные предприятия — нет.

⁴⁰ никакого удовольствия / удовольствия

⁴⁰⁻⁴¹ им овладевало / им даже овладевало \diamond

⁴²⁻⁴³ другие, и он не понимал людей / другие; он не любил людей

¹ Далее так по всему тексту.

Стр. 9.

- 1-3 около порядочных ∞ как репейник / около чистых женщин, и к которым всякая нечистота пристаёт, как репейник
- 3-6 *Фразы:* И Лосева ∞ брезгливое чувство... — нет.
- 7 Сергееч / Сергеевич ◊
- 12 *После:* дружище. — Это с вашей стороны совсем не по-дружески.
- 16 простым, чисто русским / чисто русским
- 20-21 Надежда, его свояченица, казалась воздушной. / Надежда, высокая и не худая, казалась воздушной.
- 29 У нас Варя, и тоже ждет вас. / У нас Варя.

Стр. 10.

- 3-5 к разговору ∞ небрежно / к разговору, и если фраза нравилась ему, то он повторял ее по целым неделям. Была у него и другая особенность: всегда он подражал кому-нибудь и чаще всего московским артистам. Если он закатывал глаза, небрежно
- 7 на обеде / на званом обеде ◊
- 7-8 где говорили речи / где при нем говорили речи ◊
- 9 должно быть, тоже подражал / очевидно, подражал
- 18 Варя, курсистка, кстати брала / Варя, курсистка, брала
- 20-21 хотела только ∞ страстно хотела / хотела только, страстно хотела любви и счастья ◊
- 23 более тридцати лет / больше тридцати лет
- 30-32 любила сильно ∞ счастливой. / любила сильно, но не была счастлива; ревность и страх за детей мучили ее постоянно. ◊
- 42-43 разговор о векселях и закладных, — этого не миновать / разговор о делах, — это неизбежно

Стр. 11.

- 2 отделаться поскорее и — потом в сад, на воздух... / отделаться поскорее и — баста.
- 4-5 в Кузьминках новенького? ∞ Датском королевстве? / в Кузьминках? Как?
- 6-7 ответила Татьяна и печально вздохнула / вздохнула Татьяна
- 11-12 приезжают сюда ∞ смотрят... / приезжают сюда и осматривают.
- 12-15 *Текста:* Всякий теперь ∞ оскорбляет глубоко. — нет.
- 40 *Слов:* справедливый и разумный — нет.

Стр. 12.

- 1-2 В нем было ∞ случалось вести / В нем была странная раздвоенность. Как адвокат, он вел
- 2-3 с клиентами он держался / с клиентами держался

- 7-8 чувствителен и не умел ∞ Достаточно было / чувствителен, не умел говорить прямо, и достаточно было
- 12-13 год назад ∞ барыни на Бронной / год назад, у одной барыни на Бронной он встретился с Сергеем Сергеечем
- 16 поставил ∞ затруднение / поставил его прямо в тупик
- 17 все щекотливые и неприятные вопросы / все затруднительные вопросы
- 36-37 А идти рядом с Сергеем Сергеечем / А идти с ним рядом ◊
- 37 говорить с ним было мучительно / говорить с ним — это была совершенная пытка
- 38 то и дело целовался, и всё по три раза / всё целовался, по три раза
- 39-40 дышал в лицо ∞ прилипнет к вам / дышал в лицо, — совсем липкий человек
- 42-43 тягостное впечатление / такое впечатление
- 43 прицеливался из револьвера / прицеливался в него из револьвера

Стр. 13.

15 и сам он / и он сам ◊

1-34 *Текста:* По линии железной дороги ∞ хлопнула его рукой по плечу. — *нет.*

Стр. 14.

1-2 дурадея-идеалиста / дурака-идеалиста

2-3 так идеалистом и умер. Горбатого могила исправит. / так дураком и умер.

10-14 Когда он хотел ∞ убрать водку. / — Господи, довольно себя отравлять, — сказала строго Варя. — Вы алкоголики, я вижу. Таня, вели убрать водку. — *Этот текст шел после слов:* так дураком и умер.

23-24 и избаловали ∞ так что он / и так избаловали его своим поклонением, что он

37-39 расходует на такую ∞ уже устроено / расходует только на мужа и детей

41 неинтересно и неумно / неинтересно

Стр. 15.

10-11 и слезы ∞ по щекам / и слезы показались у нее на глазах

16-17 «При чем тут поколение ∞ не больше...» / Подгорский не понимал: при чем тут поколение? Ведь он и Сергей Сергееч почти сверстники, и разница в годах пять-шесть лет, не больше...

19 вздохнула / вздохнула печально

19-20 угрожает какая-нибудь потеря / угрожают потери

20-30 всё ∞ необходимо / всё, что делается, нужно

- ³⁵ Варя, легко впадающая / Варя, охотно впадающая ◊
 Стр. 16.
- ¹⁻² *Текста:* — Ну, из Некрасова ∞ нечаянно вышло. — *нет.*
¹⁰⁻¹¹ *После:* не Сергею Сергеичу — *зачеркнуто:* а ей
¹⁵⁻¹⁶ с благоприятной развязкой / с благополучной развязкой
¹⁸⁻¹⁹ Надежде / Татьяне ◊
³⁵ у нее на душе / в ее душе ◊
³⁵⁻³⁶ что когда-то происходило у ее сестры / что у ее сестры
 Стр. 18.
- ²³ *Фразы:* Закрыли рояль. — *нет.*
⁴² *После:* Сели. — *начато и зачеркнуто:* kog (нас)
 Стр. 19.
- ⁶ Нашему брату-чудаку / Нашему брату-идеалисту
⁷⁻¹⁰ крышка. ∞ очень претит! / крышка. Что ж? Туда и до-
 рога, не будь дураком, не зевай. Сергей Горбылин, прочь
 с дороги!
²⁹⁻³⁰ проиграть в карты / проиграть в вист
³¹⁻³² желая отделаться поскорее / желая скорее отделаться
³³⁻³⁴ казалось, уже прилипли / казалось, прилипли
³⁹⁻⁴⁰ У меня песносный бабий характер. / Я баба.
 Стр. 19—20.
- ⁴³⁻² *Текста:* — И ради бога ∞ больше ничего. — *нет.*
 Стр. 20.
- ¹³⁻¹⁴ наделал массу зла / наделал такую массу зла
²³⁻³² *Текста:* — О, как вы ∞ с вами до одурения! — *нет.*
³³⁻³⁵ Сказавши это ∞ что хотел. / И, сказавши это, Подгорский
 быстро вышел из флигеля.
 Стр. 20—21.
- ³⁷⁻⁵ *Текста:* Какая польза говорить ∞ не давать денег». — *нет.*
 Стр. 21.
- ⁵ он уже не думал / уже не думал
²⁰ *После:* две двери — *зачеркнуто:* одна в сад, другая в поле
²⁵⁻²⁷ кривыми ∞ в тишине / кривыми ножками казались жи-
 выми и были страшны
³⁹ тихо позвал женский голос / позвал тихий женский голос
⁴⁰ *После:* вошла в башню, и — *зачеркнуто:* потом
⁴¹⁻⁴² черная собака ∞ Подгорина / черная собака, Жук
⁴²⁻⁴³ глядя вверх ∞ дружелюбно замахала / глядя вверх на
 Подгорского, замахала
 Стр. 22.
- ¹ А потом ∞ из черной канавы / Затем из черной канавы
⁵ и стала смотреть вверх / и тоже стала смотреть вверх
⁶ но, вероятно, чувствовала / но чувствовала

- 8-9 Черная тень от башни / Черная башня
 21 тянувшаяся по земле далеко в поле / которая тянулась далеко в поле, и рядом другая тень, поменьше
 11 *Слов:* тени обеих — нет.
 16 *После:* прекрасную ночь.— А ему было неловко, он сжался, притих, не знал, говорить ли ему или молчать, и чувств[уя]овал себя виноватым
 21-37 а ему было неловко ∞ предпочел бы / а он смотрел на нее равнодушно и думал о том, что эти свидания в лунные ночи, большие фигуры с тонкими талиями, томление, жажда ласки и объятий — всё это уже [не интересно, потому что] отжило и неинтересно. Отжили и таинственные тени, и усадьбы, и такие «типы», как Сергей Сергееч, и башни. Здесь, в усадьбе, в лунную ночь, около красивой, влюбленной, мечтательной девушки он так же холоден, как на Малой Бронной, потому что эта поэзия отжила для него так же, как та [проза] грубая проза; и теперь, [здесь] сидя здесь на этой башне, он [всему, что видел,] предпочел бы
 38-49 *Слов:* или Варю ∞ «Железную дорогу» — нет,
 40 или другую женщину / или женщину
Стр. 22—23.
 43-3 *Текста:* а если ∞ предчувствуем иногда...— нет.
Стр. 23.
 8-9 «Как это всё ∞ к себе во флигель. / Возвращаясь к себе во флигель, он повторял мысленно: — Как это всё [случилось однако] сложилось однако... ◊
 26-27 *Фразы:* Отпустите меня, пожалуйста.— нет,
 33 он уже последний раз / он последний раз ◊
 42 *После:* платье и — зачеркнуто: были

Первоначальные варианты гранок

- Стр.* 7.
 30 больше, кажется, любил / больше любил
Стр. 9.
 3 И Лосева / И Сергея Сергееча
Стр. 11.
 4 новенького / чего-нибудь новенького
Стр. 17.
 25 мягкой душой / мягкой, милой душой
Стр. 22.
 26 равнодушен / был равнодушен

ИОНЫЧ

Варианты белого автографа (БА)
и «Ежемесячных литературных приложений
к журналу „Нива“» (Н)

Стр. 24.

²⁹ в кухне стучали / в кухне, не умолкая, стучали (БА)

Стр. 25.

⁹ После: погулял в саду — выпил бутылку нива (БА)

¹⁴ на крыльце / на крыльце; от послеобеденного сна лицо у него было заспанное и немпожко опухло (БА)

¹⁴⁻¹⁵ Очень, очень рад ∞ гостя. / Очень, очень рад вас видеть. (БА)

²⁰ Слова: душенька — нет. (БА)

²⁹ После: вслух.— Соберутся добрые знакомые — так, кто-кто... (БА)

³⁸ с конфетами / с конфетами (БА)

Стр. 26.

⁷ на кухне / в кухне

⁸ После: жареного лука — на улице гуляли (БА)

³⁵ отвечала она / ответила она (БА)

Стр. 27.

⁴ внутрь рояля / вовнутрь рояли (БА)

⁸⁻⁹ сыплются камни, сыплются и всё сыплются / сыпятся камни, сыпятся и всё сыпятся

¹⁰ После: сыпаться — и казалось, что он уже целый год слышит эту музыку (БА)

²⁰⁻²¹ После: не напишешь.— Он поцеловал ее в обе щеки, в лоб, в плечо, и потом вытер платком свои мокрые глаза. (БА)

³³ ответила / отвечала ⁰ (БА)

³⁵ дурные влияния; пока девушка растет / дурные влияния... Подруги не всегда могут научить добру, и в воспитании детей поэтому я держусь такого правила: пока девушка растет (БА)

⁴³ После: топнула ножкой.— Опять окружили ее и стали восхищаться, поздравлять, уверять, что во всем городе никто не играет так хорошо.

— Прекрасно! Превосходно!

— Она у нас будет звездочкой,— с гордостью сказал отец.

И мать, Вера Иосифовна, [тоже] смотрела на свою дочь тоже нежно и с гордостью, но эгоизм непризнанного

таланта, зависть и ревность к чужим успехам вдруг заговорили в ней, и, уже не вынося этих похвал, относившихся не к ней, она услала [даже] дочь из гостиной, сказавши ей:

— Котик, пощи у меня в спальней мой карандаш.
(БА)

Стр. 28.

⁴¹ и до земского / и до земского, про которого уже говорили в городе, что он хорошо лечит (БА)

Стр. 29.

⁶⁻⁸ доктор ∞ мигрени... / доктор, но сзидил он к Туркиным уже не ради ее мигрени, а по другим, особенным причинам...
(БА)

¹¹ По вот звонок; нужно было идти в переднюю / Но вот звонок [в передней]; пошли в переднюю (БА)

¹⁸ встала и пошла / встала и пошла. Он за ней. (БА)

³⁸ что-то необыкновенно милое / что-то детское (БА)

⁴⁰ Слово: несмотря на эту паивность — нет. (БА)

⁴¹ С ней он мог говорить / С ней можно было говорить (БА)

⁴²⁻⁴³ а ог жаловаться ей на жизнь, на людей / можно было жаловаться ей на жизнь, на людей, и она могла понять, почувствовать (БА)

Стр. 30.

¹ случалось, она вдруг / случалось, вдруг (БА)

¹⁶ Куда же вы? — ужаснулся Старцев / Послышались шаги. Это Иван Петрович вел своих гостей под широкий клен.

— Вот видите, нас не оставляют одних,— проговорил с досадой Старцев.— Это ужасно, ужасно... Куда же вы? — продолжал он с отчаянием (БА)

¹⁷ вдруг встала / встала (БА)

²⁰ Она остановилась / Она вдруг остановилась (БА)

³⁷ а в половине одиннадцатого / а в половине одиннадцатого (БА)

⁴¹ После: В предместье — начато и зачеркнуто: вы(ли?)
(БА)

⁴¹ около боен / около боень

Стр. 31.

¹⁻⁴ «У всякого свои странности ∞ опьянила его /. У него была надежда, слабая, пустая... «У всякого свои странности,— думал он,— теперешняя молодежь какая-то чудная, и — кто знает? — быть может, Котик не шутит, придет», — и он отдался этой надежде, она опьянила его, и не могли остановить его уже никакие рассуждения. (БА)
¹⁵⁻¹⁶ на желтом песке аллеи / на желтом песке аллеи

- ²³ *После:* тайны — *зачеркнуто:* трогательной и прекрасной (БА)
- ⁴² объятия. / объятия, молодую грудь... (БА)
- Стр. 32.*
- ¹⁷⁻¹⁹ сказал он Пантелеймону ∞ он подумал / сказал он Пантелеймону, с наслаждением садясь в коляску, и подумал про себя (БА)
- ²⁸⁻²⁹ Иван Петрович, видя ∞ записочки / Вера Иосифовна, видя, что гость задумчив и скучает, прочла ему за чаем главу из своего романа, потом Иван Петрович, вынув из жилетного кармана записочку (БА)
- ³⁵ бессонной ночи / бессонной томительной ночи (БА)
- ³⁶⁻³⁷ точно его опоили чем-то сладким и усыпляющим / точно его опоили дурманом (БА)
- Стр. 33.*
- ⁸⁻¹¹ и Старцев залюбовался ∞ и смеялся. / и Старцев, любуясь, вдыхая тонкий аромат, который она внесла с собой, пришел в восторг и ни с того ни с сего зааплодировал и крикнул: «Vive la France!» (БА)
- ⁴⁰ И чрез мгновение / И через мгновение (БА)
- Стр. 34.*
- ¹ Старцев / Он ∅ (БА)
- ⁶ *После:* не любили! — Я с досадой вспоминаю теперь то время, когда я не любил, но пускался часто в длинные рассуждения о любви. (БА)
- ²³ продолжала эту пустую / продолжать эту пустую (БА)
- ³⁵ *После:* сердце — и на губах уже не было ощущения целуя (БА)
- Стр. 35.*
- ¹² *Слов:* Прошло четыре года.— нет. (БА)
- ¹⁸⁻¹⁹ и чем он больше рос / и чем больше он рос (БА)
- ²⁴ *После:* раздражали его — и каждый день портили ему настроение (БА)
- ³¹ пробовал заговорить / пробовал заговаривать (БА)
- ²⁶⁻³⁷ А когда Старцев / А когда он ∅ (БА)
- ³⁹ за упрек / на свой счет ∅ (БА)
- Стр. 36.*
- ⁶⁻⁷ несправедливо, глупо / глупо, несправедливо ∅ (БА)
- ¹⁷ духами, и уксусом / и духами, и уксусом (БА)
- ¹⁸ во все / по всем ∅ (БА)
- ²⁰⁻²¹ *После:* на текущий счет.— И какие веселые мысли иногда приходили в голову по поводу этих денег, какие заманчивые планы! (БА)

26 Старцев подумал и вечером поехал к Туркиным. / Вечером Старцев поехал к Туркиным, и сердце у него тревожно билось. (БА)

27 После: Бонжурте.— Дамы давно уже ждут вас, милости просим. (БА)

Стр. 37.

2 После: во взгляде — начато и зачеркнуто: в повед(ении) (БА)

1 и в манерах / в манерах

1-2 что у нее тревожно билось / что и у нее тоже билось (БА)

22-23 1. ему стало неловко. / и ему стало стыдно. Пристальный взгляд Екатерины Ивановны и ее ласковость возбуждали в нем беспокойство, и он с удовольствием ушел бы. (БА) и ему стало стыдно. (Н)

25 роман, читала о том / роман. Щурясь от головной боли, она читала о том (БА)

28 «Бездарен,— думал он,— не тот / — Это,— думал он с раздражением и скукой,— самая бездарная женщина во всем городе. Бездарен не тот (БА)

33-34 долго благодарили и восхищались ею / долго благодарили, восхищались, но она слушала уже не с достоинством, как прежде, а застенчиво, с вялой улыбкой (БА)

Стр. 38.

12 Сколько воспоминаний! / Столько воспоминаний! (БА)

22 как он бродил / как бродил (БА)

27 шел дождь / был дождь [◊] (БА)

34 а вечером клуб, общество картежников / а вечером в клубе с картежниками [◊] (БА)

Стр. 39.

9 После: погас.— Мне, однако, пора,— сказал он; его уже сильно тянуло в клуб.— Позвольте мне уехать. (БА)

12 Мы будем видеться / Мы ведь будем видеться [◊] (БА)

13 Я не пианистка / Я уже не пианистка [◊] (БА)

16 и Старцев увидел / и он увидел [◊] (БА)

22-23 Вы не вместе ∞ провожая его. / — Нехорошо, сударь, нехорошо,— говорил Иван Петрович, провожая его.— Вы не имеете никакого римского права уезжать без ужина. (БА)

34 и подумал / и дом показался ему мрачным, точно это была богадельня или [заведение для посаж(енных?)] арестный дом, и он подумал (БА)

Стр. 40.

30 хочется поспеть / [попасть(?)] хочется поспеть (БА)

²⁶⁻²⁶ Характер у него ∞ раздражительным. / Характер у него тяжелый, раздражительный. (БА)

Стр. 41.

¹⁻² После: ничто его не интересует — и давно уже он ничего не читает ^φ (БА)

⁹ и лакей / и лакеп (БА)

²⁰ А Туркины? ∞ Она заметно постарела / А Котик постарела (БА)

ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ

Варианты журнала «Русская мысль»

Стр. 42.

²⁷⁻²⁸ Быть может, тут явление атавизма / Быть может, это явление атавизма

Стр. 43.

²⁴ прищурил глаз / прищурил глаза

Стр. 45.

¹⁰⁻¹¹ чтобы о нем не думали дурно / чтобы о нем не подумали дурно

¹⁹ кровать была с пологом / кровать с пологом

³¹ говорил он / говорит он

Стр. 46.

⁹ ходят по обязанности / заходят по обязанности

³⁸⁻³⁹ она бы за него пошла / она за него бы пошла

Стр. 49.

¹⁴ писклявым голосом / пискливым голосом

Стр. 50.

²³ стояла совсем летняя погода / стояла уже совсем летняя погода

Стр. 51.

⁸ После: то и нельзя.— Не разрешено — и нельзя.

Стр. 52.

⁹⁻¹⁰ сломать себе шею / сломать шею

³³ Хоронили мы его все / Хоронили его мы все

КРЫЖОВНИК

Варианты журнала «Русская мысль»

Стр. 62—64.

⁴³⁻¹ Да, я говорил так ∞ спросил Иван Иванович / Но во имя чего ждать? — спросил Иван Иванович

Стр. 61.

³¹⁻³² не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя / не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя, делайте добро
³³⁻³⁴ а если в жизни есть смысл и цель / а есть жизнь, и если она имеет смысл и цель

³⁵ После: великом.— Есть жизнь, есть нравственный закон, высший для нас закон...

О ЛЮБВИ

Варианты журнала «Русская мысль»

Стр. 67.

⁵ мы же, русские, украшаем / мы же украшаем

Стр. 71.

⁷ После: точно мальчик.— Когда любишь, то какие открываешь в себе богатства, какую бездну нежности, ласковости, и даже себе не веришь, что умеешь любить так глубоко.

Стр. 72.

³¹ в другую такую же / в такую же

Стр. 73.

²⁵ После: правды.— На самом деле в доме Лугановича я вел себя вполне безусловно, так что мигутами мне становилась тяжела до слез эта роль благородного существа.

Стр. 74.

²³⁻²⁴ от высшего, от более важного / с высшего, с более важного

⁴⁵ После: красивой.—

— Сегодня к вечеру мне нужно быть в городе,— сказал Иван Иванович, возвращаясь в комнату.— От вас я прямо на полустанок.

— Я вас провожу,— сказал Алехин.— Но пешком теперь грязно; в пятом часу наши бабы поедут в Федотово за известкой, так вот кстати и подвезут нас. Надо только приказать, чтобы нам дали пораньше обедать.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Варианты журнала «Русская мысль»

Стр. 77.

²²⁻²³ Нервы, должно быть, подгуляли / Нервы подгуляли

Стр. 79.

¹⁹⁻²⁰ После: на шею — и вспоминается недавний плач...

Стр. 83.

⁴ Шторы / Сторы

ПО ДЕЛАМ СЛУЖБЫ

Варианты журнала «Книжки Недели»

Стр. 86.

²⁷⁻²⁸ и полатями. / и с полатями.

Стр. 90.

²⁰ чверезый / тверезый

Стр. 91.

⁴ милосердная. / милосердая.

¹⁹ Сержу-то / Сержку-то

Стр. 92.

⁹ можно было / можно было бы

¹⁷ убирая посуду / убирая самовар и посуду

ДУШЕЧКА

Варианты журнала «Семья»

Стр. 105.

¹⁷⁻¹⁸ повстречалась? / повстречалась?

³¹ Василий Андреич / Василий Андреевич

Стр. 108.

⁸ Андреич / Андреевич

³¹ и от этго много болезней. / и потому много болезней.

³¹⁻³² То и дело слышишь, люди заболевают / Часто заболевают

⁴² старались скрыть / старались скрыть ее

Стр. 110.

³ И так жутко / И так нудно

⁶ уже называли / уже назвали

Стр. 111.

³³ такой умненький / такой умный

Стр. 113.

¹⁷⁻¹⁸ Укладывая его в постель ∞ его / Укладывая его спать,
она его долго крестит

³⁸ отстает тяжесть / отлегает тяжесть

НОВАЯ ДАЧА

Варианты газеты «Русские ведомости»

Стр. 117.

⁵⁻⁶ приехала на деревню / приехала в деревню

⁹ пригнутыми к ушам / пригнутыми с боков к ушам

Стр. 120.

³³⁻³⁴ Глаза бы мои на тебя не глядели! / Глаза бы мои тебя не
видели!

Стр. 121.

¹²⁻¹³ Одно звание — кузнецы / Одно звание, что кузнецы

Стр. 123.

²⁹ как будто обидно. / как будто и обидно.

Стр. 125.

²⁰⁻²¹ Просьба / Просьбы

Стр. 126.

¹ и... оно бы ничего / по рублишке в месяц... оно бы ничего

² Фразы: Пошли, царица небесная... — нет.

ДАМА С СОБАЧКОЙ

Варианты журнала «Русская мысль»

Стр. 130.

¹ принято говорить, что здесь скучно / принято говорить так

Стр. 132.

¹¹ Слов: очень серьезно — нет.

¹⁴ она задумалась / она стала серьезной и задумалась

¹⁸⁻¹⁹ отрезал себе ломоть и стал есть не снепа. Прошло / отрезал себе ломоть. И прошло

²⁸ Это ужасно. / Это больше никогда не повторится, клянусь.

³⁰⁻³³ Чем мне оправдаться? ∞ обманываю. / — Вы должны выслушать меня, я расскажу вам, отчего это произошло.

— Мне ничего не нужно знать, решительно ничего!

— Но позвольте мне рассказать, мне станет легче...

— После, милая! — сказал он и поправил ее волосы.—

Зачем делать такое серьезное, умное лицо? Это, извини, даже немножко неумно, потому что не соответствует обстоятельствам.

— Нет, вы должны меня выслушать. Прошу вас.

Я вам уже говорила, что я вышла замуж и поехала с мужем в С. Живут же другие в провинции, отчего мне не жить? Но мне С. стал противен с первой же недели; как выгляну в окно, а там серый забор, длинный, серый забор — о, боже мой! Ложилась в девять часов спать, и только развлечения, что в три часа обед, а в девять — спать.

Стр. 133.

⁴⁻⁵ такое неожиданное и неуместное; если бы / такое неожиданное и неуместное, что если бы

⁹⁻¹⁰ После: к нему.—

— Я чувствую, вы добрый, вы хороший человек,— говорила она.— Я вас мало знаю, но почему-то вы мне кажетесь таким добрым, порядочным, умным, вы не такой, как все, и поймете меня.

¹¹⁻¹² *Слов:* говорила она — нет.

²¹⁻²² Потом, когда они вышли, на набережной не было ни души /
Потом они оделись и вышли.

На набережной не было ни души

Стр. 134.

⁶⁻⁷ *Слов:* о высших целях бытия — нет.

³⁶ величавы. / величавы, Гуров наслаждался, хотя и сознавал, что эти впечатления ему ни к чему, совсем не нужны, так как его жизнь не была ни прекрасной, ни величавой и не было желания, чтобы она когда-нибудь стала таковой.

⁴² *После:* Это сама судьба.— Еще немного, и я увлеклась бы вами серьезно. Вы такой хороший, такой милый, чудный, редкий человек, вас так легко полюбить! Но зачем любовь? Она разбила бы мою жизнь. Любить вас тайно, скрываться от всех — разве это не ужасно?

Стр. 135.

²¹ раскаяние; ведь эта молодая женщина / раскаяние, что эта молодая женщина

²⁹ обманывал ее... / обманывал ее, и теперь ему было повлочно.

Стр. 136.

⁸⁻⁹ *После:* очарование.— Он бранил Крым, Ялту, татар, женщин, уверял, что Швейцария лучше.

⁹⁻¹⁰ Мало-помалу он окунулся в московскую жизнь, уже с жадностью прочитывал / Он мало-помалу окунулся в московскую жизнь и уже ссорился с жильцами, дворниками, полицией, с жадностью прочитывал

¹⁰⁻¹¹ и говорил / и потом говорил

¹²⁻¹³ юбилей / юбилей; легкое, беспечное настроение и чувство личной свободы исчезли

¹⁶ порцию селянки на сковородке... / порцию селянки на сковородке, и если бы Анна Сергеевна видела, как он выходил из ресторана красный, мрачный, недовольный, то, быть может, поняла бы, что в нем нет ничего возвышенного и необыкновенного...

¹⁷⁻¹⁸ Пройдет какой-нибудь месяц с туманом / Ему казалось, что пройдет какой-нибудь месяц и Анна Сергеевна тоже покроется в памяти туманом

³⁶ шкапа / шкафа

Стр. 137.

⁴ о женщинах / о женщинах, говорил он долго, просил спеть что-нибудь, сам пел

- 12 *После:* в Ялте! —
 — Когда?
 — Этой осенью. Нельзя сказать, чтобы она была особенно красива, но впечатление она произвела на меня неотразимое. Я до сих пор еще сам не свой.
- 17-18 осетрина-то с дунком! / осетрина была несвежая!
 82 спал дурно, всё сидел в постели / спал дурно, а всё сидел в постели
- 34 *После:* ни о чем говорить.— А в ушах раздавались слова:
 — Осетрина была несвежая!

Стр. 138.

- 7 Как раз против дома / Действительно, как раз против дома
- 9-10 «От такого забора убежишь»,— думал Гуров, поглядывая ∞ на забор. / «Да, от такого забора убежишь»,— думал Гуров, поглядывая на окна.
- 11 Он соображал: сегодня день / Он соображал о том, что сегодня день

Стр. 139.

- 22-23 Думал и мечтал. / Думал о своей любви и мечтал,
 28-29 обозвала лакеем. / назвала лакеем.

Стр. 140.

- 8 *После:* думал — Как это мучительно, тягостно!
 17 всё еще бледная / всё еще очень бледная

Стр. 143.

- 10-11 *После:* он женат, а она замужем — это было чудовищно

Варианты черного автографа

Стр. 143.

- 2-3 *После:* ни разу не любил — *зачеркнуто:* а лишь сбивал с пути, искал, развлекался и еще более (1 нрзб)
- 3 *После:* было всё что угодно — *зачеркнуто:* кроме любви, и те из «нижней расы» от
- 4-5 И только теперь ∞ полюбил / Теперь, когда у него голова стала седой, он любил
- 5 первый раз / и это первый раз ◊
- 7 Анна Сергеевна и он любили / Они любил(ли) ◊
- 7-9 любили друг друга, как ∞ друзья / любили друг друга, как [муж] близкие люди, как муж и жена, как друзья
- 9-10 им казалось ∞ друг для друга / а. им казалось, что они самой судьбой предназначены друг для друга б. [и свыклись, как будто] точно сама судьба предназначила их друг для друга

- ¹⁰ и было непонятно, для чего он женат / и им казалось чудовищным то, что он женат
- ¹²⁻¹³ поймали ∞ в отдельных клетках / посадили в отдельные клетки ◊
- ¹⁴ прощали всё в настоящем / а в настоящем жалели друг друга... ◊
- ¹⁵ эта их любовь изменила их обоих. / а. эта любовь сделала их обоих... лучше б. эта [их] любовь (начавшаяся так неблагоприятно) изменила их обоих... к лучшему в. эта их любовь (начавшаяся так неблагоприятно) изменила их обоих...
- ¹⁶⁻²³ *Текста:* Прежде, в грустные минуты ∞ что-нибудь придумаем. — нет.
- ²⁴ *После:* Потом они — *зачеркнуто:* сове(товались)
- ²⁶ не видется подолгу. / не видется по целым месяцам? ◊
- ²⁸ хватая себя / и хватал себя ◊
- ³⁰ решение / решение задачи ◊
- ³¹ новая, прекрасная / новая, хорошая ◊

В ОБРАТЕ

Варианты журнала «Жизнь»

Стр. 148.

³⁵ батюшки / батюшка

Стр. 149.

³ оженили / женили

⁶ Без порядку-те живешь / Без порядку ты живешь

Стр. 151.

¹⁰⁻¹¹ вместо галстука / вместо галстука

Стр. 153.

¹⁸ вместо галстука / вместо галстука

²⁵ уж не думал / уже не думал

Стр. 154.

⁴¹ Тут было / Тут были

Стр. 158.

³¹⁻³² хоть бы усмехнулись, право / хоть бы усмехнулись

Стр. 160.

³⁵ в долю войдем / в долю пойдем

³⁷ Аксинья и говорит / Аксинья говорит

Стр. 161.

¹⁵ от христианской работы / от христианской работы

Стр. 162.

- ⁷ и только что / только что
Стр. 163.
¹⁰ Фразы: Оно так, деточки. — *нет.*
- Стр.* 164.
³² в колодец / в колодезь
Стр. 165.
²⁴⁻²⁵ в колодец / в колодезь
²⁸⁻²⁹ в изумлении и в испуге / и в изумлении и в испуге
Стр. 166.
³⁴⁻³⁶ Попросить бы кого из господ ∞ выпустили бы! / Попро-
 сить ба кого из господ, написали ба главным начальникам...
 До суда ба хоть выпустили ба!
- Стр.* 170.
²⁵ Она, не утирая слез / Она не утирала слез
Стр. 171.
³⁶ От корыта и котла / От корыта и от котла
Стр. 179.
¹⁹⁻²⁰ чти отца твоего и мать / чти отца твоего и матерь
²⁷⁻²⁸ *Слов:* не расслышав — *нет.*

НА СВЯТКАХ

Варианты «Петербургской газеты»

- Стр.* 181.
¹⁰ Надо бы послать / Надо было бы послать
¹⁴ так и сидел всё дома / сидел всё дома
²⁸ «Флю-флю-флю». / «Тю-лю-лю!»
- Стр.* 182.
¹⁸ смертей! / смертей! Два года был голод, были пожары.
²⁸ и стал быстро писать. / и стал псать быстро:
²⁹ *Слов:* писал он — *нет.*
¹⁹⁻³⁰ судьба ваша через себе / судьба Ваша через себя
⁵⁰ Военное Попрыще / Военное Поприще
³² Уголовных Законов Военного Ведомства / Уголовных
 Военного Ведомства
³³⁻³⁴ цивилизацию Чинов Военного Ведомства. / цивилизацию
 Чинов Военного Ведомства, как они должны приводить
 себя в Категорию...»
⁴² внемание / внимание
⁴²⁻⁴³ в 5 томе Военных Постановлений. / в 5 томе Военных Поста-
 новлений св. зак. изд. 1859 года.

⁴³ Имя обчшее / Имя общее

Стр. 183.

¹ Перьвейший / Первейший

² последней / последний

³ Рядовой...» / Рядовой, и это Вы вполне можете согласоваться с Законом»...

⁵⁻⁶ Текста: — Каких ввучат? ∞ может, их и нету! — нет.

⁸ поетому / поэтому

⁹⁻¹⁰ и какой Внутренний. Перьвейший наш Внутренний Враг есть: Бахус». / и какой внутренний. Первейший наш Внутренний Враг есть: Бахус. Ежели Солдат цельный день в объятиях Бахуса, то будить мало хорошаго. И причина другого свойства: Вы теперь Швейцар, почитайте Вашего Хозяина, который Вам теперь есть: Начальник».

¹⁵ Слова: мордатый — нет.

²⁷ Слов: и в заведение — нет.

Стр. 184.

²⁸ ей на колени / на колени

²⁸⁻²⁹ После: на кровати. — У Андрея Хрисанфыча было только трое детей, но доктор Б. О. Мозельвейзер всякий раз, проходя ввизу по коридору, возмущался и кричал:

— Что такое! У тебя, Андрей, тут шестнадцать детей!

Я так не желаю! Нет, нет!

³⁶⁻³⁸ прочла первые строки. Прочла и уж больше не могла / прочла первые строки и уж больше не могла

⁴¹ Фразы: Царица небесная, святители-угодники. — нет.

Стр. 185.

⁹ Слов: обливаясь слезами — нет.

¹⁸⁻¹⁹ Трепетала, приходила в ужас от его шагов, от его взгляда / Трепетала от его шагов, от взгляда

НЕВЕСТА

Первая редакция

I

— Ступай наверх скорей, там Дзыга зовет! — крикнула ¹ горничная со злобой.

Из ² подвального этажа, где была кухня, в открытое окно ³

¹ Скорей иди, зовет Дзыга! — сказала ² Перед: Из — *зачеркнуто*: Наташа, стоявшая [на террасе] [на крыльце] в саду около дома, слышала это и не поняла. ³ в открытое окно слышалась голоса.

слышно было, как там спешили ¹, как хлопали дверью на блоке, и в саду около дома пахло жареной индейкой. Было уже часов десять вечера, и над садом светила ² полная луна. В доме Шумных только что кончилась всеобщая, которую заказывала ³ бабушка Марфа Михайловна, и теперь ⁴ Наде ⁵ — она вышла в сад на минутку — видно было, как в зале накрывали стол для закуски, как в своем пышном шелковом платье суешила бабушка; отец Андрей ⁶, соборный протоиерей, говорил о чем-то с матерью Нади Ниной Ивановной ⁷, и теперь она при вечернем освещении, сквозь окно ⁸ почему-то казалась очень молодой; возле стоял сын отца ⁹ протоиерея Андрей Андреевич ¹⁰ и внимательно слушал ¹¹.

В саду было тихо, прохладно, и темные покойные тени лежали на земле ¹². Слышно было, как где-то далеко, очень далеко ¹³, должно быть, за городом, кричали лягушки, чувствовался ¹⁴ май, милый май! И так хотелось думать ¹⁵, что здесь, под небом, над деревьями, вот на этих тенях и далеко за городом ¹⁶, в полях и лесах, развернулась теперь своя весенняя жизнь таинственная, прекрасная ¹⁷, богатая и, вероятно, для бабушки, отца Андрея, для мамы совсем незаметная и неинтересная ¹⁸.

Надя ¹⁹ думала: ей уже 23 года, с 16 лет она страстно ²⁰ мечтала о замужестве, и теперь наконец ²¹ она ²² была невестой Андрея Андреевича ²³, того самого, который стоял за окном ²⁴; он ей нравился ²⁵, и свадьба уже была назначена ²⁶ на 22 июля ²⁷,

¹ спешили, говорили сердито ² и светила над садом ³ заказала ⁴ и теперь из сада ⁵ Наташе, которая а. Георгий б. Григорий в. Иван г. Василий ⁷ с Елизаветой Ивановной, матерью Наташи ⁸ она сквозь окно, при вечернем освещении ⁹ отца [Георгия] [Василия] Андрея ¹⁰ Андрей [Григорьевич] Васильевич ¹¹ [А жених Наташи] А сын его Андрей Егорович [тихо ходил по [зале] гостиниой], задумавшись, стоял возле и слушал. ¹² на земле и на доме ¹³ как где-то очень далеко ¹⁴ и чувствовался ¹⁵ И так было ясно, что там в доме своя жизнь, а ¹⁶ за городом, откуда [что-то] доносится этот крик ¹⁷ а. своя жизнь, быть может, настоящая, благословенная и богатая б. таинственная, прекрасная и совершенно не нужная бабушке и отцу [Георгию] Василию ¹⁸ и совершенно ненужная... [Как тихо, как хорошо! Как приятно [по]сидеть на скамье после долгой] ¹⁹ Наташа ²⁰ она дни и ночи ²¹ но почему-то теперь, когда [ее женихом] [жепих ее был] у нее был ²² она любила сво(его) ²³ *Далее зачеркнуто:* и свадьба была назначена ²⁴ тот самый, которого было вид(но) ²⁵ а. она любила его б. она любила его ²⁶ а. была назначена в июле б. будет через какие-нибудь два месяца! в. уже была назначена — через два месяца, в июле, но ²⁷ 22 июля — через

а между тем ¹ радости не было ², и ночи спала она плохо, и веселье пропало... ³ Почему-то всё представлялось ⁴ теперь таким неясным, неполным! ⁵ Отца своего она уже не помнила ⁶, но почему-то ⁷ сегодня весь день ⁸ вспоминалось ей, как когда-то очень давно он посыл еe на руках; как только она ⁹ начинала думать о свадьбе, то ¹⁰ почему-то тотчас же приходил на память ¹¹ отец.

«Если бы ¹² отец был жив!» — думала она.

Вот кто-то вышел из дома и остановился на крыльце; это Саша Герасимов ¹³, гость, приехавший из Москвы дней десять назад ¹⁴. Когда-то давно ¹⁵ у бабушки проживала швея Марья Петровна, маленькая, худенькая, больная ¹⁶ женщина ¹⁷, которая всегда сердилась и говорила с достоинством: «Я хоть и бедная вдова ¹⁸, но не свинячьего ¹⁹ звания, а дворянка!»; у нее был сын Саша, уже большой мальчик, плохо учившийся в гимназии. Почему-то про Сашу говорили, что ²⁰ если бы его учить живописи, то из него вышел бы прекрасный художник, и теперь было непонятно, почему бабушка ²¹ отправила его в Москву, где он поступил в Комиссаровское училище, потом ²² перешел в Учи-

¹ между тем сердце у нее сжималось почему-то ² не было, хотя она и любила! Всегда ли так бывает перед [свадьбой? — думала она, — или [у нее только?] только у нее так?] замужеством? Как будто кроме Андрея Андреича и мыслей о замужестве вошло в ее жизнь еще что-то [громадное, тяжелое] громадное, важное, но тяжелое третье, чего она [не могла] еще не умеет уяснить и понять. ³ *Далее зачеркнуто:* Отчего это, зачем? ⁴ И почему-то [всё] всё это предс(тавлялось) ⁵ а. неполным как будто. Почему? б. как будто очень важное, то, чего она [еще] пока не могла ни понять в. и почему уже хотелось [на(пример)] [вчера] дней пять назад, когда за обедом поднялся разговор о приданом г. и почему-то даже, когда д. и если бы, положим, [отложи(ли)] мать или бабушка [отложили] распорядились отложить теперь свадьбу до осени, то это [было бы, пожалуй, приятно] [пожалуй, было бы приятно] [может, было бы только приятно] было бы и хорошо ⁶ не помнила, он умер уже много лет назад ⁷ почему-то весь день он вспоминался ей ⁸ а. он весь день приходил ей на память б. весь день думала о нем ⁹ она [всп(оминала)] вспоми(вала) ¹⁰ то переходила на мысль: ¹¹ приходило на мысль ¹² О, если бы ¹³ Из дома вышел Саша Герасимов ¹⁴ а. который только вчера приехал из Москвы и остановился, чтобы закурить папиросу б. который третьего дня приехал из Москвы и остановился на крыльце, чтобы закурить папиросу ¹⁵ Лет 15 назад ¹⁶ рябая ¹⁷ женщина, с рябым ¹⁸ а. Я хоть и бедная б. Я хоть и бедная вдова в. Я хоть и по чужим людям живу, но обидеть себя никому не позволю ¹⁹ не какого-нибудь свинячьего ²⁰ что у него большой талант к [рисованию] живописи ²¹ и бабушка — почему-то так ²² потом года через три

лице живописи, где и кончил по архитектурному отделению, но архитектурой не занимался, а служил ¹ в одной из московских литографий ² да рисовал у себя дома ³ образцы для обоев. Почти каждое лето приезжал он к бабушке, очень большой, едва не умирая, но жил всякий раз не долго, дня по два — по три, и скрывался, иногда не простившись ⁴; и в прошлом году на нем, так же как теперь, был черный расстегнутый скюртук ⁵ и поношенные парусинковые брюки, стоптанные ⁶ внизу. И сорочка была неглаженная ⁷, и весь он имел какой-то несвежий вид. Очень худой ⁸, с большими глазами, с длинными худыми пальцами, бородатый, темный... Его мать умерла уже давно; к Шуминым он относился, как к родным, и чувствовал себя у них, как дома ⁹. И комната, в которой он жил здесь, называлась Сашинной комнатой.

Стоя на крыльце, он увидал Надю ¹⁰ и пошел к ней.

— Хорошо у вас здесь,— проговорил он, стоя возле Нади ¹¹ и не садясь.— С неделю ¹² пожил, а уж чувствую: силы прибавилась!

— Вот ¹³ и хорошо, но ведь вы сбежите ¹⁴, Саша ¹⁵. Наверное, сбежите. Вам бы здесь до осени пожить ¹⁶.

— Да, должно, так придется. Пожалуй, до сентября у вас проживу. Хорошо у вас тут, славно.

Он рассмеялся без причины ¹⁷ и сел рядом.

— А я вот сижу и смотрю отсюда на маму,— сказала Надя ¹⁸.— Она кажется отсюда такой молодой! Да и на самом деле она еще молода. У моей мамы, конечно, есть слабости, но она необыкновенная женщина ¹⁹.

— Да, хорошая...— согласился Саша.— Каждому человеку его мать кажется необыкновенной. Это и из воспоминаний

¹ а служил где-(то) ² в Москве в литографии ³ и приготовлял ⁴ Года три назад он приезжал к бабушке, но пожил тогда недолго, всего два дня, и уехал ⁵ и [тогда на нем] в прошлом году так же он был в черном расстегнутом скюртуке ⁶ оттоптаные ⁷ неглаженная, имела ⁸а. Худой ⁶. Очень худой, высокий ⁹ и [остановился] приехал теперь к ним, как домой ¹⁰ Наташу ¹¹ Наташи ¹²а. Один только день ⁶. Два только дня ¹³ А вот как ¹⁴ у(бежите) ¹⁵ Саша, а ¹⁶ пужно будет прожить всё лето, Саша. ¹⁷ без причины рассмеялся ¹⁸ Наташа ¹⁹ [Какая она еще молодая!] Как она еще молода! [Как много она чувствует, если бы вы знали!] а как она чувствует, если бы вы знали! [Всегда говорила и буду говорить] Право, моя мама необыкновенная женщина.

разных авторов видно¹.— Он подумал и продолжал: — Ваша мама по-своему, конечно, и очень добрая² и милая женщина, но... сегодня утром рано³ я зашел к вам в кухню, а там четыре прислуги спят прямо на полу, кровати нет, вместо постелей лохмотья⁴, вонь, клопы, грязь, тараканы. Люди, как свиньи! То же самое, что было и двадцать лет назад! Никакой перемены⁵. Ну, бабушка — бог с ней, на то она и бабушка⁶, а ведь мама, небось, молода, по-французски говорит, в спектаклях участвует!⁷ Жить в такой нечистоте!

— Надоели вы с этим⁸,— вздохнула Надя и тотчас же засмеялась⁹.— У мамы нечистота!¹⁰

Помолчали. Когда Саша говорил, то большие глаза его по мигали и говорил он убедительно, тихим, приятным баском¹¹, который от разговора скоро утомлялся у него и терял свою чистоту¹².

— Как вы тут можете ничего не делать,— сказал он и пожал плечами,— удивляюсь! Вы и мама¹³ не делаете решительно ничего, и, честное слово, смешно сказать, точно я где-нибудь в гавреле, в Турции или Персии. Мне всё это как-то¹⁴ дико с непривычки... И жених Андрей Андреич ничего не делает, и бабушка... От чего вы все тут¹⁵ отдыхаете, скажите пожалуйста!

— Мой жених делает,— сказала Надя¹⁶,— только чем он занимается, никак не пойму.

— Ничего он не делает. Он хороший человек, славный, спора нет, ну, и умный там, что ли, только такие, как он, никому в России не нужны¹⁷.

¹а. и когда читаешь чьи-нибудь воспоминания, то нет лучшего более человека, чем мать б. Читайте а. Это ви(дно) ²а. Ваша мать [конечно] по-своему, конечно, и очень добра б. Ваша мать по-своему, конечно, и очень добрая ³рано утром ⁴а. постелей нет б. кровати нет, вместо постелей какая-то рвань ⁵а. То же самое, что было и при мне, двадцать лет назад. б. Одним словом, то же самое, что было и двадцать лет назад, то же самое... ⁶Ну, бабушку я не стану винить, она — бабушка ⁷Далее зачеркнуто: Всё это, конечно, и не в осуждение говорю, а по дружбе, любя... Ничего не делает... ⁸с этим, каждый год только одно и слышишь: тараканы ⁹вздохнула Наташа и засмеялась ¹⁰Бог знает, что вы говорите, Саша. У мамы [очень чисто] такая чистота! ¹¹приятным, слегка осипшим баском ¹²и становился чуть осипшим. Далее зачеркнуто: [и как бы ни было неожиданно то, что он говорил] Удивляюсь! — сказал он и пожал плечами. ¹³ваша мама ¹⁴как-то всё это ¹⁵тут все ¹⁶а. сказала Надя и засмеялась б. сказала Надя, смеясь ¹⁷а. только такие, как он, люди [уже много зла] много зла принесли России б. только такие, как он, достаточно зла принесли [себе и России] России

Надя¹ слышала это и в прошлом году, и она знала, что Саша иначе рассуждать не может, и это было только смешно, но почему-то вдруг веселье пропало, стало скучно² и холодно. Из кухни опять послышался крик:

— Да иди же, тебе говорю, Дзыга зовет!

И гулко зазвенели тарелки³; должно быть, посыпались на пол.

— Ну-у! — проговорил Саша и засмеялся.

Оба встали и пошли к дому⁴. Около крыльца, где горели два фонаря и из сеней шел свет, Саша⁵ показался почему-то очень худым⁶, изможденным⁷, точно он недавно перенес⁸ какую-то болезнь⁹, и оттого глаза¹⁰ показались¹¹ очень большими.

— Саша, — сказала Надя, останавливаясь, — извините за вопрос: вы там у себя пьете?¹²

— Честное слово, нет¹³. Ни капли. «Ни божже мой».

Бриллиантовый крестик блестел у нее на груди. Она, высокая¹⁴, красивая¹⁵, стояла и ждала, не скажет ли он еще что-нибудь, и рядом с ним казалась теперь стройной и свежей, моложе своих лет¹⁶. Ей стало вдруг жаль его, так жаль, что она никак не могла придумать, что сказать¹⁷. Надо было продолжать разговор, и она сказала:

— Очевидно, моего Андрея¹⁸ вы не знаете...¹⁹

— Моего Андрея...²⁰ А мне вот молодости вашей жалко²¹.

¹ Надя не обиделась и не оскорбилась, но ей вдруг стало не-весело и скучно, точно ² стало скучно, и уже было незаметно ³ а. И посыпались на пол тарелки б. И послышался шум в. И за-звенели ⁴ Оба пошли к дому и остановились у крыльца. И Са-ша ⁵ и Саша ⁶ худым и бледным ⁷ изможденным, серым, и на том же лице его видна была каждая веснушка ⁸ перенес недавно ⁹ серьезную болезнь ¹⁰ и глаза ¹¹ показались бол(ьшими) ¹² а. вы пьете, должно быть б. вы пьете, вероятно ¹³ нет! Кля-нусь ¹⁴ высокая, сильная ¹⁵ красивая, свежая и ряд(ом) ¹⁶ свежей, очень молодой ¹⁷ что даже слезы показались на глазах ¹⁸ Андрея моего ¹⁹ Далее зачеркнуто: а. проговорила она. — Вам надо узнать его поближе б. сказала она, чтобы продолжить разговор. ²⁰ Моего Андрея, — передразнил он. — Вам нужно уехать [в Петербург учиться] отсюда, вот что! Уехать [учиться в Петербург] в Петербург учиться. ²¹ Далее зачеркнуто: а. Я бы на вашем месте [поехал учиться и стал так уч(иться)] ехал бы учиться... в Петербург, что ли, а замуж успеете и потом — ах, не надо бы! Подождать бы! б. В молодые годы учиться нужно, учиться страстно, нужно познавать жизнь, и я бы на вашем месте уехал [бы] в Петербург, [что ли], и с головой бы окунулся в [науку] живой, всегда радостный труд [и позн(ание)], дающий познания... [Учиться вам надо!] В молодые годы учиться надо!

Вошли в зал; там же сажлись ужинать ¹.

— В молодые годы учиться нужно ²,— проговорил Сапа тихо, сядя с Надей за стол.— Эх, учиться нужно! В Петербург ³ бы вам! Эх!— повторил он ⁴ и засмеялся.

Бабушка, или, как ее называли в доме, бабуля, очень полная, некрасивая, с густыми бровями и с усиками, говорила громко и ⁵ уже по голосу и манере говорить было заметно, что она здесь старшая в доме. Ей принадлежали торговые ряды на ярмарке и ⁶ старинный дом с колоннами и с садом, выходящим на реку, но она каждое утро молилась ⁷, чтобы бог спас ее от разоренья, и при этом плакала. И ее невестка, мать Нади, Нина Ивановна, белокурая, сильно затянутая, в рinсе-нез и с ⁸ бриллиантами на каждом пальце ⁹, и отец Андрей, старик, худощавый ¹⁰, беззубый и с таким выражением, будто собирался рассказать что-то очень смешное, и его сын Андрей Андреич, жених Нади, 33 лет, полный и красивый, с вьющимися волосами, похожий на артиста или художника,— все трое говорили о гипнотизме. Были за столом еще две ¹¹ дамы-гости и дьякон.

— Сапа, ты сколько сегодня молока выпил?— спросила бабушка громко.

— Стаканов пять выпил...— ответил Сапа.

— Ты ¹² у меня в неделю поправишься, только вот кушай побольше. И на что ты похож! ¹³— вздохнула бабуля ¹⁴.— Страшный ты стал ¹⁵, горе мое, вот уж подлинно, как есть, блудный сын ¹⁶.

— Отческого дара расточив богатство,— проговорил отец Андрей медленно, со смеющимися глазами,— с бессмысленными скоты пасохся окаянный... ¹⁷

— Люблю я своего батьку,— сказал Андрей Андреич и потрогал отца за плечо.— Славный старик. Добрый старик.

нужно! Эх, учиться нужно, в Петербург бы вам ехать! Эх! — повторил он, махнул рукой и засмеялся.

— Я уже [кончила] была в гимназии.

— Вам в Петербург надо.

^{1a}. Когда вошли в зал, там уже стол был накрыт и бабушка приглашала всех садиться. б. Вошли в зал; там уж стол был накрыт и сели ужинать. ² нужно, вот ³ В Петербург ва(м) ⁴ повторил он, махнул рукой ⁵ и чувствовалось ⁶ и она считалась очень богатой ⁷ плакала и молилась ⁸ с бриллиантовым ⁹ на всех пальцах ¹⁰ худощавый, с острой бородкой ¹¹ три ¹² Пей, ты ¹³ стал похож ¹⁴ бабушка ¹⁵ Страшный ты такой стал ¹⁶ *Далее зачеркнуто*: Горе мое. ¹⁷ *Далее зачеркнуто*: Все помолчали.

Все помолчали. Саша вдруг засмеялся и, чтобы не расхохотаться громко, прижал ко рту салфетку.

— А блудный сын всё смеется,— сказала бабушка ¹, ласково поглядела на Сашу ² и сама засмеялась.— Смешной ты, бог с тобой.

— Стало быть, вы верите в гипнотизм? — спросил отец Андрей у Нины Ивановны.

— Дело в том, что когда-то я очень долго занималась гипнотизмом,— ответила Нина Ивановна, придавая своему лицу очень серьезное, даже строгое выражение,— и не могу, конечно, утверждать, что я верю ³, но должна сознаться, что в природе есть много таинственного и непонятого.

— Совершенно с вами согласен, хотя должен прибавить от себя, что вера значительно сокращает нам область таинственного. ⁴

Подали большую, очень жирную индейку. Отец Андрей и Нина Ивановна продолжали ⁵ свой разговор. У Нины Ивановны блеснули бриллианты на пальцах, потом на глазах заблестели слезы, она заволновалась.

— Хотя я и не смею спорить с вами,— сказала она,— но ⁶ согласитесь, в жизни так много неразрешимых загадок!

— Ни одной, смею вас уверить.

Бабушка вздохнула и сказала громко:

— Вы говорите, а я ничего не понимаю. ⁷

После ужина Андрей Андреевич играл на скрипке, а Нина Ивановна аккомпанировала ⁸ на рояли. Он десять лет назад копчил в университете по филологическому факультету, но вгиде не служил, определенного дела не имел и лишь изредка принимал участие в концертах с благотворительной целью; и в городе называли его артистом. ⁹

¹а. сказала бабушка и вздохнула.— И мальчиком был, всё, бывало, [смеялся] смеется б. сказала бабушка.— И мальчиком, бывало, всё смеялся. ² Далее зачеркнуто: Ну, это ничего. ³ верю в гипнотизм ⁴ Далее зачеркнуто: а. Нина Ивановна прижала руку к сердцу и спроси(ла) б.— Батюшка, а если я не могу верить! — проговорила Нина Ивановна, положив руку на грудь.

— Молитесь. Просите и дастся вам.

— То есть душой и чувством я верю, но в уме у меня бывают сомнения. ⁵ продолжали [говорить] вести ⁶ но мир полон загадок ⁷ А я ничего не понимаю, что вы тут говорите. ⁸ аккомпанировала ему ⁹а. играл хорошо и в городе его называли артистом б. и поэтому в городе считали и называли его артистом. Далее зачеркнуто: Он играл, и все сидели молча и слушали. Стало грустно... Саша сидел за столом и пил чай.

Андрей Андрейч играл, все слушали, молча. ¹ На столе тихо кипел самовар, и только один Саша пил чай. ² Потом, когда пробило двенадцать, лопнула вдруг струна на скрипке ³; все ⁴ засмеялись, засуетились, стали прощаться. Андрей Андрейч, взволнованный, грустный от музыки, ⁵ надевши в передней пальто, поцеловал у Нади обе руки ⁶ и хотел обнять ее ⁷, сказать ей, как он ⁸ ее любит ⁹; но в передней находился отец Андрей, вошла горничная...

— До завтра! — сказал он.

Надя, проходя мимо Саши, пожелала ему спокойной ночи.

— В молодые годы учиться пужно! — сказал он ¹⁰. — Да... В Петербург бы вам.

(Надя) пошла к себе наверх, где жила ¹¹ с матерью (нижний этаж занимала бабушка).

Внизу ¹², в зале, стали тушить огни, а Саша всё еще сидел и пил чай. Пил он чай всегда ¹³ подолгу, по-московски, стаканов по семи в один раз ¹⁴. Наде, когда она разделась и легла в постель, долго еще было слышно, как внизу убирала прислуга, как сердилась бабуля ¹⁵. Наконец всё затихло, и только слышалось изредка, как в своей комнате внизу покашливал басом Саша ¹⁶.

II

Когда Надя проснулась, было, должно быть, часа два ¹⁷, начинался рассвет. Где-то ¹⁸ далеко стучал сторож. Спать не хотелось, лежать было очень мягко, неловко ¹⁹, скрипела кровать при малейшем движении ²⁰. Надя, как и во все прошлые майские ночи, села в постели и ²¹, обняв колени, склонив на них голову, стала думать, думать... А мысли были ²² всё те же, что и в прошлую ночь, однообразные, ненужные ²³, неотвязчивые,

¹ молча, и стало почему-то грустно. ² Далее зачеркнуто: И почему-то всем стало грустно. Потом гости ³ на скрипке струна ⁴ гости ⁵ Далее зачеркнуто: а. простившись, вышел с отцом на улицу, но тотчас же вернулся б. прощаясь, долго надевал пальто: ему не хоте(лось) ⁶ а. обнял ее, поцеловал в голову, в губы, в шею б. и хотел обнять ее, но б(ыли) в. и не обнял, не поцеловал, потому что в передней находился отец Андрей ⁷ обнять ее, поцеловать ⁸ что он ⁹ любит бесконечно страстно, безумно, слезы даже выступили у него на глазах ¹⁰ сказал он строго ¹¹ она жила ¹² А внизу ¹³ всегда чай ¹⁴ по-московски, утомляя ¹⁵ бранилась бабушка ¹⁶ Далее зачеркнуто: да на улице лениво постукивал сторож ¹⁷ был второй час ¹⁸ Слышно было, как где-то ¹⁹ неудобно ²⁰ при малейшем движении скрипела кровать ²¹ и [склонив гол(ову)] ²² Мысли были ²³ а. скучные, ненужные, всё те же, что и в прошлую ночь б. всё те же, что и в прошлую ночь, скучные, ненужные

о том, как Андрей Андреич стал ухаживать за ней и сделал ей предложение, и это в то время, когда она уже считала себя старой девицей¹ и уже стала терять² надежду — ведь ей уже 23 года! Она согласилась³ и оценила этого красивого, доброго, умного человека. Но почему-то теперь, когда до свадьбы осталось не больше месяца, она стала⁴ испытывать страх и беспокойство, и если бы⁵ почему-либо отложили свадьбу до осени или даже до зимы, то она имела бы время всё обдумать⁶ и, пожалуй, еще сильнее полюбила бы жениха...⁷

«Тик-ток, тик-ток... — лениво стучал сторож... — Тик-ток...»

В большое старое окно виден сад, дальние кусты густо цветущей сирени⁸, сонной, вялой от холода⁹; и туман¹⁰, белый, густой, тихо подплывает¹¹ к сирени, хочет закрыть ее¹² ... На дальних деревьях, у реки, кричат сонные грачи.

— Боже мой, отчего мне так тяжело!

Быть может¹³, то же самое испытывает перед свадьбой каждая невеста. Кто знает¹⁴! Или¹⁵ тут влияние Саши и всё это, быть может, оттого, что он постоянно говорит против замужества и отзывается¹⁶ об Андрее всякий раз так небрежно? Но ведь Саша уже несколько лет подряд говорит всё одно и то же, а когда говорит, то кажется чудачком¹⁷, оригиналом, и не наскучил он ей до сих пор, вероятно¹⁸, потому только, что ей¹⁹ бывает жаль его почему-то, до слез жаль²⁰.

Сторож уже давно не стучит. Под²¹ окном и в саду зашумели²² птицы, туман ушел из сада²³, всё кругом засияло, заблестело; скоро весь сад²⁴, согретый солнцем, обласканный²⁵, ожил, и капли росы, как²⁶ алмазы, засверкали на листьях;²⁷ и старый сад в это²⁸ утро казался таким молодым, свободным, здоровым.

¹ старой девицей — ведь ей уже 23 года! ² а. уже тер(яла) б. стала д(умать) ³ согласилась и полюбила его мало-помалу ⁴ она почему-то стала ⁵ если бы, кажется ⁶ она, кажется, обдумала бы свою жизнь ⁷ полюбила бы жениха и была бы счастлива ⁸ кусты сирени, [к которым] которая кажется побликшей ⁹ Далее зачеркнуто: а. и жметя б. и сжалась в. и сжавшейся ¹⁰ и туман ползет ¹¹ ползет тихо ¹² обнять ее ¹³ а. Должно быть, что-то б. Вероятно ¹⁴ знает тут ¹⁵ Или всё это, быть может, оттого ¹⁶ недружелюбно отзывается ¹⁷ чудачком, странным ¹⁸ еще ¹⁹ ей почему-(то) ²⁰ жаль, казалось ей, что он скоро умрет ²¹ За ²² стали шуметь ²³ ушел к реке, заблестело солнце ²⁴ и весь сад, веселый, [умытый,] живой, сверкающий [росинками] от росы ²⁵ а. обласканный, умытый росой, солнцем, сверкающий, веселый б. обласканный, умытый росой, засверкал весело ²⁶ точно ²⁷ Далее зачеркнуто: Хорошо в такое утро быть ²⁸ и сад в это

А Надя всё сидела в постели¹, тревожная², точно больная, и мысли³ бродили в ее голове странные⁴. Всё бы, казалось ей, было хорошо, благополучно, да что-то очень важное было не досказано, что-то еще не доделано, не приготовлено, а что именно, она боялась, не хотела думать⁵...

Внизу уже проснулась бабуля⁶. Точно ручей шумел внизу: это⁷, по обыкновению, старуха⁸ ворчала на прислугу. Закашляла густым басом Саша.⁹ Слышно было, как внизу подали самовар, как¹⁰ двигали стульями, как горничная быстро прошла мимо комнаты Нади¹¹, запыхавшись, и проговорила сердито плачущим голосом¹²: «А чтоб тебе, Дзыга окаянная!»¹³

Надя¹⁴ не спеша умылась, оделась и пошла вниз, пить чай¹⁵. Она с тех пор, как кончила курс в гимназии, проводила утро после чаю¹⁶ в совершенной праздности, не зная, что делать¹⁷, часы, казалось, проходили медленно, но почему же с такой быстротой проносились и бесследно исчезали¹⁸ день за днем, год за годом?

А вот мать, Нина Ивановна¹⁹, в широкой блузе, заплаканная, со стаканом минеральной воды, которую она пила каждое утро²⁰ неизвестно от какой болезни. Нина Ивановна²¹ интересовалась очень загробными тайнами и занималась спиритизмом, гомеопатией, читала книги²² весь день, даже за обедом, была любительницей театров, концертов, благотворительных балов,

¹ сидела в постели и {мр(ачные)} невеселые мысли не покидали ее ² тревожная, какая-то странная ³ и нерешительные, странные мысли ⁴ тоже странные ⁵а. что именно, было неизвестно ^{б.} что именно, она боялась думать ⁶а. Внизу уже проснулись. ^{б.} Внизу уже проснулась бабушка. *Далее зачеркнуто:* ^{а.} Слышно было, как {бабушка сердилась} она ворчала ^{б.} [Изредка слышался] Слышался ее голос ⁷это бабу(ля) ⁸бабуля ⁹Далее зачеркнуто: И мало-помалу дом ожил, и слышно ¹⁰ как Саша ¹¹горничная побежала вверх по лестнице и, проходя мимо Надипой комнаты ¹²а. что-то проговорила сердито и опять упомянула Дзыгу в саду ^{б.} и сердито упомянула про Дзыгу ¹³а. Дзыга!! ^{б.} Дзыга, на том свете... ¹⁴ *Перед:* Надя — *зачеркнуто:* День начался. И потянулась жизнь. ¹⁵ ^{а.} пить чай, потом гуляла по саду и всё думала. куда бы ей сходить до обеда ^{б.} пить чай. А потом гуляла в саду ¹⁶ ничего не делала и проводила время ¹⁷ не делая решительно ничего, а время шло быстро, уходили день за днем, год за годом ¹⁸а. часы тянулись, казалось, медленно, невесело, но время уходило быстро, невероятно быстро, быстро уходили ^{б.} часы, казалось, [у(ходили)] проходили медленно, но почему же с такой быстротой улетали ¹⁹ По саду прошлась Нина Ивановна ²⁰ каждое утро, после массажа ²¹ Она ²² читала романы

часто спорила ¹ о пользе театров и ² раз даже участвовала в спектакле, после которого тяжело дышала всю ночь и потом весь день. Любила она говорить о сомнениях ³, которым была подвержена, и от нее часто слышали фразу:

— Нас ⁴ убивает индифферентизм! ⁵

И эти слова, казалось Наде, заключали в себе глубокий, таинственный смысл. Дочь любила ее, считала необыкновенной женщиной и в слезах ее видела что-то значительное, загадочно печальное.

Теперь Надя поцеловала мать ⁶ в щеку и пошла с ней рядом.

— Мама милая ⁷, отчего мне так невесело? ⁸ — спросила она немного погодя, и на глазах ее показались слезы. — ⁹ Мне кажется, это оттого, что я ничего не делаю.

— Да разве здесь можно что-нибудь делать? — живо спросила мать. — Твоя милая бабушка всё забрала в свои руки и я не смею себе даже чаю налить. Я знаю, тебе скучно без занятий ¹⁰, ну да ведь — бабушку не убедишь ¹¹.

Надя обняла мать ¹², и так прошлись обе молча.

— А ты бы рисовала, что ли, — сказала Нина Ивановна. — Или вышивай.

— А для чего вышивать? Для чего рисовать?

Мать ¹³ ничего не ответила ¹⁴. И Наде почему-то стало досадно, и она вдруг заплакала.

¹ любила поспорить ² и вздыхала ³ о своих сомнениях
⁴ Нас, русское общество ⁵ Далее зачеркнуто: Она и бабушка [забравшая в свои руки всё хозяйство {и деньги} и все деньги] недолюбливали друг друга, [но любовь] и это [потому, что] только оттого, что бабушка забрала в свои руки всё хозяйство и все деньги и притесняла всех в доме. Обе часто ссорились и [наверное давно бы уже разошлись, если бы не Надя, которую они любили безгранично] только одно, что связывало их и сближало, это любовь к Наде. Обе любили Надю безгранично. [Для нее они] Обе они жили только для Нади и без нее жить не могли. [Надя считала] Бабушку Надя боялась, а свою [умн(ую)] мать любила и считала ее умной, необыкновенно образованной и даже необыкновенной женщиной, и в слезах ее видела тоже что-то необыкновенное, загадочно печальное... ⁶ подошла к матери и поцеловала ее ⁷ милая, — спро(сила) ⁸ отчего я ничего не делаю? ⁹ Далее зачеркнуто: а. Отчего? б. Отчего я в. Отчего у меня нет никакого ¹⁰ без работы ¹¹ да ничего с бабушкой не сделаешь. А ты бы рисовала, что ли... Или вышивай. ¹² обняла мать за талию ¹³ Перед: Мать — зачеркнуто: а. И блуза, и рпсе-пез б. И стакан с водой, из которого [изредка пила Нина Ивановна] она отхлебывала изредка, показался Наде [почему-то неинтересным] лишним, ненужным; и почему-то стало жаль [матери] [мать] ее, досадно, но тотчас же, чтобы заглушить это чувство, она взяла мать под руку и [стала] заговорила ¹⁴ не ответила и только опять заплакала

— Ну, прости ¹, мама,— сказала она,— я сегодня ² не в духе. Прости.

В два часа позвали обедать. Так как была среда ³, день постный, то бабушке подали постный борщ, запах которого потом томил ⁴ до самого вечера; Нине Ивановне, которая всегда лечилась, подали бульон, Саше и Наде ⁵— скромный рассольник. Саша был не в духе; чтобы подразнить ⁶ бабушку, он стал рассказывать о том, что, по слухам, ярмарка в городе упраздняется и скоро таким образом все ярмарочные строения, в том числе бабушкины магазины, окажутся ненужными.

— Наш город, говорили, губернией хотят сделать.

— Я знаю, ты это на смех говоришь,— сказала бабушка,— а только — что правда, то правда — дела всё хуже и хуже; не ровён час ⁷, того гляди, наплачемся с этими лавками ⁸.

— Да ваш город хотят столицей сделать,— злился Саша ⁹.— Ни одной лавочки нет, где бы не обвешивали, ни одного нет чиновника, который не играл бы каждый день в карты и не трескал бы водки ¹⁰. На улицах ¹¹ грязь, нечистота, вонь... А кто здесь, в вашем городе, взявши займы, отдает? ¹² Если ¹³ кто возьмет у вас книгу почитать, то непременно замощенничает. А послушайте этих господ ¹⁴ в клубе ¹⁵ или на именинах где-нибудь, так только и разговору, что о пессимизме, о том, что жизнь ¹⁶ не дает им ничего радостного, светлого ¹⁷. Как-вадь!

— Замолел и сам не знает про что...— вздохнула бабушка ¹⁸; она видела в Саше доброго, умного, но беспутного малого и жалела его очень ¹⁹; она подозревала, что он в Москве и выпивал, и в карты играл, и вел себя вообще нехорошо, и о чем бы он ни говорил, всякий раз вздыхала.

¹ прости, милая, до(лжно) ² должно быть, сегодня я ³а. Так как б. День был постный ⁴а. целый день томил б. томил во всем доме ⁵ а для Саши и Нади ⁶ позл(ить) ⁷ и не ровён час, насидимся мы ⁸ наплачемся с этими лавками самими ⁹ Да, уж городу вашему несдобровать,— продолжал Саша.— Да. ¹⁰ не трескал бы водки, ни одного нет ¹¹ В самом городе ¹² Далее зачеркнуто: Кто возвращает книгу, взявши ее почитать? И смеют еще эти канальи говорить ¹³ А если ¹⁴ канальи ¹⁵ в клубе, так ¹⁶что литература ¹⁷ веселого ¹⁸ а. Бедный, бедный! — вздохнула бабушка.— Жалко мне тебя! блудный сын ты сущий. б. Вот уж подлинно блудный [сын] ты сын,— вздохнула бабушка, виведшая ¹⁹а. жалела его б, любила его

— Город мертвый, люди в нем мертвые,— продолжал Саша,— и если бы он провалился, то об этом было бы напечатано в газетах всего три строчки и никто бы не пожалел. Отсталый город. Бисмарк сказал: медленно запрягать, но быстро ездить— в характере русского народа. А град сей, по правде сказать, только еще собирается запрягать, а уж куда там ездить!¹

— Наш город не губернский², это правда,— сказала Нина Ивановна с очень серьезным лицом, показывая бриллианты на всех пальцах.— Но по последней переписи в нем сорок³ семь тысяч жителей;⁴ он освещен газом, есть театр⁵. Мне наш город очень нравится, я его, признаться, даже люблю.⁶

— А я его полюблю только, когда он провалится.

— Не говорите вздора⁷, голубчик, прошу вас! — сказала⁸ плачущим голосом Надя.— Говорите по-человечески!⁹

Съевши рассольник, он, чтобы подразнить бабушку, стал есть постный борщ¹⁰. И шутки у Саши выходили громоздкие, непременно с расчетом на мораль, и особенно было неинтересно, когда он, перед тем как состричь¹¹, поднимал вверх¹² свои очень длинные и исхудалые, точно мертвые¹³, пальцы и когда приходило на мысль, что он очень болен и, пожалуй, недолго еще проживет на этом свете¹⁴. Порой неприятно было смотреть на него, особенно когда он¹⁵, рассказывая что-нибудь смешное, начинал хохотать до слез, но мало-помалу смех заражал, и все остальные тоже начинали¹⁶ смеяться¹⁷.

— Ах, милая моя, если б вы послушались меня и поехали учиться! — начал Саша, когда бабушка и Нина Ивановна после

¹ только еще запрягает, но еще не ездит ² хотя и не губернский ³ шестьдесят ⁴ Далее зачеркнуто: а. на улицах б. улицы у нас ⁵ есть театр и газовое освещение ⁶ а. Что касается меня, то я очень, очень люблю наш город. б. Что ни говорите, а мне наш город очень нравится. ⁷ Не философствуйте ⁸ проговорила ⁹ Далее зачеркнуто: — Да ведь я шучу! — крикнул Саша и засмеялся.— Ей-богу, шучу!¹⁰ он стал есть постный борщ, чтобы подразнить бабушку ¹¹ Делая состричь ¹² а. вверх два бл(едных) б. вверх два длинных ¹³ а. длинные, бледные, тощие б. очень длинные и очень исхудалые ¹⁴ и что ему, вероятно, осталось еще недолго жить на этом свете ¹⁵ когда он, повеселев ¹⁶ и все начинали тоже ¹⁷ Далее зачеркнуто: После обеда [Саша] вышли в сад и там пили кофе.

— Саша, отчего вы себе порядочных брюк не купите? — спросила Надя.

— Это у меня летние,— сказал Саша, оглядывая свои парусниковые брюки,— но в [Москве] чемодане [еще] у меня есть еще зимние, очень хорошие.

обеда ¹ ушли к себе ².— Только ³ просвещенные и святые люди интересны и пужны ⁴, остальные же ⁵— толпа, во все века одинаковая и безразличная, как горб. (В) сущности настоящая, не животная жизнь принадлежит только им одним. Будет, будет же время, когда и их станет много, и ⁶ от вашего города тогда мало-помалу не останется камня на камне, всё полетит вверх дном, все изменится, точно по волшебству, и ⁷, кто знает, будут тогда здесь, быть может, громадные, великолепнейшие дома, чудесные сады, чудесные люди... ⁸ Бедных, больных ⁹, жалких тогда не будет вовсе, потому что среди культурных людей их не должно быть. Но важно не это. Важно то, что толпы в том смысле, в каком есть, тогда не будет. Милая, голубушка, поезжайте! Покажите всем, что вам противна эта неподвижная, серая, грешная жизнь! Покажите это себе самой... ¹⁰

— Нельзя. Я выхожу замуж.

— Э, полно! ¹¹ Кому это нужно! ¹² Удастся ли вам учение или нет, всё же вы увидите другую жизнь, кое-что поймете, кое-что новое откроется вам ¹³.

Перед вечером пришел Андрей Андреич ¹⁴ и ¹⁵ долго играл на скрипке. Он был неразговорчив и любил ¹⁶ скрипку ¹⁷, быть может, потому, что во время игры можно ¹⁸ было молчать. В одиннадцатом часу, уходя домой, уже в пальто, он обнял Надю и стал жадно целовать ее лицо, плечи, руки... Кроме его и Нади, в передней не было ни души ¹⁹.

— Дорогая моя, моя милая, прекрасная...— бормотал он.— Если бы ты только могла понять, как я счастлив! Я безумствую от восторга...

И ей казалось, что это она уже давно, давно слышала или читала где-то...

¹ выпив свой кофе ² ушли в дом ³ Как не понять, ведь только ⁴ нужны, как свет, и в ⁵ а. остальные нужны только как сырой материал, как толпа б. остальные во все ⁶ Когда их станет много, то ⁷ и что будет тогда, не знаю, но ⁸ *Далее зачеркнуто*: Всё изменится, от ненавистного старого не останется ⁹ Бедных или больных ¹⁰ *Между строками карандашом и зачеркнуто чернилами*: начал свой обычный послеобеденный разговор ¹¹Э, полноте! ¹²*Далее зачеркнуто*: Наше дело [увеличив- (ать)] стараться изо всех сил, чтобы число этих людей росло и росло, авось и построят когда-нибудь царствие божие. ¹³ откроется вам, и вы увидите, как ¹⁴ Авдreeвич ¹⁵ и после ужина ¹⁶ любил игру ¹⁷ скрипку, так как во время ¹⁸ надо ¹⁹ не было ни души, только слышалось из залы

Наконец он простился и вышел. В зале Саша сидел у стола и пил чай, поставив блюдечко на свои длинные пять пальцев; бабуля раскладывала пасьянс, Нина Ивановна читала. Трещал огонек в лампадке, и всё, казалось, было тихо, благополучно.

Надя пошла к себе наверх, легла и тотчас же уснула. Но, как и в прошлую ночь, она проснулась рано, когда чуть брезжил свет. Спать не хотелось, на душе было непокойно, тяжело.¹ Она сидела, положив голову на колени, и думала о женихе, о том, как она полюбила его, о свадьбе; вспомнила она о том, как по утрам плачет Нина Ивановна² и как от плача сводит у нее руки и ноги. И почему-то Наде вдруг стало досадно, и уж она никак не могла понять, почему до сих пор она видела в этом плаче³ что-то особенное, необыкновенное⁴, видела даже что-то) высшее, тайное, которого постичь не могла.

И Саша⁵ не спал внизу, слышно было, как он каплял. Это человек, думала Надя, с определенными убеждениями, с определенными⁶ правилами, не мечтающий, крепко уверенный в справедливости того, что он говорит; он повторяется и уже, по-видимому, стал прискучать, утомлять, и в то же время в словах его столько прекрасного, чудесного, обворожительного, что едва она⁷ только вот подумала о том, не поехать ли ей учиться, как всё сердце, всю грудь залило чувство радости, надежды.

— Но лучше не думать, лучше не думать... — шептала она. — Не надо думать об этом.

«Тик-ток,— стучал сторож где-то далеко,— тик-ток... тик-ток...»

III

Саша как будто повеселел и поздоровел⁸, но в середине июня он стал вдруг скучать и засобиравался в Москву⁹.

— Не могу я жить в этом городе! — говорил он мрачно¹⁰. — Ни водопровода, ни канализации. Я есть за обедом брезгаю,

¹ Далее зачеркнуто: И Саша не спал внизу: слышно было, как он каплял, как затворил окно. ² плачет ее мать ³а. почему в этом плаче б. отчего в. почему до сих пор она в этом плаче видела ⁴необычайное, точно [священнодействие какое] какое-то священнодействие ⁵А Саша ⁶с давно установленными ⁷едва она подумает ⁸ Саша поздоровел и повеселел ⁹а. вдруг заскучал, стал хандрить и заговорил о том, что пора уезжать. б. стал скучать и собираться в Москву. ¹⁰Как вы можете жить здесь, в этом городе! — удивлялся он. — Ну, а я не могу...

в кухне грязь невозможнейшая. А главное, надоело, работать надо ¹.

Он морщился брезгливо, стал везде видеть нечистоту.

— Да погоди, блудный сын! — убеждала бабушка, почему-то шёпотом. — Седьмого числа свадьба! ²

— Не желаю.

— Хотел ведь у пас до сентября пожить! ³

— А теперь вот не желаю. Мне работать пужно!

Лето выдалось ⁴ сырое и холодное ⁵, деревья были мокры ⁶, всё в саду ⁷ глядело неприветливо, уныло ⁸, хотелось в самом деле ⁹ работать. В комнатах, внизу и наверху, слышались незнакомые женские голоса, стучала у бабушки швейная машина ¹⁰, то и дело приносили из магазинов картошки, ящики, узлы, и утомленная, встревоженная бабушка рассказывала всем, что она потеряла память; это спешили с приданым... Одних пуб за Надей давали шесть ¹¹, и самая ¹² дешёвая из них, по словам бабушки, стоила семьсот рублей! Предсвадебная суета раздражала ¹³ Сашу, он сидел у себя в комнате и сердился, но всё же его уговорили остаться ¹⁴, и он дал слово, что уедет не раньше ¹⁵ первого июля.

Время шло быстро. На Петров день после обеда Андрей Андрейч пошел с Надей ¹⁶ на Московскую улицу, чтобы еще раз осмотреть ¹⁷ дом, который напаяли ¹⁸ и давно уже приготовили для молодых. Дом двухэтажный, но убран был пока только верхний этаж. В зале блестящий пол, выкрашенный под паркет, венские стулья ¹⁹, рояль, попир для скрипки, ни одного ковра и чувство пустоты. Пахло краской. На стене в золотой раме висела большая картина, написанная красками: нагая дама и около нее ²⁰ липовая ваза с отбитой ручкой.

— Чудесная картина, — проговорил Андрей Андрейч и из уважения с минуту простоял ²¹ перед нею молча. — Это художника Шишмачевского.

¹а. надоело у вас, работать хочется. б. надоело без дела болтаться, работать надо. ² Седьмого июля свадьба! — убеждала бабушка. ³ведь до сентября жить у нас ⁴было ⁵ холодное, в сад не хотелось ⁶ мокрые деревья глядели неприветливо ⁷ в саду и на улице ⁸ неприветливо и уныло ⁹ в самом деле хотелось ¹⁰ Далее зачеркнуто: на стульях и на столах ¹¹ пять, а что они стоили! ¹² а самая ¹³ утомляла ¹⁴ остаться на неделю ¹⁵ что проживет здесь до ¹⁶ Андрей Андреевич повел Надю ¹⁷ чтобы показать ей ¹⁸ нанятый и уже убранный ¹⁹ у всех стен венские стулья ²⁰ а. и возле нее б. и около нее ваза ²¹ простоял око(ло)

Дальше была гостиная с круглым столом, диваном и креслами, обитыми ярко-голубой материей ¹, над диваном большой фотографический портрет отца Андрея в камиллавке и в орленах ². Потом вошли в столовую с буфетом, потом в спальню; здесь в полумраке стояли рядом две кровати, рукомойник, большое зеркало в блестящей раме, и ³ похоже было ⁴, что когда обставляли ⁵ спальню, то имели в виду, что всегда тут будет очень хорошо и иначе быть не может ⁶. Андрей Андреевич водил Надю по комнатам и всё время держал ее за талию, а она чувствовала себя слабой, виноватой, ненавидела ⁷ все эти комнаты, кровати, кресла, ее мучило от нагой дамы... Для нее уже ясно было, что она разлюбила Андрея Андрейча или, быть может, не любила его никогда ⁸, но как это сказать и кому, для чего сказать, она не понимала и не могла понять, хотя думала об этом все дни, все ночи... Он держал ее за талию, говорил так ласково, скромно, так был счастлив ⁹, расхаживая ¹⁰ по этой своей квартире, а она ¹¹ видела во всем ¹² одну только пошлость, ужасную ¹³, глупую, наивную пошлость, и замечала ¹⁴ только, что у жениха очень мягкие руки с короткими пальцами, что на нем очень новые, хорошо выглаженные брюки... И каждую минуту она готова была убежать, зарыдать, броситься в окно. Андрей Андрейч привел ее в ванную и ¹⁵ здесь дотронулся до крана, вделанного в стену, и ¹⁶ вдруг потекла вода.

— Каково? — сказал ¹⁷ он и засмеялся.— Я ¹⁸ велел сделать на чердаке бак на сто ведер, и вот мы с тобой теперь будем иметь воду. Хитро?

Прошлись по двору, потом вышли на улицу, взяли извозчика. Казалось ¹⁹, сейчас пойдет дождь, и пыль ²⁰ носилась по улицам.

— Тебе не холодно? — спросил он, щурясь от пыли.

Она промолчала.

— Вчера Саша, ты помнишь, упрекнул меня в том, что я ничего не делаю,— сказал он, помолчав немного.— Не то чтобы упрекал, а так, намекал. Что ж, он прав! Бескрасочно прав! Я ничего не делаю и не могу делать! Дорогая моя, отчего это?

¹ Далее зачеркнуто: а. и с б. Тут ² и с орденами ³ и всё имело такой вид ⁴ похоже было, будто ⁵ приготавливали ⁶ будет хорошо, обстоятельно и всегда будет порядок ⁷ она ненавидела ⁸ не любила его вовсе ⁹ [уж] так ждал будущего ¹⁰ гуляя ¹¹ она заметила только ¹² во всем этом ¹³ ужасную, безысходную ¹⁴ а. замечала то(лько) б. замечала на женихе ¹⁵ и, сделав хитрое лицо, открыл ¹⁶ и из крана ¹⁷ спросил ¹⁸ Это я ¹⁹ Похоже было, что ²⁰ пыль кружилась по улице целыми

Отчего мне так противна даже мысль о том, что я когда-нибудь нацеплю на лоб кокарду и пойду служить? Отчего мне так не по себе, когда я вижу адвоката, или учителя латинского языка, или члена управы? О, матушка Россия, много носишь ты нас ¹, праздных и бесполезных, многострадальная!

И то, ² что он ничего не делал, он обобщал и видел в этом знамение времени ³.

— Когда женимся,— продолжал он,— то пойдем вместе в деревню, дорогая моя, будем там работать! Мы купим себе небольшой клочок земли с садом, рекой, будем трудиться, наблюдать жизнь... О, как это будет хорошо!

Он снял шляпу, и волосы развевались у него от ветра, а она ⁴ слушала его и думала: ⁵ «Боже ⁶, домой хочу! Боже». Почти возле самого дома они обогнали отца Андрея.

— А вот и отец идет! — обрадовался Андрей Андрееч и замахал шляпой.— Люблю я своего батьку, право! — сказал он, расплачиваясь с извозчиком.— Славный старик! Добрый старик!

Он любил своего отца и всегда восторгался им, а Наде ⁷ казалось это странным ⁸. Как не знать, что в городе все считают отца Андрея ⁹ очень богатым, скупым, хитрым ¹⁰ и ни одна душа не говорит о нем хорошо, как не знать, что он не платит никогда извозчикам и об этом так любят говорить в городе ¹¹! А он ничего не знает! Вошла Надя ¹² в дом сердитая, нездоровая, думая ¹³ о том, что весь вечер будут гости, что надо занимать их, разговаривать, улыбаться, слушать музыку ¹⁴, говорить о своей свадьбе... Бабушка, важная, пышная в своем шелковом платье, ¹⁵ надменная, какою она всегда казалась при гостях, сидела у самовара,

¹а. носишь таких б. носишь ты таких ²Перед: И то — зачеркнуто: а. Он уже почти десять лет жил б. Он уже долго а. Он уже десять лет ³а. знамение времени, поворот к иной жизни, перемену в мировоззрениях б. знамение времени, вопрос, которого должны касаться писатели ⁴ она думала ⁵ Далее зачеркнуто: «Скучно! скучно! скучно!» ⁶ Боже, как ⁷ и это Наде было непонятно и всегда ⁸ казалось странным, [что он] как это не знает ⁹ в городе никто не любит отца Андрея ¹⁰ и очень богатым, и скупым, и хитрым, и никто не любит его ¹¹ а. [и] даже рад, когда извозчики ему кричат на улице б. и по городу ходили сплетни, как-то одному очень сердитому и крикливому извозчику заплатил. по только восемь копеек. И проповеди [говорил] отец Андрей говорил с закрытыми глазами. ¹² она ¹³ с ужасом думая ¹⁴ а. слушать музыку, а через неделю, только через одну неделю венчаться ¹⁵ Далее зачеркнуто: гордая тем, что никто не смеет

и Надя, взглянув на нее, почему-то только теперь сообразила, что Дзыгой в доме называли ¹ именно ее, бабушку ².

Вошел отец Андрей ³.

— Имею удовольствие и благодатное утешение видеть вас в добром здравье, — сказал он ⁴ бабушке, и трудно было понять, шутит он или говорит серьезно ⁵.

IV

Ветер ⁶ стучал в ставни, в крышу, слышался свист, и ⁷ что-то невидимое, суровое то жалобно попевало ⁸, то начинало рычать и бегать по саду. Был первый час ночи ⁹. В доме все уже легли, но никто не спал, и Наде всё ¹⁰ чудилось, что внизу играют на скрипке или смеется отец Андрей. Что-то громко застучало где-то далеко в доме ¹¹, и ей показалось, что это ставня сорвалась здесь, в этом этаже ¹². Через минуту послышались шаги, вошла Нина Ивановна ¹³, в одной сорочке, со свечой ¹⁴.

— Что это застучало, Надя? — спросила она.

— Не знаю ¹⁵.

— Как будто с крыши железный лист упал. Какая буря, я даже боюсь.

Мать ¹⁶, с большими глазами, бледная ¹⁷, с волосами, заплетенными в одну косу, ¹⁸ с робкой улыбкой, в эту бурную ночь ка-

¹ может быть, [звали] назы(вали) ² *Далее зачеркнуто:* — Ну, порядки в этом городе, — [ворчал] говорил Саша [где-то] [кому-то] где-то в углу. [Ни водопровода, ни] Не говорю уж про водопровод, и, шутка сказать, ни одной вентиляции во всем доме! ³ Андрей и, отдав общий поклон, направился к бабушке ⁴ а. сказал он, по обыкновению б. сказал он ей, шутя, но его лицо ⁵ а. говорит он [это] серьезно или нет. б. по тону его и по лицу, шутит он или говорит серьезно. *Далее зачеркнуто:* После чаю стало темнеть, поднялся сильный ветер, который стучал в ставни, в крышу, свистел, и казалось, кто-то гонялся за кем-то по саду.

— Ну, погода! — сказала бабушка.

Отец Андрей прислушался и покачал головой.

— М-да... — проговорил он. — Это уж буря.

⁶ Сильный ветер ⁷ а. и кто-то, казалось, гонялся за кем-то б. что-то, казалось, гонялось за кем-то ⁸ а. плакало б. повсвистывало ⁹ *Далее зачеркнуто:* [гости] Гости недавно ушли, никто еще [в д(оме)] не спал в доме. ¹⁰ всё еще ¹¹ застучало в соседней комнате ¹² а. в комнате [матери], [где спала мать. Она вскочила [надела туфли и побежала к матери] и надела туфли б. где-то в верхнем этаже ¹³ вошла мать ¹⁴ со свечой в руке ¹⁵ Не знаю, мама. ¹⁶ Мать, в одной сорочке ¹⁷ бледная, молодая, в одной сорочке ¹⁸ *Далее зачеркнуто:* а. стояла как б. в одной сорочке, подошла к кровати и села

залась старше ¹, некрасивее, меньше ростом. Наде ² вспомнилось, как еще недавно она считала свою мать необыкновенной ³ и с гордостью слушала слова, какие она говорила, а теперь никак не могла вспомнить этих слов, всё же, что приходило на память, было так слабо ⁴, ненужно.

Надя села в постели и вдруг ⁵ схватила себя крепко за волосы и ⁶ заплакала.

— Мама ⁷, мама,— проговорила она, тихо, вполголоса.— Спаси меня! милая моя, дорогая мама... Спаси! Пропу тебя, умоляю, позволь мне уехать! Умоляю!

— Куда? ⁸ — спросила Нина Ивановна, не понимая, к села на кровать...— Куда уехать? ⁹

Надя плакала и не могла выговорить ни слова.

— Позволь мне уехать! — продолжала Надя шёпотом, боясь глядеть на нее ¹⁰.— Свадьбы не должно быть... ¹¹ и не будет! Я не люблю этого человека... Говорить о нем не могу...— [зарыдала] Надя ¹².

Нина Ивановна обняла Надю и стала целовать ее ¹³.

— Нет, родная моя, нет,— заговорила она быстро и сама заплакала.— Ты успокойся, это у тебя от нерасположения духа. Это пройдет. Это бывает. Спи! ¹⁴

— Да,— сказала Н(ина) И(вановна), помолчав.— Давно ли ты была ¹⁵ ребёнком, девочкой, а теперь уж невеста. В природе постоянный обмен веществ. И не заметишь, как сама становишь ¹⁶

¹ казалась моложе ² Наде стало вдруг жаль ее ³ необыкновенной, как высоко ставила ее, и ей стало вдруг жаль ее [и страстно], жаль, как обыкновенную, слабую женщину, и захотелось приласкать ее, [пожа(ловаться)] пожаловаться ей, заплакать ⁴ слабо, [неинтересно] ⁵ вдруг заплак(ала) и [ти(хо)] повалилась на подушку ⁶ и простонала, стиснув зубы, потом ⁷ Мама моя ⁸ Что? ⁹ Что ты сказала? ¹⁰ на мать ¹¹ не должно быть ни за что! ни за что! ¹² *Далее зачеркнуто:* Не люблю! [О, если] [Ч(то)] Если бы вы, мама, могли понять, как я несчастна! ¹³ а. и [неск(олько)] поцеловала ее в голову, в щеки, в плечи ⁶. стала быстро целовать ее ¹⁴ *Далее незачеркнутый первоначальный вариант:* — [Ах] Не могу я спать, мама! [Я уже целый месяц не] !сказала Надя громко,— завтра же ему! Если бы ты знала, как мне тяжело! Ради бога, отпусти меня, отпусти!

[Мать] Нина Ивановна встала и взяла в руки свою свечку.

— [И] [Ради бога не выдумывай] Как ты мучаешь меня, Надя! — проговорила она и всхлипнула.— [Мы завтра поговорим, а теперь скажу: благословения тебе моего не будет!] И я умру! Так и звай: умру!

И она быстро пошла [к себе] из комнаты.

¹⁵ была дево(чкой) ¹⁶ становишь стар(ой)

матерью ¹, и будет у тебя такая же строптивая дочка, как у меня. Доживу ли я до того времени! Едва ли... ² Ведь я умру от аневризма! ³

Надя молчала, отвернувшись к стене. Н(ина) И(вановна) посидела немного и спросила:

— Что же ты молчишь?

Она ⁴ подождала ⁵ минуту и встала.

— Что же? Ты не хочешь говорить со мной? — сказала ⁶ она обиженным тоном ⁷. — Послал бы мне бог поскорее смерть! И я умру! Так и знай: умру!

Она заплакала и ⁸ пошла к себе. Надя встала ⁹ с постели и ¹⁰ пошла за ней. Придя к себе, Нина Ивановна торопливо легла в постель и укрылась голубым одеялом.

— Мамочка ¹¹, выслушай меня! — проговорила Надя, целуя ее руки ¹². — Я тебе всё объясню, только выслушай меня, бога ради, — торопилась она и сама не зная, что говорит. — Андрея Андреевича я не люблю и не могу ¹³ его любить, не могу! Пойми, не могу! ¹⁴ Раньше он нравился мне, пусть так ¹⁵, но теперь мне всё ясно ¹⁶... я понимаю этого человека ¹⁷. Ведь он же неумен, мама... ¹⁸ Господи боже мой! Пойми, мама! Он глуп!

Нина Ивановна порывисто села ¹⁹ и застучала ²⁰ босыми ногами о пол:

— Ты и твоя бабка мучаете меня! — сказала она, вспыхнув. — Я жить хочу! Жить! ²¹ — повторила она и раза два ударила кулачком по груди. — Дайте же мне свободы! Я еще молода, вы из меня старуху сделали!

Она заплакала ²² и ²³ свернулась под одеялом калачиком ²⁴ и показала такой маленькой, жалкой. Надя пошла к себе ²⁵, оделась и, севши у окна, стала ждать утра. А кто-то всё стучал в ставню и насвистывал.

¹ матерью, буде(т) ² Едва ли... Едва ли доживу. ³ *Далес зачеркнуто*: Она посидела еще немного и пошла к себе. ⁴ *Перед*: Она — *зачеркнуто*: Не получив ответа ⁵ Она встала ⁶ спросила ⁷ обиженным тоном и вдруг заплакала ⁸ и вы(шла) ⁹ Надя вскочила ¹⁰ и тоже ¹¹ Мама ¹²а. проговорила Надя, крепко прижимая руки к сердцу ^{б.} проговорила Надя, прижимая руки к сердцу ¹³ не могу лю(бить) ¹⁴ *Далес зачеркнуто*: Он ¹⁵ нравился мне, это правда ¹⁶ но теперь я разглядела его ¹⁷ понимаю его, мама... ¹⁸ *Далес зачеркнуто*: Обрати внимание: ¹⁹а. вдруг подня(лась) ^{б.} вдруг вскочила и ^{в.} села в постели и сказала плача ^{г.} села в постели и закрыла лицо руками ²⁰ вдруг застучала ²¹ *Далес зачеркнуто*: Дайте же мне ²² заплакала, легла ²³ и в постели ²⁴ калачиком, укрылась ²⁵а. пошла к себе и легла ^{б.} пошла к себе и пролежала с закрытыми ^{в.} пошла к себе и не спала всю ночь

Утром бабушка жаловалась, что в саду ночью ветром побивало все яблоки и сломало одну старую сливу. Ветер ¹ уже не так шумел, как ночью, но ² все жаловались на холод, шел дождь, и было серое ³, тусклое, безотрадное утро, хоть огонь зажигай. После чаю Надя вопля к Саше ⁴ и, не ⁵ сказав ни слова, стала на колени ⁶ в углу у кресла и опустила на него голову.

— Что? — спросил Саша.

— Не могу! — сказала она и зарыдала тихо, и плечи задрожали у нее. — Как я раньше могла жить здесь, не понимаю, не постигаю! — продолжала она, глядя заплаканными глазами на Сашу и ломая руки. — О боже мой, я с ума схожу, я сейчас упаду!

Она склонила ⁷ голову на кресло и продолжала, стараясь говорить тише, чтобы не услышали в зале:

— Жениха я презираю, себя презираю, бабушку презираю, маму презираю... Я погибла!.. ⁸

— Ну да ладно! — проговорил Саша тихо и засмеялся. — Не плачьте, а то услышат и помешают нам. Значит, вы завтра уедете со мной, я доведу вас до Москвы, а там вы в Петербург. Чудесно!

И Саша опять засмеялся ⁹ и начал притоптывать ¹⁰ туфлями, как бы танцуя от радости.

— Чудесно, — повторил он, потирая руки. — Завтра вы поедете на вокзал меня проводить, а потом в вагон и — айда. Я и багаж ваш возьму, и билет возьму, будьте без сомнения! Паспорт у вас есть?

— Есть, — сказала она и улыбнулась, и опять залилась слезами. — ¹¹ Давно уже есть.

— Слушайте меня. Будем говорить серьезно, ¹² — начал ¹³ он, хмурясь. — Я убежден, верую глубоко, что России нужны только двойного сорта люди: святые и просвещенные люди. Я глубоко в это верую и считаю долгом своим убеждать таких, как вы ¹⁴. Мы живем в грубое, невежественное время, надо идти за меньшинством ¹⁵. Клянусь вам, вы не пожалеете, не раска-

¹а. Ветер стихал б. Ветер стих ²но было холодновато
³ такое серое ⁴ вошла в комнату Саши ⁵ и ни ⁶а. на колени
у б. на колени перед стулом ⁷ а. склонилась к стулу б. скло-
нилась к креслу ⁸ Далее зачеркнуто: я убью себя!.. ⁹ а. за-
смеялся, встал и ст(ал) б. засмеялся и начал задирать ¹⁰ при-
топтывать ногами в ¹¹ Далее зачеркнуто: Я же в ¹² Далее за-
черкнуто: а. Вы должны б. Я уговаривал вас ехать учиться, по-
тому что ¹³ ска(зал) ¹⁴ таких, как вы, считая счастьем своим..
¹⁵ за меньшинством, иначе пройдет ваша жизнь

тес¹ и замуж даже успеете и жених найдется чудесный,— опять засмеялся он.— Уходите учиться, а там пусть вас носит судьба. Итак, значит, завтра поедем?

— О да! Бога ради!

Наде² казалось, что она взволнована, что на душе у нее тяжело, как никогда, что теперь придется до самого отъезда страдать и мучительно думать, но едва она пришла к себе наверх и прилегла на постель, как тотчас же уснула и спала крепко, с заплаканным лицом, с улыбкой до самого вечера.

V

Было³ утро. Послали за извозчиком. Надя, уже в шляпе и пальто, пошла наверх⁴, чтобы еще раз взглянуть на мать, на всё свое; она постояла в своей комнате около постели, еще теплой⁵, осмотрелась, потом пошла тихо к матери... Нина Ивановна спала, в комнате было тихо, тихо! Надя поцеловала мать⁶ и поправила ей волосы, постояла минуты две⁷. Потом вернулась вниз.

«Почему же я не плачу?» — думала она.

На дворе шел сильный дождь. Извозчик с крытым верхом, весь мокрый, стоял у подъезда.⁸

— Не поместишься с ним, Надя,— сказала бабушка, когда

¹ не раскается, наоборот ^{2a}. Надя кивнула головой и, успокоившись, утерев *б*. Она успокоилась немного *в*. Ей ³*Перед*: Было — *зачеркнуто*: На другой день Саша [поднялся] встал в пять часов утра, поезд отходил [в без] без четверти семь. Надя тоже встала и спустилась вниз. [Вещи] Сели чай пить. Вещи были уже уложены, пахло сапогами. [Са(ша)] На дворе шел сильный дождь. [Саша брал с собой два чемодана, узел и кипу бумаг, на которых он рисовал образцы для обоев.] [У Саши было] У бабушки были заплаканные глаза.

— Ты уж, Саша, смотри, в Москве не пей,— сказала она.

— Да я не пью, бабуля.

— Ладно! Знаю, как там в Москве не пьют, в Москве нельзя не пить.

Пробило шесть часов утра.

^{4a}. наверх [в сп(альню)] взглянуть на мать *б*. наверх, прошла по теплой, такой чистой⁶ *а*. поцеловала мать в щеку *б*. поцеловала мать в руку ^{7a}. минуты две и теперь бы она не могла выговорить ни слова, хотелось зарыдать. Ее отъезд представлялся ей невероятным, невозможным, и она не верила *б*. минуты две. Ей казалось невероятным, как это она уедет, невозможным. *в*. минуты две, потом пошла вниз⁸ *Далее зачеркнуто*: [Горничная] Прислуга понесла чемоданы.

прислуга ¹ стала укладывать чемоданы.— Оставалась бы дома. Ишь ведь дождь какой!

Надя хотела сказать что-то и не могла. Вот Саша, говоря что-то бабушке, которая стояла в дверях ² заплаканная и крепости отъезжавшего, посадил Надю, укрыл ей ноги пледом. Вот и сам он поместился ³ рядом.

— В добрый час! Господи благослови! — кричала ⁴ бабушка. — Ты же, Саша, голубчик, смотри не пей в Москве.

— Да я не пью, бабуля!

— В Москве нельзя не пить ⁵. Сохрани тебя царица небесная.

Поехали.

— Ну, погодка! — проговорил Саша.

Надя ⁶ теперь только заплакала. Теперь уже ⁷ для нее было ясно, что она уедет непременно ⁸, чему она все-таки не верила, когда прощалась с бабушкой, когда глядела на мать ⁹. Прощай, город! ¹⁰ И всё ей вдруг припомнилось: и Андрей, и его отец, и новая ¹¹ квартира, и нагая дама с вазой ¹², и всё это уже не ¹³ пугало, не казалось ужасным, а было наивно, мелко и уходило всё назад и назад... ¹⁴

А когда сели в вагон и поезд тронулся, то всё это прошлое, такое большое и серьезное ¹⁵, сузилось ¹⁶ в маленький кулачок, и разворачивалось громадное, широкое будущее, которое до сих пор было так мало заметно. Дождь стучал в окна вагона, было видно уже только зеленое поле да мелькали телеграфные столбы да птицы на проволоках, и радость вдруг перехватила ¹⁷ ей дыхание, она вспомнила, что ¹⁸ она едет на волю, едет учиться, а это всё равно, что ¹⁹ когда-то очень давно называлось — уходить в казачество! Она и смеялась, и плакала, и становилась на колени, и ²⁰ молилась...

Проехав три станции, послали домой телеграмму... Потом Саша всю дорогу пил чай и говорил ²¹ без конца.

¹ прислуга понесла ² в сенях ³ сел ⁴ говорила ⁵ *Далее зачеркнуто*: Господь ⁶ Надя вдруг зарыдала ⁷ Теперь уже ей ⁸ уедет непременно, что с бабушкой и мамой увидится не скоро ⁹ на спящую мать ¹⁰ *Далее зачеркнуто*: Прощай, Андрей! ¹¹ и готовая ¹² дама с вазой, а там дальше в прошлом что-то очень хорошее, невозвратное — как вчера и третьего дня ¹³ не казалось так ужасно ¹⁴ и уходило всё назад и назад, становилось [всё мельче и не] неинтересным, [ненужным] тусклым. На вокзале Надя видела, как Саша купил два билета ¹⁵ большое и страшное ¹⁶ сузилось вдруг ¹⁷ охватила ¹⁸ а. что ед(ет) б. что это ¹⁹ что [когда-то было] в былое время уходить в казаки ²⁰ а. и говорила то слова б. и клялась, что а. и клялась ²¹ говорил о том, какой он человек

— Надо работать,— говорил он.— Должен ли человек вообще что-нибудь свершить, это мне неизвестно, но что он должен работать, чтобы не есть чужого хлеба и не заедать чужого века, это для меня не подлежит сомнению. ¹

И всё говорил в таком роде, и с ним было скучно. ² Но ³ напившись чаю и убирая стаканы, он выдумывал ⁴ что-нибудь смешное, и тогда становилось весело.

На другой день ⁵ в Москве Саша около вокзала побранился ⁶ с извозчиком ⁷ и сильно закашлялся, и ⁸ кашель, что называется, бил его долго, и Наде стало ясно, что он нимало не поправился, а по-прежнему болен. Он остался в Москве, а Надя поехала дальше, в Петербург.

VI

В Петербурге Надя получала каждый день телеграммы и письма; пришли деньги, посылка с платьем. В октябре приезжала Нина Ивановна; лицо у нее было виноватое, робкое, как будто она ожидала, что Надя наругает её или ⁹ спросит, зачем она приехала.

— А я в Петербурге еще не была. Хороший город! — сказала она, как бы желая дать понять, что самое тяжелое, самое страшное уже пережито и что лучше не говорить обо всем этом ¹⁰.

Напившись чаю, она ¹¹ всё с той же виноватой улыбкой, издерганная ¹² и точно не умытая, рассказала, что в то утро поджидали ¹³ Надю до обеда ¹⁴ и не беспокоились, но когда пришла телеграмма, то всё поняли, всё стало ясно, и бабушка упала, три дня лежала без движения и только стонала, а потом всё

¹ *Далее зачеркнуто: а.* То, что он говорил, было до такой степени ясно, что было *б.* Было непонятно, для чего он всё это говорил. Минуты две пошутит, а потом опять [заведет] начнет говорить о чем-нибудь серьезном, в наставительном тоне. И Наде казалось, что он говорил только то, что ей давно уже было известно.

На другой день [приехали в Москву] были уже в Москве. Саша проводил ее на Николаевский вокзал, и она поехала в Петербург, уже одна. [Надя поехала] ² *Далее зачеркнуто:* Так что было чудесно ³ Но убирая стаканы ⁴ он говорил ⁵ На другой день он остался в Москве, а Надя поехала дальше, в Петербург. ⁶ *а.* завел ссору *б.* стал браниться ⁷ *а.* с извозчиком, обругал городского *б.* с извозчиком и с городovým ⁸ *а.* и было ясно *б.* и кашлял долго, и стало ясно ⁹ или накричит ¹⁰ *а.* что горе непоправимо *б.* что она мирится с горем ¹¹ она с виноватой улыбкой ¹² какая-то издерганная ¹³ ждали ¹⁴ до обеда, всё думали, что она

молилась богу, плакала, воздевала руки (и горничные ¹, глядя на нее, посмеивались) и с того времени ² как-то вся осунулась, присмирела и ³ стала неправильно произносить слова; так вместо «часы» говорит — «тисы».

— На тебя она не сердится, а еще больше полюбила, всё ходит в твою комнату и крестит стены и твою постель,— рассказывала Нина Ивановна.— А я, конечно, была поражена, мне тогда стало так тяжело, что никого не могла видеть... Я ведь виновата, я тогда ночью обидела тебя, потом мне стало это понятно... и я всё молилась, чтобы бог меня наказал, отнял бы у меня всё, всё... ⁴ Нет, теперь даже описать нельзя ⁵. Не дай бог никому.

Всё время она не отрывала глаз от Нади ⁶. За обедом ела мало, а ночью не спала, лежала тихо... И так прожила дней пять и уехала...

Саша присылал письма с адресом «Санкт-Петербург», и буквы в них казались ⁷ веселыми, танцующими ⁸. Прошла осень, за ней прошла зима. Надя уже сильно тосковала по родине и каждый день думала о матери, о бабушке, о своей комнате, о том, как она будет спать на своей постели. Письма из дому проходили тихие ⁹, добрые, и, казалось, всё уже было прощено, забыто ¹⁰. В начале мая после экзаменов она поехала, и странно ей было сознавать, что она едет домой и что ¹¹ ей ни от кого и ничего скрывать не нужно. В Москве она повидалась с Сашей. Он ¹² был всё такой же, как и прошлым летом, бородатый ¹³, с исключенной прической, всё в том же сюртуке и парусинковых ¹⁴ брюках, но вид у него был затасканный, замученный, он и постарел, и похудел, и всё покашливал.

— Ах, вы из Санкт-Петербурга! — сказал он весело, обрадовавшись.— Ну, что нового в вашем Санкт-Петербурге удивительном?

Посидели ¹⁵, поговорили, потом поехали в ресторан завтракать; он ел, говорил и всё покашливал. А она не могла есть и

¹ горничные в это время ² с того времени очень похудела ³ и непра(вильно) ⁴ Далее зачеркнуто: О милая, не дай бог никому! ⁵ теперь я даже описать не могу ⁶ от Нади, как будто стараясь наглядеться ⁷ всякий раз казались ⁸ танцующими и всякий раз он писал на адресе «Санкт-Петербург». ⁹ тихие, спокойные ¹⁰ было забыто, улеглось ¹¹ что ни от кого ¹² В Москве она заехала к Саше, чтобы уговорить его ехать вместе. Саша ¹³ бородатый, всё в том ¹⁴ парусинковых оттопт(анном.) ¹⁵ Перед: Посидели—зачеркнуто: а. Он повел Надю б. Он поехал с Надей

только со страхом смотрела на него, боясь, как бы он не свалился здесь в ресторане и не умер.

— Саша, дорогой мой,— сказала она, кладя руку на его руку,— вы больны, вы это сами отлично видите ¹.

— Нет, я здоров.

— Поедьте к нам... Я буду смотреть за вами, ходить, как друг, как сестра...— она заплакала,— как обязанный, бесконечно благодарный вам человек... Поедьте! ²

— Боже меня сохрани,— сказал Саша и засмеялся.— Что у вас там не видал? Обывателей? ³ Андрея Андреича? Нет-с, слуга покорный. Я завтра уезжаю на Волгу.

— Поедьте! — умоляла ⁴ она, а лицо у нее было мокро от слез и слезы капали на тарелку.— Умоляю, поедьте! ⁵

— Нет, Надя, не просите, скучно мне у вас. К тому же я здоров, пожаловаться не могу... ⁶ Завтра еду на Волгу тут с одним парнем... Парень-то хороший, только из Санкт-Петербурга ⁷, вот беда! Говоришь ему, положим, что мне хочется есть, что я оскорблен глубоко, задавлен насилем, что мы вырождаемся, а он мне в ответ на это толкует о великом инквизиторе, о Зосиме, о настроениях мистических, о каких-то зигзагах грядущего — и это из страха ответить прямо на вопрос... ⁸ Ведь ответить прямо на вопрос — страшно! Это всё равно, как при столпотворении смешение языков: один ⁹ просит: дай топор, а ему в ответ: поди к чёрту.

— Слушайте, Саша, я опять о том же ¹⁰. Я вам так обязана! ¹¹ И мне так хотелось бы увезти вас, поговорить с вами, хотелось бы, чтобы вы относились к жизни и к людям помягче, пошире ¹². Мне так хотелось бы ¹³, чтобы ¹⁴ вашей душе было покойно.

— Нет, я не поеду. Скучно у вас.

Он заплатил в ресторане, потом рассмеялся и сказал ¹⁵, хлопнув по бумажнику:

— Я теперь триста рублей в месяц зарабатываю! Во!

¹ отлично видите, по(едемте) ² Поедьте! Умоляю, поедьте! ³ Обывателей дурацких? ⁴ попросила ⁵ Дорогой мой, поедьте! ⁶ И к тому же я здоров совершенно. ⁷ Далее зачеркнуто: Из ресторана поехали на вокзал. ⁸ Далее зачеркнуто: а. Это чтобы на время отуманить меня и сбить с позиции... б. Так вот и идет у них: один спрашивает, как быть, что делать, а другие затуманивают... ⁹ он ¹⁰ о том же. поедьте к нам! ¹¹ так обязана, и сказать нельзя. ¹² а. пошире, покойнее б. пошире, без этой всей философии ¹³ хотелось бы, чтобы вы выздоровели ¹⁴ а. чтобы душа б. чтобы душе ¹⁵ заплатил в ресторане и сказал, смеясь

Он ¹ провожал ее на вокзале, угощал чаем, яблоками; а когда ² поезд тронулся и он, улыбаясь, помахивал платком, то даже по ногам его видно было, что он очень болен и что уже не протянет долго.

Приехала Надя ³ в свой город в полдень. Когда она ехала с вокзала домой, то ей ⁴ улицы казались очень широкими, а дома маленькими, приплюснутыми; людей ⁵ не было, и только ⁶ встретился настройщик Швабе, в рыжем пальто; ⁷ черная, тощая собака жевала траву... Бабушка, совсем уже старая, по-прежнему полная и некрасивая, охватила Надю руками и, прижавшись лицом к ее плечу, долго плакала и не могла оторваться. Инна Ивановна, постаревшая лет на десять, глядела на нее и всё говорила: ⁸ «Милая моя! милая ..оя!»

Потом сидели все трое и молча плакали. Видно было, что и бабушка и мать чувствовали, что прошлое потеряно навсегда и безвозвратно ⁹; нет уже ни положения в обществе, ни прежней чести, ни права приглашать к себе в гости, точно ¹⁰ в их доме вдруг ночью нагрянула полиция, сделала обыск, и хозяин дома, оказалось, растратил, подделал ¹¹.

Надя пошла наверх и увидела ту же постель, те же окна с белыми ¹², напыльными занавесками, а в окнах — тот же сад, теперь залитый солнцем, веселый, шумный. Она потрогала постель, посидела у своего стола, поплакала... ¹³

Потом обедали. ¹⁴ Вечером Надя легла спать, укрылась и всё время улыбалась — так было хорошо! А будет ли стучать ночью сторож? К ней пришла Инна Ивановна. ¹⁵

¹ *Перед:* Он — *зачеркнуто:* Когда ² а когда она ³ она ⁴ ей казалось ⁵ прохожих ни(кого) ⁶ только один ⁷ *Далее зачеркнуто:* тощая ⁸ *Далее зачеркнуто:* О господи боже мой!.. ⁹ безвозвратно, и обе они глядели, как ¹⁰а. как будто б. точно так же, как в семьях, где вдруг ночью [в(ходит)] [приходит полиция] отец ¹¹ подделал, попал в тюрьму ¹² с белыми за(навесками) ¹³ [Она радостно] Она засмеялась и заплакала, и легла на постель, и минут пять пролежала, наслаждаясь, припоминая прошлое. ¹⁴ *Далее зачеркнуто:* Перед вечером пришел Андрей Андрейч и играл на скришке.

— Отец Андрей с того самого дня не был у нас ни разу, — пояснила Инна Ивановна шёпотом, — а вот Андрей Андрейч почти каждый день ходил к нам... Он про тебя говорил только хорошо, утешал бабушку...

Андрей Андрейч остался и ужинать. А когда [она] Надя легла спать, то к ней в спальню

¹⁵ *Далее зачеркнуто:*

— Завтра хотел прийти Андрей Андрейч... — сказала она, садясь к ней на постель, — Можно?

— Да, конечно

Помолчали.

— Ну, как, Надя? — спросила Нина Ивановна. — Ты довольна? Очень довольна?

— Довольна, мама. Конечно, когда поступала на курсы, то думала, что достигла всего, уже не захочу ничего больше, а вот как походила, поучилась, то открылись впереди новые планы, а потом опять новые и всё шире и шире, и, кажется, нет и не будет конца ни работе, ни заботе. ¹

Нина Ивановна встала и перекрестила Надю и окна.

— А я, как видишь, стала религиозной, — сказала она. — Знаешь, и квижек уже не читаю.

— Отчего?

— Так. ² Не читается. Жизнь моя уже кончена, я так понимаю. Ну, спи, господь с тобой.

Опа ушла.

«Тик-ток, тик-ток...», — стучал ночью сторож...

На другой день вечером приходил Андрей Андреич и играл на скрипке ³ очень долго, с таким выражением, как будто ему больше ничего уже не оставалось на этом свете, как только играть ⁴.

— А отец Андрей не ходил, — шепнула бабушка. — С того раза не был...

Прошел май, начался июнь... Надя уже привыкла к дому. Хлопоты бабушки за самоваром, ее заплаканное лицо, глубокие вздохи, Андрей Андреич ⁵ и игра на скрипке по вечерам стали ⁶ прискучать ей ⁷, и она уже не понимала, как это можно целый день просидеть без дела, и томилась. ⁸ Она ходила по саду, гля-

— Отец Андрей с того самого дня не был у нас ни разу, а вот Андрей Андреич не покидал нас, всё время ходил. Он хороший человек, Надя!

¹ *Далее зачеркнуто:* [Да это] Это так и нужно, я не ропщу.
² *Далее зачеркнуто:* Вдруг ³ а. играл на скрипке. Он был всё такой же, только волосы были длиннее, и когда играл на скрипке, то закрывал глаза. За ужином молчал и ушел молча.
^{б.} играл на скрипке. Он не проговорил с Надей ни одного слова, [только] да и вообще был неразговорчив. ⁴ как играть на скрипке ⁵ и Андрей Андреич ⁶ стали уже ⁷ *Далее зачеркнуто:* а. [Сл(уги)] Прислуга казалась распущенной и слово «Дзыга» слышалось уже в зале и гостиной. ^{б.} Горничная и старуха нянька часто грубили бабушке и [уже] слышно было, как они говорили [уже в зале и в гостиной] уже в присутствии самой бабушки: — Ну, заворчала Дзыга! ^{в.} Ну, заворчала Дзыга! — говорила горничная или старуха нянька, но уж ⁸ *Далее зачеркнуто:* Мать смотрела на нее виновато, и ее умоляющие, виноватые, трогательные глаза [утомляли] стали утомлять Надю,

дела в окна на дома, на сад, и ей казалось, что в городе всё ¹ давно уже состарилось, отжило ², и всё только ждет ³ не то конца, не то начала чего-то молодого, свежего ⁴. О, если бы поскорее эта новая, ясная жизнь, чтобы можно было прямо смотреть в глаза ⁵, звать, что ты прав ⁶, быть веселым, свободным! Будет же время, когда бабушкин дом ⁷, где всё так устроено, что четыре прислуги иначе жить не могут, как только в одной комнате ⁸, будет же, когда этот дом отживет, сломается и на месте его будет ⁹ стоять уже новый ¹⁰ — и о старом забудут, да и некогда будет помнить...

Бабушка ¹¹ поманила к себе Надю и сказала ей с заискивающей улыбкой, как бы шутя:

— Милая моя, внучка родная, не покидай ты меня и мать! Делай что хочешь, живи как знаешь, только не покидай нас совсем! — Она заплакала, а Надя не знала, что сказать. — Кухарки зовут меня дзыгой теперь уж прямо в глаза ¹², ну да мне теперь всё равно, не до них ¹³, бог с ними... Стара стала, умру скоро. Милая, успокой старуху, — бабушка заплакала, — не отказывай Андрею Андревичу ¹⁴. погоди! может, одумаешься. Он, голубчик мой, сказал мне вчера: «Ничего, я буду ждать! буду ждать!» Он всё извинит, только успокой меня ¹⁵.

— Ах, бабушка ¹⁶, зачем об этом говорить! — сказала Надя и ¹⁷ пошла ¹⁸ к себе наверх.

А когда она ложилась ¹⁹, пришла к ней Нина Ивановна и по обыкновению ²⁰ села на постель, чтобы минутку поговорить, пожелать доброй ночи.

— Я вот чего, Надя, не могу понять, извини ²¹, — сказала она. — Конечно, я провинциалка, за границей не бывала, но все-таки я немножко мыслю, слежу за веком... И вот чего я не понимаю: как ты можешь жить в Петербурге в маленькой комнате, у чужих людей, каждый день встречаться с чужими, а за

¹ всё, всё ² отжило, решительно всё ³ а. ждет, чтобы уступить свое место б. ждет, когда же начало ⁴ чего-то нового, бодрого, веселого, [полного смысла] [ликующего] светлого ⁵ смотреть в глаза кому хочешь ⁶ ты прав или уметь обманываться ⁷ бабушкин дом отживет, сломается ⁸ в одной комнате, когда этот дом ⁹ будет какой-нибудь ¹⁰ новый, с новыми люд(ьми) ¹¹ Бабушка как-то остановила Надю внизу и сказала ей, прикрывая дверь, чтобы не услышала прислуга:

— Голубчик мой, Надюша, я уже старая, умру скоро... ¹² зовут меня дзыгой прямо так при мне ¹³ не до того... ¹⁴ буду поласковой с Андреем Андреевичем ¹⁵ успокой меня, слово скажи ¹⁶ Не дужно об этом, бабушка ¹⁷ и махнула рукой. — Я уж думала, что ¹⁸ ушла ¹⁹ ложилась спать ²⁰ Нина Ивановна; по обыкновению она ²¹ извини, не могу понять

стенами какие-то мужчины... Нет, Надя, с чем другим, а с этим согласиться я не могу. Нет!

Пришло из Саратова письмо от Саши. Своим веселым, улыбающимся ¹ почерком он писал, что путешествие по Волге ему удалось вполне ², что в Саратове он прихворнул немного ³ — кашель, жар и прочие ⁴ пустяки ⁵, и теперь лежит в гостинице, но через недельку ⁶, когда полегчает, вернется в Москву. ⁷ Вместо подписи была нарисована улыбающаяся ⁸ рожа с лохматой бородой и с длинным носом, а под нею подпись ⁹: «Это я». А дня через три, утром, Надя, сойдя вниз, застала ¹⁰ бабушку в сильном горе: она плакала ¹¹ и не могла выговорить ни одного слова. На коленях у нее лежала телеграмма, и Надя догадалась ¹², не стала спрашивать; опечаленная, она долго ходила ¹³ по комнате, потом взяла телеграмму и прочла. Так и есть — вчера вечером в Саратове от чахотки скончался Александр Тимофеич, то есть, попросту, Саша. И представилось ей, как Саша лежит мертвый и на лице его добрая, хитрая улыбка...

— Упокой, господи, его душу, — говорила ¹⁴ в доме прислуга. Она проишла по Сашиной комнате.

Бабушка, Нина Ивановна ¹⁵, горничные пошли в церковь заказывать ¹⁶ панихиду. А Надя долго еще ходила по комнатам ¹⁷ и думала. Ей стало вдруг скучно ¹⁸, томительно скучно, и она чувствовала, что ей в этом городе нельзя оставаться, что она здесь одинокая, чужая, всё прежнее оторвано ¹⁹ от нее, точно сгорело и несл разнесся по ветру.

«Прощай, милый Саша!» — думала она ²⁰.

Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром уехала ²¹, и впереди ей рисовалась жизнь трудовая ²², широкая, чистая.

¹ тап(цующим) ² вполне, но ³ прихворнул немного, нанял комнату дня на два — на три, чтобы [отлежаться] отдохнуть ⁴ другие ⁵ пустяки, но ⁶ но дня через три ⁷ Далее зачеркнуто: Под(писи) Между строками вставка, не прикрепленная к определенному месту: «Замучил меня спутник, одолел! Жалуюсь ему на кашель, а он мне про великого инквизитора». ⁸ лохматая ⁹ а. а под нею б. а под рожей подписано ¹⁰ дня через три, ходила Надя сошла вниз, к чаю, нашла ¹¹ она не могла ¹² Надя догадалась, но все-таки прочла: [Вечером [умер] скончался Александр Петрович] [что вчера вечером умер] вчера вечером в Саратове [ско(нчался)] умер Саша ¹³ и опечаленная долго ходила ¹⁴ говорила все ¹⁵ Бабушка и Нина Ивановна ¹⁶ служить ¹⁷ по всем комнатам ¹⁸ Ей было скучно ¹⁹ оторвано и уничтожено, и ²⁰ Далее зачеркнуто: а. Здравствуй, [новая] новое и неизвестное! Здравствуй, новое и неизвестное! — повторила она. — Здравствуй! б. А я поеду, поеду, буду жить, ²¹ уехала в ²² трудовая, ответственная

Стр. 202.

³ *Перед:* Было уже часов десять вечера —
— Ступай навверх скорей, там дзыга зовет! — крикнула горничная со злобой. (БА)

Из подвального этажа, где была кухня, в открытое окно слышно было, как там спешили, как стучали ножами ¹, как хлопали дверью на блоке; в саду около дома пахло жареной индейкой и маринованными вишнями ² (БА, Γ_1)

⁷ накрывали на стол / накрывали стол (БА)

¹⁷ милый май / милый месяц май ⁰ (БА)

¹⁷⁻¹⁹ Дышалось глубоко ∞ далеко за городом / И так хотелось думать, что здесь, под небом, над деревьями и далеко за городом (БА); Дышалось глубоко и так хотелось думать, что здесь, под небом, над деревьями и далеко за городом (Γ_1)

²¹⁻²³ пониманию слабого, грешного человека. И хотелось почему-то плакать. / пониманию грешного человека (БА); пониманию слабого, грешного человека. И хотелось почему-то плакать; и вот сидела бы так и думала без конца... (Γ_1)

²⁴ Ей, Наде, было уже 23 года; / Надя думала: ей уже 23 года, (БА)

²⁷ свадьба / и свадьба (БА, Γ_1)

²⁹ веселье / и веселье (БА)

²⁹⁻³³ *Текста:* Из подвального этажа ∞ маринованными вишнями. — нет. (БА, Γ_1); ср. вариант к стр. 202, строка 3.

³³⁻³⁴ И почему-то казалось ∞ без конца! / Почему-то всё представлялось теперь таким неясным, неполным! Отчего? Почему? (БА); Почему-то всё представлялось теперь таким неясным, неполным, точно клочки разорванного письма. Зачем это так? Для чего? (Γ_1)

Стр. 203.

⁵ *После:* больная — которая постоянно сердилась, всех презирала и умерла, как говорили, от раздражения ³ (БА, Γ_1)

⁶⁻⁸ что он прекрасный художник ∞ отравила его / что если бы учить его живописи, то из него вышел бы прекрасный художник, и бабушка, ради спасения души, отравила сироту (БА); что из него со временем выйдет

¹ В БА: как стучали ножами — нет. ² В БА: и маринованными вишнями — нет. ³ В БА первоначально: от злости

- прекрасный художник, и бабушка, ради спасения души, отправила сироту (Г₁)
- 10-11 чуть ли не пятнадцать лет / лет десять (БА, Г₁)
- 13 После: литографий — зачеркнуто: и [дома] рисовал у себя дома образцы для обоев (БА)
- 14-15 он ∞ к бабушке / он к бабушке [очень больной] (БА)
- 15 После: поправиться.— зачеркнуто: И теперь (БА)
- 16 На нем был теперь / На нем [так же, как в прошлые годы] был черный (БА)
- 16 неглаженная / неглаженная, неаккуратная ∅ (БА)
- 20-21 Слов: и все-таки красивый — нет. (БА, Г₁)
- 21 привык / относился (БА, Г₁)
- 23 называлась уже давно / называлась (БА, Г₁)
- 25-26 Хорошо у вас ∞ Конечно, хорошо. / Хорошо у вас здесь,— проговорил он, стоя возле Нади.— Пожил у вас с неделю, а уже чувствую — силы прибавилось!
- И чудесно. Но ведь вы сбежите, Саша ¹ (БА, Г₁); Хорошо у вас здесь,— проговорил он.
- Конечно, хорошо. Но ведь вы сбежите, Саша! (Г₂)
- 26 у вас тут проживу. / у вас проживу. Хорошо у вас тут, славно. (БА); у вас проживу. (Г₁, Г₂)
- 31 После: такой молодой! — Да и на самом деле она еще молода. (БА, Г₁)
- 32-33 Слов: добавила она, помолчав — нет. (БА)
- 34 После: согласился Саша.— Каждому человеку его мать кажется необыкновенной.— Он подумал и продолжал (БА, Г₁)
- 39 тараканы / тараканы, грязь (БА)
- 41 а ведь мама / а ведь мама молодая ∅ (БА)
- 42-43 Фразы: Можно бы, кажется, понимать.— нет. (БА)
- Стр. 204.
- 2 После: тощих пальца — зачеркнуто: и глаза его не мигали, и говорил он убедительно тихим баском (БА)
- 3 всё здесь / всё это
- 4-6 Чёрт знает, никто ничего ∞ вы — тоже. / Нина Ивановна, бабушка и вы не делаете решительно ничего. (БА)
- 4-5 Мамаша / Милая мамаша (Г₁)
- 7 После: ничего не делает.— Он хороший человек, славный, спора нет, ну, и умный там, что ли, только чем он занимается, никак не пойму. (БА, Г₁)
- 8-9 Слов: и, кажется, в позапрошлом — нет. (БА)

¹ В БА первоначально: сбежите, Саша, наверное сбежите

⁹ и знала / и она знала \diamond (БА)
¹⁰⁻¹¹ это прежде ∞ стало досадно. / это [только] было только смешно, но почему-то ей стало неприятно и скучно. Да и холодно было.

[Внизу в кухне гулко зазвенели тарелки, должно быть уронила горничная или нянька.

— Ну-у! — проговорил Саша и засмеялся.] (БА); это было только смешно, но почему-то теперь ей стало досадно. (Γ_1)

¹²⁻²² Всё это старо ∞ Мне вот / Оба встали и пошли к дому. Она, высокая, красивая, стройная, казалась теперь рядом с ним очень здоровой и нарядной, она чувствовала это и ей [вдруг стало] было жаль его [так жаль, что даже захотелось плакать] и почему-то неловко.

— Очевидно, моего Андрея вы не знаете, — сказала она, чтобы продолжить разговор.

— Моего Андрея... А мне вот (БА)

¹²⁻¹⁸ Всё это старо ∞ что-нибудь поновее. / Когда я смотрю на вас, — сказала она, — то вы возбуждаете во мне только [досадное] неприятное чувство. Ведь вы больны, а между тем выходите без шляпы. И отчего вы в самом деле не обращаете внимания на вашу болельню? Отчего не лечитесь? Ах, как это нехорошо и, извините, даже непорядочно, — проговорила она и встала. (Γ_1)

¹⁷ жаль его / жаль его, по-прежнему досадно (Γ_1, Γ_2)

²⁵⁻²⁴ Когда вошли в зал, там уже садились ужинать. / Вошли в зал; там уже садились ужинать.

[— В молодые годы учиться нужно, — проговорил Саша тихо, садясь с Надей за стол. — Учиться нужно бы. В Петербург бы вам!] (БА)

²⁹ дом с колоннами и садом / дом с колоннами и с садом

³⁶ жених Нади / жених Нади, 33 лет (БА)

³⁸ После: говорили о гипнотизме. — зачеркнуто: Были за столом еще две дамы-гостьи и дьякон. (БА)

— Саша, ты сколько сегодня молока выпил? — спросила бабушка громко.

— Стаканов пять выпил... — ответил Саша. (B^1, Γ_1)

³⁹⁻⁴⁰ Слов: сказала бабуля, обращаясь к Саше — нет. (БА, Γ_1)

⁴¹ вздохнула она / вздохнула бабуля (БА, Γ_1)

Стр. 205.

⁶ После: засмеялся п — зачеркнуто: чтобы не расхохотаться громко (БА)

⁷ После: салфетку.—

— А блудный сын всё смеется,— сказала бабушка и ласково поглядела на Сашу, и сама засмеялась.— Смешной ты, бог с тобой. (БА, Г₁);

— А блудный сын всё смеется,— сказала бабушка и ласково поглядела на Сашу. (Г₂)

10-12 Я не могу ∞ строгое выражение / Дело в том, что когда-то я очень долго занималась гипнотизмом,— ответила Нина Ивановна, придавая своему лицу очень серьезное, даже строгое выражение,— и не могу, конечно, утверждать, что я верю (БА, Г₁)

²⁵ После: смею вас уверить.—

Бабушка вздохнула и сказала громко:

— Вы говорите, а я ничего не понимаю! (БА, Г₁)

30-37 и стали прощаться. / стали прощаться. Андрей Андреич, взволнованный, грустный от музыки, надевши в передней пальто, поцеловал у Нади обе руки и хотел обнять ее, сказать ей, как он ее любит, но в передней находился отец Андрей, вошла горничная... ¹ (БА, Г₁)

38 Надя пошла к себе наверх / а. Надя, проходя мимо Саши, пожелала ему спокойной ночи. б. Надя пошла спать и, проходя через залу, пожелала Саше спокойной ночи.

— В молодые годы, в ваши годы учиться нужно! — сказал он хмурясь.— Да... В Петербург вам нужно. Она пошла к себе наверх ⁰ (БА)

Стр. 266.

⁸⁻⁹ села в постели и стала думать. / села в постели и, обняв колени, склонив на них голову, стала думать, думать... (БА, Г₁)

12-14 сделал ей предложение ∞ умного человека / сделал ей предложение [как раз в то время, когда она уже считала себя старой девой и уже стала терять надежду — ведь ей 23 года!...] Она согласилась и [мал(о-помалу)] оценила этого красивого, доброго, умного человека (БА)

13-14 этого доброго, умного человека / этого красивого, доброго, умного человека (Г₁)

15-17 страх, беспокойство ∞ тяжелое. / страх и беспокойство. Если бы отложили свадьбу до осени или даже до зимы! Тогда бы она имела бы время всё обдумать [и, пожалуй, еще сильнее полюбила бы жениха]... (БА); страх, беспо-

¹ В БА далее зачеркнуто: — До завтра! — сказал он. По том (?)

койство, как будто ожидало ее что-то неопределенное, тяжелое, вроде сна с кошмарами. Если бы отложили свадьбу до осени или даже до зимы! Если бы понять, отчего это беспокойство! (Γ_1); страх, беспокойство, как будто ожидало ее что-то неопределенное, тяжелое. Если бы отложили свадьбу до осени или даже до зимы! (Γ_2)

²⁶ Или тут влияние Саши? / Или тут влияние Саши, и всё это, быть может, оттого, что он постоянно говорит против замужества и отзывается об Андрее всякий раз так небрежно ¹. (БА, Γ_1)

²⁸⁻³⁰ как по-писанному ∞ отчего? / а когда говорит, то кажется чудачком, оригиналом... (БА); и когда говорит, то кажется чудачком, оригиналом; добрый оп, неглупый человек, но без причины смеется, без причины сердится... (Γ_1); и когда говорит, то кажется папвным. Но отчего все-таки Саша не выходит из головы? отчего? (Γ_2)

³³ точно улыбкой / точно молодой улыбкой (БА, Γ_1)

³⁷ После: нарядным.— *зачеркнуто*: А Надя всё сидела в постели, тревожная, точно больная. Всё бы, казалось ей, было хорошо, благополучно, да что-то очень важное было не досказано, что-то еще не доделано, не приготовлено, а что именно, она боялась, не хотела думать. Внизу (БА)

³⁸ После: бабуля.— Точно ручей шумел внизу: это по обыкновению старуха ворчала на прислугу. (БА); Точно ручей зашумел внизу: это старуха ворчала на прислугу. (Γ_1)

⁴⁰ После: двигали стульями — как горничная быстро прошла мимо комнаты Нади, босая, и проговорила сердито, плачущим голосом:

— А чтоб тебе, дзыга окаянная... (БА, Γ_1)

Стр. 207.

¹ Часы идут медленно. / Как медленно идут часы! (БА, Γ_1); Часы идут медленно! (Γ_2)

² После: тянется утро.— И какая насмешка ², какой обман в этих томительно длинных часах, бесконечных утрах, когда тут же на глазах ³ с изумительной быстротой проносятся недели, месяцы, годы!..

³ Вот / А вот [гуляет по саду] (БА); А вот (Γ_1 , Γ_2)

³⁻⁴ После: со стаканом минеральной воды.— Какая это удивительная женщина!.. (БА)

¹ В Γ_1 : всякий раз небрежно ² И какое лукавство (*И пр. об*) (БА) ³ когда на твоих же глазах (БА)

- 6-7 много читала ∞ таинственный смысл. / читала книги весь день, даже за обедом ¹, часто спорила о пользе театров и раз даже принимала участие в спектакле, после которого тяжело дышала всю ночь и потом весь день. Любила она говорить о сомнениях, которым была подвержена, и от нее часто слышали фразу:
- Нас убивает религиозный индифферентизм! ²
- И эти слова, казалось Наде, заключали в себе глубокий, таинственный смысл. (БА, Г₁)
- ¹¹ описывается один старик / описывается старик (БА, Г₁)
- ¹¹⁻¹² служит где-то / служит где-то в присутственном месте (БА, Г₁)
- ¹⁵ из стакана / из стакана, который держала в руках^φ (БА)
- ¹⁷⁻¹⁸ А мне все эти дни ∞ помолчав. / Милая мама, отчего мне все эти дни так невесело? — спросила Надя ³. (БА, Г₁)
- ¹⁹ Фразы: Не знаю, милая.— нет. (БА)
- ¹⁹ А когда я не сплю по почам / А когда я не сплю ночью (БА); Когда я не сплю по ночам (Г₁, Г₂)
- ²⁰ закрываю глаза / обыкновенно закрываю глаза (Г₁)
- ²⁰ Слов: вот этак — нет.
- ²⁰ После: закрываю глаза крепко-крепко — зачеркнуто: и лежу неподвижно (БА)
- ²¹ и как говорит / и говорит
- ²² рисую что-нибудь историческое, из древнего мира / рисую Лаврецкого или кого-нибудь из истории (БА); рисую что-нибудь историческое, из древнего мира, или решаю вопрос, зачем мы живем, какая цель нашего бытия (Г₁)
- ²³ Надя почувствовала / Наде стало досадно, тоскливо, она почувствовала (БА, Г₁)
- ²³⁻²⁶ не может понять ∞ ушла к себе в комнату / не может понять [и вдруг сама прижала [мать] ее], но тотчас же она обняла мать, и обе пошли в дом и сели за рояль играть в четыре руки (БА); не может понять, но тотчас же она обняла мать и прижалась к ней; обе погуляли по саду, потом пошли в дом и долго, до самого обеда, играли на рояли в четыре руки (Г₁)
- ²⁵ и ей даже / ей даже (Г₂)
- ²⁷ А в два часа сели обедать. / В два часа сели обедать. В БА далее зачеркнуто: Так как

¹ В Г₁: много читала; в БА далее зачеркнуто: была любительницей театров, концертов, благотворительных балов ² В Г₁: Нас убивает индифферентизм! ³ В Г₁: спросила Надя, помолчав

постный борщ и леца с кашей. / постный борщ, [запах которого потом стоял во всех комнатах до самого вечера] Нине Ивановне, которая всегда лечилась, подали бульон, Саше и Наде — скромный рассольник.

— Наш город, говорили, губернией хотят сделать,— сказала бабушка.

— Да, ваш город хотят столицей сделать! — усмехнулся Саша.— Великолепный город! Ни одной лавочки нет, где бы не обвешивали, ни одного нет чиновника, который не облысел бы преждевременно от картежной игры и от водки. На улицах грязь, пыль, вонь. Взаимы берут — не отдают, книги зачитывают... [А послушай этих господ в клубе или на именинах где-нибудь, так только и разговор, что о пессимизме, о том, что жизнь не дает им ничего радостного, светлого. Кканалы!] Кканалы!

— Замолил и сам не знает про что,— вздохнула бабушка; она любила Сашу и жалела, но подозревала, что он в Москве и выпивал, и в карты играл, [и вел себя вообще нехорошо], отчего и был болен, и о чем бы он ни говорил, всякий раз вздыхала.

[— Ты, блудный сын, ел бы,— сказала она.]

— Город мертвый, люди в нем мертвые,— продолжал Саша,— и если бы, положим, он провалился, то об этом было бы напечатано в газетах всего три строчки и никто бы не пожалел.

— Ешь! — крикнула бабушка.

Наступило молчание. Бабушке подали леца, начивенного кашей, остальным — соус из курицы.

— Отсталый город,— заговорил Саша опять.— Бисмарк сказал: медленно запрягать, но быстро ездить — в характере русского народа. А город этот, по правде сказать, только еще собирается запрягать (*БА*); постный борщ; Нине Ивановне, которая всегда лечилась, подали бульон, Саше и Наде — скромный рассольник.

— Наш город, говорят, губернией хотят сделать.— сказала бабушка.

— Да, ваш город хотят столицей сделать! — усмехнулся Саша.

— Он не наш только, но и твой город. Ведь ты тут родился.

— Великолепный город! — продолжал Саша, усмехаясь.— Ни одной лавочки нет, где бы не обвешивали, ни одного нет чиновника, который не облысел бы прежде-

временно от карточной игры и от водки. На улицах грязь, пыль, вонь. Взаимы берут — не отдают, книги зачитывают... Ккнааль!

— Замолел и сам не знает про что,— вздохнула бабушка.

Она любила Сашу и жалела, но подозревала, что он в Москве и выпивал, и в карты играл, отчего и был болен; и о чем бы он ни говорил, она всякий раз вздыхала.

— Город мертвый, люди в нем мертвые,— продолжал Саша,— и если бы, положим, он провалился, то об этом было бы напечатано в газетах всего три строчки и никто бы не пожалел.

Наступило молчание. Бабушке подали леца, начиненного кашей, остальным — соус из курицы.

— Отсталый город,— заговорил Саша опять,— грубый город, невежественный. Бисмарк сказал: медленно запрягать, но быстро ездить — в характере русского народа. А город этот, по правде сказать, еще не собирался запрягать (Γ_1);

постный борщ, Нине Ивановне, Саше и Наде — скромный рассольник.

— Не нравится мне ваш город,— начал Саша.— В лавочках обвешивают; чиновники только и знают, что играют в карты и пьянствуют; на улицах грязь, пыль, вонь. Взаимы берут — не отдают, книги зачитывают...

— Замолел и сам не знает про что,— вздохнула бабушка.

— Город мертвый, люди в нем мертвые,— продолжал Саша,— и если бы, положим, он провалился, то об этом было бы напечатано в газетах всего три строчки и никто бы не пожалел.

Наступило молчание. Бабушке подали леца, начиненного кашей, остальным — соус из курицы.

— Отсталый город,— заговорил Саша опять,— грубый город, невежественный (Γ_2).

29-30 ел и свой скромный суп и постный борщ / ел и постный борщ, и леца

30-31 шутил всё время, пока обедали / шутил

30-32 протянет на этом свете ∞ до слез. / протянет на этом свете. Становилось не по себе, когда он, рассказывая что-нибудь смешное, начинал хохотать до слез, но мало-помалу

смех заражал, и слушатели его тоже начинали смеяться,
(БА, Г₁)

³⁷ тогда становилось / и становилось (Г₂)

⁴²⁻⁴³ если бы вы послушались меня / если б вы послушались
меня и поехали учиться (БА, Г₁)

Стр. 208.

¹⁻³ Текста: Она сидела глубоко ∞ говорил он.— нет. (БА)

³ говорил он / продолжал он ∅ (Г₁)

⁴⁻⁵ интересны, только они и нужны / интересны и нужны;
[остальные же — толпы, во все века одинаковые и безраз-
личные [;наше]. Наше] остальные же [это] толпа, стадо
(БА); интересны и нужны [, а ведь остальные — толпа,
стадо!] (Г₁)

⁵⁻⁶ Ведь чем больше ∞ на земле. / Наше дело стараться из
всех сил, чтобы число таких людей росло и росло, авось
и настанет когда-нибудь царствие божие на земле. А что ж?
(БА, Г₁)

⁸⁻⁹ точно по волшебству. И будут тогда здесь / точно по
волшебству, и — кто знает? — будут тогда здесь, быть
может (БА, Г₁)

¹¹ замечательные люди.. / чудесные люди... Бедных,
больных, жалких тогда не будет вовсе, потому что среди
много знающих, искренних людей их не должно быть.
(БА, Г₁)

¹³ этого зла тогда не будет / тогда не будет (БА, Г₁)

¹³⁻¹⁵ потому что каждый человек ∞ опоры в толпе / В БА нет;
потому что каждый человек будет верить и каждый будет
знать, для чего он живет (Г₁)

²²⁻³² милая моя ∞ ушла к себе. / надо работать, надо делать что-
нибудь,— продолжал Саша.— Так нельзя. Если вы ничего
не делаете, то, значит, на вас работает кто-то другой,
вы заедаете чужой век! (БА); моя милая, надо работать,
надо делать что-нибудь,— продолжал Саша.— Так нельзя.
Стыдно. Если вы ничего не делаете, то, значит, за вас ра-
ботает кто-то другой, вы заедаете чужой век.

Надя хотела сказать: «да; это правда»; но ей [самой по-
чему-то] стало досадно на себя почему-то, на Сашу, на всех.

— Всё это прекрасно,— сказала она,— но слушать
вам я больше не стану. У вас манера читать другим настав-
ления, но это, знаете ли, прискучает.

Слезы показались у нее на глазах, она вдруг замол-
чала и ушла к себе. (Г₁)

²³⁻²⁴ эта ваша праздная жизнь / эта праздная жизнь (Г₂)

- 25 ваша бабулька / ваша бабушка (Γ_2)
- 27-28 а разве это чисто, не грязно? / а разве это чисто? (Γ_2)
- 29-30 *Слов:* хотела сказать, что она понимает — нет. (Γ_2)
- 32-33 приходил Андрей Андреич и по обыкновению долго играл / пришел Андрей Андреич и долго играл (БА)
- 33 Вообще он был / Он был
- 37 *После:* плечи, руки. — *зачеркнуто:* Кроме его и Нади, в передней не было ни души. (БА)
- 39 О, как я счастлив! / Если б ты только могла понять, как я счастлив! (БА, Γ_1); Если бы ты только могла понять меня. (Γ_2)
- 42-43 читала где-то... ∞ заброшенном. / читала где-то . . . Наконец он простился и вышел. [В зале Са(ша)] (БА); читала где-то. Наконец он простился и вышел.
— Марипа, — прошипела где-то горничная, — ступай скорей, дзыга зовет! (Γ_1); читала где-то... (Γ_2)
- Стр. 209.*
- 9 о женихе, о свадьбе / о женихе, о том ¹, какой он добрый, красивый, образованный ², думала о свадьбе (БА, Γ_1)
- 10-16 что ее мать ∞ несчастной женщины. / как по утрам плачет Иина Ивановна и как от плача сводит у нее руки и ноги. И почему-то Наде вдруг стало досадно, и уж она, как ни думала, не могла сообразить, почему до сих пор она видела в этом плаче что-то особенное, необыкновенное, [видела [точно священнодействии] какую-то высшую тайну, которой постичь не могла] (БА); как по утрам плачет ее мать и как от плача сводит у нее руки и ноги, и уж она, как ни думала, не смогла сообразить, почему до сих пор она видела в этом плаче что-то особенное, необыкновенное... (Γ_1)
- 10-11 покойного мужа и теперь / покойного мужа, отца Нади, а теперь (Γ_2)
- 12 свекрови, бабули / свекрови и бабули (Γ_2)
- 18-22 Это странный ∞ столько прекрасного / Это человек, думала Надя, с определенными убеждениями, с определенными правилами ³, крепко уверенный в справедливости того, что он говорит; он повторяется ⁴ и уже, по-видимому, стал прискучать, он утомляет ⁵, и в то же время в словах его столько прекрасного ⁶ (БА, Γ_1)

¹ В БА далее *зачеркнуто:* как он правится ей ² образованный [человек] (БА) ³ В БА далее *зачеркнуто:* не мечтающий
⁴ В БА далее *зачеркнуто:* уже ⁵ В БА: стал прискучать, утомлять ⁶ В БА далее *зачеркнуто:* чудесного, обворожительного

- 19 *Перед:* в его мечтах — *зачеркнуто:* во всех (Γ_2)
 24 радости, восторга / радости, надежды
 30 Саша в середине июня стал / Саша как будто поздоровел и повеселел, но в середине июня стал ¹ (БА, Γ_1)
 31 грязь невозможнейшая... / грязь невозможнейшая. А главное, надоело, работать надо! (БА, Γ_1)

Стр. 210.

- 3 *После:* швейная машина — то и дело приносили из магазинов картонки, ящики, узлы, и утомленная, встревоженная бабушка рассказывала всем, что она потеряла память (БА, Γ_1)
 7-8 и он дал слово, что уедет первого июля, не раньше / и взяли с него слово, что уедет он не раньше первого июля (БА); и взяли с него слово, что едет он первого июля, не раньше (Γ_1); взяли с него слово, что уедет он первого июля, не раньше (Γ_2)
 20 из уважения вздохнул / из уважения с минуту постоял перед нею молча (БА)
 27 две кровати / две кровати, рукомойник, большое зеркало в блестящей раме (БА, Γ_1)
 40 *После:* пошлость — *зачеркнуто:* и замечала только, что у жениха очень мягкие руки с короткими пальцами, что на нем очень новые, хорошо выглаженные брюки (БА)
 40-41 *Слов:* и его рука ∞ как обруч — нет. (БА)

Стр. 211.

- 14 Что же, он прав! / Не то, чтобы упрекал, а так, намекнул. Что ж, он прав! (БА, Γ_1)
 19 *Фразы:* О матушка Русь! — нет.
 21-22 бесполезных ∞ многострадальная / бесполезных, таких, как я, многострадальная
 23-24 видел в этом / и видел в этом (БА, Γ_1)
 36 *После:* добрый старик. — *зачеркнуто:*

Он любил своего отца и всегда восторгался им, а Наде это казалось странным. Как не знать, что в городе все считают отца Андрея очень богатым, скупым, хитрым, как не знать, [что он, например] что он никогда не платит извозчикам, не платит прислугам (?), не платит (1 *проб*) и об этом так любят говорить в городе! Ни одна душа не говорит о нем хорошо, и как любят говорить об этом в городе, за двадцать пять рублей обвенчает кого угодно, готов на всё! (БА)

¹ В БА: [он] стал

- 38 занимать их / занимать их, разговаривать ⁰ (БА)
- 39 слушать скрипку / слушать музыку (БА)
- 39-40 слушать всякий вздор и говорить только о свадьбе / говорить только о свадьбе ¹
- 42 После: сидела у самовара — и Надя, взглянув на нее, почему-то только теперь сообразила, что дзыгой в доме называют именно ее, бабушку (БА, Г₁)
- 43 со своей хитрой улыбкой / со своей улыбкой (БА)

Стр. 212.

- 5-6 в печи *с* напевал свою песенку / что-то невидимое, суровое то жалобно напевало, то начинало рычать и бегать по саду (БА); что-то невидимое жалобно и угрюмо напевало свою песенку (Г₁)
- 8-9 играют на скрипке / играют на скрипке или смеется отец Андрей (БА, Г₁)
- 9 Послышался резкий стук, должно быть / Послышался стук, что-то упало на землю, и Наде показалось, что это (БА); Послышался стук, что-то упало на землю; должно быть (Г₁)
- 10 Через минуту вошла / Через минуту слышались шаги, вошла (БА); А через минуту чьи-то торопливые шаги; вошла (Г₁)
- 12 После: спросила она.—
— Не знаю. (БА, Г₁); в БА далее зачеркнуто:
— Как будто с крыши железный лист упал. Какая буря, я даже боюсь.
- 13 Мать / Мать, с большими глазами, бледная
- 20-21 В печке раздалось пение *с* бо-о-же мой!» / В БА нет; В печке загудело и даже слышалось: «А-ах, бо-о-же мой!» (Г₁)
- 23 родная моя / родная моя, мама ⁰ (БА)
- 24 Слово: если б ты знала, что со мной делается — нет. (БА, Г₁)
- 34 быстро, страшно испугавшись / быстро (БА, Г₁)
- 37 После: только тешатся.— Спи! (БА, Г₁)
- 38 зарыдала Надя / зарыдала Надя и укрылась с головой ⁰ (БА)

Стр. 213.

- 3-6 строптивая дочка *с* Бога ради, зачем? / строптивая дочка, как у меня. Доживу ли я до того времени! Где там, едва ли! Ведь я умру от аневризмы,

¹ В БА: о [своей] свадьбе

Надя молчала, отвернувшись к стене. Нина Ивановна посидела немного и спросила:

— Что же ты молчишь?

Она подождала еще [минуту] немного и встала.

— Что же? Ты не хочешь говорить с матерью? — сказала она обиженным тоном.— И не нужно, не говори. Послал бы мне бог поскорее смерть! [И я умру. Так и знайте, умру!] И для чего я живу! Для чего я живу! (БА); строптивная дочка, как у меня. Доживу ли я до того времени!

Надя молчала, отвернувшись к стене. Нина Ивановна посидела немного и спросила:

— Что же ты молчишь?

Она подождала еще немного и встала.

— Что же? Ты не хочешь говорить с матерью? — сказала она обиженным тоном.— И не нужно, не говори. Нечего сказать, хороша моя жизнь! О господи, отчего я не умерла до сих пор, зачем живу! (Г₁)

⁶ сказала Надя / сказала Надя, опять хватая себя за голову (Г₂)

⁶ ты очень несчастна / ты ведь очень несчастна ⁶ (Г₂)

⁷⁻¹⁰ Нина Ивановна хотела ∞ пошла к матери. / Она [заплакала] всхлинула и ушла к себе. Надя прислушалась, потом встала и пошла за ней. Казалось, что мать не слышала или не поняла $\langle I \text{ нрзб} \rangle$, иначе бы помогла советом, лаской... Да так ли это? И буря шумела на дворе, мешала соображать. (БА); Она всхлинула и ушла к себе. Надя прислушалась, потом встала и пошла за ней. (Г₁)

¹¹ заплаканная, лежала в постели / уже лежала в постели (БА, Г₁)

¹⁴⁻¹⁷ Умоляю тебя ∞ твой Андрей Андреич? / Я тебе всё объясню, только выслушай меня бога ради! ¹ Андрея Андреича я не люблю и не могу любить, не могу! Пойми, не могу! Раньше он нравился мне, пусть так, но теперь мне всё ясно, я повинаяю этого человека. (БА, Г₁)

¹⁴⁻¹⁵ вдумайся и пойми! Ты только пойми, до какой степени / вдумайся и пойми, до какой степени (Г₂)

¹⁹ После: порывисто села — и застучала босыми ногами о пол (БА)

²⁶⁻²⁷ маленькой, жалкой, глупенькой / маленькой, жалкой

¹ В БА далее зачеркнуто: торопилась она и сама не знала, чем говорить,

²⁸ *Слов:* Она всю ночь сидела и думала — нет. (БА)

²⁹ *После:* насвистывал.— [А-х] А ... х, бо-оже мой! — гудело в печке. (Г₁); А-ах, бо-оже мой! — гудело в печке. (Г₂)

³¹ Утром бабушка / [Утром] Бабушка (БА)

³³ Было серо, тускло, безотраднo / Утро было серое, тусклое, безотраднoе

³⁶ закрыла лицо руками / опустила на него голову

³⁸ Не могу...— проговорила она. / — Не могу! — проговорила она и встряхнула головой.

³⁹⁻⁴¹ не постигаю! ∞ бессмысленную жизнь... / не постигаю! — продолжала она, глядя на Сашу большими, воспаленными глазами; лицо у нее было бледное, тощес.— О боже мой, еще немного и я, кажется, с ума сойду... я упаду!

Она опять склонила голову на кресло и продолжала, стараясь говорить тише, чтобы не услышали в зале:

— Жениха я презираю, себя презираю, бабушку презираю, маму презираю... Я погибла! ¹ (БА, Г₁)

Стр. 213—214.

⁴²⁻⁶ проговорил Саша ∞ Он взмахнул руками / проговорил Саша тихо и засмеялся.— Это ничего... хорошо. Значит, вам уехать надо... Ну, что ж! [Завтра утром вы уедете со мной, я доведу вас до Москвы, а там вы сами доедете до Петербурга. Что ж!]

И Саша опять засмеялся (БА);

проговорил Саша тихо и засмеялся.— Это ничего... Хорошо. Ну, что ж!

И Саша опять засмеялся (Г₁)

Стр. 214.

²⁻³ Завтра же я уеду / Завтра же уеду (Г₂)

⁵⁻⁶ Он взмахнул руками и начал / взмахнул руками, начал (Г₂)

⁸ Великолпно! — говорил он / Чудесно,— сказал он (БА, Г₁)

⁹⁻²⁰ Боже, как это хорошо! ∞ Ваш багаж я заберу / Завтра, значит, вы поедете на вокзал меня провожать [так сказать]... Так... Я багаж ваш заберу в свой чемодан (БА); Значит, вам уехать надо...— сказал он.— Ну, что ж! Великолпно!

Он подошел к Наде и продолжал вполголоса:

— Слушайте меня... Вот что я вам скажу... Завтра

¹ В Г₁ [Я погибла!] О боже мой, что со мною!

- я уезжаю... значит, вы поедете на вокзал меня провожать... Так... Я багаж ваш заберу (Γ_1)
- ¹² скажет ей / скажет (Γ_2)
- ²⁰⁻²¹ а во время третьего звонка / а когда ¹ третий звонок
- ²²⁻²³ Проводите меня до Москвы, а там вы одни поедете в Петербург. / В БА нет; Я до Москвы, вы прямо в Петербург... (Γ_1)
- ²⁴ Есть. / Есть,— сказала она, поднимаясь и поправляя волосы ².
- Хорошо... Так...
- На глазах у нее заблестели слезы ³. (БА, Γ_1)
- ²⁵ После: не раскаетесь.— *зачеркнуто*: а. Уходите же учиться б. Увезу вас, будете учиться (БА)
- ²⁶ сказал Саша с увлечением.— Поедете / сказал Саша, помолчав.— Увезу вас (БА, Γ_1)
- ²⁷⁻²⁹ *Текста*: Когда перевернете ∞ остальное не важно.— нет. (БА, Γ_1)
- Стр. 215.
- ⁸⁻⁹ *Фразы*: И охота в такую погоду провожать! — нет. (БА)
- ¹¹⁻¹² Вот Саша посадил Надю / Вот Саша, говоря что-то бабушке, которая стояла в дверях заплаканная и крестилась отъезжавшего, посадил Надю
- ¹⁵⁻¹⁷ Ты же, Саша ∞ бабуля! / Ты же, Саша, голубчик, смотри, не пей в Москве!
- Да я не пью, бабуля!
- В Москве нельзя не пить! (БА, Γ_1)
- ³⁷⁻³⁸ — Ничего-о! — говорил Саша ухмыляясь.— Ничего-о! / Проехав три станции, послали домой телеграмму. Потом Саша всю дорогу пил чай и говорил без [конца] умолку. Обыкновенно, напившись чаю, он начинал беседовать с пассажирами, с кондукторами, рассказывал смешное, ходил по вагонам, изумлялся и всё говорил Наде, хватая себя за бока:
- Ну, публика, доложу я вам!
- А потом опять принимался за чай. Даже под конец скучно стало.
- На другой день перед вечером приехали в Москву. Саша около вокзала побранился с извозчиком и сильно закашлялся, и когда Надя, прощаясь, пожимала ему

¹ В Γ_2 далее *зачеркнуто*: будет ² В БА далее *зачеркнуто*: Давно уж есть. ³ В БА далее *зачеркнуто*: — Мы живем в грубое, невежественное время, надо идти за меньшинством,— сказал Саша, помолчав.

руку, то он никак не мог удержаться от капля, был бледен и говорил, что дорога утомила его. Он остался в Москве, а Надя поехала дальше в Петербург. (БА)

40 *Перед:* Прошла осень —

В Петербурге Надя получала почти каждый день телеграммы и письма; пришли деньги, посылка с платьем. В октябре ненадолго приезжала Нина Ивановна; лицо у нее было виноватое и странное, как будто она ожидала, что Надя наглубит ей или спросит, зачем она приехала.

— А я в Петербурге еще не была. Хороший город! — сказала она, как бы желая дать понять, что самое тяжелое, самое страшное уже пережито и что лучше не говорить обо всем этом.

Напившись чаю, она рассказала, что в то утро поджидали Надю до обеда и не беспокоились, но когда пришла телеграмма, то всё поняли, всё стало [понятно] ясно, и бабушка упала, три дня лежала без движения и только стонала, а потом всё молчала богу, плакала, воздевала руки (а горничные, глядя на нее, посмеивались) и с того времени как-то вся осунулась, присмирела и стала неправильно произносить слова.

— На тебя она не сердится, — рассказывала Нина Ивановна, — всё ходит в твою комнату и крестит стены и твою постель. А в меня точно гром ударил. Я уже не та, что была.

Всё время она не отрывала глаз от Нади, точно только теперь узнала ее. За обедом ела много, а ночью не спала, лежала тихо. И так прожила дней пять и уехала.

[Саша присылал письма, и буквы в них казались веселыми, танцующими.] (БА)

Стр. 215—216.

41-1 о матери и о бабушке / о матери, о бабушке

Стр. 216.

1 думала о Саше / о своей постели (БА, Г₁)

3 В мае / В начале м(ая) \diamond (БА)

3-4 она, здоровая, веселая, поехала домой / она поехала домой (БА, Г₁)

7-8 *Слов:* всё с теми же большими, прекрасными глазами — нет. (БА, Г₁)

10-11 *Фразы:* И почему-то показался он Наде серым, провинциальным. — нет. (БА, Г₁)

12-13 Божье мой ∞ голубушка! / Ах, вы [из Санкт-Петербурга!] приехали! — сказал он весело и засмеялся. — [Ну, что

нового в вашем Санкт-Петербурге удивительном?] Боже мой, Надя приехала! Голубушка! (БА); Ах, кого вижу! — сказал он весело и засмеялся.— Боже мой, Надя приехала Голубушка! (Г₁)

¹⁴⁻³³ Посидели в литографии ∞ только так кажется. / Посидели в литографии, поговорили, потом поехали в ресторан завтракать; он ел, много говорил и всё покашливал, а она не могла есть и только со страхом смотрела на него, боясь, как бы он не свалился здесь в ресторане и не умер. (БА); Посидели в литографии, где было накурено и сильно, до духоты пахло тушью и красками. Надя рассказала, как осенью приезжала к ней в Петербург Нина Ивановна, [похудевшая] сильно похудевшая и какая-то странная, виноватая.

— Ничего, всё обошлось благополучно,— рассказывала Надя торопливо.— Мама говорила, что бабушка не сердится, а только всё ходит в мою комнату и крестит стены. Ничего, слава богу, обошлось.

[А когда получи(ли)] [Впрочем, раньше, когда в день нашего отъезда] [А когда пришла моя телеграмма, бабушка упала и потом три дня лежала без движения.]

Саша и Надя поговорили, потом поехали в ресторан завтракать; он ел, много говорил и всё покашливал, а она не могла есть и только со страхом смотрела на него, боясь, как бы он не свалился здесь в ресторане и не умер. (Г₁)

¹⁶ на столе / и на столе (Г₂)

³⁴⁻³⁵ а ведь вы больны / [но ведь] вы больны (БА)

³⁶ Нет, ничего. Болею, но не очень... / Нет, я здоров. (БА); Нет, ничего. (Г₁)

Стр. 216—217.

³⁷⁻¹⁷ Ах, боже мой ∞ жизнь свою перевернула. / Сегодня же увезу вас к себе. [Поедемте] Непременно!

— Нельзя,— сказал Саша и засмеялся.— Я в будущем году к вам приеду, а теперь мы завтра едем на Волгу, я да еще тут один парень. Парень хороший, только из Санкт-Петербурга, вот беда! Говоришь ему, положим, что мне хочется есть, что я оскорблен глубоко, задавлен насильем, что мы вырождаемся, а он мне в ответ на это толкует о великом инквизиторе, о Зосиме, о настроениях мистических, о каких-то зигзагах грядущего — и это из страха ответить прямо на вопрос. Ведь ответить прямо на вопрос — страшно. Это всё равно как при столпотворении смещение

языков: один просит — дай топор, а другой ему в ответ — поди к чёрту.

Поговорили о Петербурге, о новой жизни, и Саша всё приходил в восторг и радовался.

— Отлично, превосходно,— говорил он,— я очень рад. Вы не пожалеее и не раскаетесь, клянусь вам. Ну, пусть вы будете жертвой, [пусть личная жизнь ваша нехороша], но ведь так надо, без жертв нельзя, без нижних ступеней лестниц не бывает. Зато внуки и правнуки скажут спасибо! (БА)

— Ах, боже мой,— заволновалась Надя,— отчего вы не лечитесь, отчего не бережете своего здоровья? И по-прежнему вы ходите вляхой, волосы взлохмачены, с вами сидеть совестно! И почему это у нас, раз хороший человек, то уж дурно одевается, не бережет своего здоровья. Почему?

— Ха, ха, ха! — засмеялся Саша.

— Сегодня же я увезу вас к себе. Собирайтесь!

— Нельзя,— сказал Саша и засмеялся.— Я в будущем году к вам приеду, а теперь мы завтра едем на Волгу, я да еще тут один парень. Парень хороший, только какой-то чудной. Говоришь ему, положим, что мне хочется есть, что я оскорблен глубоко, задавлен насилием, что мы вырождаемся, а он мне в ответ на это толкует о великом инквизиторе, о Зосиме, о настроениях мистических — и это из страха ответить прямо на вопрос. Ведь ответить прямо на вопрос — страшно! Это всё равно как при столпотворении смешение языков: один просит — дай топор, а другой ему в ответ — поди к чёрту.

— Какой всё это вздор! — проговорила Надя плачущим голосом.— Сегодня же вы поедете со мной, а то вы здесь умрете! На кого вы похожи!

Потом Надя успокоилась понемногу; поговорила о Петербурге, о новой жизни, и Саша всё приходил в восторг и радовался.

— Отлично, превосходно,— говорил он,— я очень рад. Вы не пожалеее и не раскаетесь, клянусь вам. Ну, пусть вы будете жертвой, но ведь без жертв нельзя, без нижней ступени лестницы не бывает. Зато внуки и правнуки скажут спасибо. (Г₁)

Стр. 217.

¹ интеллигентным / и интеллигентным (Г₂)

² как был / каким был (Г₂)

³ Я бы / Я бы жизнь свою отдала ◊ (Г₂)

2 *После:* родной человек.—

[— Ха-ха-ха! — засмеялся Саша.— [А я] Я после завтра на Волгу поеду, а потом на кумыс. Хочу кумыса попить. А со мною едет,— живо заговорил он,— один приятель с женой. Жена удивительный человек, всё сбиваю ее, уговариваю, чтоб [на курсы] учиться пошла. Хочу, чтоб жизнь свою перевернула. [И опять повеяло от Саши чем-то отжитым, старомодным. повеяло от его слов, от улыбки, фигуры.] Пришли к нему гости: двое студентов и барышня. И опять повеяло от Саши, от его слов, от улыбки, от всей его фигуры чем-то отжитым, старомодным, давно светым и, быть может, ушедшим в могилу; но зато сколько в

— Милый Саша,— сказала Надя [со вздохом] [вдыхая] и засмеялась,— жаль, в Петербурге в эту зиму я узнала так много нового, но не было искренности, чистоты.] (*Г*₂)

11-12 *После:* ушедшим в могилу.— И все-таки ей казалось, что такого чистого и такого порядочного человека она еще не встречала. (*Г*₂)

18 *Поговоривши,* поехали / Потом поехали (*БА, Г*₁)

21 *Слов:* и едва ли проживет долго — нет. (*БА, Г*₁)

25-26 немец-настройщик в рыжем пальто. И все дома точно пылью покрыты. / настройщик Швабе в рыжем пальто [черная тощая собака жевала траву] (*БА*)

33 говорила она, дрожа всем телом / говорила она (*БА*)

35 сидели / сидели все трое (*БА*)

Стр. 218.

3 посидела, подумала / посидела, заплакала (*БА, Г*₁)

4 и пила чай со вкусными / и чай с вкусными (*БА, Г*₁)

5-6 но чего-то уже не хватало *с* были низки / В *БА* и *Г*₁ нет; по чего-то не хватало, чувствовалась пустота кругом (*Г*₂)

7-8 и почему-то было смешно лежать / и всё время улыбалась; почему-то было смешно лежать (*БА, Г*₁)

8 в этой теплой / на этой теплой (*БА*)

8 *После:* мягкой постели.— А будет ли стучать почью сторож? (*БА, Г*₁)

9-10 *Слов:* как садятся виноватые, робко и с оглядкой — нет. (*БА, Г*₁)

13 *После:* Довольна, мама.— *зачеркнуто:* Конечно, когда я поступала на курсы, то думала, что достигла всего, уж не захочу ничего больше, а вот как походила, поучилась, то открылись впереди новые планы, а потом опять новые, и всё как будто шире и шире, и кажется, нет и не будет конца ни работе, ни мечтам. (*БА*)

16-34 Знаешь, я теперь занимаюсь философией ∞ скоро уснула. / Знаешь, и книжек уже не читаю.

— Отчего?

— Так. Не читается. Жизнь моя уже кончена, я так понимаю. Ну, спи, господь с тобой.

Она ушла.

«Тик-ток...— стучал ночью сторож.— Тик-ток, тик-ток...»

На другой день вечером приходил Андрей Андрейч, всё такой же тихий, молчаливый, и играл на скрипке очень долго, с чувством, и Наде казалось, что ему больше уже ничего не оставалось на этом свете, как только играть. Он робко говорил Наде *вы*, но всё ещё [надеялся] любил и [чего-то ждал] как будто не верил себе, своим глазам; вот, казалось ему, проснется, и всё окажется сном... (БА)

— Знаешь, и книжки уже не читаю.

— Отчего?

— Так, не читается. Жизнь моя уже кончена, я так понимаю. В меня точно гром ударил. А бабушка так и совсем уже конченная. Когда ты уехала тогда с Сашей и пришла от тебя телеграмма, то бабушка, как прочла, так и упала, три дня лежала без движения. А потом всё богу молилась и плакала... [И как мы [всё] пережили это, одному богу известно...] Ну, спи, господь с тобой.

Она ушла.

«Тик-ток...— стучал сторож.— Тик-ток, тик-ток...»

На другой день вечером приходил Андрей Андрейч, всё такой же тихий, молчаливый, и играл на скрипке очень долго, с чувством, и Наде казалось, что ему больше уж ничего не оставалось на этом свете, как только игра на скрипке. Он робко говорил Наде *вы*, но всё ещё, как было заметно, любил и как будто не верил тому, что произошло, вот, казалось ему, он вдруг проснется, и всё окажется сном... (Г₁)

²⁸ проходила / проходила бы (Г₂)

³⁰ жизнь в сознании / она в сознании (Г₂)

³¹ как бы на семь / на семь (Г₂)

³⁵ настал июнь / начался июнь (БА)

Стр. 218—219.

³⁶⁻¹ Бабушка хлопотала ∞ Андрей Андрейч. / Хлопоты бабушки за самоваром, глубокие вздохи, Андрей Андрейч, игра на скрипке по вечерам стали прискучать ей. (БА, Г₁)

Стр. 218.

⁴⁰⁻⁴² и потолки в комнатах, казалось, становились всё ниже и ниже / и — скучно, скучно! (Γ_2)

Стр. 219.

- ¹ Надя ходила по саду, по улице / Она ходила по саду и улице (BA, Γ_1)
- ⁶⁻⁷ смотреть в глаза своей судьбе / смотреть в глаза (BA)
- ⁷ сознавать себя правым / сознавать, что ты прав (BA)
- ⁸ А такая жизнь рано или поздно настанет! / В BA и Γ_1 нет; А такая жизнь [ведь] рано или поздно настанет! (Γ_2)
- ⁸⁻⁹ Ведь будет же время / Будет же время (BA, Γ_1)
- ⁹ от бабушкина дома / бабушкин дом (BA)
- ¹⁴⁻¹⁷ *Текста:* И Надю развлекали ∞ Невеста! — нет. (BA, Γ_1)
- ²¹⁻²² потерял голос и уже две недели лежит в больнице / и теперь лежит в гостинице
- ²²⁻³⁵ Она поняла ∞ Надя долго ходила / «Замучил меня спутник, одолел! — писал он. — Жалуюсь ему на кашель, а он мне про великого инквизитора». А дня через три, утром, Надя, сойдя вниз, застала бабушку в сильном горе: она плакала и не могла выговорить ни одного слова. На коленях у нее лежала телеграмма. Надя догадалась, не стала спрашивать... Она долго ходила (BA, Γ_1)
- ²⁹ слышалась / внизу слышались \diamond (Γ_2)
- ³⁵ Надя долго ходила / Надя [догадалась] не стала спрашивать... Она долго ходила (Γ_2)
- ³⁶ *После:* прочла.— *зачеркнуто:* Так и есть. (BA)
- ³⁸ *После:* Саша.— И представилось ей, как Саша лежит мертвый и на улице у него добрая, хитрая улыбка... (BA, Γ_1)
- ⁴¹⁻⁴³ Она ясно сознавала ∞ всё ей тут ненужно / Ей стало вдруг скучно, томительно скучно, и она уже чувствовала, сознавала, что ей в этом городе нельзя оставаться, что она здесь одинокая, чужая (BA, Γ_1)
- ⁴³ всё ей / [ей] всё ей (Γ_2)

Стр. 220.

- ²⁻³ стояла тут / стояла здесь \diamond (BA)
- ⁵⁻⁷ рисовалась жизнь ∞ манила ее / рисовалась жизнь трудовая, широкая, чистая (BA); рисовалась жизнь трудовая, широкая, просторная, и эта жизнь манила ее (Γ_1)
- ⁸⁻¹⁰ Она пошла к себе ∞ навсегда. / Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром уехала. (BA); Настоящее, как казалось ей, уже перевернуто вверх дном, беспокойство останется до конца дней, что бы там ни было,

куда бы судьба ни занесла, по всё же жизнь будет чистой, совесть покойной... Только бы усхать! Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром простилась со своими и покинула город, — как полагала, навсегда. (Г₁)

РАССТРОЙСТВО КОМПЕНСАЦИИ

Первоначальные варианты чернового автографа

Стр. 223.

³ Бондарева / а. Новлянского б. Баховича

⁴ шла всеобщая / служилась всеобщая

⁶⁻⁷ Пели только дьячок и письмоводитель. / Пел свой домашний хор: письмоводитель, садовник с детьми и камердинер.

⁸⁻¹⁰ серьезно больной с точно мертвец / а. был серьезно болен и неподвижно сидел в кресле, бледный, с закрытыми глазами, точно мертвец б. неподвижно сидел в кресле, бледный, с закрытыми глазами, точно мертвец; он был серьезно болен

¹³ Леночка / Липочка ¹

¹⁵ После: рядом. — *вписано и зачеркнуто*: Около дверей толпилась прислуга...

¹⁶⁻¹⁷ тихо шумели деревья с полнеба / а. шумели деревья и пели птицы, и в раскрытые окна видно было, как по-праздничному горела [велик(олепная)] прекрасная вечерняя заря. Но настроение у всех было нехорошее б. шумели деревья и прекрасная [праздничная] вечерняя заря горела по-праздничному, захватив полнеба. Но настроение у всех было невеселое.

¹⁸⁻¹⁹ городских и монастырских / городских или монастырских

²⁹⁻³⁰ в тумане и ничего нельзя понять / в тумане

³¹ этот кошмар / эта неопределенность

После: до осени ... — *зачеркнуто*: а. К чему же Тронца? К чему [эта] же эта [торжествующая заря?] веселая, торжественная заря? б. Для чего же нужны эта веселая торжественная заря и нежный запах сирени и роз? К чему Тронца?

³²⁻³³ каждый день собираться / каждый день думать

³⁴ Новоселки / Лыково

³⁵⁻³⁶ После: с четырьмя колоннами по углам — *зачеркнуто* и с люстрой

¹ Здесь и везде ниже.

Стр. 223—224.

³⁶⁻² желтых портьер с великолепие / и желтых портьер

Стр. 224.

- ² претендующей на великолепие / претендующей на роскошь
- ⁵ Дома можно смеяться / Там можно громко смеяться, насвистывать
- ⁶ ссориться / смеять(ся)
- ⁷ точно в пансионе / как в пансионе
- ¹¹ После: по традиции...— зачеркнуто: Тут в самом воздухе висит цевзура
- ¹¹ утомляет / гнетет
- ¹² когда приходится смиряться / когда смиряешься
- ¹⁵ Я(шшин) думал еще об одном обстоятельстве / а. Кроме того, Я(ншин) вспоминал, что б. Я(ншин) вспоминал еще одно обстоятельство
- ¹⁶ жена Леночка / Липочка
- ¹⁷ была интересна только потому / только [услила] увеличила неопределенность
- ¹⁸⁻¹⁹ Как теперь быть? / Как быть?
- ¹⁹ Вести ли / Взять
- ²⁰ к матери в Новоселки? / к матери?
- ²¹⁻²⁵ домой она ни за что не поедет, так как не ладит со своею свекровью и не согласится / со своею свекровью она не ладит и едва ли согласится
- ²⁶ Веру / ее
- ²⁷⁻²⁸ своей сестры. / своей замечательно красивой сестры. Да и нечестно бросать большого, как бы то ни было...
- ³¹ После: вопросы — зачеркнуто: которые неотвязчиво — каждый
- ³² После: каждый в отдельности — начато: были легко
- ³³⁻³⁶ все они были спутаны вместе и походили на невылазное болото / а. но все вместе — это были мелкие камни: как уронишь один, нагнешься за ним, чтоб поднять, и роняешь другие б. но все вместе — они были похожи на мелкие камни [в руках], к(оторы)е несешь в руках: уронишь один и, когда нагнешься [под], чтобы поднять его, из рук сыплются другие... в. но все вместе — они были похожи на [груды] мелкие камни, когда их несешь в руках: стоит только уронить один и нагнуться за ним, чтобы поднять, как из рук сыплются другой, третий ... и так без конца — остальные.
- ³⁴⁻³⁶ стояло только решить какой-нибудь один с запутались

другие / пельзя было решить одного, чтобы [пе] еще пуще
не запутались другие

4) слова его / слова эти

Стр. 226.

1-2 дыхание у него было тяжелое, со свистом и хрипом / тяжело
дыша и точно задерживая кашель, к(отор)ый душил его

3 Сняла / голубчик

4 После: под руку — зачеркнуто: В(ера) А(ндреевна) [взяла
его под руку] поддержала с другой стороны

5 Ты останься, милая... — сказал / Останься! — сказал ей

6 хотела взять / взяла

8 с раздражением / а. громко б. раздраженно

равнодушное / холодное, равнодушное

9 После: дойду! — зачеркнуто: Я(ншин) повел его через
лугу мимо горничных, лакеев и кучер(а).

10 Священник стоял с раскрытым Евангелием и ждал / Свя-
щенник молчал и ждал, и слышны были только тяжелые
шаги больного и стук его палки. Прислуга

11-13 Среди наступившей тишины ∞ мужских голосов / Среди
наступившей [вдруг] тишины ясно послышался шум [сада],
который был в саду, [пение] стройное пение десятка муж-
ских голосов

13 очень мило / чрезвычайно красиво и торжественно

16 от сладкого предчувствия / от предчувствия

22-23 повел больного / повел через залу больного

26 ненависть, тяжелую, острую ненависть / тяжелую не-
нависть

27-28 к его рукам воскового цвета / к его восковым рукам

30-31 пока жил / а. пока жил здесь б. пока жил тут

31-32 у него похолодели голова и ноги / у него по спине пробежал
холод

33 чтобы Мих(аил) И(льич) / чтобы боль(ной)

36 отвернулся / отшатнулся

36 После: бежать без оглядки — зачеркнуто: [потом] и бро-
ситься с высокого крутого берега вниз головой. Далекая
песня, [воспаяя музыка], к(ото)рую невзначай приносил
ветер, военная музыка в городе и даже [балалайка] зву-
ки балалайки по вечерам [в] всякий раз сладко волновали
[и оболь(стительная)] его душу, и обольстительная жизнь,
о к(ото)рой эти звуки смутно говорили ему, всегда, {по-
чему-то} с самого детства почему-то рисовалась у него
в виде широкой, светлой и быстрой реки с высокими, кру-
тыми берегами.

40 была устроена / была [устр(овена)], по его желанию, устроена
41-42 больному казалось жарко и неудобно / казалось ему жарко и скучно

Стр. 227.

6 не в докторах дело / [не] бог с ними, докторами!
8-9 Чего бы только нельзя было наговорить / Чего бы только, кажется, нельзя было наговорить
10-11 связана навеки и безнадежно судьба сестры Веры / связана сестра Вера
11 *После:* сестры Веры? — *зачеркнуто:*— Ты, Саша, видишь да...— ск(азал) М(ихаил) И(льич).
12-13 постоянно выпячивать / выпячивать
14-15 бритых и полных губ / бритых и [пухлых] полных губ
21 верую в providение и признаю церковь.— Вот именно./ верую в бога и признаю церковь.— Ты веруешь не в бога, а в providение. От тебя только и слышишь: providение!
25-26 не оскорбил так / не оскорбил бы так
26 но / но [не]
27-28 уж позволил себе сказать и без того слишком много / сказал уже и без того много
36-37 Спустившись к себе вниз, он надел / Он спустился к себе вниз, надел
37 *После:* и шляпу и — *зачеркнуто:* пошел на станцию встречать почтовый поезд. Через парадную дверь
39-40 розовых кустов, голубых из гелиотропа вензелей V и M (т. е. Вера и Михаил) / розовых [и жасминовых] кустов, [и] [пестрых] вензелей V и M (т. е. Вера и Михаил) из гелиотропа, лежавших

Стр. 228.

3 на еловую аллею, длинную и темную / на [роскошную] еловую аллею, [широкую] темную и длинную
4-5 виден закат. Тут старые, дряхлые ели / виден закат солнца. Старые дряхлые ели
5-6 всегда, даже в тихую погоду, издают ∞ шум / издавали легкий, суровый шум
6-7 пахнет смолой, и ноги скользят / ноги скользили
8 так неожиданно овладела / овл(адела)
10 *Перед:* она — *зачеркнуто:* Это
12 от елей / от неба
16 *После:* «Как же быть?..» — *зачеркнуто:* П
17 Почти каждый вечер он ходил / Он каждый вечер ходил
18-19 и это, пока он жил у зятя, было его единственным развле-

чением / и это было единственным развлечением в его
теперешней жизни

19 Почтовый поезд / Поезд

20 в то время / в то самое время

21 начиналась нестерпимая вечерняя скука / а. бывало нестерпимо скучно б. начиналась обычная вечерняя скука

21-23 В карты играть было не с кем, ужинать не давали, спать не хотелось / В карты не играли, не ужинали, на рояли нельзя было играть, так как это запретили доктора, гулять в саду одному было скучно

23 приходилось поневоле / поевовле приходилось

26 с буфетом и с книжным шкафом / с буфетом

26-27 Можно было / Тут можно было

27 посмотреть книги... / посмотреть проезжих. Был книжный шкаф, около к(ото)рого сидела дама с сердитым лицом

28 встречать поезд / встречать поезд, грустить

31-32 *Перед:* уже гуляла — *зачеркнуто:* уже в ож(идании)

33 видеть здесь каждый вечер / встречать здесь по вечерам

36 какой-то помещик / помещик

36-36 с догом, к(ото)рый ходил за ним, печально опустив голову / с печальным догом, к(ото)рый ходил за ним, понурия голову

38 Как всегда / По обыкнов(ению)

39 смеялся / разг(оваривал)

40 очень / чрезвы(чайно)

41 с широким тазом / с широким женским тазом

41-42 одетый в ситцевую рубаху навыпуск и плисовые шаровары / и в ситцевой рубахе навыпуск

Стр. 229.

2-3 что этот ч(елове)к живет с большим аппетитом / что никогда раньше он не видал ч(слове)ка, более сытого и довольного

3 *После:* с большим аппетитом — *зачеркнуто:* и сытно, и вкусно...

6-6 Фамилия у него была нескладная, тройная / Звали инженера так: Каэтан Иеронимович. Фамилия у него была нескладная, тройная: Битный-Кушле-Сувремович

7-9 инженер, любивший громко поговорить о политике и поспорить, часто клялся и говорил / инженер, любивший поспорить и поговорить о том, как трудно живется теперь в России всякому порядочному человеку, [громко] часто говорил

- ¹⁶ *После:* Битный-Кушле-Сувремович — *зачеркнуто:* если эта реакция не разрешится каким-нибудь вопиющим скандалом!
- ¹⁷ был большой весельчак, хлебосол и страстный винтер. / был большой весельчак [и], хлебосол и любил играть в винт. Было очевидно, что среди дачников он был номером первым и задавал тон общему настроению.
- ¹³⁻¹⁴ он не решался / он всё не решался
- ¹⁴ *После:* хотя — *зачеркнуто:* по ласковым и вопрошающим взглядам [инженера], к(отор)ые бросал на него всякий раз инженер, можно было
- ¹⁷ начиная с 24 лет, когда он кончил в университете / а. начиная с 25 лет — и до сегодня, т. е. с окончания курса в университете, б. начиная с 24 лет, когда он кончил курс в университете [он до сегодня] и до сегодня [ему всё время было некогда] время шло как-то [очень] особенно быстро
- ¹⁸⁻¹⁹ не прожил с удовольствием / не прожил [п(о)койно] спокойно
- ¹⁹⁻²⁰ то тяжба с соседом из-за межи, то у жены выкидыш / то мать несправедлива, то умер ребенок и жена в горе, то вот Мих(аил) И(льич) болен и нужно везти его за границу / а вот теперь болен Мих(аил) И(льич).
- ²³ без конца / а. до конца жизни б. без конца в. непрерывно
- ²⁵⁻²⁷ одним словом, из этой твердой скорлупы с чтобы думать иначе / а. нет причин предполагать иное б. одним словом, из этой [скорлупы] твердой скорлупы ему не вылезти: уже до конца жизни
- ²⁷⁻²⁸ И ему хотелось перестать быть устрицей / И ему хотелось вылезти из [этой твердой скорлупы] [нее] этой скорлупы
- ²⁸ хотелось заглянуть / ему хотелось заглянуть
- ²⁸⁻²⁹ хотелось заглянуть в чужой мир, увлечься тем / а. [чтобы] поговорить о том б. хотя на один час увлечься тем
- ²⁹⁻³³ поговорить с посторонними для него людьми с главное молоды / а. поиграть, услышать чужие мысли, иметь успех у этих посторонних для него девушек и женщин, к(отор)ые гуляли по платформе. В вечерних сумерках они так же красивы и поэтичны, как эти красные [станцио(нные)] и зеленые станционные огни, рассыпанные далеко по линии б. близко подходить и [смеяться] посмеяться с в. поговорить с посторонними для него людьми, хотя бы с толстым инженером [и с] или с этими девушками и женщинами, [к(ото)рые гуляли по платформе. В вечерних сумерках они кажутся красивыми и самые молодые из них поэтичны и манят

к себе, как эти красные и зеленые станционные огни, рассыпанные далеко по линии] к(ото)рые в вечерних сумерках казались красивее и моложе, чем были. Он не без удовольствия замечал, что он, гуляющий особняком, всегда молчаливый и грустный, возбуждает общее любопытство, и ему [нравилось] было приятно думать, что из всех гуляющих один только он [был] одет изящно и по моде; по взглядам, какие бросали на него дачницы, ясно было для него, что он им нравится, и это было ему приятно, но подойти к инженеру и заговорить с ним он все-таки не решился.

36-37 Но всей вероятности, это была его мать. / Вероятно, [это была] это была его мать. Он взял ее под руку и повел к двери.

41 После: багаж! — зачеркнуто: Дачники взяли свои письма и газеты и отправились по домам. Поезд простоял [св(он)] 12 минут и ушел дальше... Затем наступила тишина...

43 После: по домам.— зачеркнуто: Я(ншин) погулял еще

Стр. 39.

2-3 съел порцию телятины / закусил

4-5 сладкавый баритон / вежливый, сладкавый баритон

7 длинные усы / ус(ы)

7-8 и неглупое / ум(ное)

9-11 и думал о том, что если полная пожилая дама действительно мать этого человека / Затем [рисовалось ему] думал он о пожилой даме. Если пожилая [мать] дама действительно [его] мать этого ч(елове)ка, думал он

12-14 во ее робкое, растерянное лицо и любящие глаза договаривали всё остальное... / а. ее робкое, растерянное лицо добавляло б. остальное договаривало ее робкое, растерянное лицо и любящие глаза добавляли к этому: «мы оба с тобой несчастны!»

17 идет на станцию / пойдет по еловой аллее

18 словую аллею / эту аллею

18-21 широкий вид с лес, где жили дачники / а. и широкий вид на заливные луга, на станцию и около нее березовый лесок, в к(ото)ром жили дачники, уездный городок б. широкий вид на заливные луга с темно-зелеными кустами можжевельника, [река] с [дорогами и тропинками] дорогами и тропинками; [прямо видна стан(ция)] [через реку видна] через реку и луга видны станция и около нее березовый лесок, в котором жили дачники

25-26 После: сегодня...— Она вспомнила одну фразу из письма,

к(отор)ое [получила] ей принесли за пять минут до всенощной, и ей захотелось еще раз [прочсть] [увидеть] прочсть ее... Она успела прочсть письмо два раза, но ей казалось, что читала она слишком быстро и [не всё прочла...] вскользь, пропуская строки. Письмо в плотном конверте [из слоновой] [было], сложенное вдвое, лежало у нее в кармане, и она всё время чувствовала его...

²⁶ И она вышла / Она кивнула горничной и вместе с ней [вышла] вышла

²⁷ *После:* чаю для батюшки — *зачеркнуто:* и пеннула об этом горничной. В столовой было уже всё [готово] приготовлено: на одном столе закуски и бутылки, на другом чайная посуда, кулич, вазы с вареньем... Пахло розами и сиренью

²⁸ согнутое / сложен(ное)

После: согнутое вдвое — *зачеркнуто:* а. и прочла его б. и села у окна

³⁰ минут за пять / за пять минут

³¹ *После:* два раза — *зачеркнуто:* но [ей казалось, что она] читала его слишком быстро, прочла не всё — хотелось

³³ прочитала она, держа письмо в обеих руках и давая им / [читала о(на)] прочитала она, [упиваясь и] держа письмо [в обеих руках на коленях]в обеих руках и позволяя им

³⁷ убедительно / очень умно

³⁸ Ты тогда сказала / [Отчаяние] Ты тогда сказала мне
³⁹⁻⁴⁰ и я, как сумасшедший, поскакал вперед, встретить тебя здесь и любить мою милую, мою радость / и я [по(скакал)] как сумасшедший поскакал [туда] вперед, чтобы а. любить тебя там сильнее, чем в России б. встретить тебя [за(границей?)] та(м) в. там любить еще сильнее, чем в России г. встретить тебя здесь и не терять из виду д. встретить тебя здесь и любить до одурения, до полного бесчувствия е. встретить тебя здесь и любить мою милую, мою радость, счастье(е)

Стр. 231.

¹ Я думал, что здесь / а. Мне [ты] нужна не Италия, а ты, мое солнце, моя пальма. Я ехал сюда и мечтал, что мне уже не понадобится, как контрабандисту, тайком пробираться через парк и бояться целовать тебя и видеть, как б. Я ехал сюда с надеждой и думал и горел в. Я думал, что пока мы будем здесь

¹ ты уже не будешь / ты уже не будешь красться ко мне ночью, как к контрабандисту, и давать мне свою любовь

- ³ *После:* брат — *зачеркнуто:* а. или ка(к бы) б. или в город(е) не узнали бы в. или как бы не узнали в городе, что я занимаюсь контрабандой
- ⁵ *После:* любим друг друга. — *зачеркнуто:* а. Меня утомила контрабанда [и роль филина], или, вернее, эта роль филина, к(ото)рый имеет право наслаждаться только вечером и ночью. Ты не можешь себе представить, как я страдаю оттого, что в тебе сидят две Веры: одна робкая б. Здесь бы уж я не был филином, к(ото)рый имеет право наслаждаться только вечером и ночью, и любил бы тебя и при солнечном свете
Прости, мое сокровище, но есть Вера робкая / а. Есть Вера робкая б. Прости, мое солнце, но есть Ве́ робкая
- ⁶ *После:* нерешительная — *зачеркнуто:* к(ото)рая любит меня украдкой по
- ¹² Дай мне света! / Света мне, света!
- ¹²⁻¹³ и эта наша любовь урывками и украдкой / и твои ласки, к(ото)рые ты даешь мне урывками и украдкой
- ¹²⁻¹³ держит меня впроголодь / а. извела меня вконец б. дает мне какое-то истерическое счастье
- ¹⁴ я раздражен / я готов выть
- ¹⁵ я думал, что / я думал, что [за (границей)] в Италии здесь, за границей, где от надзора легче укрыться, чем дома, даст мне хоть один час полной, настоящей любви / а. будет [при] при солнечном свете ходить со мной в толпе, по магазинам и выставкам б. когда мы будем в Италии, хотя один [раз] [день] раз пройдет со мною по улице, [на глазах у тысячи лю(дей)] при солнечном свете в. в Италии, [уже не побоится] будет любить меня и при солнечном свете
- ¹⁷ даст мне / и даст мне
- ¹⁸ без оглядки / а. без страха, без дрожи б. без дрожи, без страха, без оглядки, [без этого пр(оклятого)] без этой фразы, к(ото)рая в моих ушах звучит [как] всякий раз, как проклятие: «Мне уже пора!»
- ¹⁹⁻²⁰ *После:* «Мне уже пора!» — *зачеркнуто:* слова, к(ото)рые всякий раз звучали в моих ушах, как проклятие. тебя нет и ничего неизвестно / а. но тебя нет и неизвестно, когда ты приедешь... б. тебя нет и неизвестно [ты?]
- ²⁴ *После:* Что же это такое? — *зачеркнуто:* Вера!
- ²⁶ Говорят / Говорят, что
- ³⁰ и всё смотрю, нет ли в толпе ж(енщи)ны, похожей на тебя / и всё мне кажется, что я встречу тебя

- 31~32 по пяти раз обошел уже все картинные галереи / хожу по картинным галереям
 32 видел на картинах / видел на всех картинах
 36~37 здесь, во Фл(оренции), я хожу / здесь я хо(жу)
 38 никого / хозяина
 41 завтра / сегодня
 41~42 Это письмо лишнее, ну, да пусть! / Это письмо лишнее, потому что я [решил] пока писал, решил [по]
 42 *После:* ну, да пусть! — *зачеркнуто:* Стоп. Зовут в table J'hôte обедать. Не хочу!

КАЛЕКА

Первоначальные варианты чернового автографа

Стр. 232.

- 12 Пришлось нанять / а. Пришлось нанять б. Александр Иванович нанял
 14 поздно / темно
 24~15 гости вернулись / и гости уже вернулись
 16 собирала детей, чтобы укладывать их спать / окликала
 20~21 все эти хлопоты с родами и крестиницами/ суета
 22 Неля / Лиля ¹
 26 она ему обрадовалась / она обрадовалась очень
 27 потом решили / и решили
 30~32 Нея слушала и глядела на дядю, прямо в лицо, очень серьезно, неподвижно, не мигая глазами / А Лиля глядела [на него, прямо] [ему в] в лицо серьезно, пристально и не мигала глазами
 35 Он поцеловал ее в голову и спросил у сестры: / — Послушай, деточка, мне с мамой поговорить нужно, — сказал он и поцеловал ее в голову.
 36 *После:* сегодня? — [спросил он [у сест] [у сестры]] обращаясь к сестре

Стр. 234.

- 2 Аюта / она
 4 *После:* в крестные — Вы ведь
 7~8 в крестные матери мы позвали Сашу Колосову / Крестной матерью была Саша Колосова
 10~11 а если бы вы докумились, то, говорят, не стали бы вас венчать / а. [а на куме], говорят, [нельзя жениться] б. а [если куме] то, говорят, не станут венчать
 14 он, вероятно, женится скоро / он скоро, вероятно, же выйдет

¹ Здесь и ниже.

ПРИМЕЧАНИЯ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Архивохранилища

- АГ** — Архив А. М. Горького (Москва).
ГБЛ — Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Отдел рукописей (Москва).
ГЛМ — Государственный литературный музей (Москва).
ГМТ — Государственный музей Л. Н. Толстого (Москва).
ГПБ — Государственная публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Отдел рукописей (Ленинград).
ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР. Рукописный отдел (Ленинград).
ТМЧ — Литературный музей А. П. Чехова (Таганрог).
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).

Печатные источники

- В ссылках на настоящее издание указываются серия (Сочинения или Письма), том (римскими цифрами) и страницы (арабскими).
- Антон Чехов и его сюжеты** — М. П. Чехов. Антон Чехов и его сюжеты. М., 1923.
- Вокруг Чехова** — М. П. Чехов. Вокруг Чехова. Встречи и впечатления. Изд. 4-е. М., «Московский рабочий», 1964.
- Горький** — М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах. М., ГИХЛ, 1949—1956.
- Горький, «Наука»** — М. Горький. Полное собрание сочинений. Художественные произведения в 25-ти т. М., «Наука», 1968—1976.
- Горький и Чехов** — М. Горький и А. Чехов. Переписка. Статьи. Выводы. М., ГИХЛ, 1951.
- Ежегодник МХТ** — Ежегодник Московского Художественного театра, 1944. Т. I. М., 1946.
- Записки ГБЛ** — Записки отдела рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.
- Из архива Чехова** — Из архива А. П. Чехова. Публикации. М., 1960 (Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. Отдел рукописей).

- Из далекого прошлого* — М. П. Чехова. Из далекого прошлого. Запись Н. А. Сысоева. М., Гослитиздат, 1960.
- Летопись* — Н. И. Гитович. Летопись жизни и творчества А. П. Чехова. М., Гослитиздат, 1955.
- ЛН* — Литературное наследство. Т. 68. Чехов. М., Изд-во АН СССР, 1960.
- На памятник Чехову* — На памятник А. П. Чехову. Стихи и проза. СПб., 1906.
- О Чехове* — О Чехове. Воспоминания и статьи. М., «Полетия С. П. Яковлева», 1910.
- Переписка с Книппер* — Переписка А. П. Чехова и О. Л. Книппер. Т. 1. М., «Мир», 1934; т. 2. М., ГИХЛ, 1936.
- Письма Ал. Чехова* — Письма А. П. Чехову его брата Александра Чехова. Подготовка текста писем к печати, вступ. статья и коммент. И. С. Ежова. М., Соцэргиз, 1939 (Всес. 5-ка им. В. И. Ленина).
- Письма к брату* — М. П. Чехова. Письма к брату А. П. Чехову. М., Гослитиздат, 1954.
- ПССМ* — А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем. Т. I—XX. М., Гослитиздат, 1944—1951.
- Толстой* — Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений в 90 томах. М., Гослитиздат, 1928—1958.
- Чехов* — Сочинения А. П. Чехова. Т. I—X. Изд. А. Ф. Маркса. СПб., 1899—1902.
- Чехов, 2* — Полное собрание сочинений Ант. П. Чехова. Изд. 2-е. Приложение к журналу «Нива» на 1903 г. Т. I—XVI. Изд. А. Ф. Маркса. СПб., 1903.
- Чехов в воспоминаниях* — Чехов в воспоминаниях современников. М., Гослитиздат, 1960.
- Чехов и его среда* — Чехов и его среда. Сб. под ред. Н. Ф. Бельчикова. Л., Academia, 1930.
- Чеховский сб.* — Чеховский сборник. Найденные статьи и письма. Воспоминания. Критика. Библиография. Изд. Об-ва А. П. Чехова и его эпохи. М., 1929.

В ссылках на Записные книжки Чехова указываются номер книжки (римскими цифрами) и страницы (арабскими).

В десятом томе печатаются рассказы и повести, написанные Чеховым в последние годы жизни — 1898—1903.

Это пора его высшего творческого расцвета. Чехов сближается с Л. Н. Толстым и М. Горьким, с демократическим издательством «Знамя» и литераторами, группировавшимися вокруг него. Он предпринимает издание своих сочинений, собирает для этого произведения прежних лет и заново их редактирует.

Почти все рассказы и повести, публикуемые в настоящем томе, включены автором в собрание сочинений, изданное А. Ф. Марком. «Июнь», «Случай из практики», «По делам службы», «Душечка», «Новая дача» напечатаны в т. IX (1901) и публикуются по этому тексту.

Готовя второе издание — приложение к «Ниве», А. Ф. Марк в письме от 19 марта 1903 г. просил у Чехова разрешения включить произведения, которые не вошли в первое десяти томное издание и предназначались для XI, дополнительного тома, во второе издание. Рассказы, о которых шла речь — «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой», «В овраге», «На святках», «Архиерей», — включены в т. XII второго издания (приложение к «Ниве»), вышедший в свет при жизни писателя (1903). XI том первого издания увидел свет лишь в 1906 году; к незначительным изменениям в тексте, которые были сделаны при наборе этого тома, Чехов отношения не имел. На этом основании упомянутые семь рассказов и повестей печатаются по тексту т. XII второго издания, правленного автором (см. примечания к рассказу «Человек в футляре», стр. 371 наст. тома).

По тексту гранок печатается рассказ «У знакомых», не включенный Чеховым в собрание сочинений, по журнальному тексту — «Невеста», рассказ, опубликованный в декабрьском номере «Журнала для всех» за 1903 г. и поэтому в прижизненное собрание сочинений не вошедший.

Из рукописных материалов к рассказам и повестям настоящего тома сохранились (кроме записных книжек): 1) беловой автограф рассказа «У знакомых», без 10-й стр. (ИРЛИ) и гранки этого рассказа с авторской правкой (ГПБ); 2) беловой автограф рассказа «Июнь» (ЦГАЛИ); 3) последняя страница черновой рукописи четвертой главы рассказа «Дама с собачкой» (ГЛМ); 4) черновой автограф рассказа «Невеста» и беловой автограф с поправками (ГБЛ); гранки 1-й и 2-й корректур с исправлениями (ИРЛИ); 5) автограф незаконченного произведения «Расстройство компенсации» (ГБЛ); 6) автограф рассказа «Калека», также оставшегося незавершенным (ГБЛ); 7) печатные вырезки ранних рассказов с правкой — «Из записной книжки Ивана Иваныча (Мысли и заметки)» (ЦГАЛИ).

В последние годы особенно ясно проступает черта, присущая писательской работе Чехова в целом: своеобразная цикличность, когда творческое состояние сменяется вынужденным бездействием (например, перерыв в работе в 1899 г.). С каждым годом длительность рабочего состояния сокращается, продуктивность становится меньше. Это связано не только с болезнью и не только с тем, что большую часть времени поглощает подготовка издания сочинений. Была еще одна причина — повышение авторской требовательности. Слова, сказанные Чеховым в дни работы над пьесой «Три сестры»: «больше думал, чем писал» (письмо к О. Л. Книппер от 5 сентября 1900 г.), — характерны для последних лет. Никакого творческого «затухания» не было — писатель жалуется на нездоровье, на то, что замедляется работа, отодвигаются намеченные сроки, но почти никогда не говорит о бедности или нехватке замыслов. («Ах, какая масса сюжетов в моей голове...», — писал он О. Л. Книппер 23 января 1903 г.). Он уходит из жизни с сознанием больших несуществующих творческих возможностей. Вместе с тем, как это явствует из его высказываний, у него нарастает ощущение, что писать надо не так, как прежде: в том, что он создает как прозаик и драматург, ему видится нечто старомодное (см. его письма к Книппер от 23 февраля и 17 апреля 1903 г.).

Многие писавшие о Чехове свидетельствовали, что в самые последние годы он стоял на пороге нового периода творчества.

2

В 1898—1904 гг. продолжалось сотрудничество Чехова в журнале «Русская мысль», начатое в 1892 г. публикацией повести «Палата № 6». В 1898 г. здесь были напечатаны «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Случай из практики», в 1899 — «Дама с собачкой», в 1901 — «Три сестры».

После смерти Чехова в январской книжке «Русской мысли» за 1905 год, в подборке «Из набросков А. П. Чехова», помещены незаконченные произведения — «У Зелениных», «Калека» и «Волк» (переработка рассказа «Водобоязнь», опубликованного в «Петербургской газете» в 1886 г.).

В 900-е годы Чехов не раз обещал издателям «Русской мысли» дать новый рассказ или повесть (см. письма к В. М. Лаврову от 21 августа 1900 г. и В. А. Гольцеву от 26 января 1903 г. и 17 марта 1904 г.). Намерения писателя остались невыполненными.

В газете «Русские ведомости», в которой Чехов прежде активно сотрудничал, он теперь напечатал лишь один рассказ — «Новая дача» (1899).

В 1899 г. в «Книжках Недели» № 1 опубликован рассказ «По делам службы». О своем желании написать для «Книжек Недели» Чехов говорит в письмах к М. О. Меншикову от 27 апреля и 2 октября 1899 г., от 17 сентября 1900 г. — он имеет в виду повесть «Калека», которая, однако, так и не была закончена.

Начатое в 1896 г. сотрудничество в «Ежемесячных литературных приложениях к журналу „Нива“» (повесть «Моя жизнь») продолжено в 1898 г. публикацией рассказа «Попыч». Маркс неоднократно просил у Чехова новые произведения для журнала

(письма от 30 апреля и 8 декабря 1900 г.— ГБЛ). Чехов обещал дать рассказ (письма управляющему конторой издательства Ю. О. Грюнбергу от 28 сентября 1899 г., Марксу от 11 мая и 10 декабря 1900 г., от 16 октября 1902 г.). Однако осуществить это ему не удалось.

После значительного перерыва Чехов снова появляется в «Петербургской газете», в которой он печатался с 1885 г. В «Нашем времени», бесплатном приложении к газете (1899), перепечатан с авторскими исправлениями рассказ «Художество». В «Петербургской газете» в 1900 г. опубликован рассказ «На святках».

В последние годы жизни Чехов участвует в изданиях, руководимых М. Горьким,— в журнале «Жизнь» и сборниках товарищества «Знание».

С 1898 г. петербургский журнал «Жизнь» становится под фактическим руководством В. А. Поссе органом легальных марксистов. М. Горький в 1899 г. объединяет вокруг журнала группу демократических писателей. В письмах 1898—1899 гг. Горький и Поссе обращаются к Чехову с просьбой о поддержке журнала. В «Жизни» в 1900 г. напечатана повесть «В овраге». Чехов предполагал еще написать для «Жизни» (письма к Поссе от 28 сентября 1900 г. и 3 марта 1901 г.), но в июне 1901 г. журнал был запрещен, его издание перенесено за границу, сотрудничество в нем Чехова прекратилось.

Во второй книге «Сборника товарищества „Знание“ за 1903 г.» помещена последняя пьеса Чехова, «Вишневый сад». В конце 1902 г. единственными пайщиками товарищества стали М. Горький и К. П. Пятницкий. Упомянув их, Чехов писал 11 апреля 1902 г. К. Д. Носилкову: «В „Знании“ верховодят очень порядочные люди». В письме к Пятницкому 27 апреля 1904 г. он сообщил, что ему «первая книжка сборника очень понравилась». Чехов предполагал дать для сборника «Знание» рассказ (письмо к Горькому от 6 октября 1903 г. См. также *Горький и Чехов*, стр. 152).

Активно печатается Чехов в «Журнале для всех», широко распространенном журнале демократического направления: в 1898 г.— рассказы «Жилец» (первоначальное название «Жилец № 31»), «Необыкновенный» (первоначальное название «Бука») и «Муж» (первоначальное название «Акцизный»),— все три рассказа в первых редакциях были опубликованы в 1886 г. в журнале «Осколки» (см. т. V Сочинений),— в 1902 г.— «Архидерей», в 1903 г.— «Невеста».

После смерти Чехова, в № 2 журнала за 1905 г., напечатан неоконченный рассказ «Расстройство компенсации» (см. примечания, стр. 475). Предполагалось также опубликовать в 1906 г. незаконченный рассказ «Письмо», но выход журнала прекратился. Рассказ появился в журнале «Трудовой путь», 1907, № 7 (см. примеч. в т. VII Сочинений, стр. 718—719).

Эпизодичными были публикации в журналах «Cosmopolis» и «Семья».

В 1898 г. в журнале «Cosmopolis» (русский отдел) помещен рассказ «У знакомых». Участвовать в журнале, выходящем на четырех европейских языках, пригласил Чехова Ф. Д. Батюшков, ставший редактором русского отдела.

В журнале «Семья» в 1899 г. опубликован рассказ «Душечка» — единственный случай участия Чехова в этом журнале.

Живя в Ялте, Чехов принимал участие в местной газете «Крымский курьер» (см. об этом в воспоминаниях редакторов газеты М. К. Первухина, А. Я. Бесчинского). После публикации в «Петербургской газете» здесь перепечатан рассказ «Х удожество», помещены отчеты о пожертвованиях в пользу голодающих.

Редакции многих газет и журналов предпринимали настойчивые, но безуспешные попытки добиться сотрудничества Чехова («Русское богатство», «Мир божий», «Мир искусства» и др.).

Получал Чехов и многочисленные предложения участвовать в сборниках и альманахах. В 1901 г. он дал, по совету И. А. Бунина, рассказ «Ночью» (первоначальная редакция под названием «В море. Рассказ матроса» — в журнале «Мирской толк», 1883) для альманаха «Северные цветы» (см. т. II Сочинений).

Для сборника к 25-летию службы Ю. О. Грюнберга в редакции «Нивы» Чехов предложил старый рассказ «Весной» (письмо к П. Н. Полевому от 22 сентября 1900 г.), но из-за смерти Грюнберга издание не состоялось.

«... за 1900 г. я получаю приглашение участвовать в сборнике — в шестой раз, т. е. предлагается к изданию шесть сборников», — отвечал он П. Ф. Якубовичу (Мельшину), пригласившему его участвовать в сборнике к 40-летию публицистической деятельности Н. К. Михайловского (письмо от 14 июня 1900 г.).

3

В 1899—1902 гг. в издательстве А. Ф. Маркса вышли Сочинения Антона Чехова в десяти томах: т. I. Рассказы (1899); т. II. Повести и рассказы (1900); т. III. Рассказы (1901); т. IV. Рассказы (1901); т. V. Рассказы (1901); т. VI. Рассказы (1901); т. VII. Пьесы (1900, изд. 1-е и 1902, изд. 2-е); т. VIII. Рассказы (1901); т. IX. Рассказы (1901); т. X. Остров Сахалин. Из путевых записок (1902).

В 1903 г. как приложение к журналу «Нива» было выпущено полное собрание сочинений Ант. П. Чехова, издание второе, в 16 томах.

В издательстве Маркса вышли отдельными книгами: «Повести и рассказы». СПб. (1900); «Каштанка». Рассказ. С 55 рис. худ. Д. Н. Кардовского. СПб., 1903; «Свадьба. Юбилей. Три сестры». Пьесы. СПб., 1902; изд. 2-е — СПб., 1902; «Три сестры». Драма в 4-х действиях. СПб., 1901; изд. 2-е — СПб., б. г.; «Дядя Ваня». Сцены из деревенской жизни в 4-х действиях. СПб., 1902; «Вишневый сад». Комедия в 4-х действиях. Изд. 2-е. СПб., 1904.

У А. С. Суворина переиздавались произведения: «Дуэль». Повесть. Изд. 7—9. СПб., 1898—1899; «Каштанка». Рассказ с рисунками в тексте. Изд. 6—7. 1898—1899.

В том же издательстве продолжали выходить сборники: «Пестрые рассказы». Изд. 10—14. СПб., 1898—1899; «В сумерках». Изд. 11—13. СПб., 1898—1899; «Рассказы». Изд. 12—13. СПб., 1898—1899; «Хмурые люди». Изд. 8—10. СПб., 1898—1899; «Палата № 6» (и др. рассказы). Изд. 6—7. 1898—1899; «Мужики». «Моя жизнь». Изд. 3—7. 1898—1899 (в изд. 3-м заглавие: Рассказы: 1. «Мужики». 2. «Моя жизнь»).

В «Посреднике», в серии «Для интеллигентных читателей», вышли: «Жена». Изд. 3-е. М., 1899; «Именины». Изд. 3-е. М., 1899; «Палата № 6». Изд. 3-е. М., 1899.

В других издательствах выходили рассказы и повести прежних лет: «Повести и рассказы». М., Изд-во И. Сытина, 1898; «Мечты». Рассказ. М., 1898; «Святою ночью». М., 1898 и др.

Рассказ «На подводе» был включен в сборник «Братская помощь пострадавшим в Турции армянам». Изд. 2-е, дополн. М., 1898; рассказ «Белолобый» — в книгу «Сказки жизни и природы русских писателей». М., 1899, и др.

4

В 1898 г. Чехов задумал издать собрание своих сочинений. Он понимал, что после резкого обострения легочной болезни в марте 1897 г. с этим нужно торопиться. В письме от 24 августа 1898 г. он обратился к А. С. Суворину с предложением: «Если Вы ничего не имеете против этого, то глубокой осенью и зимой, когда мне нечего будет делать, я занялся бы редакцией своих будущих томов. В пользу моего намерения говорит и то соображение, что пусть лучше проредактирую и издам я сам, а не мои наследники». Письма Суворина не сохранились, но можно предположить, что он ответил согласием: в письмах к нему от 27 октября и 16 ноября 1898 г. Чехов говорил о том же.

Первый том был набран, в январе Чехов читал его корректуру (в письме к М. П. Чеховой от 9 января 1899 г.: «... читаю первую корректуру и ругаюсь, предчувствую, что это полное собрание выйдет не раньше 1948 года»).

Во время печатания первого тома суворинского издания, в декабре 1898 г., Чехов узнает о возможности издания сочинений у А. Ф. Маркса, стоявшего во главе крупнейшей издательской фирмы и массового — по тем временам — литературного журнала «Нива». Как только вопрос о собрании сочинений Чехова стал на практическую почву, обнаружилось нежелание Суворина за него браться (см. письмо Чехова к брату Михаилу Павловичу от 29 января 1900 г.). Об отношении Суворина к заключению договора с Марксом говорится в письме Михаила Павловича к Чехову от 22 января 1900 г. (С. М. Чехов. О семье Чеховых. М. П. Чехов в Ярославле. Ярославль, 1970, стр. 178—183). См. также телеграмму Суворина к Чехову от 18 января 1899 г. с советом воздержаться от подписания договора с Марксом — «Красный архив», 1929, № 6, стр. 199—200. О беседе с Чеховым относительно Суворина («Суворину некогда заниматься своим книжным магазином...») см. в воспоминаниях А. С. Яковлева. — *ЛН*, т. 68, стр. 601.

25 декабря 1898 г. П. А. Сергеевко сообщил Чехову: «Кстати о Марксе. Беседа с его управляющим Грюнбергом, я имел полное основание заключить, что Маркс приобрел бы право на изд(ание) твоих произведений» (*ГБЛ*). После положительного ответа Чехова 1 января 1899 г. начинаются переговоры с Марксом (их вел Сергеевко). Они завершаются 26 января 1899 г. заключением договора: сочинения Чехова — кроме пьес — переходят в «полную литературную собственность» Маркса, как уже опубликованные, так и те, которые будут обнародованы в течение первых двадцати лет после подписания договора. Маркс обязался уплатить в несколько сроков за произведения, напечатанные до подписания договора, 75 000 рублей (*ГБЛ*, ф. 360, к. 1.

ед. хр. 90; «Красный архив», 1929, № 6, стр. 208—210. Об условиях договора см. в письме Чехова к сестре от 20 января 1899 г.).

Спустя несколько дней после подписания договора Чехов писал Сергеенко: «В этой продаже не столь важны для меня 75 тыс., как то, что мои произведения будут издаваться порядочно» (1 февраля 1899).

По 7-му пункту договора Чехов обязался не более чем в шестимесячный срок «собрать все без исключения произведения свои, напечатанные в разных изданиях», и, кроме того, проредактировать все свои сочинения, составив из них «Полное собрание» не позднее 26 июля 1899 г.

Он принялся за розыски своих произведений, затерявшихся в различных журналах и газетах. В этих разысканиях ему помогали брат Александр Павлович, А. С. Лазарев (Грузинский), Н. М. Ежов, Л. А. Авилова и сам Маркс (см. письма к ним Чехова с начала 1899 г.). «Всё, что составляло до сих пор содержимое сборников, Вам известных, утонет совершенно в массе материала, неизвестного миру. Когда я собрал всю массу, то только руками развел от изумления», — писал Чехов М. О. Меньшикову 4 июня 1899 г.

В соответствии с соглашением он представил издателю тексты не только включенных в собрание произведений, но и отвергнутых — в вопросе отбора голос автора был решающим.

Десять томов нового издания вошла примерно треть изданного при жизни Чехова. Подробнее см.: И. П. В и д у э ц к а я. А. П. Чехов и его издатель А. Ф. Маркс. М., «Наука», 1977.

Он включил в собрание лишь одно произведение первых лет своей литературной работы («Кривое зеркало», 1882). Из 103 произведений 1883 г. отобрал для издания только 20, из 77 1884 г. — 27, из 116 1885 г. — 35, из 107 1886 г. — 56, из 64 1887 г. — 49 (подробнее об этом см. в статье Е. Н. Кошкиной «Чехов-редактор. Работа Чехова над составлением сборников и собраний своих произведений». — Сб. «Книга. Исследования и материалы». Вып. 10. М., 1965, стр. 94).

Чеховские письма 1899—1901 гг. пестрят горестно-шутливыми жалобами на каторжный труд саморедактирования: «Корректурка для Маркса — это каторга (. . .) если бы знал раньше, что это так нелегко, то взял бы с Маркса не 75, а 175 тысяч» (Вл. И. Немировичу-Данченко 24 ноября 1899 г. и др.).

Десятитомное собрание сочинений Чехова, изданное Марксом (1899—1902), а также повторявшее его издание с другим распределением по томам — приложение к журналу «Нива» за 1903 год (в шестнадцати томах) — строились по хронологическому принципу. «Свои произведения», — сообщил автор 25 февраля 1899 г. издателю, — я буду располагать в хронологическом порядке, но держаться строго этого порядка невозможно, я буду только стараться, чтобы новые произведения не смешивались со старыми». Пьесы и «Остров Сахалин» были введены Чеховым в самостоятельные тома.

27 июля 1901 г. Горький обратился к Чехову с предложением расторгнуть договор с Марксом и издать собрание сочинений в товариществе «Знание» (Горький, т. 28, стр. 166). См. об этом в воспоминаниях Н. Д. Телешова (Чехов в сопоставлениях, стр. 482—

486). Там же приводится текст неотправленного коллективного письма Марксу (оно было составлено Горьким и Л. Н. Андреевым) с требованием исправить «несправедливость, до сих пор тяготеющую над А. П. Чеховым» (см. также *Горький и Чехов*, стр. 153—156 и 249).

За год до смерти Чехов согласился вступить в переговоры с Марксом об изменении или расторжении договора (см. его письма к М. П. Чеховой от 16 мая и 7 июня 1903 г. и А. С. Суворину от 17 июня 1903 г.). 23 января 1903 г. Книппер сообщала Чехову: «С Пятницким говорила о Марксе (. . .). Он настаивает, что это грабеж» (О. Л. Книппер-Чехова. Ч. I. Воспоминания и статьи. Переписка с А. П. Чеховым (1902—1904). М., «Искусство», 1972, стр. 192).

Но в 1903 г. А. Ф. Маркс повторил издание, в 16-ти книгах, приложением к журналу «Нива». Чехов считал, что таким образом его сочинения были обесценены «как товар», да и по причинам морального свойства не считал возможным расторжение договора.

Работа над подготовкой собрания сочинений — важная веха творческой биографии Чехова. В сознании художника проходило своеобразное воссоединение разных периодов и моментов пройденного писательского пути. Издание сыграло роль в углублении творческого самосознания Чехова. Он говорил незадолго до смерти: «Меня то делают плаксой, то просто скучным писателем... А я написал несколько томов веселых рассказов...» (Евт. П. Карпов. Две последние встречи с А. П. Чеховым. — «Ежегодник императорских театров». Вып. 5, 1909, стр. 7; «Чехов в воспоминаниях современников». М., 1952, стр. 491)¹.

В работе Чехова над собранием сочинений проявилась характерная черта его творческого облика: он снова и снова возвращался к ранее написанному, развитие писателя шло как бы «вместе» со всем его творчеством, достигая новой, все более высокой зрелости и мастерства.

Благодаря этому изданию читающая Россия получила возможность познакомиться с основным фондом сочинений Чехова еще при его жизни и составить о нем разностороннее и целостное представление.

5

Как свидетельствуют записные книжки Чехова, в последние годы жизни он вынашивал множество замыслов, которые не успевал реализовать. Н. Гарин (Н. Г. Михайловский) рассказывал о встрече с Чеховым в апреле 1904 г. в Ялте: «— Вы знаете, что я делаю? — весело встретил он меня. — В эту записную книжку я больше десяти лет заночу все свои заметки, впечатления. Карандаш стал стираться, и вот я решил навести чернилом: как видите, уже кончаю.

¹ О том, как Чехов правил, читал или слушал свои старые рассказы, см.: И. А. Бунины. Собр. соч. Т. 9, стр. 195; *Из далекого прошлого*, стр. 234; К. С. Станиславский. — Л. А. Сулержички. Из воспоминаний об А. П. Чехове в Художественном театре. — Альманах «Шиповник», кн. 23. СПб., 1914, стр. 157.

Он добродушно похлопал по книжке и сказал:

— Листов на пятьсот еще не использованного материала. Лет на пять работы. Если напишу, семья останется обеспеченной...» («Памяти Чехова». — «Вестник Маньчжурской армии». Ляоян, 1904, № 22, 22 июля; *Чехов в воспоминаниях*, стр. 659).

О замыслах, планах, намерениях Чехов говорит в письмах 1898—1904 годов.

Он предполагал продолжить серию, начатую рассказами «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», — об этом свидетельствует его письмо к А. Ф. Марксу от 28 сентября 1899 г.

Есть в письмах Чехова и упоминания о его попытках продолжить (или начать заново) работу над романом. «В Ялте тихая жизнь, хочется писать роман, и я, войдя в свое обычное настроение, засяду и напишу листов десять» (Суворину, 17 октября 1898 г.).

А. В. Амфитеатров свидетельствует в мемуарах о Чехове: «Его долго мучила мысль, что он не написал романа (. . .) и, сколько раз ни видал я его до 1898 г., в каждое свидание он намекал на начатый или задуманный план романа» (А. В. Амфитеатров. Курганы. Изд. 2-е. М., 1909, стр. 10).

В письмах к Книппер Чехов сообщает — 12 декабря 1902 г.: «Пишу я рассказ, но он выходит таким страшным, что даже Леонида Андреева заткну за пояс»¹; 1 марта 1903 г.: «Один рассказ, именно „Невеста“, давно уже послан в „Журнал для всех“ (. . .) другой рассказ начат, третий тоже начат...» (см. в наст. томе стр. 484); 14 октября 1903 г. (после завершения пьесы «Вишневый сад»): «Завтра сажусь писать рассказ, не спеша».

О творческих замыслах Чехова, не получивших воплощения, есть упоминания в мемуарах современников.

Вас. И. Немирович-Данченко в статье «Памятка о Чехове» передает свою беседу в Русском пансионе (Ницца) со шпионом, после которой Чехов говорил автору воспоминаний: «Послушайте, Вы мне его уступите... Я его во весь рост написать хочу» («Чеховский юбилейный сборник». М., 1910, стр. 402); ср. запись Чехова 7 октября 1897 г.: «Признания шпиона» (*Зап. кн.* I, стр. 77); подробнее — в примечаниях к «Расстройству компенсации» (стр. 478 наст. тома).

¹ Е. Н. Коншина считала, что речь идет о рассказе «Волк» (авторская переработка «Водобоязни»). См. ее примечания в кн. «Письма А. П. Чехова к О. Л. Книппер-Чеховой». Берлин, 1924, стр. 270). Однако, судя по почерку, автограф «Волка» относится не к 900-м, а к 90-м годам. А. Б. Дерман сомневался в предположении Коншиной (см. его комментарий к т. III «Переписки А. П. Чехова и О. Л. Книппер», машинопись. — ГБЛ, ф. 356, к. 5). Л. М. Фридкис предположил, что Чехов имеет в виду незаконченный рассказ «Письмо» (*ЛССП*, т. XIX, стр. 550. См. примечания в т. VII Сочинений, стр. 718). Не исключено, что Чехов говорит в своем письме о «Невесте» — в те дни (декабрь 1902 г.) работа шла над этим рассказом (ср., например, письмо к Книппер от 14 декабря 1902 г.). Возможно, что речь идет о незаконченном и неизвестном нам рассказе. Уже отослав «Невесту» в редакцию, Чехов писал 1 марта 1903 г.: «другой рассказ начат», «третий тоже начат».

«Говорил, что хочет написать рассказ или повесть о сельском учителе, одном из несчастнейших, по его мнению, людей в России,— пишет он о Чехове М. М. Ковалевский.— Я знаю, прибавлял он, в мельчайших подробностях судьбу 30—40 учителей моей местности, и поэтому в моем рассказе не будет ничего выдуманного» (*Летопись*, стр. 646).

Из неосуществленных публицистических замыслов — статья об И. И. Левитане (20 декабря 1901 г. ответ на письмо С. П. Дягилева от 12 декабря 1901 г.— *ГБЛ*; *Из архива Чехова*, стр. 210—211).

В воспоминаниях находим и сведения о редакционно-издательских замыслах и планах Чехова.

Редактор ялтинской газеты «Крымский курьер» А. Я. Бесчинский сообщает, что в 1899 г. Чехов предложил организовать товарищество, которое составило бы редакционный совет газеты. Он написал проект условия с издательницей газеты. Был подписан контракт, но в работе товарищества Чехов участия не принимал (А. Я. Б е с ч и н с к и й. Воспоминания об А. П. Чехове.— «Приазовская речь», 1910, № 48, 23 января). Об отношении Чехова к «Крымскому курьеру» см. также: М. К. Первухин. Из воспоминаний о Чехове.— *Чехов в воспоминаниях*, стр. 612—615.

Чехов рассказывал А. Б. Тараховскому, что вынужден был отказаться от редактирования журнала «Вокруг света», и признавался в связи с этим: «У меня был план сделать такую газету, чтобы она вполне соответствовала названию. Я завел бы корреспондентов во всех городах мира, интересных, талантливых. Такая газета имела бы успех» (Ш и л л е р п з Т а г а н р о г а (А. Б. Тараховский). Из воспоминаний об А. П. Чехове.— «Приазовский край», 1904, № 184, 13 июля).

Слова Чехова о необходимости нового, «совершенно реформированного» типа журнала приводит редактор «Крымского курьера» М. К. Первухин (*Чехов в воспоминаниях*, стр. 635—636).

Скиталец (С. Г. Петров) в статье «Чехов. Встречи» описывает беседы с Чеховым в Ялте весной 1902 г., в компании Бунина, Теленова, И. А. Белоусова, С. А. Найденова, С. Я. Елпатьевского, В. Н. Ладыженского. Чехов предлагал: «Надо журнал издавать! Хороший новый журнал, чтобы всем там собраться!

На этот раз Чехов не в шутку, а всерьез говорил о создании нового журнала или периодически выходящих альманахов» (С к и т а л е ц. Избр. произведения. М., 1955, стр. 555).

Еще с конца 80-х годов Чехов берет на себя просмотр и редактирование рукописей для журналов и газет, в которых печатается (*ЛН*, т. 68, стр. 835).

8 февраля 1899 г. Лавров в Ялте предлагает Чехову стать редактором беллетристического отдела журнала «Русская мысль» (см. в его воспоминаниях «У безвременной могилы». — «Русские ведомости», 1904, № 202, 22 июля). Об участии писателя в редактировании этого отдела объявлено в кн. VIII за 1903 г. В письмах к Гольцеву с августа 1903 по март 1904 г. Чехов дает отзывы о прочитанных и отредактированных рукописях. О характере его правки можно судить по рукописи А. Писаревой «Счастье» и А. К. Семенова (Гольдебаева) «В чем причина?» («Ссора») (П. С. П о п о в. Чехов в работе над рукописями начинающих писателей.— *ЛН*, т. 68, стр. 845 и т. 18 наст. изд.).

Полных сведений о рукописях, прочитанных и отредактированных Чеховым, к сожалению, нет.

Последние годы жизни Чехова ознаменованы важными общественными событиями, оставившими глубокий след в его духовном развитии. Позиция писателя во время процесса Дрейфуса и разрыв с суворинской газетой «Новое время», сочувственное отношение к студенческим волнениям конца 90-х — начала 900-х годов, столь непохожее на его прежние иронические высказывания о бунтующих «студюозах», отказ от звания почетного академика в знак протеста против признания выборов Горького «недействительными», сочувствие и поддержка Амфитеатрову, высланному в Минусинск, — все эти факты биографии Чехова взаимосвязаны. Во многих воспоминаниях современников запечатлены перемены в его отношении к общественным вопросам, особенно характерные для начала 900-х годов. Рассказывая о встрече с писателем весной 1902 г. в Москве, Ф. Д. Батюшков пишет: «Антон Павлович опять вернулся к вопросам внутренней политики, настаивая на неизбежности скорого введения у нас конституции. Меня поразила эта настойчивость в желании показать, как его занимают общественные вопросы» (Ф. Д. Б а т ю ш к о в. Две встречи с А. П. Чеховым. — «Солнце России», 1914, июнь, № 228/25). Говоря, что в России будет конституция, Чехов добавляет: «Это верно, как после вторника среда» (Ф. Б а т ю ш к о в. А. П. Чехов по воспоминаниям о нем и письмам. — *На память Чехову*, стр. 26). Поссе вспоминает, что Горький сообщал ему о Чехове: «Полагает, что в России ежегодно, потом ежемесячно, потом еженедельно будут драться на улицах и лет через десять—пятнадцать додерутся до конституции» (В. А. П о с с е. Мой жизненный путь. М., 1929, стр. 275).

С. Я. Елпатьевский пишет о времени, когда «не стало прежнего Чехова»; «поднимавшаяся бурная русская волна» понесла его с собой; он «весь ушел в политику», «и весь он другой стал — оживленный, возбужденный»; «ему безотлагательно, сейчас же нужно было знать, что делается в Москве и Петербурге, и не в литературных кругах, о которых раньше он исключительно расспрашивал меня, а в политическом мире...» (С. Я. Е л п а т ь е в с к и й. Воспоминания за 50 лет. — *Чехов в воспоминаниях*, стр. 579). А о впечатлении, которое произвел последний рассказ Чехова, «Невеста», Елпатьевский говорит: «Для меня стало очевидным, что происходил перелом во всем настроении Чехова, в его художественном восприятии жизни, что начинается новый период его художественного творчества» (там же, стр. 581).

Последнее событие российской жизни 900-х годов, пережитое Чеховым, — начавшаяся в январе 1904 г. русско-японская война. Судя по первым откликам Чехова на военные события, он достаточно осознавал масштаб надвигающейся катастрофы: «... японцам несдобровать» (письмо к В. К. Харкеевич от 31 января 1904 г.); «Скорее бы побии японцев» (к О. Л. Книппер, 20 февраля); «Наши побьют японцев» (ей же, 3 марта). Затем тон писем меняется: «... у всех настроение мрачное благодаря телеграммам» (к ней же, 1 апреля 1904 г. Имеется в виду сообщение о гибели броненосца «Петропавловск» возле Порт-Артура 31 марта 1904 г.). В письмах за март-апрель 1904 г. Чехов делится пла-

вами поехать на Дальний Восток — «не корреспондентом, а врачом».

События общественной жизни и начавшейся войны, связываясь, подвели писателя к мысли о близящихся переменах. По свидетельству современника, он говорил: «Нагрязнут такие события, которые всё в России перевернут вверх дном» (С. С. М а и о в т о в. Две встречи с Чеховым.— «Русское слово», 1909, № 150, 2 июля).

Имя Чехова еще при жизни становится известным европейскому и мировому читателю.

В 900-е годы особенно возрастает число переводов произведений Чехова на европейские языки. Во Франции выходят отдельными изданиями переводы его рассказов и повестей — «Мужики» (1901, пер. Дени Роша) и «Убийство» (1902, пер. Клэр Дюкрё). С большой статьей «Антон Чехов» выступил в 1902 г. в парижском журнале «Revue des Deux Mondes» академик Мельхиор де Вогюэ.

Из многочисленных немецких переводов следует отметить четырехтомное издание избранных произведений Чехова, вышедшее в Лейпциге в 1901—1902 гг. (перевод В. Чумикова). Экземпляры этих и других немецких изданий хранятся в библиотеке писателя в Доме-музее А. П. Чехова в Ялте. «Вы теперь положительно самый популярный писатель-иностранец в Германии», — писал Чехову В. А. Чумиков 9 мая 1900 г. (ГБЛ).

В Англии первый сборник рассказов Чехова вышел в 1903 г. — «Черный монах» и другие рассказы» (пер. Р. Е. К. Лонга).

Один из ранних переводов Чехова, вышедших в Соединенных Штатах, — «Страшная ночь» («Fugitive Cottins», пер. Грейс Элредж. — «Short Stories», 1902, июль).

7

«А. П. Чехов своими многочисленными сочинениями давно уже овладел общественным вниманием. Его рассказы и повести вызвали значительную критическую литературу, стали предметом горячих споров и самых разнообразных, нередко диаметрально противоположных суждений. (. . .) Произведения Чехова переведены на иностранные языки и за границей привлекают внимание критики. Нельзя потому не признать, что, судя по всем таким внешним признакам, мы имеем дело с писателем далеко не заурядным, хотя и не „великим“ и не „европейским“, как его величают у нас не в меру усердные отечественные хвалители». Эти слова Е. А. Ляцкого, открывавшие этюд «А. П. Чехов и его рассказы» («Вестник Европы», 1904, № 1, стр. 104), характерны для критических отзывов о писателе конца XIX — начала XX века: они свидетельствуют о том, как возросла роль Чехова в литературной жизни, усилилось внимание к нему читателей и критики, и о том, что подлинные масштабы чеховского дарования во многом еще оставались недооцененными.

В хоре критических отзывов тех лет по-прежнему выделялся голос Н. К. Михайловского, одного из самых активных представителей либерально-народнического направления. В печати не

раз питируются и оспариваются его слова о безразличном по духу, «сумеречном» творчестве Чехова.

Между тем сам Михайловский, внимательно следивший за творческим развитием Чехова, во многом отошел от своих прежних категорических заявлений. В ряде статей и особенно в статье «Кое-что о г. Чехове» («Русское богатство», 1900, № 4), написанной в связи с выходом первого тома собрания сочинений, он отмечает серьезные перемены в художественном мировосприятии Чехова, который, начиная с повести «Скучная история», опровергает представление о нем как равнодушном художнике. В этой статье Михайловский устанавливает три основных периода в творчестве Чехова: «благодушное веселье», «безразличное воспроизведение» жизни и отказ от реабилитации действительности. Вывод о переломе «в отношении к действительности» (стр. 133) он подтверждает разбором «Палаты № 6» и «Черного монаха», а также произведений конца 90-х — начала 900-х годов: «Человек в футляре» и «О любви», «Дама с собачкой» и «В овраге» (стр. 140).

Еще более определенно и развернуто говорит Михайловский о перемене своих оценок творчества Чехова, отражающей его эволюцию, в статье «О повестях и рассказах гг. Горького и Чехова» («Русское богатство», 1902, № 2).

Изменения претерпевают и взгляды другого критика — А. М. Скабичевского, автора унижительных слов о молодом Чехове, якобы рискующем превратиться в одного из «легковесных балаганщиков, смехотворных „клоунов“» («Пестрые рассказы А. Чехонте...» — «Северный вестник», 1886, № 5, стр. 123). В статье «Есть ли у Чехова идеалы?» Скабичевский откажется от упреков в «художественном индифферентизме» (А. С к а б и ч е в с к и й. Сочинения, т. II, 1892, стр. 793—823). И всё же мысль об отсутствии у Чехова цельного мирозерцания остается, хотя и претерпевает серьезные изменения. В ноябрьской книжке «Русской мысли» за 1904 г. Скабичевский выступает со статьей «Новые течения в современной литературе». Здесь он снова говорит о «конкретности изображения» у Чехова как своеобразной эмпиричности.

К еще более безотрадным выводам приходил Созерцатель (Л. Е. Оболенский). В критическом этюде — «Максим Горький и причины его успеха (опыт параллели с А. Чеховым и Глебом Успенским)». СПб., 1903 — он тоже оспаривал прежнюю точку зрения Михайловского — о чеховском «безразличии к изображаемому». Главное в писателе, на его взгляд, любовь к маленьким людям. «Всех героев Чехова вы жалеете, потому что он умеет показывать вам их маленькие, жалкие души» (стр. 23). С этой точки зрения рассматривался и герой рассказа «Крыжовник». Вообще герои Чехова — «слабые, безвольные, и пнертные, огупевшие»; «смеясь над ними, он плачет и над всей окружающей их средой» (стр. 39). Отсюда — ощущение исчерпанности Чехова, которому противостоит жизнеутверждающий Горький.

В 80-е годы либерально-народническая критика обвиняла Чехова в общественном индифферентизме, безыдейности — теперь она видит истоки его пессимизма в безнадежном противоречии идеала и действительности. Вторая точка зрения, связанная с представлением о Чехове — певце тоски и печали, «суме-

рек» русской жизни,— сложившаяся еще при жизни писателя, окажется особенно долговечной.

Мысль о переломе в творчестве Чехова положена в основу критического очерка В. Альбова «Два момента в развитии творчества Антона Павловича Чехова» («Мир божий», 1903, № 1). Автор ставит задачу «проследить развитие, постепенный рост художественного таланта» (стр. 85). Вслед за Михайловским и, возможно, опираясь на него, Альбов говорит о трех обликах Чехова: «В сущности его произведения есть история его души, сначала беспечной, потом глубоко тоскующей и наконец, по-видимому, нашедшей удовлетворение» (там же). «В последние годы в творчестве г. Чехова намечается новый и очень важный перелом,— утверждает автор.— Временами прорывается еще прежнее настроение (имеется в виду пьеса «Три сестры»), но нет уж и следа прежнего уныния, подавленности, отчаяния. Напротив, всё сильнее слышится что-то новое, бодрое, жизнерадостное, глубоко волнующее читателя и порой необыкновенно смелое» (стр. 103).

Интересно отметить, что статья Альбова поправилась Чехову. В письме к Батюшкову от 11 января 1903 г. он говорит, что прочел ее «с большим удовольствием. Раньше мне не приходилось читать Альбова, хотелось бы знать, кто он такой, начинающий ли писатель или уже выдавший виды».

Мысль Альбова, опиравшегося на работы Михайловского о творческой эволюции Чехова, о трех периодах его развития, продолжил Батюшков (статьи в «Мире божьем», 1904, № 8; 1905, №№ 6 и 7; 1906, № 4). Позднее концепция трех периодов в творчестве Чехова (от Антоши Чехонте к Антону Чехову. 1880—1886; период хмурых дум и «пересмотра». 1887—1893; вера в человека и в устойчивую правду. 1893—1904) будет изложена Батюшковым в статье «А. П. Чехов» («История русской литературы». Под ред. Д. Н. Овсяннико-Куликовского. Т. 5, 1910). Представление о «триедином» облике Чехова разделялось В. Г. Короленко (см. его статью «Памяти А. П. Чехова». — «Русское богатство», 1904, № 7).

Либеральная критика с разных сторон подходила к вопросу о взаимоотношениях чеховского героя с окружающей средой. Скабичевский, разбирая рассказ «Человек в футляре», решительно ослаблял традиционные представления о всемогуществе и условий жизни героя («среда заела») — см. в примечаниях к рассказам «О любви» (стр. 386).

Это положение развивает Р. И. Сементковский: «По мысли Чехова, не в условиях дело, а в самих людях» (Р. И. Сементковский. Что нового в литературе? — «Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения к „Ниве“», 1904, № 8, стлб. 616—617). Вывод этот получает под пером критика общелиберальное истолкование.

Лишь отдельные литераторы и критики, писавшие в те годы о Чехове, рассматривали его «тоску по идеалу» как начало внутренне активное, связанное с идейно-творческим преодолением жизни как она есть. Следует выделить отзыв Л. Андреева. «По-видимому, с пьесой А. П. Чехова,— писал он спустя несколько месяцев после опубликования „Трех сестер“,— произошло крупное недоразумение, и, боюсь сказать, виноваты в нем критики,

признавшие „Трех сестер“ глубоко пессимистической венцою (. . .) Тоска о жизни — вот то мощное настроение, которое с начала до конца проникает пьесе и слезами ее героинь поет гимн этой самой жизни. Жить хочется, смертельно, до истомы, до боли жить хочется! — вот основная трагическая мелодия „Трех сестер“ («Курьер», 1904, № 291, 21 октября, подпись: Джемс Линч).

В этом же ряду находится статья Д. Н. Овсяннико-Куликовского «А. П. Чехов», которая заканчивается словами: в рассказе Чехова «Ионыч», как и в других произведениях, «руководящей точкой зрения служит мрачный, безотрадный взгляд на человека и на современную жизнь. Но этот взгляд так выражен (. . .), что внимательный и вдумчивый читатель чувствует присутствие идеала, его тихое, еще неясное веяние, и вместе с художником устремляет свой умственный взор в туманную даль грядущего, где уже чувствуется бледный рассвет новой жизни» (в его кн. «Вопросы психологии творчества». СПб., 1902, стр. 234. Ср. его же: Наши писатели. I. А. П. Чехов.— «Журнал для всех», 1899, № 2, стр. 138).

Говоря об откликах на творчество Чехова, следует учитывать не только критические работы, но и огромное количество писем к нему, в которых звучал голос демократического читателя — учителя, врача, студента, грамотного рабочего. Здесь ясно высказывалась мысль о преодолении в чеховском творчестве последних лет безнадежно мрачного взгляда на жизнь, о «беспокойном», активно пробуждающем воздействии его книг и пьес (см., например, письма врача П. И. Куркина — *Записки ГБЛ*, вып. 8; студента Н. Н. Тугаринова — *Из архива Чехова*). Авторы писем спорят с широко распространенным в те годы представлением о нем как о беспросветном пессимисте.

Во многих работах «тоска по идеалу» характеризуется как тоска безысходная, безнадежная — именно потому, что никаких путей перехода от идеала к действительности нет и быть не может. В этом отношении весьма показательна книга Воляжского (А. С. Глинки) «Очерки о Чехове» (СПб., 1903). Исходный момент его рассуждений о Чехове — мысль о несоединимости идеала и «условий его реализации» (стр. 22); Чехов — не просто идеалист, но идеалист пессимистический (стр. 32). Его идеализм «безнадежен».

С положениями книги Воляжского перекликается упоминавшийся этюд Ляцкого «А. П. Чехов и его рассказы». Как и Скабичевский, автор полагает, что изображения у Чехова «конкретно-жизненные, но в поражающем большинстве случаев отнюдь не типичны» («Вестник Европы», 1904, № 1, стр. 117). Его герои, интеллигенты, страдают «ущербом нормального чувства», «не живут полной жизнью» (стр. 133). Так возникает мысль о глубоком изначальном пессимизме Чехова. Отсюда, по мнению Ляцкого, и недостатки художественной манеры: «почти протоколизм изложения и полное отсутствие жизненной типичности в изображениях фигур» (там же). Всё это завершается безнадежным выводом о творчестве Чехова — это «только этап для больных, малодушных и отставших,— и мы на нем не остановимся долго» (стр. 162).

Критик был не единственным, кто пытался связать с отсутствием ясного и законченного писательского взгляда на жизнь

некоторые особенности художественной манеры: ограниченная роль автора в повествовании, протоколизм изложения, импрессионистичность и отрывочность повествования и т. д. Оспаривая это распространённое тогда представление о Чехове-художнике, Овсяннико-Куликовский подчеркивал целостность его произведений, единство и стройность композиции, органичность образов (см. его статью «Наши писатели» в «Журнале для всех», 1899, № 3, стр. 270).

Последовательно проведена концепция Чехова-пессимиста в этюде Е. М. де Вогюэ «Антон Чехов» (М., 1902, пер. с франц.). Автор обнаруживает редкое непонимание писателя: по его мнению, «в душе толстовских героев продолжается внутренняя работа, в душе чеховских нет ничего, кроме пустоты» (стр. 30). Философский нигилизм здесь «граничит с полным умственным отупением» (стр. 33). «Россия, как ее созерцает и изображает автор, — это огромный труп, распростёртый на снежном саване» (стр. 37—38). Реплики Чебутыкина в финале пьесы «Три сестры»: («Тара... ра... бумбия... Сижу на тумбе я... Всё равно! Всё равно!»), как уверяет Вогюэ, исчерпывают духовное содержание чеховских героев — разного рода Чебутыкиных (стр. 39).

Стремление истолковать творчество Чехова идеалистически, характерное для работ Воляжского, Ляцкого, обнаруживается в критике гораздо раньше. Многие из пишущих о Чехове в конце 90-х — начале 900-х годов обращаются к книге Н. М. Минского «При свете совести. Мысли и мечты о цели жизни» (СПб., 1890), где автор провозглашал наступление «сумерек противоречий, для которых, очевидно, нет рассвета» (стр. 159), звал к экзистенциальному постижению «абсолютно несуществующего, но единственно завистного и священного».

Андрей Белый в статье «Чехов» («Весы», 1904, № 8) пишет в платоновском духе о жизни — «замкнутой отовсюду комнате» с прозрачными стенами. Главное содержание жизни — по ту сторону стен. Единственная реальность в искусстве — символ, ведущий «туда». Чехов — истинный символист. Как пример чеховского символа, устремленного к постижению потустороннего, приводится пейзаж на выставке, который понравился Юлии («Три года»).

В конце 90-х — начале 900-х годов обостряется внимание к Чехову реакционной и, в частности, нововременской критики. Главное обвинение — чересчур мрачное, пессимистическое изображение российской действительности.

Нововременский критик В. П. Буренин много пишет о Чехове в 80-е — 90-е годы. Сначала он одобрительно отзывался о его рассказах, о «Стени», а после разрыва Чехова с «Новым временем» подвергает писателя грубым и непристойным нападкам. В одной из рецензий Буренин причисляет Чехова к «крупным второстепенным писателям» («Новое время», 1900, № 8847, 13 октября). Об открыто реакционной рецензии на повесть «В овраге» («Критические заметки». — «Новое время», 1900, № 8619, 25 февраля) см. в примечаниях к повести.

Со своими замечаниями по поводу творчества Чехова выступают критики реакционного «Гражданина». В редакционных дневниках «газеты-журнала» воздают должное таланту Чехова, но сурово корят его за обличительный дух в изображении рос-

сийской жизни. Анонимный автор (очевидно, В. П. Мецкерский) видит слабость и ограниченность Чехова в том, что он «стал свою жажду творчества утолять неопределенными и отрицательными типами грустных и симпатичных страданий жизни, не чужа, что за ними есть целый мир сильных и светлых носителей русского духа» («Гражданин», 1904, № 54, 8 июля, стр. 21).

Автор, подписавшийся «Серенький» (И. П. Колышко), в разделе «Маленькие мысли» заявляет, что Чехов дошел «до предела того, что называют отрицанием и пессимизмом» («Гражданин», 1904, № 55, 11 июля, стр. 4)¹. «Всё, что написал Чехов, за исключением единичных рассказов, рисует наше кисельство, нашу душевную вялость, лень, пьянство, обжорство и сладострастие» (стр. 5) — ничего иного критик у Чехова не увидел (в статье Серенького в «Гражданине», 1901, № 25, 8 апреля, стр. 4 Чехов обвинялся в «безнадежно мстительно-зловном отношении к жизни»).

Еще при жизни Чехова публикуются первые работы о нем марксистской критики. Это прежде всего статьи, вызванные полемикой вокруг повестей «Мужики» (см. примечания в т. IX) и «В овраге» (см. стр. 443 наст. тома). Появляются рецензии и на другие произведения, а также статьи общего характера, где авторы стремятся осмыслить творчество Чехова в целом. Критики выступают против народнических субъективистских концепций, против либерального красноречия, абстрактности подхода к чеховскому творчеству, не говоря уже об откровенно идеалистических и реакционных теориях.

О Чехове пишут и марксисты-революционеры, и легальные марксисты, и литераторы, в той или иной мере близкие марксистскому направлению (см. об этом: Е. П. Охременко. А. П. Чехов в оценке дореволюционной марксистской критики. — В сб. «А. П. Чехов». Сахалинское кн. изд-во, 1959; О. Семевский. Марксистская критика о Чехове и Толстом. Кишинев, 1968).

На полемике с высказываниями Мухайловского построена «Книга о Максиме Горьком и А. П. Чехове» (СПб., 1900) Андреевича (Е. А. Соловьева), сотрудника «Жизни» и «Журнала для всех». «Нет, не о холодной крови приходится тут говорить, — возражал он, — не об идеализации серенькой и тусклой жизни, а о чем-то другом, совсем этим обеим вещам постороннем» (стр. 257)².

В «Очерках по истории русской литературы XIX века» (СПб., 1902) Е. А. Соловьев-Андреевич предпринимает попытку найти «социологическую почву, на которой Чехов рисует свои жизненные драмы» (стр. 514). Говоря о жизни, отдавной «во власть хищ-

¹ См. в статье В. А. Поссе «Московский Художественный театр (по поводу его петербургских гастролей)» в журн. «Жизнь», 1901, т. IV: «Талант Чехова растет непрерывно, становится всё серьезнее и опаснее для гг. „сереньких“».

² В статье «О некоторых мнениях г. Подарского об А. П. Чехове» («Журнал для всех», 1902, № 3, подпись: В. Мирский) автор спорит с обвинением в «безразличии», с позицией критиков «Русского богатства».

ника» (стр. 516), о торжествующей пошлости (стр. 517), он подчеркивает, что Чехов не довольствуется изображением этого — писатель хочет «выйти из узких и тесных рамок данного исторического момента, данной провинциальной обстановки и свой пессимизм, свою тоску неверия распространить на жизнь вообще, связать ее ничтожество не с временными обстоятельствами, которые могут измениться, а с органическими свойствами человеческой природы» (стр. 514). Такова эклектическая позиция Соловьева-Андреевича — он обращается то к социальным факторам, то к извечным свойствам человеческой природы.

В этом смысле более последователен Л. Н. Войтоловский, регулярно работавший с 1904 г. в марксистской печати. Его статья «Идеалы общественности в произведениях А. П. Чехова» (журн. «Правда», 1904, декабрь) — одна из первых попыток осмыслить чеховское творчество с марксистских позиций. Возражая против абстрактно-либеральных дефиниций, автор говорит о конкретных социальных силах, отразившихся в повестях и рассказах Чехова последних лет, о хищнике-накопителе, об угнетенном и задавленном народе, об интеллигентах. Подробно разбирает он образы хозяев цыбукинского дома («В овраге»), однако не избегает при этом и упрощенных, прямолинейных характеристик.

И все же, несмотря на схематические и односторонние определения, Войтоловский верно показал, как раскрывает Чехов внутреннюю непрочность царства Цыбукиных, которым противостоит Липа, плотник Елизаров (Костыль) с его изречением: «Кто трудится, кто терпит, тот и старше» (стр. 61).

В первых статьях о Чехове марксистская методология нередко подменялась упрощенно-социологическим и догматическим подходом. Так, М. С. Ольминский, полемизируя со статьей Овсяннико-Куликовского (см. примечание к повести «В овраге»), рассматривал произведение Чехова как широкую картину социальных язв российской деревни начала века. Однако критик отказывался видеть в Чехове «беллетриста-реалиста»; на его взгляд, повесть страдает «неопределенностью», «нечеткостью и расплывчатостью» («Об А. Чехове и Овсяннико-Куликовском». — «Восточное обозрение», 1900, № 216, 218 и 219. Цит. по кн.: М. О л ь м и н с к и й. По литературным вопросам. М., 1932, стр. 50, 51). В другой своей статье — «Литературные противоречия (о „Трех сестрах“ А. Чехова)» критик настаивал на том, что «к г. Чехову вообще реалистическая мерка неприменима, как мы уже пытались выяснить, говоря о его повести „В овраге“» («Восточное обозрение», 1901, № 168. Цит. по кн. М. Ольминского «По литературным вопросам», стр. 53).

В те годы не избежал вульгарно-социологического подхода к Чехову и А. В. Луначарский. В журнале «Русская мысль» (1903, № 2) напечатана его статья «О художнике вообще и некоторых художниках в частности». Отдавая должное таланту писателя («Я не знаю, есть ли сейчас в Европе талант, равный Антону Павловичу Чехову, если исключить, конечно, Л. Толстого», стр. 58), Луначарский упрекал его в том, что он не показывает человека, «который может прорвать тину и вынырнуть из омута на свежий воздух». Вместо этого — «Чехов пошел навстречу Чеховцу и стал помогать ему оправдать себя...» (стр. 59). По мнению критика,

писатель вообще напрасно столько «возится» со своими не заслуживающими серьезного внимания героями. В общем критически оценил он и последний рассказ Чехова «Невеста», и его главную героиню, далекую от настоящего «человека-борца» («Образование», 1904, № 2, стр. 140, вторая нумерация).

В оценке Чехова проявилась общая концепция художественного творчества, отстаиваемая Луначарским в те годы: искусство, по его мысли, соответствует гармоническому «идеалу жизни», творческий процесс — счастливая и свободная игра сил творца. Эти положения, несущие на себе печать богдановского эмпириокритического подхода, явственно отразились в упомянутой выше статье «О художнике вообще и некоторых художниках в частности». В таком свете творчество Чехова вообще «неправильно» — ему не хватает активности и жизнелюбия. Очень скоро, уже в работе «Марксизм и эстетика. Диалог об искусстве» (1905 г.), Луначарский придет к иным выводам о роли и назначении искусства, о его общественной функции.

Особенно рельефно проявились вульгарно-социологические тенденции в работах одного из первых литературных марксистских критиков В. М. Шулятикова. В московской газете «Курьер» (1903, № 296, 24 декабря) он публикует «Критические этюды» — рецензию на рассказ «Невеста». Отмечая перемены в мировоззрении автора рассказа, он подчеркивает: «Мы не имеем ни малейшего права преувеличивать ценность этого финала». Весь смысл произведения Шулятиков видит в борьбе против мещанства — в этом ограниченность «социального кругозора» писателя и его героев. Всё это увенчивается выводом о Чехове как о «„протестанте“ против „мещанства“», писателе, в чьем творчестве проявилась ограниченность его общественной группы. (Упреки Чехову в ограниченности содержала и статья Шулятикова «О драмах г. Чехова». — «Курьер», 1901, № 70, 12 марта. См. также обзор литературы за год в «Курьере», 1902, № 1, 1 января, подпись: В. Ш.)

В ряду первых марксистских работ о Чехове заметно выделяется статья В. В. Воровского «Лишние люди» (журнал «Правда», 1905, кн. VII, июль, подпись: Ю. Адамович)¹. Хотя она и выходит за рамки «прижизненного» времени Чехова, обойти ее невозможно: именно здесь были глубоко и тонко истолкованы судьбы русской интеллигенции, процесс ее развития и социальной дифференциации.

Ощущение социально-исторической перспективы — сильная сторона статьи Воровского. Вместе с тем современному читателю ясна и ее ограниченность — это касается, в частности, тех мест, где критик слишком прямолинейно рассматривает связь Чехова с его героями, чересчур жестоко и категорично этих героев судит².

Лучшим произведением критики последних лет жизни Чехова и, шире, дореволюционного времени, не утратившим в наши

¹ В. В. Воровскому принадлежат также статьи «А. П. Чехов» («Наше слово», 1910, 17 января), «А. П. Чехов и русская интеллигенция» («Бессарабское обозрение», 1910, 17 января).

² В том же номере журнала «Правда» А. А. Дивильковский подвергал критике концепцию Чехова — «мрачного пессимиста» (стр. 103).

дин своего значения, является статья Горького «По поводу нового рассказа А. П. Чехова „В овраге“» («Нижегородский листок», 1900, № 29, 30 января). Чехов писал Горькому: «...Ваш фельетон в „Нижегородском листке“ был бальзамом для моей души. Какой Вы талантливый! Я не умею писать ничего, кроме беллетристики, Вы же вполне владеете и пером журнального человека» (15 февраля 1900 г.).

Решительно отвел Горький упреки в отсутствии мирозерцания, высказывавшиеся почти на всем протяжении творческого пути Чехова. Горький раскрыл «страшную» силу чеховского таланта — «он никогда ничего не выдумывает от себя, не изображает того, „чего нет на свете“». Тем самым автор наносил удар по многим идеалистическим концепциям творчества Чехова. Вместе с тем в статье Горького глубоко объяснен социальный смысл чеховской правды. О жене лавочника Цыбукина говорится: «...ей не хочется обижать народ, но порядок жизни таков, что надо обижать».

Мысль Горького — «каждый новый рассказ Чехова всё усиливает одну глубоко ценную и нужную для нас ноту — ноту бодрости и любви к жизни» — не противоречит словам о том, что Чехов «никогда ничего не выдумывает от себя». Два эти положения, в сущности, тесно взаимосвязанные, ведут к выводу о новом качестве реализма Чехова (ср. слова Горького о «Даме с собачкой» в письме к Чехову после 5 января 1900 г. — *Горький*, т. 28, стр. 112—113; наст. том, стр. 425).

После смерти Чехова борьба за его наследие, спор о нем критиков разных направлений вспыхнет с новой силой. Лучшее из того, что издано при жизни Чехова — статья М. Горького, высказывания Льва Толстого, работы и отзывы Вл. И. Немировича-Данченко, К. С. Станиславского, отклики Короленко, Рейна, Бунина, Куприна, Гарина, отдельные статьи Михайловского, Альбова, Батюшкова, Воровского и других критиков, — всё это оставит глубокий след в истории изучения творчества Чехова.

Тексты подготовили: *В. Б. Катаев* («У знакомых», «Архиверей»), *Л. М. Долотова* («Ионыч»), *Т. И. Орнатская* («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Случай из практики»), *А. С. Мелкова* («По делам службы», «Новая дача», «Душечка», «Дама с собачкой», «На святках»), *Т. В. Ошарова* («В овраге»), *Л. Д. Опульская* («Невеста»), *Э. А. Полоцкая* («Неоконченное»).

Примечания написали: *В. Б. Катаев* («У знакомых», «Архиверей»), *Л. М. Долотова* («Ионыч», «Случай из практики»), *М. П. Громов* («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»), *А. С. Мелкова* («По делам службы», «Душечка», «Новая дача», «Дама с собачкой», «На святках»), *Т. В. Ошарова* («В овраге»), *Л. Д. Опульская* и *А. П. Чудаков* («Невеста»), *Э. А. Полоцкая* («Неоконченное»).

Вступительную статью к примечаниям написал *З. С. Паперный*.

У ЗНАКОМЫХ

Впервые — «Cosmopolis. Международный журнал». Русский отдел, 1898, т. IX, № 2, февраль (ценз. разр. 1 февраля), стр. 103—120. Подпись: Антон Чехов.

Сохранился беловой автограф рассказа (*ИРЛИ*); подпись: Антон Чехов. В автографе 24 страницы, 10-я стр. утрачена. Сохранились также корректурные гранки (1, 2, 4, 5, 6) рассказа с авторской правкой (*ГПБ*, ф. 333, № 13). Текст утраченной страницы автографа и частично текст утраченной гранки факсимильно воспроизведены: *На памятник Чехову*, стр. 134—136.

Печатается по тексту гранок (в журнале авторская правка была учтена неполно и неточно) и частично по журналу «Cosmopolis», с исправлением по беловому автографу:

Стр. 7, строка 14: романы — вместо: романы

В записных книжках Чехов сделал несколько записей, которые впоследствии использовал в рассказе «У знакомых»: «Женщина-врач, уже седеющая, впадающая в мистицизм. Имение скоро пойдет с молотка, бедность, а лакеи всё еще одеты шутами»; «Муж всё сопел, обзывал гостя милым, дорогим»; «Он был знаком с женщиной)-врачом, когда она была еще девочкой, тогда она была умна, теперь же постарела и многого не понимает»; «У мужа однобортный куций пиджак, застегнутый так, что кажется, попнет под напором толстой груди»; «Докторша затянута в корсет, большие рукава»; «Муж всё время озабочен тем, как удовлетворить свою животную натуру» (*Зап. кн. II*, стр. 46, 47). «Полная девочка похожа на булку»; «Когда женщина любит, то ей кажется, что предмет ее любви устал, избалован женщинами — и это ей нравится»; «Женщина-врач затянута в корсет, высокие рукава, уже седеет, впадает в мистицизм» (*Зап. кн. I*, стр. 70, 73).

Записи могут быть датированы октябрём 1896 — мартом 1897 г. Эти месяцы и можно считать временем возникновения замысла рассказа. Вначале Чехову выделились лишь отдельные действующие лица будущего рассказа: «женщина-врач, докторша», «муж» и «он, гость» — герой рассказа, причем первые два действующих лица сразу появились с характерными чертами их внешнего облика и поведения. Возможно, что не сразу все эти заметки связывались с одним и тем же замыслом: записи находятся среди заготовок, использованных ватем в других рассказах 1897—1898 годов.

Летом 1897 г., во время вынужденного творческого простоя, вызванного обострением болезни и лечением, никаких новых за-

писей, которые говорили бы о развитии замысла, сделано не было.

Осенью этого года, когда Чехов приехал в Ниццу, наступила полоса творческой активности. Тогда же, между 9 октября и 15 ноября, появились новые записи, относящиеся к задуманному рассказу. Возникло его название (а может быть, рабочее обозначение): «Крик» — и развиты характеристики действующих лиц: теперь фигурирует, помимо героя, докторши и мужа, новое действующее лицо, «жена»: «„Крик“: с ее мужем он раз встретился у кокетки и после этого не бывает у нее, было неловко, так как, зная тайну ее мужа, он участвовал в измене...»; «Что прикажете делать с ч(елове)ком, к(ото)рый наделал всякой мерзости, а потом рыдает»; «„Крик“: Он, т. е. муж, имел и имеет успех у ж(ен)щи)н; они про него говорят, что он добрый, и потому и расточителен и непрактичен, что он идеалист. И они [жена и докторша] не могут удержаться от маленькой жестокости, чтобы не попрекнуть молодого ч(елове)ка: „А ваше поколение, Жорж, уж не то“. При чем тут поколение? Ведь разница в годах только 8—10 лет, они почти сверстники» (*Зап. кн. I, стр. 79, 80*). «„Крик“: Он имеет успех у ж(ен)щи)н, про него говорят, что он идеалист» (*Зап. кн. III, стр. 17*). Последняя запись появилась между 15 ноября и 13 декабря: «„Крик“: У жены есть сестра, на которой его хотя бы женить» (*Зап. кн. I, стр. 81*).

Еще весной 1897 г. Чехов получил от Ф. Д. Батюшкова, незадолго перед тем ставшего редактором русского отдела журнала «Cosmopolis», письмо с просьбой о сотрудничестве в журнале. Сообщив, что в других отделах журнала были помещены произведения Г. Зудермана, А. Франса, П. Бурже, Р. Киплинга и др. зарубежных писателей, Батюшков продолжал: «...неужели в репандант к ним не удастся нам украсить русский отдел „Космополиса“ именем Антона П. Чехова?..» (письмо от 16 апреля 1897 г. — *ГБЛ*).

Чехов ответил 21 апреля из Мелихова: «От всей души благодарю Вас за приглашение и вообще за Ваше письмо. Я непременно пришлю рассказ для „Cosmopolis’а“. (. . .) Прошу Вас подождать до осени. Если же случится, в течение лета напишу рассказ, то я не замедлю прислать его Вам. Рассказ, по всей вероятности, не превысит полулиста».

В письме от 3 ноября Батюшков напомнил про обещанный рассказ: «Быть может, Вы захотели бы поделиться на страницах „Cosmopolis’а“ или какими-нибудь впечатлениями „международной жизни“, или сообщить очерк, рассказа, повесть — словом, как я Вам уже писал, всё, что выйдет из-под Вашего пера, будет принято с живой признательностью» (*ГБЛ*).

Чехов подтвердил свое обещание «написать рассказ для „Cosmopolis’а“ при первой возможности» и предполагал прислать его в декабре (письмо от 9 ноября 1897 г.). Но он был связан обязательствами по другим редакциям. Помимо рассказа «У знакомых», в это время в записных книжках намечено еще несколько сюжетов: о большом трактирщике, сестре-староверке и докторе и другие (*Зап. кн. I, стр. 78—81*).

В начале декабря 1897 г. творческое воображение Чехова получило толчок извне, заставивший его опять вернуться к рассказу, в котором участвуют молодой человек, женщина-врач,

жена и муж. Это были письма от М. В. и А. С. Киселевых, владельцев усадьбы Бабкино, где Чехов жил на даче три лета, в 1885—1887 годах.

Письма от Киселевых были уже неожиданностью для Чехова: в последний раз в Бабкине он был в декабре 1889 г., последний раз видел М. В. Киселеву в 1890 г., переписка с Киселевыми, активная вначале, почти полностью прекратилась, хотя тон этих редких писем с обеих сторон продолжал оставаться дружественным. Киселевы в письмах от 1 и 2 декабря подробно рассказывали о бабкинском имении, о надвинувшейся старости, о выросших детях (см. подробнее о них в т. VII Писем).

На связь рассказа «У знакомых» с этими письмами прежде всего указывает то, что в его текст Чеховым почти без изменений были включены слова из письма Киселевой. Киселева писала: «Я так изменилась, Антон Павлович, — не говорю физически, — что часто сама не узнаю себя (. . .) я убедилась в одном: случайности не существуют. В пору моих самых жгучих тревог у меня было несколько случаев ясновидения, да такого, что вся семья моя уж не глумится более над „вздорными“ вопросами. (. . .) Странности эти произвели такой переворот во всех нас, что мы точно вновь родились...» (ГБЛ). Ср. слова Вари в рассказе (стр. 15).

Внимательное изучение общей ситуации в отдельных деталях рассказа позволяет говорить о конкретном, «бабкинском» его колорите, а в А. С. Киселеве видеть прототип одного из героев рассказа, Сергея Сергеевича Лосева.

Топография и хронология рассказа во многом совпадают с тем, что было знакомо самому Чехову по пребыванию в Бабкине. Подгорин «живал в Кузьминках» «лет десять — двенадцать назад», во флигеле, рядом с большим домом с террасой. Приметы, по которым в памяти Подгорина встает картина прошлой жизни в Кузьминках, известны по воспоминаниям о пребывании Чехова в Бабкине, мемуарам М. П. Чехова, М. П. Чеховой, Н. В. Голубевой, Е. К. Сахаровой, А. С. Лазарева (Грузинского).

Тема пришедшего в упадок некогда прекрасного уголка, помещичьего имения, в значительной степени навеяна историей разорения Бабкина. К 1897 г. Бабкино было таким же разоренным имением, как Кузьминки в рассказе «У знакомых». Разорение началось уже давно — об этом Чехов знал из писем Киселева (ГБЛ). Среди писем Киселева к Чехову нет почти ни одного, где бы не содержались жалобы на ухудшающееся положение в имении.

В рассказе — дословные совпадения с жалобами Киселева. Так, еще 14 января 1886 г. Киселев писал: «... нужно внести в банк более 400 рублей, а их-то у меня нет и когда будут, одному аллаху известно. Последний срок взноса 1-го марта, а затем опишь, продажа и всех нас в шею из любимого гнезда». 24 сентября 1886 г.: «Ну-с, Чеховте, придумайте, как мне быть? А я все-таки придумал — посадил мою литераторшу (М. В. Киселеву) и заставил ее написать слезливое письмо пензенской тетушке, выручай, дескать, меня, мужа и детей (. . .) Авось сжалятся и пришлет не только для уплаты пятисот рублей, но и всем нам на бомбошки (. . .) Что Вам написать про себя? Толстею, см-пью

изрядно, сплю еще лучше, ноги болят, а всё же без денег жить скверно». Письмо от 1886 г., без числа и месяца: «Если Ваши кошель в хорошем состоянии и Вы можете уделить мне что-нибудь, то буду очень благодарен. Сейчас предстоит сделать расход, не требующий отлагательства, и сам должен ехать в Москву, а у меня даже на билет нет ни гроша». 10 ноября 1887 г.: «Судьба наша в руках пензенской тетушки...» 10 августа 1892 г.: «Я готовлюсь к тому, что Бабкино отцмнут, выйти из этого положения трудно». 16 октября 1892 г.: «...меня (. . .) волнует день и ночь мысль, что скоро Бабкино будет продано с молотка. Первая публикация уже вышла, жду второго предостережения, а после третьего — кажут». 28 февраля 1893 г.: «...денег ни гроша, в конце марта — Бабкино пойдет с аукциона». 27 марта 1893 г.: «А я всё маюсь с долгами и даже 3-х копеек не в состоянии уплатить, всё жрут проценты, и, несмотря на их уплату, дамоклов меч висит над головой. (. . .) Денег 20—30 тысяч нужно».

Не только тема разорения, но и многие конкретные детали рассказа были подсказаны письмами Киселева. Кузьминки разорены разными хозяйственными затеями Лосева, его жаждой удовольствий, частыми поездками в Москву. В письмах Киселева: «...вчера последние гроши затратил на покупку пегой лошади, сформировал тройку на удивление всей Европы» (7 июня 1888 г.); «Сегодня нанял я горничную 19-ти лет, вряд ли ей придется оставаться в этом звании, легко может быть я увлекусь этим милым созданием, и тогда неминуемы расходы: наем квартиры, обстановка, месячный куш для прожития и проч.» (17 мая 1892 г.). «Дней через десять отправляю Мар. Влад. с Василисой (дочерью Сашей) в Петербург, месяца на полтора. Остаюсь один, от скуки буду летать в Москву, и тогда я к Вашим услугам — готов дебоширить с Вами вместе» (8 октября 1892 г.).

Лосев в рассказе, склонный к напыщенной фразеологии и всегда подражавший кому-нибудь, говорит Подгорину: «Теперь царит рубль». А Киселев писал Чехову: «Мы, дворяне, оскудели, кредитом не пользуемся, приходится согласиться с предложением „Гражданина“ и продать свое достоинство какому-нибудь кулаку» (28 февраля 1893 г.). Единственное спасение, которое видят в рассказе родные Лосева, — устройство его, по протекции, на службу. Киселев 26 января 1893 г. писал Чехову о том, что влиятельные знакомые в Петербурге предложили ему занять «место управляющего казенной палатой или дворянским банком в одной из внутренних губерний».

Назойливость Лосева, его измены жене, просьбы о займах, стремление казаться чисто русским — эти и другие черты сходны с обликом Киселева, как он раскрывается в его письмах к Чехову. Даже такая деталь, как постоянная фраза Сергея Сергеевича «Он ахнуть не успел, как на него медведь напал», как-то связана с бабкинскими воспоминаниями. В речи обитателей Бабкина, в бытность Чехова там, установилась своя система прозвищ, намеков, иносказаний — она встречается в письмах Чехова к Киселевым и в их ответных письмах. В письме Чехова к Киселевой от 11 марта 1891 г., например: «Да, Мария Владимировна! В писанин сказано: он ахнуть не успел, как на него медведь напал...» (введенная в речь Лосева, эта фраза затем использована в пьесе «Три сестры» как реплика Соленого),

Некоторые из этих мотивов были и в первоначальном замысле рассказа. Возможно, после того, как рассказ получил «бабкинскую» окраску, эти частные моменты замысла были отнесены с окончательным обликом героя — «мужа». Таким образом, Чехов более 10 лет накапливал наблюдения, положенные в основу образа Лосева — барина-бонвивана, «проевшего» имение и не способного понять свое истинное положение, изменить свой образ жизни (затем этот персонаж трансформируется в героя «Вишневого сада» Гаева).

Хотя отражение в Лосеве черт Киселева очевидно, этот образ не рождался как портрет с натуры: писатель отобрал и сгруппировал определенные черты, позволившие создать образ, характерный для русской жизни его времени. «Бабкинский» и «киселевский» материал в рассказе изменен, дополнен другими наблюдениями, реальный источник которых неизвестен. О прототипах других образов могут быть высказаны лишь догадки. Можно предположить, что женские образы рассказа — «жены» и «докторша» — почти всецело определены еще первоначальным замыслом. Но образ «докторши», Вари-курсистки, возможно, приобрел какие-то черты знакомой Чехова в бабкинский период Е. К. Сахаровой, кончившей Бестужевские курсы (ее воспоминания хранятся в ЦГАЛИ).

Интенсивная работа над рассказом началась после получения писем от Киселевых, около середины декабря 1897 г. К этому времени Батюшков, истолковав слова Чехова в письме к нему от 9 ноября как вполне определенное обещание дать рассказ в журнал «Cosmopolis», выслал Чехову, без его просьбы, аванс в размере 200 рублей (см. письмо Батюшкова от 1 декабря 1897 г. — ГБЛ). Из ответного письма Чехова от 15 декабря видно, что настойчивость Батюшкова была ему неприятна, но в том же письме он впервые упомянул о писании рассказа для журнала: «Я пишу рассказ для „Cosmopolis“а, пишу туто, урывками. Обыкновенно я пишу медленно, с напряжением, здесь же, в номере, за чужим столом, в хорошую погоду, когда тянет наружу, пишется еще хуже, — а потому пообещать Вам рассказ раньше, как через две недели, не могу. Пришлю до первого января, затем Вы будете добры, пришлите мне корректуру, которую я не продержу у себя дольше одного дня, и таким образом можете рассчитывать на февральскую книжку, не раньше».

В конце письма Чехов делает замечание, важное для понимания психологии его творчества вообще и особенно значимое в применении к рассказу «У знакомых»: «Вы выразили желание в одном из Ваших писем, чтобы я прислал интернациональный рассказ, взявши сюжетом что-нибудь из местной жизни. Такой рассказ я могу написать только в России, по воспоминаниям. Я умею писать только по воспоминаниям, и никогда не писал непосредственно с натуры. Мне нужно, чтобы память моя процедила сюжет и чтобы на ней, как на фильтре, осталось только то, что важно или типично».

О работе над рассказом «У знакомых» Чехов сообщал еще в нескольких письмах к М. П. Чеховой, относящихся к декабрю 1897 — началу 1898 г. 23 декабря он писал: «К двум часам вернусь из Villefranche и сяду писать для „Cosmopolis“а „..“; см. ей же от 29 декабря,

3 января 1898 г. Чехов выслал Батюшкову беловую рукопись рассказа «У знакомых». Рукопись хранит следы правки, внесенной Чеховым при переписывании рассказа. Это, в основном, небольшие поправки стилистического характера: вычеркивания, замена одних слов другими, изменение порядка слов.

Посылая рассказ, Чехов писал Батюшкову: «Пожалуйста, пришлите корректуру, так как рассказ еще не кончен, не отделан и будет готов лишь после того, как я перепачкаю вдоль и поперек корректуру. Отделять я могу только в корректуре, в рукописи же я ничего не вижу».

15 января Батюшков выслал корректуру.

За три или четыре дня, в течение которых Чехов держал корректуру — с 19 по 23 января, — он в значительной степени переработал рассказ. Переработка коснулась стиля, характеристики персонажей.

О некоторых направлениях работы Чехова говорит его переписка тех дней. Так, он просил своих знакомых О. Р. Васильеву и Н. Н. Тугаринова, живших в Каннах и в Ницце, срочно найти для него текст стихотворения Некрасова «Железная дорога» (см. т. VII Писем). Васильева нашла стихотворение, о чем сообщила Чехову 22 января телеграммой. Рассказ был дополнен целым эпизодом, связанным с «Железной дорогой».

Этот мотив мог появиться в рассказе вполне естественно. М. П. Чехов писал, что в компании молодых врачей, офицеров, студентов, в которой Чехов бывал в 80-е годы, «со вкусом декламировали Некрасова» (*Вокруг Чехова*, стр. 138). Непосредственным поводом, заставившим Чехова обратиться к стихам Некрасова, видимо, было 20-летие со дня смерти поэта, исполнившееся 27 декабря 1897 г. В номерах «Русских ведомостей» и «Биржевых ведомостей», полученных в Ницце в начале января, Чехов мог прочитать статьи, связанные с этой датой.

На полученной от Васильевой телеграмме Чехов набросал несколько строчек: «... и с неменьшим братом от нее то, что она может дать, и страстной жаждой того, чего нет и не может быть на земле» (см. т. XVII Сочинений). Этими строчками, затем еще раз переработанными, Чехов дополнил в корректуре характеристику Подгорина. Основная же часть исправлений и дополнений отражена в корректурных гранках, испещренных поправками.

Значительной была правка, связанная с действующими лицами рассказа. Чехов изменил фамилии главного героя и мужа, данные им в беловой рукописи: Подгорин вместо Подгорский, Лосев вместо Горбылин. Наибольшие перемены коснулись именно этих двух образов. Чехов сильнее подчеркнул такие черты Лосева, как цезарство, склонность его к пустым тратам. Усиливая отрицательные оценки Лосева, Чехов делал более определенным не только его характер, но и характер Подгорина, от лица которого эти оценки выносятся. Отношение главного героя рассказа к Лосеву стало гораздо более резким (см. добавленные в корректуре размышления Подгорина после разговора с Лосевым — стр. 20—21).

Горенным образом переработан большой абзац, в котором говорится о размышлениях Подгорина на площадке башни в присутствии Надежды. Конец этих размышлений Подгорина допол-

нен важным для общего звучания рассказа фрагментом (см. стр. 22—23).

Таким образом, если в первоначальном виде рассказ звучал как элегическое прощание с невозвратно ушедшим прошлым, то после переработки в корректуре стала более резкой, определенной характеристика персонажей, а в звучании рассказа появился мотив предчувствия «новых форм жизни». Первоначально рассказ был близок к произведениям, созданным в последние месяцы 1897 г.; новый мотив — возможность ухода от прежнего жизненного порядка — сближает «У знакомых» с такими последующими произведениями Чехова, как «Крыжовник», «Случай из практики», «Невеста», «Вишневый сад». «У знакомых» стоит в начале этого ряда произведений.

Помимо общих перемен в жизни русского общества, которые чутко улавливал Чехов, помимо соображений творческого порядка, конкретной причиной существенных изменений в рассказе могла явиться перемена в настроениях Чехова в связи с делом Дрейфуса, свидетелем нового этапа которого он стал зимой 1897/98 г. (на это указано в статье В. К. Гайдука «К творческой истории рассказа А. П. Чехова „У знакомых“». — Иркутский гос. пед. ин-т. Сборник аспирантских работ. 1964, стр. 193—209).

Первое критическое суждение о рассказе содержалось в письме Батюшкова к Чехову от 15 февраля 1898 г.: «... мне неизменно нравится и Ваш новый очерк и глубоко грустное, щемящее настроение его, но буду ожидать, что по возвращении на родину, запитавшись солнцем и живой энергией его лучей, Вы дадите нам бодрое, возбуждающее дух к жизни и деятельности произведение. Ведь надо жить, Антон Павлович, надо справляться с грустными думами о том, что нет ничего устойчивого, что то, что было возможно вчера, сегодня уже невоскресимо. Вот Вы помогите нам пережить это настроение — помогите перейти и к другому, что всё же есть смысл в жизни. Однако простите, что Вам пишу „не по-редакторски“ (. . .) — кому много дано, от того много и ожидается, и даже больше „многого“ — хочется всего» (ГБЛ).

Рассказ остался не замеченным русской критикой, вне поля зрения которой, видимо, был весь журнал «Cosmopolis».

Сам Чехов был недоволен рассказом. 6 февраля 1898 г. он написал А. С. Суворину: «На днях я прочел на первой странице „Н(ового) в(ремени)“ глазастое объявление о выходе в свет „Cosmopolis“а с моим рассказом „В гостях“. Во-первых, у меня не „В гостях“, а „У знакомых“. Во-вторых, от такой рекламы меня коробит; к тому же, рассказ далеко не глазастый, один из таких, какие пишутся по шутке в день».

У Чехова действительно могли быть причины для неблагоприятного мнения о своем рассказе: для срочного выполнения обещания, данного «Космополису», ему, видимо, пришлось пожертвовать каким-то замыслом («Крик»). К тому же, возможно, он не хотел привлекать внимание к рассказу, в котором содержались намеки на определенных лиц. Вероятно, эти причины оказались решающими, когда Чехов отказался включить рассказ в собрание сочинений.

Решение не включать рассказ в собрание сочинений было

принято не сразу. Первоначально Чехов думал включить его в том VIII или IX. Это видно из его письма к А. Ф. Марксу от 9 августа 1900 г. 18 июня 1901 г. Чехов писал Марксу: «... один рассказ — „У знакомых“ как-то ускользает из моей памяти, я не помню даже его содержания, и Вы очень обяжали бы меня, если бы сообщили мне хотя 3—4 первые строки этого рассказа, чтобы я мог вспомнить и потом прислать Вам ответ». 9 июля он распорядился, чтобы рассказ «У знакомых» был помещен в томе X. Однако в этом томе был напечатан «Остров Сахалин», а впоследствии, в 1903 г., включив в том XII приложения к «Ниве» рассказы 1898—1902 гг., Чехов отказался от рассказа «У знакомых». Это единственный случай, когда в издание Маркса не вошел рассказ, написанный после 1892 г.

С. Д. Балухатый впервые отметил, что Чехов использовал многие образы, положения, отдельные фразы рассказа «У знакомых» в позднейших пьесах: «Три сестры» и особенно «Вишневый сад» (С. Д. Балухатый. От «Трех сестер» к «Вишневому саду». — «Литература», 1931, № 1; С. Д. Балухатый, Н. В. Петров. Драматургия Чехова. Изд. Харьковского театра русской драмы, 1935; С. Д. Балухатый. Чехов-драматург. М., 1936). Тогда же он высказал предположение, что рассказ в собрание сочинений Чеховым «включен не был, вероятно, из желания избежать возможного у критиков, в силу исключительной близости рассказа к пьесе „Вишневый сад“, сравнения этих двух произведений» (С. Д. Балухатый. От «Трех сестер» к «Вишневому саду», стр. 154). Вероятнее предположить обратную последовательность: Чехов не включил рассказ в собрание сочинений и, учитывая его неизвестность критикам и публике, использовал его материал в работе над последующими пьесами.

Рассказ оставался неизвестным даже для самых внимательных читателей Чехова. Так, в составленную И. Ф. Масановым «Библиографию сочинений А. П. Чехова» (М., 1906) рассказ «У знакомых» не вошел. Он был напечатан вновь лишь в дополнительном томе посмертного издания сочинений Чехова в 1906 г.

При жизни Чехова рассказ был переведен на немецкий язык.

Стр. 11. *Всё ли благополучно в Датском королевстве?* — Подгорин перефразирует слова Марцелла из трагедии Шекспира «Гамлет» (акт I, сцена 4).

Стр. 13. — Цитаты из стихотворения Н. А. Некрасова «Железная дорога».

Стр. 14. *Он ахнуть не успел, как на него медведь напел...* — Неточная цитата из басни И. А. Крылова «Крестьянин и Работник».

Стр. 18. *И будешь ты царицей ми-ра...* — Из арии Демона (опера А. Г. Рубинштейна «Демон»),

ИОНЫЧ

Впервые — «Ежемесячные литературные приложения к журналу „Нива“», 1898, № 9, сентябрь (ценз. разр. 31 августа), стлб. 1—24. Подзаголовок: Рассказ Антона Чехова.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: *Чехов*, т. IX, стр. 323—344.

Сохранился беловой автограф (*ЦГАЛИ*), который служил оригиналом для набора при первой публикации. Подзаголовок: (Рассказ). Подпись: Антон Чехов. На первой странице автографа — пометы, сделанные в редакции «Ежемесячных литературных приложений к „Ниве“» при отправке в типографию: «Корпус обывков(енный)»; «Лит(ературные) Пр(иложения) № 9»: «Набрать тотчас же и прислать мне корректуру».

История создания рассказа прослеживается по записным книжкам Чехова и его переписке. Записи к рассказу появляются с августа 1897 г. До этого можно отметить только одну запись сюжета, которая, возможно, имела какое-то отношение не к рассказу, а к оформлению его замысла, но впоследствии осталась в стороне и была перенесена в Четвертую записную книжку как нереализованная. Это запись: «Серьезный мешковатый доктор влюбился в девушку, которая очень хорошо танцует, и, чтобы понравиться ей, стал учиться мазурке» (*Зап. кн. I*, стр. 72). Эта запись не ставилась ранее в связь с «Ионычем», да прямой связи с текстом рассказа, как он сложился окончательно, и нет. Однако можно отметить определенную близость мотивов — см. в «Ионыче»: «И к лицу ли ему, земскому доктору, умному, солидному человеку...» (стр. 30, строки 31—33).

Первая запись, бесспорно относящаяся к «Ионычу»: «От кредитных бумажек пахло ворванью» (*Зап. кн. I*, стр. 76); она близка к окончательному тексту рассказа (стр. 36, строки 15—18). Датируется августом 1897 г.

Вслед за тем наступил большой перерыв в записях к «Ионычу» — до марта 1898 г. В осенние месяцы 1897 г., за границей, Чехов написал рассказы «Печенег», «В родном углу», «На подводе». Остальные же замыслы ждали своей очереди. 14 декабря 1897 г. Чехов писал А. С. Суворину: «Накопилось много работы, сюжеты перепутались в мозгу, но работать в хорошую погоду, за чужим столом, с полным желудком — это не работа, а каторжная работа, и я всячески уклоняюсь от нее». Затем он начал писать рассказ «У знакомых».

К началу марта относится запись отдельной детали: «Мальчик лакей: умри, несчастная!» (*Зап. кн. I*, стр. 83). Следующая запись также характеризует дом Туркиных и юмор его хозяина — «Здравствуйте вам пожалуйста. Какое вы имеете полное римское право» (*Зап. кн. I*, стр. 84); датируется мартом или первой половиной апреля 1898 г.

Таким образом, с августа 1897 г. до апреля 1898 г. в Первой записной книжке появились три детали к будущему рассказу. Однако за ними для Чехова уже стояли, очевидно, быт героя и атмосфера, окружающая его.

Первая развернутая запись сюжета рассказа «Ионыч» может быть отнесена ко второй половине апреля 1898 г.: «Филимоновы талантливая семья, так говорят во всем городе. Он, чиновник, играет на сцене, поет, показывает фокусы, острит („здравствуйте, пожалуйста“), она пишет либеральные новости, имитирует — „Я в вас влюблена... ах, увидит муж“ — это говорит она всем, при муже. Мальчик в передней: „умри, несчастная!“ В первый раз, в самом деле, всё это в скучном сером городе показалось забавно и талантливо. Во второй раз — тоже. Через 3 года я пошел в 3-й раз, мальчик был уже с усами, и опять „Я в вас влюблена... ах, увидит муж!“, опять та же имитация: „умри, несчастная“, и когда я уходил от Ф(илимонов)ых, то мне казалось, что нет на свете более скучных и бездарных людей» (*Зап. кн. I*, стр. 85). Здесь обращает на себя внимание форма повествования от первого лица.

Последняя запись — конспект пятой главы «Ионыча» — была внесена в записную книжку, по-видимому, в самых последних числах мая или первых числах июня 1898 г.: «Ионыч. Ожирел. По вечерам ужинает в клубе за большим столом, и когда выходит речь о Туркиных, сир(ашивает): — Это вы про каких Турк(иных)? Про тех, у которых дочь играет на фортепьянах. — Практикует в городе очень, но не бросает и земства: одолела жадность» (*Зап. кн. III*, стр. 31).

Материалы переписки Чехова также говорят о том, что работа над «Ионычем» была закончена в первой половине июня 1898 г. и 15 или 16 июня беловой автограф рассказа был отослан в редакцию приложений к «Ниве» (см. ниже письмо Ю. О. Грюнберга к Чехову от 18 июня 1898 г.).

Записи к «Ионычу», в их соотношении с окончательным текстом рассказа, проанализированы в книге: З. Паперный. Записные книжки Чехова. М., 1976, гл. 4 — «Зерно и растение».

До сих пор считалось, что рассказ «Ионыч» был предназначен Чеховым для «Русской мысли», а затем взят им обратно как не подходящий для журнала. В *ПССП*, т. IX (стр. 589, 600), эта мысль была высказана как предположение и затем, уже в категорической форме, повторена в т. XVII (стр. 449). Однако сопоставление писем Чехова и его корреспондентов убеждает в несостоятельности этого утверждения.

Действительно, в редакции «Русской мысли» ожидали от Чехова рассказа с осени 1897 г., так как 18 октября он обещал В. А. Гольцеву: «Рассказ пришлю в декабре», а 2 ноября подтвердил: «Рассказ пришлю непременно». 15 декабря 1897 г., в письме к нему же, Чехов отложил исполнение обещания на февраль 1898 г., объяснив это неудобствами писания в непривычной обстановке и трудностями избранного сюжета: «Рассказ я пришлю, но едва ли успею сделать это раньше февраля. Во-первых, сюжет такой, что не легко пишется, а во-вторых, мне лень и лень». Эти строки обычно относили к «Ионычу», однако речь здесь идет о другом произведении.

Не получив от Чехова нового рассказа и в феврале, Гольцев обратился к нему 20 марта 1898 г. с иной просьбой — дать что-нибудь из прежнего для сборника в пользу голодающих. Речь шла о «Неосторожности» (см. т. VI Сочинений, стр. 635).

Сборник не состоялся, и 4 июня Гольцев попросил: «Не отдашь ли рассказ в „Русскую мысль“?» (ГБЛ).

Идея Гольцева напечатать «Неосторожность» в «Русской мысли» вызвала возражение Чехова (письмо от 6 июня 1898 г.). Просьба вернуть рассказ в литературу о Чехове была ошибочно отнесена к «Ионычу». «Рассказ возврати мне, для „Русской мысли“ он не годится. Если он был набран, то пришли в набранном виде — очень обяжешь. Для Русской же мысли у меня готовится другой рассказ, побольше», — эти последние слова, так же как и упоминания в письме от 15 декабря 1897 г. о трудно пишущемся рассказе, следует отнести к рассказу «Человек в футляре».

«Ионыч» был обещан «Ниве» еще до переписки Чехова с Гольцевым по поводу рассказа «Неосторожность». 13 марта 1898 г. Чехов писал Ю. О. Грюнбергу: «Рассказ я пришлю непременно, но не раньше того, как вернусь домой; здесь писать я не могу, обленился. Около 5—10 апреля (ст. ст.) я поеду в Париж, оттуда домой, и в мае или в июне, вероятно, уже буду писать для „Нивы“». Дальнейшая история писания и публикации «Ионыча» прослеживается по переписке Чехова с редакцией «Нивы».

4 апреля 1898 г. Грюнберг писал Чехову: «И. Н. Потанинко передал мне о Вашем желании получить аванс в счет гонорара за вещь, которую Вы пишете для „Нивы“. К сожалению, Адольф Федорович (Маркс) теперь за границей, но, зная Вашу аккуратность, я решаюсь исполнить Ваше желание, не испросив предварительно его согласия, и посылаю Вам при сем переводом две тысячи франков, что составляет 751 рубль. — Буду очень рад, если Вы найдете возможным прислать нам рукопись в скором времени» (ГБЛ). 11 апреля Чехов ответил Грюнбергу: «Рассказ, как я уже писал Вам недели две назад, я пришлю по возвращении домой».

Чехов вернулся в Мелихово 5 мая 1898 г. и вскоре, очевидно, приступил к писанию. 12 июня он сообщил А. С. Суворину: «Написал уже повесть и рассказ». В переписке с Гольцевым Чехов часто называл вещь, предназначенную для «Русской мысли», повестью, а «Ионыч» обычно именовался рассказом; впрочем, в письме к Н. А. Лейкину от 2 июля 1898 г. обе вещи названы повестьями.

Таким образом, «Ионыч» был написан в Мелихове в мае (после 5-го) и в июне (до 12-го) 1898 г., т. е. приблизительно в течение месяца.

Рассказ был отправлен в «Ниву», очевидно, 15 или 16 июня. 18 июня 1898 г. Грюнберг писал Чехову: «Рассказ Ваш „Ионыч“ я получил и передал Ростиславу Ивановичу Сементковскому (. . .) Желание Ваше, чтобы рассказ был напечатан в одной книжке, будет исполнено, равно как Ваша просьба о присылке корректуры» (ГБЛ). В тот же день Чехову писал и Сементковский: «С истинным удовольствием прочел я Ваш рассказ, и само собою разумеется, что все Ваши желания будут в точности исполнены (. . .) пользуясь этим случаем, чтобы лично Вам подтвердить, что очень дорожу Вашим сотрудничеством» (ГБЛ).

16 июля корректура была послана. Сементковский напомнил с ней Чехову 28 июля: «... я предназначаю „Ионыча“ для сего-

тибрьской книжки наших „Приложений“, которая у нас уже в работе. Не смею Вас торопить, если Вы корректуру получили; но если Вы ее не получили, будьте любезны меня об этом уведомить, и я немедленно вышлю Вам другой оттиск» (ГБЛ). Чехов отослал корректуру 29 июля, еще не получив этого напоминания, — см. его письмо к Сементковскому от 10 августа 1898 г.

Беловой автограф рассказа достаточно близок к тексту первой публикации (см. варианты).

Правка в корректуре выразилась в сокращениях по всему тексту, особенно в главе I, где были устранены некоторые детали: например, о Старцеве перед его первым визитом к Туркиным — «выпил бутылку пива»; в описании игры Екатерины Ивановны — «и казалось, что он уже целый год слышит эту музыку». В корректуре был вычеркнут эпизод в сцене всеобщего восхищения игрой Екатерины Ивановны (см. вариант к стр. 27, строка 43); «зависть и ревность к чужим успехам» у Веры Иосифовны нарушала идиллические тона, в которых дана атмосфера семьи Туркиных при первом визите Старцева.

При подготовке собрания сочинений оригиналом для набора «Ионыча» послужил текст «Нивы». 12 мая 1899 г. Чехов писал А. Ф. Марксу: «Рассказ мой „Ионыч“, напечатанный в прошлом году в „Ниве“, благоволите также послать в типографию». Корректуру IX-го тома Чехов читал в октябре 1901 г., в Москве — см. в письме к Л. Е. Розинеру от 8 октября 1901 г.: «Корректуру IX тома вышло на этих днях». В текст первой публикации он внес при этом десяток поправок: в одном случае переменял слово, в другом — глагольную форму, остальные изменения коснулись предлогов, окончаний и пунктуации.

Специальный вопрос составляет так называемый «таганрогский колорит» в «Ионыче». Какие-то детали в рассказе действительно, должно быть, восходят к картинам Таганрога. Так, М. П. Чехов утверждает, что «описанное в „Ионыче“ кладбище — это таганрогское кладбище» (*Антон Чехов и его сюжеты*, стр. 17; см. об этом также в статье П. Сурожского «Местный колорит в произведениях А. П. Чехова». — «Приазовский край», 1914, № 172, 3 июля). Некоторые исследователи находят в «Ионыче» черты, которые сам Чехов отмечал в быте таганрогских врачей: в письме к М. Е. Чехову от 3 января 1885 г. — «Как врач я в Таганроге охалатился бы и забыл свою науку, в Москве же врачу некогда ходить в клуб и играть в карты»; в воспоминаниях В. Ленского (В. Я. Абрамовича), относящихся к приезду Чехова в Таганрог в июле 1899 г.: «На вокзале А. П. был очень бодр, оживлен, много говорил, смеялся. Кому-то из врачей шутя сказал: — Литература — невыгодное занятие. Вон у всех таганрогских врачей есть свои дома, лошади, коляски, а у меня ничего нет. Брошу-ка я литературу, займусь медициной...» («Чеховский юбилейный сборник». М., 1910, стр. 349). Действительно, здесь отмечены некоторые «обязательные» черты преуспевающего практикующего врача, нашедшие место в «Ионыче», но вряд ли можно подобные детали возводить исключительно к таганрогским впечатлениям. Обстановка в «Ионыче» — русская провинция, но в среде московских врачей Чехов также мог черпать материал для

будущего рассказа — см., например, в «Осколках московской жизни» саркастическую характеристику «ученого миллионера» Г. А. Захарьина с его «классическими сторублевками» («Осколки», 1883, № 37, 10 сентября).

Читатели «Ионыча», самые разные, в письмах делились с Чеховым своими впечатлениями от нового рассказа. Г. М. Чехов писал 28 сентября 1898 г.: «Какой хороший рассказ „Ионыч“, очень живой!» (ГБЛ). Остро эмоционально восприняла рассказ читательница Н. Душина из г. Кологрива Костромской губернии: «А „Ионыч“? Страшно, страшно подумать, сколько хороших, только слабых волей людей губит пошлость, как она сильно затягивает и потом уж не вырвешься. Горько мне думать, что Вы, может быть, сами перестрадали от пошлости и черствости людской» (письмо от марта 1899 г. — ГБЛ).

Критика сгносила рассказ «Ионыч» к тем произведениям, в основе которых лежат «глубокие драматические сюжеты в обыденной жизни» (И. И. П - с к и й. Трагедия чувства. Критический этюд (по поводу последних произведений Чехова). СПб., 1900, стр. 21) и «широко развертывается картина обыденной жизни с ее торжеством пошлости, мелочности, жестокой бессмыслицы, тупой скуки и безнадежной тоски» (В о л ы н с к и й (А. С. Глинка). Очерки о Чехове. СПб., 1903, стр. 61).

А. Л. Вольнский (Флексер) особо отметил в «Ионыче», что «фон и действующие на этом фоне лица — настоящая русская действительность», а «медленный, вялый темп их жизни тоже характерен для России» (А. Л. В о л ы н с к и й. А. П. Чехов. — В кн.: Борьба за идеализм. Критические статьи. СПб., 1900, стр. 341).

Р. И. Сементковский поставил рассказ «Ионыч» в один ряд с другими произведениями Чехова 1898 г., где, по его мнению, решается вопрос об отношении идеалов к современной жизни: «Прочтите последние произведения г. Чехова, и вы ужаснетесь той картине современного поколения, которую он нарисовал с свойственным ему мастерством. Возьмете ли вы Ионыча, героя рассказа, помещенного в „Литературных приложениях“ „Нивы“ за сентябрь, или ряд личностей, выведенных в других рассказах талантливого беллетриста, — вы одинаково вынесете какое-то щемящее впечатление бессилия найти в жизни идеальное содержание» («Ежемесячные литературные приложения к журналу „Нива“, 1898, № 10, стлб. 391).

«Ионыч» был воспринят в одном ряду с рассказом «Человек в футляре», и даже фразеология критических отзывов об «Ионыче» говорит о том, что в этом рассказе критики увидели прежде всего изображение «холодного формализма», «мертвой обстановки, в которой приходится жить современному человеку»; «Люди как бы забываются в кругу формально усвоенных ими понятий (...) Жизнь по шаблонам парализует ум, чувство и волю...» (Мих. С т о л ь р о в. Новейшие русские новеллисты. Гаршин. Короленко. Чехов. Горький. Киев — Петербург — Харьков, 1904, стр. 46 и 58).

«Власть жизненного футляра очерчена здесь художником сильно, сжато и красиво...», — писал об «Ионыче» Волянский («Очерки о Чехове», стр. 88). «Типичность чеховской картины

невольно наводит читателя на размышление, сколько еще таких Ионычей выбрасывает лаборатория провинциальной российской обывательщины. „Беликова похоронили, а сколько таких человек в футляре осталось, сколько их еще будет!“ — говорит в конце своего рассказа о человеке в футляре Буркин; подобное же заключение напрашивается и по прочтении „Ионыча“. Здесь Чехов дал широчайшее обобщение российской обывательской жизни» (там же). Волжский, правда, отмечал, что «главный интерес рассказа» заключается в «психологическом процессе формирования молодого, здорового, неглупого врача Старцева в безличного обывателя» (стр. 87), но самый этот процесс автор, в сущности, обошел вниманием.

Д. Н. Овсяннико-Куликовский подверг углубленному рассмотрению процесс «постепенного очерствения души молодого врача» (Д. Н. Овсяннико-Куликовский. Наши писатели. (Литературно-критические очерки и характеристики). I. А. П. Чехов. — «Журнал для всех», 1899, №№ 2—3). «Ионыч» — отнюдь не рассказ «на старую, избитую тему о том, как „среда заедает свежего человека“» (№ 3, стлб. 259). Благодаря природному уму Старцев понимает заурядность и общность окружающей обстановки и обывателей города, но он и сам не исключен «из рутины, которая ему так ненавистна в других» (№ 3, стлб. 266).

Основой пессимизма Чехова, по мнению Овсяннико-Куликовского, служит «унылое и безотрадное чувство, вызываемое в художнике созерцанием всего, что есть в натуре человеческой заурядного, пошлого, рутинного» (№ 3, стлб. 263). Этот пессимизм исходит отнюдь не из отрицания возможности совершенствования отдельного человека и общества в целом, напротив, он основан «на глубокой вере в возможность безграничного прогресса человечества», но «главным препятствием, задерживающим наступление лучшего будущего, является *нормальный человек*, который не хорош и не дурен, не добр и не зол, не умен и не глуп, не вырождается и не совершенствуется, не опускается ниже нормы, но и не способен хоть чуточку подняться выше ее» (№ 3, стлб. 264).

«Ионыч» послужил Овсяннико-Куликовскому примером для демонстрации того свойства, которое исследователь обозначил как «односторонность», в отличие от «разносторонности» таких художников, как Шекспир, Пушкин, Тургенев. Чехов, по его мнению, производит «художественный опыт», эксперимент: «он выделяет из хаоса явлений, представляемых действительностью, известный элемент и следит за его выражением, его развитием в разных натурах»; внимание Чехова направлено к изучению «явлений, в действительности затененных или уравновешенных многими другими» (№ 2, стлб. 136—137) — иначе было бы трудно отделить их от потока ежедневной жизни.

Овсяннико-Куликовский обратил внимание на характерное, по его мнению, качество чеховской поэтики — особую обаятельность приемов творчества: «Чехов не боится рисковать (. . .) Смелость в употреблении опасных художественных приемов, давно уже скомпрометированных и опошленных, и вместе с тем необыкновенное умение их *обезвреживать* и пользоваться ими для достижения художественных целей — вот что ярко отличает

мапору Чехова и заставляет нас удивляться оригинальности в силе его дарования» (№ 3, стлб. 261).

Первый из этих приемов состоит в том, что, «хотя провинциальная жизнь и не изображена в рассказе, ее присутствие там явственно чувствуется читателем», благодаря тому что показана семья Туркиных, аттестованная как самая талантливая в городе. Другой прием, примененный «для того, чтобы осветить жизнь города и умственный уровень его обывателей, не рисуя их (. . .) состоит в том, что автор просто указывает нам, как стал относиться к местному обществу доктор Старцев, после того, как он уже прожил в городе несколько лет (. . .) В результате у нас складывается весьма невыгодное для местного, так называемого „интеллигентного“ общества представление о нем (. . .) На этом нашем представлении, которое нам подсказано, можно даже сказать — навязано автором, и основано освещение внутренней жизни общества города С., сделанное так, что самый-то освещаемый предмет за этим освещением и не виден» (№ 3, стлб. 262). Указана, таким образом, одна из существенных черт чеховской поэтики — средство косвенной оценки изображаемого явления. В статье рассмотрена также композиция рассказа «Ионыч», его «прозрачное» построение; истолкована сцена на кладбище и выяснена ее функция в развитии сюжета рассказа — «эти поэтические строки имеют огромное художественное значение в целом, образуя в нем как бы поворотный пункт» (№ 3, стлб. 270).

При жизни Чехова рассказ был переведен на немецкий и сербскохорватский языки.

Стр. 25. *Когда еще я не пил слез из чаши бытия...* — Строка из романа М. Л. Яковлева на слова «Элегии» А. Дельвига.

Стр. 27. *Умри, Денис, лучше не напишешь.* — Оценка, будто бы данная князем Г. А. Потемкиным после первого представления «Недоросля» Д. И. Фонвизина. Печатно приведена впервые в «Русском вестнике» (1808, № 8, стр. 264), затем неоднократно повторялась в литературе о Фонвизине и стала ходячим анекдотом. Чеховская редакция фразы всего ближе к приведенной в книге П. А. Арапова «Летопись русского театра»: «Умри, Денис! Или не пиши больше, лучше не напишешь» (СПб., 1861, стр. 210). См. об этом в статье о Фонвизине Г. А. Гуковского в кн.: История русской литературы. Т. IV. Ч. 2. М. — Л., 1947, стр. 178—180, и в статье В. Б. Катаева «„Умри, Денис, лучше не напишешь“». Из истории афоризма» («Русская речь», 1969, март — апрель, стр. 23—29).

Стр. 28. *Твой голос для меня, и ласковый, и томный...* — Начальная перефразированная строка романа А. Г. Рубинштейна «Ночь» на слова Пушкина — «Мой голос для тебя и ласковый и томный...»

Стр. 31. *Грядет час в онь же...* — Евангелие от Иоанна, гл. 5, ст. 28.

Стр. 35. *... что человечество, слава богу, идет вперед и что со временем оно будет обходиться без паспортов и без смертной казни со значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?»* — Приведено в воспоминаниях о Чехове А. С. Яковлева, относящихся ко времени пребывания его в Москве осенью 1900 г. (ЛН, т. 68, стр. 601),

ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ

Впервые — «Русская мысль», 1898, № 7, стр. 120—131.
Подзаголовок: Рассказ. Подпись: Антон Чехов.

Вошло во второе издание А. Ф. Маркса («Приложение к журналу „Ивива“ на 1903 г.»).

Печатается по тексту: *Чехов*, 2, т. XII, стр. 130—143.

1

Рассказом «Человек в футляре» открывается «маленькая трилогия» Чехова — «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». В журнале «Русская мысль» рассказ появился без цифрового обозначения (возможно, по недосмотру редакции); два другие имели пометы: II, III.

Замысел серии возник, очевидно, летом 1898 г., когда Чехов в короткий срок закончил всю трилогию. Однако сюжеты отдельных рассказов долго жили в его творческом сознании: запись, относящаяся к «Крыжовнику», находится в Первой записной книжке среди материалов 1895 г. (см. комментарии Е. Н. Коншиной — *Из архива Чехова*, стр. 130—131). Рядом с записями 1897—1898 гг., сделанными в Париже и Ницце, внесены и первые заметки к рассказу «О любви».

К «Человеку в футляре» в записных книжках относится лишь одна заметка: «человек в футляре: всё у него в футляре. Когда лежал в гробу, казалось, улыбался: нашел идеал» (*Зап. кн. III*, стр. 30). Переноса эти строки в Первую записную книжку, Чехов несколько распространил их: «Человек в футляре, в калошах, зонтик в чехле, часы в футляре, нож в чехле. Когда лежал в гробу, то казалось, улыбался: нашел свой идеал» (*Зап. кн. I*, стр. 86).

Точно установить время этой записи трудно; несомненно, однако, что она была сделана по возвращении из-за границы.

2 июля 1898 г., рассказывая в письме к Н. А. Лейкину о своих литературных делах, Чехов писал: «Зиму, как Вам известно, я провел на юге Франции, где скучал без снега и не мог работать; весною был в Париже, где прожил около четырех недель (. . .). Теперь я живу дома, пишу; послал повесть в „Ниву“, другую повесть — в „Русскую мысль“».

Таким образом, вся работа над рассказом «Человек в футляре» проходила уже в Мелихове, в мае — июне 1898 г. Обещая в заграничных письмах к В. А. Гольцеву «рассказ», «повесть» и даже сообщая о работе над ними, Чехов, надо полагать, имел в виду не «Человека в футляре».

В начале июня 1898 г. рассказ «Человек в футляре» уже готовился к печати. 12 июня в письме к А. С. Суворину Чехов сообщал: «Хлопочу и работаю помаленьку. Написал уже повесть и рассказ. Это были «Ионыч» и «Человек в футляре». 15 июня рукопись была отправлена в журнал. «...Посылаю для „Русской мысли“ рассказ, — писал Чехов Гольцеву. — Прочти и, если сойдется, распорядись прислать корректуру до июля. Я пошлифую в корректуре».

Распоряжение о корректуре было, конечно, сделано, и уже 26 июня Гольцев запрашивал Чехова: «Ау, Антон Павлович! Где корректура? Возврати мне „Человека в футляре!“» (*ГБЛ*, ф. 77, к. X, ед. хр. 42).

Рассказ «Человек в футляре» появился в июльской книжке «Русской мысли». Начиная с этого времени редакторы журнала увеличили Чехову гонорар (учитывая то, что он «мало пишет»): вместо 250—300 руб. «За последнее письмо (300) merci!! merci beaucoup», — благодарил Чехов Гольцева в письме от 28 июля 1898 г.

В мае 1899 г. к Чехову обратилась его знакомая по Нише — О. Р. Васильева, затеявшая сборник в пользу голодающих. Она хотела посвятить сборник Чехову и просила рассказ «Человек в футляре». Не веря в успех сборника, вдвойне не сочувствуя намерению выпустить книгу с посвящением ему и со статьей о нем, Чехов отговаривал Васильеву от издания сборника и не разрешил помещать свой рассказ, как и статью «Опыт литературной характеристики Чехова». Сборник все-таки вышел («Помощь пострадавшим от неурожая в Самарской губернии». М., 1900), но без рассказа Чехова, без статьи и без посвящения ему. По этому случаю Чехов писал 21 мая 1899 г. Ю. О. Грюнбергу: «Будьте добры, передайте Адольфу Федоровичу «(Марксу) мою просьбу — о всяком разрешении перепечатывать мои произведения уведомлять меня».

В сентябре 1899 г., вместе с набором второго тома марксовского издания, Чехов неожиданно получил корректуру рассказов «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». А. Ф. Марксу 28 сентября он писал о неаккуратности типографии, которая не руководствуется авторским списком рассказов второго тома и «присылает рассказы по своему выбору». Относительно «Человека в футляре» и примыкающих к нему рассказов в этом письме сделано важное сообщение. Чехов писал, что рассказы эти принадлежат «к серии, которая далеко еще не закончена и которая может войти лишь в XI или XII том, когда будет приведена к концу вся серия». Замысел этот осуществлен не был. Издание 1899—1902 годов вышло в десяти томах.

Что касается рассказов «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», в первое марксовское издание они не вошли вовсе, хотя известно, что корректуру этих рассказов Чехов получил еще раз в августе 1900 г. (письмо к А. Ф. Марксу от 9 августа 1900 г.).

Когда в 1903 г. сочинения Чехова Маркс издавал приложением к «Ниве», все три рассказа попали в том XII. Корректура этого тома была выслана 28 марта. В сопроводительном письме Маркс писал Чехову: «Если найдете одну корректуру достаточной, будьте добры подписать гранки к печати, в противном случае Вам будет прислана новая корректура» (*ГБЛ*). 14 апреля 1903 г. Чехов вернул корректуру. Она была выслана еще раз в Москву после 22 апреля (письмо А. Ф. Маркса от 26 апреля 1903 г. — там же).

При всех многократных просмотрах корректур в тексте марксовского издания рассказа «Человек в футляре» Чехов сделал лишь мелкие стилистические поправки (см. варианты) и снял

одну фразу. Осуждая езду учителя на велосипеде, Беликов говорит: «И раз это не разрешено циркулярно, то и нельзя». В журнальном варианте он повторял еще раз: «Не разрешено — и нельзя».

«Человек в футляре», вместе с другими рассказами трилогии, вошел в XI, посмертный том первого марковского издания, вышедший в 1906 г. Как видно из сопоставления текстов, при новом наборе были допущены ошибки и кое-где корректором изменена пунктуация. Так, например, слова Буркина: «Беликов жил в том же доме, где и я» в томе XI читаются: «Беликов жил в том же месте, где и я» (явная ошибка, так как речь идет именно об одном и том же доме — «в том же этаже, дверь против двери»). Ясно, что авторская корректура рассказа была учтена в прижизненном издании 1903 г., а к текстовым переменам 1906 г. Чехов не имел никакого отношения.

На этом основании «Человек в футляре», как и другие рассказы, входившие в том XII издания 1903 г., печатается по тексту этого тома.

2

Современники связывали образ Человека в футляре с реальным лицом — инспектором таганрогской гимназии А. Ф. Дьяконовым. В. Г. Богораз (Тан), учившийся в Таганроге в одну пору с Чеховым, высказал этот взгляд уже в 1910 году в очерке «На родине Чехова» («Современный мир», 1910, № 1; перепечатано: «Чеховский юбилейный сборник». М., 1910). Мнение Богораза поддержал М. П. Чехов, писавший о Дьяконове: «...это была машина, которая ходила, говорила, действовала, исполняла циркуляры и затем сломалась и вышла из употребления. Всю свою жизнь А. Ф. Дьяконов проходил в калошах даже в очень хорошую погоду и носил с собою зонтик. Таков был протоип Белпкова» (*Антон Чехов и его сюжеты*, стр. 16—17).

Это мнение оспорил П. П. Филевский, окончивший таганрогскую гимназию на два года раньше Чехова и впоследствии преподававший в ней. В очерке «Таганрогская гимназия в учебные годы А. П. Чехова» (рукопись, ТМЧ) Филевский привел подробные сведения о Дьяконове, отметив в особенности его внешность («...одевался по-спартански: зимою шубы не носил, а легкое пальто...»), а также его порядочность и душевную щедрость: строгий службист, Дьяконов не отказывал своим подчиненным в денежной помощи, а свой дом и все свои сбережения завещал начальному училищу и на ежегодные пособия учителям. Возражая Богоразу, Филевский писал: «Я же положительно утверждаю, что между „Человеком в футляре“ и А. Ф. Дьяконовым ничего общего нет и в этом произведении А. П. Чехова никакого местного колорита найти нельзя».

Воспоминания Филевского подробно проанализировал Ю. Соболев; принимая в целом взгляд Филевского, Соболев отметил, что «живой моделью» для Человека в футляре мог послужить М. О. Меньшиков, ученый гидрограф, известный публицист «Недели», о котором в дневнике 1896 г. Чехов заметил: «М. в сухую погоду ходит в калошах, носит зонтик, чтобы не погибнуть от солнечного удара, боится умываться холодной водой, жалуется

на замирание сердца» (см. Ю. С о б о л е в. Чехов. Статьи. Материалы. Библиография. М., 1930, стр. 163—165).

Сходство, однако, оказывается чисто внешним, поскольку ни по роду занятий, ни по складу характера Меньшиков на Человека в футляре не походил: участник ряда морских экспедиций, автор «Руководства к чтению морских карт» (СПб., 1891) и «Лощи Абооских и восточной части Аландских шхер» (СПб., 1892), Меньшиков в годы своей близости с Чеховым напечатал ряд острых литературно-публицистических статей; интересно отметить, что в 1896 г., к которому и относится чеховская дневниковая запись, Меньшиков был ранен: в него стрелял некий земский начальник, оскорбленный корреспонденцией «Недели». Чехов находился с Меньшиковым в переписке с 1892 г. и с того же времени был знаком с ним.

В письмах Чехова есть ряд заметок и живых подробностей, которые, несомненно, соотносятся с темой «Человека в футляре», с образом Беликова. Так, 14 октября 1888 г.— в письме к А. С. Суворину: «... приходил из гимназии классный наставник (. . .) человек забитый, запуганный циркулярами, недалекий и ненавидимый детьми за суровость (у него прием: взять мальчика за плечи и трепать его; представьте, что в Ваши плечи вцепились руки человека, которого Вы ненавидите). Он (. . .) всё время жаловался на начальство, которое их, педагогов, переделало в фельдфебелей. Оба мы полиберальничали, поговорили о юге (оказались земляками), повздыхали... Когда я ему сказал: — А как свободно дышится в наших южных гимназиях! — он безнадежно махнул рукой и ушел».

О своем брате Иване Павловиче, педагоге, Чехов заметил в письме, по времени близком к рассказу: «Он, т. е. Иван, немножко поседел и по-прежнему покупает всё очень дешево и выгодно и даже в хорошую погоду берет с собой зонтик» (Ал. П. Чехову, 22 или 23 сентября 1895 г.).

По-видимому, тема «Человека в футляре», постепенно вырисовываясь и пополняясь, жила в сознании Чехова в течение долгих лет, а образ Беликова не сводится к единственному реальному прототипу.

3

Рассказ «Человек в футляре» появился после почти полугодового молчания Чехова и вызвал многочисленные отклики читателей и профессиональных критиков.

Врач В. Г. Вальтер, с которым Чехов был знаком еще по таганрогской гимназии и встретился зимой 1897—1898 г. в Ницце, писал 19 августа 1898 г.: «Вчера после прочтения „Человека в футляре“ я более двух часов говорил об этом гнетущем, только в России возможном явлении, только, знаете, столица Вас плохо поймет, а провинция будет бесконечно благодарна, и хоть действия мало, а хорошо бы запечатлеть в умах людей такие типы и сцены» (*ГБЛ; Из архива Чехова*, стр. 165). То же впечатление произвел рассказ на И. И. Горбунова-Посадова: «Такие рассказы, как Ваш „Человек в футляре“, хорошо будят, расталкивают (как и сильное описание провинции в „Моей жизни“) (. . .)

Всегда с таким приятным душе предчувствием раскрываешь книгу, где Ваша новая вещь» (письмо от 14 сентября 1898 г.—ГБЛ).

24 августа 1898 г. Чехову писал А. И. Сумбатов (Южин): «Успел в день приезда в Москву прочесть твою июльскую повесть „Человек в футляре“ (. . .) Уж очень коротко пишешь, ей-богу. Не говорю уже, как редко! Ведь это хвостик, ятуд. И так читать почти нечего, а тут набредешь на что-нибудь живое, чуть разлакомишься — хлоп, конец» (ГБЛ).

Из Ниццы к Чехову обращался художник, русский вице-консул в Ментоне, Н. И. Юрасов: «Я недавно прочел Ваш рассказ „Человек в футляре“, хвалить не смею» (письмо от 29 августа/10 сентября 1898 г.—ГБЛ).

Писали и люди, совершенно незнакомые и не имеющие отношения к литературе. Неонила Круковская, бывшая два года классной дамой в женской гимназии, отправила 9 октября 1898 г. длинное, на 23 страницах, письмо. Она рассказывала о тяжести гимназической службы, о том, что ей, к счастью, удалось вырваться из этой среды — она стала учиться живописи. «И когда я читала последние Ваши вещи — „Человека в футляре“, и „Любовь“, и „Поныча“ — я подумала: господи, ведь вот оно, вот то страшное и темное, что может со всяким человеком случиться — вот как просто и незаметно из него душа живая уходит» (ГБЛ). Наталия Душина, учившаяся в Кологриве Костромской губернии (в техническом училище), писала восторженные письма и в одном из них — о «Человеке в футляре»: «Я знаю, что Вы видели и знали бедного, жалкого „человека в футляре“» (письмо без даты, помечено Чеховым: 99, III — ГБЛ).

Другая восторженная почитательница Чехова, О. А. Смоленская, рассказывала в своем письме о литературном споре, в котором она участвовала, доказывая, что Беликова пельзя считать ничтожеством. «„Ничтожество он, а не сила“, — говорили они. Но в ничтожестве его — его и сила, сила, потому что у него ничтожество, а у людей, с которыми он живет, ни величины, ни ничтожества... ничего... хоть „шаром покати“. Со дня рождения его держали под крышкой, под колпаком, давили его... и задавили в нем всё человеческое, живое (жизнь задавили, замерла она в нем!), и это давление создало силу... сумма давлений — его сила... они отложились в нем, как в земле откладываются пластами камennые породы, и образовали искрепнее, глубокое, твердое, святое убеждение, что так падо жить, что его нравственный, священный долг так действовать... это его религия... он этим и покориł себе всех... победил своею прямолинейностью... слепотой... ничтожеством... убежденностью, искренностью...

(. . .) Они говорят, что „он — солдат с ружьем“ — „отнимите ружье и куда его сила девалась?“. Его ружье, говорят они, „циркуляр“. Но разве у него можно отнять циркуляр, это значит — отнять жизнь.

(...) У них чувство брезгливости к Беликову (...) а у меня... мне страшно, страшно за человека делается» (ГБЛ; «Филологические науки», 1964, № 4, стр. 167).

Иначе воспринял рассказ Ф. Г. Мускатблит, тогда студент Новороссийского университета, впоследствии литератор, автор ряда работ о Чехове. Он благодарил за рассказы «Человек в фут-

ляре» и «Крыжовник», пробуждающие сознание, проясняющие то, что еще «лишь смутно чувствуется» (письмо без даты; Чеховым помечено: 99, XII—ГБЛ). О том же писала из Севастополя 11 апреля 1900 г. Н. Кончешская: «Вся Россия показалась мне в футляре». Читательница высказала взволнованную просьбу: «Дайте же нам что-нибудь такое, в чем была бы хоть одна светлая точка и что хоть сколько-нибудь ободряло бы и примиряло с жизнью» (ГБЛ).

4

Книжка «Русской мысли» с рассказом «Человек в футляре» вышла около 20 июля 1898 г., и уже в июльских газетах появились печатные отзывы.

Первым выступил А. А. Измайлов, будущий биограф Чехова, в то время литературный обозреватель петербургских «Биржевых ведомостей». Статья его («Литературное обозрение») содержала несколько интересных наблюдений. «Начатая с улыбкой на устах комическая история,— писал Измайлов о рассказе,— досказывается серьезным голосом, в котором слышится легкое дрожание. Самый фон картины становится сумрачным и торжественно-величавым» («Биржевые ведомости», 1898, № 200, 24 июля). Критика смутило, однако, это противоречие: комический, почти карикатурный персонаж — и вместе с тем ясно, что Чехов «смотрит на своего героя серьезно, что он чужд юмористической тенденции». Сравнивая «Человека в футляре» с рассказом «Смерть чиновника» (1883), откровенно комическим, и с рассказом «Страх» (1892), где та же тема развивалась в «серьезном» сюжете, Измайлов недоумевал относительно того, зачем эти две разные линии соединились в одном рассказе.

Другой критик, П. Минский (Н. М. Вилевкин), попытался объяснить это «противоречие» особенностью таланта Чехова: «Нет сомнения, что г. Чехов — самый веселый и остроумный из наших беллетристов», — но и «самый скорбный из наших беллетристов», так как «у него почти нет рассказа, где бы не обнаружился скрытый трагизм жизни, где бы кто-нибудь не страдал, одинокий и затерянный; «самый бесстрастный, самый индифферентный из наших писателей, бессердечный эстетик, никогда не волнующийся, готовый во всякую минуту покинуть своего умирающего героя для того, чтобы изобразить цветок, бабочку, форму облака», — но и «здоровый и даже, можно сказать, здоровенный моралист, прямолинейный и тенденциозный». В рассказе «Человек в футляре» Минский нашел эту, столь привлекательную для него «неуловимость, разноцветную игру настроений»: «Г. Чехов не только нарисовал в нескольких чертах живой образ, но еще захотел изнутри осветить его, дать его психологическую формулу. Все черты Беликова, все его привычки и убеждения и поступки автор сводит к одному мотиву — к страху перед действительной жизнью (. . .) Судя по тону рассказа, автор и хохочет, и жалеет, и негодует, и, в конце концов, совершенно спокойно отходит от своего героя, бесстрастно прощается с ним, как с попутчиком по вагону» (Н. М и н с к и й, Литература и искусство. — «Новости и биржевая газета», 1898, № 207, 30 июля),

В общем хоре критики конца 90-х годов резким диссонансом прозвучала грубая статья фельетониста реакционных «Московских ведомостей» К. П. Медведского. С высокомерием, уже давно выбитым другими критиками, писавшими о Чехове, Медведский отозвался о «Человеке в футляре» так: «Рассказ бессодержателен, плох, но обойти его молчанием нельзя, потому что в нем с чрезвычайною ясностью раскрываются основные недостатки писателя, умеющего воспроизводить лишь внешние стороны житейских явлений». Критик снова повторил тезис своей статьи 1896 г., напечатанной в «Русском вестнике», о Чехове — как «жертве безвременья», опять писал о «равнодушии и значительной беззаботности автора», «безыдейности чеховских анекдотов» (К. Медведский. Литературные заметки. Нечто о г. Чехове и «футлярах». — «Московские ведомости», 1898, № 215, 7 августа).

Совсем иначе выступил в 1898 г. А. М. Скабичевский, который прежде тоже упрекал автора «Пестрых рассказов» в равнодушии, безыдейности и предрекал Чехову горькую участь. Когда была опубликована вся трилогия, в газете «Сын отечества» он напечатал статью «Текущая литература. Новые рассказы А. Чехова: „Человек в футляре“, „Крыжовник“, „О любви“». Свой обзор Скабичевский начал словами: «Г. Чехов — писатель безыдейный; это у нас решено и подписано. Тем не менее, когда выходит новый рассказ г. Чехова, он первый разрезается в книжке журнала, прежде всего читается и производит такое сильное впечатление на читателя, так настраивает его, подымая в нем ряд новых мыслей и соображений, как не действуют многие из так называемых идейных произведений...» Далее Скабичевский утверждал, что главное достоинство Чехова — «именно — безыдейность, но безыдейность не самих его произведений, а той жизни, которую изображает г. Чехов (. . .) каждая строка (. . .) Чехова вопиет против безобразия приводимых автором фактов...».

Отметив чисто «внешнюю связь» между рассказами, критик пояснял затем, что, по его мнению, рассказы объединены лишь «меланхолическим настроением автора», а настроение это обусловлено «зрелищем пустоты и бессодержательности нашей жизни и всякого рода нравственных уродств, встречающихся на каждом шагу ее бесполоквой сутолоки». Любовную историю Беликова он нашел несколько шаржированной и потому мало правдоподобной, эпизод с Коваленко — грубоватым и потому излишним.

Но примечателен вывод, какой сделал Скабичевский о самом типе «человека в футляре»: «...личность Беликова является замечательным художественным откровением г. Чехова; одним из тех типов, которые, вроде Обломова или Чичикова, выражают собою или целую общественную среду, или дух своего времени» («Сын отечества», 1898, № 238, 4 сентября).

Мысль Скабичевского о «человеке в футляре» как типе общественном развивал позднее А. И. Потапов: «В произведениях г. Чехова, относящихся к последнему времени, чаще стало проглядывать умение обобщать наблюдения и переносить таким образом постановку вопроса с индивидуальной, случайной почвы на почву общественных отношений (. . .) Таков „Человек в фут-

ляре". Это одно из лучших произведений г. Чехова, и представляет оно собою осязательный протест против „формы“, выедающей живое содержание» (Ал. П о т а п о в. А. П. Чехов и публицистическая критика.— «Образование», 1900, № 1, отд. II, стр. 26—27).

В октябре 1898 г. новые рассказы Чехова были подробно разобраны А. И. Богдановичем, который поместил в журнале «Мир божий» «Критические заметки» с характерным подзаголовком: «Пессимизм автора. Безысходно мрачное настроение рассказов. Субъективизм, преобладающий в них». «Есть что-то в последних произведениях г. Чехова,— начинал свой разбор Богданович,— что углубляет их содержание, быть может, помимо воли самого автора, придает им какую-то терпкость и остроту, волнует и причиняет острую боль читателю». Вспомнив повести «Мужики» и «Моя жизнь», Богданович писал: «Но его последние три рассказа, появившиеся в летних книжках „Русской мысли“, не менее глубоки, жгучи и значительны» («Мир божий», 1898, № 10, отд. II, стр. 2).

Рассказ «Человек в футляре», по мнению Богдановича,— «лучший из них и самый значительный по содержанию темы и типичности выхваченного из жизни явления. Кому не знаком этот жалкий, ничтожный, плюгавенький и в то же время страшный „человек в футляре“, для которого жизнь свелась к отрицанию жизни? Он, как кошмар, давит всё живое, сдерживает проявление всякого общественного, альтруистического движения своим мертвящим припевом — „как бы чего не вышло“. Эта ходячая пародия на человека изображена автором с поразительным совершенством, что при необычайной естественности и простоте, с какою написан весь рассказ, делает эту фигуру почти трагическою» (там же).

Далее Богданович дал характеристику Беликова, раскрывающую суть этого образа: Беликов — «мастерски написанный портрет, вдумываясь в который чувствуешь, какая глубокая правда лежит в его основе. Беликов — это сама жизнь, та житейская тина, болото, с которым приходится иметь дело на каждом шагу, которое всё затягивает, всё грязнит и душит в своей вонищей грязи. Беликов — это общественная сила, страшная своей неуязвимостью, потому что она нечувствительна, недоступна человеческим интересам, страстям и желаниям (. . .) Вся сила Беликова (. . .) в окружающей среде, в слабости ее, в расплывчатости нравственных и всяких других устоев, в бессознательности подлости, составляющей общественную основу той жизни, где процветают Беликовы». Однако либеральный критик, каким был Богданович, не согласился с крайностью выводов Чехова. «В этом художественном преувеличении,— писал он дальше,— в безмерности авторского пессимизма, как бы он ни оправдывался действительностью, всё же чувствуется натяжка. Слишком мрачное, до болезненности безотрадное настроение автора не позволяет ему разобраться в массе условий, создающих футлярное существование для русского обывателя» (стр. 6).

Богданович критиковал Чехова за то, что он не дает «ни малейшего утешения, не открывает ни щелочки просвета в этом футляре, который покрывает нашу жизнь, „не запрещенную циркулярно, но и не вполне разрешенную“. Созданная им кар-

тина получает характер трагической неизбежности. Фигура Белликова разрастается, если не в общечеловеческую, то в общерусскую, получает значение не временного, наносного явления, которое должно исчезнуть вместе с вызвавшими его причинами, а постоянного, в нас самих коренящегося» (стр. 6).

По мнению Богдановича, явно противоречащему обобщающей и глубокой мысли рассказа, причины «футлярной» жизни «заключаются отнюдь не в нас самих, а лежат вне нас, и сущность их сводится к отсутствию общественной жизни» (стр. 6).

Е. А. Ляцкий в обширном «этюде» о Чехове, напечатанном в журнале «Вестник Европы» (1904, № 1), заявил, что рассказ отличается «тенденциозным подбором черт, весьма мало типического» (стр. 145). Белликов, по мнению критика, — «явление патологическое, которое уже по одному этому не может иметь обобщающего типического значения» (стр. 147). Верно уловив протестующее настроение чеховских рассказов, Ляцкий спорил с автором «Человека в футляре»: «Нет, больше жить так невозможно! — такой рецепт г. Чехова современному читателю. Это он, современный читатель, насмотревшись разных несчастных случаев, бывающих в жизни, и наслушавшись рассказов о душевных и нервных болезнях, поражающих человечество, должен вдруг остановиться и сказать: нет, больше жить так невозможно. И сказав, — или повеситься на первом попавшемся крюке, или обратиться к г. Чехову и спросить: а как жить, уважаемый маэстро? Неизвестно, как бы ответил этому читателю г. Чехов, если бы тот на деле обратился к нему с таким вопросом; но в сочинениях своих он этого ответа не дает...» (стр. 147—148).

Глубже истолковал смысл новых рассказов Чехова Д. Н. Овсяннико-Куликовский. По его словам, будущий историк «с высоким интересом и с глубоким сочувствием остановится на этом первостепенном даровании, посвятившем себя тяжкому подвигу художественного изучения современной ему жизни во всей ее скудости и во всем однообразии ее мелких, будничных, пошлых черт. И будущий историк, конечно, лучше нас отметит и оценит тот душевный реактив, силою которого Чехов производит свои „художественные опыты“: это именно — *унылая скорбь*, внушаемая созерцанием современной жизни и исследованием души современного человека, и всё яснее сказывающееся в последних вещах Чехова („Человек в футляре“, „Случай из практики“ и др.) *художественное прозрение* в лучшее будущее, может быть, далекое, для нас недоступное, и, наконец, рядом с этим прозрением, робко радостное, едва мерцающее, как бы *предчувствие* грядущих поколений — счастливых, переросших всё ужасное, всё пошлое и мелко злобное, что так обезображивает душу человека, и живущих полною, широкою жизнью ума и чувства» (Д. Н. Овсяннико-Куликовский. Наши писатели. (Литературно-критические очерки и характеристики). I. А. П. Чехов. — «Журнал для всех», 1899, № 2, стр. 138).

Образ «человека в футляре» очень скоро, еще при жизни Чехова, стал нарицательным. В. И. Ленин в статье 1901 г. «Внутреннее обозрение» писал: «Надо вообще сказать, что наши реакционеры, — а в том числе, конечно, и вся высшая бюрократия, — проявляют хорошее политическое чутье. Они так искушены по

части всяческого опыта в борьбе с оппозицией, с народными „бунтами“, с сектантами, с восстаниями, с революционерами, что держат себя постоянно „на чеку“ и гораздо лучше всяких наивных простаков и „честных кляч“ понимают непримиримость самодержавия с какой бы то ни было самостоятельностью, честностью, независимостью убеждений, гордостью настоящего знания. Прекрасно впитав в себя тот дух низкопоклонства и бумажного отношения к делу, который царит во всей иерархии русского чиновничества, они подозрительно относятся ко всем, кто не похож на гоголевского Акакия Акакиевича или, употребляя более современное сравнение, на человека в футляре» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 5, стр. 327). Позднее во многих своих статьях, речах, письмах В. И. Ленин обращался более 20 раз к чеховскому образу человека в футляре (см. указатель к Полн. собр. соч., изд. 5-е).

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, сербскохорватский и чешский языки.

Стр. 46. ... в Гадячском уезде... — Гадяч — уездный город Полтавской губернии.

Стр. 49. ... «литай, а боже наук». — «Мироед, или Паук». Так называлась драма в 4-х действиях, 5 картинах М. Л. Кривиницкого. Написана для М. К. Заньковецкой, где ей предназначалась роль Олены. Чехов познакомился с Заньковецкой в начале 1892 г. у Сувориных и встречался позднее. В декабре 1893 г., когда в Москве гастролировала украинская труппа, Чехов видел пьесы с ее участием.

КРЫЖОВНИК

Впервые — «Русская мысль», 1898, № 8, стр. 145—154. Перед заглавием обозначено: П. Подпись: Антон Чехов (следует после рассказа «О любви»).

Вошло во второе издание А. Ф. Маркса («Приложение к журналу „Нива“ на 1903 г.»).

Печатается по тексту: Чехов, 2, т. XII, стр. 144—154.

Среди заметок к рассказам 1895 года «Анна на шее», «Ариадна», «Убийство» и к пьесе «Чайка» находится первоначальная запись сюжета: «Заглавие: Крыжовник. Х. служит в департаменте, страшно скуп, копит деньги. Мечта: женится, купит имение, будет спать на солнышке, пить на зеленой траве, есть свои щи. Прошло 25, 40, 45 лет. Уж он отказался от женитьбы, мечтает об имении. Наконец 60. Читает многообещающие соблазнительные объявления о сотнях десятинах, рощах, реках, прудах, мельницах. Отставка. Покупает через комиссионера маленькое на пруде... Обходит свой сад и чувствует, что чего-то недостает. Останавливается на мысли, что недостает крыжовника, посылает в питомник. Через 2—3 года, когда у него рак желудка и подходит смерть, ему подают на тарелке его крыжовник. Он поглядел равнодушно... А в соседней комнате уже хозяйничала

грудастая племянница, крикливая особа. (Посадил крыж(овник) осенью, зимою слег и уж не вставал. Глядя на тарелку с крыж(овником): вот всё, что дала мне в конце концов жизнь!) Он — сын разорившихся помещиков, часто вспоминает детство, проведенное в деревне» (*Зап. кн. I*, стр. 56—57). Запись зачеркнута (поскольку была использована), как и следующая, дополняющая финал выразительной деталью: «Крыжовник был кисел: „Как глупо“, скавал чиновник и умер» (там же, стр. 62). К концу 1896 — началу 1897 г. можно отнести запись, составившую одну из главных мыслей рассказа: «За дверью счастливого человека должен стоять кто-нибудь с молоточком, постоянно стучать и напоминать, что есть несчастные и что после непродолжительного счастья непременно наступит несчастье» (*Зап. кн. I*, стр. 71— ср. в рассказе стр. 62).

Дальнейшие заметки, находящиеся на стр. 87—88 Первой записной книжки и 33—36 Третьей книжки, следует отнести уже к лету 1898 г., когда рассказ готовился для «Русской мысли».

После публикации в апреле 1897 г. повести «Мужики» Чехов до лета 1898 г. ничего не напечатал в журнале, хотя обещать В. А. Гольцеву рассказ или повесть начал с октября 1897 г.

2 января 1898 г. Чехов жаловался Е. З. Коновницеру: «Здесь в Ницце, где нет своего дома и где так мешают работать (то хорошая погода, то скучные люди), нельзя работать, как дома и как хочется, и нельзя во всяком случае давать никаких обещаний — ибо всё равно их не исполнишь. Я обещал Соболевскому (в „Русские ведомости“) давать каждый месяц по рассказу — и едва ли дам еще что-нибудь раньше лета. Лень одолела, думаю об Алжире, а тут еще, как Дамоклов меч, висит обязательство (у меня на лбу выступил холодный пот), которое давит меня, обязательство, во что бы то ни стало, дать в начале этого года одну повесть в „Русскую мысль“, другую в „Cosmopolis“». В начале января рассказ «У знакомых» был послан в журнал «Cosmopolis». По всей видимости, об этом рассказе писал Чехову брат Александр Павлович 27 января 1898 г.: «В Питере трубят на всех перекрестках, что ты что-то такое, особенно хорошее написал, а по другим версиям — еще только пишешь...» (*Письма Ал. Чехова*, стр. 355. В комментариях, стр. 517, сказано верно, что речь идет о рассказе «Человек в футляре»).

В конце января 1898 г. работа для «Русской мысли» еще не была готова. 29 января Чехов писал Гольцеву: «Хуже всего, конечно, то, что повесть моя для „Русской мысли“ еще не готова и я не знаю, когда я ее кончу». Спустя месяц — другому редактору «Русской мысли», В. М. Лаврову: «Повесть я не пришло, а привезу» (25 февраля 1898 г.). Работа, тем временем, продолжалась.

Вернувшись в Россию в начале мая, Чехов не привез готовой повести или рассказа, но зато принялся за усиленное письмо. 15 июня в «Русскую мысль» был отправлен рассказ «Человек в футляре», около того же времени — «Ионыч» в «Ниву» (см. примечания к этому рассказу), и сразу же Чехов приступил к продолжению «маленькой трилогии».

Отказываясь от приглашения А. И. Сумбатова (Южина) приехать к нему погостить в имение М. Покровское Орловской

губернии, Чехов писал ему 6 июля 1898 г.: «...я пишу, тороплюсь навестать то, что задолжал зимой, и так до середины августа (. . .) Один рассказ написал в „Ниву“, другой в „Русскую мысль“, теперь пишу третий...» «Третий» рассказ — это и был «Крыжовник» или «О любви». 20 июля Чехов уже сообщил Гольцеву, что рассказ для августовского номера «Русской мысли» готов на «девять десятых» и что он немного менее печатного листа (*Летопись*, стр. 511—512).

Как видно по письмам и по заметкам (одновременным) в записных книжках, для августовской книжки «Русской мысли» готовились сразу два рассказа. И редакторы «Русской мысли» ждали сразу двух рассказов. Гольцев писал 1 июля 1898 г.: «Жду следующего и еще одного (а потом других рассказов, еще лучше повестей)» (*ГБЛ*, ф. 77, к. X, ед. хр. 62).

В Третьей записной книжке, среди летних деловых заметок 1898 г., находятся записи, использованные в рассказе «Крыжовник» (в книжке зачеркнуты): «собака, похожая на свинью» (*Зап. кн.* III, стр. 33—ср. в рассказе стр. 60); «Крыж(овник): от сытости начинается либеральная умеренность» (там же, стр. 35—ср. в рассказе стр. 62); «Господа, даже в человеческом счастье есть что-то грустное»; «Надобно воспитывать в людях совесть и ясность ума»; «Самомнение развилось, уж ему и наша фамилия Ч(имша)-Г(ималайский) казалась звучной и великолепной»; «Умеренный либерализм: нужна собаке свобода, но все-таки ее нужно на цепи держать»; «Всё то же; протестует одна только статистика» (там же, стр. 36—ср. в рассказе стр. 61—64).

Тогда же в Первой записной книжке была сформулирована одна из главных идей, полемически заостренная против названия и концовки рассказа Л. Н. Толстого «Много ли человеку земли нужно» (1886): «—Человеку нужно только 3 ари(ива) земли.— Не человеку, а трупу. Человеку нужен весь земной шар» (*Зап. кн.* I, стр. 87—ср. в рассказе стр. 58).

Около 23 июля Чехов сообщал Л. А. Авилловой: «Погода у нас чудесная, не хочется никуда уезжать. Надо писать для августовской „Русской мысли“; уже написал, надо кончать».

28 июля оба рассказа были отправлены Гольцеву. В сопроводительном письме Чехов извещал: «Посылаю (. . .) два рассказа для август(овской) книжки. Хотел написать еще третий, очень небольшой, да помешали гости. Если рассказы найдены пригодными, то отдай их в набор поскорее, чтобы проездом в Тверь, 1—2 августа, я мог взять корректуру с собой. Я прочту корректуру и тогда, быть может, прибавлю еще третий рассказ».

Короткая поездка в Тверь в начале августа (в имение В. А. Морозовой, владелицы «Тверской мануфактуры») состоялась; по всей видимости, была прочитана и корректура августовской книжки с рассказами «Крыжовник» и «О любви»; но еще один рассказ, продолжающий серию, написан не был (см. об этом примечания к рассказу «О любви»).

В 1898 г., когда повести и рассказы Чехова еще издавались и переиздавались книгоиздательством «Посредник», И. И. Горбунов-Посадов писал относительно всех трех рассказов: «Славные Ваши новые рассказы в „Русской мысли“. Я уже хотел просить Вас для интеллигентного издания, да последний („О любви“) для нас не подходит по мысли, проводимой в конце,— а без

него Вы, наверное, — если бы и разрешили нам вообще, — то без него не разрешили бы» (письмо без даты, помечено Чеховым: 98, XI. — ГБЛ).

В дальнейшем вопрос об издании новых рассказов не обсуждался совсем: после договора с А. Ф. Марксом это стало невозможным.

Включая в 1903 г. «Крыжовник» в марксовское издание, Чехов снял цифровое обозначение перед заглавием и внес несколько поправок в конце рассказа. Была усилена энергичная интонация в речи Ивана Ивановича (вместо: «Но во имя чего ждать?») — стало: «Да, я говорил так, а теперь спрашиваю: во имя чего ждать?»), устранен повтор заключительного призыва: «Делайте добро!», зачеркнута сентенция: «Есть жизнь, есть нравственный закон, высший для нас закон...».

В томе XI, посмертном, марксовского издания (1906) текст рассказа воспроизводился по приложению к «Ниве» 1903 г., с некоторыми грамматическими и пунктуационными поправками, сделанными корректором.

Вскоре после выхода августовской книжки «Русской мысли» Вл. И. Немирович-Данченко писал Чехову: «Несмотря на работу до одури и нервной одышки, я успеваю читать. Сейчас закрыл книгу на рассказе „О любви“. „Крыжовник“ хорошо (. . .) Хорошо, потому что есть и присущий тебе колорит, как в общем тоне и фоне, так и в языке, и еще потому, что очень хорошие мысли» (27 сентября 1898 г. — ГБЛ; *Ежегодник МХТ*, стр. 112).

Наталья Душина в мартовском письме 1899 г. (см. примечания к «Человеку в футляре») так выражала свои чувства: «Когда я прочла „Крыжовник“, мне жутко стало и жалко его, бесконечно жалко бедного, одинокого, черствого душой человека. „Любовь“ тоже пережила я вместе с теми, которые были так близки душой друг к другу, а с виду должны были казаться чужими. И страшно то, что жить всё же таки надо было и жизнь шла своим обычным ходом и даже разлука пережила, и пришлось дальше жить, те же занятия пошли, те же мелочи, а сознание, что нет любимого человека, наполняло душу, и казалось, жить нельзя, а жилось». Закончила свое письмо Душина словами: «Когда я читаю что-нибудь Ваше, то я чувствую всегда, что я жила с этими людьми, что я хочу то же сказать о них, что скавали Вы, и не одна я это чувствую, и это потому, что Вы пишете только правду и всё сказанное не так, как сказали Вы, — будет ложь» (ГБЛ).

Отзывы Л. Н. Толстого тех лет о трилогии чеховских рассказов неизвестны. В октябре 1898 г. он читал в Ясной Поляне вслух рассказ «О любви» («Дневники С. А. Толстой. 1897—1909», ч. III. М., 1932, стр. 87). Позднее, в 1910 г., когда Н. П. Гусев, находившийся в ссылке, прислал ему выдержку из рассказа «Крыжовник»: «Счастья нет и не должно быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом» — Толстой ответил Гусеву: «Как хороша Ваша выписка из Чехова! Она просится в „Круг чтения“» (письмо от 25 февраля 1910 г. — *Толстой*, т. 81, стр. 113).

Немногочисленные критические статьи появились в августе—октябре 1898 г. и рассматривали «Крыжовник» вместе с последним рассказом трилогии — «О любви».

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, немецкий и сербскохорватский языки.

Стр. 57. ...*был из кантонистов*. — В России в первой половине XIX в. кантонистами назывались сыновья низших военных чинов, с малолетства зачислявшиеся на военную службу.

Стр. 61. ...*как сказал Пушкин, «тьмы истин нам дороже нас возвышающий обман»*. — Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Герой».

О ЛЮБВИ

Впервые — «Русская мысль», 1898, № 8, стр. 154—162. Перед заглавием обозначено: III. Подпись: Антон Чехов.

Вошло во второе издание А. Ф. Маркса («Приложение к журналу „Нива“ на 1903 г.»).

Печатается по тексту: *Чехов*, 2, т. XII, стр. 155—164.

В записных книжках Чехова довольно много записей к рассказу «О любви». Первая из них может быть отнесена к 1895 г., но сделана, по всей видимости, до того, как возник замысел рассказа: «Одинокие ходят в рестораны и в баню, чтобы разговаривать» (*Зап. кн. I*, стр. 62 — ср. в рассказе стр. 67). На первых страницах рассказа почти дословно использована запись, сделанная за границей весной 1898 г.: «Дама 35 лет, обывательница средней руки. И когда он соблазнил ее и уже держал в объятиях, она думала о том, сколько он будет вылавывать ей в месяц и почему теперь говядина» (*Зап. кн. I*, стр. 82 — ср. в рассказе стр. 67).

В той же записной книжке вскоре намечена главная ситуация рассказа: «Мы не признавались друг другу в любви и скрывали ее робко и ревниво. Мне казалось невероятным то, что моя тихая грустная любовь могла бы нарушить жизнь мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили. И куда бы я мог увлечь ее? Другое дело, если бы у меня была интересная жизнь, если бы я, например, боролся за освобождение родины, если бы я был необыкновенным человеком, а то ведь из обычной [мещанск(ой)] будничной обстановки пришлось бы увлечь ее в такую же будничную. И она тоже, по-видимому, рассуждала, боясь сделать меня несчастным, хотела, чтобы я женился на хорошей, достойной девушке и часто говорила об этом. И потом уж, обнимая ее в вагоне, я со жгучей болью в сердце понял, как ненужны, неважны были все эти наши рассуждения. Да, рассуждать нужно, но исходить нужно не с точки зрения счастья чего-либо, а с чего-то более высшего и важного» (*Зап. кн. I*, стр. 84).

Рассказ «О любви» Чехов писал в Мелихове в июне—июле 1898 г. В записных книжках появилось еще несколько заметок, вошедших в рассказ: «помещик: я сначала тоже жил на интеллигентный манер, подавал после завтрака ликеры, но потом вышил мои ликеры в два присеста, и я бросил так жить и

стал обедать в кухне» (*Зап. кн. III*, стр. 28; зачеркнуто и перенесено в Первую книжку, стр. 86, где тоже зачеркнуто — ср. в рассказе стр. 68).

К августовской книжке «Русской мысли» готовились сразу два рассказа — «Крыжовник» и «О любви». В записных книжках заметки к обоим рассказам всё время перемежаются. Например, на стр. 88 Первой записной книжки: «Когда любишь, то какое богатство открываешь в себе, сколько нежности, ласковости, даже не верится, что так умеешь любить» (вошло в журнальный текст рассказа «О любви»; см. варианты); рядом: «Зачем мне ждать, пока ров зарастет или затянет его водой? Лучше я перескочу через него или построю мост» (финал рассказа «Крыжовник»). В Третьей записной книжке на 36-й странице, после нескольких заметок к рассказу «Крыжовник», записано: «Когда кто-нибудь спорил со мной, она принимала сторону моего противника» (ср. «О любви», стр. 73).

По мысли Чехова, рассказом «О любви» серия не заканчивалась. В корректуре он намеревался добавить еще рассказ (см. стр. 380). Но творческое напряжение летних месяцев 1898 г. сменилось в конце июля, когда большая работа была завершена, чувством неудовлетворенности: «Мне опротивело писать, и я не знаю, что делать» (письмо к Л. А. Авиловой от 23—27 июля 1898 г.). О том же — в письме к брату Ал. П. Чехову 30 июля 1898 г.: «Не хочется писать и пишешь так, точно ешь постное на шестой неделе поста».

Вскоре это настроение прошло, но наступала осень, и болезнь опять заставляла искать прибежище на юге. Из Ялты Чехов писал 21 сентября П. Ф. Иорданову: «Я выбит из колеи и почти не работаю. Эта вынужденная праздность и шатанье по курортам хуже всяких бактерий».

В ноябре работа возобновилась — но не над продолжением серии, а над новыми самостоятельными рассказами — «Случай из практики» и «По делам службы».

Серия рассказов так и осталась «маленькой трилогией».

В декабре 1898 г. В. А. Гольцев спрашивал Чехова: «А ты не вернешься к беседам Ивана Ивановича и Буркина?» (*ГБЛ*, ф. 77, к. X, ед. хр. 42). Чехов «не вернулся».

Включая рассказ «О любви» в марксовское издание, Чехов снял цифровое обозначение перед заглавием, внес несколько стилистических поправок и сделал небольшие сокращения. Изменился финал. В первоначальном варианте рассказ заканчивался подчеркнuto бытовым диалогом об отъезде Ивана Ивановича. В тексте собрания сочинений он завершается лирической концовкой: картина природы и грустное раздумье людей, выслушавших рассказ Алекина.

О жизненных истоках рассказа писала в воспоминаниях «А. П. Чехов в моей жизни» Л. А. Авилова. «Что „О любви“ касалось меня, я не сомневалась...» (*Чехов в воспоминаниях*, стр. 271). По утверждению Авиловой, в рассказе отразилась история ее взаимоотношений с Чеховым — «роман, о котором никто не знал, хотя он длился целых десять лет (. . .) „ваш роман“» (предисловие к воспоминаниям — *ЛН*, т. 68, стр. 260).

Прочитав рассказ, она послала Чехову «неласковое» письмо, в котором «благодарила за честь фигурировать героиней хотя бы и маленького рассказа» (*Чехов в воспоминаниях*, стр. 274). Это письмо, как и все письма Авиловой к Чехову, неизвестно. Она вспоминала фразы: «Сколько тем нужно найти для того, чтобы печатать один том за другим повестей и рассказов. И вот писатель, как пчела, берет мед, откуда придется». Нечто подобное, несомненно, было в письме; известен ответ Чехова: «Вы неправильно судите о пчеле. Она сначала видит яркие, красивые цветы; а потом уже берет мед. Что же касается всего прочего — равнодушия, скуки, того, что талантливые люди живут и любят только в мире своих образов и фантазий,— могу сказать одно: чужая душа потемки» (30 августа 1898 г.).

Впервые воспоминания о Чехове Авилова опубликовала в 1910 г. («Мои воспоминания». — «Русские ведомости», 1910, № 13; *Чеховский сб.*, стр. 379—386; *О Чехове*, стр. 1—10). Это была короткая заметка, совершенно не касавшаяся той сложной темы, о которой Авилова писала впоследствии.

Над рукописью «А. П. Чехов в моей жизни» писательница работала в 1930-х годах и закончила ее в 1939 г., незадолго до смерти (1943). В семейном архиве Авилowych хранится первоначальный вариант этих воспоминаний, тоже 1930-х годов, озаглавленный «О любви», а также ряд дневниковых записей и заметок, поясняющих воспоминания¹.

Так, на полях повести «О любви» записано: «И вот сколько лет прошло. Я вся седая, старая... Тяжело жить. Надоело жить. И я уже не живу... По всё больше и больше люблю одиночество, тишину, спокойствие. И мечту. А мечта — это А. П. И в ней мы оба молоды и мы вместе.

... В этой тетради я пыталась распутать очень запутанный моток шёлка: решить один вопрос: любили ли мы оба? Он? Я?.. Я не могу распутать этого клубка».

В дневниковой записи 27 ноября 1939 г. Авилова рассказала о причинах, побудивших ее уничтожить копию письма Чехова, подписанного «Алехин» и относящегося ко времени жепитыбы Чехова?: «Я сегодня уничтожила копию письма Алехина. Жалко. Я сделала ее после того, как погиб оригинал. Помнила какое слово, даже длину строк. И написала всё точь-в-точь так же, даже подражая мелкому почерку А. П. Так вышло похоже, что меня это утешило. И я долго хранила эту копию. А сегодня уничтожила. Вот почему: нашли бы ее после моей смерти и,

¹ Сообщили племянница Авиловой — Н. Ф. Страхова и внучка — Н. С. Авилова.

² Письма Чехова к Авиловой, за исключением этого письма (имевшего, по мнению Авиловой, интимный характер) и еще двух писем (вошедших впервые в *ПССП*), были опубликованы М. П. Чеховой в шеститомном издании Писем А. П. Чехова по автографам. Автографы писем были похищены у Авиловой в 1919 г. вместе с письмами к ней И. А. Бунина, М. Горького и др. О своих письмах к Чехову, возвращенных ей М. П. Чеховой, Авилова писала: «Не перечитывая, я бросила их в печь. Я очень жалею, что я это сделала».

конечно, узнали бы, что это фальшивка, подделка. Кто бы мог понять, зачем она сделана?»¹.

Среди рукописей Авиловой, хранящихся в семейном архиве, имеется тетрадь, датированная 1918 годом и посвященная литературному быту конца XIX — начала XX в. В этих литературных воспоминаниях даны живые зарисовки и портреты многих писателей, критиков, журналистов, с которыми Авилова была знакома или дружна (Л. Н. Толстой, М. Горький, Н. К. Михайловский, А. А. Тихов, Н. А. Лейкин и др.).

Сопоставляя Чехова с Толстым и Горьким, Авилова писала: «Про Чехова я не сказала бы, что он великий человек и великий писатель. Конечно, нет! Он — большой симпатичный талант и был умной и интересной личностью.

Горький — яркий талант и оригинальный человек.

Толстой — великий писатель, великий мыслитель, великий человек. Нет величины больше его в литературном свете.

Случается, что талант точно освещает, пронизывает всю личность писателя, он сильнее личности и точно силится поднять ее до себя. Это — Чехов.

Случается, что талант и личность одинаково сильны, ярки; помогают друг другу, выражаются каждый по-своему, сплетаются, сливаются. Это — Горький.

Но когда и талант и личность не только велики, сильны, могучи, а когда они еще *совершенны*, когда дух их поднимается над человечеством и приближается к божескому — тогда это Толстой».

Воспоминания «А. П. Чехов в моей жизни» вызвали разноречивые суждения среди людей, близких Чехову и хорошо знавших Авилову. М. П. Чехова писала: «Эти воспоминания, живо и интересно написанные, правдивы в описании многих фактов (. . .) И правильно, видимо, Лидия Алексеевна сообщает о тех больших чувствах к Антону Павловичу, которые она когда-то пережила. Но вот когда она пытается раскрыть чувства к ней со стороны Антона Павловича, то тут у нее получается слишком „субъективно“» (*Из далекого прошлого*, стр. 166—167).

И. А. Бунин дал противоположную оценку: «Воспоминания Авиловой, написанные с большим блеском, волнением, редкой талантливостью и необыкновенным тактом, были для меня открытием. Я хорошо знал Лидию Алексеевну, отличительными чертами которой были правдивость, ум, талантливость, застенчивость и редкое чувство юмора (. . .) Прочтя ее воспоминания, я и на Чехова взглянул иначе, кое-что по-новому мне в нем открылось. Я и не подозревал о тех отношениях, какие существовали между ними» (И. А. Б у н и н. Собр. соч. в 9-ти т. Т. 9. М., 1967, стр. 230).

Откликами на августовскую книжку «Русской мысли» с рассказами «Крыжовник» и «О любви» явились три статьи.

Разбирая трилогию в целом, А. Измайлов первый заговорил о переменах, ясно обозначившихся в творчестве Чехова: «В этих рассказах г. Чехов уже вовсе не тот объективист-художник, по-видимому, совершенно безучастно относящийся к изображаемо-

¹ Текст письма включен в главу воспоминаний «Чехов в моей жизни», остающуюся неопубликованной. См. *ЛН*, т. 68, стр. 260.

му, каким он представлялся ранее (. . .) Всюду за фигурой рассказчика виден субъективист автор, болезненно тонко чувствующий жизненную пескоструйку и не имеющий силы не высказаться. Мы сказали бы, что автор болен мировую скорбью, если бы значение этого последнего выражения не было так оплошено и избито (. . .) нам кажется, что настает серьезный перелом в творчестве г. Чехова, болезненно созревает в его душе что-то новое (. . .) Почти все без исключения рассказы его, написанные за последние годы, носят драматический характер, иногда возвышаясь до высокого трагизма. В самом выборе темы чувствуется, что его давят кошмаром и гнетут темные стороны жизни, которых он не может не видеть, и его пейзаж почти всегда запечатлен melancholicкою красотой. „Над полем давно уже нависли тучи, ждешь дождя, а его нет“, вот общий фон, на котором происходит действие его последних сочинений».

Измайлов сопоставлял этот «перелом» у Чехова с тем, что пережили в свое время другие великие русские писатели: «. . . нам кажется, что в душе г. Чехова начинается тот перелом, который в свое время пережили многие из наших больших писателей, от Гоголя, Достоевского и Лескова до ныне здравствующего Л. Толстого и некоторых других художников слова, с тою только разницею, что в нем он начинается значительно ранее. Художественные задачи отходят на задний план, и ум устремляется к решению вопросов этики и религии. Объективное, спокойное изображение действительности уступает место тревожному философскому осуждению вол жизни, выступает на сцену не факт, но философия факта» (А. И з м а й л о в. Литературное обозрение. — «Биржевые ведомости», 1898, № 234, 28 августа).

А. Скабичевский в той же газете «Сын отечества», где он поместил разбор «Человека в футляре», писал о новых рассказах Чехова. Как обычно, его мало интересовала художественная сторона дела; содержание рассказов служило поводом для разговора о несовершенствах общественного бытия. Впрочем, Скабичевский верно уловил существо позиции Чехова, когда сердито возражал против понятия «среда заела», ибо сами люди создают эту среду: «. . . виновата не какая-то людоедка-среда, а именно безыдейность жизни, отсутствие в ней всяких разумных и широких целей, искание мнимого счастья в какой-нибудь узенькой, ничего не стоящей, эгоистичной задачке и пугливый отказ от мало-мальски решительного, рискованного шага к достижению более высоких целей и более захватывающего светлого счастья. Тут нет ни палачей, ни жертв, ни пауков, ни мух, а попросту люди безразличные поголовно задыхаются в смрадной мгле при полном отсутствии мало-мальски свежего воздуха» («Сын отечества», 1898, № 245, 11 сентября).

К общей характеристике Чехова как писателя вернулся после выхода первого тома марковского издания Н. К. Михайловский («Литература и жизнь. Кое-что о г. Чехове». — «Русское богатство», 1900, № 4). В последних рассказах Чехова критик увидел значительные перемены: «Теперь уже далеко не одна пошлость занимает г. Чехова, а и истинно трудные, драматические положения, истинное горе и страдание» (стр. 135). Если житейская пошлость продолжает и теперь интересовать Чехова, как, например, в рассказе «Человек в футляре», «она уже не смелша

для него, по крайней мере не только смешна, а и страшна, и ненавистна» (стр. 139). По поводу рассказа «О любви» Михайловский писал: «Такова действительность, и ясно кажется, как дорога стала г. Чехову вертикальная линия к небесам, то третье измерение, которое поднимает людей над плоской действительностью; как далеко ушел он от „пантеистического“ мирозерцания, всё принимающего как должное и разве только как смешное...» (стр. 137).

А. П. Богданович обратил внимание на внутреннюю связь трех рассказов. О рассказе «Крыжовник» он писал: «Хотя этот рассказ и не имеет непосредственной связи с предыдущим, но в нем как бы обрисовывается среда, где властвует человек в футляре»

Рассказ «О любви», по мнению Богдановича, «проникнут той же грустной, щемящей сердце нотой, как и оба предыдущие. Этот рассказ усиливает впечатление ненормальности окружающей жизни, спутанности в ней самых простых отношений, безжалостности людей друг к другу, их неумения жить по-человечески (. . .) Все три рассказа, при разнообразии сюжета и малой связи, проникнуты и объединены общей печалью и тоской, лежащими в их основе».

Вслед за Измайловым, Богданович писал, что в Чехове «как бы назревает какой-то перелом»; он «не может оставаться только художником и помимо воли становится моралистом и обличителем», как Толстой или Гаршин. «Сквозь внешний комизм просвечивает такое тяжелое, грустное настроение автора, что самый комизм персонажей только углубляет безотрадные выводы, которые сами собой вытекают из рисуемых автором картин пошлости и житейской неурядицы. Автора мучают темные стороны жизни, к которым г. Чехов стал как-то особенно чуток в своих последних произведениях (. . .)

Замечается и еще одна особенность, совершенно новая для г. Чехова, который отличался всегда поразительной объективностью в своих произведениях, за что нередко его упрекали в равнодушии и беспринципности. Теперь же (. . .) г. Чехов не может удержаться, чтобы местами не высказаться, вкладывая в реплики героев задушевные свои мысли и взгляды, как, например, заключение рассказа „Человек в футляре“, тирада Ивана Ивановича о невозможности жить так долгие или патетическое воззвание к добру в рассказе „Крыжовник“».

Однако Богданович, как и вся литературная критика тех лет, утверждал, что у Чехова нет цельного мировоззрения и потому его общий взгляд на жизнь слишком мрачен. Опять повторялась версия о разбитом зеркале, неверно отражающем жизнь (А. Б. (Богданович). Критические заметки — «Мир божий», 1898, № 10, отд. II, стр. 6—9).

Другой критик того же журнала, В. Альбон, в пристрастии Чехова к малой форме увидел, напротив, его достоинство: «Художественная концепция, овладевшая за последнее время его творчеством, превосходна и глубока и сродни его таланту, спокойному, вдумчивому, созерцательному. Его рассказы — это характеристики, картины, пластика. В них, как нам приходилось отмечать, нет борьбы или слишком мало. Зато каждый штрих подогнан к целому, каждая черточка тщательно

вырисована, одна подробность нанизана на другую. Вот почему, может быть, г. Чехов не дает нам большого романа, с массой действующих лиц, со сложной интригой. Может быть, он инстинктивно чувствует, что подобная картина потеряет в глубине прониновения в жизнь» (В. А л ь б о в. Два момента в развитии творчества А. П. Чехова. — «Мир божий», 1903, № 1, стр. 112).

В конце 90-х — начале 900-х годов о Чехове стали появляться обобщающие критические работы.

В книге А. Л. Волынского «Борьба за идеализм» (СПб., 1900) рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» послужили материалом для абстрактных этических и философских сентенций. О Беликове, например, Волынский писал: «Несмотря на то, что главные черты его представляются несколько надуманными и самый образ человека в футляре сбивается на аллегорию, он производит глубокое впечатление. Можно сказать, что настроение автора — унылое, но вдумчивое — преобладает здесь над художественною живописью. За ним всё время следишь и заражаешься им, потому что в нем есть глубокая лирическая правда (. . .) Чехов сумел пролить на эту уродливую, жалкую фигурку провинциального учителя мягкий гуманный свет. В жизни таких людей презирают и гадливо побаиваются — совершенно так же, как это представлено в рассказе. Но вот художник с тонким чутьем подошел к этому гаденькому человеку и открыл в нем, под мертвой корой формализма и раболепия перед начальством, несчастную боязливую душу» (стр. 336). «Свободолюбие художника» сведено к чему-то неуловимому и неясному: «Читатель чувствует себя подавленным сырым туманом и дождливыми облаками, которые лениво ползут над действующими лицами, ему хочется разорвать их, чтобы увидеть ясное небо и солнце. И вместе с тем читатель ощущает в рассказе тоскливое веяние, идущее от самого автора, который тоже томится серыми буднями российской жизни, тоже хочет солнечного тепла и света. Так искусство, правдивое и глубокомысленное, неуловимыми словами создает в душе то, чего не достигло бы никакое рассудочное воздействие на ум и волю» (там же).

В рассказе «Крыжовник» Волынский особо отметил «умный протест» автора, но свел его опять-таки к области внутренних «потребностей и запросов человеческой души» и «внутреннего страдания людей». Концовка рассказа была истолкована в отвлеченно-идеалистическом духе: «Говорят, что человеку нужно только три аршина земли. Когда эти слова говорит Толстой, он открывает человеку, своим суровым отрицанием всех земных благ, его высшее духовное призвание: человеку не нужна земля, потому что ему нужно только небо. Чехов говорит, что человеку нужен весь земной шар, вся природа, весь простор видимого света, и эти слова тоже — другим путем — ведут человека от всяких тленных сокровищ к полному раскрытию духа. Как бы возражая Толстому, Чехов невольно вступает в область тех же высших, надземных настроений» (стр. 337—338).

Оценка рассказа «О любви» и общее заключение Волынского о «маленькой трилогии» — образец импрессионистской критики: «Грусть стелется сумеречным туманом над плоскими равнинами русской жизни. Сколько нужно искреннего таланта, живого воображения, чтобы писать серыми красками по серому фону так,

как пишет Чехов. Ни одной крикливой ноты, ни одного банального штриха. Несмотря на некоторую старомодность повествовательной структуры и отсутствие привлекающих внимание новейших красок, все эти очерки в гораздо большей степени приваждают современной волне идейных настроений, чем разные тенденциозные писания с намерением приобщиться к этой волне. Этот серьезный талант тихо и скромно откапывает какие-то ветрунутые уголки и двигается, подвигая вперед и русскую литературу. Читая Чехова, чувствуешь себя на лоне настоящего искусства» (стр. 339—340).

О «трилогии» писал критик Волжский (А. С. Глинка) в книге «Очерки о Чехове» (СПб., 1903).

Одним из первых в русской критике Волжский заговорил о художественном обобщении, общей идее, творческом синтезе, объединяющих «вместру галерею чеховских картинок», начиная с ранних его рассказов и кончая последними повестями и пьесами. Эту «общую идею» критик обозначил как «власть действительности» или «власть обыденщины». С этой точки зрения вся трилогия, «как и вообще всё написанное Чеховым, только индивидуализация отдельных случаев власти обыденной жизни, власти действительности, индивидуализация общей идеи Чехова» (стр. 74).

По мнению Волжского, «Человек в футляре» — «это высшая точка чеховского творчества, произведение, в котором творческий синтез художника выразился с особенной силой». Особо отмечал критик тот факт, что «человек в футляре» — «быстро привился к нашему литературному языку, стал нарицательным именем, излюбленным трофеем газетного обличения» (стр. 67).

По мысли критика, «Человек в футляре» явился обобщением всего Чехова: «Повсюду в чеховских произведениях вы на каждом шагу встречаете различные виды власти футляра Беликова: чувства в футляре, мысли в футляре, футляры для общественных и личных отношений, в футляре вся жизнь» (стр. 68).

Так устанавливалась внутренняя связь всех трех рассказов. «Всёопределяющее значение крыжовника в жизни Николая Ивановича Чимша-Гималайского только один из бесконечно разнообразных видов власти обыденщины, один случай футлярной жизни, так широко захваченной в произведениях Чехова», — писал Волжский. В рассказе «О любви» «жестокая босмыслица жизни исковеркала хорошую, искреннюю любовь Алехина, — везде Чехов „объясняет каждый случай в отдельности, не пытаясь обобщать“, но независимо от намерения художника или даже вопреки ему общая картина жизни, как она изображена в его произведениях, содержит в себе огромную „общую идею“, величайший творческий синтез» (стр. 72—73).

О. Р. Васильева уже 15 июля 1898 г. спрашивала Чехова, где она может найти новый его рассказ «Человек в футляре» для перевода на английский язык. В следующем письме (9 августа) она просила прислать ей оттиск. Судя по ее письму от 8 сентября 1898 г., Чехов послал ей оттиск из «Русской мысли». Затем она перевела «Крыжовник», «О любви», но и спустя два года извещала, что еще не послала ни в какую редакцию свой перевод, прося Чехова посоветовать, куда ей обратиться.

Осенью 1898 г. к Чехову обращался Борживой Прусик с той же просьбой — прислать для перевода на чешский язык все три рассказа. Чехов находился в то время в Ялте (письмо от 2 октября 1898 г.) и хотя обещал прислать рассказы «после», когда вернется домой, об этом, вероятно, не сделал. Б. Прусик увлекся переводами пьес Чехова для театральных постановок, а потом переводил рассказы по начавшему выходить в 1899 г. марксовскому изданию.

Немецкий переводчик О. П. Бук сообщал в декабре 1898 г. из Гейдельберга, что приступил к переводу серии повестей и рассказов, начал с «Человека в футляре» и просил разрешения на публикацию в берлинской издательской фирме Фишера.

В начале 1900 г. Чехову писал из Николаева Херсонской губернии А. В. Гурвич — просил разрешения перевести на еврейский язык рассказы «Человек в футляре» и «О любви» и поместить их в сборнике, издаваемом в память еврейского «народного пролетарского поэта» Михаила Гордона (письмо от 4 февраля 1900 г. — *ГБЛ*). Ответ Чехова неизвестен, но он был благоприятным: спустя три года Гурвич вспоминал об «отзывчивости», с какой Чехов отнесся к его прежней просьбе (письмо от 21 августа 1903 г. — *ГБЛ*).

При жизни Чехова рассказ «О любви» был переведен на болгарский язык.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Впервые — «Русская мысль», 1898, № 12, стр. 189—198. Подзаголовок: Рассказ. Подпись: Антон Чехов.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: *Чехов*, т. IX, стр. 276—288.

Постепенный процесс оформления замысла рассказа прослеживается по записным книжкам. Первая запись — рассуждение о богатстве: «Как у арестанта неловко спрашивать, за что он приговорен, так у очень богатого человека неловко спрашивать, на что ему так много денег и отчего так дурно он распоряжается своим богатством. И разговор об этом выходит обыкновенно стыдливый, неловкий, после которого наступает взаимное охлаждение — неожиданно-негаданно» (*Зап. кн.* I, стр. 75). Этот текст очень близок к окончательному (стр. 84, строки 21—28). Вероятно запись была сделана в июле 1897 г. (до 27-го).

Вторая запись, также близкая к окончательному тексту, передает впечатление от фабрики — «Взглянешь на фабрику, где-нибудь в захолустье — тихо, смирно, но если взглянуть вовнутрь: какое непроходимое невежество хозяев, тупой эгоизм какое безнадежное состояние рабочих, дрязги, водка, вши» (*Зап. кн.* I, стр. 81; ср. стр. 75 наст. тома). Эта запись может быть отнесена к началу декабря 1897 г. — непосредственно вслед за ней идет запись: «13 дек. Видел владелицу фабрики, мать семейства, богатую русскую женщину, которая никогда не видала в России сирени». Эти строки, отражающие реальное впечатление, не нашли места в рассказе «Случай из практики» и потому были вынесены Чеховым в Четвертую записную книжку. Однако воз-

ника эта запись в общем потоке мыслей и образов, связанных с обдумыванием рассказа «Случай из практики».

Затем в записной книжке появляется конспективная запись сюжета: «Фабрика, 1000 рабочих. Ночь. Сторож бьет в доску. Масса труда, масса страданий — и всё это для ничтожества, владеющего фабрикой. Глупая мать, гувернантка, дочь... Дочь заболела, звали из Москвы профессора, но он не поехал, послал ординатора. Ординатор ночью слушает стук сторожей и думает. Приходят на ум свайные постройкн. „Неужели всю свою жизнь я должен работать, как и эти фабричные, только для этих ничтожеств, сытых, толстых, праздных, глупых?“ — „Кто идет?“ — Точка» тюрьма» (*Зап. кн. I*, стр. 83). Эта запись, вероятно, была сделана в феврале или марте 1898 г., никак не позже середины апреля (далее в записной книжке — о посещении Чеховым М. М. Антокольского 16 апреля 1898 г.).

Таким образом, ко времени возвращения из-за границы в Россию в первых числах мая 1898 г. у Чехова определились тематические линии рассказа: богатство как «недоразумение», сила, раздвигаящая людей, и, во-вторых, страшная изнанка фабричной жизни, такой «тихой» и «смирной» снаружи. Определены и сюжет рассказа. Тем не менее, писание рассказа отложилось, очевидно, из-за реализации других замыслов: «Человек в футляре», «Ионыч», «Крыжовник», «О любви». Пока шла работа над этими рассказами, в записную книжку Чехова были внесены еще две записи: «У дьявола (фабрика)» и «дер-дер-дер // дрын-дрын-дрын // жак-жак-жак» (*Зап. кн. III*, стр. 33).

Эти записи послужили для разработки сцены ночной прогулки и размышлений Королева, намеченной еще в наброске сюжета рассказа; внесены в записную книжку в июне-июле 1898 г. (запись 4-я относится к рассказу «Крыжовник», а текст его был отослан Чеховым В. А. Гольцеву 28 июля).

В работе над рассказом был перерыв. 24 октября Чехов писал Гольцеву: «В моих писаниях вышла заминка, но это ничего; впрямь буду исправен, дай только вздохнуть». Смерть П. Е. Чехова 12 октября, необходимость перемен в жизни всей семьи, приезд в Ялту М. П. Чеховой, обсуждение вместе с нею плана будущего дома — всё это отрывало Чехова на некоторое время от работы. Но 11 ноября он сообщает И. И. Орлову: «По случаю дождя и дурной погоды сел за работу и уже написал целый рассказ».

Рассказ был отослан для декабрьской книжки «Русской мысли» 14 ноября 1898 г. (письмо Чехова к В. М. Лаврову и Гольцеву).

Небольшая задержка корректуры вызвала у Чехова опасения относительно цензуры. 29 ноября 1898 г. он писал Гольцеву: «Очевидно, рассказ, если он не забракован, успеет попасть только в январскую книжку. Если так, то все-таки поторопитесь прислать корректуру». Очевидно, вслед за этим Чехов получил корректуру рассказа — уже 6 декабря 1898 г. Гольцев сообщил Чехову: «Сейчас получил твою корректуру» (*ГБЛ*). По-видимому, опасения относительно вмешательства цензуры не оправдались.

И. И. Горбунов-Посадов, прочитав рассказ, обратился к Чехову за согласием на издание его «Посредником». 24 января 1899 г.

он писал Чехову: «В Калуге еще я с таким хорош(им) чувством прочел „Случай из практики“ и хотел просить вас разрешить нам его издать в иттеллиг. серии». Горбунов-Посадов хотел объединить в издании «Посредника» три рассказа: «По делам службы», «Душечка», «Случай из практики», боясь, что в отдельном издании последний рассказ привлечет большее внимание цензуры: «Если все 3 неудобно, то тогда „Душеньку“ и „Случай на практике“ (так!) (боюсь, что его отдельно не...)» (ГБЛ; Известия АН СССР, ОЛЯ, 1959, т. XVIII, вып. 6, стр. 518). Чехов принужден был ответить отказом из-за соглашения с А. Ф. Марксом об издании собрания сочинений (см. его письмо Горбунову-Посадову от 27 января 1899 г.).

При подготовке собрания сочинений оригиналом для набора служил текст публикации в «Русской мысли», указанный Чеховым в письме к А. Ф. Марксу от 12 мая 1899 г. По недоразумению, корректуры присылались Чехову несколько раз (см. письмо Чехова к Марксу от 9 августа 1900 г.). При просмотре текстов для тома IX Чехов внес в рассказ сравнительно небольшие исправления.

Неизвестно, связан ли рассказ с каким-либо конкретным фактом. Можно лишь предполагать, что впечатления о фабричной жизни связаны с началом меликовского периода. «Служил я в земстве, заседал в санитарном совете, ездил по фабрикам — и это мне нравилось», — писал Чехов А. С. Суворину 10 октября 1892 г. Конечно, и до этого, в бытность врачом в Звенигородском уезде, Чехову приходилось бывать на фабриках, но на рассказе «Случай из практики» лежит, кроме того, печать сахалинских впечатлений, ими окрашена разработка темы богатства в приведенной выше первой записи к рассказу в записной книжке. Это заставляет думать, что истоки замысла рассказа связаны с послесахалинским периодом.

О полемике по поводу рассказа «Случай из практики» в московской читательской среде рассказал Чехову в письме от 22 января 1899 г. Н. Н. Тугаринов, студент, знакомый по Ницце: «У нас в Москве за последнее время много было разговоров и споров по поводу Вас под влиянием постановки „Чайки“, появления в „Рус(ской) м(ысли)“ „Случ(ая) из практики“ и Вашего рассказа „Новая дача“ — в „Рус(ских) вед(омостях)“ — 3/4 восхищалось и млело, а другие, наоборот, брюзжали (. . .) „Ах, нам бодрости, бодрости нужно!“ — Разве у Чехова Вы не нашли ничего бодрящего, — спрашиваю я. Ответ: „Вот Вам „Случай из практики“ — где же тут найти бодрости, здесь всё мертво...“ Раз им захотелось „бодрости“, то я развернул книгу и на стр. 197 прочел своим оппонентам следующ(ие) строки о думах д-ра Королева: „И он знал, что сказать ей (. . .) и только ждала, чтобы кто-нибудь, кому она верит, подтвердил это „...Пошли крики: „Да, хорошо советовать!..“ и т. п. Как видите, тяжело быть писателем самостоятельным и не пляшущим по дудке тех, которым сегодня захотелось „бодрости“, завтра — сверюжины с хреном etc!..» (ГБЛ; Из архива Чехова, стр. 244).

Высоко оценил «Случай из практики» Горбунов-Посадов в письме Чехову от 24 января 1899 г.: «А „Случай на практике“ —

это ухающее „чудище“ с заключенным в нем миллионом каторжн(ого) труда, неизвестно для чего совершающегося, — это превосх(одная) вещь, вызывающая на самые нужные мысли и чувства» (ГБЛ; Изв. АН СССР, ОЛЯ, 1959, т. XVIII, вып. 6, стр. 518).

«Случай из практики» сразу же вызвал отклики в печати.

25 декабря А. М. Скабичевский в обзоре текущей литературы рассмотрел рассказ, полемизируя с теми, кто представляет себе капиталистический строй Западной Европы как «последнее слово прогресса и единственный и неизбежный путь к спасению человечества и к будущему насаждению земного рая» («Сын отечества», 1898, № 350). По мнению Скабичевского, этот капиталистический строй в России — «печто совсем иное, крайне жалкое и подчас совершенно бессмысленное и несообразное. Вот г. Чехов и представляет нам в своем маленьком рассказике образчик поразительной нелепости капиталистического фрукта, возросшего на русской почве». Невозможно, говорит Скабичевский, убедиться, что «в этом нелепом сумбуре лежит спасение человечества и таятся зародыши новой жизни!»

В противоположность Скабичевскому, который извлекает из чеховского рассказа экономические истины и использует художественное произведение в иллюстративных целях, А. Л. Вольтинский (Флексер) сосредоточивает внимание не на сфере изображения, а на настроении рассказа, придавая ему символический смысл (А. Л. Вольтинский. Борьба за идеализм. Критические статьи. СПб., 1900). «„Случай из практики“, — пишет он, — вещь недоделанная, местами смутная, как сон, и, тем не менее, преисполненная благодатных для искусства настроений» (стр. 340). Ценность этого произведения, с его точки зрения, несмотря на то, что «художественная сторона рассказа не отличается особенно выдающимися достоинствами», заключается в идее грядущего духовного воскресения, противопоставленного жуткому кошмару реальной современной жизни: «Можно сказать, что весь рассказ — с его ночным мраком, с жутко светящимися фабричными окнами и расплывающимися кошмарами богатой молодой девушки, — проникнут скрытою мечтою о каком-то воскресном утре, о каком-то новом возрождении или, вернее сказать, о духовном перерождении людей (. . .) Воскресное утро — какой живой символ, вылившийся из встревоженной души чуткого современного человека» (стр. 340--341).

Почти все прочие критики, в отличие от Скабичевского и Вольтинского, пытались поставить «Случай из практики» в связь с другими произведениями Чехова, видя в рассказе признаки нового периода его творчества. Оценивая это по-разному, они довольно близко сходились друг с другом в определении сущности перемены в творческой манере Чехова. «Замечается и еще одна особенность, — пишет А. И. Богданович, — совершенно новая для г. Чехова, который отличался всегда поразительной объективностью в своих произведениях, за что нередко его упрекали в равнодушии и беспринципности. Теперь же, как наверное уже заметили читатели в приведенных выдержках, г. Чехов не может удержаться, чтобы местами не высказаться, вкладывая в реплики героев задушевные свои мысли и взгляды» (А. Б. Кри-

тические заметки.— «Мир божий», 1898, № 10, отд. II, стр. 9). Богданович считает, что Чехов уже «не может оставаться только художником и помимо воли становится моралистом и обличителем (. . .) В нем как бы назревает какой-то перелом, прорывается нечто, сближающее его с другими нашими великими художниками, которые никогда не могли удержаться на чисто объективном творчестве и кончали проповедью...» (там же).

И. Джонсон (И. В. Иванов) называет этот процесс превращением «прежнего созерцателя в человека с сердцем, полным боли и скорби» (И. Д ж о н с о н. В поисках за правдой и смыслом жизни. (А. П. Чехов).— «Образование», 1903, № 12, стр. 26). Ранее «бесстрастное художническое созерцание жизни» сседи-нялось в нем с сомнением в возможности «вмешательства в стихийный ход исторического процесса», «какой бы то ни было плодотворной борьбы» (стр. 21 и 26). Поэтому Чехов относился «к наблюдаемому им колоссальному отрицательному факту: отсутствию разума, правды и счастья в жизни — сперва только с недоумением, сохраняя почти научное спокойствие, как к любопытному, но чуждому, не задевающему самого наблюдателя явлению» (стр. 24). Теперь же «сама жизнь (. . .) приводила в конце концов к убеждению, что нелепо отождествлять социальную эволюцию с естественным процессом, что личность сознательно и активно должна участвовать в этой эволюции, должна воздействовать на нее в духе и направлении определенных идеалов.. Такое убеждение приводило и к вере, что жизнь на самом деле и будет перестроена по идеалам разума и правды. И эта вера стала, по-видимому, настолько укрепляться в душе Чехова, что, например, даже созерцание таких картин неразумия и неправды, как нарисованная им в „Случае из практики“ (. . .) не подрывало ее» (стр. 30—31).

О проявлении глубоко гуманной основы чеховского пессимизма писал В. Мирский («Наша литература. (О некоторых мнениях г. Подарского об А. П. Чехове).— «Журнал для всех», 1902, № 3). «Чехов берет жизнь в самых разнообразных ее проявлениях и выставляет на вид весь ужас ее бессмыслицы и вместе с тем весь ужас страдания униженных и обремененных. Напомню хотя бы три его рассказа: „Случай из практики“, „По делам службы“ и „В овраге“» (стлб. 361); «этот пессимизм не от подагры, не от несварения желудка, а, думается мне, — от излишней требовательности к человеческой жизни (. . .) Этот пессимизм связан с жаждой простора, с тоской по человеку, которому отведено только три аршина, с жалостью к этому усталому, измученному собрату. О! с этим еще можно жить» (стлб. 363—364).

В. Альбов считает, что поворот, обозначившийся в творчестве Чехова в рассказе «Студент», «еще лучше выяснится нам из рассказа „Случай из практики“, который и может быть понят только с высоты этого мировоззрения (. . .) Та действительность, которая давила его своею пошлостью и из которой он долго не мог выбраться, это только видимая поверхность жизни, грязная, мутная накипь (. . .) Слой за слоем разбирая эту накипь, пробираясь мимо мыслей, чувств, настроений людей, навешанных эту нечистью, он увидел, наконец, чистый, кристальный родник жизни. Он понял, что правда, справедливость, красота — вот

что скрывается в глубоких тайниках жизни, вот чем держится жизнь и в чем спасение всего народа» (В. А л ь б о в. Два момента в развитии творчества Антона Павловича Чехова. (Критический очерк).— «Мир божий», 1903, № 1, стр. 106—107.) Перемена вызывает различное отношение, она терминологически обозначается по-разному, но зафиксирована всеми.

Резко отрицательно оценил эту перемену критик газеты «Московский листок», истолковав ее как переход Чехова от «объективного» творчества к открытой тенденциозности: «Тяжелое впечатление производит этот рассказ (. . .) Много лет подряд Чехова обвиняли в том, что он писал, как поет соловей: закрывая глаза, то есть не желая знать идейной стороны явлений. Чехов обладал тогда величайшим качеством, какое только может быть у художников — он умел быть удивительно объективным в своих произведениях, умел оставаться чистым художником, изображая даже наиболее нечистые, наиболее жизненные страницы окружающей его действительности (. . .) в последнее время он уже стал изменять коренным своим заветам, начинает впадать в произведения свои не только душу живу, но и предвзятую, со стороны навязанную мысль, смоченную гражданскими слезами» (Н. Р. Литературное обозрение.— «Московский листок», 1899, прибавление к № 10, № 2, 10 января, стр. 13).

Эволюция Чехова в отзыве «Московского листка» объяснена влиянием критики, требующей от писателя «затасканных мотивов», а также влиянием редакторов «Русской мысли». «В результате получилось то, чего и следовало ожидать: „беспринципные“ произведения первого периода являющиеся, без сомнения, несравненно более крупным вкладом в сокровищницу русской литературы, чем последние чеховские дары...» Видя в монологе Тригорина из второго акта «Чайки» «подлинную трагедию писательской души», и притом автобиографическую, критик «Московского листка» считает, что призвание Чехова заключалось в изображении поэзии жизни, в то время как по чувству писательского долга он перешел к «гражданским» темам. «„Случай из практики“ не представляет интереса по содержанию, не является его и по форме», несмотря на «ряд очень хорошо написанных, полных поэзии строк» (стр. 14).

М. Столяров поставил «Случай из практики» в ряд с другими произведениями «позднейшего времени», такими, как «Июнь», где Чехов продолжает изображать «различные эпизоды из жизни, испознанные того же холодного формализма» (Мих. С т о л я р о в. Новейшие русские повеллисты. Гаршин. Короленко. Чехов. Горький. Киев — Петербург — Харьков, 1901, стр. 58 и 46). «Жизнь по шаблонам парализует ум, чувство и волю, вследствие чего между людьми устанавливаются какие-то мертвые отношения» (стр. 46). Этот характер отношений проявляется, по мнению Столярова, вначале, в отношении Королева к своей пациентке, «а между тем, — восклицает критик, — иногда одно живое слово действует на больного современного человека — читай, измученного физически и нравственно — действительнее самых целебных лекарств, самых искусных в медицинском мире врачей» (стр. 66).

Некоторые особенности чеховской поэтики также вызвали критические замечания. Развитие действия в «Случае из прак-

тики» вызвало упрек И. Н. Игнатова в том, что рассказ фрагментарен, а конечные выводы Королева необоснованны, и читатель, таким образом, не может уловить связи между впечатлениями героя и его суждениями: «Нам кажется, что заключительные мысли доктора мало гармонируют с тем впечатлением, которое он вынес из своего путешествия. Где элементы, развитие которых может повести „к светлой и радостной жизни“, если только наблюдения его справедливы? Между послылками и заключениями существует какой-то пропуск, lacune, которую читатель не может заполнить сам ввиду отсутствия необходимых данных» (И-т. Новости литературы и журналистики. — «Русские ведомости», 1898, № 289, 19 декабря).

Гораздо резче истолковал это свойство чеховского рассказа упоминавшийся рецензент газеты «Московский листок»: «В сущности, это даже и не самостоятельный рассказ — это несколько случайно вырванных страничек из записной книжки писателя...»; «Непродуманность сюжета и небрежность формы отличает его от других работ Чехова».

Напротив, Богданович отнес эту кажущуюся «случайность» и «небрежность» за счет редкой способности Чехова в одном моменте разом осветить глубокие противоречия жизни: «Выхвачен из сложной картины жизни один яркий момент, в котором с особой силой проявляются противоречия, непримиримые ни с какой логикой, нелепые сами по себе и тем более тягостные. Такие моменты важны и поучительны всегда, и дорог художник, умеющий с поразительной живостью воспроизвести их» («Мир божий», 1899, № 2, отд. II, стр. 3).

Рассказ сразу же обратил на себя внимание переводчиков. 7 марта 1899 г. В. А. Чумиков, переводивший рассказы Чехова на немецкий язык, писал ему из Лейпцига: «Как живо и рельефно обрисована бедная девушка в „Случае из практики“; к ней идет эпитаф из чудного стихотворения Фофанова „Безумная“...» (ГБЛ).

А. В. Гурвич, переводчик из Николаева, обратился к Чехову за разрешением перевести рассказ «Случай из практики», в числе прочих, на еврейский язык (см. примечания к рассказу «О любви»).

При жизни Чехова рассказ переводился на чешский и сербскохорватский языки.

ПО ДЕЛАМ СЛУЖБЫ

Впервые — «Книжки Недели», 1899, № 1, стр. 16—36. Подзаголовок: Рассказ. Подпись: Антон Чехов.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. IX, стр. 304—322.

Первая заметка, использованная в рассказе «По делам службы», сделана Чеховым в мае-июне 1891 г., когда он жил в Алексин (с 14 по 18 мая) или Богимове (с 18 мая по сентябрь): «[Прежде стрелялись] Теперь стреляются оттого, что жизнь надоела и проч., а прежде — казенные деньги растратил» (Зап. кн. I, стр. 10).

Текст заметки почти совпадает со словами судебного следователя Лыжина (его разговор с доктором Старченко о «нервном веке» и «неврастениках»).

Вторая запись представляет собой набросок сюжета «По делам службы»: «Земец растратил и застрелился. Я со становым поехал вскрывать его. Приезжаем. Лежит на столе. Поздно. Отложили вскрытие до завтра. Становой уехал к соседу играть в карты, я лег спать. Дверь то открывалась, то закрывалась опять. Казалось, что мертвец ходит» (*Зап. кн. I*, стр. 41). Сделана она после множества заготовок к повести «Три года», в 1893 или в 1894 г., но не раньше апреля 1893 г. В рассказе, в отличие от этой заметки, нет конкретной причины самоубийства земского страхового агента, но, как и в начале первой записи, объяснение самоубийства — в неудовлетворенности жизнью (сотский о судьбе Лесницкого). Два первоначальных героя: доктор, от чьего лица идет речь в заметке, и становой — заменены судебным следователем, с точки зрения которого ведется повествование, и доктором. Уже здесь намечена сюжетная схема первой половины рассказа до возвращения доктора Старченко за Лыжиным.

Третья запись: «Глаза нехорошие, как у человека, который спал после обеда» (*Зап. кн. I*, стр. 48) относится тоже к 1893—1894 гг., но ко времени более позднему. Нескольким видоизмененное сравнение это связывается в рассказе с портретом самоубийцы-неврастеника Лесницкого.

И, наконец, еще одна заметка: «Русский суровый климат располагает к лежанию на печке, к небрежности в туалете» (*Зап. кн. I*, стр. 24) предназначалась для повести «Три года» и входила в журнальный текст главы X (см. т. IX Сочинений, стр. 378). В рассказе «По делам службы» о губительном влиянии суровой природы и длинных зим на характер и умственный рост русского человека говорит доктор Старченко в беседе с фон Тауницем.

Итак, все заготовки, использованные Чеховым в рассказе «По делам службы», сделаны были в 1891, 1893—1894 гг.; с ними перемежаются записи к повести «Три года», рассказам «Анна на пее», «Убийство», «Ариадна», «Дом с мезонином», «Мужики», законченным в 1894—1896 гг. и напечатанным в 1895—1897 гг. 15 января 1894 г. Чехов писал М. О. Меньшикову: «У меня скопилось много сюжетов для повестей и рассказов...». Они отодвинули на несколько лет сюжет о самоубийце, и он был реализован лишь в конце 1898 г.

В письме от 8 ноября 1898 г. сотрудник «Недели» Меньшиков предлагал Чехову дать что-нибудь в журнал! «Другой редактор (. . .) просил при случае напомнить Вам, что есть на свете журнал „Неделя“, который к Вам дружественнее всех изданий, какие существуют, и который может платить à la Маркс. Подписчики „Недели“, столько читающие в ней о Чехове и не видящие его воочию, могут подумать, что это какой-нибудь иностранный писатель» (*ГБЛ*). В письме от 15 ноября 1898 г. Чехов обещал Меньшикову выполнить его просьбу.

«По делам службы», позднее «Душечка» и «Новая дача» написаны в Ялте, на даче К. М. Иловойской «Омюр» (теперь ул. Кирова, д. 32). 14 ноября Чехов отослал в «Русскую мысль» рассказ «Случай из практики». «По делам службы» можно дати-

ровать временем от 15 до 26 ноября. 26 ноября Чехов отправил его Меньшикову с условием: «Рассказ еще не кончен в деталях, отделаю его в корректуре, теперь же сидеть над черновой рукописью не хотелось долго, нездоровится немножко, да и тороплюсь послать. Итак, пожалуйста, корректуру».

1 декабря Меньшиков горячо благодарил Чехова: «Гайдебуров в восхищении и пусть сам благодарит Вас как собственника журнала, но и я крепко Вам благодарен, и читатели наши, конечно. Я сегодня же по телефону просил передать Гайдебурову насчет корректуры (. . .) Завтра буду в Петербурге и послежу за спешной высылкой Вам корректуры» (ГБЛ).

До 9 декабря корректура еще не была доставлена в Ялту; в тот день в письме Чехов высказал свое опасение Меньшикову: «Из редакции „Недели“ ни слуху ни духу, и я уже начинаю побаиваться, что там в редакции не знают моего адреса и послали корректуру в Ниццу». Наверное, Чехов правил корректуру после 10 декабря, что видно из письма к нему Меньшикова от 15 декабря 1898 г.: «Корректурные листы Вы, вероятно, получили и успели уже прочитать их. Гайдебуров вчера тревожился тем, что они не идут» (ГБЛ).

2 февраля 1899 г. Чехов просил Меньшикова прислать ему в Ялту «Книжку Недели» с рассказом, или оттиск, или два оттиска рассказа «для составления „полного“ собрания сочинений», которое он, «по договору, должен представить Марксу в скорейшем времени».

Очевидно, в феврале 1899 г. рассказ и был передан А. Ф. Марксу для тома IX. В конце 1899, начале и августе 1900 г. Чехов получал корректуры VIII и IX томов, «неизвестно для чего набранных»; об этом он уведомлял Маркса 9 августа 1900 г. (см. стр. 370). Но работа над томом IX началась летом 1901 г. Корректуру этого тома Чехов правил в начале октября и ноября 1901 г.: 3 октября А. Ф. Маркс в письме к Чехову выражал надежду, что ему уже доставлен набор тома IX (ГБЛ), а 8 октября из Москвы Чехов заверял секретаря издательства, Л. Е. Розинера, о высылке корректуры «на этих днях». 7 ноября 1901 г. Маркс спрашивал Чехова: «Получили ли Вы сверстанные листы IX тома?», а 13 декабря извещал его: «Сегодня вышел IX том Ваших рассказов...» (ГБЛ).

При включении «По делам службы» в собрание сочинений был снят подзаголовок. Правка в основном касалась пунктуации. Слово «тверезый» исправлено на «чверезый», заменены еще 2 слова и добавлено одно.

Сюжет рассказа о самоубийце-неврастенике складывался постепенно, 5 февраля 1888 г. в письме к Д. В. Григоровичу Чехов назвал причины, по его мнению, влияющие на частые самоубийства русских юношей: «...необъятная равнина, суровый климат, серый, суровый народ со своей тяжелой, холодной историей, татарщина, чиновничество, бедность, невежество, сырость столиц, славянская апатия и проч.»

Возможно, появление первой заметки к рассказу «По делам службы» в записной книжке Чехова 1891 г. связано с книгой старого знакомого Чехова, с которым он в 1884—1885 гг. встречался в Звенигородском уезде Московской губернии, врача

П. Г. Розанова, — «О самоубийстве». М., 1891. Разбирая причины и статистику самоубийств в Москве с 1870 по 1885 г., Розанов делал вывод о людях с «невропатической конституцией», кончающих самоубийством неожиданно, без видимой причины: «После пьянства нейрастения составляет один из губительнейших бичей нашего „нервного века“. В интеллигентных классах она по преимуществу обуславливает самоубийство...» (стр. 78).

В рассказе отразились жизненные впечатления писателя. В 1884 г. Чехов участвовал в судебно-медицинском вскрытии трупа в десяти верстах от Воскресенска вместе с судебным следователем и уездным врачом (письмо к Н. А. Лейкину 27 июня 1884 г.). Приходилось Чехову заниматься этим и позже. 22 февраля 1892 г. он сообщал В. А. Тихонову: «...случается, летом произвожу судебно-медицинские вскрытия, коих не совершал уже года 2—3».

М. П. Чехов, говоря о мелиховском периоде в жизни брата, указал на прототип сотского Лошадина: «... Антона Павловича (. . .) выбрали в члены (Сердудовского) санитарного совета. (. . .) То и дело к нему приходил то с той, то с другой казенной бумагой сотский, и каждая такая бумага звала его к деятельности. Этот сотский, или, как он сам называл себя, „поцкай“, служил при Бавыкинском волостном правлении, к которому в административном отношении принадлежало Мелихово, и он-то и выведен Чеховым в рассказе „По делам службы“ (. . .) Это был необыкновенный человек; он „ходил“ уже тридцать лет, все им помыкали: и полиция, и юстиция, и акцизный, и земская управа, и прочее, и прочее, и он выполнял их требования, даже самого домашнего свойства, безропотно, с сознанием, если можно так выразиться, стихийности своей службы» (*Вокруг Чехова*, стр. 267; см. также: *Антон Чехов и его сюжеты*, стр. 98, 99).

Рассказ был сразу замечен современниками и вызвал общее одобрение.

Первыми откликнулись сотрудники журнала «Неделя». «От члена редакции, читавшего Вашу корректуру, слышал, что рассказ вышел превосходный», — передавал Меньшиков Чехову в письме от 15 декабря 1898 г. (*ГБЛ*; см. также стр. 398). В следующем письме он подробно анализировал «По делам службы»: «Рассказ Ваш вышел очень сильным, „поцкай“ как живой. Читая эту вещь, я всё удивлялся краткости формы и обилию содержания: слова, фразы, слог — всё это у Вас канва, совсем исчезающая под картиною огромной и глубокой жизни. Вся суть в волшебной способности находить в хаосе слов те самые простые словечки и то нечаянное сочетание их, которые — как чиркнутая спичка — сразу освещают множество вещей. Единственное, что мне показалось несколько натянутым в рассказе, это сон следователя. „Мы идем, идем, идем“ — превосходно, но объяснение этого символа и от лица покойника, и книжным языком — мне показалось ненатурально. Но конец опять захватывает силой и естественностью. Это одна из лучших Ваших вещей» (1899, январь; неточно: *Записки ГБЛ*, вып. 8, стр. 49).

И. И. Веселитская-Божидарович (псевдоним — В. Микудич) 16 января 1899 г. делилась с Чеховым впечатлениями от его последнего произведения: «Я хотела было по получении Вашего письма послать Вам „Черемуху“ и уже заклеила ее в бу-

магу, но прочла Ваш чудный рассказ в „Неделе“ и бросила „Чер(емуху)“ в ящик, п(отому) ч(то) все мои писания напомнили мне Ваших девиц в серых платьях, кот(орые) пели дрожащими голосами дуэт из „Пиковой дамы“. Хоть я и не виновата, что могу только петь дрожащим голосом и не могу гудеть, как метель, но все-таки *Вам* посылать что бы то ни было *мое* просто совестно. Прочла В(аш) рассказ 2 раза, потом М(ихаил) Ос(ипович) читал его вслух мне и Яше (сыну Меньшикова), теперь еще прочту его вслух маме и радуюсь за нее, что она еще не читала его и что я так хорошо прочту ей его. (. . .) Вчера ко мне приходила одна гостья, тоже в восхищении от „сотского“. Я похвастала, что напишу Вам, и она просила передать, что она с мужем зачиталась до 2-х часов ночи и что рассказ необыкновенно хорош. Мне смешно, что нет ни одного порядочного критика, кот(орый) толком бы сказал, какой Вы великий талант» (ГБЛ).

30 января М. П. Чехова писала брату: «О тебе говорит вся Москва. Последний твой рассказ в „Неделе“ удивительно хорош!» (Письма к брату, стр. 100).

В письме от 21 февраля 1899 г. из Петербурга А. А. Энгельгардт, напечатавший в журнале «Das literarische Echo», 1899, № 3, характеристику литературной деятельности Чехова, называл «По делам службы» «замечательно поэтичным, хотя, конечно, грустным сочинением» (ГБЛ).

В письме от конца декабря 1901 г. Вс. Э. Мейерхольд выражал восхищение свое и других актеров МХТ рассказами «Дуэль», «Палата № 6», «Черный монах», «По делам службы», в которых «сдавленные слезы (. . .) ласки поэзии и третейное ожидание лучшего будущего... С Вами легче жить, потому что Вы внушаете веру в лучшее будущее и заставляете терпеть» (ЛН, т. 68, стр. 443).

Е. В. Лебедева, читательница из Москвы, почувствовала протест против «будничного ужаса жизни», вложенный в рассказы «Случай из практики», «По делам службы» и «Дама с собачкой». Они «заставляют глубже присмотреться к жизни, к ее сложному, невыносимо тяжелому для иных людей, но людьми созданному механизму, увидеть всю ее неправду, мелочность и условность» (1900 г. — ГБЛ; «Научные доклады высшей школы. Филологические науки», 1964, № 4, стр. 171, 170).

Особенный интерес вызвал рассказ у Л. Н. Толстого. 14 января 1899 г. С. А. Толстая записала в дневнике: «Прекрасно провели вечер: Лев Николаевич читал нам вслух два рассказа Чехова: „Душечка“ и другой, забыла заглавие — о самоубийце, очерк скорей» («Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1897—1909». М., 1932, стр. 109).

Об этом чтении, об отношении слушателей к образу Ильи Лошадина сообщал Чехову И. И. Горбунов-Посадов 24 января 1899 г.: «... в Москве Лев Н(иколаевич) прочел мне (и еще собравшимся людям), чудесно, с увлеченьем прочел два Ваши новые „По делам службы“ и „Душенька“ („Душечка“). Оба очень хороши, особенно даже „Душенька“ (. . .) В „По делам службы“ Лев Н(иколаевич) чудесно читал „цощкого“. Как живой был перед нами этот милейший старичина со своей многострадальной эпопеей административного perpetuum-mobil'a. Вся тццета, бессмыслица распорядительства кабинетных бар над деревнею так

ярко выступает. А метели-зимы как хорошо изображены». Горбунов-Посадов просил «По делам службы» для издания в «интеллигентной серии» «Посредника» (*ГБЛ*; Изв. АН СССР, ОЛЯ, 1959, т. XVIII, вып. 6, стр. 518). Однако Чехов отвечал, что это невозможно — все сочинения проданы А. Ф. Марксу (см. стр. 392).

В библиотеке Толстого (Музей-усадыба «Ясная Поляна») обнаружен экземпляр «Книжек Недели» с многочисленными толстовскими карандашными пометами на тексте рассказа. Большая их часть относится к «цоцкому». Отмечена его доброта, вера в справедливость, покорность, своеобразие речи, детали портрета. Проведена черта против слов о стариках, «у которых в душе каким-то образом крепко сжились пятаалтышничек, стакаччик и глубокая вера в то, что на этом свете неправдой не проживешь». Пометы Толстого убеждают в том, что он имел в виду «цоцкого», записав в дневнике 7 мая 1901 г.: «Видел во сне тип старика, кот[орый] у меня предвосхитил Чехов. Старик был тем особенно хорош, что он был почти святой, а между тем пьющ[ий] и ругатель. Я в первый раз ясно понял ту силу, к[а]кую приобретают типы от смело накладываемых теней» (*Толстой*, т. 54, стр. 97; см. еще заметку в записной книжке 22 апреля 1901 г. — там же, стр. 248). Подчеркнуты также места, где говорится о пробуждении совести у Лыжина, где прорывается авторский голос. Остановили на себе внимание Толстого мастерство отдельных деталей в рассказе и пейзаж. Подчеркивания трех типов: прямая вертикальная черта на полях, горизонтальная линия под словом или строкой и точки на полях слева — свидетельствуют о многократном чтении Толстого, о его внимательном изучении мастерства Чехова.

Критика, высоко оценившая рассказ, старалась определить его место в ряду последних произведений Чехова и объяснить значение образа молодого человека — следователя Лыжина.

А. И. Потапов замечал, что рассказы Чехова, в том числе «По делам службы», знаменуют собой новый этап в его творчестве — переход к анализу общественных противоречий, к большим социальным обобщениям. Прежде Чехов «стоял очень долго как-то в стороне от задач общественного развития, не был „действенным“ (. . .) Индивидуальная психология слишком заслоняла собою на его картинах общественные горизонты» («Из жизни и литературы. А. П. Чехов и публицистическая критика». — «Образование», 1900, № 1, стр. 22). Теперь Чехов стал показывать, что «внешние рамки и отношения „по форме“ душат жизнь или, в лучшем случае, не интересуются ею вовсе. . .». Пример тому — картина жизни в рассказе «По делам службы». Характерная особенность — изображение того, как форма душист деревню, страдающую «от формализма. Ее отношения к этому злу и сильное его разумение хорошо выражены в лице старика согского Лошадина, который больше тридцати лет ходит и терпит, ходит только „для формы“ и будет ходить для формы до конца своих дней» (там же, стр. 27). К достоинствам Чехова Потапов относил чувство гражданской совести. «Но кто так ужасается при виде общественных контрастов, тот никогда не примирится с их существованием», — писал он, — и в этом — «залог жизнечности его таланта» (стр. 28).

А. И. Богданович говорил о необходимости для деревни «здоровых, сильных людей», которые приняли бы непосредственное участие в борьбе с неурядицами современной жизни. По мнению Богдановича, причина страданий новых чеховских героев — их классовое отчуждение; рассказ «По делам службы» «проникнут одним общим для них настроением печали (. . .) и тоски о лучших, человеческих отношениях между людьми, теперь такими чуждыми друг другу, разрозненными и одинокими» (А. Б. Критические заметки.— «Мир божий», 1899, № 2, стр. 7).

Основное внимание уделил Богданович образу Лыжина; в отрыве от народной жизни он усмотрел несостоятельность этого героя и временный характер его протеста против несраведливого общественного устройства: «Лыжин — только личичный представитель молодых деятелей в русском вкусе. В годы университетской жизни человек кипит, горит, всем сердцем чувствует свою связь с общей массой не только своего народа, но даже всего мира. Мысли, навеянные сном Лыжина, — это постоянный предмет разговоров и споров о всяких „измах“. Но вот человек вступает в жизнь, сталкивается в действительности с „социальными факторами“ (. . .) и ничего не понимает, не видит и не слышит. (. . .) Как и огромное большинство, он подчинится условиям жизни, где нет места этим важным мыслям, где нет почвы для их проведения в жизнь» (стр. 9). Заслуга Чехова в том, что он пробуждает общественную совесть: «Мучительно-тревожное настроение чуткого и вдумчивого художника отдается в душе читателя, будит его притупившуюся к житейским неурядицам чувствительность, заставляет дать отчет в своей жизни и деятельности. Художник является в данном случае выразителем тех глубоко скрытых общественных настроений, которые назревают в массе общества, еще бессознательных, но уже властных и многозначительных. „Так жить дольше нельзя“, — этот горький вывод воплощается в ряде грустных картин, понятных всем, кто еще имеет уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть» (стр. 10).

М. Столяров тоже объяснял преходящий характер протеста Лыжина односторонним развитием, отрывом от реальной действительности, но, в отличие от Богдановича, намечал перспективу будущей духовной деградации этого интеллигента: «Пройдет немного лет, и окружающая обстановка не в состоянии будет вызвать даже мимолетного раздумья. Лыжин превратится в Старцева, совершенно изолировавшегося от живой жизни и создавшего себе особый интерес в раскладывании и подсчитывании кредитных бумажек, собранных во время визитов» (Мих. Столяров. Новейшие русские новеллисты. Киев — Петербург — Харьков, 1901, стр. 62).

В. Мирский полемизировал с теми, кто упрекал Чехова в общественном безразличии, в отсутствии идеалов, в объективизме. Он утверждал, что авторская позиция видна в «тоскливом тоне рассказов», в «грустной мелодии фраз», во внимании к тому, а не другому явлению жизни. Критик предупреждал тех, кто хочет найти у Чехова привычные формы выражения авторского отношения к изображаемому («лирические отступления», «вставки „от себя“»): «...вы найдете у него поражающую картину нашей

жестокой, монотонной жизни — картину, пробуждающую в вас чувство отвращения и ужаса...» «В рассказе „По делам службы“ даже сытому, довольному человеку, у которого всё впереди, чувствуется, как жалуется угнетенные жизнью люди...» (В. М и р с к и й. Наша литература. (О некоторых мнениях г. Подарского об А. П. Чехове). — «Журнал для всех», 1902, № 3, стлб. 361, 362).

О философском смысле «По делам службы» писал А. Л. Волынский (А. Л. Флексер): «Рассказ проникнут философией русской действительности в проявлениях ее серого, массового, безвестного труда, в едва уловимых законах ее долготерпеливого и многострадального существования. То, что поверхностным интеллигентным людям, приезжающим в деревню по делам службы, кажется отрывочным и случайным, осмыслено художником как нечто единое и цельное» («Борьба за идеализм. Критические статьи»). (СПб., 1900, стр. 342). Волынский отмечал и необычайный взлет мастерства Чехова. Рассматривая «По делам службы» и маленькую трилогию, «Ионыч», «Случай из практики», «Новую дачу», он говорил, что «„По делам службы“ — одна из самых ярких вещей в этом цикле рассказов Чехова» (там же, стр. 341). Сопоставляя Чехова с Толстым (возможно, имеется в виду «Хозяин и работник», 1895), критик делал вывод о совершенстве стиля Чехова: «Описание ночного переезда по заметенной вьюгою дороге достойно Толстого: неожиданные, смелые эпитеты, целый вихрь тонких деталей, схваченных художником в поэтическом полете, и, в отличие от Толстого, легкость и беглость стиля, без его подъемов и провалов. Чудесное описание, единственное в своем роде в молодой русской литературе» (там же, стр. 341—342). Как и Меньшиков, Волынский считал недостатком рассказа «отдельные рассудочно-аллегорические штрихи» (там же, стр. 342).

Волынский (А. С. Глинка) находил, что настроение Чехова последнего времени стало сказываться «в общем тоне рассказов, в заключительных авторских вставках (. . .) в многочисленных тирадах героев, представляющих собой подчас целые гимны во славу всеоправдывающего пантеизма». Слова Лыжина, — утверждал он, — это «давняя, затаенная мысль самого Чехова, которую он всё настойчивее, всё определеннее вкладывает в уста своих героев» (В о л ж с к и й. Очерки о Чехове. СПб., 1903, стр. 35, 36).

При жизни Чехова рассказ переводился на сербскохорватский и чешский языки.

Стр. 89. ... *окладные листы*... — бумаги о денежных повинностях, земских сборах с каждой податной единицы.

Стр. 91. *Помяни, господи, душу рабы твоей Юлии, вечная память*. — Слова из молитвы по умершем — «Последование по восходе души от тела» («Псалтырь»).

Стр. 94. «*Брады пушистые взрываю*...» — Строка из романа Пушкина «Евгений Онегин» (гл. V, строфа 2).

Стр. 96. «*Un petit verre de Cliquot*» — Из рефрена вальса А. Райналя «*La valse du Cliquot*». В русском переводе И. И. Павлова — «Клико. Веселый вальс». Для пения с акк. ф-н. СПб., изд. Иогансона, 1892.

Стр. 97. ...*дуэт из «Пиковой дамы»*. — Дуэт Лизы и Полины («Уж вечер... облаков померкнули края») на слова элегии Жуковского «Вечер» из оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама» (1890 г.).

ДУШЕЧКА

Впервые — «Семья», 1899, № 1, 3 января (ценз. разр. 31 декабря 1898 г.), стр. 2—4, 6. Подзаголовок: Рассказ Антопа Чехова. Подпись: Антон Чехов.

Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Печатается по тексту: Чехов, т. IX, стр. 289—303.

В 1893 или в 1894 году в записной книжке Чехова появилась заметка, ставшая зерном рассказа «Душечка»: «Была женой артиста — любила театр, писателей, казалось, вся ушла в дело мужа, и все удивлялись, что он так удачно женился; но вот он умер; она вышла за кондитера, и оказалось, что ничего она так не любит, как варить варенье, и уж театр презирала, так как была религиозна в подражание своему второму мужу» (*Зап. кн. I*, стр. 48). В рассказе вместо кондитера — лесоторговец, позднее — ветеринар; в конце — мальчик Саша, которого нет в записи.

К образу Душечки протягиваются нити от начатой в конце 80-х годов, но оставленной повести; от нее уцелели записи на отдельных листах (*ЦГАЛИ*, ф. 549. оп. 1, ед. хр. 198, лл. 2—7 и Музей-заповедник А. П. Чехова в Мелихове). Мотивы повести использованы также в «Рассказе неизвестного человека» и повести «Три года». В записях намечены черты облика некой Ольги Ивановны, обладающей редкой способностью любить. Образ этот предназначался для повести «Три года», но не вошел в нее, а получил развитие в рассказе «Душечка».

Одна из таких записей, тематически связанная с рассказом «Душечка», созвучна рассуждениям Григория Ивановича Орлова из «Рассказа неизвестного человека»: «Внутреннее содержание этих женщин так же серо и тускло, как их лица и наряды; они говорят о науке, литературе, тенденции и т. п. только потому, что они жены и сестры ученых и литераторов; будь они женами и сестрами участковых приставов или зубных врачей, они с таким же рвением говорили бы о пожарах или зубах. Позволять им говорить о науке, которая чужда им, и слушать их, значит льстить их невежеству» (*ЛССП*, т. XII, стр. 300—301).

Об эволюции женского образа в заметках и записях Чехова, а также в вариантах «Рассказа неизвестного человека» и повести «Три года», образа, нашедшего воплощение в характере Ольги Семеловны, см. в статье: А. С. М е л к о в а. Творческая судьба рассказа «Душечка». — Сб. «В творческой лаборатории Чехова». М., 1974, стр. 82—88. См. также: З. П а п е р н ы й. Записные книжки Чехова. М., 1976, стр. 291—312.

Еще 3 ноября 1892 г. Н. Е. Эфрос, секретарь редакции газеты «Новости дня», приглашал Чехова к участию в еженедельном журнале «Семья», который начал издаваться с 1 ноября при этой газете («Левенсоном, а на самом деле — Липскеровым»). Он заверял, что «журнал будет скромный, но приличный, чистый, чест-

ный и живой». В мае 1897 г. Эфрос вновь и вновь просил Чехова дать рассказ, надеясь поднять репутацию журнала: «...появивсь Ваше имя в „Семье“ — брешь будет пробита, и следом за Вами пойдут многие» (ГБЛ).

Письма Чехова к Эфросу за это время не сохранились. Но по письму Эфроса (от 18 июня 1898 г. — ГБЛ) можно судить о том, что в июне 1898 г. они встречались в Москве. Возможно, тогда Чехов обещал дать рассказ в «Семью». Позднее Эфрос напомнил об этом: «Вспомните, дорогой Антон Павлович, о своем обещании, которым Вы так меня обрадовали, и дайте что-нибудь мне. Вы обещали так категорически, и я в полной уверенности, что не обидите меня и я получу от Вас рассказ, маленькую повесть, что хотите» (б/д. — ГБЛ).

Вероятно, рассказ написан между 26 ноября и 7 декабря 1898 г.: 26 ноября Чехов отослал в Петербург «По делам службы», а 9 декабря рассказ «Душечка» был получен Эфросом; в тот день он телеграфировал: «Великое спасибо чрезвычайно обязали бы разрешением поспешить в рождественском номере газет(ы). Деньги вышлагаем» (ГБЛ). Ответ Чехова неизвестен, но он был против помещения рассказа в газете, что явствует из письма Эфроса, отправленного вскоре после 9 декабря: «Все Ваши желания, конечно, исполню в точности: рассказ помещу в один прием, в „Семье“, и не в рождеств(енском) номере („Новостей дня“), раз Вы этого не хотите. (. . .) Корректуру вышлю завтра. Будьте добры, дорогой, вышлите ее так, чтобы 20-го я ее получил обратно, не позднее» (ГБЛ).

Очевидно, от М. П. Чеховой о «Душечке» узнал Е. З. Коновизер, соиздатель газеты «Курьер». 16 декабря он телеграфировал в Ялту: «Редакция „Курьера“ уполномочила меня слезно просить Вас прислать рассказ новогодний номер внимлите просьбе не откажите» (ГБЛ).

Ответ на телеграмму Чехов дал в письме к сестре от 17 декабря 1898 г.: «Я охотно бы послал что-нибудь в „Курьер“, конечно, в тысячу раз охотнее, чем в „Семью“, но в „Курьере“ я не могу сотруждать, пока с „Русских ведомостей“ не снимут цензуру. Если я стану работать у конкурента „Русских ведомостей“, то они, т. е. „Русские в(едомости)“, дурно это истолкуют и обидятся».

В. А. Гольцев, печатавшийся в «Курьере», писал Чехову 17 декабря 1898 г.: «Дорогой друг, что случилось? Неужели ты попал в „Семью“ Липскерова? Сегодня Коновизер мне об этом сказал. Неужели „Новости дня“ достойнее „Курьера“? Мы почувствовали и личное оскорбление» (ГБЛ, ф. 77, к. X, ед. хр. 42).

Впоследствии и М. О. Меньшиков выразил сожаление, что рассказ «Душечка» опубликован в «Семье», а не в «Неделе»: «Такие вещицы, например, как „Душечка“, затерявшаяся в „Семье“, и даже самые крохотные Ваши рассказы были бы приняты с величайшей радостью» (письмо от 14 сентября 1899 г. — ГБЛ).

«И, действительно, Эфрос не по чину берет», — замечал П. А. Сергеевко в письме к Чехову от 3 февраля 1899 г. (ГБЛ).

Чехов был недоволен нечеткостью работы редакции. 20 декабря 1898 г. он отвечал Эфросу: «...уже 20-е, вечер, уже приплыли московские газеты от 18-го, а из Вашей конторы, как говорится,

ни слуху ни духу. Очевидно, контора не исполнила Вашего распоряжения. Как бы ни было, не сердитесь, если корректуру получите не к 20-му. Не моя вина. Сведений о получении Чеховым корректуры, ее правке и отсылке в переписке нет.

В своих письмах Чехов жаловался на Эфроса: Вл. И. Немировичу-Данченко сообщал, что Эфрос обращается с ним «просто по-свински» (29 января 1899 г.); А. С. Лазареву (Грузинскому): «...никак не упрощу Эфроса прислать мне номер журнала с моим рассказом. Раз пять писал — и никакого ответа» (10 февраля 1899 г.).

Рассказ был послан А. Ф. Марксу для тома IX сочинений. (О работе Чехова над корректурой этого тома см. примечания к рассказу «По делам службы».)

Помещая «Душечку» в собрание сочинений, Чехов связ подзаголовок. Им была проведена небольшая стилистическая и синтаксическая правка. В речи Ольги Семеновны определение мальчика «умный» заменено на «уменький», «повстречалась» — на «повстречалася», более просторечное; вместо «Часто заболевают» стало: «То и дело слышишь, люди заболевают», что еще больше подчеркнуло привычку героини прислушиваться к чужим мнениям. Вместо «Андреевич» в двух случаях — разговорное «Андрейч». Исправлены опечатки.

Слова Чехова об опечатках в тексте рассказа приведены в воспоминаниях М. Горького (см. ниже, стр. 411).

В повествовании о неудачнике-антрепренере Кукине отразилось состояние русского опереточного театра. В 1890-е годы оперетта в России переживала период упадка. В газете «Курьер» (1899, № 64, 6 марта, под рубрикой «Театр и музыка», стр. 3) говорилось, что «за минувший год» «несли убытки большей частью опереточные труппы...»

В какой-то мере прообразом Кукина мог послужить ялтинский антрепренер, арендовавший городской театр и курзал, руководитель опереточной труппы С. Н. Новиков.

В Ялте не было постоянной труппы, и в течение осени 1898 г., после приезда Чехова в Ялту, там давали спектакли приезжие артисты: с 22 сентября по 8 октября — Общество артистов итальянской оперы; с 11 по 24 октября — Товарищество русских драматических артистов; с 29 ноября и до конца года — Товарищество русско-малорусских артистов под управлением И. Ю. Португалова; с 12 ноября по 6 декабря гастролировал цирк Мануэля Герцога, давал представления клоун Дуров (см.: «Крымский курьер», 1898, № 11—118, 15 августа — 31 декабря; ср. в рассказе — стр. 104, строки 27—29).

Публика в Ялте шла в театр неохотно, и С. Н. Новиков терпел постоянные убытки. Позднее Чехов сообщал Вл. И. Немировичу-Данченко (10 марта 1900 г.): «...полных сборов в театре никогда не бывает, и театр пустует». 11 октября 1898 г. газета «Крымский курьер» так писала о гастрольях итальянцев: «Злополучная итальянская труппа покончила у нас свои печальные представления».

Последние спектакли проходили у них весьма трагически. Отсутствие сборов и поэтому отсутствие денег дошло до того, что

один из спектаклей труппы (. . .) мог окончиться только при благосклонном содействии... полиции» (Z. Злобы дня.— № 54). Подобная судьба ждала и следующую труппу: «В субботу, 24 октября (. . .) закончилось свои спектакли Товарищество русских драматических артистов, не будучи в состоянии бороться „с равнодушием публики“. Стараясь применитья ко вкусам публики, наполняющей театр во время представления опереток, труппа, прилично сыгравшая сначала несколько драм, перешла на легкую комедию и фарсы. (. . .) комедии и фарсы тоже не посещались публикой» (там же, б/а, отдел «Театр», № 66, 27 октября). То же было и с малорусской труппой. «Пьеса привлекла в театр немного публики»,— свидетельствовал И. Зет (там же, № 114, 24 декабря, отдел «Театр») (ср. в рассказе — стр. 102, строки 19—24; стр. 104, строки 10—14, 17—18).

Вопрос о городском театре и курвале не сходил со страниц «Крымского курьера» осенью 1898 г., когда Чехов работал над «Душечкой».

Упоминаемые в рассказе оперетты в 1898 г. после приезда Чехова в Ялте не ставились, но шли в Москве, в театрах: «Эрмитаж» (Каретный ряд, дир. Я. В. Щукин), «Буфф» (летнее помещение — сад «Аквариум», угол Тверской и Садовой, и зимнее — Камергерский переулок, дир. Ш. Омон) и Интернациональном театре В. Н. Шульца — Русская комическая опера и оперетта, под управлением А. Э. Блюменталья-Тамарина (Б. Никитская ул.).

Оперетта «Фауст наизнанку» была поставлена 7, 9, 12 и 23 июля в театре «Эрмитаж», 26 октября и 1 ноября в театре «Буфф», 12 ноября — в Интернациональном театре В. Н. Шульца («Новости дня», 1898, № 5424, 5426, 5429, 5440, 5535, 5541, 5552).

Оперетта «Орфей в аду» была возобновлена 24 мая в театре «Эрмитаж», затем шла 25 мая, 8 июня, 4 октября, 8 ноября в театре «Буфф» и 11 октября — в Интернациональном театре В. Н. Шульца («Новости дня», 1898, № 5380, 5381, 5395, 5513, 5548, 5519).

Газета «Новости дня», в разделе «Театральная хроника», помещала отзывы о постановках этих пьес (№ 5522 и 5536, 13 и 27 октября). Чехов постоянно следил за этой газетой. «Читаю „Новости дня“, которые покупаю по гривеннику...»,— писал он Е. З. Коновицеру 21 сентября 1898 г.

В сюжетную ткань рассказа вплетаются темы, злободневные для ялтинской жизни того времени. В разговорах Оленьки об отсутствии правильного ветеринарного надзора в городе, о городских боянях, о частых болезнях слышатся отзвуки судебного дела, начатого городской думой 13 апреля 1898 г. и законченного 3 марта 1900 г. («Дело о состоянии ветеринарного санитарного надзора в городе Ялте». — Крымский областной государственный архив. Симферополь, ф. 522, оп. 1, № 1000). Обитатели дачи «Омюр» были дружны с Д. А. Усатовым, одним из гласных городской думы, бывшим оперным певцом (см. о нем ниже), и могли от него узнать о ходе этого дела.

В «Крымском курьере» постоянно публиковались отчеты о ветеринарном обследовании животных, о беспорядках на городской бойне (см., например, № 93 и 95, 29 ноября и 2 декабря 1898 г.).

Рассуждения Душечки о том, что «классическое образование

лучше реального», отражают слухи об ожидавшихся в конце 1898 г. преобразованиях в системе просвещения: «По слухам, в конце настоящего года Министерством народного просвещения будет рассматриваться вопрос о разрешении лицам, окончившим реальные училища, поступать в университеты, за исключением медицинского и юридического факультетов, без дополнительных экзаменов», — говорилось в «Крымском курьере» (6/а. «Ялта, 4 октября». — «Крымский курьер», 1898, № 48, 4 октября).

Возможно, в заключительных сценах рассказа в какой-то степени преломились воспоминания Чехова о сыне М. В. Киселевой, Сереже, жившем у Чеховых в 1888 г.: «Каждое утро, лежа в постели, я слышу, как что-то громоздкое кубарем катится вниз по лестнице и чей-то крик ужаса: это Сережа идет в гимназию, а Ольга провожает его», — писал Чехов М. В. Киселевой 2 ноября 1888 г.

Рассказ Чехова вызвал горячий отклик в обществе, причем мнения о героине были резко противоположны.

Уже 4 января 1899 г. «усердная читательница и почитательница» Чехова, Е. Ламакина из Москвы, просила объяснения: «...что именно Вы хотели сказать этим рассказом. Я привыкла — читая Ваши произведения последних лет — всегда выносить более или менее ясное представление о цели — ради которой писался Вами тот или другой рассказ (. . .) Вы доставите мне в целому кружку Ваших почитателей большое одолжение, если не откажете хотя в нескольких строках ответить мне — почему Вы остановились на подобном типе женщины, что подобный тип знаменует собою в современной жизни, неужели Вы считаете его положительным, благодаря только тем сторонам души, которые открылись в героине во второй половине ее жизни, — считаете ли Вы всю первую половину повести типичной для современного брака, для современной девушки среднего класса и образования (. . .) Должна Вам сознаться, что во мне и в большей части моего кружка тип, выведенный Вами, вызвал не столько сочувствие, сколько вполне отрицательное отношение, а во многих даже насмешку и недоумение — почему Вы сочли нужным обращать свое внимание на подобных женщин» (ГБЛ).

Напротив, писательница Е. М. Шаврова, а также все ее родственники и их друзья встретили «Душечку» восторженно. В письме от 10 января 1899 г. из Москвы она делилась с Чеховым своими впечатлениями: «От „Душечки“ здесь все в восторге, и такая она, право, милая! У нас даже произошла семейная распря, между сестрами, из-за первого номера „Семьи“» (ГБЛ).

23 февраля ее сестра, А. М. Шаврова, в письме к Чехову выразила свое восхищение рассказом и типичностью характера Ольги Семеновны: «В третий раз прочла Ваш прелестный рассказ „Душечка“ и в полном от него восторге. Какая прелесть! Какая прелесть! Когда читаешь этот рассказ, то так и видишь перед собой симпатичную „Оленьку“ и невольно начинаешь ее искать среди своих знакомых (. . .)»

Весь истрепанный лежит у меня на столе № „Семья“. „Душечку“ читали мы все по несколько раз (. . .) и каждый раз всё с тем же громадным интересом. А знакомые, которые не получают „Семьи“ и которым я давала читать этот рассказ, тоже в полном от него восторге и благодарили меня» (ГБЛ).

3 февраля 1899 г. П. А. Сергеевко сообщил Чехову свое мнение о рассказе: «На меня „Душечка“ произвела впечатление прекрасной дружеской беседы, после которой не осталось никаких ведомоловок, ничего недосказанного» (ГБЛ).

В письме от 10 мая 1899 г. К. М. Иловайская, владелица дачи «Омюр», писала, что ей прислали «Душечку» — и «теперь вся Ялта ее читает. Даже Усатов между тепшкой у себя и пельменями у меня читал „Душечку“ внопыхах и, прочитав ее, все-таки не смягчился нравом и по-прежнему громит и ругается, хотя уверяет, что она произвела на него впечатление и что все мужчины — подлецы, а все женщины — прелестные создания» (ГБЛ).

З. Г. Морозова вспоминала: «Я восхищалась (. . .) рассказом „Душечка“, вышила Чехову подушечку с надписью „За Душечку“ и послала ее ему в Ялту. (. . .) Чехов ответил мне: „Моя Душечка не стоит такой подушечки“; тут же он мне писал, что многие строгие дамы были недовольны его рассказом: „Пишут мне сердитые письма“» («Воспоминания об А. П. Чехове». — «Литературный музей А. П. Чехова. Таганрог. А. П. Чехов. Сборник статей и материалов». Вып. 2. Ростов н/Д., 1960, стр. 306).

По совету Л. Н. Толстого, его любимый чеховский рассказ был прочитан в кружке близкого его знакомого, судебного деятеля Н. В. Давыдова (у него собирались артисты, писатели, бывали А. И. Сумбатов-Южин и А. Ф. Кони). Об этом чтении вспоминал профессор медицинского факультета Московского университета А. Б. Фохт: «Читать поручили мне. Этот рассказ оценили вполне. Чехов думал сделать свою героиню смешной, но она вышла симпатичной, получилась непосредственный женский тип, исполненный детской доброты. Талант не позволил! Талант оказался сильнее писателя, и Ключевский, присутствовавший при чтении рассказа, заметил: „Вот, какова сила таланта!“» (И. В. Федоров. Из воспоминаний профессора А. Б. Фохта об А. П. Чехове и Московском университете. — «Клиническая медицина», 1960, № 1, стр. 145—146).

Вл. И. Немирович-Данченко увидел в характере Ольги Семеновны воплощение самых типических женских качеств, о чем и писал Чехову 7 ноября 1903 г.: «Недавно прочел в первый раз „Душечку“. Какая прекрасная штука! „Душечка“ — это не тип, а целый „вид“. Все женщины делятся на „душечек“ и какой-то другой вид, причем первых — 95%, а вторых только 5. Прекрасная вещь» (ГБЛ; Ежегодник МХТ, стр. 166).

Г. Н. Федотова выбрала «Душечку» для публичного чтения в Московской консерватории. «Вчера (. . .) Федотова читала твою „Душечку“», — сообщала М. П. Чехова брату 15 марта 1899 г. (Письма к брату, стр. 110).

И. А. Бунин причислял «Душечку» к лучшим произведениям Чехова (ЛН, т. 68, стр. 677).

Особенный восторг вызвал рассказ и образ героини у Толстого, нашедшего в «Душечке» художественное подтверждение своим мыслям о назначении женщины. В течение января 1899 г. он читал «Душечку» несколько раз вслух в московском доме.

С. А. Толстая сделала в дневнике записи о трех чтениях: 14, 15 и 24 января (запись 14 января см. в примечаниях к рассказу «По делам службы») («Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1897—1909». М., 1932, стр. 109, 112).

Об этих чтении сохранился ряд свидетельств. Сергеевко вспоминал, что журнал «Семья» принес в дом Толстых он зимой 1899 г.: «...после чтения Л. Н. с одушевленным заговором о „Душечке“ и цитировал на память целые фразы.

— Как метко и хорошо, — говорил он, — схвачен Чеховым язык телеграфиста! И эти „хохороны“! И это истинное женское чувство, так сжато и так мастерски выраженное в „Душечке“! Превосходный рассказ! И как истинное художественное произведение, оно, оставаясь прекрасным, может производить различные эффекты.

Через некоторое время к Толстым пришли свежие гости. Л. Н. поздоровался и спросил:

— Читали новый рассказ Чехова — „Душечку“? Нет? Хотите послушать?

И Л. Н. опять начал читать „Душечку“ («О Чехове. Воспоминания П. А. Сергеевко». — «Нива. Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения», 1904, № 10, стлб. 251—252; см. также с некоторыми изменениями: П. Сергеевко. Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой. Изд. 2-е. М., 1908, стр. 54—56. См. о том же: П. А. Сергеевко. Записки. — «Литературное наследство». М., т. 37—38, ч. II, 1939, стр. 540. Та же оценка Толстым рассказа — в письме Сергеевко к Чехову от 3 февраля 1899 г. — ГБЛ).

А. Б. Гольденвейзер описал мастерское чтение Толстым этого рассказа: «Я раза три слышал „Душечку“ в его чтении. Читал Лев Николаевич чудесно. Очень просто, как будто сам что-то рассказывал (. . .) Единственным минусом его чтения было то, что он не всегда мог оставаться беспристрастным. В комических местах иногда начинал сам до слез смеяться, а в трогательных обливался слезами» («Вблизи Толстого». М., 1959, стр. 159).

Но однако не все слушатели Толстого разделяли его оценку образа Ольги Семеновны. Мнение «одной дамы, очень дружной с Толстым», передал Чехову Меньшиков в письме от 19 января 1899 г.: Чехов «слишком с юмористической стороны смотрит на женщину, выставляя ее доброй до глупости, не имеющей ничего своего, смотрящей на всё глазами мужчины. Написано очень хорошо, талантливо...» (ГБЛ).

И. П. Горбунов-Посадов несколько иначе ответил тот же факт в письме к Чехову от 24 января 1899 г.: «Это гоголевская совершенно вещь. „Душенька“ („Душечка“) останется так же в нашей литературе, как гоголевские типы, ставшие нарицательными. Лев Н(иколаевич) в восторге от нее. Он всё говорит, что это перл, что Чехов — это большой-большой писатель. Он читал ее уже чуть ли не 4 раза вслух и каждый раз с новым увлечением. Ах, как он чудно читает и как мне хотелось, чтобы Вы были в эту минуту тут и видели его веселое, милое лицо и слышали, с какой любовью он читает! Какая-то дама сказала, что „Душенька“ написана очень мило, но что это насмешка обидная над женщиной. Она совсем не поняла рассказа. По-моему, отношение автора к Душеньке никак не насмешка, это милый, тонкий юмор, сквозь который слышится грусть даже над Душенькою, а их тысячи...» (ГБЛ; Изв. АН СССР, ОЛЯ, 1959, т. XVIII, вып. 6, стр. 518).

27 января Чехов ответил Горбунову-Посадову из Ялты: «Когда писал „Душечку“, то никак не думал, что ее будет читать

Лев Николаевич. Спасибо Вам; Ваши строки о Льве Николаевиче я читал с истинным наслаждением». Сам Чехов назвал рассказ юмористическим (письмо к А. С. Суворину от 27 января 1899 г.).

Дочь Толстого, Т. Л. Толстая, восхищаясь мастерством психологического анализа Чехова, сообщала ему в письме от 30 марта 1899 г.: «Ваша „Душечка“ — прелесть! Отец ее читал четыре вечера подряд вслух и говорит, что поумнел от этой вещи. (. . .) в „Душечке“ я так узнаю себя, что даже стыдно. Но все-таки не так стыдно, как было стыдно узнать себя в „Ариадне“» (*ЛН*, т. 68, стр. 872).

Чехов передавал эти отзывы М. П. Чеховой (его письмо от 4 февраля 1899 г.).

И в последующие годы Толстой неоднократно возвращался к этому рассказу. См. письмо А. С. Бутурлина к П. А. Строеву из Ясной Поляны от 15 сентября 1902 г. (*ГМТ*; опубл. неточно: «Литературное наследство», № 22—24, 1935, стр. 779).

В Гаспре (1901—1902 гг.), в присутствии М. Горького, у Толстого возник разговор с Л. А. Сулержицким: «У Чехова есть прекрасный рассказ „Душечка“, — ты почти похож на нее.

— Чем? — спросил Сулер, смеясь.

— Любить — любишь, а выбрать — не умеешь и уйдешь весь на пустяки» («Лев Толстой». — *Горький*, «Наука», т. 16, стр. 311).

М. Горький вспоминает: «Как-то при мне Толстой восхищался рассказом Чехова, кажется — „Душенькой“. Он говорил:

— Это — как бы кружево, сплетенное целомудренной девушкой; были в старину такие девушки-кружевницы, „вековухи“, они всю жизнь свою, все мечты о счастье влагали в узор. Мечтали узорами о самом милом, всю неясную, чистую любовь свою влетали в кружево.

Толстой говорил очень волнуясь, со слезами на глазах.

А у Чехова в этот день была повышенная температура, он сидел с красными пятнами на щеках и, наклоня голову, тщательно протирал пенсне. Долго молчал, наконец, вздохнув, сказал тихо и смущенно:

— Там — опечатки...» («А. П. Чехов». — *Горький*, «Наука», т. 6, стр. 61).

В январе 1903 г. чтение Толстым «Душечки» слушал Х. Н. Абрикосов, о чем 27 января 1903 г. писал отцу — Н. А. Абрикосову («Государственный литературный музей. Летописи». М., 1948, кн. 12, т. II, стр. 441).

И. Л. Толстой сообщил Чехову 25 мая 1903 г., что Толстой отнес «Душечку» к своим любимым рассказам Чехова «1-го сорта» (см. т. III Сочинений, стр. 537).

В конце декабря 1904 г. Толстой просил корреспондента «Руси» Н. Попова зайти в Петербурге в издательство А. Ф. Маркса и узнать, можно ли перепечатать в «Круге чтения» рассказы Чехова «Беглец» и «Душечка» (Д. П. Маковицкий. Яснополяские записки. 1904—1910 годы. Вып. 4. М., 1922, стр. 55). 5 января 1905 г. Попов отвечал, что в издательстве хотели бы иметь «и письменный запрос с его (Толстого) стороны» (*ГМТ*). По этому поводу Толстой обращался к Л. Ф. Маркс, вдове А. Ф. Маркса, с письмом от 9(?) февраля 1905 г. (*Толстой*, т. 75, стр. 218).

Горбунов-Посадов, читая корректуру «Круга чтения», в первых числах января 1905 г. в письме к Толстому советовал не включать «Душечку» в «Круг чтения»: «Это превосходная вещь, но я боюсь, что он может подать повод к самым разномысленным толкованиям (. . .) Да, главное, как-то и не в тоне „Душечка“ как будто со всею книгой, слишком шутлив тон ее, а это как будто не идет к „Кругу чтения“» (ГМТ; опубл. неточно: *Толстой*, т. 42, стр. 610). 5 января 1905 г. по поручению Толстого Горбунову-Посадову ответил Д. П. Маковицкий: рассказ этот «надо поместить, Лев Николаевич настаивает на этом» (*Толстой*, т. 42, стр. 566). И Толстой добавил 6 января: «К Душечке мне бы хотелось написать предисловие, объясняющее ее значение» (*Толстой*, т. 75, стр. 199).

5 января 1905 г., передавая Маковицкому содержание рассказа, Толстой так его истолковал: «Чехов был тупого мировоззрения, но чуткий художник; как Мопассан, он своим поэтическим чутьем уловил истину. Он шутя хотел рассказать про любовь Душечки, но привязанность, любовь к любимому существу — самое трогательное, что есть в женщине». 8 января 1905 г. он говорил П. А. Буланже о действительной силе юмора Чехова: «И именно потому, что это описано с юмором, оно мило, деятельно так, как Карл Иванович» (в «Детстве» Л. Н. Толстого) (Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. Вып. 1, стр. 69, 78). См. также: А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., 1959, стр. 158—159.

6 февраля 1905 г. Толстой уже читал вслух «Душечку» и свое «Послесловие» к ней. «Опять был тронут до глубины души. (. . .) Потом Л. Н. спросил, не будет ли обидно почитателям Чехова, что он пишет про него: что он хотел высмеять женщину, но что бог поэзии взял верх, и он описал их прелесть, самопожертвование» (Д. П. Маковицкий. Вып. 2, 1923, стр. 30).

21 февраля 1905 г. Толстой написал новое окончание «Послесловия к рассказу Чехова „Душечка“». В нем он привел библейскую легенду: моавитский царь Валак пригласил к себе Валаама, чтобы тот проклял народ израильский, но Валаам благословил его. «Это самое случилось с настоящим поэтом-художником Чеховым, когда он писал этот прелестный рассказ „Душечка“ (. . .) Он, как Валаам, намеревался проклясть, но бог поэзии запретил ему и велел благословить, и он благословил и невольно одел таким чудным светом это милое существо (. . .) Рассказ этот оттого такой прекрасный, что он вышел бессознательно» (*Толстой*, т. 41, стр. 374, 377).

Вероятно, после этого Толстой внес исправления в рассказ. Вычеркнул места, которые, по его мнению, обнаруживали проницательное отношение автора к героине, например: «А как это ужасно не иметь никакого мнения!» Выбросил указание на душевное состояние Оленьки после смерти второго мужа: «И так жутко, и так горько, как будто объелась полыни». А также снял два момента, отражающих внимание мужчин к ее физической красоте. Толстой использовал текст «Полного собрания сочинений» Акт. П. Чехова. Изд. 2-е, А. Ф. Маркса. СПб., 1903 («Приложение к журналу „Нива“ на 1903 г.»), т. 12. На стр. 14, в начале рассказа, запись Маковицкого: «Отмечено собственноручно Львом Николаевичем, Февр. 1905».

Описание исправлений Толстого см.: А. Е. Грузинский и Яснополянская библиотека. — «Толстовский ежегодник 1912 г.». М., 1912, стр. 139—140. См. также: «Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне». I. Ч. 2. М., «Книга», 1975, стр. 440.

С сокращениями текст «Душечки» опубликован в кн.: «Круг чтения», т. 1. М., Изд. «Посредника», 1906, стр. 421—433.

18 марта 1905 г. Толстой заносит в дневник: «Тургенев написал хорошую вещь: Гамлет и Дон-Кихот и в конце присоединил Горацио. А я думаю, что два главные характера это — Дон-Кихот и Горацио, и Санхо Пан(са), и Душечка. Первые большею частью мужчины; вторые большей частью женщины» (Толстой, т. 55, стр. 129).

Ряд отзывов Толстого о «Душечке» см. также в книге В. Лакшина «Толстой и Чехов». Изд. 2-е. М., 1975, стр. 81—84, 86—88, 97.

В критических работах образ «Душечки» рассматривался как тип социальный, как продукт общественных отношений.

Горький писал в 1904 г., говоря о чеховских героях, неспособных к протесту: «Вот тревожно, как серая мышь, шмыгает „Душечка“, — милая, кроткая женщина, которая так рабски, так много умеет любить. Ее можно ударить по щеке, и она даже застонать громко не посмеет, кроткая раба» (Горький, «Наука», т. 6, стр. 55).

Волжский (А. С. Глинка) образ Душечки относил к большим художественным обобщениям: «Есть здесь такие крайние проявления этой власти (действительности), как „Человек в футляре“, „Ионыч“, „Душечка“ и т. п. люди, рабски покорно, без тени протеста отдающиеся бессознательной силе стихийного течения обыденной жизни, угодливо позволяющие ей делать с собой что угодно...» (Волжский и Я. Очерки о Чехове. СПб., 1903, стр. 66). По его мнению, Душечка представляет собой «переходную ступень между бессознательным равнодушием чистых сердцем и бессознательным равнодушием хищников» (там же, стр. 81). Образ Ольги Семеновны Волжский считал отрицательным из-за ее исключительной податливости внешним условиям. Эту податливость критик объяснял душевной бедностью, отсутствием духовных интересов: «...если нет жизни вне ее, внутренний мир Душечки пустеет, пропадает желание жить, всякий живой интерес (. . .) Душечка — типический случай, доведенный до высшей степени власти действительности, редкий по своей выразительности экземпляр из категории бессознательно-равнодушных людей Чехова» (там же, стр. 85).

В. И. Ленин использовал образ Душечки в борьбе против одного из лидеров меньшевизма — А. Н. Потресова. В статье «Социал-демократическая душечка» В. И. Ленин сравнивал Потресова с чеховской героиней, много раз менявшей свои вкусы: «Тов. Старовер очень похож на героиню чеховского рассказа „Душечка“. Душечка жила сначала с антрепренером и говорила: мы с Ванечкой ставим серьезные пьесы. Потом жила она с торговцем лесом и говорила: мы с Васечкой возмущены высоким тарифом на лес. Наконец, жила с ветеринаром и говорила: мы с Колечкой лечим лошадей. Так и тов. Старовер. „Мы с Лениным“ ругали Мартынова. „Мы с Мартыновым“ ругаем Ленина. Милая

социал-демократическая душечка! в чьих-то объятиях очутишься ты завтра?» (В. И. П с и н. Полн. собр. соч., т. 11, стр. 281).

Стр. 104. ...шел «Фауст наизнанку», и почти все ложь были пустые... — «Фауст наизнанку» — русское название оперетты «Маленький Фауст» Эрве (1825—1892). Либретто Г. Кремье и А. Жема (1869). В русском переводе В. Курочкина поставлена в России в 1869 г. и была встречена недоброжелательно, так как в ней пародия на оперу Ш. Гуно становилась самоцелью.

...ставим «Орфея в аду», приходите. — Оперетта Ж. Оффенбаха (1819—1880). Либретто Г. Кремье и Л. Галеви (1858). Представляет собой завуалированный памфлет на современность. Русский перевод В. Крылова — «Орфей в аду». Опера-фарс в четырех картинах. СПб., 1866. Впервые на русской сцене — в 1865 г. Спектакль пользовался неизменным успехом.

Стр. 108. ...в черном платье с плерезами... — Плерезы — траурные белые нашивки на платье, по рукавам и воротнику.

НОВАЯ ДАЧА

Впервые — «Русские ведомости», 1899, № 3, 3 января, стр. 2—3, с подзаголовком: (Рассказ). Подпись: Автон Чехов. Вошло в издание А. Ф. Маркса.

Сохранились вырезки из газеты, наклеенные на чистые листы бумаги, с типографскими пометами и надписью рукой Чехова: «„Русские ведомости“ 1899, № 3» (ЦГАЛИ).

Печатается по тексту: Чехов, т. IX, стр. 100—116.

В 1894 г. в записной книжке Чехова появилась заметка, связанная с двумя первыми главами рассказа «Новая дача»: «Пока строился мост, инженер нанял усадьбу и жил с семьей, как на даче. Он и жена помогали крестьянам, а они воровали, производили потравы... Он явился на сход и сказал:

— Я сделал для вас то-то и то-то, а вы платите мне за добро злом. Если бы вы были справедливы, то за добро платили бы добром.

Повернулся и ушел. Сход дочесался и говорит:

— Платить ему надо. Да... А сколько платить, неизвестно...

— Спросим у земского.

Итого: слух о вымогательстве инженера» (Зап. кн. I, стр. 52).

Эта заметка могла предназначаться для повести «Моя жизнь»: сделана она одновременно с записями к ней и задолго до остальных заметок к «Новой даче»; здесь названы ситуации, совпадающие с обстоятельствами жизни одного из героев повести — инженера Должикова; сюжет «Новой дачи» выделен из первоначального замысла «Моей жизни» (см. т. IX Сочинений, стр. 497).

В рассказе инженер выражает свое возмущение поведением крестьян не на сходе, как в заметке, а встретившись с ними по дороге; не включено намерение крестьян обратиться к властям:

«Сиротам у земского». Вместо «слуха о вымогательстве» в «Цовой даче» кузнец Родион передает, искажая, сцену встречи с инженером своим жене и сыну.

В конце июля или в августе 1897 г. была записана реплика, использованная в рассказе: «Лавочник бранится: сатана бесхвостая» (*Зап. кн. I*, стр. 76). Слова «сатана бесхвостая» в рассказе говорит Лукерья (конец гл. II).

В 1898 г., в период между 16 апреля и 23 сентября, Чехов сделал набросок к одной из сцен главы IV: «Барин мужику: „если ты не бросишь пить, то я буду тебя презирать“. Дома бабы: „что барин сказал?“ — „Говорит: буду призирать“. Бабы рады» (*Зап. кн. I*, стр. 87). Перенося эту сцену из записной книжки в рассказ, Чехов опять изменил обстоятельства: инженер упрекает крестьян в том, что они собирают грибы в его парке, а не в том, что они пьют. Историю эту Родион передает своей жене Степаниде, и она радуется.

Таким образом, к осени 1898 г. были сделаны заготовки к трем главам (из пяти), был обозначен конфликт между инженером и крестьянами, намечены особенности речи и мировосприятия крестьян.

21 октября 1898 г. Чехов обещал В. М. Соболевскому, редактору-издателю газеты «Русские ведомости»: «Как только начнется дурная погода, я засяду и напишу Вам дюжину рассказов. Обещаю — и слово мое твердо».

Но до 14 ноября Чехов был занят рассказом для «Русской мысли», от 15 ноября до 26 ноября — для «Недели», а между 26 ноября и 7 декабря — для «Семьи».

10 декабря 1898 г. член редакции «Русских ведомостей», Д. Н. Анучин, просил Чехова в письме: «Не будете ли Вы так добры, не признаете ли возможным почтить нас присылкою хотя бы небольшого рассказа или очерка для рождественского номера или вообще для газеты. Мы были бы весьма признательны Вам за такое внимание и сочувствие» (*ГБЛ*).

Уже 17 декабря 1898 г. Чехов сообщал сестре: «Посылаю рассказ в „Русские ведомости“». 18 декабря он отвечал Анучину, что рассказ «непременно» пришлет «если не к Рождеству, то к Новому году».

Вероятно, рассказ был написан в период между 12 и 23 декабря 1898 г., так как 24 декабря Чехов уведомлял Соболевского о посылке рассказа «сегодня».

30 декабря Соболевский отправил телеграмму в Ялту: «За письмо статью дружески благодарю пишу подробно» (*ГБЛ*).

В письме к Чехову от 1 января 1899 г. Соболевский жаловался на цензурные притеснения: «Рассказ помещаю в воскресном (3-го января) № газеты. Надеюсь, что он не будет тронут цензурской рукой, хотя за одно местечко (о богатых и сытых) не ручаюсь: это *bête noire*¹ нашего цензора, с которым до сих пор приходится иметь дело» (*ГБЛ*; опубл. неточно: *Записки ГБЛ*, вып. 8, стр. 61).

Сделаны ли цензором какие-либо изъятия, установить не

¹ пугало (франц.).

удалось. Вероятно, Соболевского смущал разговор Елепы Ивановны и Родиона о богатых и бедных и слова Степаниды о том, что «всё счастье богатым досталось».

«Новая дача» вошла в состав тома IX сочинений Чехова. Правка рассказа при включении его в собрание сочинений была незначительной. Чехов снял подзаголовок. В авторской речи, в повествовании о жене инженера, вместо «приехала в деревню» стало разговорное, просторечное «приехала на деревню». В нескольких случаях вместо точек поставлены восклицательные знаки.

Возможно, что одним из толчков к написанию рассказа послужило письмо к Чехову пианистки А. А. Похлебиной из Гапуровки Екатеринославской губернии от 4 ноября 1898 г.: «Я живу в деревне, но полюбить народ никак не могу, слишком он невежествен и даже дик; его можно жалеть и желать ему развития, но любить невозможно».

Мы с сестрой всё делали, что было в наших силах, чтобы заслужить расположение и доверие мужиков, но напрасно — последствия иногда были так для нас неожиданны, что мы теперь потеряли всякую охоту с ними возиться и уже ни одного мужика на порог не пускаем» (ГБЛ).

В рассказе косвенно отразился опыт общения Чехова с мелховскими мужиками. 21 июня 1897 г. он жаловался в письме к А. С. Суворину на соседей-крестьян: «Водку трескают отчаянно, и нечистоты нравственной и физической тоже отчаянно много. Прихожу всё более к заключению, что человеку порядочному и не пьяному можно жить в деревне только скрепя сердце и блажен русский интеллигент, живущий не в деревне, а на даче». М. П. Чехова сообщала в письме к Чехову 10 января 1898 г., что деревенские мальчишки убили их собак-лаек. И 29 ноября того же года: «У Вареникова (соседа) украли 29 четырехлетних яблонь, вырыли с корнями ночью (. . .) Охрана усилилась, у Вареникова по почтам раздаются свистки, как у городских, а у нас Роман перенес к дому колокол и звонит каждый час» (Письма к брату, стр. 60, 87).

О впечатлении, произведенном рассказом на современников, есть сведения в письме к Чехову Н. Н. Тугаринова (см. примеч. к «Случаю из практики», стр. 392).

О своих «восхваленьях» рассказа «Новая дача» при свидании с Чеховым напоминала ему в письме от 13 февраля 1899 г. сотрудница легального марксистского журнала «Начало» М. И. Водовозова (ГБЛ; «Литературный музей А. П. Чехова. Сб. статей и материалов». Вып. 5. Ростов н/Д., 1969, стр. 56).

В критических работах об этом рассказе наметились две тенденции.

Одну из них представлял А. И. Богданович. Причину бесконечных конфликтов героев-интеллигентов с крестьянами он рассматривал с социальной точки зрения. Он отмечал общие мотивы в «Новой даче» и в «Случае из практики» и «По делам службы»: в них «тревожно стучатся в душу читателя неразрешимые вопросы жизни, которые с особой болью и остротой дают себя чувствовать в минуты глубокого общественного затишья»

(А. Б. Критические заметки. — «Мир божий», 1899, № 2, стр. 1). Общее в этих произведениях, по мнению Богдановича, — типы «с чуткой душой и большой совестью» (там же). В «Новой даче» «картина житейской нелепости» «разыгрывается в деревне, где такая же „мятущаяся душа“ желает найти примирение с жизнью в работе для деревни» (там же, стр. 3).

Богданович рассматривал этот рассказ Чехова в связи с произведениями о деревне других русских писателей; он находил, что «тема, затронутая Чеховым, не новая и часто служила для Гл. Успенского иллюстрацией непримиримости деревенского мирозерцания и кающегося интеллигента, который вместо распростертых объятий встречает в деревне вражду. Только Успенский обобщал эти столкновения. Видя в них продукт старых крепостных отношений, не допускающих вполне человеческих отношений в деревенском людe, для которого и самый искренний интеллигент всё же представлялся баринoм. Теперь эти старые воспоминания значительно сгладились, но не создалась зато и новая почва, на которой обе стороны могли бы сойтись, как равные» (там же, стр. 6). Критик объяснял и причину взаимного непонимания героев рассказа, которая кроется в спутанности и неясности классовых интересов: «Деревня может понять только определенный, материально выражающийся интерес, и трогательные, наивные речи Елены Ивановны ей чужды и непонятны...» (там же).

А. А. Измайлов, обращаясь к этому рассказу, также замечал, что он «живо затрагивает один из проклятых вопросов русской жизни — страшную рознь, которая лежит между баринoм и мужиком, устраняя всякую возможность не только слияния или сближения, но даже простой солидарности...» (А. И з м а й л о в. Литературное обозрение. — «Биржевые ведомости», 1899, № 14, 15 января).

В. Альбов, напротив, считал, что трудно найти причину происходящих в «Новой даче» недоразумений; как и в других рассказах («Мечты», «Припадок», «Бабье царство»), здесь «мечта, порыв (. . .) неизменно гибнут, часто едва родившись на свет, но в них не разберешь, где кроется причина их гибели, во внешних или во внутренних условиях. Тему эту Чехов «варьировал на разные лады» (В. А л ь б о в. Два момента в развитии творчества Антона Павловича Чехова (Критический очерк). — «Мир божий», 1903, № 1, стр. 98—99, 101).

А. Л. Вольнский, стоявший на идеалистических позициях, видел выход в нравственной перестройке интеллигента: «Надо прежде всего внутренне сжиться с народом, выкорчевать все недоразумения и нелепости, крепко засеявшие в народном уме и мешающие ему развиваться и доверчиво подходить к людям иной культуры. Только тогда можно найти пути для сближения столь различных сил» (А. Л. В о л ь н с к и й. Борьба за идеализм. Критические статьи. СПб., 1900, стр. 343). Критик определял Чехова как гуманиста, который «следит за жизнью деревни» «без сентиментального народолюбия, с простою сердечностью», и «вся художественная картина озаряется у него светом глубокого внутреннего сочувствия. Видно, что писатель хорошо знает и понимает народную душу и жизнь, улавливает воздействие на нее разных внешних умственных и социальных сил и разбирается

в сложных вопросах современного народного быта с тонкой остроумностью и проницательностью» (там же, стр. 342).

Критика отметила и мастерство Чехова в изображении героев. «Действующие лица вырисованы с необычайной твердостью, хотя рассказ занимает всего один газетный фельетон и в своем содержании лишен, так сказать, центральной оси (. . .), — писал Вольнский. — Нельзя тоньше, чище и увереннее рисовать людей с различными индивидуальными физиономиями. Это целый мир характеров, привычек и идей» (там же).

Высоко оценил форму этого «незамысловатого и простого» рассказа Богданович. Он находил его, «по художественности, лучшей вещью «из написанных за последнее время Чеховым. В ней всё — движение и жизнь, крестьянские типы очерчены с тонким юмором, смягчающим резкость и неприглядность мрачной деревенской жизни» («Мир божий», 1899, № 2, стр. 3).

Толстой был недоволен изображением крестьян в «Новой даче» так же, как и в «Мужиках». 26 мая 1905 г. он сказал В. Г. Черткову: «„Мужики“ Чехова — плохое произведение. Чехов колеблется. „Новая дача“ — прямо отвратительна» (Д. П. М а к о в и ц к и й. Яснополянские записки. Машиннопись. — ГМТ).

Горький считал «Новую дачу» важным этапом в литературе о деревне. Он замечал: «В художественной литературе первый сказал о мужике новое и веское слово В. Г. Короленко в рассказе „Река играет“, затем А. П. Чехов написал один за другим три замечательных рассказа: „Мужики“, „Новая дача“ и „В овраге“, — его рассказы были приняты народнически верующей публикой враждебно, как хула на мужиков» («Семен Подъячев». — Горький, т. 24, стр. 240).

Вскоре после выхода в свет рассказ был переведен на немецкий язык. В апреле 1899 г. Е. Смирнова, жена псаломщика по-сольской церкви в Берлине, перевела «На подводе» и «Новую дачу», писала Чехову: «Имею намерение напечатать их в берлинском еженедельном журнале „Romanwelt“, я желала бы предварительно заручиться Вашим авторским согласием на напечатание вышеперечисленных рассказов в моем переводе» (ГБЛ). Доктор Герман Кармель, сотрудник «Русско-немецкого вестника» в Берлине и переводчик, сообщал Чехову 21 ноября н. ст. 1899 г.: «Из Ваших произведений я перевел „Новую дачу“ (часть перевода прилагаю для ознакомления), „Дуэль“, „Медведь“ (которого ставили в моем переводе на сцене Берлинск(ого) литературного общества) и „Чайка“» (ГБЛ).

Стр. 117. альгауский бычок — баварская порода. Был довольно распространен в России в прошлом столетии в крупных помещичьих хозяйствах (из моды к заграничному — экономически невыгоден). Порода эта выращивалась недалеко от Мелихова, на ферме графа Орлова-Давыдова в Отраде. 9 сентября 1892 г. управляющий Орловых-Давыдовых С. А. Черевин писал Чехову об отправке ему телки, происходящей от альгауского быка, а 1 апреля 1893 г. — бычка той же породы (ГБЛ).

Стр. 123. Сказано ведь, худой мир лучше доброй ссоры, и не купи имени, а купи соседа. — См.: «Русские народные пословицы и притчи, издаваемые Н. Снегиревым». М., 1848, стр. 442,

№ 335 и стр. 275, № 653. Эта книга была у Чехова (сохранилась в Доме-музее А. П. Чехова в Ялте. — *Чехов и его среда*, стр. 382). В первой поговорке последнее слово дано, как в басне И. И. Хемницера «Два соседа» (поговорка же: «Худой мир лучше доброй брани»). Вторая поговорка у Чехова изменена (поговорка: «Не купи двора, купи соседа!»).

Стр. 126. *На Воздвижение, 14 сентября...* — Праздник православной церкви, в который соблюдается строгий пост.

Стр. 127. «*Дубинушка*» — широко распространенная в 1870-е годы в России песня; текст ее опубликован в 1885 г. А. А. Ольхиным (обработка стихотворения В. И. Богданова. — «Будильник», 1865).

ДАМА С СОБАЧКОЙ

Впервые — «Русская мысль», 1899, № XII, стр. 149—164, с подзаголовком: (Рассказ). Подпись: Антон Чехов.

Вошло во второе издание А. Ф. Маркса 1903 г. («Приложение к журналу „Нива“ на 1903 г.»), т. XII.

В ГЛМ хранится страница черновой рукописи — конец главы IV. На ней надпись: «Это черновик „Дамы с собачкой“ А. П. Чехова. Ив. Бунин» (ЛН, т. 68, стр. 135).

Печатается по тексту: *Чехов*, 2, т. XII, стр. 61—77.

Одну из первых записей к рассказу Чехов сделал в августе 1896 г., находясь в Кисловодске: «Дама с мопсом» (*Зап. кн. II*, стр. 40). Запись можно датировать 24—31 августа.

В течение 1897 г. накапливались заметки к рассказу из быта губернского города. Первая из них: «Провинция. В ложе непременно губернаторская дочь в боа» (*Зап. кн. I*, стр. 68) — относится, вероятно, к первой половине 1897 г. Наверное, в середине 1897 г. сделана еще одна заметка к этому сюжету: «Чиновник носит на груди портрет губернаторши; откармливает орехами пидейку и подносит ей» (*Зап. кн. I*, стр. 71). В 1897 г., между 9 октября и 15 ноября, в Ницце Чехов набросал конспект сюжета: богатый чиновник, носивший портрет губернаторши 14 лет, отказывается помочь ей, когда она овдовела, болеет, а «сын ее попался» (*Зап. кн. I*, стр. 78).

Несколько позже, но тоже до 15 ноября, набросок этого сюжета становится более развернутым; в нем происходит замена действующих лиц (сына на зятя): губернаторша пригласила чиновника, носившего ее портрет на груди, чтобы попросить у него денег. «Муж дочери, той самой, к(ото)рая когда-то сидела в ложе в боа, проигрался и растратил» (*Зап. кн. I*, стр. 79). Сюжет остался неосуществленным, три последние заметки были перенесены в Четвертую записную книжку как нереализованные, а губернаторская дочь в боа, которая должна была стать героиней другого произведения, оказалась в «Даме с собачкой» характерной деталью для губернского театра того времени (гл. III).

Еще чуть позже, но тоже до 15 ноября, Чехов занес в записную книжку: «У животных постоянное стремление раскрыть тайну (найти гнездо), отсюда у людей уважение к чужой тайне как борьба с животным инстинктом!» (*Зап. кн. I*, стр. 79).

В измененной форме это вошло в главу IV рассказа — в раздумьи Гурова о явной и тайной сторонах его жизни.

Очевидно, в первой половине 1898 г., не позже 23 сентября, записано сравнение: «Кружева на павталонах, точно чешуя у ящерицы» (*Зап. кн. I*, стр. 90). Сравнение кружев с чешуей есть в воспоминаниях Гурова о прошлых связях с женщинами (гл. II).

В те же годы в записных книжках Чехова появляются заметки, включающие мотивы курортных романов: в 1896—1897 гг. — о муже, имевшем двух жен (в Петербурге и в Феодосии или в Керчи) (*Зап. кн. I*, стр. 69 и *Зап. кн. II*, стр. 38); поздней осенью 1897 г. в Ницце — о молодом интересном человеке в Ялте,правлящемся сорокалетней даме (*Зап. кн. I*, стр. 81); в первой половине 1898 г. — о Z, который «в Кисловодске или в другом курортном городе сошелся с девочкой 22 лет» (*Зап. кн. I*, стр. 94). Как нереализованные, они тоже были перенесены в Четвертую записную книжку. (О группе записей, относящихся к губернскому городу и связанных с рассказом «Дама с собачкой», см.: З. Паперный. Записные книжки Чехова. М., 1976, стр. 65—68, о других записях к этому произведению — стр. 69—77, 84, 90.)

«Дама с собачкой» написана после продолжительного (почти год) творческого молчания Чехова.

6 июля и 6 августа 1899 г. Чехов виделся в Москве с В. А. Гольцевым, редактором журнала «Русская мысль». Возможно, в один из этих дней он обещал дать в журнал повесть. 15 сентября 1899 г. из Ялты, где достраивался его дом, Чехов писал Гольцеву: «Прости, не шлю повести, потому что она еще не готова. Паркетчики и плотники стучат с утра до вечера и мешают писать (. . .). Повесть получишь к декабрьск(ой) книжке». И ему же — 27 сентября: «У меня уже всё готово, могу работать. Становится тихо».

В первых числах октября Чехов был занят рассказом, к концу месяца завершил его и 30 октября отправил Гольцеву, прося: «Пришли поскорее корректуру, я пошлифую его малость», а 1 ноября спрашивал: «Получил ли рукопись?» 5 ноября Гольцев благодарил «за рукопись» (*ГБЛ*, ф. 77, к. X, ед. хр. 43).

Корректуру рассказа для журнала Чехов правил дважды: первый раз — до 13 ноября 1899 г., второй — вскоре после этого, о чем свидетельствует его письмо к Гольцеву от 13 ноября, приложенное к корректуре: «...посылаемое отправь в типографию, и пусть мне пришлют опять корректуру в исправленном виде. Надо еще раз прочесть. Исполни сию мою великую просьбу». К 23 декабря 1899 г. книга XII журнала «Русская мысль» вышла в свет.

В письме к секретарю издательства А. Ф. Маркса, Л. Е. Розинеру, от 8 октября 1901 г. Чехов выразил желание поместить «Даму с собачкой» в том X сочинений и 14 ноября послал Марксу оттиски рассказов, напечатанных после подписания ими договора: «Дама с собачкой», «В овраге», «На святках». 1 декабря 1901 г. Маркс извещал Чехова о получении этих оттисков (*ГБЛ*).

Впоследствии том X составил «Остров Сахалин», а рассказы предполагалось дать в том XI.

Но 19 марта 1903 г., готовя 2-е издание собрания сочинений Чехова, Маркс уведомлял, что «приходится включить в новое издание (том XII), прилагаемое при „Ниве“, и (. . .) девять (. . .) рассказов», «назначенных» Чеховым «для будущего XI тома отдельного издания», в том числе и «Даму с собачкой» (ГБЛ) (см. об этом стр. 335).

22 апреля Чехов собирался быть в Москве и еще раз просмотреть корректуру. 26 апреля Маркс сообщил ему: «Согласно Вашему желанию, посылаю Вам еще раз корректуру девяти рассказов, которые будут помещены в указанном Вами порядке» (ГБЛ).

Итак, автор правил корректуру четыре раза: дважды при подготовке журнального текста (около 13 ноября 1899 г. и во второй половине ноября) и дважды при подготовке собрания сочинений (до 14 апреля 1903 г. и после 26 апреля). Последний текст и принимается за основной.

Том XI первого издания вышел в 1906 г. (см. стр. 335 наст. тома).

Черновой автограф главы IV относится ко времени создания журнального варианта. Он обнаруживает работу Чехова над образом Гурова, а также поиски автором точных и выразительных слов. В черновом автографе говорилось о душевной пустоте Гурова, его циническом взгляде на женщин (см. стр. 265, строки 31—34). Тогда же слова эти были исключены.

В журнальном варианте вписана фраза, подчеркивающая духовное перерождение героя, пробуждение в нем доброты и искренности (стр. 143, строки 16—20). Были сделаны и другие поправки.

Готовя рассказ для собрания сочинений, Чехов значительно сократил его, внося изменения в характер Гурова, — снял некоторые фразы, выдававшие цинизм героя, примитивность его психологии и невосприимчивость к красоте (см. стр. 263, строки 26—28). В журнальном тексте по возвращении в Москву Гуров рисовался в непривлекательном внешнем свете (стр. 264, строки 28—30 и 35—38).

В окончательном тексте подчеркнута способность Гурова к анализу своих поступков, к отвлеченным суждениям. Так к его размышлениям о том, как «всё прекрасно на этом свете, всё, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о своем человеческом достоинстве», добавлено: «о высших целях бытия» (стр. 134, строки 6—7).

Значительно сокращена речь героини. Не вошла в текст собрания сочинений история ее замужества и жизни в городе С. Исключены признания Анны Сергеевны в любви к Гурову, ее важная идеализация его. См. также: К. М. В и н о г р а д о в а. Страница из черновой рукописи рассказа «Дама с собачкой» (ЛН, т. 68, стр. 133—140).

В литературе о Чехове высказывались предположения о прототипе героини.

Рассказ создавался в дни усиливающейся близости между Чеховым и О. Л. Книппер. 18 апреля 1899 г. он посетил О. Л. Книппер в Москве, 16 июня написал ей первое письмо на Кавказ, 1 июля выразил согласие ехать с ней на пароходе из Батума в Ялту;

18 июля он встречал ее в Новороссийске; дни с 20 июля по 2 августа они проводили в Ялте, совершая прогулки по окрестностям; 2 августа вместе уехали в Москву. О том, что в «Даме с собачкой» «не трудно уловить отголоски личных, интимных переживаний Чехова», см. в кн.: Г. Бердников. «Дама с собачкой» А. П. Чехова. Л., 1976, стр. 35—36.

«Я помню, как разгуливала по Ялте одна дама с собачкой, как однажды Антон Павлович, глядя на нее, сказал:

— Дама с собачкой.

Затем я увидела под таким названием рассказ Антона Павловича Чехова», — вспоминала работница Чеховых в Ялте (Л. И. Гриб-Федорова. В семье Чеховых. — «Дальний Восток». Хабаровск, 1963, № 4, стр. 170). Это была Е. Э. Подгородникова (сохранилось письмо Чехова к ней от 4 марта 1900 г. и три ее письма к Чехову — 1900—1901 гг. — ГБЛ), умершая от туберкулеза в Ялте, о чем поведала зимой 1904 г. мать ее, Е. А. Роггенбау, своей ялтинской знакомой Е. Л. Токаревой. Подгородникова сочувствовала больному Чехову и предлагала свою помощь по уходу за ним.

30 июня 1939 г. родственник Токаревой, Л. В. Ципговатов, сообщил М. П. Чеховой: «Ек. Аф. Роггенбау говорила, что ее дочь, гуляя постоянно с собакой, дала повод Антону Павловичу написать рассказ „Дама с собачкой“» (ГБЛ). М. П. Чехова в письме к Ципговатову спрашивала: «Интересно было бы, конечно, выяснить, в какой мере Ел(ена) Эд(уардовна) была прототипом рассказа „Дама с собачкой“». 2 августа 1939 г. Токарева отвечала, что маленькая белая собачка «всегда сопровождает старушку (Е. А. Роггенбау), как раньше всегда ходила с ее дочерью, что и послужило поводом Антону Павловичу один из его прекрасных рассказов озаглавить „Дама с собачкой“». Подгородникова «не была лично знакома с ним, хотя очень часто гуляла мимо его дачи в надежде лишний раз увидеть любимого писателя. (. . .) „Прототипом“ для рассказа (. . .) вряд ли могла служить Елена Эдуардовна — думаю, что дело ограничилось одним названием и что Антон Павлович не мог знать интимной жизни Елены Эдуардовны...» (ГБЛ; см. также: Л. Ципговатов. История одного письма. — «Земля родная». Литературно-художественный альманах. Кн. 6. Пензенское обл. изд-во, 1950, стр. 183—184).

Подтверждение этой гипотезы — в статье М. К. Первухина «А. П. Чехов и ялтинцы» («Вселенная», 1910, № 5): «Только что (в декабре 1899 г.) появился рассказ Чехова „Дама с собачкой“. Ялта сейчас же узнала и „даму“, и „собачку“. „Дама“ стала, буквально, героиней. Ее знакомства стали записывать:

— Помилуйте! Ведь ее Чехов описал!

На самом деле между рассказанным Чеховым и подлинными приключениями „дамы с собачкой“ общего было только то, что дама обладала хорошенькой собачкой, с которой и появлялась на Набережной.

Но даме очень понравилась роль „чеховской героини“, она уцепилась за легенду, сама стала развивать ее:

— На днях передам Антону Павловичу еще мой дневник. Он опишет... Он очень интересуется пережитым мною... Ах, он так отлично понимает тайны женского сердца, эмоции больной женской души!

Впрочем, у „чеховской героини“ скоро нашлись конкурентки: стали появляться на набережной Ялты другие и другие „дамы с собачками“, и каждая проговаривалась „случайно“...

— Надо будет еще рассказать кое-что Антону Павловичу о моей жизни и моих страданиях...

Потом как-то сразу все „дамы с собачками“ исчезли...» (стр. 74).

Можно предположить, что в облике «дамы с собачкой» нашли отражение некоторые черты О. Р. Васильевой, больной девушки, наследницы большого состояния. Чехов познакомился с ней в Ницце в начале 1898 г. (См. о ней стр. 370 и 389 наст. тома.) Чехов послал Васильевой рассказ с письмом от 9 августа 1900 г. 12 сентября она отвечала: «Я не смею выразить Вам всю мою благодарность за Ваше письмо и за „Даму с собачкой“. Я Вам низко, низко кланяюсь» (ГБЛ). О том, что рассказ задел какие-то интимные струны в душе Васильевой, свидетельствует ее письмо к Чехову: «Я, кажется, с ума схожу по „Даме с собачкой“, одна вот эта фраза — просто меня как-то баюкает: „Почти каждый вечер попозже они уезжали куда-нибудь за город, в Ореанду или на водопад...“» (январь 1901 г.—ГБЛ). Васильева была зрительно привязана к Чехову, восхищалась им и не скрывала своих чувств: «Ведь вот странно: когда Вы приходите — я поражена: как так — Вы пришли! Потом — 24 часа я, как во сне; еще потом — пробуждение — и тогда уж — хоть плачь.

Совсем глупо. Оттого ли, что Вы не от мира сего?» — писала она Чехову в январе 1901 г. (ГБЛ; ср. стр. 263—264). Характер Васильевой раскрывается в письме к Чехову Н. И. Юрасова, художника и русского вице-консула в Ментоне: «Она Вас очень любит, и Ваше слово для нее закон. (. . .) Она не знает, что делать со своею самостоятельностью, — а опереться ей не на кого. Она существо несчастное, жалкое и достойное сострадания» (16/29 марта 1901 г.—ГБЛ).

Описания крымских пейзажей и отдельных мест Ялты сделаны под непосредственным впечатлением. Чехов много путешествовал по окрестностям Ялты. 10 марта 1899 г. он сообщил сестре: «Я каждый день катаюсь (. . .). Бываю в Ореанде, в Мас-сандре».

В рассказе Гуров и Анна Сергеевна «поехали в Ореанду», «в Ореанде сидели на скамье недалеко от церкви». Ореанда — в шести с половиной км к западу от Ялты — бывшее царское имение. Чехов упоминает реально существовавшие скамью и церковь, которые описаны в книге А. Я. Бесчинского «Ялта и ближайшие окрестности» (Ялта, 1902). Чехов был знаком с ее автором. В этой книге Бесчинский отмечал, что в Ореанде были развалены дворца, сгоревшего в 1882 г. «Между дворцом и морем есть водопад, живописно падающий в глубоком ущелье. Через водопад перекинут мостик, а ввиду есть скамейка» (стр. 123). «В Ореанде есть церковь Покрова пресвятой богородицы, богато убранная, со множеством мозаичных работ» (стр. 124). Церковь сохранилась. Чеховские герои «уезжали куда-нибудь за город, в Ореанду или на водопад». Водопад — Учун-Су — описан в «Путеводителе по Крыму» А. Бесчинского (М., 1901). Находится в девяти с половиной км от Ялты. Одна из живописных дорог

к водопаду идет по бывшей Аутской улице, мимо дачи Чехова (стр. 256—259).

Гуров «обедал в саду» — в ялтинском городском саду был «первоклассный» ресторан («Ялта и ближайшие окрестности», стр. 21).

Впервые Гуров увидел «даму с собачкой», сидя в павильоне у Верне. Парижская кондитерская Ю. И. Верне находилась на Набережной, в д. Бентковского: «Визави кондитерской, на море, расположен изящный павильон, той же кондитерской» (там же, стр. 55). В этом павильоне летом 1889 г. состоялась встреча Чехова с увлеченной им юной писательницей Е. Шавровой, написавшей незадолго до этого свой первый рассказ «Софка» («Кисловодская идиллия») (Е. М. Шаврова - Юст. Об Антоне Павловиче Чехове. — «Литературный музей А. П. Чехова. Таганрог. Сборник статей и материалов». Вып. 3. Ростов н/Д., 1963, стр. 269—270). Очевидно, Чехов любил посещать павильон. 20 января 1901 г. из Ниццы он советовал матери: «...покупайте у Верне пирожные...».

Анна Сергеевна купила духи в японском магазине. В Ялте, на Набережной, в 1899 г. было два магазина японских изделий: Демештьева А. Ф. и Ятовца С. М. (см.: «Вся Россия. Адрес-календарь Российской империи». 1900. Т. 1, стлб. 1928). В 1899 г. Чехов приобрел в них «столлик шестигранный, японский, черный», японскую тумбочку и японские вазы. Вещи эти экспонируются в Доме-музее А. П. Чехова в Ялте (см.: Мария и Михаил Чеховы. Дом-музей А. П. Чехова в Ялте. Мемуарный каталог-путеводитель. Под ред. С. М. Чехова. Изд. 7. М., 1963; №№ 118, 127, 81, 154; стр. 53, 56, 42, 59).

Очевидно, впечатления от ялтинского и таганрогского театров воплотились в описании театра города С. (см. в письме к сестре от 15 декабря 1898 г.: «Пишу это в театре, сидя на галерке, в тубе. Пошлый оркестрик и галерка напоминают мне детство».)

5 января 1900 г. военный юрист и литератор Б. А. Лазаревский писал Чехову о том, как он с морскими офицерами читал «Даму с собачкой» на пароходе, на котором они отпывали из Ялты 26 сентября 1899 г. (Чехов провожал его): «Ужасно обрадовались, когда читали, как приставал пароход к молу в Ялте, и решили, что это, наверное, был „Святой Николай“, на котором мы идем, т. к. он всегда долго выворачивается» (ГБЛ).

Чехов упомянул в рассказе любимым им «Славянский базар». Он часто останавливался в этой гостинице. Лазаревский заметил Чехову: «А из московских гостиниц Вы очень любите „Славянский базар“».

— Как так? Где?

— В „Чайке“, в „Даме с собачкой“, в повести „Три года“...

— Это оттого, что я москвич. В „Славянском базаре“ можно было когда-то вкусно позавтракать...» (Борис Лазаревский и Я. А. П. Чехов. — Повести и рассказы. Т. 2. М., 1906, стр. 20).

Бывал Чехов и в докторском клубе, или Клубе врачей (Б. Дмитровка (ныне ул. Пушкинская), д. Шенпинг). 5 января 1893 г. П. А. Сергеевко сообщал ему из Москвы: «...кстати, здесь основалось с анекдотическими целями „общество ХИ“. Ты записал

в числе учредителей. (. . .) Место: Докторский клуб. Задачи: анекдоты. Занятия: чаепитие, гости и ужин» (*Записки ГБЛ*, вып. 8, стр. 60). Н. Д. Телешов вспоминал о встречах с Чеховым: «Мы видались в Москве (. . .) в Докторском клубе...» (*Чехов в воспоминаниях*, стр. 479).

Фамилия героини — фон Дидериц, возможно, подсказана письмами к Чехову В. А. Чумикова, переводчика его на немецкий язык, от 12 сентября и 7 октября 1899 г. Он передавал предложение издательской фирмы Eugen Diederichs, Leipzig издать полное собрание сочинений Чехова на немецком языке и договаривался с ним об условиях (*ГБЛ*). Может быть, Чехов вспомнил и строки из письма Меньшикова от 15 декабря 1898 г.: «...предпоследний сын Льва Н(иколаевича Толстого) Апдрей (. . .) женится на Ольге Дидерихс (Дитерихс)» (*ГБЛ*).

Вскоре по выходе в свет книги XII «Русской мысли» Чехов стал получать восторженные письма от близких ему людей — деятелей искусства и литературы.

13 декабря 1899 г. Гольцев, прочитав «Даму с собачкой» на собрании Литературно-художественного кружка в Москве, известил Чехова: «Рассказ произвел сильное впечатление» (*ГБЛ*, ф. 77, к. X, ед. хр. 43).

Отзыв И. И. Левитана передан в письме М. Т. Дроздовой, художницы, друга семьи Чеховых: «Сегодня была я, Антон Павлович, у Марьи Павловны, был Левитан, много говорили об Вас. Он всё говорил: „Чёрт возьми, как хорошо Антоний написал „Даму с собачкой“, — так же хорошо, как я пишу картины“. В литературном кружке ее читали, кажется» (декабрь, 1899 г.) — *ГБЛ*).

23 декабря врач П. Г. Розанов, старый знакомый Чехова по Звенигороду, послал ему «образчик письма ревнивого мужа», требуя «непременной и скорейшей дуэли». В шутливой форме он утверждал, что его жена «только что возвратилась из Ялты», что она «неввысокого роста блондинка», в «берете», что при ней «находился „пшиц“, «именно „белый“, и что ее Чехов «на берегу „взволнованного моря“» привел «в такое состояние» (*ГБЛ*). 27 декабря Чехов отвечал: «Очень порадовали меня Вашим письмом».

Глубоко раскрыт смысл рассказа в письме М. Горького к Чехову в январе (после 5) 1900 г. Горький говорил об огромном значении творчества Чехова и, в частности, «Дамы с собачкой»: «Читал „Даму“ Вашу. Знаете, что Вы делаете? Убиваете реализм. И убьете Вы его скоро — насмерть, надолго. Эта форма отжила свое время — факт! Дальше Вас — никто не может идти по сей стезе, никто не может писать так просто о таких простых вещах, как Вы это умеете» (*Горький*, т. 28, стр. 112—113).

Лазаревский обратил внимание на гуманистическое чувство автора: «Вчера, на Новый год, прочел „Даму с собачкой“. Как ласковы Вы к людям! Еще не страшно жить на свете, коли чувствуешь, что есть сердца, расположенные ко всяким тяготам, которые налагает жизнь на людей!» (январь, 1900) — *ГБЛ*). В следующем письме — от 5 января 1900 г. — он писал о типичности изображенной Чеховым ситуации, понятой и его спутниками, офицерами с парохода «Святой Николай»: «... стали читать „Даму с собачкой“. Читали поочередно, чтобы не устать».

Я думал, что слушателям-помощникам капитана не понравится. Понравилось, и поняли, хорошо поняли, что, хотя этого, может, и не было, но это правда (...) Когда я кончил читать, помолчали, потом еще раз сказали, что это всё сама жизнь, и рассказывали несколько случаев» (ГБЛ).

Находясь под впечатлением рассказа, Лазаревский 16 марта 1903 г. в письме к Чехову делился своими переживаниями: «Живя в „Славянском базаре“, я всё ходил по коридорам и глядел на двери померов, всё думал, не здесь ли встречались Дм. Дм. Гуров и Анна Сергеевна фон Дидерик. Трудно мне отрешиться от мысли, что их и не было никогда» (ГБЛ).

Глубокое проникновение в будничную жизнь людей стретила читательница Е. В. Лебедева в письме к Чехову (1900 г.) (см. об этом в примеч. к рассказу «По делам службы», стр. 400).

Сотрудник одесской газеты «Театр», М. Б. Полиновский, относил «Даму с собачкой», а также «О любви» и «В овраге» к тем произведениям Чехова, которые действуют на читателя «удивительным образом (. . .) заставляют много думать и много плакать» (письмо от 6 февраля 1900 г.—ГБЛ).

Доктор Г. И. Россолимо 6 февраля 1900 г. сообщал Чехову об успехах его последних вещей в среде преподавателей Московского университета: «Ваша „Дама с собачкой“ и „В овраге“ читаются теперь у нас с жадностью...»

В. Н. Ладыженский, земский деятель и писатель, сотрудник «Русской мысли», в письме к Чехову от 26 февраля 1900 г. из Пензы «одобрил» и «Даму с собачкой», и «В овраге» (ГБЛ).

И. А. Бунин считал «Даму с собачкой» одним из лучших произведений Чехова (ЛН, т. 68, стр. 677).

«Всегдашняя почитательница» из Петербурга, С. С. Ремизова, в письме от 15 октября 1903 г. просила Чехова написать продолжение «Дамы с собачкой»: «Вы оставили своих героев, так сказать, в самую критическую пору их жизни, когда надо принять какое-нибудь решение, а какое? Вот трудный вопрос. Писать продолжение этого рассказа Вы, пожалуй, не захотите, так будьте добры, черкните несколько слов, как бы Вы поступили, будучи на месте Гурова (. . .) как бы Вы разрешили эту запутанную историю (. . .) В жизни людей так часты подобные безвыходные положения, в особенности в семейной жизни; так Ваша повесть попадет многим в цель, а потому очень интересна, даже важно узнать от такого сердцеведа, как Вы (. . .) как устроить свое счастье так, чтобы никто от этого не был несчастлив». Эту же просьбу Ремизова повторила в письме от 2 января 1904 г. (ГБЛ).

Л. Н. Толстой осудил чеховских героев. 16 января 1900 г. он записал в дневнике: «Читал Даму с собачкой Чехова. Это всё Ничье. Люди, не выработавшие в себе ясного мирозерцания, разделяющего добро и зло. Прежде робели, искали; теперь же, думая, что они по ту сторону добра и зла, остаются по сю сторону, т. е. почти животные» (Толстой, т. 54, стр. 9). О том, что Толстой был недоволен рассказом, Чехов знал из письма М. О. Меньшикова от 19 января 1900 г. Меньшиков передавал со слов Л. И. Веселитской, посетившей Толстых в Москве: «Ваша „Дама с собачкой“, по словам Лидии Ивановны, ему не понравилась» (ГБЛ).

Примитивно и поверхностно оценил «Даму с собачкой» Н. А. Лейкин: «Небольшой этот рассказ, по-моему, совсем слаб. Чеховского в нем нет ничего. Нет тех картин природы, на которые он был такой мастер в своих первых рассказах. Действие в Ялте. Рассказывается, как один пожилой уже приезжий москвич-лобелас захоронил молоденькую, недавно только вышедшую замуж женщину, и которая отдалась ему совершенно без борьбы. Легкость ялтинских нравов он хотел показать, что ли!» (24 декабря 1899 г. — «Из дневника Н. А. Лейкина» — ЛН, т. 68, стр. 508).

В газетной и журнальной критике рассказ получил противоречивые оценки.

А. М. Скабичевский, соглашаясь с автором в отрицании современных форм жизни и признавая, что изображенная ситуация относится к числу драматических, осудил героев за то, что они неспособны к борьбе за свое счастье, что они «малюсенькие», а потому и драма их «безвыходная, позорно-мучительная»: «Та самая паутина обычаев, приличий, толков, пересудов, косых взглядов, двусмысленных улыбок, родственного опал, расстройств служебных отношений и положений, паутина, сквозь которую без труда проходят крупные мухи, для мелких оказывается непроходима. Остается только хвататься за голову, чувствовать себя несчастными, терзаться сознанием своего бессилия, своего ничтожества и пресмыкаться весь век в таком безвыходно-фальшивом и нелепом положении, в котором пришлось лутаться нашим героям». По мнению Скабичевского, драма — «в отсутствии борьбы, в бессилии героев на мало-мальски смелый и решительный шаг» (А. Скабичевский. Текущая литература. — «Сын отечества», 1900, № 35, 4 февраля).

Н. К. Михайловский увидел в рассказе новый этап в творчестве писателя; обратил внимание на то, что Чехову «открылись» «новые стороны жизни», «расширилось его понимание действительности», «усложнилось его отношение к ней». Критик признал серьезными драмы героев последних произведений Чехова и противопоставил их персонажам из юмористического рассказа «Длинный язык»: «Одно дело, ялтинская дама, приятно проводившая время с Маметкулом и Сулейманом, и другое дело — АLEXИИ и Анна Алексеевна...» (из рассказа «О любви»). Михайловский отметил нравственное перерождение Гурова и вопрос о праве героев на счастье ставил в плане моральном, а не в социологическом, в отличие от Скабичевского: «...одно дело Гуров в начале знакомства с Анной Сергеевной и другое дело — он же в конце рассказа. Имеют ли он и Анна Сергеевна право пользоваться алексинским рецептом, есть ли у них такое „высшее“, во имя которого можно и должно принять счастье и несчастье, свое и чужое, — это дело их совести» (Ник. Михайловский. Литература и жизнь. Кое-что о г. Чехове. — «Русское богатство», 1900, № 4, стр. 139, 138—139).

В. Альбов доказывал, что для последнего периода творчества Чехова характерно его обращение к внутреннему миру человека. «Хочется думать, — выражал надежду критик, — что такие шедевры, как „В овраге“, „Дама с собачкой“, „Архиерей“ — только первые попытки осветить жизнь с новой точки зрения» (В. Альбов. Два момента в развитии творчества Антона Пав-

ловича Чехова. — «Мир божий», 1903, № 1, стр. 115). Он определял Чехова как гуманиста, которого «любовь ко всему человеческому и прекрасному в жизни» вывела «на широкий простор» (там же). Приводя в пример рассказы «О любви», «Дама с собачкой», «Архиперей», Альбов замечал, что Чехов идет по пути глубокого проникновения в жизнь и что «даже такую избитую тему, как любовь, г. Чехов, верный своей новой точке зрения, сумел изобразить оригинально» (стр. 112). Новое в «Даме с собачкой», по мнению Альбова, состоит в показе «процесса нравственного перерождения человека» (там же, стр. 114).

И. И. П-ский (псевдоним не раскрыт) назвал Чехова русским Мопассаном, отметил общие черты в «Даме с собачкой» Чехова и «*Clair de lune*» («Лунный свет») Мопассана, по подчеркивал и своеобразие Чехова: Мопассан «старался низвести человека с его возвышенного пьедестала», Чехов тоскует о «лучших сторонах человеческой природы». Особенность таланта Чехова — «в мастерски нарисованной им картине зарождения любви в (. . .) Гурове, — правда, любви поздней, на закате дней, по на первый взгляд даже психологически невозможной и неестественной в этом пошлом, самодовольно-сытом, всё испытывавшем *bon vivant*'е». Критик отнюдь не считал Гурова «грубым чувственником», находя в нем и хорошие стороны, а измену мужу со стороны героини объяснял «далеко не чувственной разнузданностью». Напротив, он утверждал, что она «на всем протяжении рассказа является в наиболее выгодном для нее свете»: «Ее натура — источник глубокого чувства, до времени подавляемого и притупляемого окружающего средой, но требующего того или иного жизненного исхода. Не имея другого пути для своего развития, оно целиком выливается в сферу любви» (И. И. П - с к и й. Трагедия чувства. Критический этюд (по поводу последних произведений Чехова). СПб., 1900, стр. 2—5). Глубокую жизненную трагедию героини И. И. П-ский усмотрел «в этом ужасном, вопиющем несоответствии ее идеальных стремлений с действительной жизнью, в ее постоянной неудовлетворенности, в ее беспомощности...» (там же, стр. 6).

Андреевич (Е. А. Соловьев), анализируя рассказ «Дама с собачкой», писал, что на жизнь человечества Чехов смотрит с «космической точки зрения». Андреевичу Чехов представлялся сатириком во взгляде на жизнь. «в которой люди играют какую-то странную и обидную для их самоопенения роль». Его точку зрения он сравнил с точкой зрения Свифта. По мнению Андреевича, Чехов ищет смысла жизни, и «удивительные произведения вырастают на почве этого искания» (А н д р е е в и ч. Очерки текущей русской литературы. Искание смысла жизни. — «Жизнь», 1900, т. 1, стр. 246, 248).

Воляжский (А. С. Глинка) объяснял беспощадное изображение жизни высоким нравственным идеалом писателя: «...идеал Чехова, „живой бог“ его недостижимо высок, потому-то и действительность, изображаемая в чеховских произведениях, так ничтожна — жалка, убога, сера и бесцветна...» Идеализм Чехова, по мнению Глинки, — в «непримиримом протесте против действительности». «Даму с собачкой», наряду с «маленькой трилогией», Воляжский назвал «полными безнадежного идеализма произведениями», что было связано с общей концепцией критика,

характеризовавшего Чехова как представителя «пессимистического идеализма» (В о л ж к и й. Очерки о Чехове. СПб., 1903, стр. 44, 43).

А. А. Измайлов считал рассказ типичным для творчества позднего Чехова: «По своему довольно минорному настроению новая вещица талантливого беллетриста не представляется исключением в ряде позднейших его произведений. И как почти всякое из последних, рассказ отмечен чертами созревшего таланта и производит впечатление, в особенности вторую, более сильно написанную половиной» («Биржевые ведомости», 1900, № 9, 10 января).

Р. И. Сементковский расценил рассказ «Дама с собачкой» как апологию безнравственности: «Нельзя же, в самом деле, называть хорошим человека, который то и дело обманывает жену, склонен разрушать правильную семейную жизнь, ставит из-за прихоти в ложное, крайне тягостное положение своих детей, относится очень поверхностно к своим общественным обязанностям и находит единственное развлечение и удовольствие только в любовных интригах». Сементковский не согласился с сочувственным отношением Чехова к перерождению Гурова: «Но если присмотреться к этой, столь важной и интересной жизни, как ее описывает г. Чехов, то, боже великий, как она в сущности мелка, неинтересна и излишня!» («Что нового в литературе?» Критические очерки Р. И. Сементковского. — «Ежемесячные литературные приложения к журналу „Нива“ на 1900 г.», 1900, № 1, стлб. 200, 194).

Ф. Е. Пактовскому чеховская тема казалась недостойной внимания, а герои — недостойными уважения: «Я не вижу здесь даже и того начала, которое руководило при разрушении семьи Анной Карениной (. . .) жертва принесена во имя животной страсти, вследствие непонимания святости семейных обязанностей, во имя привычки возводить вспышки своей страсти до пределов закона природы» (Ф. Е. П а к т о в с к и й. Современное общество в произведениях А. П. Чехова. Казань, 1901, стр. 24). Он полемизировал с теми критиками, которые «здесь видят тяжелую драму жизни».

Реакционная критика не приняла гуманистической идеи рассказа. Так, В. П. Буренин выступил против авторской позиции в нем: «Автор не разрешает ничем вопроса, предлагаемого героем рассказа себе самому, и вместе с этим, стало быть, не разрешает и вопроса о том, драма или только „водевиль с собачкой“ всё то, что переживают его герои с их встречи в Ялте и до их встречи в Москве. Я склонен думать, что это водевиль, который и ялтинские любовники (мимоходом заметим, отнюдь не похожие на веронских любовников Шекспира), и г. Чехов ошибочно принимают за драму. Я склонен тоже думать, что в этой ошибочной точке зрения героев и их автора и заключается главный недочет рассказа» (В. Б у р е н и н. Критические очерки. — «Новое время», 1900, № 8619, 25 февраля).

По-разному была оценена художественная сторона произведения, в особенности финал.

Критики, отрицавшие серьезный конфликт чеховских героев с действительностью, считали рассказ отрывочным и художественно несовершенным. Так, Буренин замечал: он «все-таки

не более как этюд, и притом отрывочный, представляющий как будто бы начало, первые главы ненаписанного романа». В «отрывочности» изложения Буренин видел следование модному направлению в искусстве тех лет: «Этюдность эта, очевидно, во вкусе времени и нравится большинству, толпе, и, быть может, даже и иным теперешним ценителям и судьям».

Андреевич, хотя и признавал глубину социального обобщения в рассказе, но писал о его художественной незавершенности: «Конечно, этот рассказ — отрывок; он даже ничем не заканчивается, и его последние строки только наводят на мысль о какой-то предстоящей жестокой драме жизни» («Жизнь», 1900, т. 1, стр. 246).

И напротив, высокую оценку художественного мастерства дал И. И. П-ский: «Возникновение и дальнейшее развитие этого чувства изображены автором с поразительным талантом (. . .) Строки, изображающие их встречу в театре и те противоречивые чувства, которые взволновали Анну Сергеевну (радость и страх, мольба и любовь), — это перлы истинной поэзии. Здесь талант автора достигает титанической мощи» (указ. соч., стр. 8, 10). Финал «Дамы с собачкой» критику представлялся вполне закономерным: «. . . нам кажется, автор постигнул всю глубокую безотрадность (с социальной точки зрения) этой любви, если не путем анализа, то стихийною силою интуиции, и, вероятно, потому так внезапно оборвал свой рассказ. . .» (там же, стр. 11).

Полемизируя с прешествующими критиками, Альбов утверждал: «Хотя фабула рассказа обрывается на выдвинутой автором дилемме, однако смысл ее очевиден: или постепенное разрушение, медленное умирание в оболочке лжи, обмана, условной морали; или нужно разорвать эту оболочку, как что-то „ненужное, легкое и обманчивое“ и освободить „сдавленное ею зерно жизни“» («Мир божий». 1903, № 1, стр. 114).

Рассказ вызвал подражание — «Любовь Константиновна» Лазаревского. В этом рассказе отдельные места напоминают чеховские мотивы (объяснение на скамейке у моря, заключительные строки). 17 января 1901 г., посылая Чехову рассказ, Лазаревский жаловался: «О нем мне говорили, что я позаимствовал его у Вас из „Д(амы) с с(обачкой)“. Эта мысль меня мучит (. . .) Люди, там описываемые, те, которых я наблюдал сам (. . .) Напишите мне, пожалуйста, что „Люб(овь) Конст(антиновна)“ это не у Вас взята». — *ГБЛ* (см.: Борис Л а з а р е в с к и й. Любовь Константиновна (Рассказ) (ч. 1). — «Крымский вестник». Севастополь, 1901, № 14, 16 января). Позже Лазаревский нарисовал для Чехова на папке виньетку. «Море, которое внизу папки, должно быть таким, каким любовались Дм. Дм. Гуров и Анна Сергеевна из Ореанды. Должно, но не знаю, есть ли оно такое», — писал он 4 апреля 1900 г. (*ГБЛ*). (Папка не найдена.)

При жизни Чехова рассказ переводился на болгарский, венгерский, немецкий, сербскохорватский и чешский языки.

Стр. 130. . . *готовился когда-то петь в частной опере*. . . — Русская частная опера (театр Солодовникова) в 1899 г. находилась в Москве на Б. Дмитровке (ул. Пушкинская).

Она никак не могла объяснить, где служит ее муж, — в губернском правлении или в губернской земской управе. . . — Губерн-

ское правление в России было высшим административным учреждением губернии, а губернская земская управа — исполнительным органом губернского земского собрания.

Стр. 132. ...она задумалась в унылой позе, точно грешница на старинной картине. — Грешница — Мария Магдалина. Изображение ее было очень распространено в итальянской живописи в эпоху Возрождения.

Стр. 138. ...шла в первый раз «Гейша» — оперетта английского композитора Сиднея Джонса, либретто О. Холла и Г. Гринбанка (1896 г.). Впервые на русской сцене поставлена режиссером А. Э. Блюменталем-Тамариным в Москве в 1897 г., в театре Шелапутина («Гейша, или Необычайное происшествие в одной японской чайной»). Оперетта в 3-х действиях. Пер. с англ. А. Паули и Э. Ярона. СПб., А. Иогансон (1898)). В 1899 г. в Москве «Гейша» шла в театре «Буфф» (дирекция Ш. Омон) и в театре русской комической оперы и оперетты под управлением Блюментала-Тамарина. Газета «Курьер» (1899, № 330, 29 ноября, рубрика: «Зрелища») так рекламировала постановку «Гейши» в этом театре: «В понедельник, 29 ноября, предст. буд. при исной обст. сенс. нов., им. колосс. усп. в Париже, Лондоне, Берлине, Вене и прошедш. в Москве более 200 раз: „Гейша“, яп. ком. оп. в 3 д. . . .». В апреле того же года в Москве гастролировал театр венской оперетты, который ставил «Гейшу».

Вернувшись в Ялту 27 августа, Чехов, возможно, присутствовал на запоздалой премьере «Гейши» в ялтинском театре 6 сентября (см.: «Курьер», 1899, № 201, 8 сентября). Ставила ее местная опереточная труппа под управлением С. Н. Новикова. Постановка пользовалась успехом: спектакль был повторен 23, 26 и 30 сентября (там же, № 212, 215, 218).

Чехов следил за репертуаром ялтинского театра. «В театре оперетка», — сообщал он О. Л. Книппер 3 сентября 1899 г.

В ОБРАТЕ

Впервые — «Жизнь», 1900, № 1 (цена. разр. 24 января 1900 г.), стр. 201—234. Подпись: Антон Чехов.

Включено во второе издание А. Ф. Маркса («Приложение к журналу „Нива“ на 1903 г.»), т. XII.

Печатается по тексту: Чехов, 2, т. XII, стр. 78—115, с исправлениями по журналу «Жизнь»:

Стр. 158, строка 33: Да какая-то она чудная — вместо: Да, какая-то она чудная

Стр. 160, строка 13: Николавной — вместо: Николаевной
Стр. 167, строки 27 и 32: мужик-ик — вместо: мужик

Работая над повестью (Ялта, ноябрь-декабрь 1899 г.), Чехов использовал в первоначальном или измененном виде 14 разрозненных замстков, занесенных в Первую записную книжку без определенной последовательности и в разное время: четыре — в 1895, 1897, 1898 гг., десять — в 1899 г. Видимо, в конце 1899 г., отбирая материалы для повести, писатель помечал их «галочкой», проставленной красным карандашом в центре текста де-

вяти заметок. По мере использования заметки зачеркивались черным карандашом, а затем, когда Чехов переносил неиспользованные записи в свою Четвертую книжку, — и чернилами.

Первая из этих заметок, сделанная в меликовский период (примерно в начале 1895 г.), указывает на родственность предистории двух крупнейших произведений Чехова о народной жизни — «Мужики» и «В овраге»: «Лакей Василий, приехав из Петербурга домой в Верейский уезд, рассказывает жене и детям разные разности, а они не верят, думают, что он хвастает, и хочут. Он наедается баранины» (*Зап. кн. I*, стр. 42). Лакей, вернувшийся из столицы на родину, стал в 1897 г. героем «Мужиков», а не вошедшие сюда детали были частично реализованы в 1899 г. в повести «В овраге»: домой в село возвращается сыщик Анисим, удивляющий домохозяев рассказами о городской жизни.

Из записей 1897 г. отобрана заметка, запечатлевшая характерные черты деревенского быта: «Девочка моет в пруде отцовские сапоги» (*Зап. кн. I*, стр. 74). В повести за этим занятием Липа застаёт у пруда мальчика (гл. VIII).

В той же главе VIII для обрисовки судьбы старика-возчика использована одна из двух заметок, относящихся к лету 1898 г.: «Хлеб твой черный, дни твои черные» (*Зап. кн. I*, стр. 87).

А запись, идущая чуть ниже, была превращена в выразительную характеристику «овражного» существования в начале главы I: «На похоронах фабриканта дьячок съел всю зернистую икру. Его толкал поп, но он окончил от наслаждения, ничего не замечал и только ел. Потом на обратном пути батюшка не отвечал на его вопросы, сердился. Вечером дьячок поклонился ему в ноги: Простите меня, Христа ради! И про икру не забыли. Когда спрашивали: какой дьячок? А тот самый, что на похоронах у Хрымова съел всю икру. — Это какое (деревня) село? — А то самое, где живет дьячок, к(ото)рый съел всю икру. — Кто это? — А тот дьячок, к(ото)рый съел всю икру» (*Зап. кн. I*, стр. 87—88).

С той же целью использована в главе I с некоторыми изменениями и заметка, занесенная в книжку вероятнее всего уже в конце 1898 — начале 1899 г.: «В водостном правлении поставили телефон, но скоро он перестал действовать, так как в нем завелись тараканы и клопы» (*Зап. кн. I*, стр. 95). В продолжение абзаца I главы, начатого сообщением о судьбе уклеевского телефона, частично вошла более поздняя заметка 1899 г.: «Мужик шлет про трактирщика (?): Они — и каждое слово начинает с большой буквы» (*Зап. кн. I*, стр. 103). В повести речь идет о малограмотном водостном старшине, который «в бумагах каждое слово писал с большой буквы».

Заметка, занесенная в книжку почти одновременно с записью о телефоне, переработана для главы II: «Писарь посылает жене из города фунт икры с запиской: „Посылаю Вам фунт икры для удовлетворения Вашей физической потребности“» (*Зап. кн. I*, стр. 95). Таким же образом поясняет в письме к «любезным папаше и мамаше» назначение «фунта цветочного чаю» Анисим. В главах II и III были развиты черты этого героя, кратко намеченные в следующем наброске: «Служащий в сыском отделении приезжает домой в деревню; он в калошах, штаны навыпуск,

родне его приятно, что он вышел в хорошие люди. Глядит на одного мужика и всё беспокоится: „У него рубаха краденая!“ Оказалось, верно» (*Зап. кн. I*, стр. 100). В главе III отразилась еще одна заметка, поначалу не относившаяся к Анисиму: «Мужик, желая похвалить: „господин хороший, специальный“» (*Зап. кн. I*, стр. 106). Анисим говорит о своем приятеле Самородове: «Человек специальный. Личный почетный гражданин...»

Три записи 1899 г. использованы в работе над образом плотника-подрядчика, прозванного Костылем. В главе II герой наделен некоторыми приметам мастера человека, первоначально запечатленными в заметке: «Х., бывший подрядчик, на всё смотрит с точки зрения ремонта и жену себе ищет здоровую, чтобы не потребовалось ремонта; Н. прельщает его тем, что при всей своей громаде идет тихо, плавно, не грохочет; всё, значит, в ней на месте, весь механизм в исправности, всё привинчено» (*Зап. кн. I*, стр. 98). Далее следует такая запись: «Зять Андреева стал богатым подрядчиком, но по старой привычке всё еще ходит пешком» (*Зап. кн. I*, стр. 102). В повести нет «зятя Андреева», а «богатым» Костыль называет себя только в шутку (гл. IX). Но в главе V есть фраза, близкая к цитированной: Костыль «да-по уже был подрядчиком, но не держал лошади, а ходил по всему уезду пешком». Этому герою дана взятая на заметку фамилия: «Елизаров» (*Зап. кн. I*, стр. 105).

Школьному сторожу Якову (гл. IX) передано характерное выражение, принадлежавшее в авторских заготовках купцу: «Купец: цобственный дом» (*Зап. кн. I*, стр. 102).

Последняя заметка — фамилия, ставшая центральной в произведении: «Цыбукин» (*Зап. кн. I*, стр. 107).

Кроме того, в главе VIII использована деталь (описание крика выли), не перешедшая в пьесу «Иванов» из ее вариантов 1889 г. (см. наст. изд., Соч., т. 12, стр. 251, 334, 364).

Рукопись и авторские корректуры повести «В овраге» не сохранились. Как явствует из письма Чехова к В. М. Соболевскому от 19 января 1900 г., первоначально замыслился рассказ не более чем в один печатный лист. В ноябре 1899 г. Чехов писал его для газеты «Русские ведомости», но рассказ растянулся (. . .), и пришлось отправить его в другое место.

Работа над рукописью началась, по-видимому, с первых чисел ноября: до 30 октября Чехов заканчивал «Даму с собачкой». Впервые «большая повесть», близкая к окончанию, упомянута автором в письме к М. П. Чеховой от 14 ноября.

17 ноября редактор журнала «Жизнь» В. А. Поссе телеграфировал Чехову из Петербурга: «Редакция „Жизни“ убедительно просит вас поддержать журнал присылкой рассказа декабря или января» (*ГБЛ*). Просьбу предвляла долгая переписка.

Редакцию «Жизни» Поссе возглавил в конце 1898 г. Под его руководством журнал становится одним из самых значительных печатных органов в подцензурной марксовской прессе. Его беллетристический отдел, возглавленный Горьким, в 1899 г. высоко оценил В. И. Ленин: «...недурной журнал! Беллетристика прямо хороша и даже лучше всех!...» (В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 46, стр. 25).

Горький, проявивший горячую заинтересованность в сотрудничестве Чехова, писал ему в начале декабря (после 6-го) 1898 г.:

«А что, получили Вы приглашение писать в „Жизнь“? Вот славно было бы, если б Вы согласились на их условия!» (*Горький*, т. 28, стр. 52). Почти одновременно, 8 декабря, к Чехову обратился Поссе: «... решаю просить Вас поддержать журнал своим талантивым пером». Разъясняя ситуацию в редакции, он писал, что «Жизнь» «будет стремиться не разъединять, а, по возможности, соединять врагов русского бюрократизма. (. . .) Струя марксистского „Нового слова“ будет, конечно, чувствоваться уже хотя бы потому, что я сам состоял одним из редакторов „Н. С.“» (*ГБЛ*; см.: И. А. Бутская. А. П. Чехов и журнал «Жизнь». — «Вісник Київського ун-ту», 1960, № 3. Сер. Філології та журналістики. Вип. 1, стр. 40; В. К. Гайдук. Из отношений А. П. Чехова с журналами «Жизнь» и «Начало». — В кн.: Сборник статей и материалов. Вып. 5, Ростов н/Д., 1969, стр. 51 (Лит. музей А. П. Чехова).

Чехов в письме к Поссе (оно утрачено) ответил согласием. Адресат 20 декабря отозвался так: «... несказанно обрадовали Вашим письмом. В „Жизнь“ я верю и верю, что у Вас явится охота поскорее написать для нее что-нибудь». Редактор был озабочен тем, понравится ли Чехову готовившийся первый номер «Жизни» (*ГБЛ*). Одновременно Поссе сообщал Горькому: «Сейчас (. . .) получил от Чехова милое письмо с согласием сотрудничать. Рад бесконечно» (*АГ*). Горький писал Чехову в канун Нового года: «... для „Жизни“ Вы туз козырей, а для меня Ваше согласие — всем праздникам праздник! Рад я — дьявольски!» (*Горький*, т. 28, стр. 53).

3 января 1899 г. Чехов в письме к Горькому оценивал беллетристику первого номера «Жизни». Горький же, согласившись с большинством замечаний, просил (между 6 и 15 января) помочь Поссе: «Нужно поддержать его на первых порах (. . .) Помимо этого, — для меня главного, — „Жизнь“ имеет тенденцию слить народничество и марксизм в одно гармоничное целое. Такова, по крайней мере вначале, была ее задача. Теперь марксисты, которые обещали участвовать в ней, провели Поссе за нос и основали свой журнал „Начало“». (Издавался в Петербурге с января по май 1899 г. легальными марксистами под редакцией П. Струве и М. Туган-Барановского.) «Я, — писал Горький, — всех этих дел не понимаю. Скажу откровенно, что нелегко думаю я о питерских журналистах (. . .) Но — дайте теперь же в „Жизнь“ что-нибудь Ваше, она принимает какие угодно условия от Вас. Подумайте — вдруг по толчку Вашему и дружным усилиям других возникнет журнал, на самом деле интересный и серьезный? Это будет славно!..» (*Горький*, т. 28, стр. 56). Поссе (письма к Горькому от 8 и 13 января — *АГ*), возлагавший на Чехова такие же надежды, просил его 10 января поддержать журнал «рассказом для февральской книжки», тоже сообщив об уходе марксистов в «Начало» (*ГБЛ*).

18 января Чехов писал Горькому: «Ваше письмо насчет „Жизни“ и письмо Поссе пришло, когда уж я дал согласие, чтобы в „Начале“ выставили мою фамилию. Была у меня М. И. Водозова, пришло письмо от Струве — и я дал свое согласие, не колеблясь ни одной минуты. Готового у меня нет ничего...»

Сотрудники «Начала» не раз просили о рассказе из народной жизни (письма к Чехову П. Б. Струве от 12 января, М. И. Во-

довозовой от 13 февраля, 8 и 26 мая 1899 г. — ГБЛ), но в мае журнал был запрещен. По поводу же участия Чехова в «Жизни» переписка продолжалась. 23 апреля ему писал об этом Горький, 12 августа — Поссе: «...продолжаю с прежним нетерпением ожидать от Вас рассказа...» (ГБЛ). Горький, узнав от Поссе (из его письма от 17 августа — АГ), что Чехов работает над романом, сразу же (август, до 23) написал ему: «... если Вы никому еще не обещали романа — пожалуйте, отдайте его „Жизни“» (Горький, т. 28, стр. 91), Поссе 21 августа вновь просил Горького: «Чехова, Чехова и еще раз Чехова!» (АГ). 24 августа Чехов ответил Горькому, что о романе он даже не помышлял.

К концу года настоятельные просьбы участились. Поссе хотел видеть Чехова рядом с Горьким в числе руководителей «Жизни», взять вместе с ним журнал в «аренду, в полное распоряжение» и спрашивал Горького: «Но что (. . .) Чехов? Он нам необходим» (письма Поссе к Горькому от 1 и 21 сентября — АГ). 10 октября редактор писал Чехову: «...жду, что Вы примкнете к „Жизни“ и своим сотрудничеством, а также товарищескими указаниями можете ей держаться правильного пути» (ГБЛ; Записки ГБЛ, вып. 8, стр. 53—54). Горький убеждал (около 19 октября): «Дайте „Жизни“ рассказ! Очень прошу вас об этом» (Горький, т. 28, стр. 97). Поссе спрашивал у него 16 ноября: «Отчего Чехов молчит?» (АГ), а 17-го телеграфировал Чехову, что просит рассказ к «декабрю или январю» (ГБЛ). 19-го Чехов написал Поссе: «Дело в том, что я пишу повесть для „Жизни“ (. . .) В ней всего листа три, но тьма действующих лиц, толкотня, тесно очень — и приходится много возиться, чтобы эта толкотня не чувствовалась резко. Как бы ни было, около 10 дек(абря) она уже сформируется совсем, можно будет набирать. Но вот беда: разбирает страх, что ее пощиплет цензура. Цензурных помарок я не перенесу, или кажется, что не перенесу. И вот потому, что повесть местами выходила не совсем цензурной, я не репался писать Вам определенно и отвечать наверное. Теперь, конечно, отвечаю наверное, но с условием, что Вы возвратите мне мою повесть, если она и Вам покажется местами не цензурной, т. е. если Вы также будете предвидеть опасность, что ее пощипает цензор». Поссе отвечал 22-го ноября: «...спасибо за то, что Вы окончательно решили вдохнуть новую жизнь в наш журнал своей повестью (. . .) Относительно цензуры не беспокойтесь. Я дам цензору прочитать Вашу повесть в рукописи и без Вашего (. . .) согласия не допуску печатания с цензурными выкидками».

Сердечно благодарил Чехова и Горький (29 или 30-го): «Это так хорошо! Думаю я, что журнал сей выправится и будет славным» (Горький, т. 28, стр. 104).

Б. А. Лаваревский, побывавший в ноябре 1899 г. в ялтинском доме Чехова, рассказывал о рукописи «В овраге»: «Обыкновенный лист писчей бумаги был униван ровными, мелкими, широко стоящими одна от другой строчками. Слов десять было зачеркнуто очень твердыми, правильными линиями, так что под ними уже ничего нельзя было прочесть. Мне бросилась в глаза фраза (из гл. IV): „Херес был кислотатый, пахло от него сургузом, но вышли еще по рюмке...“» (Бор. Лаваревский, А. П. Чехов. Личные впечатления, — «Журнал для всех», 1905, № 7, стр. 423),

25 ноября Чехов уведомил Горького: «Ну-с, пишу для „Жизни“ повесть, для январ(ской) книжки». 3 декабря он о том же известил Вл. И. Немировича-Данченко, а 6-го в письме к Е. С. Миролубову сообщил: «...уже кончаю».

Однако текст дорабатывался еще в течение двух недель. В письме к О. Л. Книппер от 8 декабря есть такие слова: «...усадил себя за работу и не даю себе развлекаться». 13 декабря Чехов спрашивал Горький: «Что Вы пишете и скоро ли кончите?» (Горький, т. 28, стр. 108). После 15-го, а затем 20-го с тревогой сообщал Горькому: «Чехов почести не шлет» (АГ), а 17-го телеграфировал Чехову: «Волнуемся не получая рукопись» (ГБЛ). Чехов срочно ответил: «Посылаю двадцатого» (телеграмма затерялась, как сообщает Чехов 23-го) и 20 декабря написал: «...простите (. . .) посылаю рукопись в безобразном виде. Я не стал переписывать из боязни, как бы (. . .) не начать опять переделывать (. . .) отдайте в набор и пришлите мне корректуру, я в корректуре сделаю то, что обыкновенно делаю, переписывая, т. е. безобразное сделаю благообразным. Корректуру я продержу у себя два дня. Вот если бы Вы отложили до феврал(ьской) книжки, то было бы хорошо. (. . .). Заглавие „В овраге“, быть может, изменю, если придумаю что-нибудь более выразительное и глазастое». 26-го в письме к М. О. Меньшикову Чехов обронил замечание: «Послал повесть в „Жизнь“. В этой повести я живописую фабричную жизнь, трактую о том, какая она поганая, — и только вчера случайно узнал, что „Жизнь“ — орган марксистский, фабричный. Как же теперь быть?» В ноябре же Чехов, по свидетельству Б. А. Лазаревского, сказав о подготовке рассказа для «Жизни», «улыбнулся и добавил: «А рассказ-то совсем не в духе марксистов. Пожалуй, и не напечатают» («Журнал для всех», 1905, № 7, стр. 423).

Те и другие слова Чехова следует отнести к известной тенденции легально-марксистских журналов, выразившейся в апологетическом отношении к проникновению буржуазных начал в деревню и явно противостоявшей духу его повести о «фабричном» селе. Эту тенденцию Чехов не только мог чувствовать по ряду выступлений «Жизни», за которой следил, судя по переписке, но определенно знал, например, по статье Струве о «Мужиках» («Новое слово», 1897, № 8), приславшего ее Чехову, предлагая 12 января 1899 г. сотрудничать в «Начале» (ГБЛ). Эта осведомленность не отменяла готовности Чехова участвовать в марксистских журналах (см. И. Н. А л ь т ш у л ь с р. Еще о Чехове. — ЛН, т. 68, стр. 688). О марксистской ориентации «Жизни» Чехов знал давно от Поссе. Полученную же к 26 декабря весть о том, что «Жизнь» считается официальным марксистским «органом», Чехов мог воспринять как новость на фоне неоднократных известий (см. письма к нему Поссе и Горького) о расколе в редакции и уходе группы марксистов в свой, особый журнал «Начало».

23 и 26 декабря автор и редактор обменялись корреспонденциями по поводу отправленной рукописи, а 28-го Поссе сообщил: «...вчера получил и проглотил Вашу повесть. (. . .) Вы хотите, чтобы повесть пошла в феврале. Вы хотите спокойно исправить ее в корректуре. Ваш голос в данном случае должен быть решающим. Поместим „В овраге“ (название, по-моему, очень

хорошо!) в февральской книжке. Корректуру выплюю через несколько дней. (Рукопись в наборе.) Нецензурного в повести, по-мосму, ничего нет» (*ГБЛ; Записки ГБЛ*, вып. 8, стр. 54). 29 декабря Поссе делился с Горьким: «Чехов прислал превосходную вещь: в духе „Мужиков“, но глубже. (. . .) Чехов — главный успех журнала» (*АГ*).

2 января 1900 г. Чехов извещал Горького о том, что повесть уже отослал, и одновременно писал О. Л. Книппер: «В февральской книжке „Жизни“ будет моя повесть — очень страшная. Много действующих лиц, есть и пейзаж. Есть полумесяц, есть птица вышь, которая кричит где-то далеко-далеко: бу-у! бу-у! — как корова, запертая в сарае. Всё есть».

Поссе 7 января телеграфировал Чехову: «Корректура вам послана просим позволения печатать январе крайне важно успеха журнала без вашей корректуры печатать не будем сохраняете ли название» (*ГБЛ*). В тот же день в письме к Горькому он выражал надежду, что первый номер «Жизни» «выйдет на славу. Что за вещь написал Чехов!» (*АГ*).

11 января Чехов уведомил Поссе: «...возвращаю корректуру. Читать ее было очень трудно, так как типография почему-то не прислала оригинала. Есть пропуски, которые я возобновлял по памяти кос-как; промежутки между полосами тесны, писать негде, пришлось разрезать, подклеивать (. . .). Скажите корректору, чтобы он уже не исправлял, по возможности не ставил бы запятых и кавычек. Пусть в типографии обратят внимание на соединительный знак *с* в тех местах, где абзацы обрывают разговорную речь. Корректуру держал я недолго, только одни сутки». 12 января Чехов писал в тот же адрес: «Итак, название повести осталось прежнее. Повесть делить никак нельзя, она пойдет вся в январскую книжку».

Поссе ответил 16 января: «...корректура (. . .) получена. Ужасно неприятно, что Вам пришлось поправлять без оригинала. Напутала всякая типография (. . .) послали оригинал не Вам, а корректору. (. . .) Окончательную корректуру я просмотрю сам. Повесть Ваша пропущена цензором без помарок» (*ГБЛ*).

Получив помер, 5 февраля Чехов жаловался Поссе: «...корректуру (. . .) в типографии не исправили. Как были „табельные“ вместо „заговень“ (стр. 203), так и осталось. В деревне никаких табельных дней не знают и не празднуют — и это „табельные“ покажется людям, знающим нелепостью. После „сига“ (стр. 110) (в письме описка Чехова — надо: стр. 210) запятая для чего-то, после „певчих“ (*ibid*) нет запятой, после „Бог милостив“ (стр. 214) запятая. „Глазы“ корректор исправил, показалось ему неправильно (216), а Гантаревы вместо Гунторевы так и осталось. И кавычек ненужных понаставил, и двоеточий. Где у меня точка с запятой, там он поставил двоеточие. На странице 219, строка 9 снизу, после „возьми“ нет тире (—) и т. д. и т. д. Все эти опечатки, особенно „табельные“ и „Цыбуляки“ (231 внизу), „Цыбульки“ (233, 8-я строка сверху), так аффраппировали меня, что я теперь видеть не могу своего рассказа. Такое обилие опечаток для меня небывалая вещь и представляется мне целой оргией типографской неряшливости — простите мне это раздражение. Оттисков до сих пор я не получил».

Поссе в письме от 10 февраля просил извинения, жалел, что

не держал корректуру сам, выпил типографию, которая не учла исправлений, обещал приложить список опечаток к февральскому номеру. «...Не огорчайтесь и не сердитесь! — писал он. — Повесть Ваша так захватывает своим настроением всякого чуткого читателя, что ему не до опечаток. Помню, я Вашу неразборчивую рукопись читал с необычайною быстротою, скорее угадывал, чем разбирая слова, и впечатление всё же получилось громадное. Я запомнил почти каждую фразу (. . .) Вы дали нам такую первоклассную, такую глубоко-философскую и удивительно художественную вещь...» (ГБЛ). Ради сохранения связей Чехова с журналом Поссе просил Горького в письме от 10 февраля поехать в Ялту и сам готов был сделать то же (АГ). 15 февраля Чехов, написав Горькому об огорчительных опечатках, послал редактору «Жизни» примирительное письмо, на которое Поссе с благодарностью ответил 23-го, сообщив 26-го Горькому: «Чехов прислал славанное письмо. Спасибо ему!» (АГ). В этом письме Чехов, извещая об успехе выпущенного номера «Жизни», просил прислать оттиски «В овраге»: «Мне это нужно, (. . .) прежде всего для Маркса, потом заграничным переводчикам».

Прежде чем повесть появилась в 1903 г. в собрании сочинений, изданном А. Ф. Марксом, Чехов правил журнальный текст не менее четырех раз. О первой правке свидетельствует цитированное письмо к Поссе от 5 февраля 1900 г. с подробным перечнем ошибок в только что полученном первом номере «Жизни». Вторая правка была осуществлена в период между полученным оттиском, которые Чехов просил у Поссе 15 февраля (получил не позднее 22-го: см. дарственную надпись Л. В. Средину.— Письма, т. XII, с. 190), и передачей повести в собственность издателя Маркса, извещенного Чеховым в письме от 14 ноября 1901 г. о том, что повесть выслана ему бандеролью. Затем текст дважды корректировался автором в 1903 г. уже непосредственно для XII тома сочинений, изданных приложением к «Ниве», что устанавливается по переписке Чехова и Маркса за 1903 г.

Сам Чехов предназначал «В овраге» для будущего приложения своего десятитомника, изданного Марксом в 1899—1902 годах, но вынужден был согласиться с требованием издателя (письма Маркса от 19 марта 1903 г.— ГБЛ) включить девять новых произведений в приложение к «Ниве». 28 марта (письма Маркса — ГБЛ) Чехову была выслана их корректура. Выправленные гранки, в том числе «В овраге», писатель отослал Марксу 14 апреля (письмо Чехова). При этом он сообщал о своем отъезде в Москву и просил направить повторную корректуру. Издатель сделал это 26 апреля (письмо Маркса — ГБЛ). Гранки ему были возвращены Чеховым, по-видимому, при личной встрече в Петербурге 14 мая.

Отличия текста «В овраге», вошедшего в том XII приложения к «Ниве», от журнального многочисленны и разнотипны. Всего их свыше 120. Подавляющая часть — в расстановке знаков препинания (около 80) и написании отдельных слов (более 30). В основном Чехов исправлял погрешности типографского набора и работы корректора. Смысл фраз не менялся. В пяти случаях добавлены отдельные слова, сокращены союз и предлог. В речи героев восстанавливалось разговорное произношение слов и условий, устраненное корректором. В процессе пунктуационной

правки уточнялся ритм авторского повествования (см. варианты).

В XI, посмертный том марксовского издания (1906 г.), как показало сличение текстов, повесть вошла без изменений, но с небольшой корректорской правкой пунктуации и типографскими огрехами (в написании четырех слов и пунктуации).

Ряд мемуаров, писем и документов указывает на реальные источники повести.

Открывающая ее история с дьячком, съевшим два фунта икры, была рассказана Чехову И. А. Буниным (*ЛН*, т. 68, стр. 672; И. А. Бунин. Собр. соч. в 9-ти т. Т. IX. М., 1967, стр. 224).

В обрисовке характеров и жизненного уклада фабричного села Уклеева исключительную роль сыграли мелиховские впечатления. Об этом писал П. И. Куркин в воспоминаниях о врачебной деятельности Чехова в Мелихове (подпись: К. Антон Павлович Чехов как земский врач. Материалы для биографии (1892—1894 гг.).— «Общественный врач», 1911, № 4, стр. 68). М. П. Чехов, отмечая наряду с этим и значение участия Чехова в народной переписи 1897 г., позволившей изучить мужицкую жизнь, писал в мемуарах: «...семь лет „мелиховского сидения“ не прошли для него даром. Они наложили на его произведения этого периода свой особый отпечаток, особый колорит. Это влияние Мелихова признавал он и сам. Достаточно вспомнить о его „Мужиках“ и „В овраге“, где на каждой странице сквозят мелиховские картины и персонажи» (*Вокруг Чехова*, стр. 280. Ср.: *Антон Чехов и его сюжеты*, стр. 128). Как явствует из мемуаров, например М. П. Чеховой (*Из далекого прошлого*), хорошо узнал писатель и запечатленную в повести жизнь купцов и фабрикантов окрестных сел. С некоторыми из них Чехов состоял в деловом знакомстве и переписке (см., напр., его письмо от 10 октября 1893 г. к С. Е. Кочеткову; письма С. Е. Кочеткова к Чехову — *ГБЛ*), характеризовал их поведение в письмах к другим лицам (к Л. С. Мизиновой от 23 июля 1893 г. и др.).

Происхождение множества реалий повести (описание фабрик, жизненного уклада села, положения трудового люда, быта и нравов уклеевских хозяев и блюстителей порядка и т. д.) выясняется при обращении к документам, зафиксировавшим факты, известные Чехову по его общественно-медицинской деятельности в период холерной эпидемии 1892—1893 гг., а также в связи с его избранием в 1894—1895 гг. в комиссию уездного санитарного совета по осмотру фабрик. Среди документов — два служебных медицинских отчета по временному мелиховскому участку за 1892 и 1893 гг., представленные в совет Чеховым, возглавлявшим участок, и такие официальные материалы, как «Дело Серпуховской земской управы о сафьяно-лаично-кожевенном заведении крестьян Шелагуровых в с. Крюкове» (*ГБЛ*), «Доклад Серпуховского уездного земского санитарного совета уездному собранию. Октябрь 1892» (М., 1892) и почти ежегодно издававшиеся уездным земством в 1890-х годах «Обзоры Серпуховской земской санитарно-врачебной организации». (Обзор за 1892—1893 гг. М., 1894, хранится в Доме-музее А. П. Чехова в Ялте. См.: *Чехов и его среда*, стр. 362).

М. П. Чехов указывал, что изображенное место — «близ Мелихова» (*Антон Чехов и его сюжеты*, стр. 146). С. М. Чехов

уточнял: «...прототипом села Уклеева (. . .) послужило село Угрюмово, что в 3 километрах от Мелихова» (*Вокруг Чехова*, стр. 323). П. И. Куркип же узнавал в повести «местный колорит с. Крюкова» (письмо к Чехову от 23 февраля 1900 г. — *ГБЛ*).

Как можно судить по мемуарам С. Н. Щукина, сам Чехов признавал, что в повести отразились реальные факты, лица, события, и в то же время подчеркивал ее художественно обобщающий смысл. Он говорил: «Я описываю тут жизнь, какая встречается в средних губерниях, я ее больше знаю. И купцы Хрымины есть в действительности. Только на самом деле они еще хуже. Их дети с восьми лет начинают пить водку и с детских же лет развратничают; они заразили сифилисом всю округу. Я не говорю об этом в повести, (. . .) потому что говорить об этом считаю нехудожественным. (. . .) А знаете, (. . .) вот то, что мальчика Липы обварили кипятком, это не исключительный случай; земские врачи нередко встречают такие случаи. Впрочем, я решил больше ничего не писать из жизни крестьян» (подпись: С. Щ. Из воспоминаний об А. П. Чехове. — «Русская мысль», 1911, № 10, стр. 46—47; *Чехов в воспоминаниях*, стр. 464—465).

М. П. Чехов видел в повести отражение и сахалинских впечатлений — «один из сахалинских случаев» (*Антон Чехов и его сюжеты*, стр. 146). Мемуарист, надо полагать, имел в виду историю Анисима. В книге «Остров Сахалин» Чехов неоднократно рассказывает о встречах с фальшивомонетчиками, приводит образчики писем, подобных тем, какие сочиняет на каторге за Анисима Самородов, говорит о судьбе оставшихся в России, как и Липа, жен ссыльных, рисует типы преступных женщин, вроде Аксиньи.

Сомнения Чехова относительно приема повести в «Жизни» были рассеяны первым же восторженным отзывом Поссе (от 28 декабря), прочитавшего рукопись: «Какая беспощадная, какая зловещая правдивость! Ни одного намека на эффект, а впечатленье огромное...» В этой «глубокой» вещи, написанной «гениально просто», редактор видел главный залог успеха журнала (*ГБЛ; Записки ГБЛ*, вып. 8, стр. 54). 16 января 1900 г. он извещал Чехова: «Горький (. . .) ждет с нетерпением появления „В овраге“; не позволял мне рассказывать содержания» (*ГБЛ*).

После публикации повести Горький сообщал Чехову (11 или 12 февраля): «Согрешил (. . .) я заметкой по поводу „Оврага“, но ее у меня испортил сначала редактор, а потом цензор. Знаете — „В овраге“ — удивительно хорошо вышло. Это будет одна из лучших Ваших вещей. И Вы всё лучше пишете, всё сильнее, всё красивее». День спустя (12 или 13 февраля) Горький спешил передать Чехову одобрительный отзыв Л. Толстого и добавлял: «Знаете, эта чрезвычайная радость, вызванная рассказом Вашим, ужасно мне нравится. Я так и представляю старика — тычет он пальцем в колыбельную песню Липы, и, может быть, со слезами на глазах (. . .) говорит что-нибудь эдакое глубокое и милое». Тут же Горький горячо благодарил Чехова за поддержку «Жизни» (*Горький*, т. 28, стр. 119, 120). Еще не получив последнего письма, Чехов 15 февраля ответил Горькому на предшествующее, с которым был прислан текст упоминавшейся статьи: «Ваш феллетон в „Нижегородском“ листке“ был бальзамом для моей

души. Какой Вы талантливый! Я не умею писать ничего, кроме беллетристики, Вы же вполне владеете и пером журнального человека. Я думал сначала, что фельетон мне очень нравится, потому что Вы меня хвалите, потом же оказалось, что и Средин, и его семья, и Ярцев — все от него в восторге». (Врач Л. В. Средин и художник Г. Ф. Ярцев — жившие в Ялте близкие знакомые Горького и Чехова.)

Летом 1900 г. Чехов получил еще один отзыв Горького, который писал (июль, до 15-го) из с. Мануйловка Полтавской губернии: «Читал я мужикам „В овраге“. Если б вы видели, как это хорошо вышло! Заплакали хохлы, и я заплакал с ними. Костыль понравился им — чёрт знает до чего! Так что один мужик, Петро Дерид, даже выразил сожаление, что мало про того Костыля написано. Лица понравилась, старик, который говорит „велика матушка Россия“. Да, славно всё это вышло, должен я сказать. Всех простили мужики — и старого Цыбукица и Аксинью, всех! Чудесный Вы человек, Ан(то)н Пав(лович), и огромный Вы талантщик» (*Горький и Чехов*, стр. 75. См. также об этом в письмах: Горького к Л. В. Средину от 26 августа 1900 г.— *АГ*; О. Л. Книппер к Чехову от 4 сентября 1900 г.— *Переписка с Книппер*, т. 1, стр. 179—180). Посе в мемуарах, назвав «В овраге» «лучшим беллетристическим произведением из всех напечатанных в „Жизни“, привел и сказанные в ту пору слова Горького о Чехове: «...есть у него что-то новое; что-то бодрое и обнадеживающее пробивается сквозь крошечный ужас жизни» (В. А. Поссе. *Мой жизненный путь*. М.— Л., 1929, стр. 155).

Глубокое впечатление произвела повесть на Л. Н. Толстого. 9 февраля 1900 г. он писал Горькому: «Как хорош рассказ Чехова в „Жизни“. Я был очень рад ему» (*Толстой*, т. 72, стр. 303). А. Б. Гольденвейзер же вспоминает, что повесть «В овраге» Толстой «читал (. . .) в Хамовниках вслух и, как всегда, восхищался чеховским мастерством» (А. Б. Гольденвейзер. *Вблизи Толстого*. М., 1959, стр. 392, а также 377; ср. его же: *Встречи с Чеховым*.— *Театральная жизнь*, 1960, № 2, стр. 18). П. А. Сергеенко рассказывает, как при встрече с Чеховым в Гастрепе 12 сентября 1901 г. Толстой, заявив, что «ждет от Антона Павловича не пьесы, а того, в чем он наиболее силен (. . .) процитировал на память несколько строчек из чеховского рассказа „В овраге“» (П. А. Сергеенко. *Чехов и Толстой*.— *Рампа и жизнь*, 1914, № 26, стр. 5).

Меньшиков сообщал Чехову 1 февраля 1900 г., прочтя «В овраге»: «Весь день сегодня хожу под глубоким впечатлением Вашей превосходной работы. Она должна вызвать большой шум, не меньше „Мужиков“. 21 марта он добавлял, что покорен образом Липы: «Что за прелесть!» (*ГБЛ*).

6 февраля Лазаревский писал: «Сегодня получил „Жизнь“. Ваше „В овраге“ вещь страшная. Такая, как „Власть тьмы“ Толстого (. . .) Когда я прочел, как на маленького Никифора брызнули кипятком, я взволновался так, что читать оставил и дочитал уже потом. Эта вещь еще выше „Мужиков“» (*ГБЛ*; там же: *Дневник Б. А. Лазаревского*, тетрадь 1-я, запись от 6 февраля 1900 г.).

В. С. Мпролюбов 9 февраля признавался: «Спасибо за „Овраг“. Раза 3 от сильного чувства прекращал чтение. Знаете,

как это бывает, — застелет глаза слезами, что-то в груди подметается, разрастается, как будто летишь куда...» (ГБЛ).

20 февраля Чехову писала О. Л. Книппер: «Ночью прочла „В овраге“ и в восторге. Как просто и потому как сильно и красиво! У меня из головы не выходят бедная Липа с мертвым младенцем, сидящая у прудика с своей тоской, и тихая звездная ночь, выпь, поля, Вавила, старик... Я пока только проглотила рассказ, а читать еще буду» (*Переписка с Книппер*, т. 1, стр. 137).

23 февраля делилась своими впечатлениями М. П. Чехова: «Прочла я твой рассказ „В овраге“. Он так удивительно хорош, что я даже прослезилась от умиления (. . .). Особенно тронуло меня то место, когда Липа подала старику пирог, и он стал есть его, в конце рассказа. По-моему, ты еще никогда так хорошо не писал, положительно не к чему придаться. Все ходят с большими глазами и говорят — вы читали?..» (*Письма к брату*, стр. 152).

В тот же день сообщал П. И. Куркин, бывший в Москве на съезде санитарных статистиков и врачей: «Не могу и не считаю нужным скрыть от Вас (. . .) того очарования, к(ото)рое испытывают все при ознакомлении с Вашим последним очерком „В овраге“. (. . .) это одно из прекрасных творений Ваших» (ГБЛ).

31 марта земский деятель С. И. Шаховской, живший неподалеку от Мелихова, писал Чехову: «...спасибо Вам, миленький, за Хмыриных старших и младших (в повести — Хрымни). Чудно, хорошо. Так сильно, что и сказать не могу» (ГБЛ). В марте же отозвался И. И. Горбунов-Посадов: «С глубоко любовным чувством к Вам читал я Ваше „В овраге“. Я в первый раз ближе, больше, сильнее почувствовал не талант только Ваш, а сердце Ваше, любовь к человеку (. . .) ко всему страдающему и ко всему умирающему душою в этой жизни (. . .) А про мастерство — что уж говорить! — Эта ночь, когда она идет с ребенком, костер, этот старик, — я мало в жизни читал такого художства» (ГБЛ). А. Ф. Кони признавался Чехову 24 ноября: «Нужно ли говорить Вам, что я читал и перечитывал „В овраге“ с восхищением. Мне кажется, что это лучше всего, что Вы написали, — что это — одно из глубочайших произведений русской литературы» (ГБЛ). 16 июня 1901 г. В. М. Соболевский сообщал Чехову: «В Климском имении Ермолов читал вслух Вам „В овраге“. (. . .) Это произведение относится еще к области „слогового“, понятного нам искусства» (ГБЛ).

Писали автору и познакомые лица. Учительница Ф. И. Корнева, пространно делилась наблюдениями над жизнью окружающих ее фабричных рабочих и интеллигентов (письмо от 12 февраля 1900 г. со ст. Бараново, Ярославской ж. д.), заключала, что действительность в целом мрачна, беспросветна, и спрашивала, как жить дальше (ГБЛ).

Иначе прозвучало письмо читательницы Е. И. Крестн от 16 марта 1900 г. из Книппева. Говоря, что давно следит за творчеством Чехова, она отдавала на суд писателя свой разбор повести «В овраге» (статья утрачена) и добавляла: «... в повести „В овраге“ я усматриваю еще две вещи: отвращение к идеализации деревни и закрепощению к земле, даже добровольному, и еще — отражение Вашего общего стройного, цельного мировоззрения, к(ото)рое я всегда чувю в Ваших последних произведениях, но не сумею

Вам определить каким-нибудь одним метким словом, Мне кажется, что главным элементом этого мировоззрения входит свобода, — свобода в самом лучшем, глубоком смысле этого слова, — не пошлая свобода какой-нибудь швейцарской республики, а та свобода, о к(ото)рой, напр(имер), мечтает Герцен в своем последнем томе „Былое и думы“ (по поводу Р. Оуэна)» (ГБЛ), 6 апреля 1900 г. Кристи благодарила за «ответ» и «добрые слова», доставившие ей «большое удовольствие» (ГБЛ; письмо Чехова неизвестно). Хотел слышать «беспристрастное мнение» о своем «первом сколько-нибудь большом критическом опыте» и М. К. Лемке, редактор газеты «Орловский вестник», в которой публиковались его статьи по поводу появления повести «В овраге», присланные автором с письмом к Чехову от 8 сентября 1900 г. (ГБЛ).

Повесть «В овраге» вызвала обилие откликов в печати. Критики самой различной ориентации почти единодушно признали «В овраге» выдающимся явлением современной беллетристики. Но смысл повести, особенности идейной позиции и художественного метода Чехова истолковывались по-разному, подчас — прямо противоположным образом.

Принципиально новую для тех лет и наиболее верную концепцию всего творчества Чехова создал Горький, первым отзывавшийся на выход «В овраге» (М. Г о р ь к и й. Литературные заметки. По поводу нового рассказа А. П. Чехова «В овраге». — «Нижегородский листок», 1900, № 29, 30 января). Он беспощадно пропизировал над теми, кто, признавая художественное дарование Чехова, считал его или беспечным юмористом, или равнодушно-холодным созерцателем жизни, общественно-индифферентным пессимистом, безыдейным литератором и предрекал скорую гибель и забвение его таланта. Указав на творческую связь Чехова с традициями русских классиков, в чем ему нередко отказывали, Горький особо настаивал на реалистической природе чеховского метода, устремленного к постижению трезвой правды каждодневной жизни: «Страшная сила его таланта именно в том, что он никогда ничего не выдумывает от себя, не изображает того, „чего нет на свете“, но что, быть может, и хорошо, может быть, и желательно». В статье опровергалось распространенное мнение о том, что у Чехова нет определенной позиции: «Его упрекали в отсутствии мирозерцания. Нелепый упрек!.. У Чехова есть нечто большее, чем мирозерцание, — он овладел своим представлением о жизни и таким образом стал выше ее». Горький подчеркивал связь творчества Чехова с существеннейшими тенденциями предреволюционной русской действительности: «...каждый новый рассказ Чехова всё усиливает одну глубоко ценную и нужную для нас ноту — ноту бодрости и любви к жизни».

Принципиальная новизна концепции Горького явственно проступает в сравнении с почти одновременными выступлениями других критиков. Так, двумя днями позже появилась рецензия Н. Геккера (Н. Г. «В овраге». Новая повесть Антона Чехова. — «Одесские новости», 1900, № 4864, 1 февраля). С похвалой отзываясь о произведении, признав правдивость описания с. Уклева, рецензент считал, что «центр тяжести повести» — в изображении жизни мужиков, однако тут же писал: «Но главный повествовательный и психологический интерес заключается в

грустной истории замужества бедной крестьянской девушки Липы...» Критик отказывался искать в повести общественную тенденцию: «...не будем гоняться за фикциями (. . .) Какое нам дело до того, что хотел сказать автор и хотел ли он выразить что-нибудь особенное...» В статье говорилось, что от повести веет «чисто безнадежным и безысходным».

Либерально-умеренный критик В. А. Гольцев («Литературные отголоски». — «Курьер», 1900, № 45, 14 февраля) по многим положениям полемизировал с Горьким. В том числе, сводя его оценку миросозерцания Чехова всего к двум положениям: «понять, значит простить», «помогите жить людям, помогайте друг другу», автор оспаривал ее. В целом он заключал, что Чехов «никогда (. . .) не скажет и не подумает того, что навязывает ему г. Горький».

Не замедлила отозваться на выход новой повести и реакционная критика. В. П. Буренин признал «В овраге» «...вни-более удачным, наиболее художественно обработанным и наиболее глубоким по замыслу» произведением Чехова и значительную часть статьи посвятил анализу характеров Анисима и Аксиньи. В этих рассуждениях сказались его ничем не маскируемая тенденциозность. Дав уничтожающую характеристику старшего сына Цыбукина, Буренин язвительно писал, что Анисим «является героем нашего времени, руководимым современными заветами в своем роде „марксистского“ пошиба». Аксинья в представлении критика — тоже «героиня нового порядка», вытеснившего из литературы образы идеальных героинь из народа. Он призывал полюбоваться этой «доморощенной марксисткой» — «бабой (. . .) деятельной энергии, здоровой и бодрой», «покладливой и трудолюбивой» лишь ради наживы, обуреваемой «хищными инстинктами», приводящими к «варварскому эгоизму и жестокосердию». «Надо думать, что вынешние приверженцы великого и благотворного принципа — торжества капитализма признают в Аксинье одну из самых типичных последовательниц их милого учения» (В. Буренин. Критические очерки. — «Новое время», 1900, № 8619, 25 февраля).

Примером истолкования повести в консервативно-охранительном духе явилась статья М. Меньшикова «Три стихии. („В овраге“, повесть А. П. Чехова)» в «Книжках Недели». Выторгаясь художественным талантом Чехова, который поражал еще читателей «Мужиков», публицист обе повести прежде всего рекомендовал для изучения «государственным людям»: «Чеховские деревенские повести — это, помимо обаятельной красоты их, — в сущности научные диссертации, очень строгие народно-бытовые исследования. Если хотите, это периодически появляющиеся, глубоко обдуманные доклады русскому обществу о современном состоянии деревни, о том, что всего важнее и интереснее в ее жизни». Обходя вопросы социальных противоречий, рецензент в анализе и явлений действительности, и повести «В овраге» оперировал абстрактно-моральными категориями добра и зла. Главным он считал у Чехова отражение «из века в век» стилино действующих «в мире (. . .) трех начал: силы творческой, силы сохраняющей, силы разрушительной». «Всего речче выделяется, как бы господствует в жизни сила хищная, разруши-

тельная». «В Аксинье она вылилась в махровый экземпляр». К «среднему, промежуточному типу между добром и злом» стеснена «скорбящая о грехах» Варвара, освящающая «своим благочестием (. . .) зло жизни» и тем сохраняющая его. Подлинным же выражением «первобытной стихии души народной» представлена «кроткая красавица Липа», «превозмогающая зло» терпением. Вернувшись к «глубокой бедности и вечному труду на *других*», она вновь становится «свободной», «поет радостно и совершает безудержную творческую работу, пополняя непрерывно разрушение, производимое хищниками». Трагедия содержания повести с позиций примирения с действительностью, автор статьи воспевал «ясную и благодатную кроткую энергию народа», «смирненного сердцем» («Книжки Недели», 1900, № 3, стр. 205, 234, 209, 214, 213, 219, 220, 222).

Либерально-буржуазная критика самых различных оттенков выступила с многочисленными, в большинстве своем хвалебными отзывами о повести, как правило, разделяя привычное в ту пору представление о Чехове-пессимисте, рисующем правдиво, но без определенной общественной направленности мрак, ужасы и бестолковщину русской жизни.

Так, И. Игнатов («Новости литературы и журналистики». — «Русские ведомости», 1900, № 42, 11 февраля) видел основное свойство чеховского таланта в «способности подавлять унылым настроением», связанным с «идеями, которая проходит красной нитью через многие его произведения», и заключается в «констатировании бессмысленности человеческих действий, ведущих к несчастиям, несправедливостям, страданию...».

Констатацию бессмысленности жизни и только одни «безотрадно-мрачные краски» увидел в повести и А. М. Скабичевский («Текущая литература». — «Сын отечества», 1900, № 49, 18 февраля). В целом положительно отзывавшись о ней, критик писал, что в последней повести Чехова «тоскующие ноты доходят до крайнего кресендо». Для Скабичевского повесть — некая иллюстрация к народническим представлениям о самобытности исторического пути России и регрессивном характере искусственно насаждаемого в ней капитализма: Чехов, отразив «отвратительный процесс» «несчастной (. . .) ужасной жизни» фабричного села, рисовал «порядки», «совершенно своеобразные, чисто российские, очень мало подходящие к тому *капиталистическому строю*, о котором у нас ныне столь многие мечтают».

А. А. Измайлов («Литературное обозрение». — «Биржевые ведомости», 1900, № 77, 19 марта), вспоминая «Мужиков», говорил о Чехове: «...автор обратился почти к той же задаче, — изображению мрачного существования русской деревни и ее обывателя...» В повести «В овраге» рецензент находил «подробности, начертанные рукою настоящего, самобытного мастера», но упрекал Чехова за то, что он «игнорировал требование единства, не заботился о фабуле (. . .), занятый исключительно заботою о воспроизведении реальной правды жизни и своего настроения...» Не появив повести в ее идейно-художественной целостности, критик утверждал, что в ней «ярко сказывается мировоззрение художника, почти растерянно смотрящего на темное, тусклое и беспросветное существование своих героев...»,

Р. И. Сементковский («Что нового в литературе?» — «Ежемесячные литературные приложения к журналу „Нива“ на 1900 г.», 1900, № 3), передав суть событий, развернувшихся в доме Цыбукиных, писал: «В характеристике этой семьи и заключается сила повести г. Чехова (. . .) Почти единственная светлая личность в этой коллекции нравственных уроков (. . .) это — Липа. В ней нравственные понятия очень сильны, но в жизни она сама совершенно бессильна». Крестьянская «среда, которая дает старику Григорию возможность богатеть на ее счет», «всё терпеливо сносит, а нравственные понятия ее чрезвычайно сбивчивы и несны». «Чем-то безотрадным, беспросветным веет от повести г. Чехова» (стлб. 630—631).

Некоторые критики использовали повесть лишь как исходный материал для построения собственной концепции действительности и программы действий. Так поступил Н. Каспийский в своей скорее социологической, чем литературно-критической статье «Журнальное обозрение» («Образование», 1900, № 3). Опираясь на внеклассовые понятия о разнородных «ячейках» общества и выделяемой ими «мыслящей социальной субстанции» — интеллигенции, автор в основном и вел речь о ее ответственности перед народной массой — «низменной, страдающей и чувствующей субстанцией». Повесть «В овраге», отнесенная к числу произведений, «окрашенных в самые мрачные, безнадежные тона», была им сближена в изображении бедствий русской деревни с романом Толстого «Воскресение» (стр. 85, 86, 94).

П. О. Морозов (Северов. Русская литература. — «Новости и биржевая газета», 1900, № 82, 23 марта) не находил в повести личного отношения автора к описываемому. Чехов в его представлении не реалист, а скорее натуралист-эмпирик, художественная система которого будто бы и не предполагает выражения авторской обобщающей мысли и ничем не предопределяет читательских выводов.

Многие рецензенты сходились на том, что дарование Чехова направлено лишь на фиксацию мрачных сторон действительности. Именно это подчеркивалось, например, в обзоре периодических изданий, данном без подписи в «Русской мысли» (1900, № 4, стр. 145—148). В ряду подобных оценок прозвучал и отзыв И. И. Ясинского (М. Б е л и н с к и й. Литературное обозрение. — «В овраге». — «Ежемесячные сочинения», 1900, № 2 и 3, апрель): «На вид простая и тусклая жизнь изображена (. . .) в страшных красках (. . .) Прекрасного нет в этой жизни» (стр. 233).

Д. П. Шестаков («„В овраге“ А. П. Чехова». — Литературное приложение к «Торгово-промышленной газете», 1900, № 17, 23 апреля) тоже считал, что «деревня Чехова — мрачная, больная деревня». Ему, правда, казалось, что писатель намекает в повести на возможность какой-то иной жизни, но это лишь «призрак (. . .) недостижимого счастья».

О том, что повесть «В овраге» существенно поколебала долгие бытовавшее представление о Чехове как художнике, не способном к созданию обобщенных картин действительности, убедительнее всего свидетельствует отзыв Н. К. Михайловского («Литература и жизнь. Кое-что о г. Чехове». — «Русское богатство», 1900, № 4). Проследившая эволюцию писателя,

вдумываясь в его произведения последних лет, Михайловский отмечал, что отношение Чехова к действительности расширилось и усложнилось — он «вырос почти до неузнаваемости», «За рассказами „О любви“, „Крыжовник“, „Человек в футляре“, „Случай из практики“ он дал широко задуманный и превосходно выполненный рассказ „В овраге“, И это новый шаг вперед» (стр. 135, 140).

В ряде работ, трактовавших новое произведение, продолжала развиваться легенда о Чехове-пессимисте, обогащенная лишь новыми вариациями («„В овраге“ . Повесть Антона Чехова», — «Русский вестник», 1900, № 4, стр. 614—617; И. И. П - с к и й, Трагедия чувства. Критический этюд (по поводу последних произведений Чехова). СПб., 1900).

Некоторые поправки в общее представление о Чехове-пессимисте вносил М. К. Лемке (L e m k e. Из дневника публициста. Наш народ у Чехова. — «Орловский вестник», 1900, № 179, 193, 199 и 206 от 7, 21, 28 июля и 4 августа): это «пессимизм не обычный, разрушающий, расслабляющий, а созидющий, стимулирующий. Прочтя любое из произведений Чехова, вы не выносите впечатления безнадежности и как бы поощрения всякой пассивности, а наоборот, самая тяжесть и неотвратимость нарисованных бед стимулируют вас на активное вмешательство в жизнь, на желание делать и работать больше, чем вы делали до тех пор» (№ 179).

Ведущий представитель психологической школы в критике Д. Н. Овсяннико-Куликовский («Литературные беседы». — «Северный курьер», 1900, № 180 и 181, 4 и 5 мая) назвал повесть «явлением (. . .) замечательным», ибо в сравнении с предшествующей литературой она внесла «свой вклад в изучение психологии» возникавшей в России «самобытной „буржуазии“» — «заводчиков и торговцев из мещан и крестьян». Считая, что Чехов «мастерски» выписал «потрясающую картину зла и греха», автор статьи изучал по ней и классифицировал психологические типы. Он находил, что «деятели зла» в новом «темном царстве» поступают «непроизвольно», «не ведают, что творят», а «натурам добрым» свойственно «фаталистическое непротивление злу». Оттого удручивший овраг вызывал у критика «унылое чувство безысходности». Он не был удовлетворен тем, что на возможность иной жизни России Чехов указал лишь «мимоходом», «намеком или символом», присутствие которого было сочтено недостатком произведения, в целом «замечательнейшего».

Этот разбор вызвал решительное несогласие М. С. Ольминского (С т е п а н ы ч. Об Овсяннико-Куликовском и А. Чехове. — «Восточное обозрение», 1900, № 216, 218 и 219, 29 сентября, 1 и 3 октября). Его статья — один из первых отзывов марксистской критики о Чехове. Несколькими ранее в той же газете (1900, № 106, 14 мая), в «Журнальном обозрении», за подписью М. Павлович, Ольминский уже дал краткую оценку повести «В овраге», в целом положительную. Вторая статья содержала развернутый анализ произведения. В полемике Ольминский раскрыл неверность ряда суждений Овсяннико-Куликовского, однако сам не смог по достоинству оценить повесть. Он не увидел в ней типов, дотоле неизвестных в литературе. «Нет ничего нового» и «в картине нарисованного Чеховым зла». В повести «зло очевидно»,

но «причины зла» неясны. Она написала так, что «будит мысль», но не «предопределяет тот ряд представлений, который будет вызван в уме читателя», позволяя последнему сделать из нее разнобразные выводы в зависимости от своего мировоззрения. Критик-марксист хотел бы у Чехова — писателя «талантливого» — видеть «идеалы определенного содержания». Не обнаружив их в повести, Ольминский счел необоснованными восторги, вызванные ее появлением.

При подведении итогов литературного года критика высоко оценивала повесть. «Самым видным» произведением назвал ее А. И. Богданович (А. Б. Критические заметки. — «Мир божий», 1901, № 1, стр. 2). В. Гольцев («Русская литература в 1900 г.» — «Курьер», 1901, № 1) отмечал, что повесть оказалась в числе двух произведений (рядом он ставил «Трое» Горького), пользовавшихся «особенным вниманием читателей». В годовом редакционном обзоре «Литература в 1900 году» газета «Русские ведомости» (1900, № 1, 1 января) тоже указала, что «особенно обратили на себя внимание произведения гг. Чехова и Горького».

Е. А. Соловьев (А н д р е е в и ч. Очерки текущей литературы. О хищниках и одиноких людях. — «Жизнь», 1901, № 2) свойствами общественной ситуации объяснил возникновение в литературе вообще и в творчестве Чехова в особенности — двух тем. Они были обозначены в подзаголовке статьи. Примечательной чертой развития литературы Андреевич считал всё большее усиление «мотива одиночества среди миллионов». «В мутном тумане серенькой жизни (. . .) стал уже орудовать хищник», обездоливший массу людей и превративший всё вокруг в «голое место». «...Это-то „разорение“ и есть та социологическая почва, на которой Чехов рисует свои жизненные драмы». Андреевичу, несмотря на ошибочность ряда суждений о Чехове, удалось раскрыть социально-обличительный смысл повести (стр. 354, 355, 356).

Иная концепция повести выражена в работе Волжского (А. С. Глинки) «Очерки о Чехове» (СПб., 1903). Доказывая, что идеал Чехова «безнадежно и навсегда разобщен с миром», критик заявлял: «Чехов изображает деревенскую жизнь в (. . .) повести, по своему основному колориту очень напоминающей „Мужиков“, почти с тем же холодным бесстрашием». «Художнику при свете его недостигаемо высокого нравственного идеала страшна вообще жизнь человеческая во всех ее проявлениях, страшна и мужичья жизнь». Его герои — Липа, Анисим, Аксинья полны «бессознательного равнодушия (. . .) примирения с миром», «наивно полагая, что иначе и быть не может». Чехов же, утверждая свою «общую идею» — «власть действительности» над людьми, бесстрастно холоден к ним (стр. 27, 161, 160, 79, 77).

В. Альбов («Два момента в развитии творчества Антопа Павловича Чехова». — «Мир божий», 1903, № 1) писал: «В последние годы в творчестве г. Чехова намечается новый и очень важный перелом. Временами прорывается еще прежнее настроение, но нет уж и следа прежнего уныния, подавленности, отчаяния. Напротив, всё сильнее слышится что-то новое, бодрое, жизнерадостное, глубоко волнующее читателя и порой необыкновенно смелое». Выше всего в этом отношении критик ставил «В овраге» (стр. 103).

Близок к такому пониманию повести и И. Джонсон (И. В. Иванов) («В поисках за правдой и смыслом жизни. (А. П. Чехов)». — «Образование», 1903, № 12). Он отмечал: Чехов приходит «к вере, что жизнь на самом деле (. . .) будет перестроена по идеалам разума и правды. И эта вера стала, по-видимому, настолько укрепляться в душе Чехова, что (. . .) даже созерцание (. . .) картин неразумия и неправды (. . .) не подрывало ее» (стр. 30—31).

И. И. Замотин же («Предрассветные тени. К характеристике общественных мотивов в произведениях А. П. Чехова». Казань, 1904) новые мотивы находил лишь в пьесах Чехова, а «В овраге» причислял к произведениям, рисовавшим «теневые картины» (стр. 15).

Е. А. Ляцкий («А. П. Чехов и его рассказы. Этюд». — «Вестник Европы», 1904, № 1) оценил мастерство бытописания в повести, но утверждал, что писатель «почти не коснулся тех мучительных вопросов общественной совести, которыми болели его могучие духом предшественники». Творчество Чехова — лишь «фокус, вобравший в себя косые лучи разочарования, сомнения, утомления русской прогрессивной мысли». Оно не задержит долго внимания общества. «Чеховским» настроениям не устоять перед «порывом жизненных сил, окрыленных надеждой, озаренных бледными лучами занимающейся зари» (стр. 161—162).

А. В. Луначарский («О художнике вообще и некоторых художниках в частности». — «Русская мысль», 1903, № 2) во многом полемизировал с Чеховым, ожидая, «когда же покажет он (. . .) семена новой жизни» и «человека, который может прорвать типичную и вынырнуть из омута на свежий воздух». Но вместе с тем, видя в творчестве писателя неподдельную правдивость изображения «тусклой жизни», «глубину понимания человеческой души, огромный кругозор от героев „Оврага“ до изящных „Трех сестер“», критик-марксист ставил Чехова в разряд первейших величин не только русской, но и европейской литературы (стр. 59, 58).

При жизни Чехова повесть переводилась на немецкий и французский языки.

Стр. 146. . . как свекор-батюшка в известной песне. — В распроstrаненной народной песне:

Спится мне, младешенькой, дремлется,
Кловит мою головушку на подушечку;
Свекор-батюшка по сеничкам похаживает,
Сердитый по новым погуливает.
Стучит — гремит... и т. д.

(см. «Русские народные песни, собр. П. В. Шейном». М., 1870, стр. 336—337).

Стр. 150. . . женится скоро, на Красной Горке. — Последняя пасхальная неделя или первое воскресенье после пасхи. На Красную Горку устраивались свадьбы.

Стр. 160. . . по случаю храмового праздника — Казанской божией матери. — Праздник этот отмечался дважды в году: 8 июля и 22 октября по старому стилю.

Стр. 169. . . на Фоминной. — Неделя после пасхи.

НА СВЯТКАХ

Впервые — «Петербургская газета», 1900, № 1, 1 января, стр. 5. Подзаголовок: Рассказ Антона Чехова. Подпись: Антон Чехов.

Вошло во второе издание А. Ф. Маркса 1903 г. («Приложение к журналу „Нива“ на 1903 г.»), т. XII.

Печатается по тексту: *Чехов*, 2, т. XII, стр. 116—120.

23 ноября 1899 г. С. Н. Худеков, редактор-издатель «Петербургской газеты» (активное сотрудничество в ней Чехов прекратил в конце 1887 г.), в телеграмме просил у Чехова разрешения напечатать в рождественском номере его старый рассказ (*ГБЛ*). Речь шла о рассказе «Художество» (см. т. IV Сочинений, стр. 506—507). 1 декабря Худеков обращался к Чехову с новой просьбой: «Конечно, несказанно одолжили бы, приславши новенький, свеженький рассказец для нашего рождественского номера» (*ГБЛ*).

В ответ на это письмо Худекова, но только к новогоднему номеру, Чехов прислал рассказ «На святках».

Время создания «На святках» — 20—25 декабря 1899 г. Вероятно, до 20 декабря, пока Чехов не закончил повесть «В овраге», он не начинал писать для «Петербургской газеты». 27 декабря рассказ был уже в редакции, что известно из письма Худекова: «Низко, пренизко кланяюсь Вам, дорогой Антон Павлович, за Вашу присылку. Благодаря Вам, на „нашей улице“ настоящий, светлый праздник. (. . .) рассказ будет помещен в новогоднем номере, который своевременно будет (. . .) доставлен» (*ГБЛ*).

Но Чехов долго не мог получить новогоднего номера газеты, на что жаловался Худекову 19 января 1900 г. и объяснял: «Я, как Исав, получивший чечевицу, обязан всякий новый рассказ наклеивать и отсылать брату моему Иакову, живущему на Мал(ой) Морской, 22».

Газетный текст нужен был Чехову для набора в предполагавшемся томе X собрания сочинений. Но он переделывал его весной 1903 г., правя корректуру тома XII, 2-го издания (см. стр. 335). Текст тома XII принимается за основной.

Готовя «На святках» для собрания сочинений, Чехов снял подзаголовок, ввел определение «мордатый», чем сильнее подчеркнул грубость писца, добавил грамматические ошибки. В выражении страданий Ефимьи появились новые детали: «обливаясь слезами», когда целовала ребенка; «приходила в ужас», услышав шаги мужа. Снято Чеховым перечисление деревенских бедствий.

По предположению директора Музея-заповедника А. П. Чехова в Мелихове, Ю. К. Авдеева, собиравшего воспоминания местных жителей, в судьбе Ефимьи и ее характере воплотилась история горничной Чеховых Анюты Чуфаровой, выданной замуж против воли в 1896 г. (сообщено Ю. К. Авдеевым).

Возможно, в рассказе отразились впечатления от ялтинской и таганрогской водолечебниц, которые Чехов посетил в 1899 г.

Работа трех водолечебных заведений в Ялте была одним из самых насущных вопросов, и их рекламные объявления помещались почти ежедневно в течение осени — зимы 1898—1899 гг. на первой странице «Крымского курьера». Чехов брал ванны в водолечебнице А. Рофе (здание сохранилось). 27 августа 1899 г., в день приезда писателя на зимний сезон в Ялту, в объявлении об этой водолечебнице говорилось: «Новое роскошное заведение. Морские и пресные ванны А. Рофе по Набережной, рядом с гор(одским) садом. Здание в мавританском стиле, вполне соответствует устройством иностранным курортам» (№ 192). Местные водолечебницы рекламировали те средства лечения, которые упоминаются в рассказе «На святках». Водолечебница врача Мизуча и К^о Рофе по Аутской улице, в доме Рофе, предлагала «все-возможные души с переменной температурой и переменным давлением от 3 до 5 атмосфер: душ Шарко, паровой душ, шотландский и пр. Ванны водяные, паровые, суховоздушные, сидячие с душами, обливания, обтирания и укутывания. (. . .) Лечение массажем и электричеством», То же и в водолечебнице А. С. Гурьян (там же).

Летом 1899 г., с 13 по 17 июля, Чехов был в Таганроге и посещал там водолечебницу. Б. А. Тараховский вспоминал: «В этот приезд Антон Павлович (. . .) купался несколько раз в водолечебнице Н. Г. Диварис и Д. М. Гордон» (Ш и л е р и з Т а г а н р о г а. Из воспоминаний об А. П. Чехове. (Разговоры и письма). — «Приазовский край», 1904, № 182, 11 июля). Водолечебница в Таганроге — ее популярность, расширение — была частой темой в письмах к Чехову его двоюродного брата Г. М. Чехова (письма от 4 октября 1897 г. и 12 августа 1901 г. — *ГБЛ*). В 1898 г. в связи с двухсотлетием Таганрог благоустривался. «Таганрогский водопроводный и электрический вопрос, говорят, скоро выйдет из Петербурга в утвердительно смысле», — извещал Г. М. Чехов 5 мая 1899 г. Чехов отвечал ему 14 ноября 1899 г.: «Бюксь все-таки, что электричество не затмит Гордона и он долго еще будет лучшим показателем таганрогской культуры...»

Возможно, М. П. Чехов в рассказе «Апюта» (в основе его — история замужества А. Андриановой), изображая мужа героини, самоуверенного пошляка, неграмотного, в речи которого «ученые» слова приобретают юмористическое звучание, вспомнил Егора из рассказа брата («Слово», 1907, № 46, 12 января).

19 января 1900 г. М. О. Меньшиков сообщал Чехову: «Я, к сожалению, до сих пор не могу добиться журналов и прочитывать последние Ваши рассказы. О двух — в „Пет(ербургской) газ(ете)“ и „Жизни“ — слышал отзывы, что они превосходны» (*ГБЛ*).

И. А. Бунин причислял рассказ «На святках» к лучшим произведениям Чехова (*ЛН*, т. 68, стр. 677),

Стр. 181. *Святки* — две недели после рождества (после 25 декабря ст. ст.).

Стр. 182. ... в 5 томе *Военных Постановлений*, *Солдат есть Имя общее...* и стр. 267 (*варианты*) ... *св. зак. изд. 1859 года*. — В «Своде законов Российской империи» законы о воинской повинности входят в том 4. Общее его название: «Свод уставов

о повинностях». Том 4, кн. 1 — «Устав о воинской повинности». В нем нет слов, приводимых в рассказе. Наказаниям посвящена гл. XVII — «О взысканиях за нарушение законов о воинской повинности». Издания т. 4 «Свода законов» были в 1857 и 1897 гг.

Стр. 185. *Душ Шарко*... — Изобретение Ж. М. Шарко (1825—1893), известного французского невропатолога,

АРХИЕРЕЙ

Впервые — «Журнал для всех», 1902, № 4 (ценз. разр. 23 марта), стлб. 447—462. Подпись: Антон Чехов.

Вошло во второе издание А. Ф. Маркса («Приложение к журналу „Нива“ на 1903 г.»).

Печатается по тексту: *Чехов, 2*, т. XII, стр. 165—180.

Заметки в записной книжке Чехова, использованные в тексте рассказа «Архиерей», появились задолго до того, как окончательно сформировался замысел. Первая из таких заметок датируется 1892 годом, когда Чехов поселился в Мелихове: «У дьяконского сына собака называлась Синтаксис» (*Зап. кн. I*, стр. 11). Эта заметка вновь переписана Чеховым, с изменением одного слова, в 1898 г. (там же, стр. 90). Весной 1897 г. может быть датирована следующая заметка: «Киприан: японцы — всё равно что черногорцы» (там же, стр. 72). Во время пребывания в Ницце зимой 1897/98 г. Чехов сделал запись: «Слепая нищая пела про любовь» (там же, стр. 81; затем эта запись в более развернутом виде повторена на стр. 110).

Новые записи, использованные в рассказе, сделаны в 1899 г.: «Мальчик, сын прачки, спрашивает на почте у чиповника: Вы получаете поделно или помесячно?» (там же, стр. 99); «— Катя, кто там внизу всё отворяет и затворяет дверь? Скрипит и стонет? — Я не слышу, дедушка. — Да вот сейчас кто-то прошел... Слышите? — Да это у Вас в животе, дедушка!» (там же, стр. 105).

Все эти записи, очевидно, пока не были связаны с одним определенным сюжетом; они вошли затем отдельными деталями в текст «Архиерея».

На стр. 106 Первой записной книжки содержится запись основных сюжетных ситуаций рассказа: «Арх(иерей) плачет, как в детстве больной, когда его жалела мать; плакал просто от общей душевной протрации, толпа (?) плакала. Он веровал, достиг всего, что было доступно человеку в его положении, но всё же душа болела: не всё было ясно, чего-то еще недоставало и не хотелось умереть... Скоро назначили нового архиерея, старого забыли, никто уже не помнил, и только вдова дьяконица, когда выходила с другими женщинами на выгон за стадом, чтобы встретить свою корову, рассказывала, что у нее был сын архиерей — и ей не верили. Разговор архиерея с матерью про племянника: а Степан в б(ога) верует? Эконом собирается в Москву, св. синод разрешил продать старинные вещи, и это теперешнему архиерею не нравится». Эта заметка появилась между августом и декабрем 1899 г.

В 1899—1901 годах в ту же книжку было внесено еще несколько заметок, использованных затем в рассказе. Последняя запись, относящаяся к «Архиерею»: «Благочинный ставит священникам и всему причту отметки за поведение, а после всех даже их женам и детям» (стр. 120), — сделана после 7 декабря 1901 г.

Другие данные о времени возникновения замысла рассказа содержатся в мемуарной литературе.

С. Н. Щукин приводит в своих воспоминаниях эпизод, который, как он считает, послужил Чехову толчком для начала обдумывания рассказа и работы над ним: «Как-то, еще когда жил на даче Иловайской, А(нтон) П(авлови)ч вернулся из города очень оживленный. Случайно он увидел у фотографа карточку таврического епископа Михаила. Карточка произвела на него впечатление, он купил ее и теперь дома опять рассматривал и показывал ее (. . .) Пресвященный Михаил был еще не старый, но жестоко страдавший от чахотки человек. На карточке он был снят вместе со старушкой матерью (. . .) Лицо его очень умное, одухотворенное, изможденное и с печальным, страдальческим выражением. Он приник головой к старушке, ее лицо было тоже чрезвычайно своей тяжкой скорбью. Впечатление от карточки было сильное, глядя на них — мать и сына, — чувствуешь, как тяжело бывает человеческое горе, и хочется плакать (. . .) А(нтон) П(авлови)ч расспрашивал о пресвященном Михаиле, потом к нему посылал книжку пресвященного „Над евангелием“...» (Чехов в воспоминаниях, стр. 465—466). Этот эпизод относится к началу 1899 г. Чехов познакомился со Щукиным в январе 1899 г. (на визитной карточке Щукина помета рукой Чехова «99, I». — ГБЛ), книгу епископа Михаила Щукин послал Чехову вместе с письмом от 24 апреля 1899 г. (там же).

Далее Щукин продолжает: «Мысль об архиерее, очевидно, стала занимать А(нтон)а П(авлови)ча.

— Вот, — сказал он как-то, — прекрасная тема для рассказа. Архиерей служит утрению в великий четверг. Он болен. Церковь полна народом. Певчие поют. Архиерей читает евангелие страстей. Он проникается тем, что читает, душу охватывает жалость ко Христу, к людям, к самому себе. Он чувствует вдруг, что ему тяжело, что он может скоро умереть, что может умереть сейчас. И это его чувство — звуками ли голоса, общей ли напряженностью чувства, другими ли, невидными и непонятными путями — передается тем, кто с ним служит, потом молящимся, одному, другому, всем. Чувствуя приближение смерти, плачет архиерей, плачет и вся церковь.

И вся церковь вместе с ним проникается ощущением смерти, неотвратимой, уже идущей» (стр. 466).

Здесь следует отметить ошибочность утверждения М. П. Чехова о том, что «ассоциацией, благодаря которой появился на свет рассказ „Архиерей“», были свидания Чехова в Ялте с епископом Сергием — С. А. Петровым, давним знакомым семьи Чеховых (Антон Чехов и его сюжеты, стр. 47). Архимандрит, а затем епископ Сергей переписывался с Чеховым в 1897—1900 и 1902—1904 годах, однако по крайней мере до весны 1904 г. не бывал в Ялте и не встречался с Чеховым. Но какую-то роль в начале работы над рассказом могло сыграть известие о возведении Сергея в архиерейский сан, о чем Чехов узнал в начале

1899 г. (см. его письмо к М. П. Чеховой от 16 января этого года).

Таким образом, 1899 год можно считать временем окончательного формирования замысла рассказа «Архиерей» и начала работы над ним. Вначале у Чехова возник сюжет о плачущем во время службы архиерее, чувства которого передаются всем присутствующим в церкви; об этом замысле Чехов сообщил Щукину. В рассказе это стало темой вступительной сцены. Затем этот замысел был дополнен и развился в тот сюжет, который между августом и декабрем 1899 г. был записан на стр. 106 Первой записной книжки.

Осенью 1899 г. Чехов обещал дать какой-нибудь из своих новых рассказов в «Журнал для всех»; это выясняется из письма к Чехову издателя журнала В. С. Миролюбова от 24 октября 1899 г. (ГБЛ). В письмах от 12 и 20 ноября Миролюбов настойчиво просил прислать рассказ за первым номером журнала на 1900 год. 6 декабря 1899 г. Чехов ответил Миролюбову: «Я пришлю Вам рассказ „Архиерей“. В случае какого недоразумения, если он окажется цензурным для вашего журнала, вышлю что-нибудь другое». Таким образом, и точное название рассказа определилось в 1899 году.

Однако в письмах Чехова и мемуарах о нем дважды встречается указание на давнее, более раннее происхождение замысла рассказа. Сообщая О. Л. Книппер 16 марта 1901 г. о том, что он пишет рассказ «Архиерей», Чехов добавил — «на сюжет, который сидит у меня в голове уже лет пятнадцать». Щукин в своих воспоминаниях писал: «Когда чеховский „Архиерей“ появился в печати, Антон Павлович говорил, что это его старый, ранее написанный рассказ, который он теперь переделал» (стр. 465).

Считать, что «Архиерей» был написан ранее 1899 года, нет никаких оснований. Говоря в 1902 году Щукину о том, что рассказ был написан ранее, а затем переделан, Чехов скорее всего имел в виду длительность работы над рассказом, растянувшейся почти на три года. Но истоки замысла восходят, очевидно, к концу 80-х годов — на это указывает названный самим Чеховым период «лет 15», в течение которого сюжет рассказа был у него в голове.

«Архиерей» во многом созвучен произведениям конца 80-х — начала 90-х годов. Современные исследования рассказа показывают, что «Архиерей» является своеобразным завершением многих тем и мотивов предшествующего творчества Чехова (см. П. Б и ц и л л и. Творчество Чехова. Опыт стилистического анализа. — «Годишник на университета св. Климент Охридски. Историко-филологически факултет», т. XXXVIII. 6. София, 1942, стр. 107—114; N. Å. N i l s s o n. Studies in Cechov's Narrative Technique. «The Steppe» and «The Bishop». — «Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Slavic Studies». 2. Stockholm, 1968, p. 63—105). Наиболее близка изображенная в рассказе ситуация к «Скучной истории», герой которой также «достиг всего, что было доступно человеку в его положении»; профессор из «Скучной истории», призванному, как и архиерей, быть наставником, учителем, также «не всё было ясно, чего-то еще недоставало и не хотелось умереть»; воспоминания о прошлом, не-

довольство настоящим, одиночество тяготят старого профессора и архиерея.

Все эти переключки между «Архиереем» и произведениями, написанными начиная с конца 80-х годов, могут отчасти служить комментарием к словам Чехова о давнем происхождении замысла рассказа.

Итак, в декабре 1899 г., за два с лишним года до окончания работы над «Архиереем», у Чехова уже были план рассказа, записи отдельных деталей, название будущего произведения. Но работа над «Архиереем» оказалась чрезвычайно долгой и мучительной.

Процесс писания рассказа восстанавливается по письмам Чехова 1899—1902 годов.

Когда в ноябре 1899 г., работая над повестью «В овраге», Чехов сообщал М. П. Чеховой: «Пишу большую повесть, скоро кончу и начну другую» (письмо от 14 ноября), — он имел в виду, несомненно, «Архиерея», вскоре обещанного в журнал Мирлюбова. Повесть «В овраге» была закончена 20 декабря, и дальнейшая писательская работа Чехова могла продолжаться до 17 января следующего, 1900 г., когда Чехов заболел и затем всю зиму не мог работать. Этот короткий промежуток времени — конец декабря 1899 г. — первая половина января 1900 г., — видимо, и были временем начала работы над текстом «Архиерея». В письме к Б. А. Лазаревскому от 2 апреля 1900 г. Чехов упоминает о «начатых рукописях», которые «в беспорядке валяются (. . .) по всему столу», — одна из этих рукописей могла быть рукописью «Архиерея». Только в начале ноября 1900 г., после завершения пьесы «Три сестры», Чехов вернулся к прерванной работе над прозаическими произведениями. «Пишу повести», — сообщал он А. С. Суворину 16 ноября. Несомненно, на первом месте при этом был «Архиерей»: Мирлюбов напоминал Чехову о данном им обещании в своих письмах от 11 и 30 декабря 1899 г., 9 февраля, 3 апреля, 21 августа, 8 и 19 сентября 1900 г. (ГБЛ). И этот, второй подступ к рассказу был коротким: в ноябре — декабре 1900 г. Чехов исправлял для собрания сочинений водевиль «Свадьба», а с 14 декабря, приехав в Ниццу, переписывал и перedelывал пьесу «Три сестры».

С последних дней декабря 1900 г. появилась возможность вернуться к работе над новыми произведениями. Вновь их названия Чеховым не упомянуты, но замысел «Архиерея», несомненно, уже не оставял его. Работа шла медленно: мешали нездоровье, праздные посетители, появились творческие сомнения. «Я теперь пишу и буду писать, чтобы летом ничего не делать» (письмо к О. Л. Книппер от 2 января 1901 г.); «Я пишу, конечно, но без всякой охоты. Меня, кажется, утомили „Три сестры“, или попросту надоело писать, устарел. Не знаю. Мне бы не писать лет пять, лет пять путешествовать, а потом вернуться бы и засесть» (ей же, 21 января).

В феврале — марте 1901 г. в Ялте был Мирлюбов. Очевидно, при встречах с Чеховым он снова просил дать рассказ для «Журнала для всех». 16 марта Чехов сообщал О. Л. Книппер о том, что он пишет «рассказ под названием „Архиерей“».

Уезжая в Аксеново Уфимской губернии в мае, Чехов взял с собой начатый текст «Архиерея» — по возвращении Чехова в Ялту Книппер спрашивала его: «Вынул ли ты своего „Архиерея“ из чемодана? Принялся ли за него?» (письмо от 27 августа — *Переписка с Книппер*, т. 1, стр. 431). В эти месяцы Миролубов настойчиво просил прислать рассказ. 27 июля он писал: «Иду от Вас рассказа, объявленного подписчикам» (*ГБЛ*). На это письмо Чехов ответил 3 августа: «Первое, что я напишу, это будет рассказ для „Журнала для всех“. Я вышлю на Ваше имя, а Вы пришлете мне корректуру — это непременно».

Вернуться к работе над рассказом состояние здоровья позволило Чехову только в конце августа 1901 г.; отвечая на письмо Книппер, Чехов писал ей 31 августа: «„Архиерея“ вынул из чемодана». Но и на этот раз работе не суждено было завершиться. «Я нездоров», — сообщил он жене 5 сентября. Несмотря на нездоровье, 15 сентября Чехов выехал в Москву и пробыл там до 26 октября. Из Москвы он писал Миролубову: «Простите, голубчик, я не выслал Вам до сих пор рассказа. Это оттого, что я прервал работу, а прерванное мне всегда было трудно оканчивать. Вот приеду домой, начну сначала и вышлю, будьте покойны!» (письмо от 19 октября).

В письмах Чехова по возвращении в Ялту нет прямых упоминаний о продолжении работы над «Архиереем». Но 12 ноября, в ответ на просьбу Книппер прислать Вл. И. Немировичу-Данченко новый рассказ для исполнения в благотворительном концерте, Чехов писал: «Я бы с большим удовольствием прислал Немировичу рассказ, но ведь (. . .) то, что я сейчас пишу, едва ли цензурно, т. е. едва ли допустимо для публичного чтения». Слова о нецензурности того, что писал Чехов, есть основания отнести именно к «Архиерею»: усилившаяся в это время цензура могла быть особенно подозрительной к произведениям, в которых изображались представители духовенства. К этому же времени относятся встречи Чехова с М. Горьким, после которых Горький сообщал: «А. П. Чехов пишет какую-то большую вещь и говорит мне: „Чувствую, что теперь нужно писать не так, не о том, а как-то иначе, о чем-то другом, для кого-то другого, строгого и честного“» (письмо к В. А. Поссе, написанное после 14 ноября 1901 г. — *Горький*, т. 28, стр. 199).

С 7 декабря 1901 г. вновь наступил перерыв, вызванный новым обострением болезни. 17 декабря Чехов сообщал Миролубову: «...я нездоров, или не совсем здоров — этак вернее, и писать не могу. У меня было кровохарканье, теперь слабость и злость, сыжу с согревающим компрессом на боку, принимаю креозот и всякую чепуху. Как бы ни было, с „Архиереем“ не надую Вас, пришлю рано или поздно».

И только не раньше 20-х чисел января 1902 г. Чехов смог снова взяться за работу над рассказом. 20 февраля 1902 г. он извещал Миролубова: «...простите, что так долго тянул сию музыку. Рассказ давно кончил, но переписывать его было трудно; всё нездоровится (. . .) Корректуру мне непременно пришлите. Я прибавлю еще фразочки две-три в конце. Цензура не уступаю ни одного слова, имейте сие в виду. Если цензура выбросит хоть слово, то рассказ возвратите мне, а я пришлю Вам другой в мае».

Таким образом, можно выделить по крайней мере семь отрезков времени, на которые приходится писание Чеховым рассказа «Архиерей»: конец декабря 1899 г. — первая половина января 1900 г. в Ялте; середина ноября 1900 г. в Москве; конец декабря 1900 г. — январь 1901 г. в Ницце; конец февраля — апрель 1901 г. в Ялте; конец августа — первая половина сентября в Ялте; конец октября — начало декабря 1901 г. в Ялте; конец января — первая половина февраля 1902 г. в Ялте.

Ни одно прозаическое произведение не создавалось Чеховым так долго, с таким количеством перерывов. Рассказ рождался в упорной борьбе с прогрессировавшей тяжелой болезнью, с неблагоприятными условиями для работы, в решении всё усложнявшихся творческих задач.

8 марта 1902 г. Чехов писал Миролюбову: «...сегодня я получил корректуру и сегодня же хотел прочесть и отправить, но, во-1), Ваш корректор все точки превратил в восклицательные знаки и поставил кавычки там, где им не надлежит быть („Синтаксис“), и, во-2), много пропусков, приходится вставлять: (например, „Демьян-Змеевидец“). И хочется кое-что вставить — это помимо всего прочего. Стало быть, корректуру получите на другой день после этого письма или в тот же день, если успею кончить к вечеру, к 7 час. Простите, мой милый, я еще раз прошу: если цензура зачеркнет хоть одно слово, то не печатайте. Я пришлю другой рассказ. И так уж для цензуры я много выкинул и сокращал, когда писал. Помните сию мою просьбу, прошу Вас». В тот же день он писал Книшпер: «Получил от Миролюбова корректуру своего рассказа и теперь хлопочу, чтобы сей рассказ не печатался, так как цензура сильно его попортила».

Из письма к Миролюбову видно, что Чехов получил текст корректуры, еще не прошедший журнальную цензуру. Говори Книшпер о том, что цензура «сильно попортила» рассказ, Чехов скорее всего имел в виду, что сам он «для цензуры (. . .) много выкинул и сокращал, когда писал». В годы, когда Чехов работал над «Архиереем», постоянно усиливался цензурный гнет. Об этом, в частности, регулярно сообщал в своих письмах Миролюбов. 17 октября 1900 г.: «Тяжело живется литературе: всё строже и строже становится цензура, из статьи вычеркивают 1/4, о рабочих не дают слова сказать даже и безобидного. (. . .) Циркуляры так и сыплются. Только что получен с воспреещением писать о миссионерском съезде...» (ГБЛ). Чехов, опасаясь цензурного вмешательства в окончательный текст рассказа, был вынужден пойти на неизвестные нам сокращения.

Делались попытки угадать эти утраченные сокращения. Было высказано предположение, что главному герою — архиерею — должен был противостоять в рассказе представитель атеистической интеллигенции (см. W. D ü w e l. Anton Tschschow. Dichter der Morgendämmerung. Halle, 1960, S. 132, 133). Действительно, в замысле рассказа планировался «разговор архиерея с матерью про племянника: а Степа в б(ога) верует?», — в тексте же рассказа такой вопрос не задается. В этом несостоявшемся разговоре, по мнению В. Дювеля, должна была содержаться основная антирелигиозная идея чеховского рассказа, а с дважды упоминаемым Николашей, который «не захотел по духовной

части, пошел в университет в доктора», должно было быть связано идейное зерно рассказа.

Подобная реконструкция замысла рассказа вызывает возражения. О Николаше, который «мертвецов режет», известно лишь, что он «ничего, добрый. Только водку пьет шибоко». Вряд ли Чехов позволил дать такую характеристику этому персонажу для того, чтобы рассказ пропустила цензура, и опубликовал рассказ, из которого было бы вырвано главное, решающее для понимания звено.

Несобоснованно считать, что писатель мог первоначально ставить какие-либо «разоблачительные» по отношению к религии задачи, а затем отказался от этого по цензурным соображениям. Наиболее вероятно предположить, что цензуры Чехов опасался, так как допускал, что та могла придаться к любому упоминанию о боге; писателю же было важно, чтобы в рассказе не было изменено ни одного слова.

В начале апреля 1903 г., читая корректуру девяти рассказов, предназначенных для тома XII приложения к «Ниве», Чехов внес в текст «Архиерея» немногие изменения; в них можно видеть пример отделки Чеховым текста «с музыкальной стороны». Изменив хронологический порядок произведений, вошедших в том XII, Чехов оставил «Архиерея» на последнем месте, после рассказа «О любви».

Вопрос о прототипе главного героя рассказа интересовал уже первых его читателей. «Когда рассказ был напечатан,— вспоминал Щукин,— в Ялте заговорили, что А(nton) П(авлович) описал в рассказе» тогдашнего таврического епископа Николая (Чехов в воспоминаниях, стр. 466—467). Чехов, по словам того же мемуариста, решительно отверг это: «— Слушайте, говорят, что я описывал вашего архиерея; вздор, я не имел его в виду...» (там же).

Мемуаристы обычно ставили вопрос о том, какого именно архиерея Чехов описал в своем рассказе. Однако вопрос о прототипе чеховского архиерея к этому не сводится. В образ главного героя рассказа Чехов внес много автобиографического материала. И общая ситуация, изображенная в рассказе, и его подробности в сильной степени соотносятся с обстоятельствами жизни Чехова в годы создания «Архиерея».

Чехов пишет о человеке, в положении которого он находился в это время сам. Предчувствие близкой смерти¹, одиночество, обилие мелочей, отрывавших от дела, множество посетителей и в то же время «хоть бы один человек, с которым можно было бы поговорить, отвести душу!» — такие мотивы наполняют ялтинские письма Чехова 1899—1902 гг. Порой можно говорить о прямом перенесении в рассказ реалий жизни Чехова этого времени. «Был болен и одинок», — писал он О. Л. Книппер 23 февраля 1901 г.; «Чувствую себя как в ссылке» (П. И. Вейнбергу, 28 апреля 1901 г.); «Без тебя мне так скучно, точно меня заточили в монастырь» (О. Л. Книппер, 31 августа 1901 г.); «Я сначала полагал, что у меня, пожалуй, брюшной тиф, теперь же

¹ Рассказ был начат в 1899 г., когда, как Чехов писал позже, он «собирался умирать» (к О. Л. Книппер, 9 января 1903 г.).

вижу, что это не то» (ей же, 6 сентября 1901 г.). В одном из писем к ней же мелькает деталь, почти буквально повторяющаяся в рассказе: «...когда приходится накладывать этот громадный компресс (...) я кажусь себе одиноким и беспомощным» (18 декабря 1901 г.). Обилие посетителей вызывает у большого архиерея раздражение — чувство, о котором постоянно пишет Чехов в эти годы в письмах к О. Л. Книппер — 24 августа 1901 г., 6 сентября 1901 г. Чувство провинциальной тоски, стремление бежать от нее объединяет «Архиерея» с другими произведениями этого же периода — «Дамы с собачкой» и «Три сестры»; в «Архиерее» есть дополнительные краски, рисующие тоскливую провинциальную жизнь: пустые бессмысленные разговоры, неизменное питье чая. Вот созвучные этому строки писем: «...гости просидели уже больше часа, попросили чаю. Пошли ставить самовар» (О. Л. Книппер, 30 октября 1899 г.); и снова о гостях: «Пришли, посидели в кабинете, а теперь пошли чай пить» (ей же, 17 августа 1900 г.); М. П. Чеховой он писал о матери: «Сегодня утром вхожу в столовую, а мать уже сидит и пьет кофе. „Ведь вам, говорю, запретили вставать!“ А она: „Надо же мне кофию напиться!“» (21 января 1900 г.). В письмах этих лет Чехов признается, что его «томят воспоминания» (К. Д. Бальмонту, 4 января 1902 г.); архиерею, задыхающемуся в русской провинции, «захотелось вдруг за границу, нестерпимо захотелось» — «Всё думаю, не уехать ли мне за границу?» — писал Чехов О. Л. Книппер 19 ноября 1901 г.

Особенно важным выглядит созвучие последнего видения архиерея (см. стр. 200) с размышлениями самого Чехова в эти годы. Книппер писала ему: «Я вспоминаю твои слова, помнишь, ты говорил, что хотел бы с котомочкой ходить по белу свету?» (2 сентября 1901 г. — *Переписка с Книппер*, т. 1, стр. 446). Видимо, Книппер вспоминала разговоры, которые они вели с Чеховым летом того же года, когда впервые были долгое время вместе. Чехов писал жене в ответ: «Конечно, бродить по миру с котомкой на спине, дышать свободно и не хотеть ничего — куда приятнее, чем сидеть в Ялте...» (6 сентября 1901 г.). Эти слова о ценности простой, свободной жизни не случайны, об этом Чехов — в шуточной и серьезной форме — говорит и в других письмах к Книппер. Аналогичные высказывания Чехова приведены в воспоминаниях И. А. Бунина (*ЛН*, т. 68, стр. 666).

Эти элементы собственной биографии, введенные Чеховым в рассказ и художественно преобразованные, придают рассказу и образу главного героя особую задушевность, лиричность, личный тон. Вместе с тем Чехов, создавая образ героя, принадлежащего к определенному общественному кругу, как обычно, точно обозначает социальные, психологические, бытовые приметы, характеризующие эту принадлежность. В связи с этим и поднимался не раз вопрос о представителе высшего духовенства, послужившем прототипом для образа архиерея в рассказе Чехова.

И. А. Бунин, горячий поклонник «Архиерея», не раз, разумеется, говоривший о нем с Чеховым, сообщал Б. К. Зайцеву: «В „Архиерее“ он слил черты одного таврического архиерея со своими собственными, а для матери взял Евгению Яковлевну» (Борис Зайцев. Чехов. Литературная биография. Нью-Йорк, 1954, стр. 257—258).

Бунин имел в виду епископа таурического Михаила — известного в свое время церковного публициста М. Грибановского. Биография М. Грибановского, отчасти использованная Чеховым, не соответствует, однако, одной из определяющих черт образа Архиерея — «низкому» происхождению: сам он был сыном богатого настоятеля собора (биографический очерк о нем в кн.: Епископ М и х а и л (М. Грибановский). Над Евангелием. Полтава, 1911). Еще один возможный источник подробностей и деталей в «Архиерее» — дневники и автобиографические записки епископа Порфирия (Успенского) «Книга бытия моего». Ч. 1—4. СПб., 1894—1896 (см. **подробнее** В. Б. К а т а е в. О прототипе чеховского архиерея. — «Проблемы теории и истории литературы. Сборник статей, посвященных памяти профессора А. Н. Соколова». М., 1971).

Таким образом, моменты психологии Петра, связанные с архиерейским положением, были навеяны Чехову различными источниками. При этом образ архиерея у Чехова был во многом полемическим.

Герой рассказа — архиерей, которому вся прошедшая деятельность и положение, достигнутое в результате ее, не дают окончательного удовлетворения и который сквозь этот «футляр» стремится прорваться к подлинному смыслу жизни. И епископ Сергей (С. А. Петров), и епископ Михаил, как их рисуют письма и мемуары, укладываются в тип людей, убежденных в разумности своей деятельности, в правильности регламента, который определяет их жизнь. Чехов же пишет о человеке, который неосознанно тяготеет этой оболочкой, видит облегчение в избавлении от нее.

Таким образом, едва ли можно говорить об использовании какого-то конкретного, единственного прототипа для образа главного героя. Внимательно изучив быт среды, к которой принадлежит его герой, наделив его многими из собственных чувств и раздумий, Чехов создал образ большой обобщающей силы.

В качестве прототипа другого действующего лица — отца Сисоя М. П. Чехов назвал Анапию, монаха Давидовой пустыни, соседнего с Мелиховом монастыря. «Вот он именно и сказал фразу о том, что „японцы — всё одно, что черногорцы“» (*Антон Чехов и его сюжеты*, стр. 47). А. И. Куприн писал: «Свои чеховские словечки и эти изумительные по своей сжатости и меткости черточки он брал нередко прямо из жизни. Выражение „не пдравится мне это“, перешедшее так быстро из „Архиерея“ в обиход широкой публики, было им ночью вынуто от одного мрачного бродяги полу-пьяницы, полупомешанного, полупророка» (А. И. К у п р и н. Памяти Чехова. — Сб. т-ва «Знание», кн. 3. СПб., 1905; *Чехов в воспоминаниях*, стр. 559).

Рассказ был оценен лишь немногими читателями-современниками и остался почти незамеченным критикой. Бунин, сразу высоко оценивший рассказ, говорил об этом: «В них (своих последних вещах) он действительно достиг большого совершенства. „Архиерей“ написан, например, изумительно. Только тот, кто занимается сам литературой и сам испытал эти адские мучения, может постигнуть всю красоту этого произведения. Критики, кстати сказать, обошли молчанием» (эти слова, сказанные Н. А. Пу-

шенникову, приведены А. К. Бабореко в статье «Чехов и Бунин» — *ЛН*, т. 68, стр. 406). И позднее, в своих воспоминаниях, Бунин относил «Архиерея» к лучшим произведениям Чехова.

Об оценке рассказа Л. Н. Толстым Чехову писал Мирлобов 14 октября 1902 г.: «Был в Ясн(ой) П(оляне), старик бодр и благостен. Хвалил „Архиерея“ и расспрашивал о Вас» (*ГБЛ*; *ЛН*, т. 68, стр. 874). О чтении «Архиерея» в Ясной Поляне вспоминал позднее Д. Н. Анучин («Из встреч с Толстым»). — «Русские ведомости», 1908, № 199, 28 августа). И. И. Горбунов-Посадов сообщал Чехову 15 марта 1903 г.: «Ваш „Архиерей“ очень меня растрогал, хотя он и архиерей» (*ГБЛ*).

Немногочисленные оценки рассказа в критике были положительными, но неглубокими. В рецензии А. Измайлова: «Небольшой, дышащий простотой старых мастеров, исполненный красивого лиризма, он производит впечатление красивое и цельное. В ряде последних новелл А. П. Чехова „Архиерей“ — одна из наиболее красивых и изящных» («Новый рассказ А. П. Чехова»). — «Биржевые ведомости», 1902, № 129, 14 мая, подпись «А. И.»). Другие отзывы: А. Э л ь ф. Журнальные заметки. — «Восточное обозрение», 1902, № 125, 31 мая; Евг. Л я ц к и й. А. П. Чехов и его рассказы. — «Вестник Европы», 1904, № 1, стр. 158.

При жизни Чехова рассказ был переведен на польский язык.

Стр. 186—201. *Под вербное воскресение с А на другой день была Пасха.* — Чехов подчеркнуто точно обозначает дни, на которые приходится действие рассказа. Это страстная неделя, предшествующая пасхе. Об этом приеме Чехова см.: В. Б. К а т а е в. Чехов и мифология нового времени («Филологические науки», 1976, № 5, стр. 72).

Стр. 189. ...*betula kinderbalsamica secuta.* — Фраза составлена из латинских и немецких слов: *betula* (лат.) — береза, *kinder* (нем.) — детская, *balsamica* (лат.) — исцеляющая, *secuta* (лат.) — секущая.

Епархиальный архиерей — глава епархии, церковно-административного округа. Герой рассказа является викарным архиереем, то есть епископом одного из городов епархии и помощником епархиального архиерея.

Стр. 192. *У японцев теперь война.* — Ближайшая ко времени написания рассказа японо-китайская война происходила в 1895 г. Эта фраза, конечно, не может служить основанием для отнесения действия рассказа к данному году, а лишь дополняет характеристику невежественности Сисоя.

Стр. 195. ...*слушая про жениха, грядущего в полнощи, и про чертог украшенный...* — Евангелие от Матфея, гл. 25, ст. 1—13.

Стр. 196. ...*омовение ног* — обряд, совершаемый архиереем в кафедральном соборе в четверг страстной недели в память об омовении ног ученикам, которое совершил Иисус Христос на тайной вечере (Евангелие от Иоанна, гл. 13, ст. 4).

Стр. 198. ...*пора к страстям господним с В продолжение всех двенадцати евангелий...* — Во время богослужения, совершаемого под пятницу страстной недели, читаются отрывки из всех че-

тырех книг Евангелия, рассказывающие о «страстях» — страданиях Иисуса Христа и разделенные на двенадцать частей.

...«Ныне прославися сын человеческий»,... — Евангелие от Иоанна, гл. 13, ст. 31 и след.

НЕВЕСТА

Впервые — «Журнал для всех», 1903, № 12 (ценз. разр. 26 ноября), стлб. 1413—1432. Подпись: Антон Чехов.

Сохранились черновой и белой автографы (*ГБЛ*), первые и вторые гранки журнального текста с правкой Чехова (*ИРЛИ*), а также третьи гранки, с одной авторской поправкой (*ГЛМ*).

Печатается по «Журналу для всех», с исправлениями по беловому автографу:

Стр. 206, строки 9—10: что и в прошлую ночь — *место:* что в прошлую ночь

Стр. 206, строка 20: дальние кусты — *место:* дальне кусты

Стр. 206, строка 23: На дальних деревьях — *место:* На далеких деревьях

Стр. 206, строка 38: густым басом — *место:* грубым басом

Стр. 209, строка 38: до сентября пожить — *место:* до сентября прожить

Стр. 211, строка 3: и засмеялся — *место:* и рассмеялся

Стр. 213, строки 20—21: сказала она, вспыхнув — *место:* сказала она, всхлипнув

Стр. 218, строки 2—3: потрогала свой стол, постель — *место:* потрогала свой стол

1

«Невеста» — единственный у Чехова рассказ, к которому сохранились почти все авторские рукописи и корректуры. Как видно из сопоставления последних гранок с журнальной публикацией, была еще одна авторская корректура — и только она остается неизвестной.

Черновой автограф, на восьми листах большого формата (заполнены с обеих сторон), весь испещрен поправками, зачеркиваниями, вставками. Чехов, очевидно, не успел его уничтожить, как это делал обычно со своими черновиками. Впервые автограф опубликован Е. Н. Коншиной в кн.: «Публичная библиотека СССР им. В. И. Ленина. Сборник II». М., 1928, стр. 31—61. В настоящем издании текст черновика печатается полностью, по автографу: дается последний слой, под строкой — первоначальные варианты.

Беловой автограф, с которого рассказ набирался в «Журнале для всех», поступил в *ГБЛ* в 1957 г. как дар Б. П. Сацердотова. Рукопись была найдена им под переплетом одной из книг, купленных на рынке в Петрограде зимой 1917/18 г. Полулистки пожелтевшей почтовой бумаги (26 листов) заключены в конверт с оттиском штампа «Журнал для всех». Тогда же Сацердотов приобрел еще книгу — рассказы Л. Андреева с дарственной над-

писью автора В. С. Миролюбову, редактору «Журнала для всех». Несомненно, что рукопись и обе книги попали на рынок из одного источника — собрания Миролюбова, История поступления этого автографа в Государственный архив подробно изложена Е. Н. Коншиной в *Записках ГБЛ*, вып. 20. М., 1958; ею же в 1960 г. опубликована рукопись (*ЛН*, т. 68, стр. 93—108). На автографе надпись рукой Миролюбова: «Набрать и послать корректуру» Ялта Антону Павловичу Чехову». Варианты белового автографа нередко совпадают с текстом гранок. В нашем издании они объединены в общий свод вариантов.

Сопоставление беловой рукописи с первоначальными гранками показало, что наборщик в ряде случаев плохо разобрал некоторые слова и допустил ошибки, не замеченные Чеховым при чтении корректуры. На значительную часть ошибок указала Е. Н. Коншина (*ЛН*, т. 68, стр. 92). В настоящем издании эти ошибки устранены из основного текста рассказа.

Что касается существенного смыслового разночтения, появившегося в главе IV рассказа в посмертном XI томе марковского издания (СПб., 1906): «Главное — перевернуть жизнь, а всё остальное не нужно» (вместо верного «всё остальное не важно»), то в данном случае указание Е. Н. Коншиной точно. В журнальном тексте ошибки не было — наборщик верно прочел слова, вписанные Чеховым во второй корректуре. Искажение появилось лишь в посмертном издании, но, как установлено теперь (см. стр. 335), том XI нельзя считать авторизованным. Рассказ «Невеста» должен печататься не по тому XI (как это делалось в предыдущих изданиях, в том числе и в *ПССП*), а по журнальному тексту. Надобность в исправлении «не нужно» на «не важно» отпала.

В записных книжках Чехова есть две заметки, использованные в рассказе «Невеста». Среди записей 1901 г. — сентенция Бисмарка, вошедшая и в черновой и в беловой текст, но вычеркнутая в корректуре: «Медленно запрягать, но быстро ездить — в характере этого народа, сказал Бисмарк» (*Зап. кн. I*, стр. 118). И несколько раньше (стр. 108) — неиспользованный сюжет, где главный персонаж — «деспот» — прозван «Дзыга» (в рукописях «Невесты» этим прозвищем называют слуги бабушку Нади, при этом в черновом автографе Чехов писал слово с прописной буквы (как личное, индивидуальное прозвище), а в беловом — со строчной (как нарицательное имя). Этот южнорусский диалектизм (дзыга, или зыга) отмечен в словаре В. И. Даля и означает: зуда, егоза.

Сохранился еще вырванный из блокнота листок с заметками к «Невесте» (см. т. XVII Сочинений). Все они относятся к заключительной, шестой главе и сделаны после того, как рассказ был начерно написан.

История работы над рассказом «Невеста» детально восстанавливается по письмам Чехова и, главное, по рукописям и гранкам.

Еще во время переписки с Миролюбовым по поводу «Архирея» в начале 1902 г. Чехов дважды (20 февраля и 8 марта) писал, что в случае цензурных затруднений пришлет «другой рассказ». Называлась даже приблизительная дата — май 1902 г. Возможно, что, обещая рассказ, Чехов имел в виду «Невесту».

После напечатания «Архиерея» Миролюбов продолжал настойчиво напоминать о новом рассказе, просил (телеграмма от 18 октября 1902 г.) дать его название для объявления о подписке на 1903 г.— «чтобы похвастаться первым номером» (письмо от 14 октября 1902 г.— ГБЛ). «Название рассказа,— отвечал Чехов 16 октября,— я пришлю Вам тотчас же, как это будет возможно, т. е. когда я остановлюсь на теме и мне будет ясно, что я ни в коем случае не обману Вас». Через четыре дня (в ответ на очередную просьбу Миролюбова «дать заглавие») он писал: «Если Вам так нужно название рассказа, которое можно потом и изменить, то вот оно: „Невеста“».

Непосредственно к работе над рассказом Чехов приступил сразу же по возвращении в Ялту. 1 декабря 1902 г. он уведомлял О. Л. Книппер: «Завтра засяду писать»; затем 4 декабря сообщал, что «пописывает»; 6 декабря говорил определенно: «За работу я уже сел, пишу рассказ» и 12 декабря: «Пишу я рассказ, по он выходит таким страшным, что даже Леонида Андреева заткну за пояс». Скоро наступило охлаждение. «Пока сижу за рассказом,— писал Чехов жене 14 декабря,— довольно неинтересным — для меня по крайней мере; надоел».

Судя по всему, работа в первые две недели велась без перерыва и шла хорошо. В это время у Чехова почти никто не бывал, здоровье его было удовлетворительно. Над другими вещами он в это время не работал (см. его письма к О. Л. Книппер от 14 и 28 декабря 1902 г., К. С. Станиславскому от 1 января 1903 г., Ф. Д. Батюшкову от 11 января 1903 г. и др.). Сам Чехов этот период писания оценивал высоко: «Я работал, был в ударе» (Книппер, 19 декабря 1902 г.). Но в этом же письме: «В последние 4—5 дней ничего не делаю (...) заминка в рассказе вышла». Время «заминки» совпадает с тем, когда Чехов впервые выразил недовольство своим «неинтересным» рассказом — 14 декабря. По виду черновой рукописи (самое большое число вычеркнутый и исправлений, правка более темными чернилами) можно предположить, что «заминка» приходится на конец 5-й и начало 6-й страницы. Сюжетно это место — перед первым открытым высказыванием Нади, началом ее «бунта» («Мама, милая, отчего мне так невесело?»).

Но «заминка» продолжалась не более недели; уже 20 декабря Чехов сообщал жене: «Завтра буду писать». Дальше работа шла медленнее, «понемножку» (письмо Станиславскому от 1 января 1903 г.), но всё же шла. 30 декабря 1902 г. Чехов обещал Миролюбову «Невесту» в скором времени прислать, а в письме от 4 января 1903 г. спрашивал, на какой адрес. Но в январе в работе произошел перерыв. «Давно уже не писал ничего, всё похварывал, завтра опять засяду» (Книппер, 9 января 1903 г.). «С болезнью возился все праздники, ничего не делал и теперь всё, что начал, придется начинать снова, начинать с досады (...) Мне нужно кончить рассказ еще для „Журнала для всех“, куда я обещал очень давно. Плохим я стал работником, говоря в скобках» (Батюшкову, 11 января 1903 г.). «За праздники у меня всё переболталось в голове, так как был нездоров и ничего не делал. Теперь приходится опять начинать всё сначала» (Книппер, 11 января 1903 г.). «Мне грустно, что у меня столько времени ушло без работы и что, по-видимому, я уже не работник» (Книппер, 13 янва-

ря 1903 г.). «Веду жизнь праздную, ничего не делаю — поневоле» (А. С. Суворину, 14 января 1903 г.).

23 января в письме к Л. В. Средину Чехов сообщал: «Теперь мне лучше, сижу и работаю». «С декабря по сие время я ничего не делаю, — писал он В. А. Гольцеву 26 января, — у меня был плевроит. (. . .) Теперь уже совсем полегчало (. . .), я уже сижу и пишу рассказ для „Журнала для всех“». Об этом же говорится и в письмах к жене от 26 и 28 января. В письме от 26 января — характерное признание: «Пишу рассказ для „Журнала для всех“ на старинный манер, на манер семидесятих годов. Не знаю, что выйдет. Говоря о семидесятих годах, Чехов, вероятно, имел в виду рассказы, повести и романы того времени о девушках и женщинах, уходивших из дома (как у Тургенева в его стихотворении в прозе «Порог»).

Работа, как видно из писем, шла медленно. «Пишу рассказ, но медленно, через час по столовой ложке — быть может, оттого, что много действующих лиц, а может быть, и отвык, привыкать надо» (Книшпер, 30 января 1903 г.). «Хотя и медленно, но всё же пишу. Сейчас сажусь писать, буду продолжать рассказ, но писать, вероятно, буду плохо, вяло, так как ветер продолжается и в доме нестерпимо скучно» (ей же, 1 и 2 февраля). «Вчера я не писал, ибо в моей комнате было только 11 градусов» (ей же, 3 февраля). «У меня в кабинете вот уже несколько дней температура держится на 11—12, не повышаясь. (. . .) Пишу по 6—7 строчек в день, больше не могу, хоть убей» (ей же, 5 февраля).

Но к февралю работа все-таки подвинулась. 9 февраля, в ответ на новые запросы Миролюбова от 23 января и 4 февраля (ГБЛ), Чехов уже сообщал, что «Невесту» рассчитывать «кончить к 20 февраля или раньше, или немного позже — смотря по тому, как здоровье и проч. и проч.» Этот же срок он называл и в письмах к М. П. Алексеевой (Лилиной) и Книшпер от 11 февраля. Впрочем, уже 14 февраля он писал А. А. Андреевой, что кончат рассказ, а в письме к жене в этот же день называл дату — «через два дня».

20 февраля Чехов сообщал Миролюбову, что рассказ вчерне готов: «Переписывать я буду его и исправлять при этом — дней пять, стало быть, 25 февраля вышло Вам». Это и была та законченная черновая рукопись, которая сохранилась в архиве Чехова. Затем три дня Чехов «был нездоров, не писал вовсе» (письмо Миролюбову от 23 февраля) и перебелить рукопись начал только 23 февраля. К вечеру 27 февраля беловая рукопись была закончена и отослана. В письме, отправленном тогда же, Чехов просил: «Корректуру пришлите, ибо надо исправить и сделать конец. Концы я всегда в корректуре делаю».

В марте Чехов правил первую корректуру рассказа. 23 марта, в ответ на просьбу Книшпер познать ее с рассказом, Чехов ответил: «Рассказ „Невеста“ прислать не могу, ибо у меня нет; скоро прочтешь в „Журнале для всех“». И добавлял: «Гаккие рассказы я уже писал, писал много раз, так что нового ничего не вычитаешь».

29 марта Миролюбов, приехавший в Крым, запрашивал Чехова (из Алупки), отправил ли он в редакцию «Журнала для всех» корректуру «Невесты», которую «1-го апреля должны верстать» (ГБЛ).

В середине апреля выправленная в типографии корректура была передана в цензуру (это видно по журнальной надписи на корректуре «Невесты» и конторским книгам «Журнала для всех» — см. *Летопись*, стр. 745). Другой оттиск (опять в гранках) был послан Чехову. Приехав 24 апреля в Москву, он читал и правил эту корректуру. «Сижу дома безвыходно и читаю корректуру», — сообщал он И. Н. Альшутлеру 29 апреля. После перерыва (поездки в Петербург) в конце мая и начале июня он снова работал над ней и 12 июня отослал в журнал.

5 июня Чехов писал В. В. Вересаеву: «„Невесту“ искромсал и передал в корректуру», а 12 июня — Миролюбову: «Сегодня послал Вам заказную бандеролью рассказ. Простите, делать мне нечего и вот на досуге я увлекся и почеркал весь рассказ». 2 июля он просил редактора: «Хорошо было бы, если бы Вы прислали мне еще раз взглянуть — не для исправления, а так, для знаков препинания». 6 июля Миролюбов ответил: «Очень Вам благодарен за корректуру, по исправлениям мы Вам вышлем» (*ГБЛ*). 10 июля редакция «Журнала для всех» выслала Чехову исправленный оттиск «Невесты» (письмо редакции от этого числа — *ГБЛ*). В сохранившемся экземпляре третьей корректуры лишь одна авторская замена: «бабушка» — на «бабулька» (так и в окончательном тексте, стр. 208, строка 25). Но Чехов еще раз правил рассказ — в корректуре, остающейся неизвестной. В сентябре окончательный текст был у Миролюбова. Рассказ предполагалось печатать в ноябре, но 16 октября Миролюбов писал Чехову: «„Невесту“ пускаем в декабре, во время подписки» (*ГБЛ*).

Как известно, еще в корректуре с новым рассказом Чехова познакомились М. Горький и Вересаев. Происходило это в Крыму 21 апреля, так что читать они могли только вторую, но еще чистую, не выправленную автором корректуру. Об этом чтении сохранились воспоминания Вересаева:

«Накануне, у Горького, мы читали в корректуре новый рассказ Чехова „Невеста“...

Антон Павлович спросил:

— Ну, что, как вам рассказ?

Я помялся, но решил высказаться откровенно.

— Антон Павлович, не так девушки уходят в революцию. И такие девицы, как ваша Надя, в революцию не идут.

Глаза его взглянули с суровой настроженностью.

— Туда разные бывают пути.

Был этот разговор двадцать пять лет назад, но я его помню очень ясно. Однако меня теперь берет сомнение: не напутал ли я здесь чего? В печати я тогда этого рассказа не прочел. А сейчас перечитал: вовсе в революцию девица не идет. Выведена типичная безвольная чеховская девушка, кузен подбивает ее бросить жениха и уехать в столицу учиться, она уезжает чуть ли не накануне свадьбы и там, в столице, учится и работает. Но учится и работает не в том смысле, как в то время это понималось в революционной среде, а в специально чеховском смысле: учиться вообще наукам и вообще работает, как, например, работали у Чехова дядя Ваня и Соня в пьесе „Дядя Ваня“. В чем тут дело? Я ли напутал, или Чехов переработал рассказ? Интересно было бы сравнить корректурный оттиск рассказа „Невеста“ с окончательной его редакцией (. . .)

Через месяц я получил от Чехова письмо, и там, между прочим, он сообщает: „Кое-что поделываю. Рассказ „Невеста“ искромсал и переделал в корректуре“. Из этого заключаю, что, может быть, Чехов в этом направлении что-то исправил и нашел более подходящим для своей Нади, чтобы она ушла не в революцию, а просто в учебу.

Всё это интересно в том смысле, что под конец жизни Чехов сделал попытку, — пускай неудачную, от которой потом отказался, — но все-таки попытку вывести хорошую русскую девушку на революционную дорогу» (В. В. Вересаев. А. П. Чехов и встречи с ним. — «Красная панорама», 1929, № 28, 13 июля; *Чехов в воспоминаниях*, стр. 675—676).

Располагая сейчас рукописями и корректурами рассказа, можно объективно судить, прав или неправ был Вересаев в своих предположениях.

2

И в рукописях, и в корректурах авторская правка была чрезвычайно большой. Это тем более поразительно, что сюжет, композиция, все образы рассказа были выношены до того, как началось писание. Деление на шесть глав сохранялось и в черновой рукописи, и в окончательном тексте; совсем не изменилось число персонажей. И все-таки каждая глава переделывалась много раз; существенно менялись характеристики героев, их суждения.

Не сразу было найдено самое начало. И в черновой, и в белой рукописи рассказ начинался сердитым криком горничной: «Ступай наверх скорей, там Дзыга зовет!» Это прозвище бабушки повторялось потом, в ходе первоначального повествования, несколько раз — и совсем исчезло в первой же корректуре (вообще исчез этот мотив — о ворчливо-злой бабушке, которую ненавидит прислуга). Однако до второй корректуры сохранялось подчеркнуто бытовое начало: «Из подвального этажа, где была кухня, в открытое окно слышно было, как там спешили, как стучали ножами, как хлопали дверью на блоке; в саду около дома пахло жареной индейкой и маринованными вишнями». Во второй корректуре это описание было сохранено, даже усилено вставкой: «И почему-то казалось, что так теперь будет всю жизнь, без перемены, без конца» — но перенесено немного дальше, а рассказ открылся словами о природе: «Было уже часов десять вечера, и над садом светила полная луна».

Имена героев установились, после некоторых колебаний, уже в черновой рукописи. Первоначальная Наташа была заменена Надей; отец Георгий, Григорий, Иван, Василий — известным по окончательному тексту отцом Андреем; мать Нади Елизавета Ивановна — Нинной Ивановной. Имена Саша и Андрей (для жениха Нади) были даны сразу.

Но над самими образами, над деталями их характеристик, взаимоотношений Чехов много и пристально работал.

Это касается прежде всего Нади, ее переживаний, мотивов ее ухода из дома, ее отношений с Сашей, с женихом, с матерью.

Первоначально в поступке Нади гораздо большую роль играл Саша, его речи и призывы — вообще он очень много говорил.

При первой встрече с Надей в окончательном тексте остались лишь слова Саши о печистоте, в какой живет прислуга; о безделье матери, бабушки, жениха; о том, что ему молодости Надиной жалко.

В черновой рукописи Надя возражала: «Мой жених делает, только чем он занимается, никак не пойму» — и Саша раздражался гневной тирадой: «Ничего он не делает. Он хороший человек, славный, спора нет, ну, и умный там, что ли, только такие, как он, никому в России не нужны». Первоначально было сказано еще сильнее: «такие, как он, достаточно зла принесли [себе и России] России». Чехов не внес эти слова уже в беловую рукопись. Здесь, как и во всем рассказе, была усилена самостоятельность, независимость, активность героини. В первой корректуре сделана вставка: Надя сама упрекает, прямо отчитывает Сашу — за невнимание к болезни (см. варианты, стр. 204, строки 12—13). Во второй корректуре строки вычеркнуты и заменены более спокойными: «Всё это старо и давно надоело, — сказала она и встала. — Бы бы придумали что-нибудь поновее».

В беловой рукописи снято наставление Саши (конец гл. I): «В молодые годы, в ваши годы учиться нужно! — сказал он хмурясь. — Да... В Петербург вам нужно».

Также сокращен в первых гранках весь обеденный спор Саши с бабушкой (гл. II) о «мертвом городе» и «мертвых людях», который должна была слышать Надя. Послеобеденный разговор с нею остался в окончательном тексте — но в сильно измененном виде. Уже в беловую рукопись не вошли слова Саши: «Удастся ли вам учение или нет, всё же вы увидите другую жизнь, кое-что поймете, кое-что новое откроется вам». Но восторженная чудаковатость Саши, его разговоры про «громадные, великолепнейшие дома, чудесные сады, чудесных людей» — остались; в беловой рукописи даже добавились «фонтаны необыкновенные». Так дошло до окончательного текста.

В последнем перед отъездом разговоре по мере авторской работы Саша и Надя как бы менялись ролями.

В рукописных (и черновом, и беловом) вариантах Саша предлагал Наде уехать с ним: «Значит, вам уехать надо...», а в черновике еще произносил восторженную речь (см. стр. 290). В беловой рукописи осталось лаконичное: «Увезу вас, будете учиться, а там пусть вас носит судьба» и радостное согласие Нади: «О да! Бога ради!» Так — и в первой корректуре. Но во второй корректуре Чехов заново написал весь эпизод — Надя первая говорит о том, что хочет уехать; подробно рассказано о ее возбужденном и решительном душевном состоянии (см. стр. 313 и 213—214).

Отвечая этому настроению Нади, Саша произносит (также вписано во второй корректуре): «Когда перевернете вашу жизнь, то всё изменится. Главное — перевернуть жизнь, а всё остальное не важно».

Это дошло и до окончательного текста.

Вересаев, таким образом, был неточен: и в первых вариантах рассказа прямых слов о том, что героиня уходит в революцию, сказано не было; цель ее ухода из дома остается неопределенной (при окончательной отсечке рассказа эта неопределенность была даже подчеркнута). Но в последних корректурах Чехов не только

не снизил пафос ее общего порыва к тому, чтобы «перевернуть» свою жизнь, а, напротив, усилил его.

Впрочем, у Вересаева были основания предполагать какую-то существенную правку в конце рассказа, устранившую некий намек на революционное движение. Но касалось это не образа Нади, а Саши (эпизод, когда Саша отказывался ехать с Надей на какикулы в родной их город — см. стр. 216—217, строки 37—17). Отрывок сохранялся, с небольшими вариациями, от черновика до первой корректуры; но во второй корректуре зачеркнут так, что текст теперь трудно прочитать. Та же судьба постигла и другую вставку (сделана была в белой рукописи): «Отлично, превосходно, — говорил он, — я очень рад. Вы не пожалеете и не расклетесь, клянусь вам. Ну, пусть вы будете жертвой, но ведь так надо, без жертв нельзя, без нижних ступеней лестниц не бывает. Зато внуки и правнуки скажут спасибо! Вместо этого текста, напоминающего революционную фразеологию тогдашней молодежи, во второй корректуре появилось обращение Нади к больному Саше и его слова: «Я послезавтра на Волгу поеду, ну, а потом на кумыс. Хочу кумыса попить. А со мной едет один приятель с женой. Жена удивительный человек, всё сбиваю ее, угориваю, чтоб она учиться пошла. Хочу, чтобы жизнь свою перевернула». Так осталось и в опубликованном рассказе.

Отношения Нади с Андреем Андреевичем поначалу, в рукописях, не рисовались столь определенно тягостными. В черновике сказано: «Но почему-то теперь, когда до свадьбы осталось не больше месяца, она стала испытывать страх и беспокойство, и если бы почему-либо отложили свадьбу до осени или даже до зимы, то она имела бы время всё обдумать и, пожалуй, еще сильнее полюбила бы жениха и была бы счастлива». Слова «и была бы счастлива» вычеркнуты уже в черновой рукописи. В белом автографе опущены предшествующие им: «и, пожалуй, еще сильнее полюбила бы жениха». В первой корректуре добавлено: «как будто ожидало ее что-то неопределенное, тяжелое, вроде сна с кошмарами», а в третьей — снята последняя фраза, как будто дававшая надежду: «Если бы отложили свадьбу до осени или даже до зимы!» После восторженных слов Андрея Андреевича: «Дорогая моя, моя милая, прекрасная... Я безумствую от восторга» — о чувствах Нади в черновой рукописи сказано: «И ей казалось, что это она уже давно, давно слышала или читала где-то...» В последней корректуре Чехов добавил: «в романе, в старом, оборванном, давно уже заброшенном».

Весь эпизод с осмотром нового дома из черновика почти без изменений вошел в окончательный текст. Некоторые детали были все-таки изменены.

Усилены непривлекательные черты Андрея Андреевича. В черновике: Нада «замечала только, что у жениха очень мягкие руки с короткими пальцами, что на нем очень новые, хорошо выглаженные брюки». В белой рукописи эти слова вычеркнуты. В первой корректуре вписано: «и его рука, обнимавшая ее талию, казалась ей жесткой и холодной, как обруч». Так вошло в окончательный текст. Подчеркнута его рисовка, пустая высокопарность речи. Оправдываясь в своей праздности, он заканчивал восклицанием: «О матушка Россия, много носишь ты нас, праздных и бесполезных, многострадальная!» Фраза исправлялась в

беловике и во всех корректурах. В результате стало: «О матушка Русь! О матушка Русь, как еще много ты носишь на себе праздных и бесполезных! Как много на тебе таких, как я, многострадальная!» Всё это Надя воспринимает острее.

Более жесткими, чем в первоначальных вариантах, выглядят отношения с Андреем Андреевичем в конце, после приезда Нади в родной город. От черновика до второй корректуры сохранялся текст: «На другой день вечером приходил Андрей Андреевич, всё такой же тихий, молчаливый, и играл на скрипке очень долго, с чувством, и Наде казалось, что ему больше уж ничего не оставалось на этом свете, как только игра на скрипке. Он робко говорил Наде *вы*, но всё еще, как было заметно, любил и как будто не верил тому, что произошло; вот, казалось ему, он вдруг проснется, и всё окажется сном...» Зачеркнув этот трогательный отрывок, Чехов написал: «Бабуля и Нина Ивановна не выходили на улицу из страха, чтобы им не встретились отец Андрей и Андрей Андреевич».

Первые слова Нади о матери остались неизменными от черновика до печатного текста: «А я вот сижу и смотрю отсюда на маму. Она кажется отсюда такой молодой! Да и на самом деле она еще молода. У моей мамы, конечно, есть слабости, но она необыкновенная женщина». В корректуре была лишь вычеркнута фраза: «Да и на самом деле она еще молода».

Но над всеми эпизодами встреч, разговоров Нади с матерью Чехов работал много. Первоначальные варианты были, прежде всего, пространнее, в них больше разных деталей, не касающихся прямо отношений Нины Ивановны с дочерью. Например — с тем, что Нина Ивановна «была любительницей театров, концертов, благотворительных балов, часто спорила о пользе театров и раз даже участвовала в спектакле, после которого тяжело дышала».

От варианта к варианту Чехов усиливал детали, рисующие равнодушие Нины Ивановны к дочери. На тревожный вопрос Нади, отчего ей так невесело, Нина Ивановна поначалу давала напрасный, но все-таки совет: «Я знаю, тебе скучно без занятий, ну да ведь — бабушку не убедишь. А ты бы рисовала, что ли. Или вышивай». Уже в беловой рукописи, вместо ответа, Нина Ивановна начинает говорить о себе: «А когда я не сплю ночью, то закрываю глаза крепко-крепко и рисую себе Анну Каренину, как она ходит и говорит, или рисую Лаврецкого, или кого-нибудь из истории». В корректуре было добавлено: «Не знаю, милая» и еще: «или решаю вопрос, зачем мы живем, какая цель нашего бытия». Наде ясно с самого начала, что мать не понимает и не может понять ее, но в первых вариантах после этого разговора она «точно же обняла мать, и обе пошли в дом и сели за рояль играть в четыре руки». Во второй корректуре вместо этого сказано: «почувствовала это первый раз в жизни; ей даже страшно стало, захотелось спрятаться, и она ушла к себе в комнату». Так вошло и в печатный текст.

Изменилась тональность IV главы — ночного разговора с матерью, когда Надя просит мать «смасти» ее — позволить уехать. Уже в рукописях — черновой и беловой — появился текст, очень близкий к окончательному. В корректуре Чехов сделал лишь одну замену — совсем снял момент ссоры, раздражения,

обиды. Разговор стал добрее, хотя остался таким же безнадежным.

Сокращая текст, Чехов устранил эпизод в начале VI главы о приезде Нины Ивановны в Петербург (см. вариант к стр. 215, строка 40). Всё это зачеркнуто в первой же корректуре, и взамен появилось короткое сообщение: «Надя рассказала, как осенью приезжала к ней в Петербург Нина Ивановна, сильно поху-девшая и какая-то страшная, виноватая». Потом и это было изменено: «Мама приезжала ко мне осенью в Петербург, говорила, что бабушка не сердится, а только всё ходит в мою комнату и крестит стены».

Изменился и последний разговор Нади с матерью. Сначала в ответ на вопрос, довольна ли она, Надя рассказала подробно: «Конечно, когда поступала на курсы, то думала, что достигла всего, уже не захочу ничего больше, а вот как походила, поучилась, то открылись впереди новые планы, а потом опять новые и всё шире и шире, и, кажется, нет и не будет конца ни работе, ни заботе». Уже в белой рукописи остался лаконичный ответ: «Довольна, мама». Во второй корректуре сделана вставка, внесшая легкий юмористический оттенок; Нина Ивановна говорит о себе: «я теперь занимаюсь философией и всё думаю, думаю... И для меня теперь многое стало ясно, как день. Прежде всего надо, мне кажется, чтобы вся жизнь проходила бы как сквозь призму...»

Вообще шестую главу Чехов много правил и в рукописи, и в корректуре. В отличие от других глав, где делались главным образом сокращения и перемены, здесь появились добавления. Были использованы те заметки на листке из блокнота, которые писались, когда весь рассказ начерно был уже окончен. Во второй корректуре, например, сделана вставка, как развлекали Надю мальчишки из соседнего двора, дразнившие: «Невеста! Невеста!» Но осталось нерализованным подробно намечавшееся в этих заметках объяснение с Андреем Андреевичем: «Милая, одно слово, только одно: надеяться ли мне! О, я буду ждать! Я готов ждать!» Эти слова так и не были сказаны (ср. в черновике, стр. 298).

Последние строки рассказа определились уже в черновике: «„Прощай, милый Саша!“ — думала она.

Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром уехала, и впереди ей рисовалась жизнь трудовая, широкая, чистая». В белой рукописи текст остался, с некоторыми перестановками.

В первой корректуре Чехов сделал вставки: «Прощай, милый Саша! — думала она, и впереди ей рисовалась жизнь трудовая, широкая, [чистая,] просторная, и эта жизнь манила ее. Настоящее, как казалось ей, уже перевернуто вверх дном, беспокойство останется до конца дней, что бы там ни было, куда бы судьба ни занесла, но всё же жизнь будет чистой, совесть покойной... Только бы уехать!»

Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром [уехала] простилась со своими и покинула город, — как полагала, навсегда».

Во второй корректуре значительная часть этой вставки была вычеркнута. Но снова искались эпитеты к слову «жизнь»;

которая впереди рисовалась Наде. Вместо «трудова» стало «новая» и добавлено: «еще неясная, полная тайн». Сделано важное добавление о том, в каком настроении теперь уезжала Надя из дома: «живая, веселая».

Стилистическая правка текста на всех стадиях создания рассказа была громадной. Нет, пожалуй, ни одной фразы, которая неизменно вошла бы в печатный текст.

Полное представление о размерах и характере работы Чехова над рассказом «Невеста» дают рукописные и корректурные материалы, целиком опубликованные в этом томе: черновая рукопись со всеми ее вариантами, варианты беловой рукописи и гранок. См. также специальные работы: Н. З а м о ш к и н. Устранение лишнего (Вместо юбилейной статьи о Чехове).— В его кн.: Литературные межн. М., изд-во «Федерация», 1930; Е. Н. К о н ш и н а. Беловая рукопись рассказа «Невеста».— *ЛН*, т. 68, стр. 87—92; В. Г о л ь д и н е р, В. Х а л и з е в. Работа Чехова над рассказом «Невеста».— «Вопросы литературы», 1961, № 9; С. Б р а г и н. Из творческой истории рассказа «Невеста».— «Дон», 1960, № 1; В. М. Р о д и н о в а. «Невеста» А. П. Чехова (К творческой истории рассказа).— Теория и история русской литературы. Труды Московского гос. пед. ин-та имени В. И. Левина. М., 1963; И. Ф. К у з н е ц о в а. Работа А. П. Чехова над языком рассказа «Невеста» (Из наблюдений над вариантами рассказа).— Труды Университета дружбы народов, 1968, т. 29, вып. 3; Г. В. С у д а к о в. Работа А. П. Чехова над языком рассказа «Невеста» (по рукописным и печатным вариантам).— Ученые записки Ленинградского гос. пед. ин-та, 1969, т. 378; В. Б. К а т а е в. Финал «Невесты».— В сб. «Чехов и его время». М., «Наука», 1977.

3

В некоторых рецензиях на рассказ «Невеста» еще были отзвуки специфически «чеховской» проблематики, традиционной при обсуждении едва ли не всякого нового его произведения. Так, М. О. Гершензон писал, что «этот рассказ, как большинство рассказов Чехова, не картина, а эскиз», персонажи Чехова — «все-таки не портреты, а силуэты». Традиционен и упрек в немотивированном изменении характера персонажа: «*Новой Нади* почти совсем не видать: какой переворот произошел (. . .) в ее душе — об этом трудно догадаться по тем немногим внешним признакам, которые дал художник» (М. Г е р ш е н з о н. Литературное обозрение.— «Научное слово», 1904, № 1, стр. 135).

В другой рецензии говорилось, что рассказ «страдает большой схематичностью. В маленькую рамку заключено слишком значительное содержание, вследствие чего некоторые части его остались без надлежащей разработки. (. . .) Очень эскизные и слабо намечены Андрей Андреич и его отец, эскизна и сама Надя» (И. Д ж о н с о н (И. В. Иванов). Чехов и его рассказ «Невеста».— «Правда», 1904, № 5, стр. 239).

«Это типичный чеховский рассказ,— отмечал М. А. Волошин,— написанный в мягком тоне (. . .) с тонкими нюансами в настроениях и в немногих строках вырисовывающий целые категории типов и характернейшие черты момента» (М. В о л о-

ш и н. Литературные характеристики.— «Киевские отклики», 1904, № 47—8, 8 января).

Но все эти вопросы занимают в рецензиях место небольшое. Гораздо сильнее, начиная с самых первых отзывов, критику интересовало другое — общий тон, настроение рассказа. И здесь она проявила редкое в практике оценок Чехова единодушие.

Отмечая «чисто чеховскую обстановку» рассказа, обозреватель «Северного Кавказа» заключал: «И мы уверены, несколько лет тому назад Чехов заставил бы этих героев медленно тянуть эту канитель, называемую жизнью (. . .). Но, видно, времена изменились. И чеховская героиня-невеста не хочет этого медленного самоуничтожения» (Р г и о. Литературные заметки.— «Северный Кавказ», 1904, № 6, 13 января). В творчестве Чехова, по мнению критики, появляется новый герой — порвавший со своей средой, нашедший в себе силы для решительного шага. «Основной фон (. . .) чисто чеховский, хорошо всем знакомый по целому ряду других его рассказов. (. . .) Можно бы подумать, что и Надя (. . .) превратится в такую же мецанку, как и многие из ее подруг... Зная Чехова, это можно было предсказывать почти с полной уверенностью. (. . .) Из предшествующих героев Чехова ни один не позволял себе такого решительного шага, и уже одно бегство Нади на курсы должно быть признано новым этапом в писательской деятельности Чехова» (В л. Б о ц я н о в с к и й. Новый рассказ Чехова.— «Русь», 1904, № 22, 3 января).

Новый положительный герой Чехова — это активный герой. «Если прежде его положительные типы в подавленном и беспомощном недоумении стояли перед пустотой и пошлостью нашего обывательского прозябания, то теперь они активно ищут отсюда выхода» (М. Г е л ь р о т. Из нашей текущей литературы.— «Южные записки», Одесса, 1903, № 2, 21 декабря, стр. 31).

Литературный обозреватель одного из провинциальных журналов именно так воспринимал общий тон критических высказываний о новом рассказе Чехова: «В последнем своем рассказе Чехов, по замечанию некоторых критиков, выступает с новым настроением, которое мало свойственно этому поэту скуки, тины, длинных тягучих мыслей (. . .). Вместо слабоволия, нерешительности, среди пошлой обстановки просыпается от тяжелого кошмара живая душа» (В. Х. Беллетристические новости.— «Мирный труд», Харьков, 1904, № 2, стр. 204).

Критики, близкие к социал-демократическим кругам, считали, что рассказ неопределенен, не указывает ясных путей или указывает не совсем те, какие нужно. «Оттого, что кто-то в одну точку перевернет свою жизнь,— писал И. Джонсон в журнале „Правда“,— еще, пожалуй, немного выйдет доброго,— только ему одному и будет лучше, как стало лучше Наде. Силы должны быть направлены на то, чтобы перевернуть жизнь общественную, а не только личную» («Правда», 1904, № 5, стр. 244).

С особенной энергией проводил подобную точку зрения В. Шулятиков: «Финал, говорящий о „живой“ жизни, зовущий к ней, звучит, действительно, как нечто „новое“ в устах г. Чехова. Но ... мы не имеем ни малейшего права преувеличивать ценность этого финала». Чехов, писал Шулятиков, чувствует «биение пульса времени». Но с вульгарно-социологической прямолинейностью он упрекал Чехова в том, что процесс нарастания

жизни воспринимается им как «идеологом» общественной группы, не стоящей на „большой дороге“ истории. (. . .) Ничего определенного, ясно сознанного! (. . .) Неясными и неопределенными кажутся Наде задачи „новой“ жизни и тогда, когда она уже стоит на новом пути... Автор оставляет их невыясненными до конца. (. . .) Мы не можем считать провозглашенный им „культ жизни“ проповедью истинной жизни, ее победоносного развития. Подобная проповедь, как известно, составляет достояние иной общественной группы, чем та, которая воспитывает „чеховских героев“ (В. Шулятиков. Критические этюды. — «Курьер», 1903, № 296, 24 декабря).

Но большая часть критиков смысл и цепность рассказа видела не в указании каких-то конкретных дорог и даже не столько в образе самой героини, сколько в том общем мажорном настроении, которое возникает в рассказе.

В. Ф. Боцяновский полагал, что «бегство Нади» еще «может быть поставлено в связь с несомненным стремлением высь других ранних героев Чехова» (называются герои «Скучной истории», «Трех сестер», «Дяди Вани»), и в сюжете до возвращения Нади из Петербурга не видел чего-либо принципиально нового. Но финал рассказа, «это смелое, живое слово» (имеются в виду прежде всего слова «О, если бы поскорее наступила эта новая, ясная жизнь...») — «бесспорно, большая новость в творчестве Чехова» (Вл. Боцяновский. Новый рассказ Чехова. — «Русь», 1904, № 22, 3 января).

Различие в тоне первой и второй части рассказа отмечал и А. И. Богданович и тоже большое значение придавал финалу: «Бодрый, сильный аккорд, заканчивающий эту прелестную вещь, звучит в душе читателя как победный клич, как торжество жизни над мертвой скукой и пошлостью серой и однообразной обыденности. (. . .) „Невеста“ г. Чехова — это живой и яркий символ всего живого, протестующего, не укладывающегося в устарелые рамки серой провинциальной жизни» (А. Б. Критические заметки. — «Мир божий», 1904, № 1, стр. 7—8).

«Из нового произведения Чехова веет на читателя тот дух энергии, бодрости, веры в человеческие силы и в возможность завоевания этого близкого будущего, который, казалось, совсем покинул за последнее время его творчество. И притом — что самое важное — веет с силой, раньше в такой мере не обнаруживавшейся» (И. Джонсон. — «Правда», 1904, № 5, стр. 243).

Новый тон, новое настроение рассказа критика тесно связывала с изменениями в настроениях самого автора, а эти настроения — с общественными переменами в стране. «Что касается до самого Чехова, — закачивал свою статью И. Джонсон (в ее начале он говорил, что рассказ „Невеста“ имеет совершенно особый интерес), — то он, несомненно, снова вступил в период бодрости и веры, и озаренное надеждой настроение как бы замолодило его творчество. На безусловную прочность этого настроения еще может быть, рискованно уловить (. . .) Но что нынешнее его настроение, поскольку „Невеста“ служит его выразителем, отчасти небывалой раньше степени бодрости и силы, это слишком ясно.

И если литературу в лице даровитейших ее представителей праведливо называют чувствительным барометром, чутко отра-

жающим состояние социальной погоды и предсказывающим близящиеся перемены, то с этой стороны последнее произведение знаменитого писателя приобретает еще и особый, огромный смысл (там же, стр. 244).

В некоторых статьях отмечалась скептическая нота, звучащая в последней фразе рассказа: «...покинула город, — как полагаю, навсегда». Это „как полагаю, навсегда“, — весьма характерно и производит такое же впечатление, как заключительные словечки некоторых песенок любви Гейне, расхолаживающих одним ударом лирический восторг («Мирный труд», 1904, № 2, стр. 208). «Чехов не может еще вполне отрешиться от его скептицизма и пессимизма. Весьма вероятно, что в последнюю минуту, быть может, даже в корректуре, он вставил это грустное слово. Без этого рассказ уж слишком не похож был бы на все другие произведения писателя», — пронизательно заметил Бодяновский. (Как известно, эти слова действительно были вставлены в корректуре.) «Но, — заключал критик, — этот, я сказал бы, робкий скептицизм не в состоянии парализовать силы яркого и живого, нового у Чехова слова» («Русь», 1904, № 22, 3 января).

При жизни Чехова рассказ был переведен на сербскохорватский язык.

Стр. 204—205. *Отеческого дара расточие богатство с насояся окаянный.* — Цитируется лубочное переложение притчи о блудном сыне (Евангелие от Луки, гл. 15, ст. 11—32).

НЕОКОНЧЕННОЕ

РАССТРОЙСТВО КОМПЕНСАЦИИ

Впервые — «Журнал для всех», 1905, № 2, стр. 71—74.

Вошло в издание А. Ф. Маркса (т. XI, 1906).

Печатается по черновому автографу (ГБЛ).

В ПССП (т. IX, стр. 693) предположительно датируется 1902—1903 годами. В полном собрании сочинений Чехова, изданном в виде приложения к «Ниве», «Расстройство компенсации» было датировано 1887 годом (т. 21, СПб., 1911, стр. 137—145, с подзаголовком: «Неоконченный рассказ»). Эта дата возникла, видимо, случайно: перед «Расстройством компенсации» в томе было помещено 14 рассказов 1887 года, опубликованных при жизни Чехова, эта же дата была отнесена к «Расстройству компенсации» — последнему рассказу перед разделом «Наброски» (куда вошли: «У Зелениных», «Калека» и «Волк»). Родные Чехова вряд ли могли быть инициаторами этой датировки (в «Журнале для всех» и в посмертном томе марксовского издания дата работы Чехова над «Расстройством компенсации» сообщена не была).

По почерку автограф можно отнести ко второй половине 1890-х годов. На автографе много редакторских помет, сделанных чернилами (в частности раскрыты все авторские сокращения). Получив его после публикации, М. П. Чехова написала карандашом на последней странице: «Рукопись, побывавшая в редакции „Журнала для всех“. Как безбожно!».

Чехов возвращался к рукописи неоднократно: он вносил всё новые и новые замены, зачеркивал фразы и абзацы. Есть его карандашные пометы: пронумерованы страницы, на первой странице зачеркнуто слово «насытивать».

Первая глава сначала кончалась фразой: «Как же быть?» (стр. 228, строка 16). Соединив эпизод посещения Яншиным станции с предыдущим, Чехов отделил «яншинскую» часть рассказа от следующей, в которой повествование начато с точки зрения сестры Яншина: «Вера Андреевна видела в окно...» (стр. 230).

Михаилу Ильичу была дана сначала фамилия Новлянский, затем Бахович, и лишь потом Чехов остановился на Бондареве. Имя жены Яншина Леночка по всей рукописи исправлено из первоначального: Липочка. Жизнерадостный дачник со странной фамилией: Битный-Күшле-Сувремович — имел сначала имя и отчество: Казтан Иеронимович.

Были устранены два эпизодических лица: из главы I — «дама с сердитым лицом», которая сидела около книжного шкафа на станции, и из главы II — горничная, вместе с которой Вера Андреевна вышла из зала в столовую, чтобы распорядиться насчет чая.

Обычай и «традиции» в доме уездного предводителя Бондарева, тяготившие Яншина, были охарактеризованы резче («Тут в самом воздухе висит цензура») и подробнее (см. варианты).

Подробнее говорилось также о самом Яншине и его переживаниях, о его страстном желании уехать куда-нибудь из этого мрачного дома.

Долго не давалось Чехову образное решение мысли о путанице вопросов, мучивших Яншина. До уподобления их «невывлазному болоту» («стоило только решить какой-нибудь один, чтобы от этого еще пуще запутались другие») Чехов сравнивал их с грудой мелких камней (см. стр. 322, строки 32—41).

В отрывке о Битном-Күшле-Сувремовиче был оттенок, характеризующий его бравирование оппозиционным настроением (см. стр. 325—326, строки 40—3).

Выражение чувства в любовном письме из Флоренции звучало с еще большей экспрессией (см. стр. 328—329). Письмо заканчивалось словами: «Стоп. Зовут в table d'hôte обедать. Je хочу!»

В Первой записной книжке (1891—1904) есть заметка, в которой легко угадать первоначальный замысел рассказа: «В письме: „русский за границей если не шпион, то дурак“. Сосед уезжает во Флоренцию, чтобы излечиться от любви, но на расстоянии влюбляется еще сильнее» (*Зап. кн. I*, стр. 81). Эту карандашную запись Чехов обвел чернилами и, как все неиспользованные литературные записи, перенес в Четвертую записную книжку — для произведений, над которыми собирался работать в будущем. По соседству с другими заметками Первой записной книжки эти строки относятся к середине декабря 1897 г. Чехов жил тогда в Ницце.

В заметке, сделанной в записной книжке, как и в черновом автографе, влюбленный герой уезжает во Флоренцию; как и там, речь идет о письме, присланном, очевидно, из-за границы.

Возлюбленным Веры Андреевны вполне мог быть сосед (из текста чернового автографа видно, что он знаком с братом и мужем Веры Андреевны, что она встречалась с ним здесь же в еловых аллеях возле дома). В заметке, как и в черновом автографе, герой «на расстоянии влюбляется еще сильнее». Однако, работая над рассказом, Чехов отступил от первоначального замысла: герой уезжает в Италию вовсе не для того, «чтобы излечиться от любви», а наоборот — чтобы встретиться там с Верой Андреевной на свободе и не таить своей любви. Письмо его — целиком любовного содержания; мотива «русские за границей» в нем нет. Намерение развернуть этот мотив (в «Расстройстве компенсации» или в другом произведении, неизвестно) подтверждается другими заметками, относящимися к тому же пребыванию Чехова в Ницце. Например: «Русские за границей: мужчины любят Россию страстно, женщины же скоро забывают о ней и не любят ее» (*Зап. кн. I*, стр. 82, конец декабря 1897 г. или начало 1898 г.). Или: «Каждый русский в Биаррице жалуется, что здесь много русских» (там же, стр. 77, сентябрь 1897 г.).

Записи, относящиеся к «Расстройству компенсации», сохранились также среди заметок Чехова на отдельных листках (*ЦГАЛИ*). Они расположены на наружных страницах двойной почтовой бумаги.

На первой странице: «Вера: Я не уважаю тебя за то, что ты так странно женился, за то, что из тебя ничего не вышло... Оттого я и имею тайны от тебя.

Беда в том, что самые простые вопросы мы стараемся решать хитро, а потому и делаем их необыкновенно сложными. Нужно искать простое решение.

Я счастлив, доволен, сестра, но если бы я родился во второй раз и меня бы спросили: хочешь жениться? Я ответил бы: нет. Хочешь иметь деньги? Нет...

Нет того поведельника, который не уступил бы своего места вторнику.

Леночке в романах нравились герцоги и графы, но мелкоты она не любила. Любила главы, где любовь, но [не терпела чувственных описаний] чистая, идеальная, а не чувственная. Описаний природы не любила. Разговоры предпочитала описаниям. Читая начало, нетерпеливо заглядывала в конец. Не знала и не помнила имен авторов. Писала карандашом на полях: дивно! прелесть! или: и поделом!»

На другой странице — только две записи: «Леночка пела, не открывая рта.

Post coitum: — Мы, Бондаревы, всегда отличались крепким здоровьем...»

Судя по фамилии Бондарев и по имени Леночка, эти записи сделаны уже после того, как Чехов не только написал, но и исправил текст рукописи, где «Бондарев» была третьим вариантом фамилии Михаила Ильича, а «Леночка» — окончательным вариантом имени жены Яншина.

За исключением фразы о поведельнике и вторнике, нейтральной по отношению к содержанию написанных Чеховым страниц (хотя и она могла бы подойти к Михаилу Ильичу, с его любовью к нравоучительным сентенциям — ср.: «Что-нибудь одно: будь поном или гусаром!» или «нет тяжелее и святее труда, как труд

сиделки»), весь этот текст связан с содержанием черного автографа. Сестру Яншина зовут Вера, она замужем за Бондаревым. Самого Яншина мучают семейные неурядицы. Его жена Леночка любит чередованные романы. Размышления Яншина о вопросах, которые, запутавшись, «походили на невылазное болото», соотносятся с записью о самых простых вопросах, которые делаются «необдуманно сложными». Любовная связь Веры Андреевны с автором письма из Флоренции — это одна из «тайн», которую она скрывает от брата. Работая над «Тремя сестрами» в 1900 г., Чехов воспользовался обстоятельствами, лежащими в основе обоих упреков сестры брату (что он «так странно женился» и что из него «ничего не вышло»).

Последняя запись на листке («Post coitum: — Мы, Бондаревы, всегда отличались крепким здоровьем...») характеризует грубую, примитивную натуру мужа Веры Андреевны (в *ИССИ*, т. XII, стр. 310 фамилия прочтена неверно: Болдыревы).

Итак, замысел «Расстройства компенсации» относится к концу 1897 г. Жизненные впечатления, отраженные в начале рассказа, подтверждают эту дату, хотя в ней есть отзвуки и более ранних лет. Дело происходит в России, в усадьбе, напоминающей отчасти Богимово. Упоминаются большой зал с колоннами, в котором по ночам слышно эхо шагов, длинная и темная еловая аллея, потом спуск к реке, близость станции, уездный городок и монастырь. Некоторые из этих деталей повторены в «Трех сестрах» (в действии I — гостиная с колоннами, в действии IV — «Длинная еловая аллея, в конце которой видна река. На той стороне реки — лес»).

Дом самого Яншина, по которому он тоскует в усадьбе зятя, находится в деревне — в Новоселках (так называлось и село близ Мелихова; в Новоселках в августе 1897 г. было окончено строительство школы, затеянное Чеховым).

С Италией, в которой очутился возлюбленный героини, Чехов был знаком по предыдущим заграничным путешествиям — в 1891 и 1894 годах.

В черновом автографе и в первой записи к рассказу есть детали, относящиеся к жизни Чехова в русском пансионе в Ницце. Упоминание шпиона в этой первой записи, вероятно, обязано своим происхождением действительной встрече, которая также нашла отражение в записной книжке, в более ранней записи: «7 окт. (1897 г.) Признания шпиона» (*Зап. кн. I*, стр. 77; эту запись Чехов зачеркнул и перенес в дневник — см. т. XVII Сочинений).

О встрече со шпионом рассказывает в своих воспоминаниях Вас. П. Немирович-Данченко, приехавший в Ниццу в октябре 1897 г. (Вас. Немирович-Данченко. Памятка об А. П. Чехове. — Чеховский юбилейный сборник. М., 1910, стр. 402). Жалкий вид этого шпиона, приехавшего из Варшавы и откровенно признавшегося в своей профессии («Я-с... Извините... Шпион-с!»), внушил Чехову творческий интерес, и, по словам Немировича-Данченко, он говорил, что хочет его «во весь рост написать». Неизвестно, воспользовался бы Чехов в дальнейшем этим образом, но, вероятно, заметка в записной книжке сделана после разговора с мемуаристом. Об этом шпионе Чехов писал 17 октября 1897 г. В. М. Соболевскому (см. также: З. С. Папер-

п и й. «Ах какая масса сюжетов...» (Записные книжки Чехова). — «Литературная газета», 1974, № 47, 20 ноября).

В первой записи к рассказу, в словах: «если не шпион, то дурак», косвенно отразилось раздражение Чехова пустыми разговорами за столом в русском пансионе. См. письма к А. И. Суворинной от 10 ноября 1897 г. и к М. П. Чеховой от 29 декабря 1897 г. По воспоминаниям М. М. Ковалевского, Чехов не всегда спускался к столу и любил уединяться во время писания рассказов (Максим К о в а л е в с к и й. Об А. П. Чехове. — «Биржевые ведомости», 1915, № 15185, 2 ноября). Ср.: в первоначальном варианте конец письма из Флоренции: «Стоп. Зовут в table d'hôte обедать. Не хочу!»

В воспоминаниях Вас. Немировича-Данченко приводится также рассказ Чехова о впечатлении, какое на него производил вид тяжелобольных на французском курорте под Ниццей — в Ментоне. «Сидят на берегу в креслах чахоточные и плюются. А море, здоровое, сильное, смелое, спокойно катится к ним... У кресел с больными жены и мужья... Хорошо бы написать, как они ненавидят больных, как рабы, прикованные к галере... И только природе нет дела ни до тех, ни до других» (стр. 401). В «Расстройстве компенсации» героине, с равнодушным видом стоявшей возле безнадежно больного мужа, предстоит везти его за границу, но мысли и чувства ее заняты возлюбленным. Правда, о ее ненависти к мужу в начале рассказа нет ни слова, зато Чехов подробно останавливается на отношении Яншина к зятю: «...он вдруг почувствовал ненависть, тяжелую, острую ненависть к пухлому, бритому, актерскому лицу больного...» и т. д. (см. стр. 226). Это чувство в «Расстройстве компенсации»¹ мотивировано: Бондарев — тяжелый, несимпатичный человек, испортивший жизнь сестры Яншина («то кажется, что сестра Вера несчастна», — одно из многочисленных обстоятельств, которые не давали Яншину покоя). И теперь, помогая сестре ухаживать за больным, страдающим от его капризов и грубости к окружающим, Яншин еле сдерживал свою ненависть. Но, покинув больного, он зашагал по еловой аллее — и почувствовал умиротворение.

Психологическое наблюдение над чувствами родных, которым приходится долго ухаживать за безнадежно больными, — на ином социальном материале и с иной мотивировкой — есть и в «Мужиках», напечатанных еще в апреле 1897 г. (см. т. IX Сочинений, стр. 294; ср. *Зап. кн. I*, стр. 60).

Ситуация: молодая, цветущая женщина (в одном из вариантов автографа Яншин смотрел на стройную фигуру «своей замечательно красивой сестры») у кресла с больным, брызжащим мужем, к которому она равнодушна, — была использована Чеховым еще в действии II пьесы «Леший» (1889) и повторена в «Дяде Ване» (1896).

В «Расстройстве компенсации» повествование начинается с описания всеобщей, как и в ряде других произведений сере-

¹ Название рассказа связано с болезнью Михаила Ильича: расстройство компенсации, или декомпенсация (медич.) — расстройство деятельности какого-либо органа или целого организма в результате нарушения «компенсации» (лат.: уравновешение).

дины 1890-х — начала 1900-х годов («Три года», «Убийство», «Архиерей»; в «Невесте» всенощная «только что кончилась»).

Если содержание автографа позволяет отнести замысел «Расстройства компенсации» к концу 1897 г., то особенности почерка свидетельствуют о том, что Чехов вскоре приступил к написанию рассказа. Скорее всего это было не за границей, а по возвращении в Россию. Творческое настроение, в котором Чехов был в октябре-ноябре 1897 г. (он успел написать три рассказа за месяц с небольшим: «В родном углу», «Печенег», «На подводе»), уже во второй половине ноября сменяется недовольством собой и жалобами на то, что работа «на чужой стороне» не клеится (см. письма к М. П. Чеховой от 25 ноября и 14 декабря и к В. А. Гольцеву и Ф. Д. Батюшкову от 15 декабря 1897 г.). Нужно было исполнить обещания, данные «Русской мысли» и международному журналу «Cosmopolis», да и замыслы других, неначатых произведений хотелось скорее осуществить (см. письмо к М. П. Чеховой от 14 декабря 1897 г.). Была попытка вернуться к «начатой, но оставленной повести» — начатой еще у истоков создания повести «Три года» (письмо к М. П. Чеховой, 17 декабря 1897 г.). Но и это намерение не было осуществлено. Прожив во Франции до начала мая 1898 г., Чехов успел закончить еще только один рассказ — «У знакомых». Действие этого рассказа, писавшегося для «Cosmopolis»'а, происходит в России. Между тем редактор русского отдела журнала Ф. Д. Батюшков ожидал от Чехова изображения иностранной жизни (см. его просьбу в письме от 3 ноября 1897 г. и ответ Чехова на стр. 358 наст. тома).

Произведения, в которых Чехов использовал впечатления, например, от поездки в Италию и Австрию («Рассказ неизвестного человека» и «Ариадна»), были написаны по возвращении в Россию (см. примечания к этим произведениям в томах VIII и IX Сочинений). Очевидно и к «Расстройству компенсации» Чехов приступил только в России, когда к нему вернулось творческое настроение и его «машинка» опять заработала, как он выразился в письме к Гольцеву 6 июня 1898 г.

Сообщая Суворину о смерти отца, выбившей его из колеи, Чехов писал 17 октября 1898 г.: «В Ялте тихая жизнь, хочется писать роман, и я, войдя в свое обычное настроение, засяду и напишу листов десять». Может быть, об этом «романе» Чехов рассказывал Гольцеву (в письме от 15 сентября 1899 г. было обещание прислать к апрелю 1900 г. «маленький роман в 4 листа»).

Если принять во внимание широкий разворот событий, с двумя сюжетными линиями, выжившими уже в начале текста «Расстройства компенсации» (Яншин — Бондарев и Вера Андреевна — ее возлюбленный), то определение «роман», да еще в обычном чеховском понимании, может быть вполне приложимо к этому замыслу. Романом Чехов называл поначалу и «Три года», и «Моя жизнь», и даже «Попрыгунья» — «маленький, чувствительный роман для семейного чтения» (письмо к В. А. Тихонову от 30 ноября 1894 г.).

Другое начатое повествовательное произведение этих лет — «Калека» не может быть отождествлено с этим «романом» уже потому, что оно с самого начала предназначалось не для «Рус-

екой мысли», а для «Книжечек Недели» (см. стр. 232—234 и 483 в наст. томе).

По возвращении в Россию Чехов сделал несколько записей, связанных с замыслом «Расстройства компенсации». Приблизительно к середине 1898 г. относится запись, которую можно было бы рассматривать как возможный вариант завязки любовной интриги, сложившейся в начатом рассказе: «Потапов привязывается к брату, и это служит началом любви к сестре» (*Зап. кн. I*, стр. 90). Эта ситуация вполне укладывается в обстоятельства, отраженные в черновом автографе рассказа и в предварительной заметке к нему (сосед мог сначала сдружиться с братом, который был у сестры). Но далее в этой записи следует поворот событий, не имеющий связи ни с одним из сохранившихся текстов, относящихся к «Расстройству компенсации»: «Развод с женой. Сын потом присылает ему планы: помещение для кроликов».

Позднее в записную книжку внесены лишь две записи, которые связаны с мотивами, имеющими отношение к замыслу этого произведения: 1) «Девушка постоянно: дивно!» (*Зап. кн. I*, стр. 95 — эту запись, относящуюся к 1899 г., Чехов зачеркнул; ср. в *Записках на отдельных листках*) о Леночке: «Писала карандашом на полях: дивно! прелесть! или: и поделом!» — *ЦГАЛИ*); 2) «У Н. страсть к шпионству с детства до глубокой старости» (*Зап. кн. I*, стр. 134 — относится к 1901 г.).

Стр. 231. *Monte Pincio* (итал.: холм Пинчо) — холм в центре Рима.

КАЛЕКА

Впервые — «Русская мысль», 1905, № 1, стр. 152—153. Печатается по черновому автографу (*ГБЛ*).

Автограф занимает одну страницу двойного листа писчей бумаги большого формата. Почти весь текст написан необычным для Чехова толстым пером — с нажимом (типа «рондо»). В трех случаях различается второй слой рукописи благодаря исправлениям, сделанным тонким пером. Почерк — последних лет жизни Чехова. В тексте много исправлений за исключением первого абзаца и следующей за ним фразы, написанных без помарок.

Сохранились предварительные наброски к повести (*ЦГАЛИ*) (см. ниже).

В письмах Чехова есть упоминание темы, совпадающей с темой, означенной в заглавии автографа. Прочитав рукопись рассказа Е. М. Шавровой, в которой большое место занимало изображение больных и болезней, Чехов писал ей 28 февраля 1895 г.: «Лично для себя я держусь такого правила: изображать больных лишь постольку, поскольку они являются характерами или поскольку они картины (. . .) Предоставьте нам, врачам, изображать калек и черных монахов».

К этому времени в творческом опыте Чехова был, не считая душевнобольных в «Палате № 6» и «Черном монахе», один случай изображения «калеки» в собственном, физическом смысле: в не-

опубликованном рассказе «Письмо», относящемся к концу 1880-х— началу 1890-х годов, речь идет о больном человеке, который лишен способности двигаться (врач настаивает на операции, а он не соглашается). «...Не забывайте сердечно любящего и искренно преданного Вам калеску Игнатия Баштанова», — так заканчивается письмо героя. Хотел ли Чехов вернуться в рассказе «Калека» к ситуации этого отрывка (связанного с замыслом романа, над которым он работал в 1887—1889 гг.), неизвестно. Возвращение к мотивам болезни и обреченности больного в последние годы жизни Чехова не единично (ср.: «Архиереи», «Невеста», «Расстройство компенсации»). Любопытно, что во время серьезного обострения болезни в марте 1897 г. Чехов одно из писем к Шавровой подписал, подобно герою «Письма»: «Ваш калека А. Чехов» (26 марта 1897 г.); «калекой» назвал он себя и в письме к Н. М. Литтваревой от 1 мая 1897 г.

Одно обстоятельство в начатом сюжете сходно с событиями, описанными в рассказе «У знакомых» (1898): герой едет за город, где его ожидают разговоры о девушке, которую все считают его невестой (см.: З. С. П а п е р н ы й. Записные книжки Чехова. М., 1976, стр. 328). Эта ситуация повторена также в «Вишневом саде» в варианте, еще более близком к рассказу «У знакомых»: все считают, что Лопахин хочет жениться на Варе, а он так и не делает ей предложения. Возможно, что, собираясь писать повесть «Калека», Чехов плохо помнил рассказ «У знакомых» (см. стр. 361) и невольно повторил схему его начала.

Среди сохранившихся записей Чехова на отдельных листках есть следующая:

«Калека
Оля Прозорова
Ганов» (ТМЧ).

Соседство имени героини «Трех сестер» с названием начатого произведения не случайно. Предварительные записи к пьесе, над которой Чехов работал в 1900 году, также перемежаются с записями к «Калек» (ЦГАЛИ; ПССП, т. XII, стр. 308—309, (Записи на отдельных листках), л. 13, записи 48—64). Все это свидетельствует о том, что замысел «Калеки» складывался в процессе работы над «Тремя сестрами».

Большая часть записей, хранящихся в ЦГАЛИ, сделана пером «с нажимом», как и черновой автограф «Калеки», и, как там, среди записей есть сделанные тонким пером («быть праздным значит поневоле прислушиваться ∞ обречен на большую, одинокую, праздную жизнь» — записи 55—62).

В этих записях упоминаются дети сестры: «У сестры каждый год рождались дети» (ср. в «Калек», — стр. 232, строки 10, 15—18). Названо имя одного из сыновей сестры — Глеб. Есть фраза с упоминанием мужа сестры героя — Сергея Николаевича. Намечен отсутствующий в начатом тексте мотив «калеки», пострадавшего от невежества врача и обреченного на одиночество и вынужденную праздность.

Мотив оторванности героя от жизни, который вполне был бы естествен в повести о «калеке», звучит особенно сильно в записи: «Л. училась, все учились — он же, остановившийся в своем развитии, не понимал ни ее, ни молодежь». Сходное переживание

схвачено в сцене на катке, где герою хотелось догнать Л., «и казалось, что он это хочет догнать жизнь, ту самую, которой уже не вернешь, и не догонишь, и не поймаешь, как не поймаешь своей тени» (см. т. XVII Сочинений).

Некоторые из этих записей родились в процессе обдумывания «Трех сестер». Врачебная ошибка как источник человеческого несчастья («пострадал от невежества доктора») — этот мотив близок переживаниям Чебутыкина (ср. его слова в действии III: «В прошлую среду лечил на Засыпи женщину — умерла, и я виноват, что она умерла»).

О работе Чехова над повестью «Калека» в 1900 г. сохранились свидетельства современников. В конце июня 1900 г. Б. А. Лазаревский был в Ялте. 11 июля 1900 г. он сделал запись в дневнике — о дне, проведенном с Чеховым, 30 июня: «В кабинете мне бросилась в глаза начатая и, вероятно, оконченная, потому что на ней уже было заглавие, рукопись — „Калека“» (Б. А. Л а з а р е в с к и й. Дневник 1900—1901 гг. — ГБЛ; «Литературное наследство», т. 87. М., 1977, стр. 329). Единственная страница автографа была заполнена почти полностью и могла произвести впечатление первой страницы рукописи.

В конце июля (по 2 августа) в Ялте был М. О. Меньшиков, тогда еще редактор газеты «Неделя» и журнала «Книжки Неделю». 12 августа он напомнил Чехову про его обещание — прислать рассказ для «Книжек Неделю»: «Издатели наши просили передать Вам глубокую благодарность за Ваш прекрасный рассказ, которому единственно чего недостает — быть присланным для печати. В самом деле, что же с „Калекой“? Жду — не дожудусь, и уже начинаю тревожиться» (ГБЛ). По-видимому, Чехов не только сообщил ему в Ялте название будущей вещи, но и рассказал примерное ее содержание.

В это время Чехов был занят корректурой третьего тома марковского издания. Сосредоточиться на новых художественных замыслах не удавалось также по нездоровью и из-за многочисленных гостей (см., например, письма к О. Л. Книппер и М. П. Чеховой за август 1900 г.). С трудом подвигалась работа над пьесой «Три сестры» для Художественного театра, и вовсе не двигались рассказы, обещанные «Журналу для всех», «Жизни» и «Ниве». Осенью 1900 г. Чехов обещал также написать статью об И. И. Левитане для журнала «Мир искусства» и для отдельного издания книги о Левитане (см.: *Из архива Чехова*, стр. 209), но так и не приступил к ней.

Не дождавшись «Калеки», Меньшиков телеграфировал Чехову 1 сентября: «Очень тревожимся нет рассказа» (ГБЛ). «Повремените немножко», — просил в ответной телеграмме Чехов (2 сентября). 13 сентября Меньшиков вновь просил «написать хоть кратко, в каком положении рассказ», и выразил готовность приехать из Петербурга для переговоров в Москву «на полчаса», если Чехов будет там. Ссылаясь на нездоровье, Чехов все же обещал: «Вам пришлю, тшцусь прислать повесть и пришлю к ноябрю. Не сердитесь, ради создателя» (17 сентября). Приняв это обещание за весть о продолжении работы, Меньшиков радовался: «Как это хорошо, что рассказ пишется» (22 сентября).

Распространился слух, что повесть уже написана. «Слышу, что Вы дали повесть в „Неделю“, — писал Чехову с обидой 8 сен-

ября 1900 г. В. С. Миролюбов (*ГБЛ*), который получил от него обещание дать рассказ в «Журнал для всех» еще осенью 1899 г.

В начале октября Меньшиков был в Ялте, но не успел поговорить с Чеховым — «расспросить о судьбе обещанной „Неделе“ повести», о чем писал ему 9 октября 1900 г. Ответил ли Чехов на это письмо, неизвестно.

Намерение Меньшикова опубликовать чеховскую повесть в «Книжках Недели» перед подпиской на 1901 год не осуществилось. А весной 1901 г. Меньшиков сообщил Чехову о финансовом крахе газеты «Неделя» и о прекращении издания «Книжек Недели» (20 марта и 29 апреля 1901 г. — *ГБЛ*).

За время работы над «Калеккой» Чехову удалось, судя по автографу, добавить к начатому произведению лишь одну фразу. Тем не менее тот факт, что он сохранил автограф и не зачеркнул своих предварительных заметок к повести, говорит о его намерении возвратиться к повести или использовать начатое в другом произведении.

Отослав свой последний рассказ («Невеста») в редакцию, Чехов писал 1 марта 1903 г. Книшпер: «...другой рассказ начат, третий тоже начат...». Осенью того же года он сообщал: «Завтра сажусь писать рассказ...» (к Книшпер, 14 октября 1903 г.). Какой из замыслов он хотел осуществить, неизвестно, но скорее всего это были уже начатые произведения.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ИВАНА ИВАНЫЧА

(Мысли и заметки)

Впервые — Чехов, 2, т. XXII (1911), стр. 97—98, 123—125, 145 и 112 — тексты рассказов, исправленные Чеховым для данного замысла: «Письмо к репортеру», «О женщинах» и «Донесение», а также один афоризм из «Плодов долгих размышлений» («Можно сказать: „я друг этого дома“...»); «Неделя», 1963, № 14, 31 марта — 6 апреля (с сокращениями).

Печатается по исправленному Чеховым тексту журнальных вырезок (*ЦГАЛИ*).

«Мысли и заметки» составлены Чеховым из рассказов и мелочей (полностью и в отрывках), которые были напечатаны в «Осколках» в 1883—1886 гг. за подписью «Человек без селезенки». В подборке использовано 17 произведений: «О женщинах», 1886; «Майонез», 1883; «Краткая анатомия человека», 1883; «Жизнь прекрасна (Покушающимся на самоубийство)», 1885; «Грач», 1886; «Репка (Перевод с детского)», 1883; «Статистика», 1886; «Новейший письмовник», 1884; «О бренности (Масленичная тема для проповеди)», 1886; «Плоды долгих размышлений», 1884; «Сказка (Посвящ. балбесу, хвастающему своим сотрудничеством в газетах)», 1886; «Донесение», 1885; «Предписание (Из заходистой жизни)», 1884; «Затмение Луны (Из провинциальной жизни)», 1884; «Письмо к репортеру», 1884.

Вырезки наклеены на одной стороне половинных листов писчей бумаги большого формата. Страницы пронумерованы Чеховым: 101—111. Правка не завершена. Форма «заметок» выдержана в подборке из тринадцати рассказов и мелочей (заголовки сняты);

1. «Женщина с самого сотворения мира ∞ по мордасам». — «О женщинах» («Осколки», 1886, № 17, 26 апреля). См. том V Сочинений.

Рассказ использован полностью. Исправления сделаны в соответствии с характером автора записной книжки — степеного, самоуверенного обывателя, воспитанного на чиновочитании. Одно из преимуществ мужчины перед женщиной развернуто Иваном Ивановичем в несколько ступеней «научного роста» мужчины: «Мужчины, даже перазвитые и недалекие, изучают науки, по окончании курса наук получают чин и некоторые из них занимают кафедры...» Вместо упоминания чиншевиков (одна из тем, на которую с женщиной нельзя «потолковать») введена другая тема, более близкая кругозору Ивана Ивановича: «о движении по службе». Уменьшено число сатирических выпадов против мужчин, снято упоминание Квазимодо.

2. «Астрономы сильно обрадовались ∞ не свишня ли он после этого?» — «Майонез» («Осколки», 1883, № 38, 17 сентября). См. том II Сочинений.

Использованы первый и третий отрывки из «Майонеза»; не помещены — второй и четвертый, посвященные теме взятки. Поправок в тексте нет.

3. «Одного семинариста ∞ бегущего с поля брани». — «Краткая анатомия человека» («Осколки», 1883, № 34, 20 августа). См. том II Сочинений.

Исключены характеристики скелета, лица (с выпадом против духовенства, называющего лицо «физиогномией» и «лицем»), глаз (названных «полицеймейстерами головы»), носа, ушей (как органов для подслушивания чужих разговоров), рук («ловят, берут, ведут, сажают, бьют...»), талии (с фривольными подробностями, которые были бы также не свойственны «солидному» автору «Записной книжки»). В пояснениях к языку цитата из Цицерона: «*hostis hominum et amicus diaboli feminarumque*»¹ заменена: «Язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли; но и мыслительная способность дана для того, чтобы уметь прятать свой язык». Из пояснений к сердцу исключено: «У женщин — постоянный двор: желудочки заняты военными, предсердия — штатскими, верхушка — мужем». В аннотации к ногам исключено упоминание должников.

4. «Жизнь пренеприятная штука ∞ из сплошного ликования». — «Жизнь прекрасна! (Покушающимся на самоубийство)» («Осколки», 1885, № 17, 27 апреля). См. том III Сочинений.

В тексте: «Радуйся, что в данную минуту ∞ с Турбой» сняты специфические для журнальной среды слова. (В. П. Турба — издатель журнала «Иллюстрированный мир».) Исключена фраза с выпадом против «Гражданина».

5. «Грачи прилетели ∞ И улетел». — «Грач» («Осколки», 1886, № 13, 29 марта). См. том V Сочинений.

Рассказ значительно сокращен. Сняты слова рассказчика, из которых видно, что он журналист. Исключена назидательная фраза грача («Ум дается, г. человек, не многолетием, а воспитанием и образованием») и подтверждающие это назидание слова

¹ Враг людей и друг дьявола и женщин (лат.).

о Китае, который «остался таким же балбесом, каким был и 1000 лет тому назад», а также вся его финальная реплика по поводу того, что жизнь человеческая хуже и порочнее жизни грачей. «А плевать я хотел на ваш миллион!» — так реагирует теперь грач на впечатлительные цифры, которые рассказчик приводит ему в доказательство того, что грач по глупости упустил богатство. В свете заметок Ивана Ивановича презрение к богатству и в самом деле «глупо».

6. «Жили-были себе ∞ И Серж стал статским советником». — «Репка. (Перевод с детского)» («Осколки», 1883, № 8, 19 февраля). См. том II Сочинений.

В тексте рассказа исправлений нет.

7. «Некий философ сказал ∞ Канта или Спинозу!» — «Статистика» («Осколки», 1886, № 42, 18 октября). См. том V Сочинений.

В подборку включен первый абзац рассказа — как вступление к тексту «Новейшего письмовника». При этом сделаны сокращения (исключены слова о прибавке жалованья почтальонам, свят эпитет в словах о «скабрезном описании кутежа» и исключены просьбы: «не попадаться, иначе я тебе в морду дам!» и поздравить «Анюточку — с днем рожденья!»).

8. «Что такое письмо? ∞ Такой-то». — «Новейший письмовник» («Осколки», 1884, № 48, 1 декабря). См. том III Сочинений.

Текст «Новейшего письмовника» следует непосредственно за отрывком из «Статистики», без пробела между ними — как продолжение рассуждений Ивана Ивановича. Возможно, имя Иван Иванович восходит к правоучениям «Новейшего письмовника»: «...в письмах (. . .) к старшим надлежит (. . .) руководствоваться табелью о рангах, предпосылая имени адресата его полный титул, например, „Ваше превосходительство, отец и благодетель, Иван Иванович! Просвещенное внимание Ваше и проч. ...“»

Первый абзац «Новейшего письмовника» помещен без изменений, следующая фраза — о литераторах, артистах и художниках — опущена. В образцы писем внесены исправления. «Вредное и пагубное» письмо заменено на «Непочтительное», а последние два абзаца («Ругательное» и «Письмо к литератору») остались неиспользованными. В письме «К начальнику» из доноса на Пересекина исключены слова о людях, которые «по легкомыслию не могут оценить благо» начальника. «Вашество» везде изменено на «Ваше превосходительство»

«Непочтительно» письмо стало резче. Обращение «Вашество!» здесь изменено на «Милостивый государь!». О своей жене автор письма говорит прямо: «которая обманывала меня вместе с Вами». Вместо скромной просьбы о переводе на другую службу вставлено: «Служить у вас я больше не желаю и буду очень рад, если больше не увижу вашей рожки, весьма противной. Жену мою можете взять себе и не возвращать».

9. «Тема для масленичной проповеди ∞ апоплексический удар». — «О брэнности (Масленичная тема для проповеди)» («Осколки», 1886, № 8, 22 февраля). См. том IV Сочинений.

Сделано одно добавление в начале текста (перифразировка прежнего заглавия: «Тема для масленичной проповеди. О брэнности всего земного»).

10. «Старшие — те же мертвецы ∞ нужно скрывать их ка-

чества». — «Плоды долгих размышлений» («Осколки», 1884, № 15, 14 апреля). См. том II Сочинений.

Из восьми афоризмов использовано семь (опущен последний, с выпадом против «Иллюстрированного мира»), снято упоминание адвоката А. В. Лохвицкого в афоризме о прочности и постоянстве законов природы. В афоризме о качестве предметов вместо: «нужно скрывать их качества» стало: «иногда бывает нужно скрывать их качества».

1. «По мнению начитанных гувернанток ∞ не соглашаться с этим». — «Несколько мыслей о душе» («Осколки», 1884, № 15, 14 апреля). См. том II Сочинений.

Использован первый абзац. Исправлений нет.

12. «Один умный ∞ не кичится своей силой». — «Самообольщение (Сказка)» («Осколки», 1884, № 20, 19 мая). См. том III Сочинений.

В реплике участкового пристава, хваставшегося своей силой, зачеркнуто: «Могу и Карфаген разрушить и гордые узлы мечом рассекаю. Вот какой я!» Из восхвалений, расточаемых человеческому уму стариком брандмейстером, исключен мотив взятки («и с мертвого взятку взять»). Сделано также несколько стилистических исправлений.

13. «Некая муха ∞ газетный лист». — «Сказка (Посвящ. балбесу, хвастающему своим сотрудничеством в газетах)» («Осколки», 1886, № 18, 3 мая). См. том V Сочинений.

Исправлений в тексте нет.

Остальные четыре вырезки представляют собой произведения, написанные в форме канцелярской бумаги: «(Донесение)» («Осколки», 1885, № 13, 30 марта), «Предписание (Из захолустной жизни)» («Осколки», 1884, № 52, 29 декабря), «Затмение Луны (Из провинциальной жизни)» («Осколки», 1884, № 39, 29 сентября) или частного письма: «Письмо к репортеру» («Осколки», 1884, № 23, 9 июня). См. т. III Сочинений. Каждое из них подписано именем лица, составившего бумагу или письмо. В трех последних вырезках сохранены заголовки. В «Предписании» снят подзаголовок. Тексты «(Донесения)» и «Письма к репортеру» выправлены. Рассказ «Затмение Луны» совсем не правился: текст перечеркнут карандашом; очевидно, Чехов хотел исключить его из подборки.

Большой интервал между последним рассказом основного «цикла» — «Сказка» — и «(Донесением)», по-видимому, свидетельствует о том, что Чехов еще не решил, в какой форме включить в подборку последние четыре рассказа. Не исключено, что он собирался создать из них новый «цикл».

Мысль о переиздании юмористических рассказов возникла у Чехова в конце 1890-х годов и предшествовала решению выпустить в свет собрание сочинений. Еще до конкретных переговоров с Сувориным о собрании сочинений Чехов писал ему: «Я собираю свои юмористические мелочи, хочу издать толстенькую книжку под названием „Мелочь“» (12 июня 1898 г.). «Я вырезал из „Осколков“ свои мелкие рассказы и продал их Сытину на десять лет», — писал Чехов Л. А. Авиловой в конце июля (между 23 и 27). Возможно, что именно для этой книжки и была

начата работа над замыслом: «Из записной книжки Ивана Иваныча».

Но еще через месяц Чехов потерял интерес к изданию сборника юмористических рассказов. 24 августа 1898 г. он писал Суворину: «Сытиш покупал мои юморист(ические) рассказы не за три, а за пять тысяч. Соблазн был велик, но я все-таки не решился продать; душа моя не лежит к книжке с новым названием. Выпускать каждый год книжки и давать им всё новые названия — это так надоело и так беспорядочно (. . .) рано или поздно придется издавать рассказы томиком и называть их просто так: первый, второй, третий... т. е., другими словами, издавать собрание сочинений. Это вывело бы меня из затруднения, это советует мне Толстой. Юморист(ические) рассказы, которые я теперь собрал, составили бы первый том». Так замысел сборника «Мелочь» привел Чехова к необходимости издать собрание сочинений.

Для первого тома предполагавшегося собрания сочинений Чехов послал рассказы Суворину в октябре 1898 г., а в январе 1899 г. уже читал «первую корректуру» (письмо к М. П. Чеховой от 9 января 1899 г.). Немного позднее, уже по договоренности с Марксом, посылая ему «около двухсот рассказов новых, т. е. еще не помещенных в сборниках», он «почти столько же» отбросил «за негодностью» (письмо к Суворину, 16 мая 1899 г.). Первоначальное намерение Чехова издать максимально полное собрание своих ранних рассказов не было осуществлено.

Ввиду того, что подборка «Из записной книжки Ивана Иваныча» осталась неоконченной, трудно предположить, чтобы она была предназначена для набранного уже первого тома несостоявшегося суворинского издания. Авторская пагинация на вырезках, которые должны были составить этот «цикл» (стр. 101—111), свидетельствует скорее всего о том, что это была часть вырезок из «Осколков», которые он делал для сборника «Мелочь».

После смерти Чехова все его неопубликованные произведения должны были перейти в собственность издательства Маркса. При подготовке дополнительных томов второго марксовского издания (т. XVI—XXII) библиограф П. В. Быков, сотрудничавший в «Ниве», по поручению Л. Ф. Маркс, вдовы А. Ф. Маркса, обратился с просьбой к М. П. Чеховой прислать сохранившиеся у нее рассказы Чехова с его правкой. «Некоторые из рассказов, собранных самим Антоном Павловичем, правлены его рукою, но Вы пишете, что и у Вас есть кое-что из рассказов Антона Павловича в исправленном виде», — писал он 7 апреля 1910 г. (ГБЛ). Тогда-то, очевидно, и попали в издательство вырезки из «Осколков», подготовленные для «цикла» «Из записной книжки Ивана Иваныча». В 1911 г. в томе XXII второго марксовского издания, в составе статьи А. Измайлова «Первые шаги Антоши Чехонте», по тексту этих вырезок были опубликованы: «Письмо к репортеру», «О женщинах», «(Донесение)», а также один афоризм из «Плодов долгих размышлений» («Можно сказать: „я друг этого дома...“»).

В 1934 г. эти вырезки были переданы в ГЛМ А. Е. Розинером, братом Л. Е. Розинера, бывшего при Чехове управляющим копторой журнала «Нива». С 1941 г. они хранятся в ЦГАЛИ.

ПРИЖИЗНЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ
НА ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ ¹

АРХИЕРЕЙ

Польский язык

Archierej. Tłum. G. W.— Czas, 1904, nr. 130—135

В ОБРАГЕ

Немецкий язык

In der Schlucht.— Neue Zeit. 1901, S. 30

In der Schlucht.— Tschchow A. Gesammelte Werke. Bd. 5.
Übers.: W. Czumikow u. M. Budimir. Jena, Diederichs, 1904

Французский язык

Dans le bas-fond.— Tchékhov A. Les Moujiks. Trad. par D. Roche,
Paris, Perrin, 1901

ДАМА С СОБАЧКОЙ

Болгарский язык

Дамата с кученцето.— Чехов А. П. Дамата с кученцето. Разказ.
Прев. Г(сорги) Б(акалов). Варна, С. Георгиев, 1900

Венгерский язык

Az ölebes asszony.— Új Század, 1900. július 1.

Az ölebes asszony.— Új Század, 1902. augusztus 31.

Fürdői ismeretség.— A Hét. Vdpr. 1902. XIII. évf. 36/662, 37/663.
sz. szeptember 7, 14.

¹ Составители Л. П. Северская и М. Рев (венгерский язык).
Библиография прижизненных переводов, впервые состав-
ленная в настоящем издании, учитывает имевшиеся в распо-
ряжении редакции материалы. Дополнения к библиографиче-
скому перечню будут помещены в XVIII, заключительном томе
серии.

Немецкий язык

- Die Dame mit dem Hündchen.— Neue Zeit, 1900, S. 284
Die Dame mit dem Hündchen.— Tschechow A. Gesammelte Werke. Bd. 4. Übers.: W. Czumikow u. M. Budimir. Jena, Diederichs, 1902

Сербскохорватский язык

- Gospođa sa psićem.— Hrvatsko pravo, Zagreb, 1900, br. 1338—1342
Dama s psićkom. Prev. I. Prijatelj.— Ljubljanski zvon, Ljubljana, XXI, 1901, br. 4

Чешский язык

- Dáma z psičkem. Přel. V. Prach.— Besedy Času, 1902, č. 7.

ИОНЫЧ

Немецкий язык

- Das Kätzchen.— Tschechow A. Das Kätzchen. Übers. K. Brauner. Wien — Leipzig, Wiener Verlag, 1904

Сербскохорватский язык

- Jonič. Prev. M. Mareković.— Vienac, Zagreb, XXX, 1898, br. 50—52

КРЫЖОВНИК

Болгарский язык

- Френското грозде. Прев. Д. Ангелов.— Звезда, I, 1900, кр. 10—11, октомври — ноември

Немецкий язык

- Der Stachelbeerstrauch.— Tschechow A. Die Hexe und andere Novellen. Übers.: T. Kroczek. Halle, O. Hendel, 1904

Сербскохорватский язык

- Ogrozd.— Novi vick, Split — Zagreb, III, 1898, br. 8

НЕВЕСТА

Сербскохорватский язык

- Zaručnica. Prev. M. Lovrenčević.— Dom i svet, Zagreb, 17/1904,
br. 22—24
Невеста. С рус. М. Марковићева.— Јавност, II, 1904, № №
66—68, 70—74

О ЛЮБВИ

Болгарский язык

- За любовта. Прев. С. Н. Коледаров.— Звезда, I, 1900, кн. 10—11,
октомври и ноември
За любовта. Разказ. Прев. М. Пундев.— Летописи, V, 1904,
бр. 3—4, 15 април

ПО ДЕЛАМ СЛУЖБЫ

Сербскохорватский язык

- U službi. Prev. S.S. Davidović.— Bosanska vila, Sarajevo,
14/1899, br. 8—10

Чешский язык

- V záležitostech služby. Přel. A. G. Stín (A. Vrzal.) — Lumír,
27, 1899, s. 422—428

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ

Сербскохорватский язык

- Doživljaj iz Hečničke prakse. Prev. S. Rakošev.— Prosvjeta,
Zagreb, XII, 1904, br. 4

Чешский язык

- Případ z praxe. Přel. A. G. Stín (A. Vrzal.)— Lumír, 27, 1899,
s. 246—248, 271—272

У ЗНАКОМЫХ

Немецкий язык

- Ta und Wa.— Tschechow A. Gesammelte Werke. Bd. 4. Ubers.
W. Czumikow u. M. Budimir. Jena, Diederichs, 1902

ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ

Болгарский язык

Човек в калъф. Разказ. Прев. Г. А. Миндов.— Ново време, II, 1898, кн. XI, ноември

Човекът в кутийката. Прев. Немил — Недраг.— Учителска мисъл, I, 1904, кн. 10, юни

Сербскохорватский язык

Čovjek u toku.— Novi vjek, Split — Zagreb, III, 1898, br. 6

Чешский язык

Člověk v pouzdře. Přel. A. G. Stín (A. Vrzal).— Květy, 20(2), 1898, s. 713—721

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

А. П. Чехов. 1899 г. <i>Фотография</i>	4
Переплет второго прижизненного издания сочинений А. П. Чехова	63
Титульный лист тома IX Сочинений А. П. Чехова (1-е изд. А. Ф. Маркса, 1901 г.)	95
«Новая дача». — «Русские ведомости», 1899, № 3. <i>Первая публикация</i>	115
«Расстройство компенсации». <i>Первая страница автографа (ГБЛ)</i>	225
«Налека». <i>Автограф (ГБЛ)</i>	233

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Архиерей	186	Невеста	202
В овраге	144	Новая дача	114
Дама с собачкой	128	О любви	66
Душечка	102	По делам службы	86
Из записной книжки Ивана Ивановича	235	Расстройство компенса- ции	223
Ионыч	24	Случай из практики	75
Калека	232	У знакомых	7
Крыжовник	55	Человек в футляре	42
На святках	181		

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ	Текст	Варианты	Примечания
У знакомых (<i>Рассказ</i>)	7	251	354
Поныч	24	256	362
Человек в футляре	42	260	369
Крыжовник	55	260	378
О любви	66	261	382
Случай из практики	75	261	390
По делам службы	86	262	396
Душечка	102	262	404
Новая дача	114	262	414
Дама с собачкой	128	263	419
В овраге	144	266	431
На святках	181	267	450
Архиерей	186	—	452
Невеста	202	268	462
НЕОКОНЧЕННОЕ			
Расстройство компенсации	223	321	475
Калека	232	330	481
Из записной книжки Ивана Ивановича (Мысли и заметки)	235	—	484
ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ, ВАРИАНТЫ	250	—	330
ПРИМЕЧАНИЯ	331	—	488
Условные сокращения	333		
Вступительная статья к примечаниям . .	335		
Прижизненные переводы на иностранные языки	489		
Список иллюстраций	493		
Алфавитный указатель произведений	494		

Печатается по решению
Редакционно-издательского совета
Академии наук СССР

*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

П. Ф. БЕЛЬЧИКОВ (главный редактор),
Д. Д. БЛАГОЙ, Г. А. БЯЛЫЙ, А. С. МЯСНИКОВ,
Л. Д. ОПУЛЬСКАЯ (зам. главного редактора),
А. И. РЕВЯКИН, М. В. ХРАПЧЕНКО

Текст подготовили и примечания написали:

М. П. Громов, Л. М. Дологова, В. Б. Катаев,
А. С. Мелкова, Л. Д. Опульская, Т. И. Орнатская,
Т. В. Оширова, Э. А. Полоцкая, А. П. Чудиков

Редактор десятого тома

Н. И. Соколов

*

Редактор издательства **М. Б. Покровская**
Оформление художника **И. С. Клейнарда**
Художественный редактор **С. А. Литвак**
Технический редактор **Н. П. Кузнецова**
Корректоры **В. А. Бобров, Г. М. Коглова**

*

ИБ № 29819

Сдано в набор 22.10.84. Подписано к печати 21.03.85.

Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1

Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 26,1,

Уч.-изд. л. 29,8. Усл. кр.-отт. 26,2. Доп. тир. 400 000 экз.

3-й завод (200 001—300 000). Тип. зак. № 3826

Цена 3 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»
117864, ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90

Набрано и сматрицировано в
ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового
Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография»
имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государ-
ственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28

Отпечатано во 2-й типографии издательства «Наука».
121999, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6. Зак. 2457

